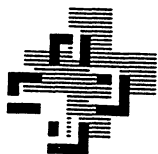


Карл Густав ЮНГ

ДУХ *и* ЖИЗНЬ

Перевод с немецкого
Л. О. АКОПЯНА
под редакцией
Д. Г. ЛАХУТИ



п р а к т и к а

Москва 1996

ББК 84
Ю50

Художники

Г. Берштейн (переплет)

Л. Орлова, М. Овчинникова (рисунки)

Карл Густав Юнг: дух и жизнь. Сборник.

Пер. с нем. — М.: Практика, 1996. — 560 с.

- Ю50 Основу сборника составляют автобиография К. Г. Юнга «Воспоминания, сны, размышления» и работа А. Яффе «Психологическое учение К. Г. Юнга» — краткое систематическое изложение юнговской аналитической психологии. В сборник включена ранняя работа К. Г. Юнга «Семь проповедей мертвецам», а также Глоссарий психологических терминов и Хронограф жизни и творчества Юнга, составленные А. Яффе.

ББК 84

В оформлении обложки использована картина
К. Г. Юнга (1920 г.)

ISBN 5-88001-011-2

© «Практика», 1996

От редакции

Основную часть этого сборника составляет одна из замечательнейших книг XX века — автобиография Карла Густава Юнга «Воспоминания, сны, размышления», которую он диктовал в последние годы жизни своей ученице и помощнице Аниеле Яффе. Книга эта вышла в свет сразу после смерти Юнга, последовавшей в 1961 году. Настоящий перевод осуществлен по изданию: *Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffé.* — Walter-Verlag Olten und Freiburg im Breisgau, 1971.

Имея в виду неуклонно растущую популярность Юнга в России и стремясь удовлетворить потребность широкого читателя в публикациях, которые помогли бы разобраться в богатейшем наследии этого мыслителя, мы сочли уместным поместить в наш сборник общедоступный очерк его психологической теории, написанный другой его преданной ученицей — Йоландой Якоби. Перевод осуществлен по изданию: *J. Jacobi. Die Psychologie von C. G. Jung.* — Zürich, Rascher, 1956.

Наш сборник дополнен «Семью проповедей мертвецам» — стилизацией под средневековые гностические тексты, сочиненной Юнгом в 1916 году и по воле автора входящей во все публикации «Воспоминаний, снов, размышлений». Кроме того, в сборник вошли составленные Аниелой Яффе материалы справочного характера: Глоссарий юнговских психологических терминов и Хронограф жизни и творчества Юнга.

Редакция выражает благодарность Тамаре Казавчинской и Андрею Архипову за помощь в составлении сборника и его редактировании.

Карл Густав Юнг

**Воспоминания,
сны,
размышления**

Пролог

Моя жизнь — это история самоосуществления бессознательного. Все в бессознательном стремится к внешнему проявлению, и личность также жаждет выйти за пределы бессознательного состояния и испытать переживание собственной целостности¹. Я не могу описать этот происходящий во мне процесс становления языком науки, поскольку не могу отнестись к самому себе как к научной задаче.

Образы, открывающиеся нашему внутреннему зрению, и то, что кажется вечной сущностью человека, можно выразить только через миф. В мифе, по сравнению с наукой, больше индивидуального; миф выражает жизнь точнее, чем наука. Наука работает с обобщенными, усредненными понятиями и потому не способна воздать должное всему богатству жизни отдельной личности.

Вот почему ныне, на восемьдесят третьем году жизни², я берусь за изложение своего личного мифа. Я могу говорить только от своего лица, то есть «рассказывать истории». Истинны мои рассказы или нет — не имеет никакого значения. Важно только, что они обо *мне*, что они отражают *мою* истину.

Писать автобиографию чрезвычайно сложно: ведь у нас нет никаких объективных оснований для того, чтобы судить о самих себе. У нас нет подходящей опоры для сравнений. Я знаю, что во многих отношениях я не похож на других, но я не знаю,

1 «Переживание» (Erlebnis), «переживать» (erleben) — ключевые понятия психологии Юнга (и немецкоязычной психологии в целом). Словом «переживание» обозначается первичная, предшествующая всякой рефлексии психическая реальность (здесь и далее все специально не оговоренные примечания принадлежат переводчику).

2 Начало работы над книгой датируется весной 1957 года.

каков я в действительности. Человек несравним с другими тварями Божьими: он не обезьяна, не корова, не дерево. Я — человек. Но что значит быть человеком? Как и всякое другое существо, я частичка бесконечного божества; и я не могу сопоставить себя с животными, растениями или камнями. Выше человека только мифические существа. Так откуда же человеку почерпнуть хоть сколько-нибудь определенное понятие о себе самом?

Человек — это психический процесс, не поддающийся контролю или управляемый лишь в очень ограниченной степени. Следовательно, никто из нас не может полноценно судить ни о себе, ни о собственной жизни. Мы хотим знать все; но наши притязания неосуществимы. Несмотря на все старания, мы никогда не найдем ответа на вопрос: как же это все получилось? История жизни начинается где-то, с какого-то момента, который запал нам в память; и уже тогда история эта была очень сложна. Мы не знаем, какой оборот примет жизнь. У истории нет начала, а о конце можно строить лишь смутные догадки.

Человеческая жизнь представляет собой сомнительный эксперимент. Она грандиозна только с точки зрения числовых оценок. Что же касается каждой отдельной жизни, то она скоротечна и неполна; сама возможность существовать и развиваться — это уже чудо. Много лет назад, когда я был студентом-медиком, меня поразила внезапная мысль: какое чудо, что я все еще жив, что я не погиб раньше времени.

Жизнь всегда казалась мне чем-то вроде растения. Настоящая жизнь невидима, скрыта под землей. Наземная часть эфемерна, она существует в течение одного-единственного лета, а затем увядает. Когда мы задумываемся о бесконечном процессе роста и разрушения жизней и целых цивилизаций, все представляется нам пустым и ничтожным. Но я никогда не терял ощущения, что под этим вечным потоком есть нечто живое и непреходящее. Мы видим лишь цветение, которое быстро проходит. Корни же остаются.

По существу, упоминания заслуживают только те события моей жизни, в связи с которыми в этот преходящий мир прорывалось дыхание мира вечного. Вот почему я говорю главным образом о своих внутренних переживаниях; к их числу я отношу сны и видения. Они составляют «сырье» моей научной работы. Именно из этой огненной лавы выкристаллизовался камень, который мне надлежало обработать.

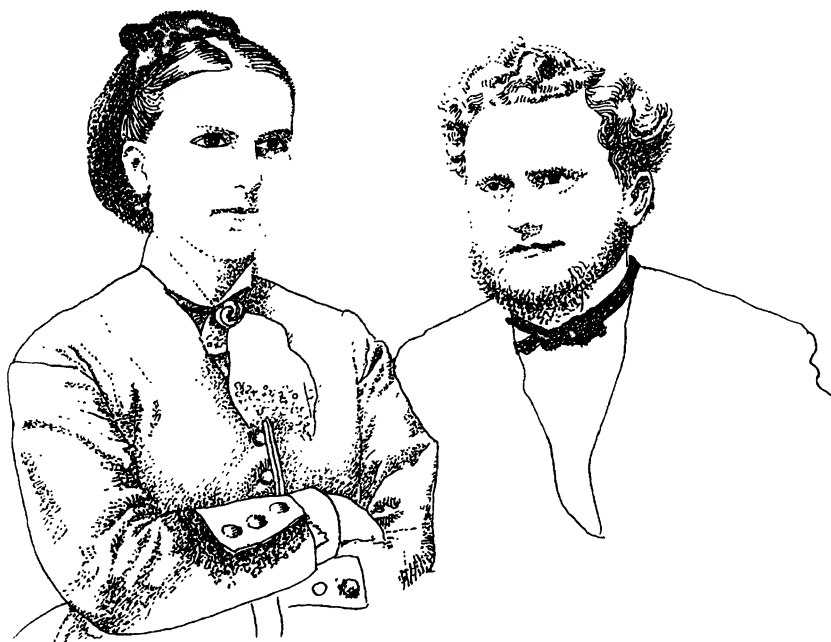
Все остальные воспоминания — о путешествиях, о людях, о моем окружении — бледнеют рядом с этими событиями внутренней жизни. В истории нашего времени участвовали и о ней писали многие; если читателю нужно, пусть он обратится к их писаниям или рассказам. Мои воспоминания о внешних проис-

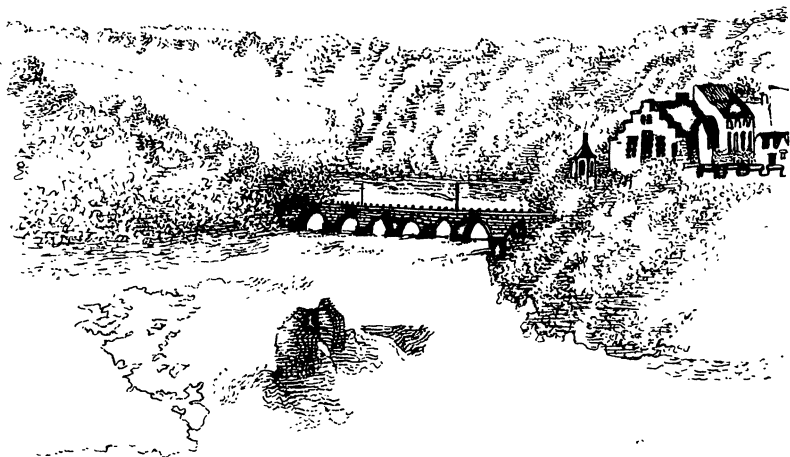
шествиях в значительной степени поблекли, а многое вообще забылось. Но встречи с «другой» реальностью, схватки с бессознательным запечатлелись в памяти неизгладимо. Эта сфера всегда была настолько богата, что все остальное в сравнении с ней казалось менее важным.

Что касается других людей, то они неотъемлемы от моей автобиографии только в тех случаях, когда их имена появлялись на скрижалях судьбы с самого начала — и, значит, встречи с ними оказывались одновременно чем-то вроде воспоминаний.

Внутренние переживания оставили свой отпечаток и на самых значительных внешних событиях, случившихся со мной в юности и более зрелом возрасте. Я рано осознал, что если жизненные трудности не встречают отклика со стороны внутреннего мира — значит, они в конечном счете немногого стоят. Внешние обстоятельства не заменяют внутреннего опыта. Моя жизнь бедна внешними событиями. Я не могу рассказать о них ничего особенного, ибо они кажутся мне незначительными и бессодержательными. Я могу понять себя только в свете событий внутренней жизни. Именно они определяют неповторимость моей жизни, и именно им посвящена моя автобиография.

1 Детство





В 1875 году, когда мне было шесть месяцев, мои родители переехали из Кессвиля (кантон Тургау) на берегу Боденского озера в Лауфен — приход при замке, расположенном над Рейнским водопадом. Моего отца назначили пастором этого прихода.

Мои самые ранние воспоминания относятся ко второму или третьему году жизни. Я вспоминаю наш дом, сад, пристройку для стирки белья, церковь, водопад, маленький замок Верт и усадьбу пономаря. Это всего лишь островки памяти среди неопределенного, неясного моря, каждый сам по себе, вне осязаемой связи с остальными.

Одно воспоминание — а точнее, смутное впечатление — приходит на ум в первую очередь; кажется, это наиболее раннее из всего, что сохранила моя память. Я лежу в коляске под тенистым деревом. Стоит чудесная, теплая солнечная погода; небо сияет голубизной, и золотые солнечные лучи играют в зеленой листве. Верх коляски поднят. Я только что проснулся, и торжественная красота дня наполняет меня чувством неопишемого удовольствия жизнью. Я вижу солнце, сияющее сквозь листву, и цветущие кусты. Все, что окружает меня, прекрасно, многоцветно и пышно.

Другое воспоминание: я сижу на высоком стуле в нашей столовой, в западной части дома, и прихлебываю с ложечки теплое молоко с крошенными в него кусочками хлеба. Молоко приятно на вкус и как-то по-особому пахнет. Именно тогда я впервые понял, как пахнет молоко. Я осознал, что существует такая вещь, как запах. Это воспоминание тоже принадлежит к числу самых ранних.

Далее: прекрасный летний вечер. Одна из моих теток говорит:

«Я тебе кое-что покажу». Она выводит меня на дорогу, ведущую в Дахсен и пролегающую мимо нашего дома. Вдали, на горизонте, я вижу Альпы в лучах заходящего солнца. В тот вечер Альпы были видны очень ясно. «Посмотри, — сказала она мне на швейцарском диалекте, — какие красные горы». Так я впервые увидел Альпы! Тогда же я узнал, что деревенские дети собираются школьной экскурсией на Ютлиберг, что под Цюрихом. Мне очень хотелось пойти с ними, но мне не разрешили, объяснив, что таким малышам, как я, идти с ними нельзя, и тут уж ничего не поделаешь. Я был в отчаянии. С тех пор Ютлиберг и Цюрих стали для меня недостижимым краем грез близ сияющих, заснеженных гор.

Еще одно, несколько более позднее воспоминание. Мама взяла меня с собой в Тургау, к друзьям, у которых был замок на берегу Боденского озера. Меня нельзя было оторвать от воды. Волны, поднятые пароходом, накатывались на берег, лучи солнца искрились на поверхности воды, а песок на мелководье покрывался мелкими бороздками. Озеро уходило куда-то вдаль. Зрелище этого водного простора доставило мне непостижимое наслаждение, несравненный восторг. В ту минуту я понял, что должен поселиться на берегу озера; мне подумалось, что никто на свете не может жить без воды.

Еще одно воспоминание: посторонние люди, переполох, всеобщее волнение. Горничная вбегает с криком: «Рыбаки нашли мертвеца! Его унесло водопадом; сейчас его принесут к нам в прачечную». Мой отец говорит: «Да, да». Я хочу немедленно увидеть мертвеца, но мать крепко держит меня и строго запрещает покидать дом. Однако стоит взрослым выйти, как я тайком выскальзываю в сад и бегу к прачечной. Дверь в прачечную заперта. Я огибаю строение; с противоположной стороны есть сточная труба, и я вижу, как по ней сочится вода, смешанная с кровью. Все это возбуждает во мне крайнее любопытство. В то время мне еще не было четырех лет.

Очередная картинка: у меня жар, я не могу уснуть. Отец качает меня на руках, напевая песни студенческих лет. Я особенно хорошо помню одну из них; мне она очень нравилась и неизменно оказывала на меня умиротворяющее действие: «*Alles schweige, jeder neige...*» («*Всё умолкни, все склонитесь...*»). Начало было в таком роде. До сих пор помню голос отца, напевавшего мне песенку в ночной тиши.

Много лет спустя я узнал от матери, что в детстве у меня была экзема. До меня доносились смутные отголоски неурядиц в супружеской жизни моих родителей. Экзема, начавшаяся в 1878 году, явно была связана с временным разрывом между ними. Моя мать провела несколько месяцев в одной из базельских больниц, причем ее болезнь, судя по всему, имела прямое отношение к

трудностям супружеской жизни. Я перешел на попечение тетки, старой девы лет на двадцать старше моей матери. Отсутствие матери глубоко меня угнетало. Стой поры я всегда испытывал чувство недоверия при слове «любовь». С понятием «женщина» у меня долгое время связывалось ощущение врожденной ненадежности, тогда как с понятием «отец» — ощущение надежности и одновременно бессилия. С этим грузом я и начал свою жизнь. Впоследствии я пересмотрел эти ранние впечатления. Мне случалось верить, что у меня есть друг, и обманываться; женщинам же я не доверял и не обманывался.

Пока мама была далеко, за мной смотрела также и наша горничная. Я до сих пор помню, как она брала меня на руки, а я клал голову ей на плечо. Она была смуглой брюнеткой, совершенно не похожей на мою мать. Даже сейчас я вижу перед собой ее волосы, смуглую шею, ухо. Все это казалось мне очень необычным и в то же время необыкновенно близким: словно она не имела отношения к нашей семье, а принадлежала только мне, словно она каким-то образом была связана с другими таинственными вещами, которых я не был в состоянии понять. Этот тип девушки вошел впоследствии в состав моей анимы¹. Внутреннее ощущение необычности, даже чуждости, и в то же время чувство, что я знал ее всегда, — все это неотъемлемо от фигуры анимы, которая впоследствии стала для меня символом, отражающим самую суть женственности.

К периоду разрыва между родителями восходит еще один заставший мне в память образ. Печальный осенний день; в сопровождении юной, очень красивой и обаятельной девушки с голубыми глазами и чудесными волосами я иду под золотистыми кленами и каштанами по берегу Рейна, в сторону замка Верт. Солнце светит сквозь листву; желтые листья устилают землю. Эта девушка восхищалась моим отцом. В следующий раз я увидел ее, когда мне был двадцать один год. Впоследствии я стал ее зятем.

Таковы мои воспоминания о «внешних» событиях. А сейчас я расскажу о куда более значительных происшествиях, многие из которых я помню весьма смутно. Например, я вспоминаю о своем падении с лестницы или о том, как ударился о ножку кухонной плиты. Я вспоминаю боль и кровь, врача, накладывающего шов на рану у меня на голове (след от шва сохранялся вплоть до окончания гимназии). Мать рассказывала мне еще об одном случае: я шел по мосту через Рейн в сторону Нойхаузена.

1 Этим словом — одним из ключевых терминов своей теории — Юнг обозначает персонификацию женской природы в бессознательном мужчины. Противоположное начало — персонификацию мужской природы в бессознательном женщины — Юнг называет «анимусом».

Горничная схватила меня как раз вовремя: моя нога была уже за перилами, еще немного — и я соскользнул бы в воду. Все это указывает на бессознательное стремление к самоубийству или, возможно, на отвержение жизни в этом мире.

Тогда же я был подвержен смутным ночным страхам. Мне чудилось, будто по дому кто-то ходит. Глухой шум водопада был слышен постоянно; окрестности представляли собой опасную зону. Люди нередко тонули; поток выбрасывал тела утопленников на скалы. На близлежащем кладбище пономарь рыл могилы, громоздя груды перевернутой, бурой земли. Черные, мрачно-торжественные мужчины в длинных сюртуках, необычно высоких цилиндрах и сверкающих черных ботинках приносили черный ящик. Мой отец был в церковном облачении и что-то произносил своим звучным голосом. Женщины плакали. Мне говорили, что в этой яме кого-то хоронят. Некоторые из знакомых мне прежде людей куда-то исчезали. Потом я узнавал, что они похоронены, и что «Господь Иисус» прибрал их к Себе.

Мать научила меня молитве, которую я должен был произносить каждый вечер. Я с радостью делал это, так как молитва приносила мне утешение и успокоение перед лицом смутной ночной неизвестности:

Breit' aus die Flüglein beide,
O Jesu meine Freude
Und nimm dein Küchlein ein.
Will Satan es verschlingen,
Dann lass die Engel singen:
Dies Kind soll unverletzet sein¹.

«Господь Иисус» действовал на меня утешающе, это был симпатичный, благожелательный господин, похожий на господина Вегенштейна, жившего в замке: богатый, сильный, уважаемый и заботящийся о маленьких детях в ночи. Я никогда не ломал себе голову над тем, почему он, подобно птице, должен иметь крылья. Я воспринимал это как маленькое чудо. Значительно более важным и любопытным казалось мне то обстоятельство, что маленькие дети сравниваются с цыплятами, которых «Господь Иисус» «принимает» явно неохотно, словно горькое лекарство. Понять это было нелегко. Но я сразу же понял, что цыплят любит Сатана, и нельзя допустить, чтобы он их съел. Значит, хотя вкус цыплят и не нравится «Господу Иисусу», он их все-таки ест, лишь бы они не достались Сатане. Поначалу это рассуждение успокаивало, но потом я вдруг услышал, что «Гос-

1 Подстрочный перевод: Простри оба Свои крыла, / О Иисус, моя радость, / И прими Своего цыпленка. / Как только Сатана захочет его проглотить, / Ты повелишь ангелам запеть, / И это дитя останется невредимо.

подь Иисус» «прибирает» к себе и других людей — и притом как раз тех, кого кладут в яму, вырытую в земле.

Эта зловещая аналогия имела несчастные последствия. Я перестал доверять «Господу Иисусу». Он уже не был большой, утешающей, благожелательной птицей и стал ассоциироваться с унылыми черными мужчинами, облаченными в сюртуки, цилиндры и блестящие черные ботинки и хлопочущими над черным ящиком.

Эти мои размышления стали причиной первой травмы, пережитой моим сознанием. В один жаркий летний день я сидел, как обычно, в одиночестве на дороге перед домом и играл в песочек. Дорога вела мимо дома в сторону холма, уходила вверх и исчезала в рощице. С того места, где я находился, дорога была видна как на ладони. Подняв голову, я увидел фигуру в необычайно широкой шляпе и длинной черной одежде, спускавшуюся по склону холма. Казалось, это мужчина в женском платье. Фигура приблизилась, и я смог убедиться, что это действительно мужчина в черном платье, доходившем до земли. При виде его меня охватил страх, почти мгновенно перешедший в смертельный ужас узнавания: «это же иезуит!» Незадолго до того я случайно подслушал беседу отца с пришедшим к нему в гости коллегой; они говорили о нечестивой деятельности иезуитов. В то не моего отца звучали возмущение и страх, и я понял, что «иезуиты» — это нечто, представляющее особую опасность даже для него. Я не знал, что такое «иезуиты»; но слово «Иисус» уже было мне знакомо по моей молитве.

Меня осенило, что человек, идущий по дороге, переоделся в женские одежды специально для того, чтобы его никто не узнал. Вероятно, он замышляет злое. Я в ужасе вбежал в дом, взлетел вверх по лестнице и спрятался под какой-то балкой в самом темном углу мансарды. Не знаю, сколько времени я оставался там — по-видимому, достаточно долго, потому что когда я, наконец, осмелился спуститься на первый этаж и осторожно выглянуть в окошко, черной фигуры уже не было. Много дней адский страх сковывал мне члены, заставляя безвыходно сидеть дома. И даже после того, как я снова вернулся к играм на дороге, поросшая леском вершина холма оставалась предметом моего беспокойного внимания. Позднее я, конечно, уяснил себе, что черная фигура была всего лишь безобидным католическим священником.

Примерно тогда же — не помню точно, раньше или позже — мне приснился сон, который я запомнил первым из всех своих сновидений и который занимал меня всю жизнь. Мне было три или четыре года.

Дом священника стоял неподалеку от замка Лауфен; позади усадьбы пономаря расстилался обширный луг. Во сне я нахо-

дился на этом лугу. Внезапно я обнаружил темную, прямоугольную, вымощенную камнями яму, которой прежде никогда не видел. Я быстро подбежал и заглянул в нее. Потом я увидел каменные ступеньки и после некоторого колебания робко сошел по ним в яму. Внизу находились ворота, обрамленные полукруглой аркой и завешенные зеленым занавесом. Это был большой, тяжелый, пышный занавес из узорчатой парчи. Охваченный любопытством, я отодвинул его в сторону и увидел перед собой освещенную неясным светом прямоугольную комнату длиной около десяти метров, с крутым сводом из резного камня. Пол был вымощен каменными плитами; в центре комнаты имелось небольшое возвышение, к которому от входа вела красная ковровая дорожка. На возвышении красовался необыкновенно богатый и пышный золотой трон. На сиденье, кажется, лежала красная подушка. Трон был великолепен, настоящий королевский трон из волшебной сказки. На нем что-то стояло; поначалу я подумал, что это ствол дерева. Этот огромный предмет доходил почти до потолка. Его высота достигала пяти метров, а толщина — по меньшей мере полуметра. Но форма предмета была необычна: он был сделан из кожи и обнаженной плоти, а наверху у него было подобие головы без лица и волос. На самой макушке находился один-единственный глаз, неподвижно уставившийся вверх.

В комнате, несмотря на отсутствие окон или иного видимого источника света, было достаточно светло. «Голову», однако же, окружало какое-то сияние. Предмет не шевелился, но у меня было чувство, что он может в любой момент сползти с трона и пресмыкаясь, словно червь, двинуться ко мне. Я оцепенел от ужаса и в ту же минуту услышал доносившийся откуда-то снаружи и сверху голос матери: «Да, ты только посмотри на него! Это пожиратель людей!» Я проснулся в холодном поту, дрожа от ужаса, и еще много вечеров подряд ложился в постель в страхе, что мне может еще раз присниться нечто подобное.

Этот сон преследовал меня много лет. Лишь значительно позже я осознал, что привидевшийся мне образ был не чем иным, как фаллосом, а спустя десятилетия понял, что это был ритуальный фаллос. Я никогда не мог сообразить в точности, что именно хотела сказать моя мать: «это пожиратель людей» или «это *пожиратель людей*». В первом случае сказанное означало бы, что пожирателем детей является не «Господь Иисус» или иезуит, а фаллос; во втором случае фаллосу было бы приписано значение общего символа «пожирателя людей», то есть темный «Господь Иисус», иезуит и фаллос оказались бы тождественны друг другу.

Об абстрактном значении фаллоса свидетельствует то, что он пребывает на троне сам по себе, «итифаллически» (от гречес-

кого *iovis* — вертикально, стойко́м). Яма на лугу представляла собой, вероятно, могилу — подземный храм, чей зеленый занавес напоминал о луговой траве и, значит, о тайне Земли с ее зеленым растительным покровом. Ковер был кроваво-красного цвета. А что же свод? Не успел ли я к тому времени побывать в Муноте, цитадели Шаффхаузена? Вряд ли, потому что никто не стал бы брать туда с собой трехлетнего ребенка. Значит, в данном случае память ни при чем. Я также не знаю, откуда мог мне явиться анатомически правильный образ фаллоса. Интерпретация *orificium urethrae*¹ как глаза, с явственно различимым свечением над ним, указывает на этимологию слова «фаллос» (фалос — сияющий, светящийся).

Как бы то ни было, фаллос из этого сна кажется подземным богом, чье имя «нельзя назвать»; таким он оставался в течение всей моей юности, неизменно обнаруживая себя, как только кто-нибудь слишком настойчиво заговаривал при мне об Иисусе Христе. «Господь Иисус» так никогда и не стал для меня по-настоящему реальным, по-настоящему приемлемым, по-настоящему привлекательным существом, потому что я вновь и вновь задумывался о его подземном двойнике, страшном откровении, явившемся мне помимо моего желания.

Фигура «переодетого» иезуита отбросила тень на христианскую доктрину, которой меня столь усердно обучали. Часто доктрина эта казалась мне торжественным маскарадом, чем-то вроде похорон, во время которых скорбящие надевают на себя серьезные или печальные личины, но через мгновение раздражаются тайным смехом и на самом деле вовсе не испытывают скорбных чувств. «Господь Иисус» казался мне в некотором роде богом смерти; правда, он приносил определенную пользу, поскольку разгонял ужасы ночи, но сам по себе он был жутким, кровавым распятым трупом. Я втайне сомневался в его хваленой любви и доброте — главным образом потому, что люди, чаще других рассуждавшие о «дорогом Господе Иисусе», носили черные сюртуки и блестящие черные ботинки, напоминавшие мне о похоронах. Это были коллеги моего отца, а также восемь моих дядей-пасторов. Долгие годы они внушали мне страх; но еще больше я боялся редких католических священников, напоминавших мне о том жутком иезуите, который возмутил и даже встревожил моего отца. Позже, вплоть до конфирмации, я делал все, чтобы заставить себя усвоить требуемое положительное отношение к Христу. Но мне так никогда и не удалось преодолеть тайное недоверие.

Страх перед «черным человеком», знакомый всем детям, не был главным элементом этого переживания; главным было,

1 Отверстия мочеиспускательного канала (*лат.*).

скорее, пронзившее мой детский мозг ощущение узнавания: «это иезуит». И в сновидении важнее всего была замечательная символическая атмосфера и поразительное истолкование — «это пожиратель людей»; не образ великана-людоеда из детских сказок, а понимание, что именно это — пожиратель людей, что именно он сидит на золотом троне под землей. Согласно моим детским представлениям, на золотом троне сидел прежде всего король, а на значительно более красивом, более высоком и более золотом троне далеко в голубом небе сидели Бог и Господь Иисус в золотых венцах и белых одеждах. Но ведь и «иезуит» в черном женском платье и широкополой черной шляпе, спускаясь по склону лесистого холма, шел от того же Господа Иисуса. Мне следовало то и дело глядеть туда, вверх, чтобы вовремя заметить приближение других опасностей.

Во сне я спустился в яму и обнаружил на золотом троне нечто абсолютно чуждое, нечто нечеловеческое и принадлежащее подземному миру, неподвижно глядящее вверх и питающееся человеческой плотью. Лишь спустя пятьдесят лет мне довелось ознакомиться с одной научной работой, где речь шла о мотиве каннибализма, лежащем в основе символики Тайной Вечери. Только тогда мне стало ясно, до какой степени недетской, утонченной, даже сверхутонченной была мысль, прорвавшаяся в мое сознание благодаря этим двум переживаниям. Кто говорил во мне? Чей дух внушил мне эти переживания? Действию какого высшего разума я обязан их появлением? Я знаю, что люди с косным умом будут болтать о «черном человеке», «пожирателе людей», «случайности» и «ретроспективной интерпретации» — лишь бы отогнать от себя в высшей степени неудобное «нечто», способное запятнать привычную картину невинного детства. Ох уж эти добрые, положительные, здраво рассуждающие люди — они всегда напоминают мне жизнерадостных головастиков, которые, сбившись в кучку и весело виляя хвостиками, греются на солнце в мелкой лужице и не подозревают, что на следующее же утро лужица высохнет и они останутся на мели.

Кто заговорил со мной тогда? Кто говорил о вещах, далеко выходящих за пределы моих познаний? Кто, объединив Высшее и Низшее, посеял семена той бури, которая стала главным содержанием всей второй половины моей жизни? Кто, если не этот чуждый гость, пришедший одновременно и сверху, и снизу?

Через этот детский сон я был приобщен к земным тайнам. То, что произошло тогда, было своего рода погребением, и потребовались многие годы, прежде чем я вновь вышел на поверхность. Ныне я знаю: это произошло для того, чтобы как можно ярче осветить тьму. Это стало моей инициацией, приобщением к царству тьмы. Именно в то время я, сам того не сознавая, начал жить духовной жизнью.

Я не помню нашего переезда в Кляйн-Хюнинген, близ Базеля, в 1879 году. Но я помню то, что произошло спустя несколько лет. Однажды вечером отец взял меня из постели, на руках вынес на крыльцо нашего дома, выходившее на восток, и показал мне роскошное зеленое сияние на вечернем небе. Это было после извержения вулкана Кракатау в 1883 году¹.

Помню также, как отец вывел меня на то же крыльцо и показал большую, зависшую над горизонтом комету.

А однажды произошло большое наводнение. Протекавшая посреди деревни река Визе прорвала плотину. Выше по течению обрушился мост. Утонуло четырнадцать человек; желтый поток отнес их тела вниз, к Рейну. Когда вода спала, часть трупов завязла в песке. Узнав об этом, я сломя голову бросился к реке и наткнулся на тело мужчины средних лет, одетого в черный сюртук; судя по всему, смерть застигла его, когда он шел из церкви. Он лежал, наполовину засыпанный песком, и глаза его были прикрыты рукой. Я смотрел на него как замороженный; между прочим, то же чувство я испытывал и раньше, глядя, как режут свинью. К ужасу матери, я наблюдал за всей процедурой. Ей это казалось страшным, но во мне как убийство свиньи, так и мертвое тело возбуждали лишь чистое любопытство.

К годам, прожитым в Кляйн-Хюнингене, восходят и мои первые воспоминания об искусстве. Резиденцией приходского священника служил дом восемнадцатого века. В нем была богато меблированная темная комната, на стенах которой висели старинные картины. Мне особенно запомнилась итальянская картина, изображавшая Давида и Голиафа. Это была зеркальная копия из мастерской Гвидо Рени²; оригинал картины находится в Лувре. Я не знаю, откуда она у нас взялась. В той же комнате была еще одна старая картина, ныне висящая в доме моего сына: вид Базеля начала девятнадцатого века. Я нередко прокрадывался в эту темную, уединенную комнату и часами просиживал перед картинами, пожирая их глазами. Это были единственные красивые вещи, которые я знал.

Примерно тогда же — то есть когда я был еще очень мал, не старше шести лет — одна из теток взяла меня с собой в Базель, чтобы показать выставленные в музее чучела животных. Мы задержались в музее надолго, потому что я хотел рассмотреть все как можно тщательнее. В четыре часа зазвонил колокольчик, извещаая, что музей закрывается. Тетка принялась торопить

1 Кракатау — вулкан на одноименном острове в Индонезии. Его извержение, происшедшее 26—28 августа 1883 года, оказало мощное воздействие на климат всей планеты.

2 Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский живописец.

меня, но я все никак не хотел оторвать взгляд от шкафов с экспонатами. Между тем дверь в зал заперли, и мы прошли к выходной лестнице другой дорогой, через галерею древностей. Я вдруг оказался перед этими чудесными фигурами! Совершенно потрясенный, я широко раскрыл глаза: ничего прекраснее мне еще не доводилось видеть. Я не мог на них насмотреться. Тетка тянула меня за руку к выходу — между тем как я постоянно отставал от нее на одну ступеньку — и сердито приговаривала: «Скверный мальчишка, закрой глаза! Скверный мальчишка, закрой глаза!» Только тогда я обратил внимание, что фигуры наги и прикрыты фиговыми листками. Прежде я этого не замечал. Такова была моя первая встреча с изящным искусством. Моя тетка была вне себя от негодования, словно ее затащили в какое-то порнографическое заведение.

Когда мне было шесть лет, родители взяли меня на экскурсию в Арлесхайм. По этому случаю мать надела платье, которого я не могу забыть; из всех ее платьев я помню только это. Оно было сшито из какой-то черной материи, густо усыпанной маленькими зелеными полумесяцами. В моих ранних воспоминаниях мать предстает молодой изящной женщиной в этом платье. В остальных воспоминаниях она старше и дороднее.

Мы подошли к церкви, и мать сказала: «Это католическая церковь». Движимый любопытством и страхом, я вырвался и подбежал поближе к церкви, чтобы сквозь открытую дверь бросить взгляд внутрь. Я успел мельком увидеть большие свечи на богато украшенном алтаре (дело было на Пасху), как вдруг споткнулся о ступеньку и стукнулся подбородком обо что-то железное. Рана оказалась глубокой; помню, как я обливался кровью, пока родители помогали мне подняться. Я испытывал смешанные чувства: мне было стыдно, потому что мои вопли привлекли внимание прихожан, и в то же время я ощущал, что совершил нечто запретное. «Иезуиты — зеленый занавес — тайна пожирателя людей... Значит, вот она какова, Католическая Церковь, связанная с иезуитами. Это их вина, что я споткнулся и громко плакал».

В течение долгих лет после того случая я не мог войти в католическую церковь, не испытывая при этом тайного страха перед кровью, падением и иезуитами. Такова была исходившая от нее аура. И все же католическая церковь сохраняла для меня какую-то волшебную притягательность. Вблизи католического священника я чувствовал себя в высшей степени неуютно. Лишь на четвертом десятке, переступив порог собора святого Стефана в Вене, я впервые осознал, что встреча с *Mater Ecclesia*¹ больше не внушает мне чувства подавленности.

1 Матерью Церковью (*лат.*).

Вскоре после того, как мне исполнилось шесть лет, отец начал давать мне уроки латыни. Кроме того, я стал ходить школу. С учебой у меня не было трудностей: я всегда обгонял в развитии своих сверстников, к моменту поступления в школу я уже умел читать. Но я помню время, когда я еще не знал грамоты и то и дело приставал к матери, чтобы она вслух читала мне из *Orbis Pictus*¹ — старой, богато иллюстрированной детской книги, содержавшей рассказы об экзотических религиях и, в частности, о религии индусов. Там были изображения Браммы, Вишну и Шивы, вызывавшие мое ненасытное любопытство. Позднее мать рассказала мне, что я постоянно возвращался к этим рисункам. Поступая так, я испытывал смутное ощущение, что они находятся в родстве с моим «исходным откровением» — о котором я ни с кем никогда не говорил. Это было тайной, не подлежащей раскрытию. Мать косвенно подтвердила мое ощущение, потому что от моего внимания не ускользнул тот слегка презрительный тон, которым она говорила о «язычниках». Я понимал, что она с ужасом отшатнется от моего «откровения», и не хотел рисковать.

Это недетское поведение было обусловлено не только моей чувствительностью и ранимостью, но и — что особенно существенно — одиночеством моих ранних детских лет (моя сестра родилась девятью годами позже меня). Я играл в свои придуманные игры в полном одиночестве. К сожалению, я не помню, какие это были игры; помню только, что я не любил, когда меня беспокоили. Я был настолько поглощен своими играми, что не терпел, чтобы за ними наблюдали или говорили о них. Мое первое отчетливое воспоминание об игре относится ко времени, когда мне было около семи или восьми лет. Я обожал играть в кубики: я строил из них башни, которые затем самозабвенно разрушал «землетрясением». Между семью и одиннадцатью годами я постоянно рисовал — битвы, осады, артиллерийские обстрелы, морские бои. Кроме того, как-то раз я испачкал целую тетрадь чернильными кляксами и забавлялся, давая им всякие фантастические истолкования. Одна из причин моей любви к школе заключалась в том, что там я наконец обрел товарищей по играм, которых мне прежде так не хватало.

В школе я открыл для себя и нечто иное. Но прежде чем перейти к этой теме, я должен заметить, что ночная атмосфера начала сгущаться. По ночам происходили вещи, превосходившие мое понимание и внушавшие тревогу. Мои родители спали раздельно. Я спал в комнате отца. От двери, ведущей в комнату матери, исходило нечто пугающее. В ночи мать казалась чужой и таинственной. Однажды ночью я увидел, как от ее двери по

1 «Мир в картинах» (лат.).

направлению ко мне двинулась слабо светящаяся фигура с неопределенными очертаниями. Голова фигуры отделилась от шеи и парила в воздухе чуть впереди, похожая на маленькую луну. Тут же у фигуры появилась еще одна голова, которая также отделилась от тела, и это повторилось шесть или семь раз. Меня преследовали страшные сны о предметах, резко увеличившихся в размерах. Например, я видел крошечный шарик, который сначала находился где-то далеко; затем он начинал приближаться, неумолимо разрастаясь до огромных, подавляющих, грандиозных размеров. Я видел также телеграфные провода с сидевшими на них птицами; провода становились все толще и толще, мой страх нарастал, и в конце концов я в ужасе просыпался.

Эти сны явились провозвестниками физиологических изменений периода полового созревания; но когда мне было лет семь или около того, им, в свою очередь, предшествовала своя, отдельная «прелюдия». В то время я болел ложным крупом, сопровождавшимся припадками удушья. Как-то ночью, во время одного из припадков, я стоял в ногах своей кровати, откинув голову на бортик, в то время как отец поддерживал меня под руки. Над собой я увидел пылающий синий круг размером с полную луну; внутри него двигались золотые фигуры, которые я принял за ангелов. Это видение впоследствии повторялось, каждый раз избавляя меня от страха перед удушьем. Но удушье возвращалось в страшных снах. Я вижу в этом психогенный фактор: в атмосфере нашего дома становилось трудно дышать.

Я терпеть не мог ходить в церковь. Единственным исключением был день Рождества. Рождественская песня «Этот день дан нам Богом» мне чрезвычайно нравилась. А затем, вечером, наступало время рождественской елки. Рождество было единственным христианским праздником, который я отмечал со рвением. Все другие праздники оставляли меня холодным. Разве что канун Нового Года содержал в себе нечто от привлекательности Рождества, но он явно был на втором месте. В Рождественском посте было что-то совершенно чуждое приближающемуся Рождеству. Он связывался с ночью, бурей, ветром, а также с темнотой в доме. В нем слышалось нечто странное, какой-то подозрительный шепот.

Я возвращаюсь к открытию, сделанному во время общения с моими школьными товарищами по играм. Я обнаружил, что эти деревенские дети отчуждают меня от меня же самого. С ними я вел себя совершенно иначе, чем дома. Я присоединялся к их проказам или выдумывал собственные, о которых не мог бы помыслить в домашних условиях — при том, что моя изобретательность не знала границ и тогда, когда я оставался один. Мне казалось, что эти перемены во мне вызваны влиянием соучени-

ков, которые каким-то образом сбивали меня с пути, вынуждали меня стать другим — не таким, каким я считал себя. Воздействие этого более обширного мира — мира, в котором, помимо моих родителей, были и другие люди — казалось мне сомнительным, если не сказать подозрительным и даже отчасти враждебным. Я все более и более отчетливо осознавал красоту светлого дневного мира, где «золотое солнце светит сквозь листву»; но в то же время я предугадывал существование неотвратимого мира теней, полного пугающих вопросов, на которые невозможно найти ответы и которые имеют надо мной какую-то особую власть. Вечерняя молитва, конечно, давала мне ритуальную защиту, поскольку должным образом завершала день и вводила в ночь и сон. Но днем меня поджидали новые, скрытые опасности. Я ощущал нечто вроде расщепления своего «Я» и страшился этого. Моя внутренняя безопасность находилась под угрозой.

Я помню также, что в тот период (в возрасте от семи до девяти лет) я обожал играть с огнем. В нашем саду была старая стена, сложенная из больших камней, между которыми обнаруживалось множество интересных углублений. В одном из этих углублений я с помощью других детей постоянно поддерживал маленький огонек; он должен был гореть всегда, а для этого все мы должны были собирать достаточно щепок. Но питать этот огонек имел право только я один. Другие дети могли жечь свои огоньки в других углублениях, но в их огоньках отсутствовал сакральный элемент, они были «профанными» и меня не касались. Только мой огонек был живым и обладал несомненной аурой святости.

Перед стеной был небольшой склон, из которого торчал камень — мой камень. Оставаясь один, я часто садился на этот камень, и начиналась мысленная игра, протекавшая примерно следующим образом: «Я сижу на этом камне. Я наверху, а он — внизу». Но и камень, в свой черед, мог сказать о себе «я» и подумать: «Я лежу на этом склоне, а он сидит на мне». Возникал вопрос: «Кто я — тот, кто сидит на камне, или камень, на котором сидит он?» Этот вопрос всегда смущал меня, и, вставая с камня, я каждый раз размышлял о том, кто кем был на этот раз. Ответа не было, и моя неуверенность сопровождалась ощущением странной и восхитительной тьмы. Между этим камнем и мной, несомненно, существовала какая-то тайная связь. Я мог просиживать на нем часами, дивясь загадке, которую он ставил передо мной.

Спустя тридцать лет я снова стоял на этом склоне. Я был женат, у меня были дети, дом, место в жизни, голова была полна идей и планов, и вот я вдруг снова превратился в ребенка, который возжигает полный тайного смысла огонь и сидит на кам-

не, не зная, то ли он — это я, то ли я — это он. Моя жизнь в Цюрихе вдруг показалась мне такой же чужой, как вести, приходящие из каких-то отдаленных стран и эпох. Это меня испугало: мир моего детства, в который я только что погрузился, оказался вечным, а я был вырван из него и брошен в поток времени, неотвратно текущий вперед. Притяжение этого мира было настолько сильно, что я вынужден был сломя голову бежать оттуда, чтобы не потерять власть над собственным будущим.

Эта минута осталась в моей памяти навсегда: ведь она молнией озарила то, что в моем детстве принадлежало вечности. Смысл этой «вечности» открылся мне годам к десяти. Внутренний разлад и неуверенность в окружающем мире заставили меня совершить нечто, в то время совершенно непостижимое для меня самого. У меня был желтый лакированный пенал того типа, которым часто пользуются младшие школьники — с маленьким замочком и линейкой. На кончике этой линейки я вырезал человечка ростом примерно в пять сантиметров, в скрутке, цилиндре и сверкающих черных ботинках. Я вымазал этого человечка черными чернилами, отпилил от линейки и положил в пенал, в специально подготовленную кровать. Я даже сделал ему одежду из кусочка шерсти. В пенал я поместил также гладкий продолговатый темный голыш с берега Рейна, который предварительно раскрасил акварельными красками так, чтобы он казался поделенным на две части, верхнюю и нижнюю; камень этот я долгое время носил в кармане брюк. Это был *его* камень. Все это было моей великой тайной. Я тайком отнес пенал в запретное чердачное помещение (запретное потому, что полы были изъедены крысами и прогнили) и, довольный собой, спрятал его на одной из балок под крышей. Я знал, что ни одна живая душа его там не найдет. Никто не сможет найти мою тайну и нарушить ее. Я почувствовал себя в безопасности, и мучительное чувство разлада с самим собой исчезло. В любых сложных ситуациях, всегда, когда я делал что-нибудь не то, или мои чувства испытывали какой-нибудь болезненный удар, или меня угнетали раздражительность отца и болезненное состояние матери, я вспоминал своего аккуратно уложенного в кровать и обернутого в шерсть человечка и его гладкий, красиво раскрашенный камень. Время от времени — часто с перерывами по несколько недель — я улучал момент, когда меня никто не мог увидеть, и тайком наведывался на чердак. Там я влезал на балку, открывал пенал и смотрел на своего человечка и его камень. Затем я клал в пенал свернутую трубочкой бумажку, на которой предварительно, еще в часы школьных занятий, записывал что-то на тайном языке собственного изобретения. Добавление каждой новой бумажки к уже находившимся в пенале носило характер

торжественного церемониала. К сожалению, я не могу припомнить, что именно я хотел сообщить человечку. Я знаю только, что мои «письма» составляли нечто вроде собираемой специально для него библиотеки. Я предполагаю — хотя и не могу быть в этом уверен, — что они содержали какие-то особенно полюбившиеся мне фразы.

Смысл этих действий или их возможное объяснение никогда меня не волновали. Я удовлетворялся чувством обретенной безопасности и был счастлив, ибо обладал чем-то неизвестным и недоступным другим людям. У меня была неприкосновенная тайна, которую ни в коем случае нельзя было выдать, поскольку от нее зависела безопасность моей жизни. Я не спрашивал себя, почему это так. Это было так, и все.

Эта тайна оказала мощное влияние на мой характер; я считаю ее самым существенным событием своего детства. Я никогда никому не рассказывал и о том, как мне во сне явился фаллос; иезуит также принадлежал к таинственной сфере, о которой, как я знал, никому не следовало сообщать. Маленькая деревянная фигурка с камнем была первой, пока еще неосознанной попыткой придать тайне некую форму. Тайна эта поглотила все мое существо; я все время чувствовал, что смогу понять ее, но не знал, что же именно я пытался выразить. Я не терял надежды, что когда-нибудь смогу найти ключ. Я думал, что его, возможно, следует искать в природе. В тот период я испытывал повышенный интерес к растениям, животным и камням. Я постоянно искал в них какую-то тайну. Я сознавал себя верующим христианином, хотя и с оговорками: «Но это вовсе не очевидно!», или: «А как же быть с этой штукой там, под землей?» А когда меня в очередной раз накачивали богословскими поучениями, я говорил себе: «Да, но ведь существует что-то иное, что-то глубоко тайное и неизвестное людям».

Эпизод с вырезанным из дерева человечком стал вершиной и концом моего детства. Он продлился примерно год. Затем я совершенно забыл о нем. Лишь когда мне исполнилось тридцать пять, этот обрывок памяти вновь выплыл из тумана детства и предстал перед моим внутренним взором во всей своей нетронутой ясности. В период предварительной работы над книгой «Метаморфозы и символы либидо» я прочел о тайном захоронении «каней-душ» близ Арлесхайма и об австралийских «чурингах»¹. Я вдруг обнаружил, что мой образ камня был совершенно таким же, хотя мне никогда не доводилось видеть соответствующие изображения. Мой камень также был продолгова-

1 Чуринги — предметы культа некоторых австралийских племен: плоские орнаментированные куски дерева или камни, хранимые в специальных тайниках.

тым, темным и выкрашенным так, чтобы его верхняя часть отличалась от нижней. Образ камня сопровождался образами пена-ла и человечка. Человечек был одетым в плащ древним божком, Телесфором¹, каким его изображали на статуях Асклепия, где он читает последнему свиток. Одновременно с этим воспоминанием я впервые по-настоящему осознал, что существуют такие архаические составляющие психической жизни, которые вошли в психическую субстанцию² индивида безотносительно к какой бы то ни было традиции. В библиотеке моего отца — с которой я, впрочем, ознакомился уже будучи подростком — не было ни одной книги, содержащей что-либо на данную тему. Более того, мой отец явно ничего не знал о подобных вещах.

Будучи в Англии в 1920 году и ничего не помня об этом своем детском переживании, я вырезал из дерева две похожие фигурки. Одну из них я впоследствии воспроизвел в увеличенном виде в камне, и теперь она стоит в моем саду в Кюснахте. И только когда я делал это, бессознательное наконец подсказало мне имя. Оно назвало фигуру «Атмавикту», что в переводе с санскрита означает «Дыхание жизни». Таково было дальнейшее развитие пугающего дерева из моего детского сна, ныне обнаружившего себя как «дыхание жизни», то есть творческий импульс. Человечек оказался «кабиром»³, закутанным в свой маленький плащ, спрятанным в «кисте» и снабженным источником жизненной силы — продолговатым черным камнем. Но все эти связи стали мне ясны лишь много позднее. В детстве я выполнял обряд точно так же, как увиденные мною годы спустя африканские туземцы. Они сначала действуют, не зная, что же именно они делают, и только потом начинают размышлять над смыслом своих действий.

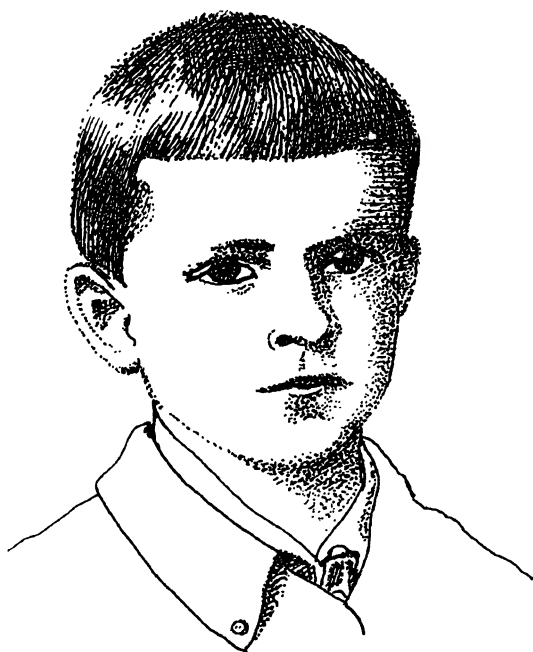
1 Телесфор — бог выздоровления в греческой мифологии, спутник бога врачевания Асклепия; изображался в виде юноши, укутанного в плотное покрывало, с фригийской шапочкой на голове.

2 Термином «психическая субстанция» переводится слово *Psyche*, которое в терминологии Юнга не синонимично менее «строгому» термину *Seele*, «душа».

3 В греческой мифологии кабиры — хтонические божки, почитавшиеся носителями высшей мудрости. Эзотерический культ кабиров распространился особенно в период поздней античности. О кабирах говорится в сцене «Скалистые бухты Эгейского моря» из 2-го акта второй части «Фауста» Гете.

2

Школьные годы





1 На одиннадцатом году моей жизни произошло еще одно, также по-своему важное событие: я поступил учиться в базельскую гимназию. Таким образом, я был разлучен с моими деревенскими товарищами и вступил в настоящий «большой мир», где люди, своим могуществом далеко превосходившие моего отца, жили в больших роскошных домах, разъезжали в дорогих экипажах, запряженных великолепными лошадьми, и говорили на изысканном немецком и французском. Моими школьными товарищами стали их сыновья — хорошо одетые, с изящными манерами и полными денег карманами. С неподдельным изумлением и тайной завистью я слушал их рассказы о каникулах, проведенных в Альпах. Они бывали среди этих сияющих заснеженных вершин близ Цюриха; более того, они бывали у моря, что меня совершенно сразило. Я смотрел на них как на пришельцев из другого мира, оттуда, где в недостижимой славе сияют заснеженные горы и расстилается далекое, не поддающееся воображению море.

Тогда я впервые осознал всю степень нашей бедности; я понял, что мой отец — бедный сельский священник, а сам я — еще более бедный, обутый в дырявые башмаки сын священника, вынужденный ежедневно просиживать в школе по шесть часов в мокрых носках. Я увидел своих родителей другими глазами и начал понимать их горести и заботы. Особенно я сочувствовал отцу — как ни странно, значительно больше, чем матери. Мать всегда казалась мне более сильной натурой. Тем не менее я склонялся на сторону матери всякий раз, когда отец давал волю своей капризной раздражительности. Нельзя сказать, чтобы эта необходимость принимать ту или иную сторону благоприятство-

вала формированию моего характера. Желая освободить себя от воздействия конфликтов между отцом и матерью, я невольно присвоил себе функцию верховного арбитра, вынужденного вершить суд над собственными родителями. Это породило во мне некоторую гордыню; мое пока еще неустойчивое чувство собственного «Я» усилилось и одновременно ослабло.

Когда мне было девять лет, мама родила девочку. Отец был в восторге. «Нынче ночью у тебя появилась сестренка», — сообщил он к моему величайшему удивлению, поскольку я ни о чем не подозревал. Я не придавал значения тому, что моя мать проводила в постели больше времени, чем обычно: я всегда считал, что ложиться в постель — непростительная слабость с ее стороны. Отец подвел меня к кровати, на которой лежала мать, державшая на руках маленькое создание, чей вид меня страшно разочаровал: красное сморщенное старческое личико, закрытые глаза; я решил, что оно, должно быть, слепо как новорожденный щенок. На спине у этого существа росло несколько длинных рыжих волосков; когда мне их показали, я подумал: уж не обезьяна ли это? Я был шокирован и растерян. Неужели так выглядят все новорожденные? Они что-то невразумительно толковали мне об аисте, будто бы принесшем ребенка. Но как же быть тогда с котятками или щенятами? Сколько раз пришлось бы аисту слетать туда и обратно, чтобы перенести в клюве весь помет? А что же коровы? Я никак не мог представить себе, чтобы аист сумел принести в клюве целого теленка. Кроме того, крестьяне говорили, что коровы телятся, не упоминая при этом ни о каких аистах. Весь этот рассказ явно был очередной предназначенной специально для меня нелепостью. Я был уверен, что мать еще раз сделала нечто такое, о чем я не должен был знать.

Это внезапное появление на свет сестры породило во мне смутное чувство недоверия и дополнительно обострило такие черты моего характера, как любопытство и наблюдательность. Позднее в поведении и реакциях матери начали обнаруживаться какие-то странности; тем самым подтвердилось мое подозрение, что с родами было связано нечто печальное и прискорбное. В остальном рождение сестры не причинило мне особого беспокойства, хотя и, вероятно, обострило некоторые мои переживания тех лет.

У моей матери была малоприятная привычка выкрикивать мне вслед добрые советы всякий раз, когда я выходил из дома, чтобы отправиться куда-нибудь в гости. По таким случаям я не просто надевал свою лучшую одежду и вычищенные до блеска башмаки; я ощущал всю значительность минуты и меня унижало, когда прохожие слышали все те постыдные вещи, которые мать кричала мне вслед: «Не забудь передать им приветы от

папы и мамы», «Вытри нос — у тебя есть с собой платок?», «А ты вымыл руки?» и так далее. Мне казалось совершенно несправедливым, чтобы чувство неполноценности, неразрывно связанное у меня с гордыней, подвергалось такому публичному испытанию — и притом как раз тогда, когда я, побуждаемый самолюбием и тщеславием, изо всех сил старался выглядеть безупречно. Ведь каждый выход в гости значил для меня очень много. Всякий раз, надевая воскресный костюм в будний день, я чувствовал себя важной персоной. Но стоило мне подойти к дому, куда я был приглашен, как все резко менялось. Меня подавляло ощущение величия и могущества этих людей. Я боялся их и в своем ничтожестве мечтал провалиться сквозь землю. Именно с этим чувством я звонил в дверь. Тонкий звук колокольчика, доносившийся изнутри дома, звучал в моих ушах как колокол Страшного Суда. Я чувствовал робость и казался себе чем-то вроде заблудившейся собаки. И насколько же хуже бывало мне в тех случаях, когда мать подвергала меня предварительной обработке! Тогда колокольчик звучал так: «Моя обувь облеплена грязью, и мои руки — тоже; у меня нет носового платка, а шея у меня черная от грязи». Тогда я нарочно не передавал привет от родителей или вел себя чрезмерно застенчиво и упрямо. Если дела шли совсем плохо, я думал о своем тайном сокровище на чердаке, и это помогало мне вернуть душевное равновесие: ведь даже в таком безнадежном состоянии я помнил, что я — не просто «я», но также и кто-то «другой», обладатель неприкосновенной тайны, черного камня и человечка в скюртуке и цилиндре.

Я не могу припомнить, чтобы в детстве мне приходила в голову мысль о возможной связи между «Господом Иисусом» или иезуитом в черном платье, людьми, стоящими у могилы в скюртуках и цилиндрах, похожей на могилу ямой посреди луга, подземным храмом фаллоса и моим маленьким человечком в пенале. Сон об итифаллическом боге был моей первой великой тайной, а деревянный человечек — второй. Но мне все-таки кажется, что я смутно ощущал наличие связи между «камнем-душой» и камнем, бывшим в то же время мною самим.

Вплоть до нынешнего дня — дня, когда я, восьмидесятитрехлетний, пишу эти мемуары — мне так и не удалось до конца распутать клубок моих самых ранних воспоминаний. Они подобны отдельным нитям единой подземной грибницы или останкам на пути бессознательного развития. Я вспоминаю, что, хотя мне становилось все труднее и труднее усвоить положительное отношение к «Господу Иисусу», с одиннадцатилетнего возраста меня начала интересовать идея Бога. Я начал молиться Богу, что каким-то образом удовлетворяло меня, поскольку в этой молитве не было никаких противоречий. В Боге не было

сложностей, обусловленных моим недоверием. К тому же он не был ни личностью в черной сутане, ни одетым в ярко раскрашенные одежды «Господом Иисусом» с картинок — персонажем, с которым люди обращались фамильярно, как со старым знакомцем. Он был скорее единственным в своем роде существом, о котором, насколько я знал, невозможно было составить хоть сколько-нибудь правильное представление. Точнее говоря, он был чем-то вроде могущественного старца. Но, к моему великому удовлетворению, существовала заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху...» Посему с ним невозможно было вести себя так же фамильярно, как с «Господом Иисусом», в котором не было «тайны». Я смутно ощутил связь с моей тайной на чердаке...

Школа начинала мне надоедать. На нее уходило слишком много времени, которое я мог бы с большим удовольствием использовать для рисования битв или игры с огнем. Уроки Закона Божьего были невероятно скучны, а перед математикой я испытывал настоящий ужас. Учитель полагал, что алгебра — это совершенно естественная, самоочевидная вещь, тогда как я даже не знал, что же такое на самом деле числа. Числа не были ни цветами, ни животными, ни минералами, их невозможно было вообразить; это были всего лишь количества, получаемые в результате счета. К моему недоумению количества эти представлялись посредством букв, означавших звуки, то есть их стало возможно слышать и выговаривать. Еще более удивительным казалось то, что мои соученики умели справляться с этими вещами и считали их самоочевидными. Никто не мог сказать мне, что такое числа, а сам я не умел толком сформулировать свой вопрос. Я с ужасом осознал, что моих затруднений никто не понимает. Должен сказать, что учитель охотно и подолгу объяснял мне цель этой любопытной операции по переводу доступных пониманию количеств в звуки. Я наконец сообразил, что весь смысл состоял в выработке системы сокращений, с помощью которых множество количеств могло бы быть объединено в короткую формулу. Но все это меня нимало не интересовало и казалось совершенно произвольным. Зачем выражать числа звуками? Точно так же a можно выразить яблоней, b — ящиком, а x — вопросительным знаком; a , b , c , x , y , z были лишены конкретности и объясняли мне сущность чисел не лучше, чем, к примеру, яблоня. Но в особенное отчаяние меня приводило следующее утверждение: если $a = b$, $a = c$, то $a = c$, хотя по определению a означало нечто иное, нежели b , и посему не могло быть приравнено к b , а тем более к c . Когда речь заходила о равенстве, говорили: $a = a$, $b = b$ и т. д., и это не вызывало моего неприятия, тогда как $a = b$ казалось мне откровенной ложью или мошенни-

чеством. Я также почувствовал себя оскорбленным, когда учитель, вопреки собственному определению, заявил, что параллельные линии сходятся в бесконечности. Это показалось мне дешевым трюком, рассчитанным на деревенщину. Моя интеллектуальная мораль восставала против этих несообразностей, навсегда лишивших меня способности к пониманию математики. До самой старости у меня осталось устойчивое ощущение, что если бы я, подобно моим соученикам, смог принять без сопротивления утверждения типа $a = b$, солнце = луна, собака = кошка и т. д., математика могла бы дурачить меня бесконечно — причем лишь к восьмидесяти четырем годам я начал представлять себе всю степень грозившей мне опасности. Всю жизнь для меня было загадкой, почему мне так никогда и не удалось разобраться с математикой — при том, что мое умение правильно считать не вызывало никакого сомнения. Меньше всего я понимал собственные *моральные* сомнения относительно математики.

Уравнения становились понятны мне только после того, как я подставлял на место букв те или иные числовые значения и проверял правильность операции прямым подсчетом. В изучении математики мне удавалось более или менее следовать за остальным классом лишь благодаря механическому переписыванию алгебраических формул, смысла которых я не понимал, и запоминанию места, занимаемого на классной доске той или иной комбинацией букв. Я больше не мог продвигаться вперед с помощью подстановки чисел, потому что время от времени учитель говорил: «Подставим сюда такое-то и такое-то выражение», после чего небрежно писал на доске несколько букв. Я не имел понятия, откуда эти буквы взялись и зачем он это делал; единственную причину я усматривал в том, что они позволяли ему привести процедуру к решению, почему-то его удовлетворявшему. Собственная непонятливость порождала во мне настолько сильную робость, что я даже не осмеливался задавать вопросы.

Уроки математики стали для меня настоящей пыткой. Другие предметы давались мне легко; а поскольку благодаря хорошей зрительной памяти я в течение долгого времени кое-как справлялся и с математикой, у меня обычно не бывало плохих отметок. Но из-за боязни провалиться, а также из-за чувства собственного ничтожества перед лицом окружающего большого мира я испытывал не просто неприязнь к школе, а нечто вроде бессловесного отчаяния, полностью уничтожившего во мне какие бы то ни было добрые чувства к учебе. Вдобавок, ввиду полной неспособности, я был освобожден от уроков рисования. В каком-то смысле это было хорошо, так как у меня появилось больше свободного времени; но с другой стороны это стало мо-

им очередным поражением, поскольку я умел неплохо рисовать, не подозревая, что мое умение всецело зависит от настроения. Я мог рисовать только то, что волновало мое воображение. Но меня заставили перерисовать изображения незрячих греческих богов; а поскольку у меня получилось плохо, учитель явно пришел к выводу, что мне нужно что-нибудь более натуралистическое, и поставил передо мной изображение козлиной головы. Справиться с этим заданием я уже совершенно не мог, и на этом занятии рисованием кончились.

К неудачам по математике и рисованию добавилась третья — по гимнастике. Я ненавидел гимнастику с самого начала. Я не мог вынести, чтобы другие говорили мне, как нужно двигаться. Я ходил в школу, чтобы учиться, а не заниматься бессмысленной акробатикой. Кроме того, из-за случившихся со мной в детстве происшествий мне была свойственна известная физическая робость, которую я смог преодолеть лишь значительно позднее. Эта робость, в свою очередь, связывалась с недоверием к миру и тем возможностям, которые он открывает. Вообще говоря, мир казался мне прекрасным и желанным, но одновременно полным смутных и непонятных опасностей. Поэтому я всегда хотел знать, чему и кому я веряю себя. Не было ли это связано с моей матерью, некогда покинувшей меня на несколько месяцев? Когда у меня начались невротические обмороки (о чем я расскажу чуть ниже), врач, к моему немалому удовольствию, запретил мне заниматься гимнастикой. Я избавился от этой обузы — и проглотил очередное поражение.

Высвободившееся таким образом время я тратил не только на игры. Я смог позволить себе более свободно предаваться развившейся у меня страсти читать любые попадавшие мне в руки отрывки покрытой буквами бумаги.

Двенадцатый год моей жизни оказался для меня поистине судьбоносным. Ранним летним днем 1887 года я стоял на соборной площади в ожидании приятеля, с которым мы возвращались домой одной дорогой. Был полдень, и утренние уроки уже закончились. Вдруг меня толкнул какой-то мальчик — да так сильно, что я упал, стукнулся головой о край тротуара и едва не потерял сознание. В течение примерно получаса после этого я не мог толком прийти в себя. В момент удара в моем мозгу молнией мелькнула мысль: «теперь-то ты больше никогда не пойдешь в школу!» Вообще-то все было не так уж страшно, однако я пролежал на земле несколько дольше необходимого — главным образом для того, чтобы отомстить обидчику. Потом прохожие помогли мне подняться и отвели в дом неподалеку, где жили две мои пожилые незамужние тетки.

С той поры у меня случались обмороки каждый раз, когда

мне нужно было идти в школу или когда родители заставляли меня делать домашнее задание. Я не посещал школу шесть с лишним месяцев, и это время стало для меня настоящим праздником. Я был свободен и мог часами мечтать, находиться где мне было угодно — в лесу или у воды — или рисовать. Я снова начал рисовать сцены битв, жестоких боев, осады и сожжения старинных замков; целые страницы я испещрял карикатурами. Похожие карикатуры иногда являются мне в полусонных видениях вплоть до нынешнего дня: подвижные, изменчивые, ослабившиеся маски, и среди них — знакомые лица давно умерших людей.

Важнее всего была моя способность погружаться в мир таинственного. Этому миру принадлежали деревья, пруд, болото, камни, животные и отцовская библиотека. Но я все более и более отдалялся от реального мира и в связи с этим испытывал легкие угрызения совести. Я бездельничал или тратил свое время на коллекционирование, чтение и игры. Но все это пробуждало во мне не столько чувство счастья, сколько смутное ощущение, что я бегу от самого себя.

Я уже не помню, как это сложилось, но я сочувствовал заботам своих родителей. Они посоветовались с докторами, глубокомысленно морщившими лбы, а затем отправили меня на каникулы к родственникам в Винтертур. В этом городе был железнодорожный вокзал, ставший для меня источником бесконечного наслаждения. Но когда я вернулся домой, все потекло как прежде. Один из докторов заподозрил у меня эпилепсию. Я знал, как выглядят эпилептические припадки, и внутренне смеялся над этим глупым диагнозом. Но волнение моих родителей превзошло все пределы. И вот как-то раз к отцу зашел один из его друзей. Они сидели в саду, а я, снедаемый ненасытным любопытством, прятался за кустом. Вдруг я услышал обращенный к отцу вопрос гостя: «А как чувствует себя твой сын?» «О, это очень грустная история, — ответил отец. — Врачи никак не могут определить, что же с ним происходит. Они подозревают эпилепсию. Ужасно, если она окажется неизлечимой. Я потерял то небольшое, что имел; что же станет с моим мальчиком, если он не сможет зарабатывать самостоятельно?»

Так я столкнулся лицом к лицу с действительностью. Потрясенный, я сразу же решил: «Значит, нужно приниматься за работу!» С этой минуты я превратился в серьезного мальчика. Я отполз в сторонку, встал на ноги и тут же направился в отцовский кабинет. Там я достал свою латинскую грамматику и принялся сосредоточенно зубрить ее. Спустя каких-нибудь десять минут со мной случился острейший приступ слабости. Я едва не упал со стула, но через несколько минут пришел в себя и вернулся к занятиям. «Черта с два я еще раз упаду в обморок», —

сказал я себе, упорно продолжая заниматься делом. На сей раз очередной приступ заставил ждать себя около пятнадцати минут. После того, как он тоже прошел, я подумал: «Теперь-то ты возьмешься за дело по-настоящему!» Еще час упорных занятий, и начался третий приступ. Но я не сдавался и работал еще час, пока не ощутил, что преодолел недуг. Внезапно я почувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние месяцы. И с той поры обмороки действительно прекратились. Я каждый день корпел над грамматикой и другими школьными учебниками. Спустя несколько недель я вернулся в школу, и даже там приступы не повторялись. Все кончилось, не оставив следа! Тогда-то я и усвоил, что такое невроз.

Постепенно я начал припоминать, каким образом сложилась вся эта постыдная ситуация, и в конце концов осознал, что я же и был ее виновником. Вот почему я никогда всерьез не сердился на одноклассника, свалившего меня с ног. Я знал, что он был, так сказать, орудием, и что вся история была моим дьявольским замыслом. Я знал также, что ничего подобного со мной больше не случится. Я сердился на себя и одновременно чувствовал жгучий стыд: ведь мне было известно, что я же и нанес себе ущерб и выставил себя дураком перед собой же. Больше винить никого не приходилось; гнусным предателем был я, и никто иной! С той поры я стал нетерпим к проявлениям родительского беспокойства на мой счет и к привычке родителей говорить обо мне в сочувственном тоне.

Невроз стал еще одной моей тайной, но это была постыдная тайна, неудача, поражение. Тем не менее благодаря неврозу у меня развились поистине исключительные педантичность и прилежание. В эти-то дни и возникло в моем характере такое качество, как добросовестность, причем в ней не было ничего показного. Я был добросовестен не ради того, чтобы произвести впечатление на других, а исключительно ради самого себя. Я приучил себя вставать каждый день в пять часов, чтобы пораньше начать заниматься, а иногда работал с трех часов пополудни до семи, когда уже надо было собираться в школу.

Свойством, сбившим меня с пути в этот период кризиса, была моя страсть к одиночеству. Природа казалась мне полной чудес, и я хотел погрузиться в них с головой. Любой камень, любое растение, любая мелочь казались живыми и неопишимо чудесными. Я целиком окунулся в природу, я, так сказать, заполз в ее самую глубинную сущность, подальше от человеческого мира.

Примерно в то же время у меня было еще одно очень важное переживание. Я шел в свою базельскую школу долгой дорогой от нашего дома в Кляйн-Хюнингене, как вдруг меня охватило ощущение, будто я только что вышел из густого облака. Я сразу

понят: теперь я стал *самим собой*! Казалось, за моей спиной стоит стена тумана, и то, что осталось за этой стеной, — еще не «я». Но теперь наконец я *встретился с самим собой*. Раньше я тоже существовал, но все вокруг просто происходило со мной. Но теперь я знал: я уже есмь я, я уже существую. Раньше со мной что-то делалось; теперь же я стал хозяином своей воли. Это переживание показалось мне потрясающе важным и новым: во мне появилось нечто весомое, обладающее властью. Интересно, что в описываемый период и даже раньше, в течение нескольких месяцев, когда я страдал приступами невротической слабости, я начисто забыл о своем сокровище на чердаке. Иначе я, вероятно, усмотрел бы сходство между своим ощущением властного «нечто» во мне самом и ощущением ценности, которое внушало мне мое сокровище. Но этого не произошло; воспоминания о пенале улетучились.

Почти тогда же меня пригласили провести каникулы с друзьями нашей семьи, у которых был дом на Боденском озере. К моей радости, дом стоял на берегу озера; к нему примыкал навес, под которым лежала весельная лодка типа гондолы. Хозяин дома разрешил своему сыну и мне пользоваться лодкой, хотя нам было строго-настрого приказано соблюдать осторожность. К сожалению, я уже успел научиться управлять такими лодками. Дома у нас была плоскодонка, на которой мы проделывали самые разнообразные трюки. Посему я стал на корму и, орудуя одним веслом, отплыл далеко от берега. Осторожный хозяин дома не мог этого выдержать. Свистом отозвав нас назад, он задал мне изрядную головоломку. Я совершенно упал духом, поскольку не мог не признать, что совершил нечто прямо запрещенное, и поэтому преподанный мне урок совершенно справедлив. Но одновременно я был в бешенстве оттого, что этот толстый невежда и грубиян осмелился оскорбить *меня*. Этот «Я» был не просто уже взрослой, но и важной, имеющей определенный вес личностью, владеющей собственной конторой, наделенной чувством собственного достоинства — старцем, заслужившим уважение и боязливое почтение окружающих. Но контраст с действительностью носил настолько гротескный характер, что вся моя ярость сошла на нет, стоило мне подумать: «Положа руку на сердце, кто ты есть в этом мире? Ты ведешь себя как важная шишка. Но ведь ты знаешь, что он абсолютно прав. Ты всего лишь двенадцатилетний школьник, а он — отец семейства и к тому же богач, владеющий двумя домами и конюшней».

Тут, к моему величайшему замешательству, мне пришло в голову, что я вмещаю в себя две разные личности. Одна из них — школяр, не способный понять алгебру и совершенно не уверенный в своих силах, тогда как другая — важный, серьезный, значительный человек, могуществом и влиятельностью ничуть не

уступающий этому промышленнику. Этот «Другой» был стариком, жившим в восемнадцатом веке, носившим башмаки на пряжках и белый парик и разъезжавшим в старинной рессорной карете на высоких задних колесах.

Этот образ возник из одного занятого переживания. Когда мы жили в Кляйн-Хюнингене, мимо нашего дома как-то раз проехала старинная шварцвальдская зеленая карета. При виде ее мне показалось, что на дворе восемнадцатое столетие, и я в восторге подумал: «Вот оно! Совершенно ясно, что эта карета — из *моего* времени». У меня было ощущение, что я узнал этот экипаж, потому что сам когда-то управлял таким же. Затем мне стало очень горько, словно кто-то меня обокрал или обманом отнял нечто дорогое и любимое — мое прошлое. Карета была осколком тех времен! Я не могу описать, что происходило во мне или что оказало на меня такое сильное воздействие: тоска, ностальгия или чувство узнавания, как бы говорившее: «Вот как это было!»

У меня было еще одно переживание, обращенное к восемнадцатому столетию. В доме одной из моих теток я увидел раскрашенную терракотовую статуэтку восемнадцатого века, изображавшую две фигуры. Одной из них был старый доктор Штюкельбергер, хорошо известный в Базеле в конце восемнадцатого века. Второй была его пациентка, изображенная с закрытыми глазами и высунутым языком. Рассказывали, что как-то раз старый доктор Штюкельбергер переходил по мосту через Рейн, и тут к нему невесть откуда подскочила эта назойливая пациентка и принялась на что-то жаловаться. Старый Штюкельбергер в раздражении сказал: «Да, да, вы, верно, чем-то больны. Высуньте язык и закройте глаза». Женщина повиновалась, а Штюкельбергер удрал и был таков; женщина так и осталась стоять с высунутым языком, вызывая насмешки прохожих. У статуэтки доктора были башмаки с пряжками, в которых я почему-то признал свою собственность. Убежденный, что когда-то носил эти башмаки, я воскликнул: «Да это же мои!» Я ощущал их на своих ногах, но не мог объяснить, откуда у меня взялось это странное, нелепое ощущение. В те дни я нередко писал дату 1786 вместо 1886 и каждый раз, когда это происходило, меня охватывала необъяснимая тоска.

После выходки с лодкой и заслуженного наказания я стал размышлять над этими разрозненными впечатлениями, и они сложились в целостную картину, где я одновременно жил в двух разных эпохах и был двумя разными личностями. Охваченный невеселыми думами, я пришел в полное замешательство и в конце концов сделал неутешительный вывод: сейчас, во всяком случае, я всего лишь маленький школьник, заслуживший наказание и обязанный вести себя сообразно своему возрасту. Вторая лич-

ность — чистая бессмыслица. Я заподозрил, что она каким-то образом связана с многочисленными рассказами о деде, слышанными мною от родных. Но это было не так, поскольку мой дед родился в 1795 году, то есть жил в девятнадцатом веке; к тому же он умер задолго до моего рождения. Не следовало отождествлять себя с ним. Должен сказать, что в то время описываемые здесь соображения приходили мне в голову главным образом в виде слабых проблесков и сновидений. Не могу припомнить, знал ли я тогда что-либо о своем предполагаемом родстве с Гете. Думаю, что нет, поскольку я впервые услышал эту историю от чужих мне людей. Должен добавить, что по набившему оскомину семейному преданию дед мой считался незаконным сыном Гете¹.

В один прекрасный летний полдень того же 1887 года я вышел из школы и отправился на соборную площадь. Солнце торжественно сияло, день лучился светом. Крыша собора сверкала во всю; солнце отражалось от новых, покрытых глазурью черепиц. Я был потрясён красотой открывшегося вида и только подумал: «Мир прекрасен, и этот собор прекрасен, и Бог создал все это и

-
- 1 Относительно упомянутой в данной книге легенды о том, что Юнг — потомок Гете, в нашем распоряжении имеется следующее сообщение самого Юнга: «Жена моего прадеда Франца Игнаца Юнга (умершего в 1831 году) Зофи Циглер и ее сестра были связаны с Мангеймским театром и дружили со многими писателями. Рассказывают, будто Зофи Циглер родила ребенка от Гете; это был не кто иной, как мой дед Карл Густав Юнг. Считалось, что это достоверный факт. Впрочем, мой дед в своих дневниках не распространяется на данную тему. Он вспоминает только, что некогда видел Гете в Веймаре, и то со спины! Зофи Циглер-Юнг впоследствии подружилась с Лотте Кестнер, племянницей гетевской «Лотхен». Эта Лотте часто навещала моего деда — кстати, так же, как и Франц Лист. Позднее Лотте поселилась в Базеле — несомненно, ввиду близких дружественных связей с семьей Юнгов».
- Это семейное предание не нашло подтверждения в таких доступных нам источниках, как Гетевский архив во Франкфурте-на-Майне и реестр крестин в церкви иезуитов в Мангейме. В соответствующий период Гете не был в Мангейме; не существует также свидетельств, что Зофи Циглер бывала в Веймаре или каком-либо другом городе одновременно с Гете. Юнг имел обыкновение говорить об этом упорно поддерживаемом семейном предании с чувством веселой удовлетворенности. Оно отчасти объясняет его восхищение «Фаустом»: ведь последний, так сказать, принадлежал к его внутренней реальности. Иногда, однако, он отзывался об этом предании с раздражением, как о «безвкусице», и повторял, что мир и без того переполнен «дураками, рассказывающими байки о великих предках». Он прежде всего считал, что законная линия его предков — представленная, в частности, ученым католиком, доктором и юристом Карлом Юнгом (ум. в 1645 году), о котором речь пойдет в главе 8, — не менее значима. (*Прим. А. Яффе.*)

восседает над этим в синем небе на золотом престоле и...», — как вдруг в моих мыслях наступил глубокий провал, у меня перехватило дыхание, я словно оцепенел и сознавал только одно: «Не думать об этом! Наступает нечто ужасное, нечто такое, о чем я не желаю думать, к чему я даже не осмеливаюсь приблизиться. Но почему? Потому что я рискую совершить ужаснейший из грехов. Но какой грех самый ужасный? Убийство? Нет, это не убийство. Ужаснейший из грехов, который не может быть прощен, — это грех против Святого Духа. Любой, совершающий этот грех, обречен на вечные муки. Мои родители будут очень огорчены, если их единственный сын, к которому они так привязаны, окажется приговорен к вечному наказанию. Я не могу причинить такое зло моим родителям. Мне нужно только перестать думать».

Но это было легче сказать, чем сделать. На долгом пути к дому я пытался думать о чем угодно, но мысли мои то и дело возвращались к прекрасному собору, который мне так нравился, и к Богу, сидящему на престоле, — но каждый раз на этом месте мои мысли разлетались вдребезги, словно их поражал мощный удар электрического тока. Я упорно повторял: «Не думай об этом, просто не думай об этом!» К тому времени, когда я дошел до дома, мои нервы были уже на пределе. Мать заметила что-то неладное и спросила: «Что с тобой? Что-то случилось в школе?» Я абсолютно искренне уверил ее, что в школе все в порядке. Мне показалось, что если бы я мог исповедаться матери в истинной причине охватившей меня растерянности, это бы мне помогло. Но поступить так значило бы совершить нечто с моей точки зрения недопустимое — додумать мысль до конца. Бедная матушка ни о чем не подозревала и не могла знать, что мне угрожает страшная опасность совершить непростительный грех и ввергнуть себя в ад. Я отказался от мысли об исповеди и постарался вести себя по возможности незаметно.

В ту ночь я спал плохо; запретная, неуловимая мысль стремилась прорваться наружу, и я отчаянно боролся, пытаясь ее отогнать. Последующие два дня были сущей пыткой, и мать не сомневалась, что я заболел. Но я устоял перед соблазном исповедаться, ободряемый мыслью о том, что тем самым избавляю родителей от горестных переживаний.

На третью ночь, однако, мои страдания стали настолько невыносимы, что я уже просто не знал, что делать. Я пробудился от беспокойного сна и тут же опять поймал себя на мысли о соборе и Боге. Я был близок к тому, чтобы продолжить мысль! Я почувствовал, что мое сопротивление слабеет. Весь взмокший от страха, я сел на кровати, чтобы отогнать сон. «Вот оно близится. Теперь это серьезно! *Я вынужден думать.* Это надо сперва продумать. Почему я должен думать о вещах, которых не

знаю? Бог свидетель, я ведь этого не хочу. Но *кто* хочет этого вместо меня? *Кто* хочет заставить меня думать о чем-то, чего я не чувствую и не хочу знать? Откуда исходит эта пугающая воля? И почему именно *мне* приходится испытывать ее на себе? В мыслях своих я всегда восхвалял Создателя этого прекрасного мира, я был благодарен Ему за этот неизмеримый дар; так почему же именно *мне* в голову приходит столь невообразимо дурная мысль? Я не знаю, что это, я действительно не знаю, поскольку не могу и не должен даже приближаться к этой мысли, ибо тогда возникнет опасность продумать ее всю сразу. Я не делал и не хотел делать этого, это явилось мне как дурной сон. Откуда приходят подобные вещи? Это случилось со мной без моего участия. Но почему же? В конце концов, не сам же я себя сотворил; я пришел в мир таким, каким меня создал Бог — то есть каким меня сделали родители. Неужели они могли бы хотеть чего-то подобного? Но у моих добрых родителей никогда не возникло бы таких мыслей. Невозможно даже представить себе, чтобы с ними могли произойти подобные ужасы».

Я счел свою мысль нелепой. Потом я подумал о своих дедах и бабках, которых знал только по портретам. Они выглядели доброжелательными и достойными людьми; это само по себе исключало всякую мысль об их возможной виновности. Мысленно я прошелся по длинной галерее неизвестных предков, пока не добрался до Адама и Евы. И вот тогда мне явилась решающая мысль: Адам и Ева были первыми людьми, у них не было родителей, то есть они были созданы непосредственно Богом согласно Его намерениям. У них не было выбора; они должны были быть точно такими, какими их создал Бог. И потому они не знали, как это вообще возможно — быть другими. Они были совершенными творениями Бога, ибо Он творит только совершенное; но все же они впали в первородный грех, сделав нечто, противоречащее Божьему желанию. Как это случилось? Они не сумели бы этого сделать, если бы Бог не вселил в них такую способность. Я понял также, что Бог создал змея раньше Адама и Евы специально для того, чтобы было кому ввести их в грех. Бог в Своем всеведении устроил все так, чтобы прародители согрешили. Значит, *их грех входил в Его намерения*.

Эта мысль принесла мгновенное облегчение, ибо мне стало ясно, что Сам Бог поставил меня в это положение. Поначалу я не знал, рассчитывал ли Он на то, что я совершу грех или нет. Я уже не думал о том, чтобы в молитве своей просить об озарении, ибо Богу, помимо моего желания, было угодно поставить меня перед этим и покинуть без всякой помощи. Я понял, что должен совершенно самостоятельно отгадать Его намерение и найти выход. И отсюда началось другое рассуждение.

«Чего Бог хочет? Хочет ли Он, чтобы я действовал? Я должен

угадать, чего же Бог хочет от меня, причем должен сделать это немедленно». Конечно же, я сознавал, что согласно принятой морали задача однозначна: греха нужно избежать. До тех пор я действовал именно в таком духе; но я знал, что теперь от меня требуется нечто иное. Нарушенный сон и тяжелые духовные переживания совершенно изнурили меня; чем упорнее я отгонял от себя мысль, тем невыносимей становились стягивавшие меня путы. Дальше так продолжаться не могло. И все же мне нельзя было сдаваться, так и не поняв Божьей воли и Его намерений. Ведь теперь я уже был уверен, что безнадежную задачу измыслил именно Он. Как ни странно, в то время я не думал, что все происходившее могло быть проделкой дьявола. В моей умственной жизни дьявол не играл существенной роли; во всяком случае, я считал его совершенно бессильным по сравнению с Богом. Но с того момента, когда я вышел из тумана и начал осознавать себя, мое воображение стали преследовать такие свойства Бога, как единство, могущество и сверхчеловеческое величие. И потому у меня не было сомнений, что Сам Бог устроил мне решающее испытание, и что все зависит от того, правильно ли я пойму Его. Я не сомневался, что в конечном счете мне придется сдаться, уступить, но я бы хотел при этом понимать смысл происходящего: ведь на волоске висело не что иное, как спасение моей бессмертной души.

«Бог знает, что я больше не могу сопротивляться, но Он мне не помогает, хотя еще совсем немного — и я совершу непростибельный грех. В Своем всемогуществе Он может с легкостью избавить меня от вынужденных страданий, но, судя по всему, Он не собирается этого делать. Возможно ли, чтобы Он хотел испытать мою покорность таким необычным способом, требуя от меня поступать против моих нравственных убеждений, против религии и даже против Его же собственных заповедей, требуя совершить нечто такое, чему я противлюсь изо всех сил, поскольку страшусь вечного проклятия? Возможно ли, чтобы Бог желал удостовериться в моей способности повиноваться Его воле даже несмотря на то, что мои вера и разум вызывают перед моим внутренним взором призраки смерти и ада? Наверное, здесь-то и кроется ответ! Но это лишь мои собственные мысли. Я могу ошибаться. Я не осмеливаюсь до такой степени доверяться своей способности к рассуждению. Я должен продумать все это еще раз».

Но и после более глубоких размышлений я пришел к сходному выводу: «Очевидно, Бог хочет также, чтобы я проявил отвагу. Если это действительно так, и я дойду в своих размышлениях до конца, Он изольет на меня благодать и просветит меня».

Я призвал всю свою отвагу, словно перед прыжком прямо в адский огонь, и позволил мысли развиваться дальше. Я увидел

перед собой собор и синее небо. Бог восседает на золотом престоле высоко над миром — и вот из-под престола на сверкающую крышу падает чудовищный кусок дерьма, он разбивает ее, и стены собора разлетаются вдребезги.

Вот оно! Я ощутил огромное, неопишемое облегчение. Вместо ожидаемого проклятия на меня снизошла благодать, а вместе с ней — такое невыразимое блаженство, какого я никогда не знал. Я заплакал от счастья и благодарности. Теперь, когда я выполнил неумолимое повеление Бога, мне открылись Его мудрость и доброта. Я словно испытал озарение. Мне стало ясно многое из того, чего я прежде не понимал. Я подумал: вот чего не понимает мой отец. Он не испытал на себе Божьей воли; он противится ей из лучших побуждений, движимый настоящей, глубокой верой. Именно поэтому ему не дано испытать чудо всеисцеляющей и всепросвещающей благодати. Он руководствуется библейскими заповедями; он верит в Бога так, как предписывает Библия и как его учили предки. Но он лишен непосредственного знания живого Бога, всесильно и свободно возвышающегося над Библией и Церковью, уделяющего человеку от Своей свободы и способного заставить его отказаться от собственных взглядов и убеждений ради того, чтобы безоговорочно выполнить Его повеление. Подвергая отвагу человека испытаниям, Бог отказывает ему в поддержке со стороны традиции, какой бы священной она ни была. В Своем всемогуществе Он ясно показывает, что от подобных испытаний человеческой отваги в действительности не может возникнуть никакое зло. Если человек выполняет Божью волю, он может быть уверен, что находится на верном пути.

Создавая Адама и Еву, Бог также позаботился о том, чтобы они вынуждены были думать о вещах, для них нежелательных. Ему это нужно было, дабы убедиться в их покорности. И от меня Он также мог потребовать чего-то неприемлемого с точки зрения общепринятых религиозных представлений. Моя покорность привела к тому, что на меня снизошла благодать; после этого переживания я понял, что такое Божья благодать. Нужно полностью предаться Богу; ничто не имеет значения, кроме выполнения Его воли. В противном случае все оказывается безрассудным и бессмысленным. С момента, когда я испытал благодать, я стал истинно ответственным человеком. Зачем Бог осквернил Свой собор? Мысль об этом казалась мне ужасной. Но потом пришло смутное понимание, что Бог может быть также чем-то ужасным. Я пережил мрачную и ужасную тайну. Она омрачила всю мою жизнь, и я сделался глубоко задумчив.

Кроме того, это переживание способствовало развитию моего чувства неполноценности. Я считал себя дьяволом или свиньей, то есть бесконечно развращенным существом. Но потом

я принялся изучать Новый Завет и с немалым удовлетворением прочел о фарисее и мытаре и о том, что отвергнутые суть избранные. На меня произвела глубокое впечатление похвала неверному управителю¹, а также то обстоятельство, что подверженный колебаниям Петр был поставлен скалой, на которой воздвигнута Церковь.

По мере возрастания чувства неполноценности излившаяся на меня Божья благодать казалась мне все менее и менее понятной. Я и так никогда не был уверен в себе. Когда мать однажды сказала мне: «Ты всегда был хорошим мальчиком», я просто не мог этого понять. Я — и вдруг хороший мальчик? Это было что-то новое. Я часто думал о себе как о существе испорченном и ничтожном.

Благодаря переживанию, связанному с Богом и собором, я наконец получил в свое распоряжение нечто реальное, осязаемое, бывшее частью великой тайны — словно я всегда знал с чужих слов о камнях, падающих с неба, и теперь носил один из них в кармане. Но переживание это вызывало у меня чувство стыда. Я погряз в чем-то дурном, мрачном и зловещем, хотя в то же время оказался каким-то образом отмеченным. Иногда я испытывал неудержимую потребность говорить — но мне хотелось не прямо сообщить о своем переживании, а лишь намекнуть, что обо мне можно порассказать много интересного, о чем никто на свете не подозревает. Я хотел разузнать, не случилось ли такого и с другими, но ничего похожего не нашел. В итоге у меня возникло чувство, что я то ли отвергнут, то ли избран, то ли проклят, то ли благословен.

Мне никогда не приходило в голову говорить об этом своем переживании открыто — так же, как о привидевшемся во сне фаллосе в подземном храме или вырезанном из дерева человеке. О сновидении с фаллосом я впервые заговорил, когда мне было шестьдесят пять. О других переживаниях я, возможно, рассказывал своей жене, но только в поздние годы. Это наследие моего детства было табу. Я никогда не смог бы обсуждать его с друзьями.

Вся моя юность может быть понята в свете этой тайны, явившейся причиной моего почти невыносимого одиночества. Важно, что мне удалось удержаться и не заговорить о ней с другими людьми. Модель моих отношений с миром была в то время предопределена: ныне, как и тогда, я одинок, поскольку знаю нечто такое (и, соответственно, вынужден намекать на нечто такое), чего другие не знают и обычно даже не хотят знать.

В семье моей матери было шесть пасторов; к тому же священником был не только мой отец, но и двое его братьев. Соответ-

1 См.: Лука, 16:8.

ственно, мне часто приходилось слышать разговоры на религиозные темы, теологические споры и проповеди. При этом я каждый раз чувствовал одно и то же: «Да, да, все это прекрасно, но как же насчет тайны? Никто из вас ничего об этом не знает. Вы не знаете, что Бог хочет заставить меня поступить несправедливо, что Он заставляет меня думать о мерзостях, дабы пережить Его благодать». Все, что говорили другие, не имело отношения к существу дела. Я думал: «Должен же быть кто-нибудь, хоть что-то знающий об этом; ведь где-то есть правда». Я обшарил отцовскую библиотеку, читая все, что было возможно, о Боге, Троице, духе, сознании. Я проглатывал книги одну за другой, но ума они мне не прибавили. Я постоянно ловил себя на мысли: «Они тоже не знают». Мои поиски коснулись и Лютеровской Библии. К сожалению, обычное «назидательное» толкование книги Иова помешало мне сколько-нибудь глубоко заинтересоваться этой книгой, иначе я мог бы найти утешение именно в ней, в особенности в стихах 9:30—31: «Хотя бы я омылся и снежною водою... то и тогда Ты погрузишь меня в грязь».

Позднее мать рассказывала мне, что в те дни я часто бывал подавлен. В действительности дело обстояло не совсем так; точнее было бы сказать, что я размышлял над своей тайной, причем особенно удивительное ощущение уверенности и спокойствия приходило ко мне, когда я садился на свой камень. Это каким-то образом избавляло меня от всех сомнений. Стоило мне подумать, что я — камень, как конфликт прекращался. Я думал: «Камень не знает сомнений и колебаний и не испытывает потребности в общении; он остается неизменным тысячи лет. Я же — явление преходящее, то и дело загорающееся самыми разнообразными эмоциями, подобно яркому, но быстро гаснущему пламени». Я был не более чем суммой своих эмоций, тогда как «Другой» во мне был вневременным, непреходящим камнем.

2 В тот же период я начал серьезно сомневаться во всем, что говорил отец. Когда в своих проповедях он говорил о благодати, я неизменно думал о своем переживании. Его речи казались мне избитыми и бессодержательными — подобно истории, рассказываемой с чужих слов кем-то, совершенно не верящим в ее правдивость. Я хотел бы помочь ему, но не знал как. К тому же излишняя застенчивость не позволяла мне рассказать отцу о своем переживании или касаться его личной жизни. С одной стороны, я чувствовал себя слишком маленьким; с другой же стороны, я боялся проявить ту могучую власть, которую давала мне моя «вторая личность».

Позднее, в возрасте восемнадцати лет, я часто спорил с от-

цом, втайне надеясь объяснить ему, в чем заключается чудо благодати, и таким образом помочь ему успокоить угрызения совести. Я был убежден, что если он выполнит Божью волю, все обернется к лучшему. Но наши разговоры всегда кончались неудачно. Они его раздражали и огорчали. Он обыкновенно говорил: «Какая чепуха! Ты все время порываешься думать, но нужно не думать, а верить». Мысленно я отвечал: «Нет, нужно пережить и познать», но вслух говорил: «Дай мне эту веру», после чего он пожимал плечами и отворачивался с видом полной безнадежности.

У меня стали появляться друзья, главным образом смирные мальчишки из простых. Мои школьные отметки стали лучше. В течение последующих лет мне удалось даже стать лучшим учеником в классе. Но я заметил, что уступавшие мне в успехах одноклассники испытывали ко мне зависть и при любом удобном случае старались меня догнать. Это портило мне все удовольствие. Я ненавидел любые соревнования, и стоило кому-нибудь внести в игру слишком явный состязательный элемент, как я выходил из игры. С той поры я стал держаться на втором месте, что казалось мне куда более привлекательным. Учеба в школе и так была достаточно неприятна, чтобы отягощать ее еще и гонкой за успехами. Лишь немногие учителя, которых я вспоминаю с чувством благодарности, оказывали мне особое доверие. С самым большим удовольствием я вспоминаю преподавателя латыни — университетского профессора и человека большого ума. Благодаря отцовским урокам я знал латынь с шестилетнего возраста. Поэтому вместо того, чтобы заставлять меня сидеть на занятиях, этот преподаватель часто посылал меня получить для него книги в университетской библиотеке; я же, стараясь по возможности продлить обратный путь, с наслаждением погружался в чтение этих книг.

Большинство учителей считало меня туповатым, но хитрым. Стоило в школе произойти какой-нибудь неприятности, как подозрение падало на меня. Меня считали зачинщиком всех школьных скандалов. В действительности же я был замешан в скандале лишь однажды и как раз тогда обнаружил, что среди одноклассников у меня есть немало врагов. Семеро из них неожиданно напали на меня из засады. Я был довольно хорошо развит для своих пятнадцати лет и легко впадал в ярость. Разозлившись, я схватил одного из нападавших, приподнял его над землей, хорошенько раскрутил и, ударя остальных его ногами, свалил кое-кого из них наземь. Учителя прознали об этой истории, но я лишь смутно вспоминаю о постигшем меня наказании, которое, впрочем, показалось мне несправедливым. С той поры никто больше не осмеливался на меня нападать.

Я не ожидал, что буду иметь врагов и подвергаться неспра-

ведливым обвинениям; но все-таки нельзя сказать, что это было выше моего понимания. Когда меня в чем-то упрекали, я возмущался; но самому себе я неизменно признавался в том, что во многом, действительно, заслуживаю упреков. Я знал о себе настолько мало, и знание мое было настолько противоречиво, что мне приходилось принимать как должное любые обвинения. В сущности, моя совесть всегда была нечиста, и я сознавал уже совершенные и возможные ошибки. Посему я был особенно чувствителен к порицаниям: ведь все они имели довольно веские основания. Пусть даже я не совершал того, в чем меня обвиняли, — но я чувствовал, что способен это совершить. Я был готов представить целый список оправданий на случай любого возможного обвинения. Совершая нечто действительно недозволенное, я ощущал облегчение — ведь тогда я хотя бы знал, из-за чего моя совесть нечиста.

Естественно, я компенсировал свою внутреннюю неуверенность внешней, показной самоуверенностью — или, лучше сказать, мой недостаток компенсировал себя сам, без вмешательства воли. Таким образом, в собственных глазах я оказывался виновным, желая в то же время быть невинным. Где-то в глубине у меня сохранялось знание о том, что я представляю собой две личности. Одна из них есть сын моих родителей — менее умный, внимательный, трудолюбивый, благонравный и чисто-плотный, нежели многие другие школьники; что же касается второй личности, то это взрослый, даже старый человек, скептический, недоверчивый, чужающийся мира людей, но близкий к природе, земле, солнцу, луне, стихиям, ко всему живому, но прежде всего — к ночи, сновидениям и к тому, что непосредственно пробуждается в нем «Богом». Слово «Бог» я здесь беру в кавычки, ибо природа казалась мне чем-то оставленным Богом, «небожественным», подобно мне самому, хотя и созданным Им с целью выразить Себя. Ничто не могло убедить меня, что слова «по образу Божьему» применимы только к человеку. Мне казалось, что горы, реки, озера, деревья, цветы и животные куда лучше удостоверяют сущность Бога, нежели люди с их нелепыми одеждами, с их убожеством, суетностью, лживостью и эгоизмом — всеми теми качествами, которые были слишком хорошо знакомы моей «личности номер один», школьнику образца 1890 года. Помимо мира, в котором жил этот школьник, существовали и другие сферы — например, храм, где каждый входящий преображался, внезапно ощутив мощь являвшегося ему видения целого космоса, которым можно было лишь самозабвенно восхищаться. Здесь жил «Другой», знавший Бога как глубоко скрытую личную и в то же время сверхличную тайну. Здесь ничто не разделяло человека и Бога; казалось, человеческий разум и Бог вместе, одновременно глядят отсюда вниз, на Творение.

То, что я здесь излагаю в виде связной последовательности, фраза за фразой, в то время еще не было мною как следует осознано; я ощущал это скорее как необычайно интенсивное, всепоглощающее предчувствие. В подобные моменты я знал, что достоин сам себя, что я есмь моя истинная Самость. Каждый раз, оставаясь в одиночестве, я обретал способность переходить в это состояние. Поэтому я стремился к спокойствию и одиночеству для этого «Другого», «личности номер два».

Такое взаимодействие «первой» и «второй» личностей, продолжающееся вплоть до сего дня, не имеет ничего общего с «раздвоением» в обычном медицинском смысле. Напротив, оно происходит в любом человеке. В моей жизни «вторая» личность играла и играет важнейшую роль, и я всегда старался открыть путь всему, что приходило ко мне изнутри. Эта «вторая» личность — фигура вполне типичная, но замечают ее очень немногие. Среднему человеку не дано уразуметь, что «Другой» — это также и он сам.

Церковь постепенно стала для меня местом пытки. В ней проповедники осмеливались говорить во весь голос — я бы даже сказал, бесстыдно — о Боге, о Его намерениях и действиях. В ней людей убеждали испытывать чувства и *верить* в тайну; а ведь я *знал*, что тайна эта представляет собой глубочайшую, сокровенную непреложность, которой нельзя обнаружить ни единым словом. Я не мог не прийти к выводу, что этой тайны не знает никто, даже пастор — иначе он не осмелился бы излагать таинство Божества публично и, таким образом, профанировать эти невыразимые чувства плоской сентиментальной болтовней. Более того, я был убежден, что это ложный путь к Богу; ведь я знал, знал по опыту, что благодать дается только тому, кто безоговорочно выполняет Божью волю. Правда, с амвона также проповедовалось нечто подобное, но с обязательным допущением, что Божья воля является в откровении совершенно ясной, не требующей дополнительной расшифровки. Мне же она казалась в высшей степени темной и непонятной. Мне казалось, что долг человека — постоянно исследовать волю Бога. Сам я этого пока не делал, но чувствовал, что все изменится, как только у меня появится настоящая для того причина. Личность номер один отнимала у меня слишком много времени. Мне часто казалось, что религиозные предписания ставятся на место Божьей воли — которая может быть столь неожиданной и пугающей — исключительно ради того, чтобы избавить людей от необходимости ее понять. Мой скептицизм непрерывно возрастал; проповеди отца и других пасторов стали меня крайне раздражать. Все вокруг принимали эту тарабарщину за чистую монету. Они, не задумываясь, проглатывали все противоречия, как

то: Бог всеведущ и поэтому предвидел всю человеческую историю, Бог действительно создал людей с расчетом, что они согрешат, и тем не менее запрещает им грешить и даже карает их вечным проклятием в адском огне.

Как ни странно, долгое время дьявол не играл в моих размышлениях никакой роли. Он казался мне не более страшным, чем злобный цепной сторожевой пес при могущественном хозяине. Все в мире было обязано своим происхождением и существованием одному только Богу, а Он — как я уже слишком хорошо знал — мог быть ужасен. Мои сомнения и неуверенность возрастали, стоило мне услышать, как мой отец в своих страстных проповедях толкует о «добром» Боге, восхваляет любовь Бога к людям и побуждает людей любить Его в ответ. «Действительно ли он знает, о чем говорит?» — спрашивал я себя. «Неужели он смог бы занести надо мною, своим сыном, словно над Исааком, жертвенный нож, или, словно Иисуса, предать меня несправедливому суду и тем самым обречь на распятие? Нет, не смог бы. Значит, в некоторых случаях он не смог бы выполнить Божью волю, которая, как ясно сказано в Библии, может быть ужасной». Я понял, что когда людей побуждают, среди прочего, повиноваться Богу, а не человеку, это делается небрежно и необдуманно. Очевидно, мы вообще не знаем Божьей воли, ибо в противном случае относились бы к этому вопросу вопросов с благоговейным трепетом, если не сказать с ужасом перед всемогущим Богом — Тем, чья устрашающая воля способна сделать с любым человеком то же, что и со мной. Мог ли кто-либо из тех, кто претендует на знание Божьей воли, предвидеть, что Он заставит меня сделать? Во всяком случае, в Новом Завете я не нашел ничего похожего. Что касается Ветхого Завета, то здесь — а в особенности в Книге Иова — многое могло бы открыть мне глаза; в то время, однако, я знал Ветхий Завет еще очень плохо. Ничего полезного для себя я не услышал и в наставлении по конфирмации, полученном мною как раз в то время. Страх Божий, конечно, упоминался, но считался чем-то устаревшим, «еврейским», что давно было вытеснено христианским представлением о Божественной любви и доброте.

Таинственная символика моих детских переживаний, жестокая непрекращаемость являвшихся мне образов — все это совершенно вывело меня из равновесия. Я спрашивал себя: «Кто говорит подобное? Кому хватает бесстыдства демонстрировать фаллос с такой откровенностью, да еще в гробнице? Кто заставляет меня думать, что Бог разрушает Свою Церковь, да еще таким гнусным способом?» В конце концов я спросил себя, не продолжки ли это дьявола. У меня никогда не возникало сомнений, что говорящий и действующий таким образом — не кто иной,

как Бог или дьявол; уж во всяком случае я был совершенно уверен, что эти мысли и образы придуманы не мной.

Все эти переживания сыграли в моей жизни ключевую роль. Именно тогда мне стало совершенно ясно: я должен взять ответственность на себя, моя судьба зависит только от меня самого. Передо мной была поставлена задача, и мне предстояло ее решить. Но кто ее поставил? На готовые ответы рассчитывать не приходилось. Я знал, что решение нужно искать в сокровенных глубинах моего «Я», что я одинок перед Богом, что одному только Богу доступно задавать мне эти страшные вопросы.

Изначально мне было свойственно чувство судьбы; я воспринимал жизнь как нечто предписанное и видел свою цель в том, чтобы исполнить волю судьбы. Это давало мне ощущение внутренней надежности, причем не я доказывал себе его истинность, но оно доказывало мне истинность самого себя. Не я владел своей уверенностью; она владела мной. Никто не мог отнять у меня убежденности, что мне поручено сделать то, чего хочет Бог, а не я сам. Это давало мне силы идти своей дорогой. Часто мне казалось, что в решающие минуты я освобождаюсь от своего земного, человеческого окружения и остаюсь наедине с Богом. И стоило мне оказаться «там», где я был уже не одинок, время для меня исчезало; я принадлежал вечности. Тот, кто мне отвечал, существовал всегда. Он существовал до моего рождения. Он, вечный, был там, со мной. Эти разговоры с «Другим» были моими самыми глубокими переживаниями: жестокая борьба сочеталась в них с высшим восторгом.

Естественно, говорить обо всем этом мне было не с кем. Единственным человеком, с которым я, возможно, мог бы поделиться, была моя мать. Казалось, она мыслит во многом сходно со мной; но говорила она не так, как я ожидал. В ее отношении ко мне преобладало обожание, а мне было нужно совсем не это. В результате я оставался со своими мыслями один на один. И, в общем, мне это нравилось. Я играл сам с собой, в одиночестве бродил по лесам, мечтал и был владельцем собственного тайного мира.

У меня была очень хорошая мать. В ней было какое-то животное тепло, она была необычайно сердечна, гостеприимна и весьма дородна. Она любила поговорить, и ее жизнерадостное щебетание походило на веселый плеск фонтана. Она обладала несомненным литературным талантом в сочетании с глубиной и вкусом. Но этот ее дар никогда не проявился по-настоящему; он так и остался скрыт за внешним обликом добродушной полной пожилой женщины, необычайно хлебосольной и наделенной большим чувством юмора. Она разделяла обычный, обязательный набор мнений человека ее круга; но иногда на поверхность вдруг прорывалась ее бессознательная личность. Эта

сверх всяких ожиданий сильная личность представляла собой мрачную, внушительную фигуру, чье неуязвимое могущество казалось самоочевидным. Я был убежден, что мать состоит из двух личностей: невинно-человеческой и жутковато-сверхъестественной. Эта вторая личность проявляла себя не слишком часто, но каждый раз — неожиданно и пугающе. Мать принималась разговаривать словно про себя, но все, что она говорила, относилось ко мне и обычно затрагивало самую сердцевину моего существа. В такие моменты я буквально терял дар речи.

Впервые на моей памяти нечто подобное произошло, когда мне было шесть лет. В тот период по соседству с нами жило преуспевающее семейство с тремя детьми — мальчиком примерно моих лет и двумя младшими девочками. Горожане по происхождению, родители — особенно по воскресеньям — одевали детей, по моим понятиям, очень забавно: в лакированные кожаные туфельки, белые оборочки, белые перчаточки. Даже в будние дни дети были аккуратно вычищены и причесаны. У них были вычурные манеры, и они всячески старались держаться подальше от меня — не слишком воспитанного, грубоватого мальчишки в драных штанах, дырявых башмаках и с грязными руками. Мать бесконечно досаждала мне своими сравнениями и замечаниями: «Погляди на этих прелестных детишек, таких воспитанных и вежливых; и не надоело тебе вести себя точно какой-нибудь деревенщине!» Подобные увещевания меня унижали, и я, конечно же, не преминул отколотить мальчика. Мать пришла в ужас и, обливаясь слезами, учинила мне поистине жуткий разнос. Я не чувствовал за собой никакой вины; напротив, я был очень доволен собой — ведь мне удалось показать этому чужаку, что ему не место в нашей деревне. Но, глубоко потрясенный возмущением матери, я виновато отошел к своему столу за нашими старыми клавирами и принялся играть в кубики. В комнате воцарилось молчание. Мать, как обычно, сидела у окна и вязала. Спустя некоторое время я услышал ее тихое бормотание и по донесшимся до меня обрывкам понял, что она размышляет о происшедшем, но теперь уже с другой точки зрения. Вдруг она громко сказала: «Конечно, с пометом так нельзя поступать ни в коем случае». Я сразу сообразил, что она имеет в виду этих «расфуфыренных обезьян». Ее любимый брат был охотником, держал собак и постоянно толковал об их разведении, нечистопородных особях, чистых линиях и пометах. К собственному облегчению я понял, что она также рассматривает этих противных детей как маленьких щенят, то есть устроенный мне нагоняй можно не воспринимать всерьез. Но я даже в этом возрасте знал, что нужно вести себя тихо и не высываться с торжествующими возгласами вроде: «Вот пожалуйста, ты того же мнения, что и я!» Случись подобное, она дала

бы мне возмущенную отповедь: «Негодный мальчишка, и как только ты посмел подумать такое о собственной матери!» Отсюда я заключаю, что происшествия в том же роде бывали и раньше, просто я о них забыл.

Я рассказываю об этом случае потому, что в период моего нарастающего религиозного скептицизма произошел еще один эпизод, проливший свет на двойственную природу моей матери. Однажды за обеденным столом разговор зашел о том, как бездарны мелодии некоторых гимнов, и о возможном пересмотре церковного гимнария. В этот момент мать замурлыкала: «*O du Liebe meiner Liebe, du verwünschte Seligkeit*» («Ты, любовь моей любви, ты, проклятое блаженство»)¹. Как и в детстве, я притворился, что ничего не слышу, и, несмотря на охватившее меня чувство торжества, удержался от ликующего возгласа.

Между двумя личностями моей матери существовало огромное различие. Именно поэтому в детстве я часто видел о ней тревожные сны. Днем она бывала любящей матерью, но по ночам казалась сверхъестественно-жутковатой — как пророчица, в облике которой проступают причудливые звериные черты, или как жрица, для которой храмом служит медвежья берлога. Она была архаична и безжалостна; безжалостна как правда и природа. В подобные моменты она служила воплощением того, что я называю *natural mind*².

Мне также свойственна эта архаичная природа, в моем случае связанная с даром — не всегда доставляющим мне удовольствие — видеть людей и предметы такими, каковы они есть. Если мне чего-то не хочется признавать, я могу обманывать себя сколько угодно; но в глубине души я всегда отлично знаю, как обстоят дела в действительности. В этом я похож на собаку, которую можно обмануть, но которая в конечном счете вынюхивает то, что нужно. Эта способность к интуитивному пониманию основывается на инстинкте или *participation mystique*³ — словно в акте внеличного видения глубинным взором.

Все это я осознал значительно позднее, после того, как со мной произошли некоторые весьма странные вещи. Например, однажды я в подробностях рассказал историю жизни совершенно незнакомого мне человека. Это было на свадьбе приятеля моей жены; как невесту, так и членов ее семьи я видел впервые в жизни. За свадебным столом я сидел напротив господина средних лет с длинной, красиво подстриженной бородой, которого представили мне как адвоката. Мы вели оживленную беседу о психологии преступников. Отвечая на какой-то его вопрос, я

1 Оговорка: «*verwünschte*» вместо «*erwünschte*» — «желанное».

2 Естественный ум (англ.).

3 Мистическом соучастии (франц.).

принялся сочинять некую историю, расцвечивая ее самыми разнообразными подробностями, как вдруг заметил, что выражение его лица изменилось, а за столом наступило неловкое молчание. В полном замешательстве я остановился. К счастью, мы уже заканчивали десерт, так что вскоре я встал, вышел в комнату для отдыха, закурил сигару и попытался поразмыслить о случившемся. Тут в помещение вошел один из гостей, сидевших за столом поблизости от меня; подойдя ко мне, он укоризненно спросил: «Как вы только могли допустить такую бестактность!» — «Бестактность?» — «Да, да, этот ваш рассказ...» «Но ведь я его выдумал от начала и до конца!»

К моему изумлению и ужасу оказалось, что я во всех деталях пересказал историю жизни своего визави. Более того, обнаружилось, что я тут же начисто забыл эту историю; и нынче я не способен припомнить из нее ни единого слова. В книге Цшокке¹ «Самосозерцание» описывается нечто похожее: находясь в гостинице, рассказчик распознает в незнакомом молодом человеке вора, поскольку видит акт кражи своим внутренним взором.

Часто я, сам того не ожидая, обнаруживал знание вещей, о которых в действительности ничего не мог знать. Знание приходило ко мне в форме мысли, словно рожденной мною самим. То же случалось и с моей матерью. Она сама не сознавала, что говорит: через нее словно говорил какой-то голос, обладавший абсолютной властью и точно отражавший суть ситуации.

Исходя из предположения, что в умственном развитии я значительно опережаю сверстников, мать обычно говорила со мной как со взрослым. Конечно, она рассказывала мне все, что бывала вынуждена скрыть от отца; я очень рано стал поверенным всех ее жизненных сложностей. Мне было одиннадцать лет, когда она сообщила мне о некоем осложнении, связанном с отцом и немало меня встревожившем. По зрелом размышлении я решил посоветоваться с одним из отцовских друзей — человеком известным и уважаемым. Не говоря матери ни слова, в один прекрасный день после школы я отправился в город и постучал в дверь к этому человеку. Отворившая мне горничная сказала, что хозяина нет дома. Разочарованный и подавленный, я вернулся домой. Но, как выяснилось впоследствии, его отсутствие было настоящим даром небес. Вскоре мать опять заговорила о том же, но на сей раз обрисовала ситуацию в совершенно иных, несравненно более мягких тонах, низведя ее тем самым до уровня пустяка. Это задело меня за живое, и я подумал: «Какой же ты был дурак, когда поверил в это и своей идиотской серьезностью чуть было не довел дело до катастрофы!» С той поры я

1 Иоганн Генрих Даниэль Цшокке (Zschokke) (1771—1848) — швейцарский писатель и политический деятель.

решил все утверждения матери как бы «делить на два». Мое доверие к ней ограничилось строгими рамками; я никогда не делился с ней своими глубинными переживаниями.

Но бывали моменты, когда ее вторая личность как бы вырывалась на поверхность, и то, что она говорила, оказывалось настолько верно, настолько точно било в цель, что меня охватывал трепет. Умей я продлевать такие минуты по своему желанию — и я получил бы в лице матери чудесного собеседника.

С отцом дело обстояло иначе. Я готов был поделиться с ним своими религиозными затруднениями и попросить у него совета; но я воздерживался, наперед зная, какой именно ответ будет продиктован ему сознанием собственных служебных обязанностей. Вскоре я смог убедиться, насколько верным было это мое предчувствие. Отец лично инструктировал меня перед конфирмацией, навевая на меня смертельную скуку. Однажды я листал катехизис в надежде найти что-либо, помимо сентиментальных и, как правило, непонятных и неинтересных рассуждений о Господе Иисусе. Дойдя до абзаца о Троице, я натолкнулся на нечто сравнительно интересное: на идею единства, являющегося в то же время троичностью. Эта идея захватила меня своей внутренней противоречивостью. Я с нетерпением ждал, когда же мы наконец дойдем до разъяснения этого вопроса, но в соответствующий момент отец сказал: «Вот мы подошли к Троице, но мы ее пропустим, потому что я сам в этом ничего не смыслю». Отдавая должное отцовской честности, я одновременно испытал глубокое разочарование и сказал себе: «То-то и оно: они об этом просто ничего не знают и знать не хотят. Так как же я могу рассказать им о своей тайне?»

Я сделал несколько попыток поговорить с теми из одноклассников, кто выделялся на общем фоне своей задумчивостью, но вместо сочувственного отклика добился лишь изумления. Понятно, что после этого у меня пропала всякая охота продолжать.

Преодолевая скуку, я всеми силами пытался поверить не понимая — то есть проявить отношение, которое, как мне казалось, разделял мой отец, — и готовился к конфирмации, на которую возлагал свою последнюю надежду. Конфирмация представлялась мне всего лишь мемориальным ужином, чем-то вроде празднования годовщины Господа Иисуса, скончавшегося 1890 – 30 = 1860 лет тому назад. Но все-таки Он позволял себе некоторые намеки — такие, например, как: «Приимите, ядите; сие есть Тело Мое»¹, — означавшие, что мы должны есть хлеб причастия так, словно это Его тело, которое изначально было плотью. Точно так же мы должны были пить вино, изначально бывшее кровью. Мне стало ясно, что таким образом нам пред-

1 Матфей, 26:26.

стояло принять Его в себя; и эта ни с чем не сообразная возможность заставила меня поверить в то, что здесь кроется какое-то великое таинство и что я смогу приобщиться к нему благодаря обряду конфирмации, которому мой отец, казалось, придавал столь большое значение.

В согласии с обычаем, моим крестным был член церковного совета — приятный, молчаливый пожилой человек, колесных дел мастер, в чьей мастерской я нередко задерживался посмотреть, как ловко он обращается с токарным станком и теслом. В день конфирмации он явился за мной торжественно-преображенный, в черном сюртуке и цилиндре, и повел меня в церковь, где отец в привычном облачении стоял за алтарем и читал литургические молитвы. На белой ткани, покрывавшей алтарь, стояли большие подносы с кусочками хлеба. Я видел, что хлеб этот — от нашего булочника, чья продукция вообще-то отличалась довольно посредственным качеством. Вино наливалось в оловянную чашу из оловянного же кувшина. Отец съел кусочек хлеба, глотнул вина — я знал, в каком именно трактире его брали — и отдал чашу одному из стариков. Все это было чопорно, торжественно и совершенно неинтересно. Я наблюдал в напряженном ожидании, но не смог усмотреть или угадать в этих стариках ничего необычного. Атмосфера была такой же, как при других церковных обрядах — крестинах, похоронах и так далее. У меня создалось впечатление, что здесь, согласно традиционному сложившимся правилам, разыгрывается какое-то представление. Казалось, что и мой отец озабочен прежде всего необходимостью пройти через все это, не нарушая правил, которые, между прочим, предписывали читать или произносить определенные слова с особой выразительностью. Ни словом не упоминалось о том, что со дня смерти Иисуса прошло именно 1860 лет — хотя во всех остальных мемориальных обрядах обязательно подчеркивалась дата смерти. Я не видел ни скорби, ни радости, и воспринял праздник как бессодержательный во всех отношениях — особенно если иметь в виду исключительную значимость того лица, чьей памяти он был посвящен. Он явно не выдерживал никакого сравнения со светскими празднествами.

Тут подошла моя очередь. Я съел хлеб; как я и ожидал, он оказался совершенно пресным. Что касается вина, то даже отпитого мною из чаши крохотного глоточка хватило, чтобы заключить, что этот слабый и кисловатый напиток — явно не лучшего сорта. Затем наступило время заключительной молитвы, после чего народ направился к выходу; на лицах невозможно было прочесть ни подавленности, ни радостного озарения, а только: «Ну вот и все».

Я шел домой вместе с отцом, отчетливо сознавая, что на мне новая черная фетровая шляпа и новый черный костюм — неко-

торое приближение к будущему сюртуку. Этот костюм представлял собой нечто вроде удлиненной куртки с фалдами, похожими на крылья; между крыльями был разрез, куда я мог прятать носовой платок, что казалось мне жестом взрослого человека, настоящего мужчины. Я чувствовал, что вырос общественно и, соответственно, принят в сообщество мужчин. Воскресный обед в тот день оказался на редкость вкусным. Я мог щеголять в своем новом костюме целый день. Но в остальном я был пуст и не давал себе отчета в собственных чувствах.

Лишь постепенно, с течением времени я уяснил себе, что ничего не произошло. В своем приобщении к религии я достиг вершинного пункта, я чего-то ждал — даже не знаю толком, чего именно, — но в итоге не произошло ровным счетом ничего. Я знал, что Бог способен потрясать меня, сжигая огнем и озаряя неземным светом; но эта церемония — для меня, во всяком случае, — не содержала ни малейших следов Бога. Вообще-то на ней звучали какие-то слова о Нем, но все это были лишь слова. В окружавших меня людях я не заметил и следов безбрежного отчаяния, всеохватывающего ликования и потоков благодати, которые составляли для меня сущность Бога. Я не усмотрел ни следа «причастия», то есть превращения в часть некоего единства... но с чем же? С Иисусом? Но ведь он был лишь человеком, умершим 1860 лет тому назад. С какой стати я мог бы сделаться единым с ним? Его называли «Сыном Божиим» — то есть он был полубогом, наподобие греческих героев; неужели обычный человек мог бы стать с ним чем-то единым? Все это называлось «христианской религией»; но в ней я не усматривал ничего такого, что имело бы отношение к Богу моих переживаний. С другой стороны, не вызывало сомнений, что Иисус как человек имел что-то общее с Богом: он испытал отчаяние в Гефсиманском саду и на кресте после того, как учил других, будто Бог — это добрый и любящий отец. Значит, он также видел устрашающее в Боге. Это я мог понять; но для меня осталась непонятной цель этого жалкого мемориального обряда с пресным хлебом и кислым вином. Постепенно я начал осознавать все роковое значение конфирмации для моего существа: весь этот обряд оказался пустым, ничего не стоящим занятием, если не сказать абсолютным провалом. Я знал, что никогда больше не смогу участвовать в подобной церемонии. Я думал: «Это никакая не религия. Это — отсутствие Бога. Церковь не то место, которое я должен посещать. Там нет жизни, а есть только смерть».

Меня охватило страстное чувство жалости к отцу. Я вдруг понял трагедию его профессии и всей его жизни. Он боролся со смертью, существования которой не мог признать. Между мною и им разверзлась поистине непреодолимая пропасть. Я не мог ввергнуть моего любимого, терпимого и великодушного

отца в бездну отчаяния и святотатства, не погрузившись в которую невозможно познать божественную благодать. Это мог сделать только Бог. У меня не было на это права; это было бы слишком бесчеловечно. Бог бесчеловечен; его величие состоит как раз в том, что ничто человеческое не может оказать на него никакого воздействия. Он добр и одновременно ужасен, и поэтому представляет огромную опасность, от которой каждый человек, естественно, стремится себя уберечь. Люди тянутся в одну сторону — к Его любви и доброте, ибо страшатся пасть жертвами соблазителя и разрушителя. Иисус также заметил это и потому учил: «Не введи нас во искушение».

Мое чувство единства с Церковью и тем человеческим миром, который я знал, разлетелось вдребезги. Мне казалось, что я испытал самое страшное поражение в жизни. Религиозное мировоззрение — которое я считал единственным осмысленным элементом своих взаимоотношений с миром — подверглось распаду; я больше не мог участвовать в церковной жизни, а вместо этого чувствовал себя вовлеченным в нечто невыразимое, в тайну, которой я не мог поделиться ни с кем. Это было страшно и в то же время — что хуже всего — вульгарно и смехотворно, как какая-то дьявольская издевка.

Я погрузился в размышления: что же, в конце концов, нужно думать о Боге? Не я же сочинил эту мысль о Боге и соборе; тем более не я сочинил сновидение, явившееся мне в трехлетнем возрасте. Оба были навязаны мне чьей-то более сильной волей. Не в природе ли заключена причина? Но ведь природа — лишь порождение Создателя. Ничего не давало и обвинение в адрес дьявола, поскольку он также создан Богом. Только Бог обладал реальностью — всеуничтожающий огонь и неопишуемая благодать.

Но почему же причастие никак на меня не подействовало? Был ли это мой собственный провал? Я готовился к причастию со всей серьезностью, надеялся пережить благодать и озарение, но со мною так ничего и не произошло. Бог отсутствовал. Во имя Бога я теперь оказался отрезанным от Церкви, от веры моего отца и всех окружающих. Поскольку все они представляли христианскую религию, я сделался среди них чужим. Это знание наполнило меня печалью, которая омрачила годы, предшествовавшие моему поступлению в университет.

ЗЯ начал заглядывать в отцовскую библиотеку — сравнительно скромную, но в то время казавшуюся мне весьма богатой — в поисках книг, способных сообщить мне все, что известно о Боге. Поначалу я обнаруживал только традиционные представления и никак не мог напасть на какого-нибудь независимо мыслящего автора. Наконец очередь дошла

до книги Бидермана «Христианская догматика», вышедшей в свет в 1869 году. Мне стало ясно, что этот человек мыслил самостоятельно и развивал собственные взгляды. Благодаря ему я узнал, что религия представляет собой «духовное действие, состоящее в установлении человеком собственного отношения к Богу». С этим я не был согласен, поскольку воспринимал религию как нечто такое, что Сам Бог осуществляет со мной — как действие с Его стороны, которому я должен просто подчиниться, ибо Он сильнее меня. Моя «религия» не признавала отношения человека к Богу: как можно иметь отношение к чему-то столь малоисследованному, как Бог? Дабы установить отношение к Богу, я должен знать о нем больше.

В главе, посвященной «сущности Бога», я прочел, что Бог выказывает себя личностью, которая «постижима по аналогии с человеческим «Я»; это единственное, абсолютно надмирное «Я», объемлющее всю Вселенную».

Насколько я мог судить по собственному знанию Библии, это определение было похоже на правду. Бог обладает личностью и является «Я» Вселенной — подобно тому, как я сам являюсь «Я» по отношению к собственному душевному и физическому бытию. Но тут меня подстерегало непреодолимое противоречие. Личность — это, конечно, прежде всего характер. Характер, однако, есть нечто особенное; иначе говоря, он предполагает наличие некоторых специфических свойств. Но если Бог — это все, как же Он может обладать различным характером? С другой стороны, если Он обладает характером, Он может представлять собой разве что «Я» некоего субъективного, ограниченного мира. И далее: характер какого рода, личностью какого рода Он обладает? Способность человека устанавливать отношения с Ним всецело зависит от знания ответов на эти вопросы.

Я ощущал, как изо всех сил сопротивляюсь попыткам вообразить Бога по аналогии с моим собственным «Я». Это казалось мне проявлением бесконечной самонадеянности, если не сказать прямого кощунства. Мне было достаточно сложно охватить и мое собственное «Я». Прежде всего, я отдавал себе отчет, что во мне живут две противоречивые сущности: номер один и номер два. К тому же в обоих аспектах мое «Я» было крайне ограничено, подвержено разнообразнейшим самообманам, ошибкам, сменам настроений и эмоций, страстям и грехам. Оно испытывало куда больше поражений, нежели триумфов, и отличалось ребячливостью, суетностью, своекорыстием, непослушанием, потребностью в любви, завистливостью, несправедливостью, раздражительностью, леностью, безответственностью и так далее. К моему сожалению, ему не хватало множества талантов и достоинств, которые я с восхищением и завистью на-

блюдал у других. О какой аналогии, помогающей вообразить природу Бога, могла идти речь?

Я принялся лихорадочно искать другие характеристики Бога и обнаружил, что они перечислены в наставлении к конфирмации. В параграфе 172 я прочел, что «наиболее непосредственное выражение надмирной природы Бога является, во-первых, *негативным* — это Его невидимость для людей» и т. д., «и, во-вторых, *позитивным* — это Его пребывание в небесах» и т. д. Это имело катастрофические последствия, поскольку мне на ум мгновенно пришло богохульное видение, навязанное Богом — то ли непосредственно, то ли опосредствованно (то есть через дьявола) — моей воле.

Из параграфа 183 я почерпнул, что «надмирная природа Бога относительно морального мира» состоит в Его «справедливости», которая не просто «беспристрастна», но также «выражает Его священное бытие». Я надеялся, что в этом абзаце будет сказано хоть что-нибудь о темных сторонах Бога, причинявших мне так много страданий, то есть о Его мстительности, о Его грозной гневливости, о Его непонятном поведении в отношении существ, которых Он сам и сотворил в Своем всемогуществе, недостатки которых Он должен знать в силу того же всемогущества, и которых Ему тем не менее угодно заставлять блуждать без руля и ветрил или, по меньшей мере, подвергать испытаниям — даже несмотря на то, что Он заранее знает исход Своих опытов. Так каков же в конце концов характер Бога? Что бы мы сказали о человеке, ведущем себя подобным образом? Я не смел продумать этот вопрос до конца. А потом я прочел, что Бог, «хотя и достаточен Сам в Себе и не нуждается ни в чем вне Себя» создал мир «ради Своего удовлетворения» и «наполнил этот мир, взятый в природном аспекте, Своей добротой, а взятый в моральном аспекте — желает наполнить Своей любовью».

Прежде всего я в недоумении задумался над словом «удовлетворение». Удовлетворение чем или кем? Очевидно, миром, ибо Он посмотрел на свою работу и изрек: «Это хорошо». Но как раз этого-то я никак не мог понять. Конечно, мир неизмеримо прекрасен, но ведь он столь же неизмеримо ужасен. В деревенской глуши, где проживает небольшая горстка людей и ничего особенного не происходит, такие вещи, как старость, болезни и смерть переживаются более мучительно, обнаженно, подробно, чем где бы то ни было. Хотя мне не было и шестнадцати, я успел сделаться очевидцем многих реалий жизни людей и животных, а в церкви и школе с избытком наслушался всякого о царящих в мире страданиях и порче. В лучшем случае Бог мог бы быть «удовлетворен» раем; но ведь Он же Сам позаботился о том, чтобы слава рая оказалась недолговечной, поскольку поместил там ядовитого змея, дьявола. Неужели это также могло его удов-

летворить? Я был уверен, что Бидерман не имел в виду ничего подобного; он просто занимался бездумным фразерством в характерном для религиозных наставлений духе, даже не отдавая себе отчета во всей бессмысленности своей писанины. Насколько я мог судить, не было ничего неразумного в предположении, что Бог хотя и не настолько жесток, чтобы испытывать удовлетворение от незаслуженных страданий людей и животных, все-таки намеренно создал мир полным противоречий — то есть таким, где одно существо пожирает другое, а жизнь есть лишь рождение ради смерти. «Чудесные гармонии» природного закона казались мне похожими скорее на хаос, сдерживаемый благодаря гигантским усилиям, а «вечный» звездный свод небес с его предопределенными орбитами выглядел в моих глазах лишь беспорядочным и бессмысленным набором случайных тел. Ведь в действительности никто не может видеть пресловутых созвездий. Это не более чем произвольные конфигурации.

Я глубоко сомневался также в утверждении, будто Бог наполнил природный мир Своей добротой. Ничего подобного вокруг себя я не видел. Это явно был очередной пункт из числа тех, в которые предписывалось верить, не рассуждая. Действительно, если Бог есть высшее Добро, почему же созданный Им мир столь несовершенен, развращен, жалок? «Очевидно, своим несовершенством и отсутствием порядка мир обязан дьяволу», — думал я. Но ведь дьявол также принадлежит к числу Божьих созданий! Нужно было почитать про дьявола, так как он казался чем-то весьма важным. Какие существовали причины для страданий, несовершенства и зла? В поисках ответа на этот жгучий вопрос я снова раскрыл книгу Бидермана о христианской догматике. И вновь мои поиски ни к чему не привели.

Мое разочарование было окончательным и бесповоротным. Этот увесистый том о догматике оказался не чем иным как пустой болтовней и — хуже того — надувательством, образцом крайней тупости и злонамеренного стремления затуманить истину. Я почувствовал разочарование, если не сказать негодование, и в очередной раз испытал жалость к отцу, ставшему жертвой этой галиматши.

Но ведь наверняка где-то и когда-то были люди, подобно мне искавшие правду, мыслившие рационально и не желавшие обманывать себя и других, отрицая скорбную действительность мира! Как раз в тот период моя мать — или, скорее, ее личность номер два — внезапно и без предисловий сказала мне: «Тебе бы надо прочесть „Фауста“ Гете». У нас было роскошное издание Гете, и я вытащил «Фауста». Эта книга пролилась на мою душу чудесным бальзамом. Я думал: «Наконец нашелся человек, воспринимающий дьявола всерьез и даже скрепляющий своей кровью договор с ним — с этим врагом, достаточно могуществен-

ным, чтобы расстроить Божественный план совершенного мира». Я сожалел о поведении Фауста, поскольку, по моим представлениям, он не должен был проявлять пассивность и столь легко поддаваться обману. Ему следовало бы быть умнее и к тому же нравственнее. Какое ребячество — так легкомысленно проиграть собственную душу! В Фаусте явно было что-то несерьезное. У меня создалось впечатление, что своей весомостью и значительностью драма обязана прежде всего Мефистофелю. Меня бы вовсе не огорчило, если бы душа Фауста отправилась в преисподнюю. Он заслужил этого. Мне не понравилась мысль об «обманутом дьяволе» в конце произведения: ведь Мефистофель был чем угодно, но только не тупым чертом, и то, что он позволил себя обмануть маленьким глупеньким ангелам, противоречило всякой логике. Мне казалось, что если Мефистофель и был обманут, то в совершенно ином смысле: он не получил того, на что имел право, потому что Фауст — эта, в общем, бесхарактерная личность — обманным путем ускользнул от него прямо в вечность. Там, конечно, его мальчишество должно было обнаружиться, но, по-моему, он не заслуживал посвящения в великие таинства. Я бы дал ему на собственной шкуре ощутить пламя Чистилища. Мне представлялось, что истинная проблема кроется в Мефистофеле, чей образ произвел на меня глубочайшее впечатление; к тому же я смутно ощущал, что он каким-то образом связан с таинством Матерей¹. Во всяком случае, Мефистофель и великое посвящение в конце трагедии стали чудесным и таинственным переживанием где-то на обочине моего сознательного мира.

Наконец, подтвердилось мое предположение, что существуют — или, во всяком случае, существовали — люди, видящие зло и его всеохватное могущество, а также — что особенно важно — ту таинственную роль, которую оно играет в освобождении человека от тьмы и страданий. В этом смысле Гете казался мне пророком. Но я не мог простить ему примитивного мошеннического трюка, с помощью которого он избавился от Мефистофеля. Для меня в этом было слишком много теологии, слишком много легкомыслия и безответственности, и я испытал глубокое сожаление, что даже Гете не сумел удержаться от тех лукавых уловок, с помощью которых зло представляют безобидным.

Читая драму, я обнаружил, что Фауст был своего рода фило-

1 См. сцену «Темная галерея» 1-го акта второй части трагедии Гете. Мифологическое представление о Матерях как таинственных первообразах всего сущего получило известное распространение в античной традиции; исходный мифологический материал для данной сцены заимствован Гете из Плутарха.

софом, и хотя он с течением времени отвернулся от философии, она, несомненно, успела научить его определенной восприимчивости к правде. До тех пор я ничего не слышал о философии, и во мне забрезжила новая надежда. Я подумал, что, возможно, интересующие меня вопросы разрешаются философами, и именно благодаря им я смогу кое-что для себя прояснить.

Поскольку в библиотеке отца не было философов — они находились под подозрением, ибо мыслили, — я вынужден был удовлетвориться «Общим словарем философских наук» Круга (второе издание, 1832). Прежде всего я погрузился в изучение статьи «Бог». К моему неудовольствию, она начиналась с этимологии слова «Бог» (Gott), будто бы (по мнению автора словаря — «несомненно») происходившего от слова «хорошо» (gut) и означавшего «всеобщее» или «совершеннейшее сущее» (ens summum или perfectissimum). Далее говорилось, что существование Бога недоказуемо — равно как и врожденность самой идеи Бога. Последняя, однако, может присутствовать в человеке а priori — если не в реальности, то по меньшей мере в потенции. Так или иначе, наша «интеллектуальная сила» способна «породить столь возвышенную идею», только находясь на «достаточно высоком уровне развития».

Это объяснение поразило меня сверх всякой меры. «У этих философов явно не сходятся концы с концами», — думал я. Очевидно, они знали о Боге только понаслышке. Богословы отличаются от них по меньшей мере в одном отношении: они уверены, что Бог существует, пусть даже при этом делают о Нем самые противоречивые заявления. Насколько можно судить по запутанным писаниям лексикографа Круга, он желает продемонстрировать убежденность в существовании Бога. Так почему же он не хочет говорить прямо? Почему он делает вид, что действительно думает, будто мы «порождаем» идею Бога и для этого должны вначале достичь определенного уровня развития? Насколько я знал, такая идея свойственна даже дикарям, странствующим по своим джунглям в голом виде. А это ведь не «философы», «порождающие идею Бога» в своих кабинетах. Я тоже никогда не занимался «порождением» идеи Бога. Конечно, существование Бога невозможно доказать — ведь моли, пожирающей австралийскую шерсть, не докажешь, что Австралия действительно существует. Существование Бога не зависит от наших доказательств. Каким образом я пришел к своей убежденности относительно Бога? Мне говорили о Нем самое разное, но все это не убедило меня и не смогло внушить мне веру. Моя идея Бога пришла не оттуда. Собственно говоря, это была вовсе не идея — то есть не результат процесса мышления. Я ничего себе не воображал, не размышлял о воображаемом, и вера не явилась мне как итог размышлений. Например, все, что

говорилось о Господе Иисусе, неизменно вызывало во мне подозрения; я никогда по-настоящему в Него не верил, хотя Он и производил на меня куда более сильное впечатление, нежели Бог, о котором говорилось обычно лишь намеком. Почему я пришел к восприятию Бога как чего-то самоочевидного? Почему эти философы делают вид, будто Бог — это идея, разновидность произвольного допущения, которое они могут либо порождать, либо нет; ведь совершенно ясно, что Он существует — ясно, как кирпич, падающий на вашу голову.

Внезапно я понял, что Бог — по меньшей мере для меня — является одним из самых несомненных и непосредственных переживаний. В конце концов, не я же придумал эту страшную картину с собором. Напротив, она была навязана мне; с исключительной жестокостью я был принужден думать о ней, после чего на меня снизошло невыразимое чувство благодати. Все это не подчинялось моей воле. Я пришел к выводу, что у философов что-то явно не клеится, поскольку они странным образом понимают Бога как некую гипотезу, о которой можно при случае порассуждать. Кроме того, мне крайне не понравилось, что философы никак не высказываются насчет темных деяний Бога и не объясняют их. Но ведь эти деяния заслуживали специального внимания и исследования именно с философской точки зрения, ибо, насколько я мог заключить, для богословов данная проблема представляла большую трудность. Можно представить мое разочарование, когда я обнаружил, что философы ни о чем подобном даже не слышали.

Поэтому я перешел к следующей теме, которая также меня интересовала — к статье о дьяволе. Я прочел, что понимая дьявола как изначальное зло, мы впадаем в явное противоречие, то есть в дуализм. Значит, лучше было бы придерживаться точки зрения, согласно которой дьявол изначально был сотворен как доброе существо, но затем был развращен собственной гордыней. Как указывал — к моей немалой радости — автор статьи, эта гипотеза предполагает существование, по меньшей мере, одной разновидности зла, а именно гордыни, и пытается ее объяснить. Что касается остального, то, согласно продолжению той же статьи, истоки зла «не объяснены и необъяснимы»; для меня это означало, что автор, подобно богословам, также не хочет думать на данную тему. Таким образом, статья о зле и его истоках просветила меня не больше, чем все предыдущие.

То, о чем я здесь рассказываю, обобщает процесс развития моих мыслей и идей, длившийся, с большими перерывами, несколько лет. Процесс этот происходил исключительно в моей личности номер два и носил строго внутренний характер. Пользуясь для своих поисков отцовской библиотекой, я делал это не

спрашивая разрешения, тайком. В промежутках личность номер один совершенно открыто читала романы Герштеккера¹ и немецкие переводы классических английских романов. Кроме того, я начал читать немецкую литературу, сосредоточиваясь на тех классических произведениях, впечатления от которых школа, со своими чрезмерно подробными объяснениями очевидных вещей, не смогла мне испортить. Я читал много и беспорядочно: драматургию, поэзию, книги по истории, а позднее и по естествознанию. Чтение было не просто интересно, но и обеспечивало желанное и душеполезное отдохновение от все более и более отягощавших меня забот личности номер два — ведь поскольку дело касалось проблем религии, я повсюду натывался на закрытые двери, а когда хотя бы одна из дверей вдруг отворялась, я все равно не обнаруживал за ней ничего стоящего. Что касается окружавших меня людей, их интересы казались совершенно отличными от моих. Я оставался наедине с собственной убежденностью. Как никогда, я желал с кем-нибудь поделиться, но ни в ком не находил отклика; скорее наоборот, я ощущал в людях отстраненность, недоверие, опаску, начисто лишавшие меня дара речи. Здесь крылся еще один источник моего подавленного настроения. Почему никто на свете не испытал переживания, подобного моему? Почему об этом ничего нет в книгах, которые я прохожу в школе? Неужели я — единственный в мире человек, переживший нечто подобное? И почему именно я? Мне никогда не приходила в голову мысль о собственном безумии: ведь свет и мрак Бога казались мне фактами, которые можно понять безотносительно к тому, насколько мощное воздействие оказывали они на мои чувства.

Такую вынужденную «уникальность» я воспринимал как нечто угрожающее, ибо она означала изоляцию; мне было тем более неприятно, что я слишком часто оказывался в роли козла отпущения. Вдобавок в школе произошло событие, из-за которого моя изоляция еще более возросла. По немецкому языку я был довольно-таки посредственным учеником: ни грамматика, ни синтаксис немецкого языка меня не интересовали. Мне было скучно в них разбираться. Темы для сочинений обычно казались мне плоскими и глупыми; соответственно, я писал свои работы либо до крайности небрежно, либо кое-как «выдавливал» их из себя. Отметки мои были посредственными, что меня вполне удовлетворяло: ведь я твердо решил не высовываться и не обращать на себя излишнего внимания. В общем, я чувствовал близость к мальчикам из небогатых семей, явившихся, подобно

1 Фридрих Герштеккер (Gerstäcker) (1816—1872) — немецкий путешественник и писатель, автор популярных среди юношества романов об экзотических странах.

мне, ниоткуда; я симпатизировал не самым умным из них, хотя чрезмерная глупость и невежество вызывали у меня раздражение. Я придавал большое значение тому, что в своей простоте они не замечали во мне ничего необычного: ведь именно в таком отношении я и нуждался. Моя «необычность» постепенно начинала внушать мне неприятное, если не сказать жутковатое чувство — будто я обладаю какими-то отталкивающими качествами, в которых сам себе не отдаю отчета, но которые заставляют учителей и одноклассников держаться от меня подальше.

Среди всех этих забот меня, словно гром среди ясного неба, поразил следующий инцидент. Нам предложили тему для сочинения, которая наконец-то показалась мне интересной. Посему я охотно взялся за дело и произвел на свет нечто, казавшееся мне тщательно продуманным и удачно написанным. Я надеялся получить достаточно высокую оценку — конечно, не самую высшую (это обратило бы на меня слишком большое внимание), но близкую к ней.

У нашего учителя было обыкновение обсуждать сочинения по порядку их достоинств. Он начал с той работы, которая принадлежала первому ученику в классе. Это было нормально. Затем последовали сочинения остальных учеников, и все это время я тщетно дожидался, пока наконец будет названо мое имя. «Не может быть — думал я, — чтобы мое сочинение было хуже, чем убогие работы, о которых он сейчас говорит. Но в чем же дело?» Неужели я просто-напросто hors concours¹, изгой, привлекающий к себе всеобщее недоброжелательное внимание?

По прочтении всех работ учитель сделал паузу, после чего произнес: «Есть еще одно сочинение — Юнга. Оно значительно превосходит все остальные, и поэтому я должен был бы дать ему первое место. Но, к сожалению, оно краденое. Откуда ты его списал? Признавайся!»

Как ошпаренный, я вскочил и закричал: «Я ничего не списывал! Я изо всех сил старался написать хорошее сочинение!» Но учитель гаркнул на меня: «Лжешь! Ты никогда не смог бы написать ничего подобного! Тебе никто не поверит. Говори же: откуда ты его списал?»

Сколько я ни убеждал учителя в собственной невинности, все было тщетно. Он упорно настаивал на своем и под конец пригрозил: «Могу тебя уверить: как только я узнаю, откуда именно ты списал свою работу, тебя тут же вышвырнут из школы». Одноклассники бросали на меня косые взгляды, в которых я с ужасом читал: «Теперь все ясно». Мои оправдания натолкнулись на всеобщую глухоту.

Я почувствовал себя опозоренным навеки: если у меня и были

1 Вне конкурса (франц.).

какие-то пути выхода из состояния «необычности», отныне они казались отрезанными. Глубоко расстроенный и обесчещенный, я поклялся отомстить учителю; будь у меня хотя бы минимальная возможность, я бы непременно совершил нечто выходящее за рамки всех и всяческих законов. Но как же я мог доказать, что не списывал этого злосчастного сочинения?

В течение долгих дней я непрерывно размышлял о случившемся и каждый раз приходил к выводу, что я бессилён, что прихотью слепой и бессмысленной судьбы я заклеен как лжец и мошенник. Теперь я осознал многое из того, что прежде было мне непонятно — например, почему один из учителей сказал моему отцу, когда тот спросил его о моих школьных успехах: «Он вполне средний ученик, но похвально усидчив». Это означало, что я просто-напросто туповат. Вообще-то подобное мнение меня не очень огорчало. Но то, что они сочли меня способным к мошенничеству, меня по-настоящему возмутило, затронув самые глубины моего морального самосознания.

Еще немного — и огорчение пополам с яростью грозили выйти из-под контроля. Но тут случилось нечто, уже несколько раз происходившее со мной прежде: внезапно во мне воцарилась тишина, словно кто-то закрыл дверь в шумную комнату. Меня охватил род равнодушного любопытства, и я спросил себя: «Что, собственно, происходит? Да, ты взволнован. Конечно, учитель — глупец, не понимающий твою натуру, — но ведь и ты понимаешь ее не лучше. Поэтому он тебе не доверяет — так же, как и ты не доверяешь себе. Ты недоверчив к себе и другим; неудивительно, что тебя влечет к наивным простакам, которых легко видеть насквозь. Люди испытывают волнение, только если чего-то не понимают».

В свете этих рассуждений *sine ira et studio*¹ мне вспомнился и тот поток мыслей, который столь ярко запечатлелся во мне, когда я не хотел думать о запретном. Хотя в то время я, несомненно, еще не видел разницы между личностями номер один и номер два и продолжал считать мир номера два своим персональным миром, в глубине души я все-таки ощущал, что здесь присутствует нечто, отличное от меня. Казалось, меня коснулось дыхание мира звезд и бесконечного космоса, или в комнату вошел какой-то невидимый призрак — призрак существа, которое давно умерло, но все же постоянно присутствует в той сфере, где нет времени, и будет находиться в ней вплоть до отдаленного будущего. Развязки подобного рода всегда бывали осенены ореолом муминозности².

1 Без гнева и пристрастия (*лат.*).

2 То есть «присутствия божества» (от латинского *pumen* — бог [языческий]). См. Глоссарий.

В то время, конечно, я не смог бы выразить свои мысли и ощущения подобным образом; ныне, однако, я не приписываю тогдашнему состоянию своего сознания ничего такого, чего в нем не было. Я только пытаюсь выразить чувства, испытанные мною тогда, и с учетом моих нынешних познаний пролить свет на тот сумеречный мир.

Спустя несколько месяцев после только что описанного инцидента одноклассники прозвали меня «праотец Авраам». Личность номер один не могла понять смысл этого прозвища и считала его глупым и смехотворным. Но в глубине души я ощущал его меткость. Любые намеки, касающиеся глубин моей души, причиняли мне боль: ведь чем больше я читал, чем лучше я узнавал городскую жизнь, тем сильнее укреплялось во мне убеждение, что познаваемая мною реальность принадлежит порядку вещей, совершенно отличному от картины мира моего детства — детства, проведенного среди рек и лесов, людей и животных, в маленькой деревне с движущимися над ней ветрами и облаками, омываемой солнечным светом и окутанной темной ночью, в которой происходили всякие неясные вещи. Эта деревня была не просто местом на карте, но «Божьим миром», который Он устроил по Своему усмотрению и наполнил тайным смыслом. Но, судя по всему, люди этого не знали; даже животные, казалось, утратили соответствующие ощущения. Это читалось в тоскливых, потерянных взглядах коров, в покорных глазах лошадей, в преданности собак, льнувших к хозяевам с видом полной безнадежности, и даже в самоуверенной походке котов, выбравших дом и сарай для жилья и охоты. Люди были похожи на животных и казались столь же лишенными сознания. Они смотрели вниз, на землю, или вверх, на деревья, ища в них выгоды для себя; подобно животным, они собирались в стада, спаривались, вели борьбу за существование, но не видели, что живут в едином космосе, в Божьем мире, в вечности, где уже все родилось и все умерло.

Я любил всех теплокровных животных за их родственную близость к нам и незнание, которое они с нами разделяли. Мне казалось, что они обладают душой, подобной нашей, и поэтому мы с ними инстинктивно понимаем друг друга. Мы вместе испытываем радость и горе, любовь и ненависть, голод и жажду, страх и доверие — одним словом, нам в равной мере присущи все основные составляющие жизни, за исключением речи, обостренного сознания и научного мышления. Следуя общепринятому обычаю восхищаться наукой, я в то же время видел, как она приводит людей к отчуждению и уклонению от «Божьего мира», к вырождению, на которое животные не способны. Животные были милы и преданны, постоянны и надежны. Мое доверие к людям упало до низшей точки.

Насекомых я не считал животными в прямом смысле слова, а холоднокровных позвоночных считал сравнительно низкой промежуточной ступенью на пути к насекомым. Живые существа этой категории служили объектами наблюдения и коллекционирования; они возбуждали любопытство, но были чужими, поскольку не имели с человеком никаких точек соприкосновения. Они были проявлениями безличной жизни, родственной скорее растениям, нежели людям.

Земные проявления «Божьего мира» начинались с царства растений; растения были своего рода сообщениями, исходящими из недр этого мира. Казалось, кто-то подглядывает из-за плеча Создателя, Который, не подозревая о присутствии постороннего, занят изготовлением игрушек и украшений. Что же касается человека и «настоящих» животных, они были обретенными независимостью частичками Бога. Вот почему они могли передвигаться самостоятельно и выбирать место жительства. Не знаю, по доброму или по злему умыслу, но растения были прикреплены к своим местам. Они выражали не только красоту, но также и мысли Божьего мира, не отклоняясь и не претендуя на самостоятельность. Деревья отличались особой таинственностью и казались мне прямым воплощением недоступного понимания смысла жизни. Именно поэтому лес был местом, где я чувствовал наибольшую близость к ее глубочайшему смыслу и устрашающим деяниям.

Это впечатление усилилось, когда я впервые увидел готические соборы. Но там бесконечность космоса, хаос смысла и бессмысленности, безличной цели и механического закона воплощались в камне. В соборе не просто содержалась бездонная тайна бытия; он *был* воплощением этой тайны, воплощением духа. То, что я смутно ощущал как собственное родство с камнем, было божественной природой, свойственной в равной мере живому и неживому.

Я уже говорил, что в тот период мне было не под силу формулировать мои чувства и предчувствия в письменном виде: их всех я испытывал только своей личностью номер два в минуты, когда мое активное и постигающее «Я» делалось пассивным и погружалось в сферу «старика», принадлежавшего столетиям. Переживания и влияния, связанные с этим «стариком», странным образом не затрагивали мою способность к размышлениям: в его присутствии личность номер один ступеньевалась до такой степени, что почти переставала существовать; с другой же стороны, когда «Я», все более и более отождествляемое с личностью номер один, выступало в качестве доминирующей силы, «старик» либо вообще улетучивался из памяти, либо казался отдаленным и нереальным сном.

Между шестнадцатью и девятнадцатью годами туман моей

раздвоенности рассеялся, и я стал легче переносить подавленное состояние души. Личность номер один выявлялась все более отчетливо. Школа и городская жизнь отнимали у меня все время, а мои растущие познания постепенно проникали в мир интуитивных предчувствий и подавляли их. Я начал систематически размышлять над проблемами, которые сознательно сам же перед собой и ставил. Я прочел краткое введение к истории философии и таким образом сумел хотя бы в самых общих чертах ознакомиться с тем, что было сделано в данной области. К собственному удовлетворению я обнаружил, что многие из моих интуитивных ощущений имели исторические аналогии. Прежде всего меня привлекли мысли Пифагора, Гераклита, Эмпедокла, а также Платона — несмотря на многословность сократовской аргументации. Идеи этих философов, подобно картинам в галерее, были красивы и академичны, но несколько далеки от меня. Лишь в Мастере Экхарте¹ я ощутил живое дыхание — хотя нельзя сказать, чтобы я его понимал. Схоласты оставили меня равнодушным, а аристотелевский интеллектуализм святого Фомы Аквинского показался безжизненным, как пустыня. Я думал: «Все они с помощью логических уверток пытаются добиться того, чего им не дано постичь, и о чем они толком не имеют понятия. Они хотят самим себе доказать веру, хотя на самом деле вера — это вопрос переживания». Они казались мне людьми, понаслышке знающими о существовании слонов, но никогда ни одного слона не видевшими и теперь пытающимися доказать, что исходя из логических соображений такие животные должны существовать и иметь такое-то и такое-то строение. По очевидным причинам критическая философия восемнадцатого века поначалу не вызвала во мне никакого отклика. Из философов девятнадцатого века Гегель оттолкнул меня своим языком — столь же высокомерным, сколь и вымученным; я отнесся к нему с откровенным недоверием. Он производил впечатление человека, запертого в здании собственных словес и напыщенно жестикулирующего в этой тюрьме.

Зато Шопенгауэр стал моим великим открытием. Он первым заговорил о страданиях окружающего нас назойливого мира видимостей; он говорил о смятении, неупорядоченности, страсти, зле, то есть обо всех тех вещах, которых другие, казалось, не хотели замечать, неизменно пытаясь растворить их во всеобъемлющей гармонии и понятности. Наконец, нашелся философ, которому хватило смелости увидеть, что не все в основах мироздания устроено наилучшим образом. Он не говорил ни о всеобъемлющей доброте и мудрости Провидения, ни о гармо-

1 Имеется в виду Генрих Экхарт (Eckhart) (ок. 1260—ок. 1327) — знаменитый немецкий богослов, мистик, философ.

нии космоса; вместо этого он со всей резкостью заявил, что в основе как несчастного развития человеческой истории, так и жестокости природы лежит один и тот же фундаментальный порок — слепота мирозозидающей Воли. Это подтверждали не только мои ранние наблюдения над больными и умирающими рыбами, страдающими от парши лисицами, погибающими от холода и голода птицами, над безжалостными трагедиями, втайне от посторонних взглядов разыгрывающимися на цветущем лугу, где муравьи замучивали до смерти дождевых червей, одни насекомые разрывали других на мелкие части и т. д. Мой опыт сосуществования с другими людьми также научил меня чему угодно, только не вере в исконные добро и нравственность, будто бы присущие человеческой природе. Я знал себя достаточно хорошо, чтобы осознать, что я лишь постепенно, так сказать, отдаляю себя от животного.

Я безоговорочно принял нарисованную Шопенгауэром мрачную картину мира, но не его решения. Я чувствовал, что под «Волей» он в действительности разумел Бога, Создателя, и именно Его считал слепым. По собственному опыту я знал, что богохульство не оскорбляет Бога, и даже напротив, Он может поощрять его, поскольку стремится выявить не только положительную и светлую сторону человека, но также и скрытые в нем тьму и невыразимую мерзость; посему взгляд Шопенгауэра меня не смущал. Я считал, что его приговор обоснован. Но меня разочаровала его теория, будто интеллекту нужно только поставить перед слепой Волей ее собственный образ, как она тотчас поворачивает вспять. Как может Воля вообще увидеть этот образ, если она слепа? И к тому же непонятно, почему она — даже если ей удастся увидеть его — должна в результате обязательно повернуть вспять: ведь этот образ как раз покажет ей ее же собственную сущность! И что есть интеллект? Это же функция человеческой души — не зеркало, а мельчайший осколок зеркала, наподобие того, который ребенок держит против солнца, играя солнечным зайчиком. Меня удивляло, как Шопенгауэр мог удовлетвориться столь поверхностным ответом.

Ввиду всего этого мне захотелось изучить его тщательнее, и с течением времени на меня стало производить все большее и большее впечатление его отношение к Канту. В результате я начал читать произведения этого философа и прежде всего «Критику чистого разума», заставившую меня изрядно напрячь мозги. Но мои усилия оказались вознаграждены, поскольку я смог обнаружить, на мой взгляд, фундаментальный порок шопенгауэровской системы. Шопенгауэр совершил смертный грех гипостазирования¹ метафизического утверждения, возведения

1 Олицетворения, воплощения.

простого ноумена в разряд «вещи в себе» с особыми качествами. Я уяснил все это из кантовской теории познания, которая просветила меня больше — насколько это было возможно, — чем шопенгауэровский «пессимистический» взгляд на мир.

Период моего философского развития продолжался с семнадцатилетнего возраста до того времени, когда я приступил к занятиям медициной. Он привел к революционным изменениям в моем отношении к миру и жизни. Если прежде я был застенчив, боязлив, недоверчив, бледен, худ и явно слаб здоровьем, то теперь я начал проявлять ненасытный аппетит во всех областях жизни, знал, чего хочу, и добивался этого. Кроме того, я стал заметно общительнее. Я обнаружил, что бедность — не обязательно недостаток и далеко не главный источник страданий, что сыновья богатых на самом деле не имеют никаких преимуществ перед бедными и плохо одетыми мальчиками. Есть гораздо более глубокие причины для счастья и несчастья, чем количество карманных денег. У меня стало больше друзей, и друзья эти были лучше прежних. Я чувствовал более твердую почву под ногами и даже не боялся открыто излагать свои мысли. Но очень скоро я обнаружил, что все это — лишь прискорбное недоразумение. Я сталкивался не только с отчужденностью и насмешками, но и с прямой враждебностью. К собственному ужасу и смущению я осознал, что многие считают меня хвастуном, позером и обманщиком. Прежняя репутация мошенника возродилась, хотя и в несколько смягченной форме. В очередной раз виной всему стала заинтересовавшая меня тема сочинения. Я трудился над этой работой с особым усердием, изо всех сил стараясь отточить свой стиль. Результат был сокрушительным. «Вот сочинение Юнга, — сказал учитель. — Оно просто блестяще, но написано до такой степени небрежно, что становится ясно, насколько мало усилий вложил в него автор. Ты, Юнг, недалеко уйдешь с подобным наплевательским отношением. Жизнь требует серьезности и сознательности, трудов и усилий. Полюбуйся на работу Д. У него нет твоего блеска, но он честен, сознателен и трудолюбив. Это и есть путь к успеху».

Мои чувства были задеты не так болезненно, как в первый раз, потому что вопреки своему желанию учитель оказался под большим впечатлением от моей работы и хотя бы не обвинил меня в плагиате. Я попробовал было отвести обвинения, но он прервал меня словами: «Как утверждается в *Ars Poetica*¹, лучшее стихотворение — это то, где не ощущается усилий, затраченных на его создание. Но ты и вовсе не трудился». Я знал, что в моем

1 «Искусство поэзии», трактат Горация.

сочинении есть несколько неплохих мыслей, однако учитель даже не захотел их обсуждать.

Этот инцидент оставил во мне ощущение горечи, но хуже всего была подозрительность одноклассников, грозившая вернуть меня в прежнее состояние изоляции и подавленности. Я напряженно пытался понять, чем заслужил их неприязнь. В результате осторожных расспросов я обнаружил, что их косые взгляды были вызваны моими частыми замечаниями или намеками, касающимися вещей, о которых, с их точки зрения, я вряд ли мог что-либо знать. Например, я делал вид, будто что-то знаю о Канте и Шопенгауэре, или о палеонтологии, которую мы даже не проходили в школе. Это удивительное открытие показало мне, что жгучие вопросы не имеют ничего общего с повседневной жизнью и, подобно моей глубочайшей тайне, принадлежат «Божьему миру», о котором лучше не говорить.

С той поры я старался не заговаривать об этих «эзотерических» материях с одноклассниками, а среди знакомых взрослых я не знал никого, с кем мог бы говорить без риска быть принятым за хвастуна и обманщика. Особенно болезненно я ощущал провал всех моих попыток преодолеть собственную внутреннюю раздвоенность, разрыв между двумя мирами. Происходили все новые и новые события, выталкивавшие меня из повседневного существования в безграничность «Божьего мира».

Выражение «Божий мир» может кое-кому показаться сентиментальным. Но для меня оно не имело такого оттенка. «Божьему миру» принадлежало все надчеловеческое — ослепительный свет, тьма бездны, холодная невозмутимость бесконечного пространства и времени и жутковатая гротескность иррационального мира случайностей. Для меня «Бог» был всем — но только не чем-то «душеполезным» и «поучительным».

4 Чем старше я становился, тем чаще родители и другие люди спрашивали меня, кем я хочу стать. На этот счет у меня не сложилось ясного представления. Мои интересы были разносторонни. С одной стороны, меня очень привлекала наука с ее истинами, основанными на фактах; с другой же стороны я был увлечен всем, что имело отношение к сравнительной истории религий. Из естественных наук я интересовался главным образом зоологией, палеонтологией и геологией, тогда как из гуманитарных — греко-римской, египетской и доисторической археологией. В то время, конечно, я не мог уяснить себе, до какой степени этот выбор самых разнообразных предметов соответствовал природе моей внутренней раздвоенности. В науке меня притягивали факты и исторический фон, а в сравнительной истории религий — духовные проблемы, в том

числе философские. От меня ускользали смысл научных фактов и эмпиризм религии. Наука в значительной степени отвечала потребностям личности номер один, тогда как гуманитарные или исторические занятия оказывали благотворное влияние на личность номер два.

Разрываясь между этими двумя полюсами, я долгое время не мог ни на чем остановиться. Я заметил, что мой дядя, старший брат матери, служивший пастором в базельской церкви святого Альбана, мягко подталкивает меня в сторону богословия. От него не ускользнуло пристальное внимание, с которым я прислушивался к его застольным обсуждениям религиозных проблем с сыновьями-теологами. Мне было очень важно удостовериться в том, что существуют богословы, стоящие близко к головокружительным университетским вершинам и поэтому знающие больше, чем мой отец. Но подобные застольные разговоры всегда казались мне не имеющими отношения к действительным переживаниям, тем более — к моим. Они неизменно вращались вокруг доктринальных суждений о библейских повествованиях, которые вызывали во мне откровенное ощущение неловкости из-за многочисленных и неправдоподобных рассказов о чудесах.

В период обучения в гимназии меня отпускали завтракать к этому дяде каждый вторник. Я был благодарен ему не только за угощение, но и за единственную в своем роде возможность иногда слышать за столом взрослые интеллектуальные разговоры. Это было чудесное переживание — обнаружить, что подобное вообще возможно; ведь в кругу своей семьи я никогда не слышал ученых рассуждений. Иногда я пытался было заговорить о серьезных вещах с отцом, но каждый раз наталкивался на непонятное для меня стремление уйти от разговора. Лишь несколько лет спустя я, наконец, понял, что мой бедный отец не осмеливался углубляться в себя, поскольку его снедали внутренние сомнения. Он бежал от самого себя и потому настаивал на слепой вере. Он не мог обрести ее в качестве благодати, ибо хотел достичь ее в борьбе, предпринимая с этой целью отчаянные, конвульсивные усилия.

Мои дядя и двоюродные братья могли спокойно обсуждать догмы и учения Отцов Церкви, равно как и мнения современных богословов. Казалось, они чувствуют себя совершенно уверенно в рамках самоочевидного миропорядка, где имя Ницше вообще не упоминается, а Якоб Буркхардт¹ удостаивается всего лишь сдержанного признания. О Буркхардте говорили как о «слишком свободомыслящем» либерале; отсюда я заключил,

1 Якоб Буркхардт (Burckhardt) (1818—1897) — швейцарский историк и философ истории, профессор Базельского университета.

что по отношению к вечному порядку вещей он стоит как бы наперекос. Я знал, что моему дяде невдомек, насколько далек я от богословия, и мне было очень неловко его разочаровывать. Я бы никогда не отважился изложить ему свои трудности, поскольку слишком хорошо знал, как жестоко может обойтись со мной этот мир. Мне нечего было бы сказать в свою защиту. Напротив, личность номер один уверенно выходила на лидирующие позиции; мои научные познания, будучи все еще довольно скудными, неукоснительно пропитывались научным материализмом эпохи. Этот процесс сдерживался только свидетельствами истории и кантовской «Критикой чистого разума», которой в моем окружении, судя по всему, никто не понимал. Хотя мои родственники-богословы упоминали Канта в хвалебных тонах, его принципы использовались ими единственно для дискредитации противоположных воззрений, но никогда не применялись к собственным. Впрочем, и об этом своем мнении я также ничего никому не говорил.

В результате, садясь за один стол с дядей и членами его семьи, я начинал чувствовать себя все более и более неловко. Из-за постоянного ощущения нечистой совести эти вторники сделались моими черными днями. В этом мире социальной и духовной надежности и безопасности я не чувствовал себя как дома — хотя и нуждался в просачивавшейся оттуда интеллектуальной подпитке. Сам себе я казался лжецом, и мне было стыдно. Я говорил себе: «Да, ты мошенник и обманщик; ты вводишь в заблуждение людей, желающих тебе добра. Они не виноваты, что живут в надежном мире, что ничего не знают о бедности, что религия является для них, помимо всего прочего, также профессией, за которую им платят, что они совершенно не сознают, что Бог может вырвать человека из его упорядоченного духовного мира и вынудить к богохульству. У меня нет возможности объяснить им все это. Я должен взвалить на себя позор и научиться выдерживать его». Увы, до тех пор по части исполнения этого долга я знал лишь неудачи.

По мере того, как этот моральный конфликт становился все более и более острым, мои недоверие и неприязнь к личности номер два достигли такой степени, что скрывать их от самого себя стало совершенно невозможно. Попытки подавить личность номер два ни к чему не привели. В школе и в присутствии друзей я мог забыть ее; она исчезала также, когда я занимался естественными науками. Но стоило мне оказаться наедине с собой дома или на природе, как в полной силе возвращались Шопенгауэр и Кант, а вместе с ними и величие «Божьего мира». Мои научные знания также составляли часть Божьего мира и дополняли грандиозную картину живыми красками и фигурами. Тогда номер первый со своими заботами о выборе профес-

сии исчезал за горизонтом как незначительный эпизод последнего десятилетия девятнадцатого века. Но, возвращаясь из своих вылазок в прошлые века, я испытывал нечто вроде похмелья. Я, а точнее, мой номер первый, жил здесь и сейчас, и рано или поздно должен был выбрать профессию и начать работать.

Несколько раз отец серьезно заговаривал со мной. Он говорил, что я могу изучать все, что захочу, но лично он посоветовал бы мне держаться подальше от богословия. «Будь кем угодно, только не богословом», — всячески подчеркивал он. В то время у нас было молчаливое соглашение, что некоторые вещи можно говорить или делать без комментариев. Он никогда не порицал меня за то, что я при любом удобном случае пропускал церковную службу и перестал ходить к причастию. Чем дальше я был от церкви, тем лучше себя чувствовал. Мне не хватало органа и хоровой музыки, но я явно не испытывал тоски по «общине верующих». Это понятие не имело для меня никакого смысла, поскольку обычные посетители церкви казались мне куда менее похожими на «общину», нежели те, кто в церковь не ходил. Последние могли быть менее добродетельны, но, с другой стороны, они были куда более симпатичны, естественны, общительны и жизнерадостны, сердечны и искренни.

Я легко убедил отца, что не испытываю ни малейшего желания делаться богословом. Но я продолжал колебаться между естественными и гуманитарными науками. Как те, так и другие меня живо интересовали. Я начал осознавать, что номер второй лишен почвы под ногами. В нем я был вознесен над категориями времени и места, в нем я ощущал себя одним из множества глаз в тысячеглазой вселенной, но, подобно камню на поверхности земли, я был совершенно неспособен к движению. Номер первый восставал против этой пассивности; он хотел распрямиться и действовать, однако в данный момент был вовлечен в неразрешимый конфликт. Очевидно, мне следовало подождать и посмотреть, что произойдет. Когда меня спрашивали, кем я хочу стать, я обыкновенно отвечал: филологом, — имея при этом в виду ассирийскую и египетскую археологию. В действительности, однако, я посвящал часы досуга — и особенно каникулы, которые я проводил дома с матерью и сестрой, — изучению естественных наук и философии. Давно прошли времена, когда я то и дело жаловался матери: «Мне скучно, я не знаю, чем заняться». Теперь каникулы стали лучшим временем в году, поскольку я получал возможность побыть наедине с самим собой. Более того, на каникулы, особенно на зимние, отец постоянно отсутствовал, поскольку у него было обыкновение проводить это время в Заксельне.

Лишь однажды я провел каникулы вне дома. Мне было четырнадцать, когда по предписанию нашего врача меня отпра-

вили подлечиться в Энтлебух — в надежде, что тамошние условия будут способствовать улучшению моего неустойчивого аппетита и все еще слабого здоровья. Впервые в жизни я оказался один среди чужих взрослых людей. Меня поселили в доме католического священника. Для меня это было жутковатое и в то же время восхитительное приключение. Самого священника я видел крайне редко, а в его горничной — хотя она и была подвержена приступам сварливости — не было ничего пугающего. Ничего страшного со мной не произошло. Я находился под присмотром старого деревенского врача, державшего нечто вроде гостиницы-санатория для выздоравливающих от самых разнообразных хворей. Здесь была смешанная публика: крестьяне, мелкие чиновники, купцы и несколько образованных людей из Базеля, в том числе некий химик, достигший вершины славы, то есть докторской степени. Мой отец также был доктором, но всего лишь в области филологии и лингвистики. Химик оказался для меня интереснейшей новинкой: ученым человеком, проникшим, возможно, даже в тайны камней. Он был еще молод и учил меня играть в крокет, но не уделил мне ни грана из своих, предположительно весьма обширных, познаний. Я же был слишком застенчив, неловок и, главное, невежествен, чтобы о чем-то его просить. Я испытывал к нему почтение как к первому встреченному мною во плоти человеку, посвященному в тайны природы — или, во всяком случае, в некоторые из них. Он сидел за тем же столом, что и я, питался той же пищей и иногда даже обменивался со мной несколькими словами. Я чувствовал себя перенесенным в высшую сферу взрослости.

Это повышение моего статуса подтвердилось тогда, когда мне позволили принимать участие в устраиваемых для пансионеров увеселительных прогулках. Во время одной из них мы посетили винокуренный завод, где нам предложили продегустировать образцы продукции. Словно во исполнение классического стишка Вильгельма Буша:

Но тут случилась беда:
В стакане вовсе не вода!

вид разнообразных маленьких стаканчиков настолько меня воодушевил, что мое сознание перешло в совершенно новое и неожиданное состояние. Больше не было ни «внутреннего», ни «внешнего» мира, ни «Я», ни «других», ни «номера первого», ни «номера второго». Осторожность и робость улетучились; земля и небо, вселенная и все, что в ней ползает и летает, вращается, возносится и падает, стало единым. Я постыдно, славно, триумфально напился. Казалось, я погрузился в волнующееся море блаженных мыслей и, чтобы удержать равновесие на качающихся улицах, между неустойчивыми домами и деревьями, вы-

нужден был цепляться за все попадающиеся мне на глаза, под руки и под ноги твердые предметы. «Как чудесно, — думал я, — разве что чуть-чуть слишком». Этот опыт имел довольно печальный конец, но он все-таки стал открытием, предчувствием красоты и смысла, испорченным исключительно по глупости.

К концу моего пребывания в Энтлебухе за мной приехал отец, и мы вместе отправились в Люцерн, где — какое счастье! — поднялись на борт парохода. Я никогда не видел ничего подобного. Не успев как следует рассмотреть, как действует паровая машина, я вдруг услышал, что мы уже прибыли в Фитцнау. Над деревней нависла высокая гора; отец сказал мне, что это Риги и к ее вершине ведет фуникулер. Мы вошли в маленькое здание вокзала, рядом с которым стоял самый удивительный в мире локомотив — с котлом, торчащим под необычным углом. Даже сиденья в вагончике были наклонены под тем же углом. Отец вложил мне в руку билет и сказал: «Поезжай к вершине один. Я останусь здесь, потому что поездка вдвоем обойдется нам слишком дорого. Будь осторожен, не упади».

От радости у меня перехватило дыхание. Наконец я оказался у подножия этой могучей горы, самой высокой из всех, которые когда-либо видел, и близкой к огненным вершинам моего детства. Я и впрямь стал почти мужчиной. Ради этой поездки я купил себе бамбуковую трость и английскую жокейскую шапочку — самые подходящие принадлежности экипировки серьезного путешественника. А теперь мне предстояло взойти на эту огромную гору! Шумно пыхтя, грохоча и раскачиваясь из стороны в сторону, чудесный локомотив повез меня к головокружительным вершинам. Моему зору открывались все новые и новые ущелья и панорамы; и вот я наконец ступил на вершину, вдохнул глоток необычно разреженного воздуха и стал разглядывать невообразимые дали. Я думал: «Да, это он, это мой мир, истинный мир, мир тайны, где нет учителей, нет школ, нет неразрешимых вопросов, где человек может *быть*, ни у кого не испрашивая разрешения». Я соблюдал осторожность и не отклонялся от проторенных дорог, так как вокруг было множество жутких пропастей. Все это выглядело очень торжественно, и я чувствовал, что здесь, на вершине, нужно соблюдать благовоспитанность и молчание, поскольку ты находишься в Божьем мире. Здесь это ощущалось физически. Никогда мой отец не делал мне более прекрасного подарка.

Полученное мною впечатление оказалось настолько глубоким, что воспоминания о последующих событиях, происшедших в «Божьем мире», начисто выветрились из моей памяти. Но и для номера первого это путешествие не прошло даром, и его впечатления остались со мной доныне. Я все еще отчетливо вижу себя повзрослевшим и независимым, в чопорной черной

шляпе, с дорогой тростью, сидящим на террасе умопомрачительно шикарного дворца-отеля на набережной в Люцерне или в одном из прекрасных садов Фитцнау и пьющим утренний кофе, сервированный на покрытом белой скатертью столике под полосатым навесом, купающимся в лучах солнца; я ем круассаны¹ с золотым маслом и разнообразными джемами и размышляю над проектом увеселительной поездки, которой предстоит заполнить длинный летний день. После кофе я неторопливым шагом шествую по направлению к пароходу, который увезет меня к Сен-Готарду, к подножию исполинских гор, чьи вершины покрыты мерцающими ледниками.

В течение долгих десятилетий эта картина являлась мне всякий раз, когда я чувствовал усталость от работы и мечтал об отдыхе. Я не уставал обещать себе эту роскошь, но мне так и не удалось выполнить обещанное.

Это было мое первое путешествие в сознательном возрасте; через год или два за ним последовало второе. Меня отпустили к отцу, проводившему каникулы в Заксельне. От него я узнал удивительную новость: он подружился с католическим священником. Это показалось мне исключительной смелостью, и втайне я дивился отцовской отваге. Во время своего пребывания там я посетил скит в Флюэли и место захоронения останков Братца Клауса², которого как раз тогда беатифицировали. Я дивился, откуда католики узнали, что он действительно был блаженным? Может быть, он все еще бродит где-то здесь и сказал им об этом сам? На меня произвел громадное впечатление *genius loci*³: я мог не просто представить себе возможность жизни, столь безраздельно отданной Богу, но и проникнуть в смысл этой жизни. И все же меня бросало в дрожь при мысли: «Как могли его жена и дети выдерживать рядом с собой святого в качестве мужа и отца? Взять, к примеру, моего отца: ведь я люблю его прежде всего как раз за ошибки и недостатки. Как вообще можно жить рядом со святым?» Ответа на этот вопрос я не знал. Ясно, что он признавал невозможность жизни в миру и поэтому сделался отшельником. Впрочем, от его кельи до дома было не так уж далеко. Мне понравилась мысль о том, чтобы иметь семью в одном доме, а самому жить неподалеку, в хижине, со стопкой книг и письменным столом, а рядом, на костре, жарить каштаны и варить

1 Слоеные булочки в форме полумесяца.

2 Имеется в виду Николай из Флюэ — швейцарский отшельник XV века, покинувший мир в возрасте 50 лет и в течение последующих 20 лет монашеской жизни приобретший огромный моральный авторитет. Считается святым покровителем Швейцарской Конфедерации.

3 Дух места (*лат.*).

суп на треножнике. Будучи святым отшельником, я избавлюсь от обязанности ходить в церковь, а вместо этого устрою в хижине молельню для собственного пользования.

Погруженный в свои мысли, я вышел из скита и поднялся на холм; только я собрался повернуть назад, как слева появилась тоненькая девичья фигурка в национальном костюме. У девушки были красивые черты лица и добрые голубые глаза. Мы обменялись приветствиями с такой непринужденностью, словно ничего естественнее нельзя было и придумать, а затем продолжили спускаться в долину вместе. Она была примерно моего возраста. Поскольку единственными знакомыми мне дотоле девушками были мои двоюродные сестры, я чувствовал некоторое смущение и толком не знал, о чем говорить. Запинаясь, я принялся объяснять ей, что приехал на несколько дней на каникулы, что учусь в базельской гимназии и собираюсь после ее окончания поступать в университет. Пока я говорил, меня охватило удивительное чувство трепета перед свершающейся судьбой. Я подумал: «Она появилась только что и теперь идет рядом со мной так естественно, словно мы принадлежим друг другу». Скосив взгляд в ее сторону, я увидел на ее лице выражение смущения пополам с восхищением, поразившее меня до глубины души. В замешательстве я подумал: вот она, судьба! Неужели моя встреча с ней — это простая случайность? Крестьянская девушка — возможно ли такое? Она, конечно, католичка, но, быть может, священник ее прихода — это как раз тот, с кем подружился мой отец? Она не имеет понятия о том, что я собой представляю. Конечно, я не могу заговорить с ней о Шопенгауэре и об отрицании Воли. Впрочем, в ней нет ничего пугающего. Наверное, ее священник — не из тех иезуитов, которые рыщут там и сям в своих черных сутанах. Но я все же не могу сказать ей, что мой отец — протестантский пастор. Это может ее задеть или отпугнуть. А уж заговорить о философии или о дьяволе, который даже важнее Фауста, хотя Гете и представил дьявола простачком — это вообще немыслимо. Она все еще пребывает в далеком краю невинности, я же с головой окунулся в действительность, в великолепие и жестокость Творения. Сможет ли она выдержать разговоры об этом? Между нами — непроницаемая стена, делающая невозможными какие бы то ни было взаимоотношения.

С глубоким сожалением я замкнулся в себе и перевел разговор на менее опасные темы: о том, куда она идет, какая нынче погода и тому подобное.

Внешне эта встреча была совершенно незначительна. Но для внутреннего зора она оказалась столь весомой, что не просто заняла все мои мысли на много дней, но осталась в памяти навсегда — как, впрочем, и святилище у дороги. В то время я все

еще был ребенком; как и у всякого ребенка, моя жизнь складывалась из отрывочных, не связанных между собой переживаний. Но кто бы мог обнаружить нити судьбы, ведущие от Братца Клауса к хорошенькой девушке?

В тот период меня постоянно одолевали противоречивые мысли. С одной стороны, никак не удавалось сочетать Шопенгауэра и христианство; с другой же стороны, номер первый хотел избавиться себя от гнета или меланхолии номера второго. Из этих двоих угнетенным ощущал себя не номер второй, а номер первый при воспоминании о втором. Как раз тогда из столкновения противоположностей родилась первая «систематическая» фантазия моей жизни. Она складывалась постепенно, из отдельных частиц, ведя свое происхождение, насколько я помню, из одного глубоко взволновавшего меня переживания.

Дул северо-западный ветер, и Рейн покрылся бурлящей пеной. Дорога в мою школу шла вдоль реки. Вдруг я увидел корабль с большим парусом, плывущий по ветру с севера, против течения. Парусник на Рейне! — ничего подобного мне прежде видеть не доводилось. Я дал волю своему воображению. Если бы вместо этой быстрой реки было озеро, покрывающее собой весь Эльзас, мы могли бы плавать на лодках и больших пароходах. Тогда Базель сделался бы портом; нам жилось бы почти так же хорошо, как у моря. Все стало бы по-другому, и мы бы жили в другом времени и другом мире. Не было бы никакой гимназии, не было бы этой долгой дороги в школу, я был бы взрослым мужчиной и жил бы, как хочу. Из озера поднимался бы холм или утес, соединенный с берегом узким перешейком, пересеченным широким рвом; через ров был бы переброшен деревянный мост, ведущий к обрамленным башнями воротам средневекового городка, построенного на окружающих склонах. На вершине скалы — хорошо укрепленный замок с высокой сторожевой башней. Это мой дом. В нем нет ни великолепных залов, ни каких-либо иных признаков роскоши. Комнаты простые, небольшие, обшитые панелями. Зато есть необычайно интересная библиотека, где можно почерпнуть знания обо всем на свете. Есть также коллекция оружия, а на бастionaх стоят тяжелые пушки. Кроме того, в замке имеется гарнизон из пятидесяти солдат. Население городка состоит из нескольких сот человек; во главе его — мэр и городской совет старейшин. Я же — мировой судья, арбитр и советник, появляющийся только для того, чтобы вершить суд. В городском порту стоит моя двухмачтовая шхуна, вооруженная несколькими маленькими пушками.

Нервным узлом и причиной существования всего этого упорядоченного мирка была тайна сторожевой башни, известная только мне одному. Мысль о башне осенила меня совершенно неожиданно. Внутри башни, от зубчатых стен до сводчатого

подвала тянулся медный столб или тяжелый, сплетенный из проволоки канат толщиной в руку; в своей верхней части он ветвился, образуя нечто вроде кроны дерева или — лучше — корневой системы, перевернутой вверх ногами и впитывающей из воздуха непостижимое нечто, поступающее затем по медному столбу вниз, в подвал. Здесь у меня стоял столь же непостижимый аппарат, нечто вроде лаборатории, где из таинственного вещества, поставляемого медными корнями из воздуха, я делал золото. Это действительно была тайна, о природе которой я ничего не знал и не желал знать. Моя фантазия не касалась также природы превращения вещества. Осторожно и несколько боязливо она сторонилась того, что в действительности происходило в этой лаборатории. Возникало нечто вроде внутреннего запрета: нельзя было приближаться к этому и задаваться вопросом, что именно представляет собой вещество, экстрагируемое из воздуха. Как говорил Гете о Матерях: «Предмет глубок, я трудностью стеснен»¹.

«Дух», конечно, значил для меня что-то невыразимое, но по существу я воспринимал его как нечто аналогичное крайне разреженному воздуху. То, что корни впитывали в себя и передавали медному столбу, было родом духовной сущности, которая внизу, в подвале, обретала видимую форму готовых золотых монет. Конечно, все это представляло собой не просто магический трюк: мне открылась освященная веками и жизненно важная тайна природы. Я не знал, каким образом она явилась мне; но, так или иначе, я должен был ее скрывать не только от совета старейшин, но и, в известном смысле, от себя самого.

Моя долгая, утомительная дорога в школу и из школы начала самым восхитительным образом сокращаться. Выйдя из школы, я мгновенно оказывался в замке, где производились перестройки, созывались заседания совета, выносились приговоры виновным, разрешались споры, заряжались пушки. Палуба шхуны была надраена до блеска, паруса подняты, и корабль медленно выходил из бухты, подгоняемый нежным бризом; затем, повернув за скалу, он прибавлял ходу под крепким норд-вестом. И вдруг — словно вся моя дорога заняла каких-нибудь несколько минут — я оказывался у порога своего дома. Я покидал свою фантазию, словно это был экипаж, легко и без усилий доставивший меня домой. Это приятнейшее времяпрепровождение продолжалось несколько месяцев, после чего начало мне надоедать. Я стал находить свою фантазию смехотворной. Отвлекаясь от грез, я принялся строить замки и искусно укрепленные сооружения из камешков, цементируя их глиной; моделью

1 «Фауст», часть вторая, акт 2, сцена «Темная галерея» (перевод Б. Пастернака).

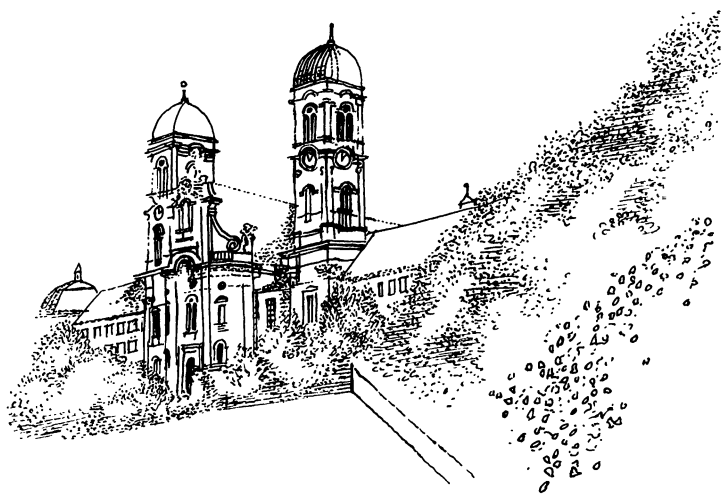
мне служила крепость в Хюнингене, в то время еще целая. Я изучил доступные мне фортификационные планы Вобана¹ и вскоре уже знал все технические детали. От Вобана я перешел к современным методам фортификации и, пользуясь своими ограниченными ресурсами, попытался построить модели всех типов. Этому занятию я предавался в часы отдыха на протяжении двух с лишним лет; за это время моя склонность к изучению природы и миру конкретного неуклонно возрастала — конечно, за счет личности номер два.

Мне казалось, что коль скоро мне недостает знаний о реальных вещах, нет смысла предаваться размышлениям о них. Фантазировать может всякий, но действительные знания — это нечто иное. Родители позволили мне подписаться на научный журнал, который я читал со страстным интересом. Я раскапывал и коллекционировал все окаменелости, которые только мог найти в наших Юрских горах; я собирал также все доступные минералы, насекомых, кости мамонтов и людей — первые из песчаных ям в Рейнской долине, а вторые — из общей могилы 1811 года близ Хюнингена. Растения меня также интересовали, но не с научной точки зрения. Я не понимал, что именно меня привлекало в них, но у меня была стойкая убежденность, что их не следует вырывать из земли и засушивать. Это были живые существа, имевшие смысл лишь постольку, поскольку они росли и цвели — скрытый, тайный смысл, который представлял собой одну из Божьих мыслей. На них следовало смотреть с благоговением и философским изумлением. То, что о них мог сказать биолог, было интересно; самое существенное, однако же, заключалось в чем-то ином. Но в чем именно — я не мог бы объяснить даже самому себе. Скажем, как растения соотносились с христианской религией или отрицанием Воли? Здесь крылось нечто мне недоступное. Очевидно, они разделяли божественное состояние невинности, которое лучше не нарушать. С другой стороны, насекомые были денатурированными растениями — цветами и плодами, осмеливавшимися ползать, ходить на длинных ножках или летать на крыльях, подобно цветочным лепесткам, и беззастенчиво терзавшими «настоящие» растения. Из-за этой своей противозаконной деятельности они заслуживали массового уничтожения; с особым тщанием я расправлялся с июньскими хрущами и гусеницами. Мое «сострадание всем живым существам» ограничивалось теплокровными. Среди холоднокровных позвоночных единственное исключение составляли лягушки и жабы — только потому, что они походили на людей.

1 Себастьян Ле Претр Вобан (Vauban) (1633—1707) — маршал Франции, крупнейший авторитет своего времени в области фортификации.

3 Студенческие годы





Несмотря на возрастающий интерес к естественным наукам, я время от времени возвращался к книгам по философии. Момент выбора профессии близился с угрожающей скоростью. С нетерпением я ждал окончания школы. После этого я поступлю в университет и, конечно, стану изучать естественные науки. Наконец-то я узнаю нечто реальное. Но только я успел пообещать себе все это, как начались мои сомнения. Не испытываю ли я более ярко выраженной склонности к истории и философии? К тому же, я активно интересуюсь всем, что имеет отношение к Египту и Вавилону, и больше всего хотел бы быть археологом. Но я не имел средств на учебу где-либо, помимо Базеля, а в Базеле археологии не обучали. Поэтому этот план очень скоро пришлось отвергнуть. Я долго колебался и не мог принять решение. Отец был очень обеспокоен. Как-то раз он сказал: «Мальчик интересуется всем на свете, но сам не знает, чего хочет». Я не мог не признать его правоту. Когда до зачисления в университет оставалось совсем немного времени и уже нельзя было мешкать с выбором, я внезапно, не посвящая в свое решение никого из одноклассников, остановился на естественных науках.

Это, казалось бы, внезапно принятое решение имело свои основания. Несколькими неделями раньше, как раз когда номер первый и номер второй схватились между собой за право выбора, мне приснились два сна. В первом из них я находился в лесу, раскинувшемся на берегу Рейна. Подойдя к невысокому могильному холму, я приступил к раскопкам. Вскоре, к собственному удивлению, я наткнулся на кости каких-то доистории-

ческих животных. Необычайно заинтригованный всем этим, я мгновенно понял: необходимо посвятить себя познанию природы, мира, в котором мы живем, и окружающих нас вещей.

Во втором сне я снова оказался в лесу, на сей раз — изрезанном ручейками; в самом темном месте была округлая заводь, по берегам которой росла густая трава. Наполовину погрузившись в воду, лежало удивительнейшее существо: животное округлой формы, отливающее молочным светом и состоящее из бесчисленных клеточек или органов наподобие щупалец. Это была гигантская радиолярия¹ диаметром не меньше метра. Мне показалось неописуемым чудом, что это великолепное существо лежит, никем не тревожимое, в скрытом от посторонних взглядов месте, в чистой, глубокой воде. Во мне возникла настолько страстная жажда знания, что я проснулся с бьющимся сердцем. Эти два сна совершенно определенно склонили меня на сторону науки и, таким образом, разрешили все сомнения.

Я в полной мере осознал, что мне — как, впрочем, любому человеку — нужно зарабатывать себе на жизнь и ради этого необходимо заняться каким-нибудь делом. Все мои школьные товарищи только об этом и думали. Я чувствовал себя в каком-то смысле белой вороной. Почему бы мне тоже не решиться и не посвятить себя чему-то определенному? Даже этот зануда и работяга Д., которого учитель немецкого навязывал мне в качестве образца прилежания и сознательности, будет изучать богословие. Мне стало ясно, что придется как следует поразмыслить. Если, к примеру, я выберу зоологию, мне светит только место школьного преподавателя или, в лучшем случае, работника зоологического сада. Здесь нет будущего даже для человека со скромными запросами — хотя я, конечно, предпочел бы работу в зоологическом саду жизни школьного учителя.

Тут меня внезапно осенило: я могу изучать медицину! Как ни удивительно, ничего подобного мне раньше не приходило в голову, хотя мой дед по отцовской линии, о котором я так много слышал, был врачом. Впрочем, именно это вызывало во мне некоторое противодействие. «Ни в коем случае не опускаться до подражания» — таков был мой девиз. Но теперь я сказал себе, что в изучении медицины есть хотя бы то преимущество, что она начинается с естественных наук. В этом смысле мне пришлось бы заниматься именно тем, что меня интересует. Более того, сфера медицины настолько обширна, что в ней всегда есть возможность для позднейшей специализации. Я окончательно

1 Радиолярии (Radiolaria) — одноклеточные организмы, характеризующиеся наличием своего рода наружного «скелета» из кремнезема; этот скелет часто имеет форму шара с расходящимися от него в разные стороны лучами.

выбрал науку, и оставался только один вопрос: каким образом действовать дальше? Мне нужно было зарабатывать на жизнь, а так как у меня не было денег, я не мог поступить в университет за границей и там получить образование, которое позволило бы мне надеяться на успешную научную карьеру. В лучшем случае я мог бы сделаться дилетантом в науке. Кроме того, поскольку моя личность вызывала неприязнь у многих моих одноклассников и людей, с чьим мнением считаются (то есть педагогов), мне не приходилось особо надеяться на покровителя, который поддерживал бы меня. Поэтому когда я, наконец, остановился на медицине, у меня появилось не слишком приятное ощущение, что жизнь приходится начинать с недостойного компромисса. И все же, как только я принял бесповоротное решение, на душе стало несравненно легче.

Но тут последовал другой болезненный вопрос: откуда взять деньги? Отец мог предоставить лишь часть требуемой суммы. Он обратился в Базельский университет с прошением о стипендии для меня и, к моему смущению, отказа не получил. Смущение было вызвано не столько тем, что наша бедность оказалась выставлена на всеобщее обозрение, сколько укоренившейся во мне тайной уверенностью, что все «высокопоставленные» люди — то есть люди, с чьим мнением принято считаться, — относятся ко мне плохо. Я никогда не ожидал от них такого благожелательного отношения ко мне. Очевидно, я был обязан этим репутации отца — человека доброго и простого. Я же чувствовал себя совершенно непохожим на него. Вообще говоря, у меня было два различных взгляда на собственную персону. Глазами номера первого я видел себя довольно непривлекательным и не слишком даровитым юнцом с преувеличенными амбициями, несдержанным темпераментом и сомнительными манерами, легко переходящим от наивного энтузиазма к припадкам инфантильного разочарования, и в глубине души отшельником и мракобесом. С другой стороны, номер второй смотрел на номера первого как на трудную и неблагоприятную моральную задачу, как на урок, который нужно вы зубрить, несмотря на все сопутствующие дефекты — такие, как припадки лени и уныния, неуместная увлеченность идеями и вещами, не имеющими для других никакой ценности, склонность преувеличивать дружеские отношения, ограниченность, предрассудки, тупоумие (математика!), неспособность понимать других, отсутствие мировоззренческих ориентиров и критериев, в результате чего я так и не стал ни честным христианином, ни чем-то иным. У номера второго вообще не было определенного характера. Он был *vita recta*¹, рожденным, живым и мертвым сразу, цельным образом

1 Переживаемой жизнью (лат.).

человеческой природы. Обладая безжалостно-ясным знанием о себе, он не мог выразить себя через посредство непрозрачного, темного первого номера, хотя и всячески стремился к этому. Когда доминировал номер второй, первый поглощался им и исчезал в нем; со своей стороны, номер первый рассматривал второго как область внутренней тьмы. Второй чувствовал, что любая форма его умопостигаемого самовыражения будет походить на камень, брошенный за границу мира и обреченный беззвучно исчезнуть в бесконечной ночи. Но в нем — то есть в номере втором — царил свет, как в обширных залах королевского дворца, где за высокими окнами открываются солнечные дали. Здесь были смысл и историческая преемственность — по контрасту с бессвязной, случайной жизнью номера первого, не имевшего действительных точек соприкосновения с окружающей средой. С другой стороны, номер второй чувствовал себя в тайном согласии со Средними Веками, воплощенными в образах «Фауста», с наследием прошлого, которое, вне всякого сомнения, волновало Гете до глубины души. Я испытывал величайшее утешение, зная, что для Гете номер второй также был реальностью. Я был потрясен, когда осознал, что «Фауст» для меня значит больше, чем даже мое любимое Евангелие от Иоанна. В «Фаусте» было нечто, воздействовавшее непосредственно на мои чувства. Христос Евангелия от Иоанна был чужд мне — хотя и не до такой степени, как Христос синоптических Евангелий. С другой стороны, «Фауст» был живым эквивалентом номера второго, и я не сомневался, что именно *он* есть ответ, данный Гете своему времени. Эта догадка не только успокаивала меня, она внушала мне чувство внутренней надежности и принадлежности к человеческому сообществу. Я больше не был изолированным курьезом, капризом жестокой природы. Моим крестным отцом, моим главным авторитетом был великий Гете.

Примерно тогда же мне приснился сон, одновременно испугавший и ободривший меня. Ночью, в каком-то незнакомом месте, я медленно и с большим трудом продвигался вперед против сильного ветра. Стоял густой туман. В сложенных ладонях я держал крошечный светильник, грозивший в любой момент погаснуть. Все зависело от того, сохраню ли я этот огонек. Вдруг я ощутил, что за моей спиной что-то происходит. Посмотрев назад, я увидел огромную черную фигуру, шедшую за мной следом. Меня охватил ужас, но я мгновенно осознал, что мой огонек нужно сохранить — несмотря на ночь и ветер, вопреки всем опасностям. Проснувшись, я сразу же понял, что фигура была «брокенским призраком»¹, моей собственной тенью в клубя-

1 Брокен — гора в южной Германии (Гарц), по традиционным поверьям — место шабашей нечистой силы в Вальпургиеву ночь.

щемся тумане, вызванной к жизни тем самым огоньком, который я нес в ладонях. Я знал также, что этот огонек был моим сознанием, единственным светом, которым я обладал. Мое собственное, принадлежащее только мне одному сознание — это уникальное, величайшее из моих сокровищ. Хотя оно бесконечно мало и хрупко по сравнению с силами тьмы, это все же свет, мой единственный свет.

Этот сон стал для меня великим озарением. Теперь я знал, что номер первый есть носитель света, тогда как номер второй следует за ним как тень. Моя задача состояла в том, чтобы защищать свет и не оглядываться назад, на *vita peracta*; очевидно, там была запретная область другого света. Я должен идти вперед, против бурного ветра, стремящегося отбросить меня обратно к неизмеримой тьме мира, где сознание человека охватывает только поверхностный слой вещей, кроющихся в глубине. В роли номера первого я должен был идти вперед — учиться, зарабатывать деньги, выполнять служебные обязанности, выпутываться из затруднительных положений, блуждать, ошибаться, подчиняться, терпеть поражения. Ветер, мешавший мне идти, был временем, непрерывно текущим по направлению к прошлому, которое, в свою очередь, столь же непрерывно следует за нами по пятам. Оно мощно всасывает в себя все живое, и мы сможем до поры избежать его воздействия только в том случае, если будем упорно двигаться вперед. Прошрое до ужаса реально, оно все время рядом и готово вцепиться в каждого, кто не способен удачным ответом спасти свою шкуру.

Мой взгляд на мир сделал еще один поворот на девяносто градусов: я ясно понял, что мой путь ведет наружу, в ограниченность и тьму трехмерного пространства. Мне казалось, что некогда Адам именно так покинул рай: Эдем сделался для него лишь призраком, а свет был там, где ему предстояло в поте лица возделывать каменистое поле.

Я недоумевал, откуда явился мне этот сон. Дотоле я считал само собой разумеющимся, что подобные сны ниспосылаются Богом. Но теперь я был до такой степени пропитан эпистемологией, что меня охватили сомнения. Можно было бы сказать, к примеру, что моя интуиция в течение длительного времени мало-помалу созревала, а затем внезапно выразила себя в форме сна. Именно это как раз и произошло в действительности. Но это не объяснение, а просто описание. Главный вопрос заключался в другом: почему этот процесс вообще произошел и почему он прорвался в сферу сознания? Сознательно я не делал ничего, что могло бы способствовать такому моему развитию; мои склонности были направлены в совершенно иную сторону. Значит, что-то должно было сработать за сценой; судя по всему, это «что-то» представляло собой некий разум, безусловно пре-

восходивший мой собственный. Ведь сам по себе я никогда не смог бы дойти до удивительной мысли, что по отношению к свету сознания сфера, где царит внутренний свет, представляется гигантской тенью. Теперь же я мгновенно понял многое из того, что прежде казалось мне необъяснимым — в частности, холодную тень замешательства и отчуждения, пробегавшую по лицам людей всякий раз, когда я касался в разговоре чего-либо, напоминающего о сфере внутренней жизни.

Нужно оставить личность номер два позади, это ясно. Но ни при каких обстоятельствах нельзя отрицать перед самим собой ее значимость; нельзя объявлять ее недействительной. Мало того, что тем самым я бы сам себя искалечил; я еще и лишил бы себя всякой возможности объяснить происхождение снов. Для меня было ясно, что номер второй имеет отношение к происхождению снов, и я готов был с легкостью признать за ним превосходство в разуме. Но я чувствовал, что чем дальше, тем больше отождествляюсь с номером первым — а это состояние, в свою очередь, оказывалось лишь частью бесконечно более всеобъемлющего номера второго, с которым как раз по этой причине я уже не мог чувствовать тождества. Он и впрямь был призраком, духом, способным не отступать перед миром тьмы. Именно этого я не знал до того, как увидел свой сон; более того, оглядываясь назад, я понимаю, что даже позднее я это скорее ощущал, чем сознавал.

Так или иначе, между мною и номером вторым возник раскол; в результате мое «Я» было приписано номеру первому и в той же мере отнято у номера второго, обретшего, таким образом, своего рода автономию. Я не связывал это с мыслью об индивидуальном своеобразии вроде того, которое, возможно, есть у привидений — хотя учитывая мое сельское происхождение, такая возможность не должна была бы меня удивить. В сельской местности люди верят в подобные вещи согласно обстоятельствам — то есть верят и не верят одновременно.

Единственным отчетливо различимым свойством этого духа был его исторический характер, его протяженность во времени или, точнее, его вневременность. Конечно, я не объяснял себе этого именно в таких выражениях, равно как и не выработал определенного представления о его бытии в пространстве. В жизни моей личности номер один он играл роль глубинного, фонового фактора, не получившего ясного определения, но присутствовавшего всегда.

На нечувствительные колебания окружающей атмосферы дети реагируют куда острее, чем на то, что говорят взрослые. Ребенок бессознательно адаптируется к таким колебаниям, и это порождает в нем ответные движения. Специфические «религи-

озные» идеи, являвшиеся мне даже в самом раннем детстве, были спонтанными порождениями, которые можно понять только как реакцию на атмосферу родительского дома и на дух эпохи. Религиозные сомнения, которым впоследствии оказался подвержен мой отец, естественно, должны были пройти через длительный инкубационный период. Подобный переворот в мире отдельной личности, да и в мире в целом, отбрасывал вперед себя тени тем более длинные, чем отчаяннее сознательная мысль отца сопротивлялась их могучему воздействию. Неудивительно, что предчувствия приводили отца в состояние внутреннего беспокойства, которое затем заражало и меня.

У меня никогда не было впечатления, что эти воздействия могли бы исходить от матери, ибо она каким-то образом была укоренена в глубокой, невидимой почве, причем это никогда не казалось мне признаком ее преданности христианской вере. Для меня это связывалось скорее с животными, деревьями, горами, лугами, водными потоками, что удивительным образом контрастировало с ее сугубо христианским внешним поведением и звучавшими в ее устах общими местами христианского учения. Этот глубинный фон настолько хорошо соответствовал моей собственной установке, что не доставлял мне неудобств; напротив, он сообщал мне чувство безопасности и убежденность, что здесь есть твердая почва, на которой можно устоять. Мне никогда не приходило в голову, до какой степени «языческим» является это основание. Материнский «номер второй» поддерживал меня в конфликте, начавшемся между отцовской традицией и странными компенсаторными продуктами, которые вырабатывало мое бессознательное.

Оглядываясь назад, я вижу, насколько серьезно мое развитие в детстве предвосхитило будущие события и помогло мне адаптироваться к религиозному кризису моего отца, равно как и к потрясающему откровению, явившему мир таким, каким мы видим его ныне — откровению, которое не было внезапным, но отбрасывало тень с огромным опережением. Живя собственной жизнью, мы, человеческие существа, все еще в огромной степени служим представителями, жертвами и проводниками коллективного духа, чья жизнь исчисляется столетиями. Мы можем всю жизнь думать, что действуем, руководствуясь только собственным нюхом, и так и не обнаружить, что в главном мы лишь статисты на театральной сцене мира. Существуют факторы, которые, будучи нам неизвестны, тем не менее воздействуют на нашу жизнь — и притом особенно сильно именно потому, что они не осознаются. По меньшей мере, часть нашего существа — та самая, которую для своего личного употребления я назвал «номером вторым» — живет в веках. То, что это не просто моя собственная несуразная выдумка, доказывается религией Запа-

да, которая вот уже две тысячи лет открыто апеллирует к этому внутреннему человеку и усердно пытается направить на его постижение наше поверхностное сознание с его персоналистскими интересами: *non foras ire, in interiore homine habitat veritas*¹.

В течение 1892—94 гг. я неоднократно, и притом довольно страстно спорил с отцом. В свое время он изучал в Геттингене восточные языки и защитил диссертацию по арабскому переводу Песни Песней. Дни его славы завершились вместе с выпускным экзаменом. С той поры он забыл о своем лингвистическом таланте. В бытность свою деревенским пастором он часто впадал в сентиментальность, вспоминал золотые годы, продолжал курить длинную студенческую трубку и обнаружил, что его женитьба — вовсе не то, о чем он мечтал. Он делал много добра — даже слишком много — и в результате обычно бывал очень раздражительным. Мои родители прилагали большие усилия, чтобы жить по законам благочестия; в итоге между ними слишком часто случались скандалы. По понятным причинам все эти осложнения впоследствии подорвали отцовскую веру.

Ко времени, о котором я рассказываю, его раздражительность и недовольство вышли за рамки обычного, что меня изрядно беспокоило. Мать избегала всего, что могло вызвать его эмоциональную реакцию, и отказывалась принимать участие в спорах. Я, конечно, понимал, что это и есть самая разумная линия поведения, но все-таки нередко не мог сдержаться. Когда с ним случались приступы ярости, я молчал; но когда он казался не столь закрытым, я пытался вызвать его на разговор в надежде узнать что-нибудь о его внутренней жизни, о его понимании собственного «Я». Мне было ясно, что его мучения вызваны чем-то особым, имеющим, как я подозревал, отношение к вере. Множество оброненных им намеков убедили меня, что он страдал религиозными сомнениями. Мне казалось, что он мог бы от них избавиться, только испытав соответствующее переживание. Из моих попыток завязать разговор я заключил, что тут у него действительно что-то не ладилось, поскольку все мои вопросы наталкивались либо на одни и те же безжизненные богословские ответы, либо на безнадежное пожимание плечами, вызывавшее во мне дух противоречия. Я не понимал, почему он не пользуется случаем разрешить все мучившие его сомнения. Я видел, что от моих замечаний у него портится настроение, но все же надеялся на конструктивный разговор, ибо с трудом мог представить себе, что он не испытал переживания Бога — самого очевидного из всех переживаний. Я достаточно хорошо разбирался в эпистемологии, чтобы понимать, что знание этого рода

1 Не стремись наружу; правда живет во внутреннем человеке (*лат.*).

не может быть доказано; но не менее ясно мне было и то, что доказывать его не более необходимо, нежели красоту вечерней зари или ужасы ночи. Я пытался — думаю, что довольно неуклюже — довести эти очевидные истины до его понимания и тем самым, возможно, помочь ему перенести неизбежные испытания. Ему необходимо было ссориться, и он удовлетворял эту потребность, ссорясь с домашними и с самим собой. Но почему же он не ссорился с Богом, темным создателем всех тварей, единственным, кто был ответствен за все страдания мира? В качестве ответа Бог наверняка послал бы ему один из тех магических, бесконечно глубоких снов, которые Он посылал мне даже без просьб с моей стороны и которые наложили неизгладимую печать на мою судьбу. Почему это было так, я не знал; это было так, и все. Да, Он даже позволял мне бросить мимолетный взгляд на Его собственное бытие. Здесь крылась великая тайна, которую я не осмеливался открыть отцу. Скорее всего, я смог бы открыться ему, если бы он, в свою очередь, был в состоянии понять прямое переживание Бога. Но в разговорах с ним я никогда не заходил так далеко; мы даже отдаленно не касались этой материи, ибо я постоянно блуждал вокруг да около, придерживаясь совершенно непсихологического, сугубо интеллектуального стиля беседы, и всячески избегая эмоциональных моментов. Каждый раз это дразнило его как красная тряпка быка и вызывало непостижимую для меня возмущенную реакцию. Я был не в состоянии понять, почему вполне рациональные аргументы наталкиваются на столь сильное эмоциональное сопротивление.

Эти бесплодные дискуссии крайне раздражали как отца, так и меня, и в конце концов мы их прекратили. Каждый из нас был отягощен чувством собственной неполноценности. Богословие стало причиной нашего взаимного отчуждения. Я чувствовал, что в очередной раз потерпел поражение, причем не только я. У меня было смутное предчувствие, что отец покорно подчинился судьбе. Он был одинок и не имел друга, с которым мог бы поговорить. Во всяком случае, я не знал среди наших знакомых человека, в чью способность произнести спасительные слова можно было бы поверить. Однажды я услышал, как отец молится. Он отчаянно боролся за сохранение веры. Я был одновременно растроган и возмущен, поскольку видел, до какой степени безнадежно он запутался в сетях, расставленных Церковью и богословской мыслью, которые сначала закрыли для него все пути к непосредственному постижению Бога, а затем вероломно его оставили. Теперь я постиг глубочайший смысл моего более раннего переживания: Бог отрекся от богословия и основанной на нем Церкви. С другой стороны, Бог попустительствовал этому богословию, подобно тому, как Он попустительствовал мно-

гому другому. Мне казалось смешным думать, будто за подобное положение дел ответственные люди. Что же, собственно говоря, представляют собой люди? «Они рождаются немыми и слепыми, как щенята, — думал я. — Как и другим Своим созданиям, Бог дал им жалкий минимум света, совершенно недостаточный для того, чтобы рассеять тьму, в которой они пробираются наощупь». Я был убежден также, что ни один из известных мне богословов не видел «света, который во тьме светит»¹ собственными глазами: ведь в противном случае они не могли бы обучать других «религии богословов». Мне нечего было делать с «религией богословов», ибо она не отвечала моему переживанию Бога. Она побуждала только к нерассуждающей слепой вере. Именно такой веры добросовестно придерживался мой отец, но в результате остался ни с чем. Он даже не мог защититься от смехотворного материализма психиатров, в который следовало верить так же, как и в богословие — разве что в противоположном смысле. Я же был более, чем когда бы то ни было, уверен, что и богословию, и материализму в равной мере недостает эпистемологического критицизма и опыта.

Отцу, очевидно, казалось, будто психиатры обнаружили в человеческом мозгу нечто, доказывающее, что там, где должен быть разум, имеется только «материя» и нет ничего «духовного». Видно, по этой причине он предостерег меня, чтобы я, взявшись изучать медицину, ради всего святого не сделался материалистом. Для меня это предостережение значило лишь, что мне не следует ни во что верить: ведь я знал, что материалисты верят в свои постулаты точно так же, как богословы в свои, а мой бедный отец просто-напросто попал из огня в полымья. Я понял, что именно хваленая вера сыграла эту беспощадную шутку не только с ним, но и с большинством других известных мне образованных и серьезных людей. Мне представлялось, что самый страшный грех веры заключается в опережении опыта. Откуда богословам известно, что Бог по Собственной воле установил порядок некоторых вещей и «дозволил» некоторые другие; откуда психиатрам известно, что материя наделена качествами человеческого разума? Мне совершенно не грозила опасность впасть в материализм, но отцу моему она казалась совершенно реальной. Очевидно, кто-то нашептал ему что-то насчет «внушения», ибо я однажды застал его за чтением бернхеймовской книги о внушении в переводе Зигмунда Фрейда². Это выглядело

1 Иоанн, 1:5.

2 H. Bernheim. Die Suggestion und ihre Heilwirkung. — Leipzig und Wien, 1888. (*Прим. автора.*) Ипполит Бернхейм (Бернгейм, Bernheim) (1837—1919) — французский врач, внесший принципиальный вклад в развитие техники гипноза; оказал большое влияние на Фрейда.

достаточно странно, поскольку прежде я видел его читающим одни только романы или случайные книги о путешествиях. На любые «умные» и интересные книги было наложено табу. Но чтение литературы по психиатрии не сделало его счастливее. Депрессия и ипохондрия заставляли его страдать чаще и мучительней, чем когда-либо. Долгие годы он жаловался на разного рода боли в животе, хотя его врач не мог сказать ничего определенного о природе этих недомоганий. Теперь он жаловался на ощущение «камней в животе». Долгое время мы не относились к этому всерьез, но в конце концов врач все-таки что-то заподозрил. Это было в конце лета 1895 года.

Весной того года я приступил к учебе в Базельском университете. Единственное время в моей жизни, когда я хотя бы иногда испытывал чувство скуки — то есть годы, проведенные в гимназии, — осталось наконец позади, и передо мною широко распахнулись золотые ворота, ведущие к *universitas litterarum*¹ и академической свободе. Теперь я получил возможность услышать важнейшие истины о природе. Мне предстояло изучать анатомию и физиологию человека и приобрести знания о болезнях. Вдобавок я был принят в «расцветенное братство»², к которому некогда принадлежал и мой отец. Вскоре после моего поступления в университет он принял участие в увеселительной прогулке нашего братства в одну из винодельческих деревень маркграфства и там произнес шутливую речь, которая, к моему удовольствию, воскресила радостный дух его собственных студенческих лет. Я неожиданно понял, что его жизненное развитие остановилось в момент окончания университета, и в моих ушах зазвучали слова студенческой песенки:

Sie zogen mit gesenktem Blick
In das Philisterland zurück.
O jerum, jerum, jerum,
O quae mutatio rerum!³

Слова эти тяжелым грузом легли на мою душу. Когда-то и он, как я теперь, был восторженным студентом-первокурсником. Мир был открыт для него так же, как и для меня; ему, как и мне, была доступна бесконечная сокровищница знаний. Как могло случиться, что все это оказалось отравлено горечью и унынием?

1 Совокупности наук (*лат.*), то есть университету.

2 То есть носящее цвета германских студенческих братств («буршеншафтов»).

3 Они пошли, потупив взгляд,
В страну филистеров назад.
Ой-ой, скажи на милость,
Ну как все изменилось!
(*нем., лат.* Перевод Д. Лахути).

Я не находил ответа — а может быть, ответов было слишком много. Речь, произнесенная за рюмкой вина в тот летний вечер, оказалась для отца последней возможностью оживить в памяти времена, когда он был тем, кем должен был оставаться всю жизнь. Поздней осенью 1895 года он слег, а в начале 1896 года — умер.

В последний день жизни отца, вернувшись с лекций домой, я спросил о его здоровье. «Все так же. Он очень слаб», — ответила мать. Отец что-то шепнул ей, а она повторила его слова мне, взглядом давая понять, что он бредит: «Он хочет знать, сдал ли ты свой государственный экзамен». Я понял, что должен солгать. «Да, все прошло очень хорошо». Он облегченно вздохнул и закрыл глаза. Спустя немного времени я зашел к нему еще раз. Он был один; мать чем-то занималась в соседней комнате. Услышав хрип, я понял, что наступила агония. Не в силах сдвинуться с места, я стоял у его постели. Прежде мне не приходилось видеть умирающих. Внезапно он перестал дышать. Я долго, но тщетно ждал очередного вдоха. Потом я вспомнил о матери и вышел в соседнюю комнату, где она вязала, сидя у окна. Я сказал: «Он умирает». Вместе со мной она подошла к его кровати и, убедившись, что он мертв, заворожено произнесла: «Как все быстро кончилось!»

Последующие дни были грустны и мучительны, и я их почти не помню. Однажды мать сказала голосом своей «второй» личности, обращаясь то ли ко мне, то ли к окружающему пространству: «Для тебя он умер как раз вовремя». Судя по всему, это значило: «Вы не понимали друг друга, и он мог бы стать для тебя помехой». Именно этот взгляд казался мне наиболее подходящим для «номера два» моей матери.

Слова «для тебя» очень больно меня задели; я почувствовал, что доброе старое время ушло безвозвратно. С другой стороны, во мне пробудились мужественность и чувство свободы. После смерти отца я перебрался в его комнату и занял его место в семье. Это выражалось хотя бы в том, что я обязан был каждую неделю выдавать матери деньги на расходы, поскольку она была лишена способности экономить и тратила деньги, не считая.

Спустя шесть недель после смерти отец явился мне во сне. Внезапно он возник передо мной и сказал, что возвращается с каникул. Он полностью оправился после болезни и нынче возвращается домой. Я подумал, что он будет недоволен, увидев, что я занял его комнату. Но нет, он не выказал никакого недовольства. И все же меня охватил стыд за то, что я воображал его мертвым. Через несколько дней сон повторился. Отец выздоровел и возвращался домой, а я опять упрекнул себя за то, что считал его мертвым. Позднее я спрашивал себя: «Что значат эти возвращения отца в сновидениях, что значит это поразительное

ощущение его реальности?» Это незабываемое переживание впервые заставило меня задуматься о жизни после смерти.

Со смертью отца возникли сложности, связанные с продолжением моей учебы. Некоторые родственники матери считали, что мне следует подыскать место клерка в какой-нибудь конторе, чтобы по возможности быстрее начать зарабатывать. Но младший брат матери взялся оказать ей помощь, поскольку ее средств едва хватало на жизнь. Мне же помог дядя с отцовской стороны. Ко времени окончания университета я задолжал ему три тысячи франков. Остальное я зарабатывал, выполняя обязанности младшего ассистента, а также помогая своей пожилой тетке управиться с ее небольшой коллекцией антиквариата. Я постепенно распродал коллекцию за хорошую цену и получал за это проценты.

Этот период бедности был мне по-своему необходим. Я научился ценить простые вещи. До сих пор помню, как мне подарили коробку сигар. Этот подарок показался мне королевским. Сигар хватило на целый год, так как я позволял себе только по одной, и то лишь в воскресные дни.

Студенческие годы были для меня хорошим временем. Вокруг кипела интеллектуальная жизнь, и к тому же мне удалось завязать многочисленные дружеские связи. На собраниях студенческого братства я прочел несколько лекций по вопросам богословия и психологии. Мы часто и оживленно дискутировали, причем далеко не всегда только на медицинские темы. Мы спорили о Шопенгауэре и Канте, знали все о стилистических красотах Цицерона, живо интересовались богословием и философией. Так мы приобщались к настоящему классическому образованию и тщательно сберегаемой духовной традиции.

К числу моих ближайших друзей принадлежал Альберт Эри (Oeri). Моя дружба с ним продолжалась до его смерти, последовавшей в 1950 году. В каком-то смысле наши отношения были чуть ли не на двадцать лет старше нас самих: наши отцы были друзьями еще в шестидесятые годы прошлого века. Слишком многих людей судьба постепенно отдаляет друг от друга; но наши с Эри пути всегда проходили рядом, и связывавшие нас узы верности не прерывались до самого конца.

Я познакомился с Эри после того, как мы оба стали членами одного и того же студенческого братства. Он отличался большим чувством юмора, исключительной отзывчивостью и был к тому же отменным рассказчиком. Особенно интересным казалось мне то, что он был внучатым племянником Якоба Буркхардта, которого мы, юные базельские студенты, почитали как легендарного великого современника. Внешне Эри, несомненно, напоминал этого редкостного человека — волевыми чертами лица, манерами, выговором. От своего друга я многое узнал

и о Бахофене¹, которого, так же, как и Буркхардта, мне доводилось видеть на базельских улицах. Но еще больше меня привлекали в Эри его склонность к размышлениям, его необычайно зрелые оценки политических событий, его удивительная способность улавливать внутреннюю сущность знаменитых людей, чьи повадки он умел имитировать с исключительным остроумием. Природный скептицизм помогал ему видеть суетность и пустоту даже за самыми пышными декорациями.

Третьим членом нашего союза был незабвенный Андреас Фишер (Vischer), который по окончании университета долгие годы руководил больницей в Урфе (Малая Азия). Собираясь втроем за кружкой пива, мы обсуждали все на свете. Эти беседы стали апогеем моих студенческих лет.

В последующее десятилетие профессиональные и семейные дела мешали нам встречаться чаще. Но с приближением зенита жизни мои с Эри пути вновь соприкоснулись. Когда нам исполнилось по тридцать пять, мы совершили достопамятное путешествие по Цюрихскому озеру на моей яхте. Команда на яхте состояла из троих молодых врачей, работавших в то время у меня. Доплыв до Валенштадта, мы повернули обратно; весь путь занял четыре дня. Эри взял с собой «Одиссею» в переводе Фосса² и читал нам эпизоды с Киркой и подземным царством. Поверхность озера отливала сиянием; вдали, в серебряной дымке, виднелся берег.

Был нам по темным волнам провожатым надежный
попутный

Ветер, пловцам благовеющий друг, парусов надуватель,
Послан приветноречивою, светлокудрявой богиней³.

За светлыми гомеровскими образами я с беспокойством угадывал смутные картины того путешествия по морю житейскому, которое нам еще только предстояло. Через некоторое время, после долгих колебаний, Эри женился; мне же, как и Одиссею, судьба уготовила «некию»⁴, спуск в мрачное царство Аида. За-

1 Иоганн Якоб Бахофен (Bachofen) (1815—1887) — выдающийся швейцарский историк права.

2 Иоганн Генрих Фосс (Voss) (1751—1826) — немецкий поэт.

3 «Одиссея», песнь 11, стихи 6—8 (перевод В. Жуковского).

4 «Некия» (от νεκος — труп) — заглавие одиннадцатой песни «Одиссеи». Обозначает жертву, приносимую для того, чтобы вызвать умершего из Аида. Таким образом, «некия» — подходящее название для нисхождения в царство мертвых, как в «Божественной комедии» или «Классической Вальпургиевой ночи» из «Фауста». Юнг использует этот термин в переносном значении, имея в виду то «нисхождение» в царство образов бессознательного, которое будет описано ниже, в главе «Лицом к лицу с бессознательным». (Прим. А. Яффе.)

тем наступили военные годы, и мы стали видеться реже. К тому же разговоры на серьезные темы стали большой редкостью; собственно говоря, все беседы велись только вокруг самых поверхностных предметов. Но между нами начался своего рода внутренний диалог, в процессе которого я пытался угадывать отдельные вопросы, которые он мне безмолвно задавал. Он был умным другом и по-своему знал обо мне все. Это безмолвное общение и его неизменная верность нашей дружбе значили для меня очень много. В последнее десятилетие его жизни мы снова начали видеться чаще, потому что знали, что тени будут удлиняться.

В течение студенческих лет у меня было много поводов оживить свой интерес к религиозным вопросам. Дома я имел желанную возможность вести беседы со специалистом-богословом в лице отцовского викария. Он отличался не только феноменальным аппетитом (совершенно затмевавшим мой собственный), но и замечательной эрудицией. У него я почерпнул очень многое об Отцах Церкви и истории церковной догматики. Кроме того, он ввел меня в курс новых веяний в протестантской теологии. В те дни в большой моде была теология Ричля. Его историзм мне не нравился; особенно раздражало сравнение с поездом¹. Но теория исторического воздействия, оказанного жизнью Христа, казалось, вполне удовлетворяла всех моих собеседников из числа студентов-богословов нашего братства. Мне же этот взгляд казался не просто неумным, но и совершенно безжизненным. Я также никак не мог согласиться с тенденцией выдвинуть Христа на передний план и превратить Его в единственную решающую фигуру в драме Бога и человека. С моей точки зрения это явно противоречило словам Христа о том, что после Его смерти Его место среди людей займет породивший Его Святой Дух².

Для меня Святой Дух был проявлением непостижимого Бога. Деяния Святого Духа были не просто величественны, но и содержали в себе нечто необычное или даже сомнительное, свойственное деяниям Яхве, которого я, в соответствии с преподанным мне наставлением по конфирмации, наивно отождествил с христианским образом Бога. (Отмечу в скобках, что в то время я еще не сознавал, что дьявол, собственно говоря, родился вместе с христианством.) Господь Иисус, несомненно, был для меня

1 Альбрехт Ричль (Rietschl) (1822—1889) сравнивал приход Христа с маневром поезда, у которого паровоз находится в хвосте. Двигатель посылает импульс вперед, этот импульс проходит через все вагоны, и передний вагон начинает двигаться. Точно так же импульс, сообщенный Христом, передается через века. (*Прим. А. Яффе.*)

2 См.: Иоанн, 14:26.

человеком, то есть существом, способным допускать ошибки, или же простым рупором Святого Духа. Этот в высшей степени неортодоксальный взгляд, бесконечно далекий от того, чему учило богословие, естественно, сталкивался с абсолютным непониманием со стороны окружающих. Испытанное мною в связи с этим разочарование постепенно развилось в своего рода покорное безразличие и подтвердило мою убежденность, что в религиозных вопросах ничто, кроме пережитого опыта, не имеет значения. Я мог бы сказать вслед за прочитанным незадолго до того Кандидом: «*Tout cela est bien dit — mais il faut cultiver notre jardin*»¹ — имея в виду естествознание.

В первые годы своей университетской учебы я сделал следующее открытие: хотя наука открывает доступ к огромному количеству знаний, настоящие прозрения она дарит крайне редко, и к тому же они в основном касаются специальных материй. Чтение философских работ приучило меня к мысли, что это обусловлено существованием психической субстанции. Без души не может быть ни знания, ни интуиции. И все же никто никогда о ней не заговаривал. Психическая субстанция («психея», *Psyche*) повсеместно считалась чем-то само собой разумеющимся; даже в тех случаях, когда кто-либо — как, например, К. Г. Карус², — специально упоминал о ней, за этим не стояло никакого действительного знания, а была лишь философская спекуляция, которую можно было с легкостью повернуть в любую сторону. Я никак не мог разобраться в этом любопытном наблюдении.

К концу второго семестра я сделал еще одно открытие, имевшее значительные последствия. В домашней библиотеке одного из моих университетских товарищей я наткнулся на книжку о явлениях духовной природы, вышедшую в свет в семидесятых годах. В этой книжке, написанной неким богословом, рассказывалось о началах спиритизма. Мое первоначальное недоверие очень скоро рассеялось, и мне стало совершенно очевидно, что описываемые явления — те же, о которых часто говорят в деревне; мне самому часто приходилось слышать о них еще в раннем детстве. Подлинность материала не вызывала сомнений. Но важнейший вопрос о соответствии этих рассказов физической реальности не получал ответа, который бы меня полностью удовлетворил. Тем не менее, мне стало ясно, что во все времена и во всем мире бесконечное число раз рассказывались одни и те же истории. Это должно было иметь какую-то причину; но повсеместным господством одной и той же религиозной концепции явно ничего не объяснялось. Речь, конечно же, должна была

1 Все это хорошо сказано; но надо возделывать свой сад (*франц.*; цитата из романа Вольтера «Кандид»).

2 Карл Густав Карус (Carus) (1789—1869) — немецкий естествоиспытатель.

идти о феномене иного порядка — об объективном поведении человеческой души. Но по кардинальному вопросу об объективной природе психической субстанции я ничего не мог обнаружить ни у кого, за исключением некоторых философов.

Хотя наблюдения приверженцев спиритизма казались мне странными и сомнительными, они все же стали для меня первыми источниками информации об объективных психических явлениях. Такие имена, как Цельнер и Крукс¹, ясно запечатлелись в моей памяти, и я прочел практически всю доступную мне в то время литературу. Естественно, я заговаривал на эти темы с товарищами, которые, к моему огромному удивлению, выказывали насмешливость и недоверчивость, а иногда даже тревожную враждебность. Я удивлялся уверенности, с которой они заявляли, будто привидения, столоверчение и все прочее в том же роде невозможно и, следовательно, фальсифицировано; не меньшее удивление вызывала у меня и явная тревога, совершенно неотделимая от их оборонительной реакции. Что касается меня, то я также не был уверен в абсолютной достоверности сообщений, но, в конце концов, почему бы не допустить, что привидения существуют? Откуда нам знать, действительно ли «невозможно» то, что кажется нам таковым? И, прежде всего, что могла бы значить эта тревога? Лично я считал открывающиеся возможности крайне интересными и притягательными. Они добавляли к моей жизни новое измерение; мир обретал дополнительную глубинную основу. Например, могли ли сновидения иметь что-либо общее с привидениями? Кантовские «Сны духовидца» подвернулись как раз вовремя, а вскоре я открыл также Карла Дюпреля², оценившего эти идеи с философской и психологической точек зрения. Я выкопал также Эшенмайера, Пассавана, Юстинуса Кернера и Герреса³, и прочел семь томов Сведенборга⁴.

Материнская личность номер два безраздельно сочувствовала моему энтузиазму, но отношение всех остальных меня откровенно обескураживало. Дотоле я наталкивался только на не-

1 Иоганн Карл Фридрих Цельнер (Zöllner) (1834—1882) — немецкий астрофизик; Уильям Крукс (Crookes) (1832—1919) — английский физик и химик.

2 Карл Дюпрель (Duprel или Du Prel) (1839—1899) — баварский оккультист, теоретик спиритизма.

3 Карл-Адольф Эшенмайер (Eschenmayer) (1786—1852) — немецкий философ и мистик; Иоганн-Давид Пассаван (Passavant) (1787—1861) — немецкий историк искусства и живописец; Юстинус Кернер (Kegner) (1786—1862) — немецкий поэт-романтик, в чьем творчестве преобладали мистические мотивы; Якоб Йозеф фон Гёррес (Görres) (1776—1848) — немецкий публицист, историк и исследователь восточных мифологий.

4 Эммануэль Сведенборг (Swedenborg) (1688—1772) — шведский мистик.

прошибаемую стену традиционных воззрений, но теперь передо мною была уже броня всеобщей предубежденности и абсолютной неспособности принять что-либо, выходящее за рамки обычного. Подобное ощущение давало о себе знать даже при общении с ближайшими друзьями. Все это казалось им куда менее приемлемым, нежели мой интерес к богословию. Я ощущал, что стою на самом краю мира; то, что представляло для меня животрепещущий интерес, всем остальным казалось совершенной, и притом страшноватой, пустотой.

Но что же здесь было страшного? Этого я не понимал. В конце концов, в мысли о том, что могут существовать явления по ту сторону ограниченных категорий пространства, времени и причинности, нет ничего несообразного или угрожающего целостности мира. Животные способны предчувствовать бури и землетрясения. В сновидениях предсказывается смерть определенных лиц, часы останавливаются в момент смерти, на зеркалах в критические моменты внезапно появляются трещины. Подобные вещи в мире моего детства всегда считались самоочевидными. А теперь я оказывался чуть ли не единственным, когда-либо слышавшим о них. Вполне серьезно я задавал себе вопрос: в какой же мир я попал? Было ясно, что городской мир ничего не знал о мире сельском, то есть о действительном мире гор, лесов и рек, мире животных и «Божьих мыслей» (то есть растений и кристаллов). Это объяснение меня утешило. Во всяком случае, оно поддержало мое самоуважение; я осознал, что при всем богатстве средств, предназначенных для умножения знания, городской мир довольно ограничен в умственном отношении. Эта догадка оказалась опасной, так как из-за нее у меня развились такие качества, как комплекс превосходства и привычка не к месту и агрессивно критиковать окружающих; в результате я заслужил справедливую неприязнь очень многих людей. Все это в конечном счете отбросило меня назад, к застарелым сомнениям, депрессии и чувству неполноценности. Образовался порочный круг, который я пытался разорвать любой ценой. Мне больше не хотелось пребывать на обочине мира с сомнительной репутацией чудака.

После первого, вступительного курса я стал младшим ассистентом по анатомии, а в следующем семестре ассистент профессора дал мне нагрузку по курсу гистологии — естественно, к моему большому удовлетворению. Я интересовался, главным образом, эволюционной теорией и сравнительной анатомией; кроме того, я ознакомился с неовиталистскими учениями. Особенно привлекала меня морфологическая (в широком смысле) точка зрения. Что касается физиологии, то здесь дело обстояло прямо противоположным образом. Этот предмет казался мне совершенно отвратительным из-за вивисекций, практикуемых

исключительно с демонстрационными целями. Я никогда не мог избавиться от ощущения, что теплокровные животные — это родственные нам существа, а не просто наделенные мозгом автоматы. В результате я при малейшей возможности пропускал демонстрационные занятия. Я понимал, что опыты на животных необходимы, но демонстрация этих опытов казалась мне ужасным, варварским и, главное, ненужным делом. Мне хватило бы воображения, чтобы представить себе демонстрируемые процедуры по описанию. Мое сострадание к животным имело своим источником не буддизм, сопричастный шопенгауэровской философии, а укорененную значительно глубже, в первобытном разуме, тенденцию к самоотождествлению с животными. Впрочем, в то время я, конечно, не имел ни малейшего понятия об этом психологическом факте. Из-за нелюбви к физиологии мои отметки по этому предмету были довольно-таки посредственными. Однако же я кое-как выкарабкался.

В течение последовавших затем семестров клинической практики я был настолько занят, что почти не имел возможности осуществлять вылазки в сопредельные области знания. Штудировать Канта мне удавалось только по воскресеньям. Кроме того, я усердно читал Эдуарда фон Гартмана¹. В моих планах был и Ницше, но я, полагая себя недостаточно подготовленным, никак не решался взяться за него. В то время его активно, причем главным образом в недоброжелательном тоне, обсуждали будто бы компетентные в данном вопросе студенты-философы, и из услышанного я смог заключить, насколько сильную враждебность вызывает Ницше в высших научных кругах. Главным авторитетом был, конечно, Якоб Буркхардт, чьи разнообразные критические замечания о Ницше обсуждались на все лады. Более того, кое-кто в университете знал Ницше лично и с удовольствием распространял о нем всякие соблазнительные сплетни. Большинство этих людей не прочло ни строчки Ницше и поэтому всячески мусолило его чисто человеческие недостатки, такие, например, как склонность к нарочитому джентльменничанью, особую манеру играть на фортепиано, витиеватость стиля — короче говоря, все те особенности, которые действовали на нервы добропорядочным базельцам. Подобные вещи, конечно, не могли бы заставить меня отложить чтение Ницше на потом; скорее напротив, они должны были бы подействовать как мощный катализатор. Но меня удерживала тайная боязнь оказаться похожим на него — по меньшей мере в том, что касается «тайны», изолировавшей его от окружающих. Как знать, быть может, он испытал некое внутреннее переживание или интуитивное озарение, о котором, к собственному несчастью, попы-

1 Эдуард фон Гартман (Hartmann) (1842—1906) — немецкий философ.

тался рассказать другим, но натолкнулся на всеобщее непонимание. Очевидно, он был — или, во всяком случае, считался — эксцентричным капризом природы, каковым я не хотел быть ни при каких обстоятельствах. Больше всего я боялся, что буду вынужден признать себя птицей того же полета. Конечно, он был профессором, написал целые тома и, следовательно, достиг невообразимых высот; но в то же время, подобно мне, он происходил из семьи священнослужителя. Впрочем, он родился в великой стране Германии, имевшей даже выход к морю, тогда как я был всего лишь швейцарцем из скромного приграничного сельского прихода. Он говорил на изысканном верхненемецком, владел латынью и греческим, а также, возможно, французским, итальянским и испанским, тогда как я чувствовал себя более или менее уверенно только в базельском диалекте. Наделенный всеми этими богатствами, он мог позволить себе быть эксцентричным; мне же подобная роскошь была абсолютно непозволительна.

И все же я не смог преодолеть свое любопытство и в конце концов решил прочесть его. Вначале в мои руки попал томик «Несвоевременных рассуждений», вызвавших мой безоговорочный восторг. Вскоре после этого я прочел «Так говорил Заратустра». Книга эта потрясла меня в той же мере, что и гетевский «Фауст». «Заратустра» был ницшевским «Фаустом», его «номером вторым», и мой «номер второй» теперь отождествлялся с «Заратустрой» — хотя в сравнении с ним я был как кротовый холмик в сравнении с Монбланом. Но в «Заратустре», несомненно, было нечто болезненное. Значило ли это, что болезненность свойственна также и моему «номеру второму»? Сама возможность этого наполняла меня ужасом, в котором я долгое время отказывался признаться себе самому; мысль об этом, однако же, в самые неподходящие моменты возникала снова и снова, заставляя меня обливаться холодным потом. Ницше открыл своего «номера второго» лишь во второй половине жизни, тогда как мой был мне известен с детства. Ницше говорил об этом «арретоне» — «неназываемом» — беззаботно-наивным тоном, как о чем-то вполне обыденном. Но я уже давно заметил, что такое отношение непременно ведет к беде. Он был настолько блестяще одарен, что мог, будучи совсем молодым человеком, занять в Базеле профессорскую должность; но он даже не подозревал, что ждет его впереди. Именно в силу блестящей одаренности он должен был бы своевременно заметить неладное. По-моему, все дело заключалось в его болезненном непонимании: он, ничего не опасаясь и не подозревая, выпустил свой «номер второй» в мир, не знавший о существовании подобных вещей и не способный их воспринять и охватить. Ницше был движим инфантильной надеждой найти людей, которые

смогли бы разделить его экстатическое состояние и понять предпринятую им «переоценку всех ценностей». Но он встретил только образованных филистеров — и, что особенно трагично и одновременно комично, он сам был одним из них. Проникнув первым в глубь невыразимого таинства, а затем пожелав спеть свои дифирамбы перед тупой, ограниченной толпой, он показал, что понимает себя не лучше всех остальных. Вот откуда у него этот напыщенный язык, эти нагромождения метафор, эти гимнические восторги — все во имя тщетной попытки донести свое слово до мира, продавшего душу за массу бессвязных фактов. И вот этот «канатоходец» — как он сам себя называл — свалился в бездну. Он не знал своего пути в этом мире и принадлежал к числу одержимых, требующих к себе крайне бережного отношения. Среди моих знакомых только двое открыто признавались в приверженности Ницше. Оба были гомосексуалистами; один из них впоследствии покончил с собой, а другой так и остался на всю жизнь непризнанным гением. Что касается остальных моих друзей, то они были не столько ошеломлены феноменом «Заратустры», сколько просто-напросто невосприимчивы к исходящим от него флюидам.

Если «Фауст» открыл мне одну дверь, то «Заратустра» захлопнул передо мной другую; дверь эта для меня еще долго оставалась затворенной. Я чувствовал себя как старый крестьянин, обнаруживший, что злые духи ухитрились просунуть головы двух его коров в один недоуздок, и на вопрос сына о том, как такое возможно, отвечающий: «Сынок, об этом не говорят».

Я понял, что человек может чего-то достичь только при условии, что он говорит людям о вещах, им уже известных. Наивный человек не способен оценить, насколько это оскорбительно — говорить окружающим о том, чего они не знают. Подобная наглость прощается разве что писателям, журналистам или поэтам. Я пришел к выводу, что не только совершенно новая идея, но и всего лишь необычный аспект чего-то уже хорошо известного может быть сообщен лишь при помощи фактов. Факты обладают устойчивым бытием, от них невозможно отмахнуться; рано или поздно на них натолкнется кто-нибудь, способный понять смысл своей находки. Я осознал всю вынужденную беспредметность своих разговоров; мне следовало бы оперировать фактами, а их-то у меня и не было. Я не мог предложить ничего осязаемого. Сильнее, чем когда-либо, я ощутил склонность к эмпиризму. Я порицал философов за склонность к болтовне, не подкрепленной опытом, и к молчанию в тех случаях, когда нужно говорить фактами. В данном отношении они ничуть не отличались от теологов, также то и дело прячущих голову в песок. Я чувствовал себя человеком, побывавшим в долине алмазов, но неспособным убедить кого бы то ни было — включая и себя

самого, перед глазами которого находятся образцы сокровищ, — что это действительно алмазы, а не обычный гравий.

Лишь в 1898 году я начал всерьез задумываться о врачебной карьере. Вскоре я пришел к выводу, что мне необходимо выбрать между хирургией и терапией. К хирургии меня влекло то, что я получил хорошую подготовку по анатомии и к тому же испытывал особый интерес к патологической анатомии; очень возможно, что я действительно стал бы хирургом, если бы имел достаточные финансовые средства. Но меня постоянно угнетала необходимость влезать в долги ради продолжения учебы. Я знал, что после выпускного экзамена мне придется как можно скорее приступить к самостоятельной работе. Я полагал, что начну с должности ассистента в какой-нибудь кантональной больнице: там было больше шансов получить оплачиваемое место, нежели в клинике. К тому же место в клинике в значительной мере зависело от поддержки или личной заинтересованности начальства. Учитывая собственную сомнительную известность и слишком хорошо знакомое чувство отчужденности, я даже не осмеливался думать о подобном счастье и посему готов был удовлетвориться скромным местом в провинциальной больнице. Остальное должно было бы зависеть от моих способностей и трудолюбия.

Но во время летних каникул случилось событие, которому суждено было оказать глубочайшее воздействие на мою жизнь. Однажды я сидел в своей комнате и штудировал учебники. В соседней комнате, за полуоткрытой дверью, мать занималась вязанием. Это была наша столовая, в которой стоял круглый обеденный стол орехового дерева. Стол этот был частью приданого моей бабушки с отцовской стороны; к описываемому моменту он существовал около семидесяти лет. Мать сидела у окна, примерно в метре от стола. Сестра находилась в школе, а служанка — в кухне. Вдруг я услышал громкий звук, похожий на пистолетный выстрел. Я вскочил и бросился в комнату, откуда донесся этот взрыв. Мать словно окаменела в своем кресле; вязанье вывалилось у нее из рук. «Ч-ч-что стряслось? — наконец спросила она, заикаясь. — Как раз за моей спиной!» Она взглянула на стол; проследив за ее взглядом, я понял, что произошло. По поверхности стола, от края до центра и даже несколько дальше, прошла трещина; самое удивительное заключалось в том, что трещина эта рассекла сплошную массу дерева, не совпадая с линией соединения досок. Я был потрясен. Как могло такое случиться? Как мог семидесятилетний стол крепкого орехового дерева ни с того ни с сего треснуть среди ясного летнего дня в нашем сравнительно влажном климате? Это еще можно было бы понять, если бы он стоял у раскаленной печи холодным су-

хим зимним вечером. «Чего только не бывает на свете!» — подумал я. Мать мрачно кивнула и сказала голосом своей личности номер два: «Да, да, это неспроста». Невольно я испытал глубокое потрясение и одновременно раздражение из-за собственной неспособности сказать хоть что-нибудь дельное.

Несколько недель спустя, вернувшись домой около шести часов вечера, я обнаружил домочадцев — мать, четырнадцатилетнюю сестру и служанку — в сильном волнении. Оказалось, что часом раньше они снова услышали оглушительный треск. На сей раз это был уже не стол; звук донесся с той стороны, где стоял массивный буфет начала девятнадцатого века. Внимательнейшим образом осмотрев его, они не нашли никаких трещин. Я немедленно принялся исследовать буфет и все вокруг, но столь же тщетно. Затем я полез внутрь буфета и в той части, где находилась корзиночка для хлеба, обнаружил хлебный нож, лезвие которого оказалось раздробленным на куски. Рукоятка лежала в одном углу квадратной корзиночки, а в каждом из остальных углов находилось по кусочку стали. Этим ножом пользовались совсем недавно, во время четырехчасового чаепития, после чего его положили в буфет; с тех пор к буфету никто не подходил.

На следующий день я отнес сломанный нож к одному из лучших в городе ножовщиков. Он исследовал кусочки под увеличительным стеклом, после чего покачал головой: «Это очень прочный, добротно сделанный нож. В стали нет никаких дефектов. Кто-то, наверно, нарочно разломал его на части — если, например, втыкал его в щель в ящике и отламывал кусок за куском. Того же результата можно было бы добиться, сбросив его на камень с большой высоты. Но хорошая сталь никогда не ломается. Значит, кто-то вас просто-напросто дурачит». Обломки ножа я бережно храню по сей день.

Сестра и мать были в комнате, когда прозвучал треск, заставивший их вскочить с мест. Материнский номер второй посмотрел на меня со значением, но я не нашелся что сказать. Я был совершенно растерян, не мог придумать никакого объяснения происходящему и нервничал тем больше, чем яснее сознавал, что все это производит на меня огромное впечатление. Почему и как треснул стол и сломался нож? Гипотеза, будто все дело в простом совпадении, выглядела надуманной. Это было похоже на то, как если бы Рейн вдруг, благодаря чистой случайности, изменил направление течения; а любые иные возможные объяснения автоматически исключались. Так что же это было?

Несколько недель спустя я узнал, что некоторые наши родственники уже давно занимаются столоверчением и к тому же имеют медиума, девочку пятнадцати с половиной лет. Они хотели устроить мне встречу с этим медиумом, умеющим впадать в сос-

тояние сомнамбулизма и вызывать спиритические явления. Услышав об этом, я сразу же подумал о странных явлениях в нашем доме и предположил, что они могли бы быть связаны с этим медиумом. Я начал ходить на сеансы, которые мои родственники устраивали каждый субботний вечер. Наши результаты заключались в сигналах и постукиваниях, исходивших от стен и стола. Способность стола двигаться независимо от медиума вызывала подозрение, и вскоре я убедился, что ограничения условий эксперимента приводят, в общем, к неблагоприятным последствиям. Посему я принял как должное то, что постукивания никоим образом не зависят от посторонних факторов, и сосредоточил свое внимание на содержании сигналов. Результаты наблюдений я изложил в своей докторской диссертации¹.

Так или иначе, это было важное переживание, в результате которого вся моя прежняя философия сошла на нет, полностью уступив место психологической точке зрения. Я открыл некоторые объективные факты, касающиеся психической субстанции человека. Но природа моего переживания в очередной раз оказалась неподвластна словесному выражению. Обо всем этом я не смог бы рассказать никому из знакомых. Моя диссертация появилась лишь два года спустя.

Старика Иммермана в клинике сменил Фридрих фон Мюллер. Это был человек исключительно привлекательного ума. Я видел, с каким острым чутьем он схватывал суть проблемы и формулировал вопросы, что само по себе было равноценно половине решения. Со своей стороны он также, судя по всему, ценил меня, поскольку незадолго до окончания университета предложил мне отправиться вместе с ним в качестве ассистента в Мюнхен, где ему предстояло занять очередную должность. Из-за этого предложения я чуть было не избрал в качестве профессии терапию. Но тут произошло нечто, рассеявшее все мои сомнения относительно будущей карьеры.

Хотя я и посещал лекции и клинический практикум по психиатрии, наш штатный преподаватель меня не особенно вдохновлял; еще меньшее расположение я испытывал к самому предмету, помня, какое воздействие оказало увиденное в психиатрических лечебницах на моего отца. Соответственно, готовясь к государственным экзаменам, я взялся за учебник психиатрии в самую последнюю очередь. От него я ничего не ждал; до сих пор вспоминаю, как, открывая книгу Крафт-Эбинга², я неволь-

1 Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene; eine psychiatrische Studie («К психологии и патологии так называемых оккультных феноменов»), 1902.

2 Рихард Крафт-Эбинг (Krafft-Ebing, 1840—1902) — немецкий психиатр.

но подумал: «Ну что ж, поглядим, что он имеет мне сказать». Лекции и демонстрационные занятия в клинике не производили на меня ни малейшего впечатления. Не могу вспомнить ни одного случая из числа тех, с которыми мне довелось ознакомиться в клинике; помню только ощущение скуки и омерзения.

Я начал чтение с предисловия, намереваясь узнать что-нибудь о том, как психиатр вводит в свой предмет, то есть, в сущности, как он оправдывает собственное право на существование. Подобное высокомерное отношение я ныне могу объяснить тем, что в то время чуть ли не весь медицинский мир относился к психиатрии с некоторым презрением. Никто о ней ничего толком не знал; еще не существовало психологии, рассматривающей человека как целое и включающей патологические отклонения в общую картину. Главного врача запирали в том же заведении, что и его пациентов; заведение это, в свою очередь, также было отрезано от мира, отброшено на задворки города наподобие средневекового лепрозория. Никто им не интересовался. Врачи знали почти так же мало, как и простые смертные, и потому разделяли их чувства. Психическая болезнь была чем-то безнадежным и роковым и, таким образом, отбрасывала тень на психиатрию в целом. По тем временам психиатр считался странной фигурой; вскоре мне предстояло убедиться в этом на собственном опыте.

Итак, в предисловии я прочел: «Вероятно, вследствие особого характера предмета и недостаточного уровня его развития учебные пособия по психиатрии в той или иной степени несут на себе отпечаток субъективизма». Чуть ниже автор называл психозы «заболеваниями личности». Мое сердце внезапно заколотилось. Я вынужден был встать и вдохнуть поглубже. Меня охватило глубокое волнение, поскольку мне сразу, как бы по наитию, стало ясно, что психиатрия — моя единственная возможная цель. Только здесь два интересовавших меня потока могли слиться, прокладывая себе единое русло. Здесь находилось то самое эмпирическое поле, в котором факты биологические и духовные сошлись воедино; именно такое поле я повсюду искал и нигде не мог найти. Здесь, наконец, было то место, где столкновение природы и духа становилось реальностью.

Я принял близко к сердцу слова Крафт-Эбинга о «субъективном характере» учебников по психиатрии. На мой взгляд, это значило, что учебник отчасти является исповедью автора. Со всеми своими предрассудками, в качестве единого, сложившегося существа, психиатр стоит за объективностью своего опыта и отвечает «заболеванию личности» всей целостностью собственной личности. От своего преподавателя в клинике я никогда не слышал ничего подобного. Хотя учебник Крафт-Эбинга по существу не отличался от других книг аналогичного рода, эти

немногочисленные намеки настолько преобразили мое понимание психиатрии, что я бесповоротно поддался ее обаянию.

Решение было принято. Когда я рассказал о своем намерении преподавателю внутренних болезней, на его лице появилось выражение изумления и разочарования. Моя старая травма — ощущение собственной отверженности и отчужденности от других — снова дала о себе знать. Но теперь я понимал причину. Никто на свете, включая меня самого, не мог ожидать от меня интереса к этому темному закоулку. Моих товарищей неприятно удивило, что я, как последний дурак, отказался от завидной, соблазнительно маячившей перед самым моим носом возможности сделать серьезную карьеру в области терапии, выбрав вместо этого какую-то сомнительную психиатрию.

Итак, я в очередной раз по собственной воле забрел на какую-то явно боковую тропинку, куда вслед за мной никто не стал бы сворачивать. Но я знал, что мое решение непреклонно, что это — судьба; теперь уже никакая сила не смогла бы заставить меня отклониться от избранного пути. Казалось, две реки слились в единый мощный поток, неумолимо влекший меня к далекой цели. Уверенное ощущение того, что отныне две мои натуры объединились, несло меня словно на волшебной волне сквозь экзамены и в конечном счете вынесло на вершину. Характерно, что судьба, таящаяся за углом, когда дела идут слишком гладко, подставила мне ножку как раз на предмете, который я знал действительно превосходно — то есть на патологической анатомии. По нелепой ошибке на предложенном мне для анализа срезе, помимо всякого рода наслоений, я обнаружил только эпителиальные клетки и упустил из виду притаившуюся где-то в уголке плесень. Что же касается остальных предметов, то я даже ухитрился заранее угадывать задаваемые мне вопросы. Благодаря этому я, что называется, «на ура» обогнул несколько опасных рифов и в отместку был обведен вокруг пальца как раз там, где чувствовал себя наиболее уверенно. Если бы не это, я единственный получил бы на экзамене высший балл.

Теперь же мне пришлось разделить высший балл с другим кандидатом. Он был, так сказать, одиноким волком; его натура оставалась для меня во многом непроницаемой, но я не мог избавиться от подозрения, что ее главная черта — банальность. С ним невозможно было говорить о чем бы то ни было, кроме как на профессиональные темы. Он реагировал на все загадочной улыбкой, напоминавшей мне о греческих статуях в Эгине. Он подчеркивал свое превосходство, но в глубине души, казалось, был озабочен и не уверен в себе. Не было ли это особого рода глупостью? Я никогда не понимал его до конца. Единственное, что я мог бы заключить на его счет более или менее уверенно — это его почти маниакальное честолюбие, исключаяющее интерес

к чему бы то ни было, кроме очевидных фактов. Несколько лет спустя он заболел шизофренией. Я упоминаю об этом как о характерном примере параллелизма событий. Моя первая книга была посвящена психологии *dementia praecox*¹; в этой книге моя личность с ее предубеждениями отвечала «заболеванию личности». Я утверждал, что психиатрия, в самом широком смысле, представляет собой диалог больной души с душой врача, которая считается «нормальной». Задача психиатрии заключается в достижении согласия между личностями больного и психотерапевта — при том, что обе в принципе являются одинаково субъективными. Моей целью было показать, что бредовые идеи и галлюцинации — это не просто симптомы душевной болезни; в них есть серьезный общечеловеческий смысл.

Вечером после последнего экзамена я, наконец, позволил себе долгожданную роскошь и впервые в жизни отправился в театр. Прежде мое финансовое положение не позволяло подобных излишеств. Но теперь у меня остались кое-какие деньги, полученные от продажи антиквариата, и я смог не только посетить оперу, но даже съездить в Мюнхен и Штутгарт.

Бизе опьянил и ошеломил меня; я чувствовал себя плывущим по волнам какого-то бесконечного моря. А на следующий день, сопровождаемый мелодиями из «Кармен», я сел в поезд, пересек границу и вырвался в большой мир. В Мюнхене, впервые в жизни, я приобщился к настоящему классическому искусству, которое в соединении с музыкой Бизе привело меня в весеннее, свадебное настроение, глубину и смысл которого я мог лишь смутно угадывать. Впрочем, по всем внешним признакам стояли унылые зимние дни первой декабрьской недели 1900 года.

Перед отъездом из Штутгарта я нанес прощальный визит тетке, фрау Раймер-Юнг, чей муж был психиатром. Она была дочерью моего деда по отцовской линии от его первого брака с Виржини де Лассо (*Lassaulx*). Эта очаровательная пожилая дама с сияющими голубыми глазами и жизнерадостным нравом казалась погруженной в мир фантазий и воспоминаний, отказывавшихся ее покидать, последним дыханием исчезающего, невозвратимого прошлого. Этот визит был последним прощанием с ностальгическими чувствами моего детства.

10 декабря 1900 года я занял место ассистента в цюрихской психиатрической лечебнице Бурггельцли (*Burghölzli*). Я был рад попасть в Цюрих, так как Базель сделался для меня тесен. Для базельцев других городов не существует; Базель — единствен-

1 Термин *dementia praecox* (лат. «раннее слабоумие») был в ходу до начала 1910-х гг., когда его сменил введенный Ойгеном Блейлером (*Bleuler*) термин «шизофрения».

ное «цивилизованное» место на свете, а к северу от реки Бирс начинается страна варваров. Мои товарищи не понимали моего желания уехать и полагали, что я очень скоро вернусь. Но это было исключено, поскольку в Базеле на мне стояло вечное клеймо сына преподобного Пауля Юнга и внука профессора Карла Густава Юнга; я был интеллектуалом, принадлежащим к определенной общественной группе. Это вызывало мое внутреннее сопротивление, — я не желал, чтобы меня классифицировали. Интеллектуальная атмосфера Базеля казалась мне завидно космополитичной, но давление традиции было, на мой взгляд, слишком сильно. Приехав в Цюрих, я сразу же ощутил разницу. Цюрих связывает с миром не интеллект, а торговля. Но воздух здесь насыщен свободой, что я привык ценить очень высоко. Здесь вы можете ощутить известную недостаточность культурного фона — но зато на вас не давит бурый туман столетий. По отношению к Базелю я и по сей день испытываю ностальгическое чувство, хотя и знаю, что теперь он совсем не тот, каким был раньше. Я помню времена, когда по улицам ходили Бахофен и Буркхардт, за собором стоял старый домик каноника, а через Рейн был перекинут старый, наполовину деревянный мост.

Мать тяжело переживала мой отъезд. Но я знал, что не в силах избавить ее от этой душевной боли, и она сумела перенести ее с честью. Она осталась жить с моей сестрой, деликатной и довольно болезненной натурой, во всех отношениях отличной от меня. Сестре словно на роду было написано остаться старой девой, но у нее развилась сильная индивидуальность, и я восхищался ее характером. Она умерла в результате операции, которая уже по тем временам считалась вполне безопасной. На меня произвело большое впечатление то обстоятельство, что она заранее привела дела в идеальный порядок, не забыв позаботиться о малейших деталях. В сущности, она всегда была для меня чужой, но я ее очень уважал. Я обладал скорее эмоциональной натурой, тогда как ей никогда не изменяла уравновешенность, хотя в глубине души она была исключительной чуткой. Я мог бы представить ее проводящей свои дни в приюте для благородных престарелых дам — подобно единственной сестре нашего деда.

С началом работы в Бурггельцли жизнь обрела черты неделимой реальности — сплошные сознательность, долг и ответственность. Я вступил в своего рода монастырь, где на меня была возложена обязанность подчиняться, так сказать, «присяге» и верить только в вероятное, усредненное, обыденное, лишенное глубокого смысла, и отвергать все странное и значительное, сводя любые необычные проявления к самому банальному. Впредь для меня должны были существовать только поверхности без глубины, начала без продолжения, случайности без взаи-

мосвязи, знания о самом незначительном, неудачи, выдающие себя за проблемы, горизонты, подавляющие своей узостью, и бесконечная пустыня навеки заведенного порядка. На целых шесть месяцев я заперся в монастырских стенах, чтобы привыкнуть к жизни и духу лечебницы и прочесть от и до все пятьдесят томов «Всеобщего журнала психиатрических исследований» («Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie») с целью знакомства с психиатрическим образом мыслей. Я хотел узнать, как человеческий разум реагирует на зрелище своего собственного разрушения: ведь психиатрия казалась мне членораздельным выражением той биологической реакции, которую выказывает так называемый здоровый разум в присутствии душевной болезни. Мои коллеги вызывали во мне не меньший профессиональный интерес, чем пациенты. В последующие годы я тайно собирал статистические данные о наследственности моих швейцарских коллег и таким образом почерпнул важную информацию. Я делал это в целях повышения собственного профессионального уровня, а также ради лучшего понимания образа мыслей, свойственного психиатрам.

Едва ли нужно специально отмечать, что мои сосредоточенность и добровольное самоограничение повлекли за собой отчуждение от коллег. Они, конечно, не знали, насколько странной и чуждой казалась мне психиатрическая наука, и до какой степени я был полон решимости проникнуть в ее дух. В то время я еще не интересовался психотерапией, зато меня очень увлекали мелкие патологические отклонения от так называемой нормы: они обеспечивали мне желанную возможность более глубокого проникновения в тайны психической субстанции вообще.

В этих условиях и началась моя карьера в психиатрии — субъективный эксперимент, из которого возникла моя объективная жизнь. У меня никогда не было ни желания, ни способностей отрешиться от своей субъективности и вести по-настоящему объективные наблюдения за собственной судьбой. Я не хотел бы совершить обычную ошибку авторов автобиографий, которые либо предаются иллюзиям о том, как должна была бы сложиться их жизнь, либо сочиняют некую разновидность *arologia pro vita sua*¹. В конце концов, каждый человек — это единственный в своем роде случай, и ему не дано судить себя; худо ли, хорошо ли, но право судить о нем предоставлено другим.

¹ Оправдание своей жизни (*лат.*).

4

Работа в области психиатрии





Годы, проведенные в цюрихской университетской психиатрической клинике Бургельцли, стали для меня годами учения. Над всеми моими интересами и исследованиями доминировал жгучий вопрос: «Что же на самом деле происходит в душевнобольном?» В то время этого не понимал не только я, но и любой из моих коллег, интересующихся вопросами подобного рода. Преподаватели психиатрии интересовались не столько тем, что мог бы сказать пациент, сколько методом постановки диагноза, описанием симптомов и статистикой. С превалировавшей в то время клинической точки зрения человеческая личность пациента, его индивидуальные свойства не имели никакого значения. Врач имел дело просто-напросто с пациентом имярек, с длинным списком его выхолощенных и сухих диагнозов, с подробным описанием симптомов. Пациенты были проштампованы, снабжены диагнозами, словно этикетками, и этим обычно все и ограничивалось. Психология душевнобольного вообще не играла никакой роли.

В этот период важную роль для меня сыграл Фрейд — особенно благодаря своим фундаментальным исследованиям психологии истерии и сновидений. С моей точки зрения его идеи открывали путь к более тщательному изучению и пониманию индивидуальных случаев. Будучи по профессии невропатологом, Фрейд тем не менее сумел обогатить психиатрию психологией.

Я все еще очень хорошо помню случай, в свое время весьма меня заинтересовавший. В больницу поступила молодая женщина, страдавшая «меланхолией». Исследование проводилось

с обычной тщательностью: анамнез, анализы, физическое состояние и так далее. Диагноз гласил: шизофрения, или, по терминологии того времени, *dementia praecox*. Прогноз — неблагоприятный.

Эта женщина попала в мое отделение. Поначалу я не решался ставить диагноз под сомнение. Я все еще был новичком и не осмелился бы проявлять инициативу. И все-таки ее случай поразила меня своей странностью. У меня возникло ощущение, что дело здесь не в шизофрении, а в обычной депрессии, и я, наконец, решился применить собственный метод. В то время я активно занимался исследованиями по ассоциативной диагностике и поэтому предпринял с этой пациенткой ассоциативный эксперимент. Кроме того, я обсудил с ней ее сны. Таким образом, я смог проникнуть в ее прошлое и разъяснить вещи, оставшиеся за пределами анамнеза. Я получил информацию непосредственно из бессознательного, и эта информация открыла мне мрачную и трагическую историю.

До замужества эта женщина была знакома с сыном богатого промышленника, которым интересовались все соседские девушки. Будучи внешне очень привлекательной, она высоко оценивала собственные шансы пленить его. Но он явно ею не интересовался, и она вышла замуж за другого.

Спустя пять лет к ней в гости пришел один из ее старых друзей. Они говорили о прошлом, и он вдруг сказал: «Когда вы вышли замуж, ваш г-н N (сын богатого промышленника) был поражен в самое сердце!» С этого-то все и началось. Женщина впала в депрессию, которая через несколько недель привела к катастрофе. Она купала своих детей: сначала четырехлетнюю дочь, а потом двухлетнего сына. Семья жила в сельской местности, где водоснабжение не вполне соответствовало гигиеническим нормам; для питья использовалась чистая родниковая вода, а для купания и стирки — недезинфицированная речная вода. Купая девочку, она заметила, что та сосет мочалку, но не остановила ее. Она даже дала выпить стакан нечистой воды своему сыну. Естественно, она сделала это бессознательно или полубессознательно, так как разум ее был уже затуманен депрессией.

По прошествии инкубационного периода, девочка заболела брюшным тифом и вскоре умерла. Она была любимицей матери. Мальчик не заразился. После этого депрессия приобрела острую форму, и женщину пришлось поместить в лечебницу.

На основании ассоциативного теста я заключил, что она — убийца, и выяснил многие подробности ее тайны. Сразу же стало очевидно, что происшедшее представляет собой достаточный повод для депрессии. По существу речь шла о психогенном расстройстве, а не о шизофрении.

Но как же следовало ее лечить? До тех пор женщине давали наркотические средства против бессонницы и внимательно следили, чтобы она не наложила на себя руки. Больше для нее ничего не делалось. Ее физическое состояние было в норме.

Передо мной возникла дилемма: сказать ей все с полной откровенностью или нет? Должен ли я сделать решительный шаг? Впервые в жизни я столкнулся с конфликтом на почве долга. Совесть поставила передо мной сложный вопрос, который мне следовало разрешить наедине с собой. Если бы я обратился за советом к коллегам, они, вероятно, стали бы меня отговаривать: «Ради бога, не говори этой женщине ничего такого. Ее безумие может только усугубиться». Но мне казалось, что результат может быть и прямо противоположным. Вообще говоря, в психологии вряд ли существуют абсолютные, не допускающие исключений правила. На любой вопрос можно ответить и так, и эдак, в зависимости от того, принимаем ли мы во внимание бессознательные факторы или нет. Конечно, мне было очень хорошо известно, что я многим рискую: если пациентке станет хуже, мне придется туго!

Тем не менее, я решил рискнуть и применить эту терапию, не обещавшую сколько-нибудь надежных результатов, и рассказал ей все, что понял благодаря ассоциативному тесту. Нужно ли говорить, насколько тяжело мне это далось. Не так-то просто бросить человеку в лицо обвинение в убийстве. А положение пациента, вынужденного выслушивать подобное, и вовсе трагично. Но в итоге, не прошло и двух недель, как ее можно было выписать, и больше она в лечебницу не возвращалась.

Были и другие причины, заставившие меня скрыть этот случай от коллег. Я боялся, что они предадут дело гласности, и в конце концов оно дойдет до суда. Конечно, против пациентки не было достаточных улик, но и разбирательство само по себе имело бы для нее катастрофические последствия. Судьба и так ее жестоко наказала! Мне казалось, что лучше позволить ей вернуться к жизни и жизнью искупить свое преступление. Из больницы она выписалась, но не освободилась от бремени; она должна была нести его. Потеря ребенка была страшным ударом, но депрессия и госпитализация стали началом искупления.

У любого из пациентов, поступающих к нам, психиатрам, есть своя неведомая история. На мой взгляд, терапия по-настоящему начинается только после исследования этой личной истории. Это — тайна пациента, скала, о которую он разбился. Узнав его историю, я получаю ключ к лечению. Задача врача — так или иначе добыть это знание. В большинстве случаев изучения материала, относящегося к сфере сознания, оказывается недостаточно. Иногда дорогу может открыть ассоциативный тест, интерпретация сновидений или долгое и терпеливое чело-

веческое общение. В психотерапии проблему всегда составляют личности, а не отдельные симптомы. Мы должны задавать вопросы, обращенные к человеку как целому.

С 1905 года я читал курс психиатрии в Цюрихском университете и в том же году стал старшим врачом в университетской психиатрической клинике. Я занимал эту должность в течение четырех лет. Но в 1909 году мне пришлось от нее отказаться: за несколько лет я приобрел настолько обширную частную практику, что не успевал справляться со всеми обязанностями. Тем не менее, я продолжал преподавать в университете вплоть до 1913 года. Я читал лекции по психопатологии, а также, естественно, по основам фрейдовского психоанализа и, кроме того, по первобытной психологии. Это были мои основные предметы. В первые семестры мои лекции касались главным образом гипноза, а также Жане и Флурнуа¹. Позднее проблема фрейдовского психоанализа выдвинулась на передний план.

Читая курс гипноза, я обычно интересовался жизненной историей пациента, представляемого мною студентам. Один из случаев я помню особенно хорошо.

В один прекрасный день на мою лекцию привели женщину пятидесяти восьми лет. Судя по всему, она была весьма набожна. Она передвигалась на костылях, поддерживаемая служанкой. В течение семнадцати лет женщина страдала параличом левой ноги. Я усадил ее в удобное кресло и попросил рассказать свою историю. Она начала рассказывать о том, как все было ужасно, — это было долгое, в высшей степени обстоятельное повествование о ее болезни. Наконец, я остановил ее: «Я все понял. У нас нет времени для долгих разговоров. Сейчас я вас загипнотизирую».

Едва я успел произнести эти слова, как она закрыла глаза и погрузилась в глубокий транс — без всякого гипноза! Я удивился, но не стал ее беспокоить. Она продолжала безостановочно говорить и пересказала в высшей степени удивительные сновидения, представлявшие собой достаточно глубокий опыт бессознательного. Но я сумел понять это только много лет спустя. Тогда же я предположил, что у нее нечто вроде бреда. Ситуация постепенно становилась для меня довольно неловкой. Ведь она разыгрывалась в присутствии двадцати студентов, которым я собирался показать гипноз!

Через полчаса я почувствовал необходимость разбудить больную, но она упорно не просыпалась. Это меня встревожило

1 Пьер Жане (Janet) (1859—1947) — французский психолог и психопатолог; Теодор Флурнуа (Flournoy) (1854—1920) — швейцарский психолог и психопатолог.

и даже заставило предположить, что я нечаянно извлек на свет латентный психоз. Пока я будил ее, прошло около десяти минут, в течение которых я изо всех сил старался скрыть от студентов собственную нервозность. Когда женщина наконец проснулась, она долго не могла прийти в себя. У нее кружилась голова. Я сказал ей: «Все в порядке, я ваш врач». И тут она вдруг воскликнула: «Но ведь я здорова!», после чего отбросила костыли, встала и пошла. Смущенный, я сказал студентам: «Вы только что увидели возможности гипноза». Но в действительности я не имел ни малейшего представления о том, что произошло.

Этот и другие аналогичные случаи побудили меня оставить гипноз. Я не мог понять, что случилось на самом деле, но женщина и вправду исцелилась и ушла в прекраснейшем расположении духа. Я попросил ее держать со мною связь, поскольку думал, что не позднее, чем через сутки болезнь возобновится. Но ничего такого не произошло; несмотря на собственный скептицизм, я должен был признать ее выздоровление свершившимся фактом.

На первой же лекции летнего семестра следующего года она появилась снова — на сей раз с жалобой на мучительные боли в спине, начавшиеся, по ее словам, совсем недавно. Естественно, я заподозрил, что ее приход вызван возобновлением моих лекций. Возможно, она прочитала объявление в газете. Я спросил ее, когда и по какой причине начались боли. Она не смогла ничего припомнить и дать какое-нибудь объяснение. В конечном счете, я установил, что боли начались в тот самый день и час, когда на глаза ей попало объявление в газете. Это подтверждало мою догадку, но никоим образом не разъясняло тайны чудесного исцеления. Я загипнотизировал ее еще раз — точнее говоря, она опять самопроизвольно впала в транс, — после чего боль исчезла.

На этот раз я попросил больную остаться после лекции, чтобы разузнать о ней побольше. Оказалось, что у нее есть слабоумный сын, который лежит в больнице, у меня в отделении. Я ничего об этом не знал, поскольку она носила фамилию второго мужа, а сын — ее единственный ребенок — был от первого брака. Естественно, она надеялась, что сын вырастет талантливым и удачливым, и можно себе представить, насколько ужасен оказался удар, когда в раннем детстве у мальчика обнаружили признаки слабоумия. В то время я был еще молод и казался ей тем, чем мог бы стать, как она некогда надеялась, ее сын. Ее самолюбивое стремление стать матерью героя, таким образом, обратилось на меня. Она как бы усыновила меня и всем вокруг рассказывала о своем чудесном исцелении.

Ей, как никому иному, я обязан своей славой чудотворца местного масштаба; благодаря ей эта история очень скоро полу-

чила широкую огласку, и я приобрел первых частных пациентов. Подумать только: моя психотерапевтическая практика началась с того, что я заменил чужой женщине ее душевнобольного сына! Естественно, я объяснил ей все происшедшее, все его ответвления и взаимосвязи. Она восприняла мое объяснение очень хорошо; рецидивы более прекратились.

Это был мой первый настоящий терапевтический опыт, можно сказать, мой первый анализ. Я отлично помню свой разговор с этой пожилой дамой. Она была умна и выказывала преувеличенную благодарность за то, что я отнесся к ней со всей серьезностью и проявил заботу о ее судьбе, равно как и о судьбе ее сына. Это ей помогло.

Поначалу я применял гипноз и в своей частной практике, но вскоре отказался от него, так как это все равно, что двигаться наощупь в полной темноте. Никогда неизвестно, сколько продлится процесс улучшения или излечения, а такая неопределенность в работе всегда вызывала у меня угрызения совести. Я не испытывал особого восторга также от необходимости единолично принимать решение о том, что именно следует делать пациенту. Мне было куда важнее узнать от самого пациента, каковы его природные наклонности. Для этой цели совершенно необходим тщательный анализ снов и других проявлений бессознательного.

В 1904—1905 годах я организовал в психиатрической клинике специальную лабораторию экспериментальной психопатологии. У меня было несколько студентов, вместе с которыми я изучал психические реакции (то есть ассоциации). Франц Риклин (Riklin)-старший был моим сотрудником. Людвиг Бинсвангер (Binswanger) писал докторскую диссертацию об ассоциативном эксперименте в связи с психогальваническим рефлексом¹, а я — работу, озаглавленную «О психологической диагностике фактов»². Среди наших сотрудников было также несколько американцев, в том числе Карл Питерсен (Petersen) и Чарлз Рикшер (Ricksher). Их работы публиковались в американских журналах. Именно благодаря этим исследованиям в области ассоциаций я несколько лет спустя (в 1909 году) получил приглашение выступить с лекциями о своей работе в университете Кларка. Одновременно и независимо от меня приглашен был и Фрейд. Оба мы удостоились диплома почетного доктора права.

Своей репутацией в Америке я обязан главным образом экс-

1 Психогальваническим рефлексом называется мгновенное падение электрического сопротивления кожи, вызванное реакцией потовых желез на психическое возбуждение. (Прим. А. Яффе.)

2 Zur psychologischen Tatbestandsdiagnostik, in: Zentralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, XXVIII (1905).

периментальным работам по ассоциациям и психогальванике. Очень скоро ко мне потянулись многочисленные пациенты оттуда. Я хорошо помню один из первых случаев. Некий американский коллега направил ко мне пациента с диагнозом «алкогольная неврастения, неизлечимый случай». Не слишком надеясь на эффективность моей терапии, этот коллега посоветовал пациенту обратиться также к одному известному психиатру в Берлине. Пациент явился ко мне за консультацией, и после недолгой беседы я убедился, что у него обычный невроз, о психических истоках которого он ничего не подозревает. Я провел ассоциативный тест и обнаружил, что он страдает сильнейшим материнским комплексом. Он происходил из богатой и уважаемой семьи, был удачно женат и, судя по всему, мог бы жить вполне счастливо и беззаботно. Пил он, однако, чрезвычайно много. Пьянство было безнадежной попыткой утолить душевную боль и забыть о гнетущей ситуации. Естественно, оно ничуть не помогало.

Его мать была владелицей большой компании, в которой ее необычайно одаренный сын занимал ведущую должность. Конечно, ему давно пора было избавиться от гнетущей зависимости от матери, но он никак не мог решиться уйти со столь престижной работы. Поэтому он оставался при матери, вовлекшей его в свое дело. Будучи вынужден постоянно находиться рядом с ней и терпеть ее вмешательство в собственные дела, он пытался притупить или разрядить напряжение и в итоге запил. Но одна часть его существа не хотела оставлять удобное теплое гнездышко, и вопреки собственным инстинктам он поддался соблазну богатства и комфорта.

После недолгого лечения он прекратил пить и посчитал себя исцеленным. Но я предупредил его, что если он вернется к прежнему образу жизни, то, по моему мнению, рецидив весьма вероятен. Он мне не поверил и вернулся в Америку в наилучшем настроении.

Стоило ему вновь подпасть под влияние матери, как запои возобновились. Воспользовавшись приездом в Швейцарию, его мать попросила меня о консультации. Она была женщиной умной, но совершенно одержимой жадной власти. Я понял, что приходилось выдерживать ее сыну, и легко представил себе, что ему и вправду могло не хватить сил для противостояния. Физически он также был довольно хрупок; словом, он уступал матери во всех отношениях. Поэтому я решился на крайность и за его спиной дал матери медицинское свидетельство о том, что алкоголизм сына препятствует выполнению им служебных обязанностей. Короче говоря, я порекомендовал ей уволить его. Этот совет был выполнен — и сын, конечно, меня возненавидел.

По существу, мой поступок не соответствовал нормам меди-

цинской этики. Но я знал, что ради блага пациента обязан пойти на это.

Как же развивалась дальнейшая жизнь этого человека? Отлученная от матери, его собственная личность получила возможность раскрыться. Он сделал блестящую карьеру — вопреки или, скорее, благодаря той горькой пилюле, которую дал ему я. Его жена была мне благодарна не только за то, что он преодолел алкоголизм, но и за то, что он нашел свой путь.

Тем не менее, я долгие годы испытывал угрызения совести, поскольку составил это свидетельство втайне от пациента — хотя и был убежден, что совершаю действие, которое приведет его к излечению. И действительно, стоило ему оказаться на свободе, как невроз прошел.

Меня как практика всегда поражало, как человеческая душа реагирует на бессознательно совершаемое преступление. Ведь та молодая мать поначалу совершенно не сознавала, что она убийца собственного ребенка. И все же в дальнейшем она пришла к крайне обостренному осознанию собственной вины.

У меня был еще один незабываемый случай подобного же рода. В мой кабинет явилась дама. Она отказалась назвать себя под предлогом, что ей нужна лишь единичная консультация, и поэтому имя не имеет никакого значения. По всему было видно, что она принадлежит к высшему обществу. Она была врачом. Она призналась мне, что примерно двадцать лет тому назад совершила убийство из ревности: отравила свою лучшую подругу, так как хотела выйти замуж за ее мужа. Ей казалось, что если убийство не будет раскрыто, оно не будет ее мучить. Ей хотелось стать женой чужого мужа, и убийство казалось простейшим способом достижения цели. Она была убеждена, что моральные соображения не имеют для нее никакого значения.

Каковы же были последствия? Она действительно вышла замуж за этого человека, но он вскоре умер, будучи еще сравнительно молодым. В последующие годы произошло множество странных вещей. Их общая дочь предприняла все возможное, чтобы покинуть мать сразу по достижении совершеннолетия: она очень рано вышла замуж и исчезла из поля зрения матери, в конце концов прервав всяческие отношения.

Дама была страстной наездницей; у нее было несколько скаковых лошадей, которых она чрезвычайно любила. Однажды она заметила, что лошади под ней начинают нервничать. Ее любимая лошадь даже как-то сбросила ее на землю. В конце концов, ей пришлось оставить верховую езду. После этого она увлеклась собаками. У нее была необыкновенно красивая овчарка, к которой она была очень привязана. Случилось так, что именно эту овчарку сразил паралич. Это переполнило чашу;

она почувствовала себя морально опустошенной. Ей необходимо было исповедаться, и именно для этого она пришла ко мне. Она была убийцей, но прежде всего она убила самое себя: ведь тот, кто совершает подобное преступление, уничтожает собственную душу. Убийца выносит приговор самому себе. Человек, совершивший преступление и разоблаченный, подвергается наказанию в соответствии с законом. Но даже если преступление совершено тайно и остается нераскрытым, наказание, как показывает наш случай, все равно настигает преступника. В конечном счете, преступление все равно обнаруживает себя. Иногда кажется, что это «знают» даже животные и растения.

Вследствие убийства эта женщина впала в невыносимое одиночество. Она оказалась отчуждена даже от животных. И ради того, чтобы сбросить это бремя, она решилась открыться мне. Собственно говоря, ей необходимо было поделиться своей тайной с кем-нибудь не повинным в убийстве. Ей хотелось найти человека, который смог бы выслушать ее исповедь беспристрастно: это помогло бы ей в каком-то смысле восстановить взаимоотношения с человечеством. При этом врач казался предпочтительнее профессионального исповедника. В последнем случае у нее непременно возникло бы подозрение, что священник выслушивает ее только по обязанности и ради морального суда над нею. Она видела, как от нее отворачиваются люди и животные, и была настолько потрясена этим молчаливым приговором, что жизнь стала для нее невыносимой.

Я так и не узнал, кто она, и не получил никаких доказательств, подтверждающих правдивость ее рассказа. Иногда я спрашивал себя, как могла бы сложиться ее судьба: ведь ее история явно имела какое-то продолжение. Скорее всего она покончила с собой. Не могу представить себе, что она продолжала жить в столь полном одиночестве.

Клинические диагнозы важны постольку, поскольку они дают врачу определенную ориентацию; но самому пациенту они никак не помогают. В терапии душевной болезни самое существенное — это анамнез: ведь он, и только он несет в себе сведения о человеческой основе и человеческом страдании, и только он может служить отправным пунктом для сколько-нибудь действенного врачебного вмешательства. В моей практике был случай, показавший мне это с особой убедительностью.

Пациенткой была женщина лет семидесяти пяти, поступившая в клинику почти пятьдесят лет тому назад и вот уже около сорока лет прикованная к постели. Она пережила всех, кто ее когда-то госпитализировал. Некоторые подробности истории этой пациентки помнила только одна старшая медицинская сестра, проработавшая в больнице тридцать пять лет. Больная

давно утратила дар речи и способна была принимать только жидкую или полужидкую пищу. Она погружала в пищу пальцы, а затем ждала, пока жидкость стечет ей в рот. Иногда на один стакан молока у нее уходило без малого два часа. В промежутках между едой она совершала какие-то причудливые ритмические движения руками и ногами, смысл которых был для меня непонятен. Эта картина разрушения человека душевной болезнью, всякий раз производила на меня сильнейшее впечатление, но никаких объяснений ей я не находил. На клинических занятиях со студентами данный случай обычно представляли как кататоническую форму *dementia praecox*, но эти слова для меня ничего не значили, поскольку ни в коей мере не помогали понять смысл и происхождение этих причудливых жестов.

Впечатление, произведенное на меня описываемым случаем, очень характерно для моей реакции на психиатрию того времени. Когда я стал ассистентом, мне казалось, что я совершенно не понимаю, чем должна быть психиатрия. Я ощущал крайнюю неловкость в присутствии начальства и коллег, выглядевших такими уверенными — тогда как я кое-как, ощупью блуждал во тьме. Ведь я считал главной целью психиатрии понимание того, что происходит в больной душе, но был все еще бесконечно далек от этого понимания. Я не имел представления о пути, по которому мне следовало идти в моей профессии!

Как-то поздним вечером, идя по женскому отделению, я увидел старуху, делающую свои странные движения, и в очередной раз задал себе вопрос: «В чем здесь дело?» Затем я зашел к той же пожилой медицинской сестре и спросил ее, всегда ли пациентка вела себя так, как сейчас. «Да, — ответила сиделка, — но моя предшественница рассказывала, будто эта женщина некогда мастерила обувь». Тогда я еще раз просмотрел ее пожелтевшую историю болезни и убедился, что там есть специальное упоминание о ее привычке делать жесты, напоминающие движения сапожника. В давние времена сапожники обычно держали башмаки между коленями и, прошивая кожу, прибегали к похожим движениям (в сельской местности доньше встречаются сапожники, работающие именно таким образом). Вскоре пациентка умерла, и на похороны пришел ее старший брат. Я спросил его: «Отчего заболела ваша сестра?» Оказалось, что она была влюблена в сапожника, почему-то не захотевшего на ней жениться; на этой почве она и «тронулась». Движения, характерные для сапожника, указывали на самоотождествление с возлюбленным, продолжавшееся вплоть до самой смерти.

Благодаря этому случаю я впервые догадался о психических истоках так называемой *dementia praecox*. С того времени я сосредоточил все свое внимание на выявлении осмысленных связей в психозе.

История другой больной раскрыла мне психологическую основу психоза и, прежде всего, «бессмысленных» бредовых идей. Начиная с этого случая я стал понимать язык шизофреников, дотоле считавшийся лишенным смысла. Историю этой пациентки, Бабетты С., я опубликовал в своих работах¹. В 1908 году я даже прочел о ней лекцию в зале цюрихской ратуши.

Бабетта родилась в Цюрихе, на одной из узких, грязных и бедных улочек старого города, и росла в убогих условиях. Ее сестра была проституткой, отец — пьяницей. В возрасте тридцати девяти лет она заболела параноидальной формой *dementia praecox* с характерным бредом величия. Я впервые увидел ее на двадцатом году ее пребывания в лечебнице. Она служила наглядным пособием для сотен студентов-медиков. На ее примере — поистине классическом — они наблюдали страшный процесс психической дезинтеграции. Бабетта была совершенно безумна и постоянно говорила полную бессмыслицу. Я изо всех сил пытался проникнуть в содержание ее темных речей. Например, она твердила: «Я Лорелея» — как оказалось, потому, что пытаюсь понять ее случай, врачи то и дело говорили: «*Ich weiss nicht, was soll es bedeuten*»². Или, например, она причитала: «Я — заместитель Сократа»; насколько мне удалось выяснить, это означало: «Я несправедливо осуждена, подобно Сократу». Нелепые выкрики вроде: «Я — незаменимый двойной политехник», «Я — сливовый пирог на кукурузном днище», «Я — Германия и Гельвеция из чрезвычайно сладкого масла», «Неаполь и я должны снабдить весь мир лапшой» означали ее чрезмерную самооценку, то есть компенсацию чувства собственной неполноценности.

Занимаясь Бабеттой и другими подобными случаями, я убедился, что многое из того, что прежде рассматривалось как бессмыслица, на деле не так бессмысленно, как кажется. В психических глубинах таких больных мне неоднократно приходилось сталкиваться с личностью, которую следовало бы считать вполне нормальной. Выражаясь фигурально, личность эта пассивно наблюдает за происходящим. Иногда — главным образом при посредстве голосов и сновидений — она может выступать с вполне ясными замечаниями и протестами. В результате изменений в физическом состоянии она изредка вновь выходит на поверхность, и тогда пациент возвращается к почти нормальному состоянию.

Однажды я лечил больную шизофренией старуху, «нормаль-

1 Über die Psychologie der Dementia praecox. — Halle, 1907; Der Inhalt der Psychose. — Wien, 1908.

2 «Не знаю, что это значит» — первая строка знаменитого стихотворения Гейне «Лорелея».

ная» глубинная личность которой вдруг проявилась совершенно явственно. Ее случай принадлежал к числу неизлечимых; за ней оставалось лишь ухаживать. У каждого врача есть совершенно безнадежные пациенты, которым можно в лучшем случае лишь облегчить путь к смерти. Эта женщина слышала голоса, звучавшие во всех местах ее тела, причем голос, исходивший из грудной клетки, был «голосом Бога».

«Мы должны полагаться на этот голос», — сказал я ей, удивляясь собственной смелости. Как правило, реплики этого голоса звучали очень явственно, и с его помощью мне удавалось неплохо управляться с пациенткой. Однажды голос сказал: «Пусть он проверит твоё знание Библии!» У нее была старая, зачитанная Библия, и при каждом посещении мне следовало задавать ей одну главу и в следующий раз экзаменовать по прочитанному. Я делал это два раза в месяц в течение семи лет. Поначалу я чувствовал себя в этой роли очень неловко, но вскоре понял, что именно означали эти «уроки». Благодаря им достигалась мобилизация ее внимания, и в результате она не погружалась в разрушительный для ее личности сон бессознательного. В конце концов, примерно шесть лет спустя, голоса, звучавшие прежде отовсюду, сконцентрировались в левой половине ее тела, тогда как правая от них полностью освободилась. К тому же интенсивность явлений в левой части не удвоилась, а осталась той же, что и прежде. Отсюда можно было сделать вывод, что пациентка наполовину выздоровела. Я и не ожидал подобного успеха, так как не мог представить себе, что эти упражнения по тренировке памяти способны оказать какое бы то ни было терапевтическое воздействие.

Общаясь с больными, я понял, что параноидальные идеи и галлюцинации содержат осмысленное зерно. За психозом кроется личность, история жизни, картина надежд и желаний. То, что мы их не понимаем — исключительно следствие нашей собственной ограниченности. Меня тогда впервые осенило, что общая психология личности как бы скрыта, упрятана в психоз, и что даже здесь мы встречаемся с пережитыми в прошлом конфликтами. Хотя пациенты могут казаться тупыми, апатичными или даже совершенно слабоумными, в их душе происходит нечто значительно более осмысленное, чем нам кажется. В глубинах души психически больного мы, по существу, не обнаруживаем ничего нового или неизвестного; мы просто сталкиваемся с основой нашей собственной человеческой природы. Это открытие сильнейшим образом воздействовало на мои чувства.

Меня всегда удивляло, что психиатрия так долго не могла проникнуть в содержание психозов. Никто не занимался выявлением смысла фантазий, не задавался вопросом, почему один

пациент одержим одним, а другой — совершенно иным; никого не интересовало, что означает, когда пациенту чудятся преследования со стороны иезуитов, полиции или евреев-отравителей. В те времена врачей вообще не интересовали вопросы такого рода. Фантазии просто-напросто объединялись в группы под теми или иными родовыми названиями, вроде «брета преследования» и т. п. Мне кажется странным, что мои тогдашние труды ныне почти забыты. Уже в начале века я применял при лечении шизофрении метод психотерапии. Значит, этот метод вовсе не является недавним открытием. Но прошло много времени, прежде чем психология была «допущена» в психиатрию и стала ее необходимой частью.

Работая в клинике, занимаясь лечением больных шизофренией, я должен был соблюдать крайнюю осмотрительность — иначе меня непременно обвинили бы в фантазерстве и ненаучности. Шизофрения или, как ее в то время называли, *dementia praecox* («раннее слабоумие»), считалась неизлечимой. Случаи относительного улучшения было принято считать «ненастоящей» шизофренией.

Когда в 1908 году в Цюрихе меня посетил Фрейд, я продемонстрировал ему случай Бабетты. После этого он сказал мне: «То, что вы, Юнг, выяснили относительно этой пациентки, конечно, очень интересно. Но скажите на милость, как вы можете целые часы или даже дни проводить рядом с этим феноменально уродливым существом?» Вероятно, я бросил на него обескураженный взгляд: никогда в жизни мне не приходило в голову ничего подобного. Я воспринимал эту старую женщину как существо, в определенном смысле привлекательное: ведь у нее были такие чудесные галлюцинации, и она говорила такие интересные вещи. Но важнее всего было то, что даже в этой болезни, сквозь туман нелепости и бессмыслицы, вырисовывалась ее человеческая сущность. Терапевтически мне ничего не удалось достичь: болезнь Бабетты была слишком запущена. Но мне встречались другие случаи, когда внимательное и осторожное проникновение в личность пациента приводило к долговременному терапевтическому эффекту.

Наблюдая трагическое разрушение личности душевнобольного, мы лишь изредка можем уловить скрытую от нас сторону его души. Внешние проявления часто бывают обманчивы, в чем я с удивлением убедился на примере восемнадцатилетней больной кататонией, родом из высококультурной семьи. В возрасте пятнадцати лет ее соблазнил собственный брат, а затем — одноклассник. Ей не исполнилось и шестнадцати, когда она полностью изолировала себя от окружающего, оставив одну-единственную эмоциональную привязанность: к принадлежавшему

другой семье злему сторожевому псу, которого она всячески пыталась расположить к себе. Поведение девушки становилось все более и более аномальным, и в возрасте семнадцати лет ее пришлось поместить в психиатрическую больницу, где она провела полтора года. Девушка слышала голоса, отказывалась от пищи и совершенно прекратила говорить. Когда я увидел ее впервые, она находилась в типичном состоянии кататонии.

В результате многонедельных усилий мне все-таки удалось убедить ее заговорить. Преодолев сильнейшее внутреннее сопротивление, она сообщила, что поселилась на Луне. Судя по всему, Луна была обитаема, но вначале она увидела там только мужчин. Они тут же увели ее с собой и поместили в подлунное жилище, где содержались их дети и жены. На высоких лунных горах жил вампир, похищавший и убивавший женщин и детей; в результате лунному населению грозило полное уничтожение. Вот почему женскую половину населения пришлось поселить под поверхностью Луны.

Желая помочь жителям Луны, моя пациентка решила уничтожить вампира. После долгих приготовлений она поднялась на площадку специально возведенной башни и замерла в ожидании чудовища. Через несколько ночей она, наконец, увидела вампира, приближавшегося издали подобно огромной черной птице. Спрятав длинный жертвенный нож в складках платья, девушка ждала вампира. И вот он перед ней. У вампира было несколько пар крыльев, прикрывавших всю его фигуру и лицо, так что ему были видны только собственные перья. Охваченная изумлением, девушка решила выяснить, каков вампир на самом деле. Положив руку на рукоятку ножа, она подошла поближе. Внезапно крылья распахнулись, и перед нею оказался мужчина неземной красоты. Железной хваткой он сжал ее в крылатых объятиях, тем самым лишив возможности воспользоваться ножом. Но взгляд вампира настолько очаровал девушку, что она все равно не смогла бы нанести удар. Он поднял ее с площадки и улетел вместе с ней.

После этого видения к девушке вернулась способность говорить. Но вскоре она опять замкнулась в себе. Казалось, я помещал ей возвратиться на Луну; она уже не могла покинуть землю. По ее словам, этот мир лишен красоты, тогда как Луна красива, а жизнь на ней полна смысла. Спустя некоторое время девушка снова впала в кататонию, и я был вынужден направить ее на стационарное лечение. Около двух месяцев она была в очень тяжелом состоянии.

После выписки с девушкой снова можно было говорить. Постепенно она начала уяснять себе, что впредь ей придется продолжать жить земной жизнью. После того, как она провела некоторое время в отчаянной борьбе с этим выводом и его послед-

ствиями, ее пришлось вернуть в стационар. Как-то раз я навещал ее там и сказал: «Ничего хорошего для вас из этого не выйдет; вы все равно не сможете вернуться на Луну!» Она выслушала меня молча, с совершенно апатичным видом. На этот раз она была выписана очень скоро и, судя по всему, покорилась судьбе.

Некоторое время она работала сиделкой в санатории. Один из врачей-ассистентов повел себя с ней неосторожно; в ответ она выстрелила в него из револьвера. К счастью, рана оказалась легкой, но стало ясно, что все это время у нее был с собой револьвер. Еще раньше у нее обнаружили заряженное ружье; она вручила его мне во время нашей последней встречи на завершающем этапе лечения. Я удивленно спросил ее, зачем оно ей понадобилось, на что она ответила: «Если бы вы меня предали, я бы вас убила!»

Когда всеобщее волнение, вызванное выстрелом, улеглось, она вернулась в свой родной город, вышла замуж, родила нескольких детей и пережила две мировые войны без единого рецидива.

Как можно интерпретировать ее фантазии? В результате инцеста, жертвой которого она стала в подростковом возрасте, у нее возникло чувство собственной униженности в глазах мира и одновременно с ним — чувство собственного величия в сфере фантазии. Она оказалась перенесенной в сферу мифа: ведь инцест — это традиционная прерогатива царственных особ и богов. Результатом стало полное отчуждение от мира, то есть состояние психоза. Девушка перешла, так сказать, во «внемирное» состояние и утратила контакт с человечеством. Она погрузилась в мир космических расстояний, во внеземное пространство, где встретила крылатого демона. Как всегда бывает в подобных случаях, в процессе лечения она спроецировала образ этого демона на меня. Таким образом, я автоматически оказался под угрозой смерти — как и всякий, кто попытался бы убедить ее вернуться к нормальной жизни. Рассказав мне свою историю, она в каком-то смысле обманула демона и связала себя с земным человеческим существом. В итоге она обрела способность вернуться к жизни и даже вступить в брак.

Меня часто спрашивают о моем психотерапевтическом или аналитическом методе. На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Для каждого случая существует свое лечение. Когда врач говорит мне, что он строго придерживается того или иного метода, я начинаю сомневаться в его достижениях. В литературе так часто встречаются упоминания о сопротивлении пациентов, что может показаться, будто врачи хотят им что-то навязать — тогда как на самом деле лечение должно идти от личности па-

циента. Психотерапия и анализ так же разнообразны, как и человеческие личности. Все зависит от личности; поэтому к каждому пациенту я применяю по возможности индивидуализированный подход. Универсальные правила можно выдвигать только *cum grano salis*¹. В психологии истина имеет ценность только в том случае, если ее можно повернуть обратной стороной. Решение, немыслимое для меня, может быть совершенно правильным для кого-то другого.

Естественно, врач должен быть знаком с так называемыми «методами». Но он должен избегать односторонних, рутинных подходов. Вообще говоря, к теоретическим положениям нужно относиться с большой осторожностью. Сегодня они в силе, а завтра может наступить черед совсем других теорий. В моих анализах теоретические положения не играют никакой роли. Во многих отношениях я умышленно допускаю несистематичность. На мой взгляд, если имеешь дело с личностями, только индивидуальное понимание чего-то стоит. Для каждого случая требуется особый язык. Для одного анализа я могу прибегнуть к адлеровскому диалекту, для другого — к фрейдовскому.

Важнее всего то, что я вступаю в контакт с пациентом как человек с человеком. Анализ — это диалог. Аналитик и пациент сидят друг против друга и смотрят друг другу в глаза; не только врачу, но и пациенту есть что сказать.

Поскольку сущность психотерапии не сводится к применению того или иного метода, психиатрического исследования самого по себе недостаточно. Чтобы подготовиться к психотерапии, мне пришлось долго работать. Еще в 1909 году я осознал, что не могу лечить латентные психозы, не придя к пониманию их символизма. Тогда-то я и начал изучать мифологию.

При работе с образованными и интеллигентными пациентами психиатру нужно нечто большее, чем просто профессиональные знания. Отдавая должное теоретическим допущениям, он должен в то же время понимать действительные мотивировки пациента — ведь в противном случае начинают действовать механизмы ненужного сопротивления. В конечном счете, самое главное — не подтвердить теорию, а добиться того, чтобы пациент осознал себя как личность. Но это недостижимо без обращения к коллективным представлениям, с которыми врач должен быть хорошо знаком. Чисто медицинской подготовки здесь недостаточно, поскольку горизонты человеческой души далеко выходят за тесные рамки врачебного кабинета.

Совершенно ясно, что душа сложнее и труднодоступнее тела. Можно сказать, что душа — половина мира, рождающаяся только в тот момент, когда мы начинаем ее осознавать. Поэто-

1 С известной долей скептицизма (буквально: «со щепоткой соли», *лат.*).

му проблема души — это проблема не только личностная, но и мировая; соответственно, психиатр имеет дело с целым миром.

Ныне, как никогда раньше, мы отчетливо видим, что угроза для всех нас исходит не от природы, а от человека, от психической субстанции личности и массы. Опасность состоит в помрачении человеческой психики. Все зависит от того, правильно ли функционирует наша душа. Стоит кое-кому сегодня потерять голову — и все кончится взрывом водородной бомбы.

Но психотерапевт должен понимать не только пациента; не менее важно, чтобы он понял самого себя. Поэтому совершенно необходим анализ аналитика: то, что принято называть учебным анализом. Лечение пациента начинается, так сказать, с самого врача. Только если врач знает, как справиться с самим собой и с собственными трудностями, он может научить тому же и пациента. Таков непреложный закон. Цель учебного анализа — научить врача познанию собственной психической субстанции и серьезному к ней отношению. Если он не сумеет добиться этого, то нечего ждать и от пациента. Пациент утратит часть своей души, подобно тому, как врач утратил часть своей душевной субстанции, так и не научившись ее понимать. Поэтому учебный анализ не может сводиться к усвоению системы понятий. Аналитик обязан осознать, что анализ касается его лично и представляет собой часть реальной жизни, а не метод, который можно просто-напросто вызвать. Специалист, не уловивший этого в процессе учебного анализа, позднее непременно потерпит неудачу.

Хотя существует лечение, называемое «малой психотерапией», любой сколько-нибудь глубокий анализ требует участия двух личностей — пациента и врача. Во многих случаях лечение непременно предполагает активное соучастие или даже известное самопожертвование врача. Когда на карту ставятся жизненно важные вопросы, все дело заключается в том, видит ли врач себя как одного из участников драмы или замыкается в рамках собственной профессии. В периоды больших жизненных кризисов, в те единственные в своем роде моменты, когда ставится вопрос «быть или не быть», простое внушение оказывается совершенно бесполезным. Врач обязан реагировать на такие ситуации всем своим существом.

Психотерапевт должен постоянно контролировать себя, свою реакцию на пациента — ведь мы реагируем не только на уровне нашего сознания. Поэтому мы должны все время спрашивать себя: как переживает данную ситуацию наше бессознательное? Мы обязаны регистрировать свои сновидения и исследовать себя не менее тщательно, чем пациента. В противном случае все лечение может пойти впустую. Приведу один характерный пример.

У меня была пожилая, весьма интеллигентная пациентка, чей случай по ряду причин стал меня беспокоить. Поначалу анализ продвигался очень хорошо, но со временем я почувствовал, что теряю ключ к правильной интерпретации ее снов; кроме того, мне показалось, что наши диалоги становятся все менее и менее содержательными. Я решился поговорить об этом с пациенткой, поскольку и она, естественно, не могла не заметить, что происходит что-то не то. В ночь, предшествовавшую нашему с ней разговору, мне приснился следующий сон.

В солнечный день я шел по проселочной дороге, пересекавшей долину. По правую руку от меня возвышался крутой холм, на вершине которого стоял замок; на самой высокой башне замка, на некоем подобии балюстрады, сидела женщина. Чтобы разглядеть ее получше, мне пришлось запрокинуть голову далеко назад. Я проснулся с мышечной болью в затылке. Даже во сне я узнал свою пациентку.

Я сразу же истолковал сон следующим образом: если во сне я вынужден был глядеть на пациентку снизу вверх, в действительной жизни я, вероятно, смотрел на нее сверху вниз. Ведь сны являются прежде всего компенсацией сознательного отношения. Я рассказал ей свой сон и его интерпретацию. Это привело к незамедлительному изменению ситуации, и процесс лечения вновь сдвинулся с места.

Как врач, я то и дело сталкивался с необходимостью понять, что имеет сообщить мне больной. Что он значит для меня? Если он ничего не значит, мне не за что зацепиться. Врач приносит пользу, только если его собственная душа также задета. «Исцеляет только раненый». Но когда врач надевает личину и словно одевается броней, он бесполезен. Я отношусь к пациентам серьезно. Может быть, у меня, как и у них, не все в порядке. Пациент нередко оказывается тем самым пластырем, который как нельзя лучше соответствует болячке, мучающей врача. Поэтому и врач не застрахован от осложнений. Можно сказать даже, что как раз врач-то и подвержен им в первую очередь.

Каждому терапевту нужен контроль со стороны какого-нибудь третьего лица, присутствие которого открывает ему доступ к иной точке зрения. Даже у римского папы есть духовник. Я всегда советую аналитикам: «Пусть у вас будет отец-духовник или мать-духовница!» Женщины наделены особым талантом для исполнения подобной роли. Они часто обладают отличной интуицией и острым критическим умом, могут читать мысли мужчины, угадывать тайные происки мужской анимы. Они видят то, что невидимо для мужчин. Вот почему ни одну женщину не удастся убедить в том, что ее муж — сверхчеловек!

Понятно, что лицо, страдающее неврозом, должно подверг-

нуться анализу; но если пациент чувствует себя нормально, нет никакой необходимости продолжать лечение. Должен, однако, сказать, что при столкновении с так называемой «нормой» мне довелось испытать немало удивительного. Однажды у меня был совершенно «нормальный» ученик — врач, пришедший ко мне с наилучшими рекомендациями от моего давнего коллеги, чьим ассистентом он был прежде чем приступил к самостоятельной работе. У него была нормальная практика, нормальные успехи в работе, нормальная жена, нормальные дети, он жил в нормальном домике в нормальном маленьком городке, имел нормальный доход и, вероятно, нормально питался. Он хотел сделаться аналитиком. Я спросил его: «Знаете ли вы, что это означает? Это означает, что прежде всего вы должны овладеть наукой самопознания. Вы представляете собой инструмент. Если вы неисправны, как вы можете исправить пациента? Если вы не убеждены, как вы можете убедить его? Вы должны быть сделаны из прочного материала. А если это не так, вам остается уповать только на Бога! Иначе вы заведете пациентов в тупик. Значит, вам нужно прежде всего подвергнуться анализу самому». Он с готовностью согласился, но тут же продолжил: «У меня нет никаких проблем, мне нечего вам рассказать». Это меня насторожило. Я сказал: «Хорошо, давайте изучим ваши сны». «У меня не бывает снов», — сказал он, на что я ответил: «Скоро они начнут вам сниться». Любому другому в ту же ночь хоть что-нибудь, да приснилось бы. Но он не мог вспомнить ни одного сновидения. Это длилось около двух недель и в конце концов даже начало меня беспокоить.

Наконец ему привиделось нечто впечатляющее. Ему снилось путешествие по железной дороге. Поезд сделал двухчасовую остановку в каком-то городе. Не зная города и желая его осмотреть, он сошел с поезда и направился в центр. Там он набрел на некое средневековое сооружение — вероятно, городскую стену — и вошел внутрь. Поблуждав по длинным коридорам, он в конце концов достиг красиво убранных комнат, стены которых были украшены старинными картинами и изящными гобеленами. Повсюду стояли дорогие антикварные предметы. Внезапно он обратил внимание на наступившую темноту: солнце склонилось к закату. Он подумал, что нужно вернуться на вокзал, но тут же обнаружил, что заблудился и не может найти выход. Не успев позвать на помощь, он осознал, что за все время, проведенное им в этом строении, ему так никто и не встретился. В тревоге он ускорил шаг, надеясь найти хотя бы одно живое существо, но тщетно. Тут он подошел к широкой двери и с облегчением подумал: вот он, выход. Открыв дверь, он оказался в такой огромной и темной комнате, что невозможно было разглядеть противоположную стену. В панике он пустился бежать,

надеясь найти выход на противоположной стороне. Вдруг, в самом центре помещения, он увидел на полу что-то белое. Приблизившись, он понял, что это слабоумный ребенок лет двух, сидящий на горшке и размазывающий по себе собственные испражнения. В этот момент он проснулся с воплем ужаса.

Теперь я знал достаточно, чтобы сделать вывод: это латентный психоз! Нужно сказать, что с меня сошло семь потов, прежде чем мне удалось избавить его от власти этого сновидения. Мне нужно было представить сон как нечто вполне невинное и дать благоприятное истолкование всем рискованным подробностям.

Этим сном было сказано примерно следующее: предпринятое рассказчиком путешествие — это путешествие в Цюрих. Но он останется там очень недолго. Дитя в центре комнаты — это он сам в возрасте двух лет. Для маленьких детей такая склонность к нечистотам не характерна, хотя и вполне возможна. Они иногда проявляют интерес к собственным испражнениям, имеющим, с их точки зрения, занятный цвет и запах. Человек, выросший в городской среде и, по всей вероятности, воспитанный в строгости, вполне мог бы иметь в детстве подобный недостаток.

Но рассказчик — врач — был не ребенком, а взрослым человеком. Поэтому увиденный во сне образ в центре комнаты явился для него зловещим символом. Когда он рассказал мне свой сон, я понял, что его «нормальность» — это компенсация. Мне удалось точно уловить момент, потому что еще немного — и латентный психоз прорвался бы наружу и принял явную форму. Это следовало предотвратить. Наконец, с помощью другого его сновидения, я нашел приемлемый повод прекратить учебный анализ. Оба мы были очень этому рады. Я не сообщил ему диагноз, но он, видимо, осознал, что находился на грани фатальных последствий, поскольку видел во сне, как его преследует свирепый маньяк. Сразу после этого он вернулся домой и больше никогда не пытался активизировать собственное бессознательное. Его подчеркнутая нормальность была внешним проявлением личности, для которой столкновение с бессознательным означало бы не путь к развитию, а абсолютную катастрофу. Подобного рода латентные, распознаваемые с большим трудом психозы — ловушка, которой должен остерегаться психотерапевт. И здесь понимание снов может сыграть первостепенную роль.

Тут мы подходим к проблеме «непрофессионального» анализа. Я отношусь с одобрением к людям, не получившим медицинского образования, которые изучают и практикуют психотерапию; но в случае латентных психозов они рискуют впасть в опасные ошибки. Посему, не имея ничего против работающих в области анализа непрофессионалов, я считаю, что ими должен ру-

ководить профессиональный врач. Почувствовав малейшую неуверенность, «аналитик-любитель» обязан обратиться за советом к своему руководителю. Даже врач испытывает сложности с распознаванием и лечением латентной шизофрении; что же говорить о любителе! Но я не раз замечал, что любители, занимавшиеся анализом в течение нескольких лет и сами подвергшиеся анализу, обладают вполне достаточной проницательностью и умением. Кроме того, профессиональных врачей-психотерапевтов все еще не хватает. Для такой практики необходима длительная и тщательная подготовка, а также широкая культура, которой обладают очень немногие.

Взаимоотношения между врачом и пациентом — особенно когда со стороны пациента наблюдается трансфер¹ или когда врач и пациент более или менее бессознательно идентифицируются друг с другом — могут приводить к возникновению парapsихологических явлений. Со мной подобное случалось часто. Особенно впечатляющий случай был связан с пациентом, которого я лечил от психогенной депрессии. Он вернулся домой и женился; но его жена произвела на меня неблагоприятное впечатление. Увидев ее впервые, я ощутил некоторое беспокойство. Ее муж испытывал ко мне благодарность, и я заметил, что мое влияние на него раздражает ее сверх всякой меры; я сделался чем-то вроде бельма у нее на глазу. Часто случается, что женщины, не любящие своих мужей по-настоящему, отличаются неумеренной ревнивостью и разрушают их дружеские отношения с другими людьми. Они хотят, чтобы мужья всецело принадлежали им — ведь сами они не принадлежат своим мужьям. Суть всякой ревности состоит в недостатке любви.

Отношение жены легло на пациента тяжелым бременем, с которым он не был способен справиться; в результате спустя год после женитьбы он снова впал в депрессию. Заранее предусмотрев подобную возможность, я договорился с ним, чтобы при малейших признаках упадка духа он тут же возобновил со мною связь. Но он — отчасти из-за жены, относившейся к перепадам его настроения совершенно наплевательски — не сделал этого. Я не имел от него никаких вестей.

В то время у меня была назначена лекция в городе Б. Около полуночи я вернулся в гостиницу. После лекции я провел некоторое время с друзьями, а затем лег спать, но долго не мог уснуть. И вот примерно в два часа ночи, едва успев погрузиться в сон, я вдруг вскочил от ощущения, что в комнату кто-то вошел;

1 Трансфер («трансферт», «перенесение», нем. Übertragung) — психоаналитический термин, обозначающий перенесение эмоций, прежде скрытых в подсознании пациента, на лечащего врача.

мне даже показалось, что вошедший резким движением открыл мою дверь. Я тотчас включил свет, но комната была пуста. Я подумал, что кто-то, наверно, перепутал дверь, и выглянул в коридор. Но там также царила мертвая тишина. «Как странно — подумал я, — ведь в комнату явно кто-то входил!» Затем я постарался припомнить происшедшее во всех деталях и понял, что проснулся от тупой боли, словно что-то ударило меня в лоб, а затем — в затылок. На следующий день я получил телеграмму, извещавшую, что мой пациент совершил самоубийство. Он застрелился. Впоследствии я узнал, что пуля застряла в затылке.

Это переживание представляет собой настоящий синхронический феномен из числа тех, которые часто наблюдаются в связи с архетипическими ситуациями, в данном случае — со смертью. Вследствие релятивизации времени и пространства сферой бессознательного я могу воспринять то, что совершается вдали от меня. Коллективное бессознательное универсально; оно служит основой для того, что древние называли «всеобщей отзывчивостью». В данном случае бессознательному принадлежало знание о состоянии моего пациента. В тот вечер я испытывал странное беспокойство и нервозность, что обычно мне совершенно не свойственно.

Я никогда не пытаюсь обратить пациента в какую-то веру или оказать на него давление. Меня больше всего заботит, чтобы пациент выработал собственное видение вещей. В результате моего лечения язычник становится язычником, христианин — христианином, иудей — иудеем, согласно тому, что уготовано ему судьбой.

Я хорошо помню случай одной еврейки, утратившей веру. Все началось с моего сновидения, в котором ко мне с просьбой о врачебной помощи явилась незнакомая молодая девушка. Она изложила мне свой случай, причем во время ее рассказа я думал: «Я ее совершенно не понимаю. Я не понимаю, о чем идет речь». И тут мне вдруг стало ясно, что у нее отцовский комплекс в необычной форме. Таков был мой сон.

На следующий день в четыре часа у меня была назначена консультация. Явилась молодая женщина — еврейка, дочь богатого банкира, красивая, великолепно одетая и очень умная. Она уже прошла курс анализа у другого врача, но там дело кончилось трансфером; в итоге врач взмолился, чтобы она больше к нему не ходила, ибо продолжение лечения грозило разрывом его отношений с женой.

В течение нескольких лет девушка страдала серьезным неврозом, который выражался в приступах беспричинной тревоги; понятно, что в результате неудачного курса лечения ее состояние ухудшилось. Я начал с анамнеза, но не смог обнаружить

ничего особенного. Будучи еврейкой, она была прекрасно приспособлена к жизни в условиях просвещенного Запада и европеизирована до мозга костей. Поначалу я совсем не мог понять, в чем заключается ее болезнь. Затем я внезапно вспомнил свой сон и подумал: «Боже правый, это же девочка из моего сна!» В ней, однако же, не обнаруживалось никаких следов отцовского комплекса; вот почему я, по своему обыкновению, начал задавать ей вопросы о ее деде. На мгновение она прикрыла глаза, и я сразу же сообразил, что здесь-то и зарыта собака. На мою просьбу рассказать мне о деде она ответила, что он был раввином и принадлежал к еврейской секте. «Вы имеете в виду хасидов?» — спросил я и получил утвердительный ответ. Я продолжил расспросы. «Раз он был раввином, не был ли он, случайно, цадиком?» «Да, — ответила она, — рассказывают, будто он был чуть ли не святым и к тому же обладал вторым зрением. Но это все чепуха. Таких вещей не бывает!»

На этом я завершил анамнез, так как понял историю ее невроза. Я объяснил ей: «Сейчас я скажу вам нечто такое, что вам, возможно, покажется неприемлемым. Ваш дед был цадиком. Ваш отец стал отступником от иудейской веры. Он нарушил тайну и повернулся спиной к Богу. И ваш невроз вызван тем, что в вас вселился страх Божий». Эти слова поразили ее, словно удар молнии.

На следующую ночь мне приснился еще один сон. Я принимал в своем доме гостей, среди которых вдруг увидел эту девушку. Подойдя ко мне, она спросила: «Вы взяли зонтик? Идет страшный дождь». И я действительно обнаружил какой-то зонтик, повертел его в руках, кое-как раскрыл и уже собирался вручить ей, как вдруг случилось нечто удивительное: отдавая зонтик, я стал перед ней на колени, словно перед божеством.

Я рассказал ей этот сон, и примерно через неделю невроз исчез¹. Сон показал мне, что за внешним обликом юной девушки кроются задатки святой. Она не имела представления о мифологии, вследствие чего самое существенное свойство ее природы не находило путей выражения. Ее сознание было занято флиртом, нарядами и возбуждением чувственности, так как ничего иного она не знала. Она признавала только рассудок и жила бессмысленно. В действительности же она являлась Божьим созданием, и ей предназначено было выполнить Его тайную волю. Мне нужно было пробудить в ней мифологические и религиозные мысли, ибо она принадлежала к тому разряду человеческих существ, от которых требуется духовная деятельность. Таким образом жизнь ее наполнилась смыслом, и невроз отступил.

1 Этот случай отличается от большинства других случаев в практике Юнга кратковременностью лечения. (Прим. А. Яффе.)

В данном случае я не прибегал к какому-либо «методу»; я просто почувствовал присутствие «нумена»¹. Для того чтобы ее вылечить, достаточно было объяснить ей это. Здесь важен был не метод, а «страх Божий».

Я часто наблюдал людей, ставших невротиками из-за неспособности найти ответы на жизненно важные вопросы. Они стремились к высокому общественному положению, браку, хорошей репутации, внешним успехам или деньгам, но даже если им удавалось достичь желаемого, они все равно оставались несчастными или страдали неврозами. Духовные горизонты людей этого рода обычно были очень узки, а их жизнь — недостаточно содержательна и осмысленна. Но как только им предоставлялась возможность развиться и расширить собственную личность, невроз исчезал. Именно поэтому мысль о развитии всегда имела для меня важнейшее значение.

Среди моих пациентов всегда было очень мало верующих, тогда как люди, утратившие веру, составляли большинство. Ко мне приходили заблудшие овцы. Даже в наши дни, в наше время верующий человек благодаря Церкви имеет возможность жить «символической жизнью». Достаточно вспомнить о переживаниях, связанных с литургией, крещением, «подражанием Христу», равно как и о многих других сторонах религиозного опыта. Но символическая жизнь и переживание символов предполагают живое соучастие верующего, а именно этого слишком часто недостает современным людям. Невротикам же этого недостает практически всегда. В подобных случаях мы должны проследить за тем, происходит ли в бессознательном процесс спонтанного выдвигания символов для замены недостающего элемента психической жизни. При этом важно знать ответ на вопрос: способно ли лицо, которому являются символические сны и видения, понять их смысл и сделать выводы для себя?

В качестве примера приведу случай одного богослова, уже описанный мною в работе «Архетипы коллективного бессознательного». Ему часто снился один и тот же сон. В этом сне он стоял на склоне горы, откуда открывался прекрасный вид на глубокую долину, покрытую густым лесом. Во сне он знал, что посреди леса есть озеро; он знал также, что до сих пор ему всегда что-то мешало дойти до него. Но на этот раз он захотел осуществить свой план. По мере приближения к озеру атмосфера становилась все более и более жуткой; внезапно легкий порыв ветра возмутил поверхность воды, и он в ужасе проснулся.

На первый взгляд этот сон кажется непонятным. Но рассказчик, будучи богословом, непременно должен был вспомнить

1 См. примечание 2 на с. 70.

«пруд», чьи воды возмущались под воздействием внезапного ветра: «купальню Вифезда», в которой лежали больные¹. Сходя в купальню и касаясь воды, Ангел Господень сообщал ей целебную силу. Легкий ветерок — это дух, который «дышит где хочет»². И это вселяло в рассказчика ужас. Ему было внушено невидимое присутствие «нумена», живущего собственной жизнью и вызывающего в человеке содрогание. Рассказчик не хотел принимать во внимание ассоциацию с купальней Вифезда. Он не желал о ней слышать, поскольку думал, что подобные вещи не имеют никакого отношения к психологии: с ними приходится сталкиваться разве что на страницах Библии, самое большее — во время воскресных утренних проповедей. О Святом Духе можно при случае поговорить — но ведь это не феномен, который переживается на собственном опыте!

Я знал, что для моего пациента главное — преодолеть страх и, так сказать, отделаться от паники. Но я никогда не форсирую выход, если сам пациент не желает двигаться по открывшемуся ему в видении пути, равно как и отвечать за возможные последствия. Я не согласен с легковесным допущением, будто пациента сдерживают только обычные силы внутреннего сопротивления. Сопротивление — особенно если оно отличается упорством — заслуживает всяческого внимания; часто это предостерегающий сигнал, которым нельзя пренебрегать. Анализ можно сравнить с сильнодействующим лекарством или операцией, которые иногда ведут к фатальному исходу.

Проникновение в сферу самых глубинных переживаний, в сердцевину личности обычно вызывает страх; многие в подобных случаях спасаются бегством. Именно это и произошло с моим богословом. Я, конечно, сознаю, что богословы находятся в более сложном положении, нежели представители других профессий. С одной стороны, они стоят ближе к религии, с другой же стороны они в большей степени скованы церковью и догмой. Большинству людей чужды такие вещи, как риск внутреннего переживания и опасные приключения в сфере духа. Им страшно отнести такие приключения к области психической реальности. Они могли бы согласиться с тем, что духовные переживания имеют сверхъестественное, на худой конец «историческое» основание. Но признать их всецело психическими по происхождению?.. При столкновении с подобным пациент часто выказывает неожиданно презрительное отношение к душе.

В современной психотерапии часто выдвигается требование, чтобы психотерапевт как бы «плыл рядом» с пациентом и его

1 См.: Иоанн:5, 2—4.

2 Иоанн:3, 8.

аффектами. Я не считаю, что этого всегда следует держаться. Иногда требуется и активное вмешательство.

Однажды ко мне явилась некая знатная дама, имевшая обыкновение бить своих служащих — даже врачей — по щекам. Она лечилась в санатории от невроза. Естественно, главный врач санатория очень скоро получил от нее оплеуху: ведь в ее глазах он был всего лишь старшим лакеем, обязанным ей хотя бы тем, что она исправно платила по счетам. Врач отослал ее в другое заведение, где повторилась та же история. Поскольку дама не была по-настоящему психически больна и к тому же, очевидно, требовала к себе самого внимательного отношения, ее переправили ко мне.

Она была очень импозантной особой ростом около метра восьмидесяти; ей-богу, в свои оплеухи она вкладывала немалую силу. Мы начали приятно беседовать, но в какой-то момент я сказал нечто, не слишком ей понравившееся. Она в ярости вскочила с места и замахнулась, чтобы меня ударить. Я тоже вскочил и сказал: «Ну что ж, пеняйте на себя. Вы — женщина. Вам принадлежит право первого удара. Но имейте в виду, я вам отвечу!» Я говорил все это, нимало не кривя душой. Она упала обратно в кресло и прямо на моих глазах совершенно сникла. Ее сил хватило лишь на слабый протест: «Мне никогда не говорили ничего подобного!» С этого момента процесс лечения сдвинулся с мертвой точки.

Этой пациентке нужна была лишь настоящая мужская реакция. В данном случае «плыть рядом» было бы по меньшей мере бесполезно. Навязчивый невроз пациентки был обусловлен ее неспособностью к моральному самообузданию. Людей такого рода нужно обуздывать каким-то иным способом — и как раз поэтому у них возникают навязчивые симптомы, служащие именно данной цели.

Много лет назад я составил статистику моих лечебных результатов. Я уже не помню точных цифр, но, по осторожным оценкам, примерно треть моих пациентов действительно излечилась, у второй трети наступило существенное улучшение, и еще на одну треть лечение не оказало особого влияния. Но именно случаи, не сопровождавшиеся улучшением, особенно трудны для оценки: ведь многое осознавалось и понималось лишь годы спустя, и именно тогда могло возыметь действие. Как часто бывшие пациенты пишут мне: «Лишь через десять лет после того, как я с вами расстался, я понял смысл происходившего со мной».

У меня было несколько случаев, когда больные «сбегали» от меня, и лишь в очень немногих случаях, признавая собственную неспособность справиться с задачей, я бывал вынужден отказы-

вать в помощи; но даже от таких пациентов я иногда впоследствии получал сообщения о хороших результатах. Вот почему у меня так часто возникают сложности с оценкой итогов лечения.

Ясно, что практикующему врачу приходится сталкиваться с людьми, которые сами оказывают на него значительное воздействие. На его пути попадаются личности, никогда не вызывающие интереса у публики и тем не менее (или как раз поэтому) обладающие необычными качествами, а также личности, которым на роду написано испытывать беспрецедентные, даже катастрофические повороты судьбы. Часто такие люди обладают выдающимися талантами и вполне могут повести за собой других; но таланты эти могут сочетаться с настолько неблагоприятной психической предрасположенностью, что трудно сказать — идет ли речь о действительной гениальности или всего лишь о ее проблесках. Иногда же вполне, казалось бы, обычные люди вдруг обнаруживают богатства души, совершенно неожиданные среди однообразной равнины современного общества. Для того, чтобы психотерапия была действенной, нужны близкие отношения — настолько близкие, чтобы врач не мог оторвать взгляд от вершин и глубин человеческого страдания. Отношения эти состоят прежде всего в постоянном сравнении, взаимопонимании и диалектическом сопоставлении двух противостоящих друг другу психических реальностей. Если по тем или иным причинам подобного взаимодействия достичь не удастся, психотерапевтический процесс оказывается неэффективным, и никаких изменений не происходит. Задача имеет решение только при условии, что врач и пациент ставят ее друг перед другом одновременно.

Среди так называемых невротиков много таких, кому в другие эпохи невроз бы не грозил — то есть людей, страдающих раздвоенностью. Если бы они жили во времена и в среде, где человек все еще был соединен посредством мифа с миром предков, а через него с природой, по-настоящему переживаемой в опыте, а не просто наблюдаемой извне, они были бы избавлены от этой внутренней раздвоенности. Я говорю о тех, кто не способен выдержать утрату мифа, кто, с одной стороны, не может найти путь к внешнему миру — миру в том виде, в каком его представляет наука, — а с другой стороны, не может удовлетвориться жонглированием словами, не имеющим ничего общего с мудростью.

Эти жертвы психической раздвоенности нашего времени являются лишь «факультативными» невротиками; внешние признаки болезни исчезают вместе с исчезновением пропасти, отделяющей их «Я» от бессознательного. Врач, глубоко испытывший эту раздвоенность на себе, сможет лучше понять бессозна-

тельные психические процессы и защитить себя от опасности инфляции¹, к которой психологи вообще имеют склонность. Врач, не знающий о нуминозности архетипов из опыта собственных переживаний, едва ли сумеет избежать их отрицательного воздействия на практике. Имея в своем распоряжении только интеллектуальную точку зрения, но не эмпирические критерии, он непременно выкажет склонность к переоценке или, наоборот, недооценке этого воздействия. Здесь-то и начинаются опасные (причем не только для врача) заблуждения, первое и самое главное из которых — стремление овладеть всем на свете с помощью одного только интеллекта. Данное стремление служит тайной цели: держать как врача, так и больного на безопасном расстоянии от архетипического воздействия, иными словами, от действительного переживания, и заменить психическую реальность внешне надежным, искусно сконструированным, но всего лишь двумерным мирком, в котором жизненная реальность полностью скрыта за так называемыми четкими понятиями. Переживание лишается своего субстанциального содержания и заменяется пустыми словами, которые отныне занимают место действительности. Ни у кого не может быть никаких обязательств перед понятием, и именно поэтому «понятийность», концептуальность так привлекательна: ведь она обещает защиту от переживаемого опыта. Но дух живет не в понятиях, а в делах и фактах. Соловья баснями не накормишь; и все же эта пустая, никому не нужная процедура повторяется вновь и вновь, до бесконечности.

Поэтому среди моих пациентов самую трудную и одновременно самую неблагоприятную прослойку составляют, помимо обычных лгунов, так называемые интеллектуалы. У них правая рука никогда не знает, что делает левая. Они культивируют «психологию несообщающихся сосудов». Им кажется, что все на свете можно решить с помощью интеллекта, не контролируемого чувством — и все же даже в наши дни интеллектуал страдает от невроза, если его чувство не развито.

Благодаря контактам с пациентами и психическими явлениями, которые они демонстрировали в виде бесконечного ряда образов, я почерпнул невероятно много — и притом не столько знаний, сколько интуитивных прозрений относительно моей собственной природы. И далеко не самой малой частью этого богатства я обязан собственным ошибкам и неудачам. Среди моих пациентов — в особенности женского пола — было много таких, кто, взявшись за дело, выказывал исключительную добросовестность, понятливость и сообразительность. Главным

1 Здесь термин «инфляция» (Inflation) обозначает неумеренное преувеличение масштабов собственной личности, гордыню. См. Глоссарий.

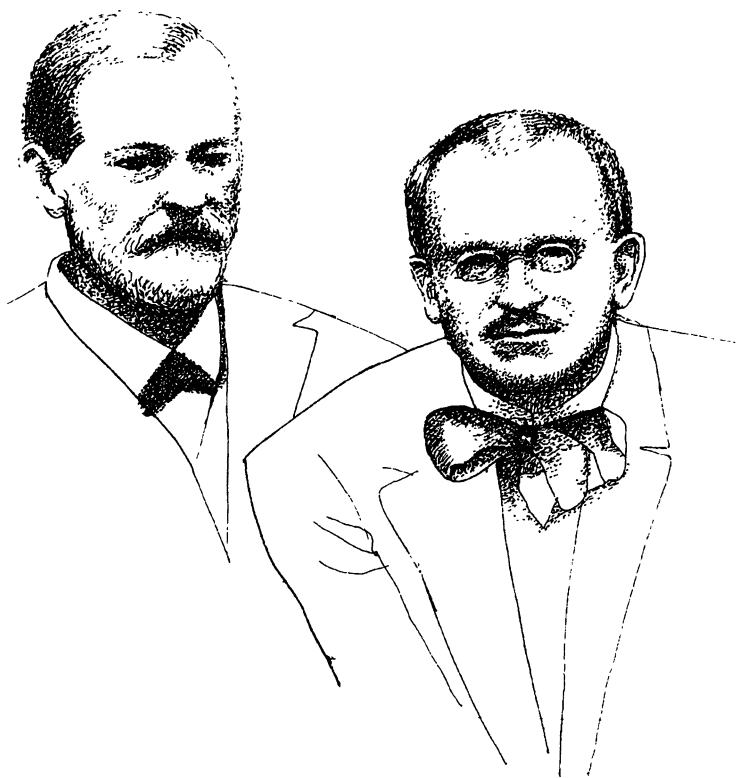
образом благодаря им я смог проложить новые пути в психотерапии.

Некоторые пациенты стали моими учениками и даже более того, моими посланцами; они способствовали распространению моих идей в мире. Со многими я дружил и дружу до сих пор.

Мои пациенты настолько приблизили меня к реалиям человеческой жизни, что я невольно учился у них самому существенному. Встречи с самыми разными людьми, находившимися на самых разных уровнях психологического развития, значили для меня несравненно больше, чем отрывочные беседы со знаменитостями. Прекраснейшими и значительнейшими разговорами в моей жизни я обязан людям безвестным.

5

Зигмунд Фрейд





Итак, я начал свой интеллектуальный путь с того, что стал психиатром. Ничего не подозревая, я приступил к клиническим, внешним наблюдениям за пациентами, страдающими душевными расстройствами, и в результате натолкнулся на психические процессы удивительной природы. Я отмечал и классифицировал их, ни в малейшей степени не понимая их содержания, относительно которого оценка «патологическое» считалась вполне исчерпывающей. С течением времени мой интерес все более и более сосредоточивался на случаях, в которых я находил нечто доступное пониманию — то есть на паранойе, маниакально-депрессивных психозах и психогенных нарушениях.

С самых первых шагов на поприще психиатрии я черпал идеи не только из работ Пьера Жане, но и из исследований Бройера¹ и Фрейда. Прежде всего я обнаружил, что фрейдовский метод анализа и интерпретации сновидений проливает яркий свет на формы проявления шизофрении. Еще в 1900 году я прочел работу Фрейда об интерпретации сновидений («Die Traumdeutung»)², но в то время еще не смог ее должным образом воспринять: ведь в возрасте двадцати пяти лет у меня не могло быть

1 Йозеф Бройер (или Брейер, Breuer) (1842—1925) — австрийский врач и психолог, учитель и соавтор Фрейда.

2 В статье на смерть Фрейда (1939) Юнг назвал этот труд «эпохальной» и, «вероятно, самой дерзновенной из когда-либо осуществленных попыток подчинить загадки бессознательной психической субстанции внешне надежной основе эмпиризма. Для нас, в то время молодых психиатров, этот труд был... источником озарения, тогда как для наших старших коллег — лишь предметом насмешки». (Прим. А. Яффе.)

достаточного опыта для верной оценки фрейдовских теорий. Такой опыт появился позднее. В 1903 году я еще раз взял в руки «Толкование сновидений» и обнаружил, насколько тесная связь существует между этой книгой и моими собственными идеями. Мой особый интерес вызвали возможности, открывавшиеся в результате применения к снам концепции «вытеснения», разработанной на основании психологии неврозов. Это было для меня важно, поскольку в своих опытах со словесными ассоциациями я часто сталкивался с феноменом вытеснения, когда в ответ на то или иное стимулирующее слово пациент либо не находил ассоциативного ответа, либо выказывал неоправданно медленную реакцию. Как было обнаружено позднее, подобное нарушение возникало всякий раз, когда стимулирующее слово затрагивало точку психического повреждения или конфликта. В большинстве случаев пациент не осознавал данного обстоятельства. На вопрос о причине нарушения часто приходилось выслушивать явно неестественные ответы. Прочитав фрейдовское «Толкование сновидений», я убедился, что здесь действует механизм вытеснения, и известные мне факты прекрасно согласовывались с этой теорией. Таким образом, я смог подтвердить правильность фрейдовской аргументации.

Но ситуация предстала в ином свете, когда возникла необходимость выявить содержимое, скрытое за механизмами вытеснения. Здесь я не мог согласиться с Фрейдом. Он считал, что причиной вытеснения является сексуальная травма. Но мне в моей практической деятельности приходилось неоднократно сталкиваться со случаями невроза, в которых вопросы сексуального свойства играли второстепенную роль, тогда как на передний план выходили совсем другие факторы — такие, как проблемы социальной адаптации, угнетенность трагическими жизненными обстоятельствами, соображения престижа и так далее. Впоследствии я продемонстрировал подобные случаи Фрейду; он, однако, не желал признавать в качестве причин невроза какие бы то ни было иные факторы, помимо сексуальных. Это казалось мне в высшей степени неудовлетворительным.

Поначалу мне было нелегко определить место, занимаемое Фрейдом в моей жизни, и выработать правильное отношение к нему. Я ознакомился с его работами в период, когда намеревался посвятить себя чисто академической деятельности и был близок к завершению статьи, которая способствовала бы моему продвижению в университете. Но в академической среде того времени Фрейд явно был нежелательным лицом, и любые связи с ним могли повредить моей репутации в научных кругах. Так называемые «важные персоны» упоминали его имя тайком и вполголоса, а на научных конференциях обсуждения его работ проводились лишь в кулуарах, никогда не доходя до зала. По-

этому меня вовсе не обрадовало, что мои опыты с ассоциациями, как оказалось, согласуются с фрейдовскими теориями.

Однажды, когда я сидел в своей лаборатории и размышлял над всеми этими вопросами, дьявол стал нашептывать мне, что публикация моих экспериментальных результатов и выводов без упоминания имени Фрейда была бы вполне оправданна: ведь я начал ставить свои опыты задолго до знакомства с его работами. Но затем я услышал голос своей второй личности: «Если ты сделаешь вид, что ничего не знаешь о Фрейде, это будет мошенничеством. Ты не можешь построить свою жизнь на лжи». Это решило вопрос. Я стал открытым сторонником Фрейда и включился в борьбу за его признание.

Впервые я заступился за Фрейда, когда на одной конференции в Мюнхене некий докладчик распространялся о навязчивых неврозах, старательно избегая упоминания имени Фрейда. В связи с этим инцидентом, в 1906 году, я опубликовал в «Мюнхенском медицинском еженедельнике» статью о фрейдовской теории неврозов¹, немало способствовавшей лучшему пониманию навязчивых неврозов. В ответ на эту статью два немецких профессора направили мне письмо с предостережением, что если я буду продолжать держаться фрейдовских взглядов, моя научная карьера окажется под угрозой. Я ответил: «Если то, что говорит Фрейд — правда, я остаюсь с ним. Меня не интересует карьера, если она должна быть построена на необходимости урезывать исследования и скрывать правду». Итак, я не перестал защищать Фрейда и его идеи. Но мои собственные результаты никоим образом не убеждали меня в том, что все неврозы обусловлены вытесненным сексуальным влечением или сексуальными травмами. Для очень многих случаев подобное объяснение не подходило. Тем не менее Фрейд открыл совершенно новое направление исследований, и мне казалась нелепой та реакция отторжения, которую он в то время вызывал².

Моя работа «О психологии dementia praecox» была встречена без особого восторга. Можно без преувеличения сказать, что коллеги просто-напросто смеялись надо мной. Но именно благодаря этой книге я познакомился с Фрейдом. Он пригласил меня к себе, и в феврале 1907 года в Вене состоялась наша первая

1 Die Hysterictheorie Freuds: Eine Erwiderung auf die Aschaffenburgsche Kritik. — Münchener Medizinische Wochenschrift, LIII (Nov. 1906), 47. (Прим. автора.)

2 Переписка между Юнгом и Фрейдом началась в 1906 году, когда Юнг послал Фрейду свою работу «Исследования по ассоциативной диагностике» («Diagnostische Assoziationsstudien»), и продолжалась до 1913 года. В 1907 году Юнг послал Фрейду работу «О психологии dementia praecox» («Über die Psychologie der Dementia Praecox»). (Прим. А. Яффе.)

встреча. Мы встретились в час дня и почти без перерыва проговорили тринадцать часов. Фрейд был первым по-настоящему значительным человеком на моем жизненном пути; никто из тех, с кем мне к тому времени доводилось общаться, не шел с ним ни в какое сравнение. В его поведении и взглядах не было совершенно ничего тривиального. Мне он показался необыкновенно умным, тонким, проницательным, одним словом — совершенно замечательным человеком. И все же мое первое впечатление о нем было в какой-то степени смешанным: чего-то в нем я так и не смог понять.

То, что он говорил о своей сексуальной теории, произвело на меня большое впечатление. И тем не менее его слова не рассеяли моих колебаний и сомнений. Несколько раз я пытался было высказать их, но он неизменно относил мою неуверенность на счет недостатка у меня необходимого опыта. Вообще говоря, Фрейд был прав; в то время я действительно не обладал достаточным опытом для обоснования своих возражений. Мне стало ясно, что сексуальная теория имеет для него большое значение как в личном, так и в философском отношении. Это произвело на меня впечатление, но я не мог определить, в какой мере этот отчетливо выраженный акцент на сексуальности был связан с его субъективными предрассудками, а в какой — основывался на поддающихся проверке опытных данных.

Но особенно сомнительным казался мне взгляд Фрейда на духовное начало. Любое проявление духовности в человеке или произведении искусства казалось ему проявлением вытесненной сексуальности, а все, что не удавалось прямо интерпретировать как «сексуальность», он обозначал термином «психосексуальность». Я возражал, что подобная гипотеза, доведенная до логического конца, означала бы уничтожающий приговор культуре. Последняя в этом случае выглядела бы как простой фарс, как болезненное следствие вытесненной сексуальности. «Но ведь это так и есть, — согласился он, — и против этого проклятия судьбы мы совершенно бессильны». Я ни в коей мере не был склонен с ним соглашаться, но все еще не чувствовал себя достаточно компетентным для того, чтобы спорить.

Во время этой первой встречи мое особое внимание привлекло еще одно обстоятельство, хотя все его значение я начал понимать только после того, как наша дружба кончилась. Не было никакого сомнения, что сексуальная теория захватила Фрейда сверх всякой меры. Стоило ему заговорить о ней, как его речь становилась напористой, возбужденной, а его обычная критическая и скептическая манера улетучивалась без следа. На его лице появлялось странное, глубоко взволнованное выражение, причину которого мне было очень трудно понять. Я интуитивно догадывался, что для Фрейда сексуальность обладала нуминоз-

ной аурой. Эта догадка подтвердилась в беседе, имевшей место примерно три года спустя (в 1910 году), также в Вене.

У меня все еще стоят в ушах слова Фрейда: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории. Это самое важное. Мы должны сделать из нее догму, непоколебимый оплот!» Он говорил мне все это в высшей степени эмоциональным тоном, словно отец, увещающий сына: «Обещай мне, дорогой мой мальчик, ходить в церковь каждое воскресенье». Я спросил с удивлением: «Оплот — против чего?», на что он ответил: «Против мутного потока грязи», — и, после минутного колебания, добавил: «Против оккультизма». Меня прежде всего встревожили слова «оплот» и «догма»: ведь догма, то есть не подлежащее оспариванию исповедание веры, выдвигается только с целью окончательного и бесповоротного подавления всяческих сомнений. Но это уже не имеет ничего общего с научным суждением, а относится исключительно к сфере проявления индивидуального инстинкта власти.

Эти слова Фрейда погубили нашу дружбу. Я знал, что никогда не смогу принять подобного взгляда. То, что Фрейд имел в виду под «оккультизмом», на деле представляло собой всю совокупность учений о психической субстанции, разработанных философией, религией, а также новорожденной наукой парapsихологией. С моей точки зрения сексуальная теория была не менее «оккультной» — то есть недоказуемой и гипотетичной, — нежели многие другие спекулятивные воззрения. Я убедился, что научная истина — это также гипотеза, степень адекватности которой со временем меняется; она отнюдь не утверждается навечно, как символ веры.

Хотя в то время я еще не понимал всего этого должным образом, я усмотрел во Фрейде пробуждение бессознательных религиозных факторов. Очевидно, он хотел, чтобы я помог ему воздвигнуть преграду против этого угрожающего содержания сферы бессознательного.

Вследствие этого разговора мое замешательство только усилилось: ведь прежде я отнюдь не рассматривал сексуальность как хрупкую и находящуюся в опасности концепцию, по отношению к которой непременно нужно сохранить верность. Очевидно, сексуальность значила для Фрейда больше, чем для других людей. Он относился к ней как к святыне, на которую следовало взирать с религиозным чувством (*res religiose observanda*). Перед лицом такой глубокой убежденности человек, как правило, чувствует себя неловко и старается скрыть свои ощущения. После сказанных мною немногих робких фраз наш разговор иссяк.

Я долго не мог прийти в себя. Я чувствовал себя так, словно приоткрыл окно в новую, неизвестную страну, откуда меня ока-

тило водопадом новых идей. Одно было ясно: Фрейд, всегда подчеркивавший свою безрелигиозность, сконструировал догму; или, точнее сказать, утраченного ревнивого Бога он заменил другим всеохватывающим идолом — сексуальностью. Этот идол был столь же требователен, настойчив, суров, деспотичен, грозен и морально амбивалентен, сколь и первый. Сила, которой приписывается особая психическая действенность, всегда наделяется «божественными» или «демоническими» атрибутами; так и здесь «сексуальное либидо»¹ приняло на себя роль *deus absconditus* — скрытого, спрятанного бога. Преимущество подобной трансформации для Фрейда состояло, очевидно, в том, что он имел возможность рассматривать новый нуминозный принцип как научно безупречный и свободный от каких бы то ни было оттенков религиозности. Но в самом глубинном, сущностном измерении нуминозность — то есть психологическое качество — двух таких несопоставимых на рациональном уровне противоположностей, как Яхве и сексуальность, не изменилась. Изменилось только название, а вместе с ним, конечно, и точка зрения: утраченного бога теперь приходилось искать внизу, а неверху. Но, в конце концов, действующей психической силе совершенно безразлично, какое имя дается ей в каждом отдельном случае. Если бы вместо психологии существовали только осязаемые объекты, один из них был бы просто-напросто уничтожен и заменен другим. Но в действительности, то есть на уровне психологического опыта, перемена имени отнюдь не приводит к изменению степени интенсивности, настойчивости, тревожности переживания. Проблема остается той же: как нам избежать или преодолеть тревогу, угрызения совести, чувство вины, навязчивые состояния, давление со стороны бессознательного, власть инстинктов. Если нам не удастся сделать это в идеалистической, светлой перспективе, то, быть может, нам больше повезет, если мы обратимся к проблеме с темной, биологической стороны.

Эти мысли озадачили меня подобно внезапно вспыхнувшему пламени, и только значительно позднее, когда я предался размышлениям о характере Фрейда, они обнаружили всю свою значимость. Особенно занимало меня такое свойство его личности, как горечь. Оно поразило меня при первой же встрече, но оставалось необъяснимым, пока я не смог рассмотреть его в связи с фрейдовским отношением к сексуальности. Хотя для Фрейда сексуальность имела несомненное нуминозное значение, его терминология и теория, казалось, определяли ее как чисто био-

1 Здесь стоит отметить, что в терминологической системе Юнга «либидо» означает нечто иное, чем у Фрейда: не просто половое влечение, но любую форму психической энергии; см. об этом также в главе 7.

логическую функцию. Лишь эмоциональный накал, с которым он говорил о ней, позволял разглядеть вибрировавшие в нем глубинные элементы. В основном он стремился внушить — по крайней мере, так мне казалось, — что сексуальность, рассматриваемая изнутри, включает в себя духовность и обладает самостоятельным, имманентным значением. Но его подчеркнуто конкретная, приземленная терминология была слишком узкой, чтобы адекватно служить выражению этой идеи. У меня сложилось впечатление, что в сущности он работает против собственной цели, против самого себя; а ведь горше всего приходится тому, кто не в ладу с собой. По его собственным словам, он чувствовал для себя угрозу со стороны «мутного потока грязи» — но ведь именно он, как никто иной, склонен был черпать из этих мутных глубин.

Фрейд никогда не спрашивал себя, что именно заставляет его постоянно говорить о сексуальности, почему эта мысль имеет над ним такую власть. Он не сознавал, что эта «монотонность интерпретации» выражала стремление бежать от самого себя или от того аспекта своего существа, который можно было бы назвать «мистическим». Поскольку он отказывался признать существование этого аспекта, он так и не смог прийти к согласию с собой. Он выказал слепоту в отношении парадоксальности и двойственности, присущих содержанию сферы бессознательного; он не знал, что все, исходящее из бессознательного, имеет верх и низ, внутреннюю и внешнюю стороны. Говоря только о внешнем — как это делал Фрейд, — мы учитываем, в лучшем случае, половину от целого, и в результате наталкиваемся на реакцию противодействия бессознательного.

С этой односторонностью Фрейда ничего нельзя было поделать. Возможно, какое-нибудь внутреннее переживание было бы способно открыть ему глаза; но его интеллект непременно свел бы подобное переживание к «простой сексуальности» или «психосексуальности». Он так и остался жертвой собственной односторонности, и поэтому я вижу в нем трагическую фигуру. Он был великим человеком; более того, он был человеком, одержимым своим демоном.

После этой второй беседы в Вене я понял также выдвинутую Альфредом Адлером¹ гипотезу о воле к власти, на которую прежде обращал мало внимания. Подобно многим сыновьям, Адлер научился у своего «отца» не тому, что тот говорил, а тому, что он делал. Проблема любви (Эроса) и власти сразу же

1 Альфред Адлер (Adler) (1870—1937) — австрийский психиатр и психолог, ученик Фрейда; подобно Юнгу, порвал с Фрейдом из-за несогласия с сексуальной теорией последнего.

навалилась на меня свинцовым грузом. Фрейд сам говорил мне, что никогда не читал Ницше; теперь же я увидел во фрейдовской психологии своего рода уловку истории духа, используемую для того, чтобы компенсировать ницшеанское обожествление принципа власти. Проблему, очевидно, можно было бы переименовать: не «Фрейд против Адлера», а «Фрейд против Ницше». Я понял, что в ней крылось нечто большее, нежели обычная семейная ссора специалистов по психопатологии. Меня осенило, что Эрос и воля к власти могут в известном смысле рассматриваться как инакомыслящие сыновья одного и того же отца или продукты единой мотивирующей психической силы, на эмпирическом уровне проявляющей себя во взаимно противоположных формах энергии — подобно положительному и отрицательному электрическим зарядам, субъекту действия и объекту действия (причем как Эрос, так и воля к власти могут выступать в обеих этих функциях) и т. п. Эрос предьявляет к воле к власти столь же весомые требования, что и последняя — к первому. Может ли один вид энергии существовать без другого? С одной стороны, человек подчиняется энергии; с другой же стороны он пытается с нею совладать. Фрейд показывает, как человек становится жертвой энергии, тогда как Адлер — как он использует энергию с целью навязать объекту свою волю. Ницше, беспомощный против судьбы, вынужден был для собственных нужд создать «сверхчеловека». Относительно же Фрейда я заключил, что он должен был быть настолько глубоко поражен мощью Эроса, что не смог не возвысить его до ранга догмы — *aere perennius*¹, — подобной религиозному «нумену». Не секрет, что «Заратустра» свидетельствует о новом Евангелии; но и Фрейд, как оказалось, также стремился превзойти Церковь и канонизировать теорию. Строго говоря, он делал это без лишнего шума; зато он подозревал меня в том, что я хочу стать пророком. Выдвинув свою трагическую претензию, он в то же время уничтожил ее. Именно так люди, как правило, поступают с явлениями нуминозного порядка: ведь последние с одной стороны истинны, а с другой — нет. Переживание нуминозного с одной стороны возвышает, с другой же — унижает. Если бы Фрейд уделил чуть больше внимания психологической истине, согласно которой сексуальность — это нечто нуминозное (то есть сочетающее в себе Бога и дьявола), он не замкнулся бы в рамках чисто биологического понятия. И Ницше также, скорее всего, не оказался бы вследствие своих интеллектуальных эксцессов на краю пропасти, если бы тверже держался основ человеческого бытия.

1 Прочнее меди (*лат.*): известные слова из так называемого «Памятника» Горация.

Всякий раз, когда переживание нуминозного вынуждает душу к беспокойным метаниям, возникает угроза, что нить, на которой держится человек, оборвется. В таких случаях один попадает в абсолютно утвердительное, а другой — в абсолютно отрицательное настроение. Восток нашел против этого средство в виде *нирваны* — то есть свободы от противоположностей. Я этого не забывал. Маятник ума качается между смыслом и бессмыслицей, а не между верным и ошибочным. Нуминозное опасно, поскольку оно влечет человека к крайностям, и в итоге скромная истина может показаться высшей правдой, а незначительная ошибка приравнивается к фатальному заблуждению. Все течет: вчерашняя правда есть нынешний обман, а вчерашний ложный вывод может стать завтрашним открытием. В особенности это относится к психологическим материям, о которых мы, по правде говоря, знаем все еще очень мало. Мы еще далеко не способны понять: если нечто существует, то лишь потому, что чье-то маленькое — и, увы, столь преходящее — сознание заметило его.

Из разговора с Фрейдом я понял, что он боялся, как бы нуминозный свет его сексуальной теории не был погашен «мутным потоком грязи». Таким образом, возникла мифологическая ситуация: *борьба между светом и тьмой*. Здесь кроется объяснение ее нуминозности, а также того, почему Фрейд прибегнул к своей догме как к непосредственному религиозному средству защиты. В своей следующей книге, озаглавленной «Метаморфозы и символы либидо» («Wandlungen und Symbole der Libido», 1912) и трактующей о борьбе героя за свободу, я под влиянием странной реакции Фрейда продолжил исследование этой архетипической темы и ее мифологической основы.

Имея дело, с одной стороны, с сексуальной интерпретацией, а с другой стороны — с догмой о воле к власти, я с течением лет пришел к необходимости рассмотреть проблему типологически. Нужно было изучить полярность и динамику психической субстанции. И, кроме того, я в течение нескольких десятилетий посвящал свои усилия изучению «мутного потока грязи», то есть оккультизма: тем самым я пытался понять сознательные и бессознательные исторические допущения, лежащие в основе нашей современной психологии.

Мне интересно было знать мнение Фрейда о ясновидении и парапсихологии в целом. Посетив его в 1909 году в Вене, я спросил, что он обо всем этом думает. В силу своих материалистических предрассудков он безоговорочно отверг данный комплекс вопросов как бессмысленный и сделал это в настолько плоских позитивистских терминах, что я едва удержался от язвительного возражения. Лишь несколько лет спустя он признал серьезность

парапсихологии и фактическое существование «оккультных» явлений.

Пока Фрейд разворачивал свою позитивистскую аргументацию, я испытывал странное ощущение. Мне казалось, что моя диафрагма сделана из железа и раскаляется докрасна, как бы превращаясь в пылающий свод. И в этот самый момент из книжного шкафа, стоявшего справа от нас, прозвучал громкий треск, похожий на пистолетный выстрел. Мы оба вскочили, опасаясь, как бы шкаф не рухнул нам на головы, и я сказал Фрейду: «Вот пожалуйста, полюбуйтесь на образец так называемой каталитической экстериоризации».

— Да бросьте вы, — воскликнул он в сердцах, — какая чушь!

— Вы ошибаетесь, господин профессор, это вовсе не чушь. И в доказательство этого я предсказываю, что через мгновение мы услышим еще один такой же звук. — Не успел я произнести эти слова, как из книжного шкафа донесся тот же взрыв.

Я доныне не знаю, откуда у меня появилась эта уверенность. Однако я несколько не сомневался, что треск прозвучит вновь. Фрейд лишь ошеломленно посмотрел на меня. Не знаю, что было у него в мыслях, что значил его взгляд. Во всяком случае, этот инцидент пробудил в нем недоверие ко мне, а мне показалось, что я совершил нечто, направленное прямо против него. Впоследствии я никогда не говорил с ним об этом случае.

1909 год стал решающим для наших отношений. Меня пригласили читать лекции по ассоциативным опытам в университет Кларка (Вустер, штат Массачусетс). Независимо от меня приглашение получил и Фрейд, и мы решили поехать вместе. Мы встретились в Бремене, где к нам присоединился также Ференци¹. В Бремене с Фрейдом случился обморок, впоследствии столь часто служивший предметом обсуждения. Косвенным образом обморок был спровоцирован моим интересом к так называемым «трупам в торфянике». Я знал, что в некоторых местностях Северной Германии встречаются эти самые болотные трупы — останки первобытных людей, то ли утонувших в болоте, то ли погребенных в нем. Болотная вода содержит гумусовую кислоту, разлагающую кости, но одновременно дубящую кожу и волосы, которые в результате прекрасно сохраняются. В сущности, происходит процесс естественной мумификации, при котором тела сплющиваются под давлением массы торфа. Такие останки иногда находят при добыче торфа в Гольштейне (Северная Германия), Дании и Швеции.

Я где-то читал об этих «трусах в торфянике» и, попав в Бре-

1 Шандор Ференци (Ferenczi) (1873—1933) — венгерский психоаналитик, ученик Фрейда.

мен, вспомнил о них. Но по рассеянности я спутал их с мумиями в свинцовых подвалах города. Это мое любопытство вызвало нервную реакцию Фрейда. Он несколько раз спросил меня: «И на что вам сдались эти трупы?» Он то и дело раздраженно заговаривал на эту тему, пока наконец во время одной из наших застольных бесед внезапно не потерял сознание. Впоследствии он признался мне, что был убежден, будто все эти разговоры о покойниках указывали на мое желание видеть его мертвым. Нужно ли говорить, как поразила меня эта интерпретация. Меня встревожила чрезмерная живость его воображения, способная даже довести его до обморока!

В моем присутствии и при аналогичных обстоятельствах Фрейд потерял сознание еще раз: во время мюнхенского психоаналитического конгресса 1912 года. Кто-то сказал о фараоне Аменхотепе IV (Эхнатоне), будто вследствие отрицательного отношения к собственному отцу он уничтожил картуши последнего на стенах, и за его великим творением — монотеистической религией — явственно просматривается комплекс отца. Это рассуждение возмутило меня, и я попытался возразить в том духе, что Аменхотеп был творческой и глубоко религиозной личностью, чьи действия никоим образом не могут быть объяснены в терминах индивидуального противодействия собственному отцу. Напротив, он уважал память отца, а его жажда уничтожения была направлена исключительно против имени бога Амона; именно поэтому он свел его с картушей своего отца, Аменхотепа III¹. Более того, другие фараоны также заменяли имена своих земных или божественных предков на монументах и статуях своими собственными именами, чувствуя, что имеют на это право, ибо являются воплощениями того же бога. Но ведь никто из них не создал ни нового календаря, ни новой религии.

В эту самую минуту потерявший сознание Фрейд сполз со стула. Все присутствовавшие беспомощно сгрудились вокруг него. Я на руках перенес его в соседнюю комнату и уложил на диван. Пока я его нес, он наполовину пришел в себя; я никогда не забуду взгляда, которым он в тот момент посмотрел на меня. В состоянии слабости он смотрел на меня так, словно я был его отцом. Какие бы иные причины ни крылись за его обмороком — нужно сказать, что в помещении, где все это произошло, стоял очень тяжелый воздух, — фантастическое представление об отцеубийстве присутствовало в обоих случаях.

В тот период Фрейд нередко делал намеки в том духе, что он видит во мне своего преемника. Эти намеки меня смущали, поскольку я знал, что никогда не смогу стать по-настоящему по-

1 Имя Аменхотеп означает «Амон доволен». Амон-Ра — верховный бог египетского пантеона.

следовательным защитником его взглядов. С другой стороны, мой собственный критический подход к тому времени еще не успел созреть до такой степени, чтобы произвести на него хоть сколько-нибудь весомое впечатление; кроме того, мое уважение к нему было все еще слишком велико, и поэтому мне в голову никак не могла прийти мысль о возможности заставить его в конце концов согласиться с правильностью моих идей. Меня отнюдь не привлекала перспектива взвалить на себя обязанности лидера целой партии. Во-первых, подобное было не в моем характере; во-вторых, я не мог жертвовать своей интеллектуальной независимостью; наконец, в-третьих, такая честь была совершенно нежелательна, ибо она только отвлекла бы меня от главного. Меня заботили поиски истины, а не повышение личного престижа.

Наше путешествие в США продлилось семь недель. Целые дни мы проводили вместе, анализируя сны друг друга. В тот период мне приснилось много важных снов, но Фрейд не мог их толком понять. С моей точки зрения это отнюдь не бросало на него тень: ведь даже с лучшими аналитиками случается, что они не могут найти ключ к тому или иному сновидению. По-человечески это вполне понятно, и только из-за этого я не стал бы прекращать наши анализы снов. Напротив, анализы значили для меня очень много, и я считал свои взаимоотношения с Фрейдом необыкновенно плодотворными. Я видел в нем старшего, более зрелого и опытного коллегу, и чувствовал себя в каком-то смысле его сыном. Но затем случилось нечто, нанесшее жестокий удар по нашим отношениям.

Фрейду приснился сон, содержание которого я не считаю себя вправе разглашать. Я дал этому сну истолкование согласно своим понятиям и возможностям, после чего добавил, что если он сообщит мне кое-какие подробности своей частной жизни, я смогу сказать на данную тему значительно больше. Фрейд ответил странным взглядом — взглядом, в котором явственно прочитывалась крайняя подозрительность. Затем он сказал: «Я не могу ставить на карту свой авторитет!» И именно в тот момент он его потерял. Эта фраза прочно засела в моей памяти; в ней уже содержалось предвосхищение нашего будущего разрыва. Фрейд ставил личный авторитет выше истины.

Как я уже сказал, Фрейд либо вообще не мог интерпретировать мои тогдашние сны, либо интерпретировал их очень неполно. Эти сны имели коллективное содержание и включали богатый символический материал. Один из снов был для меня особенно важен, ибо впервые навел меня на мысль о коллективном бессознательном и, таким образом, стал своего рода прелюдией к моей книге «Метаморфозы и символы либидо».

Мой сон заключался в следующем. Я находился в незнакомом двухэтажном доме. Это был «мой дом». Я пребывал на втором этаже, в гостиной, обставленном изящной старинной мебелью стиля рококо. На стенах висело несколько прекрасных старых картин. Подивившись убранству своего дома, я подумал: «Вот это да!», но потом вдруг сообразил, что не знаю, как выглядит нижний этаж. Я спустился по лестнице и обнаружил, что на нижнем этаже собраны значительно более старые вещи; судя по всему, эта часть дома восходила к пятнадцатому или шестнадцатому веку. Обстановка была средневековая, полы были выложены красным кирпичом. Вокруг царила полутьма. Переходя из одной комнаты в другую, я думал: «Сейчас я обследую все помещения этого дома». Подойдя к тяжелой двери, я отворил ее и обнаружил каменную лестницу, ведущую вниз, в погреб. Спустившись по ней, я оказался в помещении с красивыми сводами, которое показалось мне невероятно древним. Исследуя стены, я обнаружил среди обычных каменных блоков несколько слоев кирпича, а также кирпичные вкрапления в известковом растворе. Я сразу же понял, что стены датируются римской эпохой. Мой интерес чрезвычайно возрос. Внимательно осмотрев пол, я убедился, что он выложен каменными плитами. В одной из плит я нашел кольцо. Стоило мне потянуть за кольцо, как плита отошла, и моему взору открылась еще одна узкая каменная лестница, которая вела куда-то далеко вниз. Я снова спустился и вошел в низкую пещеру. Пол был покрыт густым слоем пыли, в которой валялись кости и глиняные черепки, напоминавшие остатки какой-то первобытной культуры. Я обнаружил два человеческих черепа, явно очень старых и наполовину распавшихся. После этого я проснулся.

В моем сновидении Фрейда заинтересовали главным образом два черепа. Он то и дело возвращался к ним и заставлял меня найти в связи с ними какое-то желание. Что я думал об этих черепах? Чьи это были черепа? Я, конечно, прекрасно знал, куда он клонит: он выискивал в моем сне тайные желания смерти. «Но чего же он в действительности от меня ждет? — размышлял я. — По отношению к кому мог бы я испытывать подобные желания?» Я активно противился подобной интерпретации. У меня тоже были кое-какие догадки об истинном смысле сна, но в то время я еще не доверял собственному суждению и хотел услышать мнение Фрейда. Я считал его своим учителем. Поэтому я подчинился его намерению и назвал тех, чьей смерти мог бы желать — собственную жену и ее сестру.

Я женился незадолго до описываемого эпизода и прекрасно знал, что ничто во мне никогда не указывало на наличие подобных желаний. Но я не имел возможности изложить Фрейду собственную интерпретацию сна, поскольку опасался нарваться на

непонимание и активное противодействие. Я не чувствовал себя в силах спорить с ним; кроме того, я боялся, что мои попытки отстоять собственную точку зрения могут положить конец нашей дружбе. С другой стороны, мне хотелось знать, как он реагирует на мой ответ, если я введу его в заблуждение и скажу нечто согласующееся с его теориями. Именно поэтому я его и обманул.

Конечно, я сознавал, что мое поведение безупречно, но *à la guerre, comme à la guerre!*¹ Ни в коем случае нельзя было позволять ему проникнуть в мой душевный мир. Между нашими душевными мирами разверзлась глубокая пропасть. И действительно, мой ответ, судя по всему, принес Фрейду немалое облегчение. Я убедился в том, что при столкновении с некоторыми разновидностями сновидений он проявляет полную беспомощность, заставляющую его искать убежище в собственной доктрине. И я осознал, что никто, кроме меня, не сможет понять истинный смысл моего сна.

Мне было совершенно ясно, что дом представляет собой своего рода образ психической субстанции — иначе говоря, образ тогдашнего состояния моего сознания с добавлением элементов, бывших дотоле содержанием сферы бессознательного. Сознание было представлено в виде салона. Последний, несмотря на свое старинное убранство, выглядел необитаемым.

Нижний этаж дома был воспринят мной как начальный уровень бессознательного. Чем глубже вниз я спускался, тем более чуждым и мрачным становилось окружающее. В пещере я нашел остатки первобытной культуры, то есть мир первобытного человека во мне самом — мир, который едва ли вообще может быть достигнут или озарен сознанием. Первобытная психическая субстанция человека походит на душевную жизнь животных, и в этом она подобна первобытным пещерам, где люди появились вслед за животными.

В это время я начал сознавать, что разницу между нашими с Фрейдом интеллектуальными позициями я ощущаю с необычайной остротой. Я рос в насыщенной историей атмосфере Базеля конца девятнадцатого столетия и благодаря чтению книг старых философов приобрел кое-какие познания в области истории психологии. Размышляя о снах и содержании бессознательного, я всегда прибегал к историческим сопоставлениям; в студенческие годы я постоянно пользовался для этой цели старым философским словарем Круга. Особенно хорошо я знал авторов восемнадцатого и раннего девятнадцатого века. Именно их мир сформировал атмосферу моего салона на втором этаже.

1 На войне, как на войне (*франц.*).

Что же касается Фрейда, то у меня сложилось впечатление, что его интеллектуальная история началась с Бюхнера, Молешотта, Дюбуа-Реймона и Дарвина¹.

Сон указывал, что у сознания есть и другие, более глубокие сферы, которые я только что описал: длинный необитаемый нижний этаж в средневековом стиле, затем римский погреб и, наконец, первобытная пещера. Все эти образы обозначали давние времена и прошлые стадии развития сознания.

В дни, предшествовавшие этому сну, я много размышлял над следующим: на каких допущениях базируется фрейдовская теория; к какой категории человеческой мысли она принадлежит; каким образом соотносится ее почти исключительный персонализм с общими историческими предпосылками? Сон дал мне искомый ответ. Он очевидным образом указывал на основания истории культуры — то есть истории последовательных слоев сознания. Таким образом, мой сон являл собой своего рода структурную диаграмму человеческой души: он постулировал существование чего-то абсолютно *внеличностного* по природе, составляющего ее основу. Все встало на свои места — и с того момента сон превратился в путеводный образ, истинность которого впоследствии не раз удивляла меня.

В тот момент у меня впервые мелькнула мысль о существовании некоего коллективного а priori, кроющегося под поверхностью индивидуальной души. Поначалу я воспринял это как след более ранних способов функционирования, но впоследствии, по мере накопления опыта и на основании более надежных познаний, я распознал в них формы проявления инстинктов, то есть архетипы.

Я никогда не мог согласиться с положением Фрейда, что сон — это всего лишь «фасад», за которым кроется его истинное содержание, причем последнее будто бы уже известно, но, так сказать, преднамеренно утаено от сознания. Для меня сны являются частью природы, стремящейся не к обману, а к тому, чтобы наилучшим образом выразить необходимое. Эти формы жизни сами по себе не стремятся ввести наше зрение в заблуждение; мы же, в силу собственной близорукости, можем обмануться куда как легко. Из-за нашей глухоты может обмануться и наш слух — но наши уши сами по себе вовсе не желают нас непременно обмануть. Задолго до встречи с Фрейдом я уже рассматривал бессознательное (и сны, являющиеся его прямыми

1 Естествоиспытатели середины и второй половины девятнадцатого века, в мировоззренческом отношении близкие позитивизму: Фридрих Карл Христиан Бюхнер (Büchner) (1824—1899), Якоб Молешотт (Moleschott) (1822—1893), Эмиль Дюбуа-Реймон (Du Bois-Reymond) (1818—1896), Чарлз Дарвин (Darwin) (1809—1882).

«представителями») как естественный процесс, которому нельзя приписать ни произвольных действий, ни тем более склонности к мошенничеству. У меня не было причин полагать, что естественные процессы бессознательного способны к обманым действиям наподобие тех, к которым постоянно прибегает сознание. Как раз напротив, повседневный опыт приучил меня к тому, что бессознательное интенсивнейшим образом сопротивляется намерениям сознания.

Сон о доме воздействовал на меня особым образом: он возродил мой давний интерес к археологии. После возвращения в Цюрих я взялся за книгу о вавилонских раскопках и, кроме того, прочел ряд работ о мифах. По ходу дела я наткнулся на книгу Фридриха Кройцера «Символика и мифология древних народов»¹, которая меня буквально воспламенила. Я, как безумный, бросился в море книг; с лихорадочным любопытством я продирался сквозь груды мифологического материала, а затем сквозь писания гностиков, пока, наконец, не пришел в совершенное замешательство. Испытанное мною смущение было сродни тому чувству, которое уже однажды возникло у меня во время работы в клинике, когда я пытался понять психотические состояния души. Мне казалось, что я попал в воображаемый сумасшедший дом, где приступил к лечению и анализу всяких кентавров, нимф, богов и богинь из книги Кройцера, словно они были моими пациентами. В течение этих занятий мне сама собой открылась тесная связь между древней мифологией и психологией первобытных людей; в результате я занялся интенсивными исследованиями в области последней.

В самый разгар этих исследований я наткнулся на фантазии совершенно незнакомой мне юной американки, мисс Миллер. Этот материал был опубликован Теодором Флурнуа — моим старшим коллегой, к которому я относился с поистине сыновним почтением, — в женевских «Психологических архивах» («Archives de Psychologie»). Меня сразу же поразили мифологический характер фантазий. Они активизировали заложенные во мне, но все еще не упорядоченные мысли. Мало-помалу из этих мыслей и из приобретенных мною познаний о мифах выросла книга о психологии бессознательного — «Метаморфозы и символы либидо».

В период работы над этой книгой я видел сны, в которых предугадывался мой будущий разрыв с Фрейдом. Одно из самых значительных сновидений разыгрывалось в горной местности на границе между Швейцарией и Австрией. Был вечерний

1 Названный труд: F. Creuzer. Symbolik und Mythologie der alten Völker, выходил в свет в течение 1810—1823 гг. Георг Фридрих Кройцер (1771—1858) — немецкий филолог.

час. Я увидел сутулого пожилого человека в мундире чиновника австрийской императорской и королевской таможенной службы. Не обращая на меня никакого внимания, он прошел мимо. На лице его было написано недовольство, меланхолия, раздражение. Вокруг были и другие люди. Они сообщили мне, что этот человек на самом деле находится не здесь; он является не чем иным, как призраком таможенного чиновника, умершего много лет назад. «Он один из тех, кто никак не может умереть». На этом кончилась первая часть моего сна.

Анализируя ее, в связи с «таможной» я тут же подумал о термине «цензура»¹, а в связи с «границей» — о границе между сознанием и бессознательным с одной, и между взглядами Фрейда и моими — с другой стороны. Исключительно строгий таможенный контроль на границе показался мне скрытым указанием на анализ. На границе открывают чемоданы и проверяют их на предмет контрабанды. В процессе этой проверки обнаруживаются проявления притворства со стороны бессознательного. Что же касается таможенного чиновника, то его работа, судя по всему, приносила ему настолько мало радости, что у него выработался сугубо мрачный взгляд на мир. Аналогия с Фрейдом показалась мне совершенно очевидной.

В то время (то есть в 1911 году) авторитет Фрейда в моих глазах уже был не тем, что прежде. Но Фрейд все еще являлся для меня высшей личностью, на которую я проецировал собственного отца, и в период описываемого сновидения эта проекция в значительной мере сохраняла актуальность. При наличии подобной проекции мы не можем быть объективны и в своих суждениях упорно не выходим из состояния раздвоенности. С одной стороны, мы пребываем в зависимом положении, с другой — оказываем определенное противодействие. Тогда я еще был высокого мнения о Фрейде, но уже начинал относиться к нему критически. Это двойственное отношение означало, что я еще не осознавал ситуации и не имел понятия, как ее разрешить. Данное состояние характерно для любых проекций. Сон убедил меня в необходимости разъяснить сложившееся положение.

Под давлением личности Фрейда я, насколько это было возможно, отставил в сторону собственные суждения и подавил в себе критическое чувство. Таковы были необходимые предварительные условия сотрудничества с ним. Я сказал себе: «Фрейд

1 «Цензура» — одно из ключевых понятий фрейдовского учения о сновидениях, обозначающее специальный механизм, предотвращающий проникновение в сферу сознания нежелательного содержимого из сферы бессознательного. Во сне цензура отчасти ослабевает, в связи с чем активизируется выход бессознательного содержимого во внешние слои психической субстанции.

намного мудрее и опытнее тебя. На сегодняшний день ты должен просто слушать то, что он тебе говорит, и учиться у него». И вдруг, к собственному изумлению, я вижу его во сне в облике унылого таможенного инспектора Австро-Венгерской монархии, мертвого, но все еще разгуливающего среди людей призрака. Могло ли это быть доказательством моего желания видеть его мертвым, в чем Фрейд меня столь упорно подозревал? В нормальном состоянии я не мог бы даже помыслить о подобном желании ни одной частью своего существа: ведь я мечтал любой ценой иметь возможность работать с Фрейдом и — руководствуясь вполне эгоистическими соображениями — черпать из богатейшей сокровищницы его опыта. Его дружба значила для меня очень много. У меня не было никаких причин желать ему смерти. Но, с другой стороны, мой сон мог рассматриваться как своего рода поправка, как компенсация или противоядие для моего осознанного уважения и восхищения. Следовательно, сон содержал в себе рекомендацию отнестись к Фрейду несколько более критически. Все это меня откровенно шокировало — при том, что последняя фраза сновидения показалась мне намеком на потенциальное бессмертие Фрейда.

Но на эпизоде с таможенником сон не кончился; после некоторого интервала я увидел его вторую, куда более примечательную часть. Она разыгрывалась в каком-то итальянском городе в полуденный час. Узкие улицы были освещены палящим солнцем. Город был выстроен на холмах и напомнил мне один из районов Базеля, Коленберг. Маленькие улочки, ведущие вниз, в пересекающую город долину Бирзигталь, частично представляли собой лестничные пролеты. Одна из таких лестниц в моем сне вела на Барфюссерплатц. Это был Базель и одновременно итальянский город, похожий на Бергамо. Жаркое летнее солнце стояло в зените, и все окружающее купалось в его ярких лучах. Навстречу мне шла толпа, и я знал, что магазины закрываются и люди расходятся по домам обедать. Среди этой толпы шагал какой-то рыцарь в полном боевом облачении. Он поднялся ко мне по лестнице. На нем были кольчуга и стальной шлем с отверстиями для глаз. Сверху была наброшена белая туника с вышитым спереди и сзади большим красным крестом.

Нетрудно представить себе, что я почувствовал, увидев среди бела дня, в оживленном современном городе, идущего мне навстречу крестоносца. Особенно меня поразило то обстоятельство, что никто из многочисленных прохожих не обратил на него никакого внимания. Никто даже не повернул головы в его сторону. Казалось, он невидим для всех, кроме меня. Я спросил себя, что могло бы означать это явление, и вдруг словно услышал чей-то ответ — хотя на самом деле никто ничего не сказал: «Да, это явление повторяется регулярно. Рыцарь всегда прохо-

дит здесь между двенадцатью и часом дня, начиная с незапамятных времен, и все об этом знают».

Рыцарь и таможенник резко контрастировали между собой. Таможенник представлял мир теней, он был блеклым призраком, который «никак не может умереть». С другой стороны, рыцарь был полон жизни и совершенно реален. Вторая часть сна характеризовалась высшей степенью нуминозности, тогда как сцена на границе была прозаична и сама по себе не производила никакого впечатления; меня поразила только моя собственная реакция на нее.

В период, последовавший за описываемым сном, я много думал о таинственной фигуре рыцаря. Но лишь после очень долгих размышлений я смог составить определенное представление о том, что же она означала. Даже во сне я знал, что рыцарь принадлежит двенадцатому веку. Именно тогда начала развиваться алхимия, а также начались поиски святого Грааля¹. Рассказы о Граале значили для меня очень много. Впервые я прочел их в пятнадцать лет, и они захватили меня сразу и навсегда. У меня возникло ощущение, что за этими рассказами все еще кроется какая-то великая тайна. Поэтому мне показалось совершенно естественным, что сон вызвал в моем воображении мир рыцарей Грааля и их походов — ведь в самом глубинном смысле это был мой мир, едва ли имеющий что-либо общее с миром Фрейда. Все мое существо находилось в поиске чего-то доселе неизвестного и способного сообщить банальной прозе жизни более серьезный смысл.

Я был чрезвычайно разочарован тем обстоятельством, что все исследовательские усилия разума наталкиваются в глубинах психической субстанции на слишком хорошо известные, «слишком человеческие» ограничения. Я вырос в сельской местности, в крестьянской среде, и то, чему меня не успели научить конюшня или хлев, я черпал из раблезианских шуточек и необузданных фантазий, которыми изобилует наш крестьянский фольклор. Кровосмешение и половые извращения не представляли для меня ничего особенно нового и не требовали специальных объяснений. Наряду с преступностью они составляли часть мутного осадка, портившего вкус жизни и, с моей точки зрения, откровенно свидетельствовавшего об уродстве и бессмысленности человеческого существования. Капуста, растущая среди навоза, всегда была для меня самой привычной картиной. Я, безусловно, не был в состоянии извлечь из этого знания каких бы то ни было полезных выводов. Утомленный, усталый от мыслей об этих уродливых явлениях, я убеждался, что в этом мире только

1 См. примечание 3 на с. 221.

городские жители не имеют представления о природе и хлеве, в котором проводит свою жизнь человеческое стадо.

Люди, ничего не знающие о природе, конечно, являются невротиками: ведь они не приспособлены к действительности. Они наивны как дети; сообщая им основные жизненные истины, необходимо, так сказать, на пальцах объяснять им, что они ничем не отличаются от всех остальных человеческих существ. Конечно, такие разъяснения сами по себе не могут вылечить от невроза; необходимо еще, чтобы невротик сумел выкарабкаться из завалов обыденности. Но ведь он только и стремится цепляться за то, что раньше подавлял. Да и как он может вообще избавиться от недуга, если анализ не дает ему представления о чем-то ином и лучшем, если даже теория прочно держит его в узде, не предлагая ничего, помимо рациональных или «разумных» побуждений покончить с подобной инфантильностью? Как раз этого-то невротика и не могут сделать, что совершенно естественно, поскольку им не на что опереться. Одна форма жизни не может быть просто отброшена; на ее место непременно должна прийти какая-либо иная форма. Совершенно рациональный подход к жизни недостижим даже для здоровых людей; что же говорить о невротиках, которым рассудительность вообще не свойственна.

Я понял, по какой именно причине личная психология Фрейда представляла для меня столь жгучий интерес. Я жаждал узнать правду о его «разумном решении» и был готов на немалые жертвы ради получения ответа. Теперь я чувствовал, что стою на верном пути. Фрейд сам был, несомненно, ярко выраженным невротиком; во время нашего с ним путешествия в Америку я смог убедиться, насколько мучительны были симптомы его недуга. Конечно, он учил меня, что любой человек отчасти невротик, и что мы должны воспитывать в себе терпимость. Но я вовсе не был склонен соглашаться с ним; мне гораздо интереснее и важнее было узнать способ избавиться от невроза. Очевидно, ни Фрейд, ни его ученики не могли понять, что значит это для теории и практики психоанализа — ведь даже сам учитель ничего не мог поделать с собственным неврозом. Поэтому когда Фрейд объявил о своем намерении отождествить теорию и метод и превратить их в своего рода догму, я больше не мог продолжать сотрудничество с ним; у меня не оставалось выбора, кроме как отойти в сторону.

Когда, работая над книгой о либидо, я подходил к концу главы «Жертва», мне уже было известно, что публикация этой главы будет стоить мне дружбы с Фрейдом. Я предполагал изложить в ней собственную концепцию инцеста, решительно переосмысленную концепцию либидо и иные идеи, в которых я существенно отклонялся от Фрейда. Для меня инцест лишь в очень

редких случаях означает осложнение личного характера. Обычно он имеет высокоразвитый религиозный аспект, вследствие чего тема инцеста играет решающую роль почти во всех космогониях и во многих мифах. Но Фрейд был склонен к буквальной интерпретации инцеста и не мог уяснить его духовного значения как символа. Я знал, что он никогда не сможет принять мои идеи.

Я поделился своими опасениями с женой. Она попыталась было успокоить меня, поскольку думала, что Фрейд проявит достаточное великодушие и, несмотря на все свое неприятие моих взглядов, не станет рвать со мною отношения. Со своей стороны, я был убежден в противоположном. В течение двух месяцев я был не в состоянии взять в руки перо — настолько меня волновал грядущий конфликт. Что хуже: держать свои мысли при себе или рисковать потерей такой важной, необходимой дружбы? В конце концов я решил продолжить работу — и это действительно стоило мне дружбы с Фрейдом.

После моего разрыва с Фрейдом от меня один за другим отворачивались друзья и знакомые. Моя книга была объявлена чистейшим вздором, а сам я — мистиком; одним этим словом было сказано все. Верность мне сохранили лишь Риклин и Медер. Но я предвидел свою будущую изоляцию и не питал никаких иллюзий относительно возможной реакции моих так называемых друзей. Я все тщательно обдумал заранее. Я знал, что на карту поставлено очень многое, что мне предстоит отстаивать свои убеждения в упорной борьбе. Я понимал, что глава «Жертва» будет означать принесение в жертву себя самого. Осознав все это, я смог продолжить работу над книгой, хотя и знал, что мои идеи не встретят понимания.

Оглядываясь назад, я могу сказать, что никто, кроме меня, не занимался логическим развитием идей, представлявших для Фрейда первоочередной интерес, а именно идей «архаических пережитков» и сексуальности. Широко распространено ошибочное мнение, будто я склонен к недооценке сексуальности. Она, однако же, играет в моей психологии значительную роль как существенное — хотя и не единственное — выражение психической целостности. Но моя основная задача состояла не в том, чтобы исследовать значение сексуальности в жизни отдельной личности и ее биологическую функцию; меня интересовал прежде всего ее духовный аспект, нуминозный смысл, который так захватил Фрейда, но которого он не сумел понять и объяснить. Мои мысли на данную тему содержатся в работах «Психология трансфера» и «*Mysterium Coniunctionis*» («Таинство соединения»). Сексуальность исключительно важна как выражение хтонического духа, являющегося «другим ликом» Бога, тем-

ной стороной образа Божьего. Проблема хтонического духа занимала меня с того времени, когда я сделал первые шаги в глубь мира алхимии. Но по существу мой интерес восходит к нашей с Фрейдом давней беседе, когда он немало озадачил меня, дав понять, до какой степени он захвачен феноменом сексуальности.

Самое большое достижение Фрейда, вероятно, состояло в том, что он выработал серьезное отношение к каждому пациенту-невротiku в отдельности и сумел глубоко постичь специфику его индивидуальной психологии. Ему хватило смелости позволить клиническому материалу говорить за себя, и благодаря этому он получил возможность действительно проникнуть в психологию пациентов. Он сумел, так сказать, посмотреть на мир глазами пациента и в итоге достиг более глубокого понимания душевной болезни, чем это было доступно кому бы то ни было до него. Тут он был откровенен, отважен и свободен от предубеждений. Подобно ветхозаветному пророку, он предпринял попытку низвергнуть старых богов, сорвать покрывало с огромных скоплений лжи и лицемерия, безжалостно открыв для всеобщего обозрения всю гнилость современной души. Он не испугался поставить на карту свою популярность. Импульс, данный им развитию нашей цивилизации, состоял в открытии пути, ведущего к бессознательному. Оценив сновидения как самый важный источник сведений о бессознательных процессах, он вернул человечеству инструмент, который, казалось, был уже безвозвратно утерян. Он эмпирически доказал существование бессознательной психической субстанции, которая до него выступала только в роли философского постулата, особенно в философии К. Г. Каруса и Эдуарда фон Гартмана.

Можно смело утверждать, что современное культурное сознание на общеполитическом уровне еще не усвоило идею бессознательного во всей полноте — несмотря на то, что с момента, когда современный человек столкнулся с этой идеей лицом к лицу, прошло уже полвека. Усвоение фундаментальной истины, гласящей, что психическая жизнь имеет два полюса, все еще остается задачей будущего.

6

Лицом к лицу с бессознательным



Hein

Wir waren 52 Jahre
hat über ihrem Ende
langen und furchtba
Leben um im baldig
barer Wein erhört
...tät, wie von i





После разрыва с Фрейдом для меня начался период внутренней неуверенности, если не сказать дезориентации. Мне казалось, что я подвешен в воздухе и мне не на что опереться. Прежде всего я испытывал необходимость выработать новое отношение к пациентам. Я решил до поры до времени не навязывать им никаких теоретических допущений, а вместо этого ждать, пока они сами, по своей воле, не расскажут о себе. Пациенты должны были спонтанно рассказывать мне свои сны и видения, а в мою задачу входило только спрашивать: «Что приходит вам на ум в связи с этим?», или: «Что это для вас значит, откуда это берется, что вы об этом думаете?» Толкования, казалось, сами собой вытекали из ответов и ассоциаций самих пациентов. Я всячески старался не цепляться за те или иные научные положения, а лишь помогал пациентам самостоятельно, без применения правил и теорий, прийти к пониманию образов, явившихся им во сне.

Вскоре я понял, что моя отстраненность — это лучшая исходная позиция для интерпретации снов: ведь сны даются нам именно как факты, от которых мы и должны отталкиваться. Естественно, следствия, вытекающие из применения подобного метода, настолько многообразны, что потребность в критерии — или, лучше сказать, в некоей исходной позиции — становилась все более и более настоятельной.

Примерно в то же время я испытал необычайное просветление и, воспользовавшись им, попытался оглянуться назад, на пройденный путь. Я подумал: «Ныне ты владеешь ключом к мифологии и можешь открывать все двери, ведущие в глубь бессознательной психической субстанции человека». Но потом

словно кто-то шепнул мне: «А нужно ли открывать все двери?» И тут же сам собой возник вопрос: чего же, собственно говоря, мне удалось достичь? Я объяснил мифы народов древности; я написал книгу о герое — о мифе, в котором человек жил всегда. Но в каком мифе живет человек сегодняшнего дня? «В христианском мифе» — мог бы прозвучать ответ. «Но живешь ли *ты* сам в этом мифе?» — спросил я себя и ответил: «Если быть честным — нет. Это не тот миф, в котором я живу». Христианский миф не был для меня важнейшей жизненной ценностью. «Так что ж, у человечества больше нет никакого мифа?» «Очевидно, у человечества и вправду больше нет никакого мифа». «Но в таком случае каков же твой миф — миф, в котором ты живешь?» Мой диалог с самим собой приобрел не совсем приятный оборот, и я прекратил думать на эту тему. Я зашел в тупик.

Позднее, примерно на Рождество 1912 года, мне приснился сон. Я увидел себя на роскошной итальянской лоджии с колоннами, мраморным полом и мраморной балюстрадой. Я сидел в золотом ренессансном кресле; против меня стоял стол редкостной красоты, сделанный из зеленого камня, похожего на изумруд. Итак, я сидел там и смотрел куда-то вдаль, так как лоджия была выстроена на вершине замковой башни. Мои дети также сидели за этим столом.

Внезапно с неба слетела прелестная белая птица — то ли небольшая чайка, то ли голубка — и села на стол. Я дал детям знак, чтобы они сидели тихо и ненароком не спугнули это прекрасное существо. Неожиданно птица превратилась в девочку лет восьми с золотыми волосами. Мои дети выбежали вместе с ней из-за стола и принялись играть между колоннами замка.

Я остался сидеть, размышляя о только что происшедшем. Маленькая девочка вернулась и нежно обвила ручонками мою шею. Вдруг она исчезла; вместо нее вновь появилась голубка, неторопливо заговорившая человеческим голосом: «Я могу превращаться в человеческое существо только ранней ночью, когда голубь-самец занят с двенадцатью мертвецами». Затем птица взлетела в голубое небо, и я проснулся.

Меня очень взволновала мысль: что это мог делать голубь-самец с двенадцатью покойниками? В связи с изумрудным столом мне в голову пришла история о *Tabula Smaragdina* из алхимической легенды о Гермесе Трисмегисте¹. О нем говорили, будто он оставил людям стол, на котором греческими письменами были выгравированы догматы алхимической премудрости.

1 Гермес Трисмегист (Трижды Величайший) — в верованиях поздней античности бог-покровитель тайного, эзотерического знания, объект особого почитания средневековых алхимиков.

Я подумал также о двенадцати апостолах, двенадцати месяцах года, знаках зодиака и т. п. Но я все равно не мог найти решения загадки. Наконец, я поневоле перестал ломать себе голову. Более или менее уверенно я мог утверждать лишь то, что сон указывал на необычную активизацию сферы бессознательного. Но я не знал способа, с помощью которого можно было бы постичь суть происходящих во мне процессов; и потому мне не оставалось ничего, кроме как ждать, жить дальше и по возможности внимательно относиться к собственным фантазиям.

Одна из фантазий повторялась постоянно: в ней мне являлось нечто мертвое, бывшее в то же время все еще живым. Например, в печах крематория лежали трупы; но когда печи открывали, обнаруживалось, что эти «трупы» живы. Эти фантазии достигли предела и одновременно нашли свое разрешение в сне, который я сейчас расскажу.

Я находился в каком-то месте наподобие Алискампа близ Арля (Южная Франция). Там есть целая улочка саркофагов, восходящих к эпохе Меровингов (V—VIII вв.). Во сне я шел из города и увидел перед собой такой же длинный ряд могил — пьедесталы с каменными плитами, на которых были расprostерты мертвецы. Они напомнили мне могильные склепы с лежащими в полном облачении каменными рыцарями, которые часто встречаются в старых церквях. Так лежали и мертвецы в моем сне — в старинных одеждах, со сложенными на груди руками; разница состояла в том, что они не были высечены из камня, а странным образом мумифицированы. Я молча стоял перед первой могилой и смотрел на мертвеца — человека тридцатых годов девятнадцатого столетия. Я с интересом разглядывал его одежду, как вдруг он ожил и убрал руки с груди; но это произошло только потому, что я на него смотрел. Мне стало не по себе, но я все-таки продолжил путь и подошел еще к одному телу. Это был человек восемнадцатого века. С ним случилось то же, что и с предыдущим покойником: стоило мне на него взглянуть, как он ожил и пошевелил руками. Так я прошел вдоль всего ряда, пока, наконец, не достиг двенадцатого века — крестоносца в кольчуге, лежавшего со скрещенными руками. Казалось, его фигура вырезана из дерева. Я смотрел на него довольно долго и в конце концов решил, что он и в самом деле умер. Но внезапно я увидел, как палец на его левой руке слегка шевельнулся.

Сон этот занимал меня очень долго. Естественно, поначалу я склонялся к фрейдовскому воззрению, согласно которому в бессознательном сохраняются следы опыта прошлого. Но сны, подобные рассказанному, так же, как и мой действительный опыт переживания бессознательного, приучили меня к мысли, что подобное содержание — не мертвая, устарелая форма; напротив,

оно принадлежит к самому существу нашей жизни. Моя работа подтвердила это предположение, из которого с течением лет развилась теория архетипов.

Сны, однако же, не помогли мне преодолеть ощущение дезориентации. Напротив, я словно продолжал жить под постоянным внутренним давлением. Время от времени оно усиливалось до такой степени, что я начинал подозревать в себе какое-то психическое расстройство. Поэтому я дважды внимательнейшим образом прошелся по всей своей жизни, обращая особое внимание на воспоминания детства: я подозревал, что в моем прошлом кроется нечто невидимое для меня, но могущее быть причиной расстройства. Но эта ретроспекция привела меня лишь к очередному признанию собственного невежества. В конце концов я сказал себе: «Поскольку я ничего об этом не знаю, остается просто-напросто делать то, что придет на ум». Таким образом, я сознательно подчинил себя импульсам, исходящим из бессознательного.

Первым делом на поверхность вышло детское воспоминание, относящееся, вероятно, к тому времени, когда мне было десять или одиннадцать лет. Тогда я страстно увлекался строительством разного рода сооружений из подручных материалов. Я хорошо помнил, как строил домики и замки, используя бутылки в качестве материала для крепостных стен и сводов. Позднее я стал пользоваться обычными камнями и грязью как скрепляющим раствором. Подобного рода строительство живо занимало меня долгое время. Я с удивлением обнаружил, что это воспоминание вызывает значительное эмоциональное оживление. «Вот оно что, — сказал я себе, — во всем этом, оказывается, еще теплится жизнь. Маленький мальчик все еще здесь, рядом, и живет творческой жизнью, которой мне так не хватает. Но как же найти путь к ней?» Ведь став взрослым, я утратил ощущение, что все еще могу пройти в обратном направлении путь, отделяющий меня одиннадцатилетнего от меня нынешнего. И все же я хотел восстановить связь со своим детством. У меня не было выбора, кроме как вернуться в детство и вновь зажечь детской жизнью с ее детскими играми. Это был поворотный момент в моей судьбе, но я уступил только после очень долгого внутреннего противодействия и с запоздалым чувством узнавания. Все же это болезненное, унижительное переживание — понять, что тебе не остается ничего, кроме как играть в детские игры.

Итак, я принялся собирать подходящие камни, выискивая их на берегу озера и в воде. Затем я начал строить: домики, замок, целую деревню. Церкви поначалу не было, но затем я выстроил квадратное здание с шестиугольным тимпаном и увенчал его квадратным куполом. Церковь нуждалась также в алтаре, но я все никак не мог решиться сделать его.

Озабоченный тем, как осуществить эту задачу, я, как обычно, бродил по берегу озера и подбирал камешки с усыпанного галькой берега. Внезапно мне на глаза попался камень красного цвета в форме четырехгранной пирамиды высотой около четырех сантиметров. Это был кусочек камня, отшлифованный водой — результат чистой случайности. Я сразу же понял: вот он, алтарь! Я поместил его в центре сооружения, под самым куполом, и тут же вспомнил фаллос из своего детского сна. Эту связь я отметил с большим удовольствием.

Каждый день после полудня, если позволяла погода, я брался за свое «строительство» и занимался им до прихода первых пациентов; кроме того, я возвращался к игре всякий раз, когда мне удавалось разделаться с работой достаточно рано. В процессе игры мои мысли прояснялись, и фантазии, присутствие которых я смутно ощущал в себе, становились доступны моему пониманию.

Естественно, я думал о значении своих действий и спрашивал себя: «Чем же, собственно, ты занимаешься? Ты строишь городок и делаешь это так, словно справляешь какой-то обряд!» Не умея объяснить себе смысл своих занятий, я лишь чувствовал внутреннюю уверенность, что нахожусь на пути к открытию собственного мифа. Ведь игра в строительство была лишь началом. Она освободила путь потоку фантазий, которые я впоследствии аккуратнейшим образом записал.

Подобные вещи происходили со мной постоянно; и в дальнейшем, стоило мне зайти в тупик, как я начинал рисовать картину или высекать изображение в камне. Каждое такое переживание оказывалось своего рода *rite d'entrée*¹ для идей и работ, вплотную следовавших за ним. Все, написанное мною в прошлом и настоящем, 1957 году — «Настоящее и будущее» («Gegenwart und Zukunft»), «Современный миф» («Ein moderner Mythos»), «О совести» («Über das Gewissen») — выросло из каменных скульптур, сделанных мною после смерти жены (последовавшей 27 ноября 1955 года). Закат, конец жизни и все связанные с ним мысли и ощущения жесточайшим образом выбили меня из колеи. Мне стоило огромных усилий вновь обрести почву под ногами, и работа над камнем во многом мне помогла.

К осени 1913 года давление, которое я дотоле ощущал как сугубо *внутреннее*, казалось, покинуло меня и как бы разлилось в воздухе. Я воспринимал окружающую атмосферу более мрачно, чем прежде. Мне чудилось, что чувство подавленности обусловлено уже не только психической ситуацией, но и состоянием

1 Вступительным обрядом (*франц.*).

окружающей действительности. Это ощущение постоянно усиливалось.

В октябре, когда я путешествовал один, без близких, мне внезапно явилось поразительное видение: чудовищное наводнение, затопившее весь европейский Север и продвигавшееся от Северного моря к Альпам. Когда вода достигла Швейцарии, горы начали расти ввысь, чтобы спасти нашу страну. Я понимал, что происходит ужасающая катастрофа. Я видел могучие желтые волны с плавающими в них обломками цивилизации и телами тысяч и тысяч утопленников. Затем вся вода обратилась в кровь. Это видение длилось около часа. Я долго не мог прийти в себя; отвращение смешалось во мне с чувством стыда, вызванным моей слабостью.

Через две недели видение повторилось в еще более выразительной и кровавой форме. Внутренний голос произнес: «Смотри на все это внимательно. Это вполне реально; именно так все и произойдет. Не сомневайся». Той зимой кто-то спросил меня, что я думаю о мировых политических перспективах на ближайшее будущее. Я ответил, что специально не размышлял на данную тему, но видел реки крови.

Поначалу я спрашивал себя, не означают ли эти видения революцию; но по существу мне не удавалось вообразить себе ничего подобного. В конечном счете мне осталось только сделать вывод, что они всецело являются моим собственным порождением, то есть что надо мной нависла угроза психоза. Мысль о войне вообще не приходила мне в голову.

Несколько позднее, весной и ранним летом 1914 года — точнее говоря, в апреле, мае и июне, — мне трижды приснился сон о том, как в разгар лета накатила волна арктического холода и покрыла землю льдом. В частности, я видел, что вся Лотарингия, с ее каналами, покрылась льдом и обезлюдела. Вся растительность была уничтожена холодом.

В третьем сне страшный холод ударил снова, на этот раз из космоса. Этот сон, однако же, имел неожиданную концовку. Я увидел зеленое дерево без плодов (я сразу же подумал о своем древе жизни), листья которого под действием мороза превратились в сладкие гроздья, наполненные целебным соком. Я сорвал их и дал огромной жаждущей толпе.

В конце июля 1914 года я получил приглашение в Абердин, на конгресс, организованный Британской Медицинской Ассоциацией; там мне предстояло выступить с докладом на тему «О значении бессознательного в психопатологии». Я был подготовлен к тому, что надвигаются некие события, поскольку видения и сны, подобные моим, обязательно содержат в себе роковой элемент. В моем тогдашнем душевном состоянии, пресле-

дуемый страхами, я усматривал действие рока в том, что именно теперь мне предстояло говорить о важности бессознательного.

Первого августа разразилась мировая война. Теперь моя задача стала ясна: мне предстояло понять, что произошло и до какой степени мой собственный опыт совпадает с опытом человечества в целом. Значит, моя первоочередная обязанность состояла в исследовании глубин собственной души. Я начал с письменной фиксации фантазий, являвшихся мне во время игры в строительство. Это занятие приобрело для меня в высшей степени существенное значение.

Когда фантазии полились непрерывным потоком, мне ничего не оставалось, кроме как сохранять ясность ума и стараться их понять. Беспомощный, я стоял на пороге чуждого мира; все в нем казалось непостижимым. Я жил в постоянном напряжении; часто у меня возникало ощущение, будто на меня падают гигантские глыбы. Бури следовали одна за другой. Выдержать этот натиск мне могла помочь только грубая сила. Многих — в том числе Ницше и Гельдерлина — он смял и уничтожил. Но во мне была какая-то демоническая сила, и с самого начала я не сомневался, что найду смысл того, что переживаю в этих фантазиях. Подвергаясь атакам со стороны бессознательного, я ни на мгновение не терял уверенности, что подчиняюсь высшей воле; и это чувство продолжало поддерживать меня, пока я, наконец, не осознал задачу и не подчинил ее себе полностью.

Иногда мои нервы расходились до такой степени, что контролировать свои эмоции я мог лишь с помощью йоги. Но поскольку моя задача состояла в познании происходящего внутри меня, я прекращал упражнения в тот самый момент, когда наступавшее относительное спокойствие позволяло мне продолжать работу с бессознательным. Стоило мне вновь почувствовать себя самим собой, как я переставал сдерживать эмоции и позволял образам и внутренним голосам говорить дальше. Что же касается индусов, то они занимаются йогой как раз для полного преодоления множественности психического содержания и образов, порождаемых психической субстанцией.

Поскольку мне удавалось переводить эмоции в образы — то есть обнаруживать образы, скрытые в эмоциях, — я достигал внутреннего успокоения и уверенности в себе. Если бы я позволил этим образам скрываться за эмоциями, они, возможно, разорвали бы меня в клочья. Возможно, я мог бы просто расщепить их и отделаться от них по частям; но в этом случае я неизбежно впал бы в невроз, так что в конце концов они бы меня все равно уничтожили. В итоге моего эксперимента над собой я понял, насколько полезным с терапевтической точки зрения может быть обнаружение тех особенных образов, которые кроются за эмоциями.

Я записывал свои фантазии со всей доступной мне тщательностью и каждый раз серьезнейшим образом анализировал психические условия их возникновения. Но я мог делать все это только на очень неуклюжем языке. Вначале я формулировал то, что видел, на высокопарном языке, соответствующем стилю архетипов. Ведь последние пользуются для самовыражения высокой, если не сказать напыщенной риторикой. Такой стиль меня коробит; он действует мне на нервы, как звук, раздающийся, когда кто-то царапает ногтем оштукатуренную стену или водит лезвием ножа по тарелке. Но поскольку я не знал сути происходящего, мне оставалось только записывать все в стиле, избранном самой сферой бессознательного. Иногда мне казалось, что я слышу это своими ушами, иногда я ощущал это своим ртом, словно язык мой сам формулировал слова; время от времени я неожиданно слышал собственный шепот. Под порогом сознания вибрировала интенсивная жизнь.

С самого начала я решил, что, вступая в контакт с собственным бессознательным, я ставлю на себе эксперимент, в результатах которого жизненно заинтересован. Теперь я вижу, что это действительно был научный эксперимент. Сложнее всего было справиться с собственными негативными чувствами. Я умышленно подчинял себя действию эмоций, которые никоим образом не были мне приятны, и записывал фантазии, часто удивлявшие меня своей бессмысленностью и вызывавшие у меня активное сопротивление. Пока мы не понимаем смысла подобных фантазий, они кажутся нам дьявольской смесью возвышенного и смешного. Мне они очень дорого обошлись, но то был вызов судьбы. Лишь ценой невероятных усилий я в конце концов сумел выкарабкаться из этого лабиринта.

Я знал, что смогу уловить смысл рождающихся в «подполье» моей души фантазий, только если самозабвенно, с головой, погружусь в них. Но эта перспектива рождала во мне не только активное противодействие, но и явный страх. Я боялся потерять контроль над собой и стать жертвой игры воображения — а как психиатр я слишком хорошо представлял себе, что это значит. После продолжительных колебаний, однако, я убедился, что иного пути нет. Я должен был использовать свой шанс и постараться овладеть собственными фантазиями: ведь я понимал, что если не сделаю этого, они овладеют мной. В необходимости предпринять эту попытку меня убедило еще и следующее соображение: не приходится ожидать от пациентов того, на что я не могу решиться сам. Утешительная мысль, будто целитель так или иначе находится на стороне пациентов, не выдерживала критики: ведь я прекрасно сознавал, что никакой так называемый целитель — то есть, в данном случае, я сам — не сможет им помочь, если не познает материал их фантазий на собственном

опыте; но пока этот «целитель» не мог похвастать ничем, кроме немногих теоретических предрассудков сомнительной ценности. Мысль о том, что я подвергаю себя опасному эксперименту не только ради собственных интересов, но и ради пациентов, несколько раз помогала мне в самые критические минуты.

Решающий шаг я сделал во время рождественского поста 1913 года, 12 декабря. В этот день я в очередной раз сидел и размышлял за письменным столом. И тут я позволил себе провалиться. Ощущение было такое, будто земля буквально расступилась у меня под ногами, и я полетел в какие-то мрачные глубины. Меня охватила страшная паника. Но вскоре, на сравнительно небольшой глубине, я внезапно приземлился; ощутив под ногами мягкую, липкую массу, я почувствовал большое облегчение — даже несмотря на окружающую меня кромешную тьму. Через недолгое время мои глаза привыкли к мраку, который теперь стал напоминать скорее глубокие сумерки. Передо мной был узкий вход в темную пещеру; сразу за порогом стоял карлик с задубелой, как у мумии, кожей. Я проник внутрь, прошел мимо карлика и, оказавшись по колено в ледяной воде, достиг противоположного края пещеры, где на выступающем из воды валуне увидел светящийся красный кристалл. Я взял камень в руки и обнаружил под ним впадину. Поначалу я ничего не понимал, но затем увидел, что там течет вода. По поверхности воды плыл труп молодого человека с белокурыми волосами и раной во лбу. За ним последовал огромный черный скарабей, а затем — красное, новорожденное солнце, как бы восходящее из глубины вод. Слепленный светом, я захотел было вернуть камень на место, как вдруг наружу хлынула какая-то жидкость. Это была кровь! Вверх брызнула мощная струя крови, вызвавшая у меня приступ тошноты. Мне казалось, что кровь продолжала бить ключом бесконечно долго, но в какой-то момент поток все же иссяк, и мое видение на этом кончилось.

Эта картина глубоко потрясла меня. Конечно, я понял, что в ней фигурировали герой и солнечный миф, драма смерти и обновления, повторное рождение, символом которого служит египетский скарабей. В конце должна была появиться заря нового утра, но вместо нее последовал этот невыносимый поток крови, показавшийся мне чем-то совершенно аномальным. Но потом я вспомнил кровавое видение, явившееся мне осенью того же года, и отказался от дальнейших попыток что-либо понять.

Спустя шесть дней (то есть 18 декабря 1913 года) мне приснился следующий сон. Вместе с темнокожим незнакомцем, по виду дикарем, я находился в какой-то безлюдной скалистой местности. Занималась утренняя заря; на востоке небо слегка посветлело, а звезды постепенно меркли. Затем я услышал разносящееся по горам эхо Зигфридова рога и понял, что мы долж-

ны убить Зигфрида. Вооруженные винтовками, мы ждали его, притаившись на узкой тропинке среди скал.

В первых лучах утреннего солнца на вершине самой высокой горы появился Зигфрид. С головокружительной скоростью он гнал по склону горы прямо в пропасть колесницу из костей мертвецов. Когда он повернул за угол, мы выстрелили в него, и он упал замертво.

Испытывая отвращение к самому себе и угрызения совести из-за того, что уничтожил нечто столь величественное и прекрасное, я пустился бежать в страхе, что убийство может быть раскрыто. Но тут начался страшный ливень, и я понял, что он смоем все следы. Я избежал опасности разоблачения; но хотя я мог продолжать спокойно жить дальше, меня не покидало невыносимое чувство вины.

Проснувшись, я долго обдумывал свой сон, но мне никак не удавалось его понять. Я попытался заснуть снова, как вдруг внутренний голос сказал мне: «Ты должен понять этот сон, и притом немедленно!» Он настойчиво твердил свое, пока наконец не настал жуткий момент, когда он сказал: «Если ты не способен понять собственный сон, ты должен застрелиться!» В ящике тумбочки лежал заряженный револьвер, и меня охватил страх. Я стал размышлять вновь, и вдруг меня озарило. Я догадался, что в моем сне была разыграна основная проблема современного мира. Зигфрид представлял собой то, чего хотят добиться немцы — нация, которая героически пытается идти собственным путем и хочет навязать свою волю другим. «Где воля, там и путь!» Мне хотелось того же. Но теперь это стало невозможно. Сон показал, что позиция Зигфрида, героя, мне больше не подходит. Значит, его нужно было убить. После этого деяния я испытал чувство всепоглощающего сострадания, словно мне пришлось застрелить себя самого. Это был знак моей тайной тождественности Зигфриду, а также той скорби, которую испытывает человек, вынужденный жертвовать своим идеалом и жизненной установкой. Мне следовало отказаться от отождествления себя с Зигфридом, равно как и от героического идеализма: ведь существуют вещи более высокие, чем воля человеческого «Я», и мне остается только смиренно подчиниться им. Чувствуя, что пищи для размышлений пока достаточно, я снова уснул.

Маленький темнокожий дикарь, сопровождавший меня и сыгравший ведущую роль в убийстве, был воплощением первобытной «тени»¹. Дождь служил показателем того, что напряжение между сознанием и бессознательным разрешилось. Хотя в то время я еще не был в состоянии проникнуть в смысл сна на

1 См. Глоссарий.

должную глубину, во мне пробудились новые силы, которые помогли мне завершить мой эксперимент с бессознательным.

Чтобы приручить собственные фантазии, я часто представлял себе крутой спуск. Несколько раз я даже пытался достичь самого дна. Поначалу я спустился, условно говоря, на глубину около трехсот метров, но во второй раз я оказался на краю космической бездны. Это было похоже на путешествие на Луну или на спуск в пустоту. Вначале появилось видение кратера, и у меня возникло ощущение, будто я нахожусь в стране мертвых. Окружающее явно принадлежало иному миру. Близ крутого скалистого склона я увидел две фигуры: седобородого старца и красивую девушку. Преодолевая робость, я подошел к ним, словно они были реальными людьми, и внимательно выслушал их слова, обращенные ко мне. Старец поразил меня до глубины души, объяснив, что он — пророк Илия. Но девушка поразила меня еще больше, ибо она назвалась Саломеей! Она была слепа. Вот так странная пара: Саломея и Илия! Но Илия уверял меня, что он и Саломея принадлежали друг другу вечно, и это совершенно выбило меня из колеи. С ними была черная змея, определенно испытывавшая ко мне симпатию. Я старался держаться поближе к Илию: он казался мне наиболее разумным из этой троицы. Саломея же внушала мне подозрение. Между Илией и мной произошел долгий разговор, которого я, однако же, не понял.

Пытаясь найти объяснение появлению библейских фигур в видении, рожденном моей фантазией, я, естественно, вспомнил, что мой отец был священником. Но это ничего не объясняло. Что означал старец? Что означала Саломея? Почему они были вместе? Лишь много лет спустя, когда мои познания были значительно богаче, связь между старцем и девушкой стала представляться мне абсолютно естественной.

В подобных воображаемых странствиях человек часто встречает старца, сопровождаемого юной девушкой; образцы таких пар можно обнаружить в многочисленных мифах. Так, согласно гностической традиции¹, Симон волхв² странствовал с молодой блудницей, которую он подобрал в блудилище. Ее звали Еленой; она считалась новым воплощением троянской Елены Прен-

1 Гностиками называют последователей раннесредневековых ересей, согласно которым мир является творением не всеблаготворного Бога, а низших, злых сил. Бог мыслится как высшее существо, отвлеченное от дел мира; но через обретение мистического знания (гносиса) человек способен достичь единения с Богом. На общефилософском уровне еретичность гностицизма состояла в признании за мировым злом самостоятельного онтологического статуса.

2 Симон волхв (или Симон маг) упомянут в Новом Завете (Деяния, 8); впоследствии стал героем многочисленных раннесредневековых легенд.

красной. К этой же категории принадлежат Клингзор и Кундри¹, Лао-Цзы² и танцовщица.

Я уже говорил, что, помимо Илии и Саломеи, в моей фантазии был и третий персонаж: огромный черный змей. В мифах змей часто служит двойником героя. Существует множество свидетельств их родства. Например, глаза героя могут быть похожи на глаза змея, после смерти герой может превратиться в змея и в этом виде стать объектом поклонения, он может быть рожден змеей и т. д. Таким образом, присутствие змея в моей фантазии указывало на миф о герое.

Саломея — это фигура анимы. Она слепа, поскольку не видит истинного смысла вещей. Илия — это фигура мудрого старого пророка; в нем персонифицировано начало ума и знания, тогда как в Саломее — эротическое начало. Можно было бы сказать, что эти две фигуры являются, соответственно, воплощениями Логоса и Эроса. Но это определение грешит излишней интеллектуальностью. Более осмысленным кажется видеть в этих фигурах то, чем они были для меня в то время, — события и переживания моей внутренней жизни.

Вскоре после этой фантазии из бессознательного явилась другая фигура, развившаяся из фигуры Илии. Я назвал ее Филеомом³. Филеом был язычником и внес в общую атмосферу египетско-греческий элемент с гностическим оттенком. Эта фигура впервые явилась мне в следующем сне.

Небо, синее как море, было покрыто не облаками, а однообразными бурыми комьями земли. Казалось, комья распадаются, и сквозь разломы виднеется синяя морская вода. Но это в действительности не вода, а синее небо. Внезапно справа появилось плывущее по небу крылатое существо. Я различил в нем старца с бычьими рогами. Он держал в руке связку из четырех ключей, причем один из ключей сжимал так, словно собирался открыть им какой-то замок. У него были крылья зимородка; я узнал их по характерной окраске.

Поскольку этот явившийся во сне образ оставался мне непонятен, я нарисовал его, чтобы лучше запечатлеть в памяти. Как раз в дни занятий рисованием я обнаружил в своем саду, у берега озера, мертвого зимородка! Я был потрясен, так как зимородки в окрестностях Цюриха очень редки, и до тех пор мне не приходилось видеть их мертвыми. Судя по всему, птица умер-

1 Персонажи средневековой германской легенды о Парсифале.

2 Полулегендарный китайский философ VII—VI в. до н. э., основоположник мистической доктрины даосизма.

3 Имеется в виду персонаж греческого мифа о благочестивых супругах Филемоне и Бавкиде; за оказанное Зевсу и Гермесу гостеприимство боги наградили их долголетием и позволили умереть в один день. Филеом и Бавкида — персонажи 5-го акта второй части «Фауста» Гете.

ла за два или три дня до того, как я ее нашел; на трупике не было никаких внешних повреждений.

Благодаря Филемону и другим фигурам моих фантазий мне удалось уяснить важнейшую истину: в психической субстанции есть вещи, не порождаемые мной, но порождающие себя сами и живущие собственной жизнью. Филемон представлял силу, которая не была мною. В моих фантазиях я беседовал с ним, и то, что он говорил, не принадлежало к числу моих осознанных мыслей. Мне было совершенно ясно, что говорящий — он, а не я. По его словам, я отношусь к мыслям так, словно порождаю их сам, но с его точки зрения мысли подобны животным в лесу или людям в комнате, или птицам в воздухе. Он добавлял: «Видя людей в комнате, ты же не думаешь, что сотворил их сам или несешь ответственность за их существование». Именно он внушил мне понятие о психической объективности, о реальном существовании психической субстанции. Благодаря ему прояснилось различие между мной и объектом моей мысли. Он противостоял мне как независимая объективная реальность; я понял, что во мне есть нечто, способное говорить вещи, которых я не знаю и которые даже могут быть направлены против меня.

Психологически Филемон представлял высшую проникаемость. Он был для меня таинственной фигурой. Временами он казался мне совершенно реальным, настоящим живым существом. Я прогуливался вместе с ним по саду, и для меня он был тем, что индусы называют «гуру».

Любые признаки новой персонификации я воспринимал почти как личное поражение. Я думал: «Вот пожалуйста, еще что-то такое, чего ты до сих пор не знал!» Меня охватывал ужас при мысли о том, что подобные фигуры могут составить бесконечный ряд, и я потеряюсь в бездонной пропасти собственного невежества. Мое «Я» чувствовало себя обесцененным — даже несмотря на то, что успехи в мирских делах вполне могли бы вернуть мне уверенность в собственных силах. В поглотившей меня тьме (*horridas nostrae mentis purga tenebras* — «очисти страшную тьму нашего ума», говорится в книге «Восходящая заря»¹) я не мог пожелать себе ничего лучшего, нежели реального, живого гуру, обладателя высшего знания и умения, способного избавить меня от невольных порождений моего воображения. Эту задачу выполнял Филемон, которого я волей-неволей признал проводником своей души — психагогом. И действительно, он внушил мне множество вдохновляющих, светлых мыслей.

Спустя пятнадцать с лишним лет меня посетил высокообразованный пожилой индус, друг Ганди, и мы с ним беседовали

1 «Восходящая заря» (*Aurora Consurgens*) — алхимический трактат, приписываемый св. Фоме Аквинскому (XIII в.).

об индийской системе обучения, в том числе о взаимоотношениях между гуру и учеником. Когда я робко попросил его рассказать мне что-нибудь о его собственном гуру, он по-деловому сообщил: «Да, да, моим гуру был Шанкарачарья». Я спросил:

— Нужно ли понимать вас так, что вы говорите о комментаторе «Вед», умершем много веков назад?

— Да, именно, — ответил он к моему великому изумлению.

— Значит, вы имеете в виду дух?

— Конечно, это был его дух.

В этот момент я подумал о Филемоне.

— Гуру-духи также существуют, — добавил он. — Большинство людей имеет живых гуру. Но у кого-нибудь непременно есть учитель-дух.

Эта информация меня одновременно просветила и успокоила. Очевидно, в свое время я вовсе не был исторгнут из человеческого мира, а просто испытал нечто такое, что случается и с другими людьми, делающими над собой аналогичные усилия.

Позднее Филемон стал соотноситься с вновь возникшей фигурой, которую я назвал Ка. В древнем Египте «царским Ка» называли земную форму царя, его воплощенный дух. В моем воображении Ка-дух происходил из низшей сферы, из земли, как бы из глубокой шахты. Я нарисовал его в виде идола с каменным основанием и бронзовой верхней частью, таким образом изобразив его неотделимость от земли. В верхней части картины было крыло зимородка, а между ним и головой Ка находилась округлая, сияющая звездная туманность. В выражении лица Ка было нечто демоническое — можно сказать мефистофельское. В одной руке он держал некое подобие раскрашенной пагоды или раки для мошей, а в другой — резец, которым он работал над ракой. Он говорил: «Я тот, кто хоронит богов в золоте и драгоценных камнях».

Хоть и хромой, Филемон был крылатым духом, тогда как Ка представлял собой род земного или «металлического» демона. Филемон воплощал духовный аспект, или «смысл». С другой стороны, Ка был духом природы, наподобие антропарииона греческих алхимиков, о котором я в то время еще ничего не знал¹. Ка был тем, кто создал все реальное, но также затемнил, затуманил безмятежный дух-Смысл или заменил его Красотой, «вечным Отражением».

1 Антропариион — это карликовый человек, род гомункулуса. Он присутствует, в частности, в видениях Зосима Панополитанского, алхимика III века. К группе, включающей антропарииона, принадлежат также гномы, дактилы классической древности и гомункулусы алхимиков. В качестве духа ртути Меркурий алхимиков также был антропариионом. (Прим. А. Яффе.)

С течением времени, благодаря изучению алхимии, я смог интегрировать эти две фигуры.

Записывая свои фантазии, я как-то спросил себя: «Чем же, собственно говоря, я занимаюсь? Все это явно не имеет ничего общего с наукой. Но в таком случае что это?» И тут голос внутри меня ответил: «Это искусство». Я был удивлен. Мне никогда не приходило в голову, что мое писание имеет нечто общее с искусством. Тогда я подумал: «Может быть, мое бессознательное формирует внутри себя какую-то особую личность, которая, не будучи мною, всячески настаивает на том, чтобы выразить себя». Я был совершенно уверен, что голос принадлежал женщине. Я распознал его как голос одной из моих страдающих психопатией пациенток, талантливой женщины, испытывавшей ко мне сильно выраженный трансфер. В моем внутреннем мире она стала самостоятельным, живым образом.

Очевидно, то, чем я занимался, не было наукой. Чем еще могло оно быть, если не искусством? Получалось, что альтернативы не существует. Именно так работает женский ум.

Я твердо ответил этому голосу, что мои фантазии не имеют ничего общего с искусством, и ощутил сильное внутреннее сопротивление. Но голос молчал, и я продолжал писать. Затем наступил новый приступ, и вновь то же утверждение: «Это искусство». На этот раз я удержал ее и сказал: «Нет, это не искусство! Совсем наоборот, это природа». Я приготовился выдержать длительный спор, но ничего не происходило, и я решил, что «женщина внутри меня» не имеет тех речевых центров, которые имею я. И я подсказал ей, чтобы она воспользовалась моим речевым центром. Последовав моему совету, она выступила с длинной речью.

Я был немало заинтригован тем фактом, что женщина может противоречить мне изнутри меня же самого. Я сделал вывод, что она, должно быть, представляет собой «душу» в первобытном смысле, и принялся размышлять над причинами, побудившими назвать душу «анимой», то есть существительным женского рода. Почему душа мыслится в женском роде? Позднее я убедился, что эта скрывающаяся внутри психической субстанции женская фигура играет типическую — или архетипическую — роль в бессознательном мужчины, и обозначил ее термином «анима». Соответствующую фигуру в бессознательном женщины я назвал «анимусом»¹.

Поначалу наибольшее впечатление на меня произвел негативный аспект анимы. Я испытывал перед ней робость, как перед чьим-то невидимым присутствием. Затем я попробовал от-

1 Подробнее о понятиях «анима» и «анимус» см. Глоссарий.

нестись к ней по-другому и рассмотреть записи моих фантазий как письма, обращенные к аниме, то есть к той части меня самого, которая имеет иную, по сравнению с моим сознанием, точку зрения. И я получал от нее удивительные и неожиданные ответы. Я был похож на пациента, анализируемого призраком женщины! Каждый вечер я самым добросовестным образом занимался писанием: мне казалось, что если я не буду писать, моя анима не сможет воспринять мои фантазии. Кроме того, записывая фантазии, я лишал аниму возможности исказить их и использовать как материал для интриг. В этом отношении существует громадная разница между простым намерением что-то рассказать и записью рассказа. В моих записях я стремился быть как можно более честным с самим собой, следуя древней греческой максиме: «Отдай все, что у тебя есть, и получишь сполна».

Лишь постепенно я начал постигать разницу между моими собственными мыслями и тем, что сообщал мне голос. Когда возникало нечто банальное, я говорил себе: «Совершенно верно, я так думал или чувствовал в то или иное время, но я не обязан думать и чувствовать так сейчас. Мне нет нужды связывать себя с этим на веки вечные; к чему такое самоуничтожение?»

Из всего этого вытекает различие между сознанием и содержанием бессознательного. Элементы последнего надо, так сказать, изолировать, и легче всего это сделать, персонифицируя их и вступая с ними в контакт через сознание. Только так можно лишить их власти, которую они в противном случае приобретают над сознанием. Персонифицировать их не слишком трудно, так как они всегда обладают определенной степенью самостоятельности. Другое дело, что с самим фактом этой автономности элементов собственного бессознательного крайне сложно примириться; но здесь-то и кроется возможность «наладить отношения» с бессознательным.

В реальной жизни пациентка, чей голос говорил во мне, была способна оказывать роковое влияние на судьбу мужчин. Ей удалось убедить одного моего коллегу в том, что он — непризнанный художник. Он ей поверил и потерпел крах. А почему? Потому что он в жизни искал не собственного одобрения, а одобрения других. А это опасно. Такая позиция делает человека более доступным для инсинуаций анимы; ведь то, что она говорит, часто бывает наделено соблазнительной силой и бездонной хитростью. Если бы я согласился воспринимать собственные бессознательные фантазии как искусство, они обладали бы для меня не большей убедительностью, нежели любые визуальные впечатления — как, например, кино. Я бы не испытывал по отношению к ним никаких моральных обязательств. В этом случае анима с легкостью могла бы ввести меня в соблазн и заставить поверить, что я непризнанный художник и моя так называемая

художественная натура дает мне право пренебрегать реальностью. Если бы я слушался ее голоса, она, по всей вероятности, в один прекрасный день сказала бы мне: «Неужели ты воображаешь, что та бессмыслица, которой ты занят, действительно искусство? Ничего подобного!» Вкрадчивые, соблазнительные намеки анимы — этого, так сказать, рупора бессознательного — могут до конца разрушить человеческую личность. В конечном счете, решающим фактором всегда является сознание, способное понять проявления бессознательного и занять по отношению к ним определенную позицию.

Но аниме свойствен также и позитивный аспект. Именно она сообщает образы бессознательного сознанию, и как раз за это я ее главным образом и ценил. Многие десятилетия я неизменно обращался к аниме, когда чувствовал, что мое эмоциональное поведение нарушено, и в сфере бессознательного оформилось нечто, дотоле мне неизвестное. Тогда я спрашивал свою аниму: «Что это ты затеяла? Что ты видишь? Мне хотелось бы это знать». После недолгого сопротивления она обязательно порождала некий образ, после чего беспокойство или подавленность сразу же исчезали. Вся энергия этих эмоций переходила в интерес к порожденному анимой образу. Я говорил с анимой об образах, которые она сообщала мне, поскольку должен был постичь их по возможности глубоко — так же, как и сны.

Ныне я больше не нуждаюсь в подобных беседах с анимой, потому что у меня больше не бывает таких переживаний. Но если бы они у меня случались, я поступал бы так же, как прежде. Ныне я осознаю идеи анимы непосредственно, поскольку научился воспринимать содержание бессознательного и понимать его. Я знаю, как мне следует вести себя по отношению к образам, возникающим внутри меня. Я могу вычитывать их значение прямо из сновидений и поэтому больше не нуждаюсь в посреднике между ними и собой.

Вначале я записывал свои фантазии в Черную книгу, позднее же перенес их в Красную книгу, которую также украсил рисунками¹. В нее вошла большая часть моих изображений мандалы. В Красной книге я пытался дать эстетическую разработку своих фантазий, но так и не завершил ее. В какой-то момент я осознал, что пока не нашел адекватный язык и все еще вынужден поль-

1 Черная книга состоит из шести небольших записных книжек в кожаных переплетах. Красная книга — большой фолиант в красном кожаном переплете, содержащий те же фантазии, изложенные в тщательно разработанной литературной форме, изысканным языком, и записанные каллиграфическим готическим шрифтом в манере средневековых рукописей. (Прим. А. Яффе.)

зоваться каким-то несовершенным заменителем. Поэтому я вовремя отказался от стремления к эстетизации, чтобы более последовательно направить свои усилия на понимание. Я понял, что такое изобилие фантастического материала требует твердой почвы под ногами и, значит, мне нужно прежде всего вернуться к действительности. Для меня «действительность» означала научное понимание. Мне предстояло сделать конкретные выводы из интуитивных озарений, явившихся мне из сферы бессознательного — и эта задача стала для меня делом жизни.

По иронии судьбы я, врач-психиатр, в течение своего эксперимента должен был чуть ли не на каждом шагу сталкиваться с тем самым психическим материалом, который свойствен психозам и встречается у больных. Именно наплыв бессознательных образов такого рода наносит фатальный удар равновесию душевнобольного. Но тот же фонд бессознательных образов служит и матрицей для мифотворческого воображения, исчезнувшего из обихода нашей рациональной эпохи. Хотя это воображение присутствует повсеместно, оно табуировано и внушает страх — так что решиться пойти по неверной дороге, ведущей в глубины бессознательного, кажется рискованным экспериментом или сомнительной авантюрой. Эту дорогу считают дорогой ошибок, отклонений и непонимания. Я вспоминаю слова Гете: «Дерзни же настезь распахнуть ворота, / Куда никто с охотой не вступал»¹. Да и вторая часть «Фауста» также представляет собой нечто большее, нежели чисто литературное упражнение. Это — звено в Золотой цепи², тянущейся от истоков философской алхимии и гностицизма вплоть до ницшевского «Заратустры». Непопулярная, двусмысленная и опасная, Золотая цепь ведет к открытию другого полюса мира.

Когда я работал над своими фантазиями, я испытывал особенно острую потребность в том, чтобы найти точку опоры в нашем, посюстороннем мире; и я могу сказать, что обрел ее в семье и профессиональной деятельности. Для меня важнее всего было жить нормальной жизнью в реальном мире и, таким образом, обеспечить некий противовес этому странному и чуждому внутреннему миру. Семья и работа оставались основой, к которой я всегда мог возвратиться, вновь и вновь обретая уверенность в том, что я существую как обычный, нормальный человек. Содержание бессознательного могло сколько угодно нарушать мое душевное равновесие. Но у меня было знание того, что

1 «Фауст», часть 1 (строки даны в переводе Д. Лахути).

2 В алхимической традиции Золотой цепью (*Aurea catena*) называли ряд великих мудрецов, начиная с Гермеса Трисмегиста, соединяющий землю с небом. (*Прим. А. Яффе.*)

я являюсь обладателем медицинского диплома швейцарского университета, что я должен помогать своим пациентам, что у меня есть жена и пятеро детей, что я живу по адресу: Кюснахт, Зеештрассе, 228; все это были реалии, предъявлявшие ко мне определенные требования и своим существованием постоянно доказывавшие мне, что я также действительно существую, что я не чистый листок, безвольно кружащий в вихре духа, подобно Ницше. Ницше утратил почву под ногами, потому что не владел ничем, кроме мира собственных мыслей — который, кстати, владел им в значительно большей степени. Он был с корнем вырван из земли и парил над ней, и именно поэтому не мог не впасть в преувеличения и не поддаться власти фантастических представлений о действительности. Для меня же такая ирреальность была квинтэссенцией ужаса, ибо я имел в виду прежде всего этот мир, эту жизнь. Как бы глубоко я ни погружался в свои переживания и как бы ни метался я под их напором, мне всегда было известно, что они в конечном счете направлены на эту мою реальную жизнь. И я стремился выполнить все ее требования и осуществить ее смысл. Моим девизом было: *Hic Rhodus, hic salta!*¹

Таким образом, мои семья и профессиональная деятельность всегда были для меня счастливой реальностью и гарантией нормального существования.

Постепенно во мне стала совершаться внутренняя перемена. В 1916 году я испытал острую потребность в некоем оформлении. Какая-то внутренняя сила побуждала меня сформулировать и выразить то, что мог бы мне сказать Филемон. Так на свет родились «*Septem Sermones ad Mortuos*» («Семь проповедей мертвецам») с их своеобразным языком.

Все началось с какого-то беспокойства, но я не знал, что оно означало, или чего «они» хотели от меня. Меня окружала какая-то зловещая атмосфера; у меня было странное ощущение, будто воздух полон призрачных существ. Казалось, они поселились в моем доме. Моя старшая дочь видела, как по комнате прошла белая фигура. Моя вторая дочь, независимо от своей старшей сестры, заметила, что в течение ночи кто-то дважды срывал с нее одеяло. В ту же ночь моему девятилетнему сыну приснился кошмар. Утром он попросил у матери цветные карандаши и

1 Здесь Родос, здесь прыгай! (*лат.*) Эта вошедшая в широкий обиход фраза взята из Плутарха, где она встречается в следующем контексте: некий человек, хвастаясь перед земляками, рассказывает, будто на острове Родос он как-то прыгнул так далеко, что поверг в изумление местных жителей. В свидетели он готов призвать родосцев. На это один из слушателей отвечает: «Если то, что ты говоришь, правда, нет нужды обращаться к свидетелям. Представь себе, что здесь Родос, здесь и прыгай».

зарисовал собственный сон — при том, что прежде он не выказывал никакой склонности к рисованию. Свой рисунок он назвал «Рыболов». Посреди рисунка была изображена река, а сам рыболов с удочкой стоял на берегу. Он только что поймал рыбу. На голове рыбака была печная труба, из которой вырывались языки пламени и валил дым. С того берега реки к рыбаку по воздуху летел дьявол. Он злился, потому что у него украли рыбу. Но над головой рыболова парил ангел, говоривший: «Ты ничего не можешь с ним сделать; ведь он ловит только дурную рыбу!»

Мой сын нарисовал эту картину в субботу. В воскресенье, примерно в пять часов пополудни, звонок у нашей входной двери залился неумолчным звоном. Стоял ясный летний день; две наши горничные находились в кухне, откуда можно было видеть открытую площадку перед входной дверью. Все тут же бросились смотреть, кто пришел, но никого не было. Я сидел совсем близко от звонка и не просто слышал его, но и видел, как дрожит его язычок. Мы в недоумении уставились друг на друга. В воздухе — я не преувеличиваю! — разлилась какая-то тяжесть. Затем я понял, что вот-вот что-то произойдет. Дом был переполнен, словно в нем собралась целая толпа; он буквально кишел призраками. Они сосредоточились прямо над дверью, и воздух отяжелел настолько, что стало трудно дышать. Я весь содрогался от безмолвного вопроса: «Ради Бога, что все это значит?» И вдруг они хором закричали: «Мы возвращаемся из Иерусалима, где не нашли того, что искали». С этих слов и начинаются «Семь проповедей».

В течение трех вечеров я изливал все накопившееся на бумагу, и, наконец, работа была готова. Стоило мне взяться за перо, как призраки рассеялись. В комнате стало спокойно, атмосфера очистилась. Дом освободился от непрошенных жильцов.

Это переживание нужно воспринимать таким, каково оно есть или каким кажется. Несомненно, оно было связано с моим тогдашним эмоциональным состоянием, способствовавшим появлению парапсихологических феноменов. Это была рожденная сферой бессознательного констелляция¹, в чьей своеобразной атмосфере я распознал дух, «нумен» архетипа. «Все неспроста, и все полно примет»². Конечно, интеллект предпочел бы дать происшедшему какое-нибудь научное, физическое истолкование или, еще лучше, списать все это на нарушение «правил».

1 Буквально: «созвездие»; здесь — сочетание факторов, событий, явлений психической жизни.

2 Гете, «Фауст», сцена «Полночь» из 5-го акта второй части (перевод Б. Пастернака).

Но как скучен был бы мир, если бы в нем хотя бы иногда не нарушались даже самые строгие правила!

Незадолго до этого переживания я записал видение, в котором моя душа отлетала от меня. Это было значительное событие: душа, анима устанавливает связь с бессознательным. В определенном смысле это также связь с сообществом мертвых: ведь бессознательное соответствует мифической стране мертвых, стране предков. Значит, если человеку является видение его улетающей души, это нужно понимать так, что душа удаляется в бессознательное или в царство мертвых. Там она порождает таинственное «одушевление» и придает видимую форму наследию предков, содержанию сферы бессознательного. Подобно медиуму, она дает мертвым возможность обнаружить свое присутствие. Именно поэтому вскоре после исчезновения моей души мне явились «мертвые», и в результате появились «Семь проповедей». Происшедшее со мной может служить примером того, что называют «потерей души»; данный феномен часто встречается среди так называемых «первобытных» людей.

Начиная с того времени мертвые стали для меня выразителями всего оставшегося без ответа, неразрешенного и неискупленного: ведь если требования и вопросы, ответов на которые настойчиво ждала от меня моя судьба, приходили ко мне не из внешнего мира, они должны были прийти из мира внутреннего. Эти разговоры с мертвыми образовали нечто вроде прелюдии к тому, что мне предстояло сообщить миру о бессознательном — или, иначе говоря, нечто вроде модели для упорядочения и интерпретации общего содержания сферы бессознательного.

Глядя на то, что произошло со мной во время работы над фантастическими видениями, с позиций сегодняшнего дня, я вижу, что тогда мне было передано некое непреложное сообщение. В образах содержалось нечто, касавшееся не только меня, но и многих других людей. Именно тогда я перестал принадлежать только себе, утратил право на это. С того времени моя жизнь стала всеобщим достоянием. Знание, в котором я нуждался и поискам которого себя посвятил, все еще не могло быть достигнуто средствами науки того времени. Я сам должен был поставить исходный опыт и, более того, должен был попытаться пересадить результаты этого опыта на реальную почву; иначе они так и остались бы чисто субъективными, недостоверными предположениями. Именно тогда я посвятил себя служению душе. Я любил и ненавидел ее; но она была моим величайшим достоянием. Посвятив себя ей, я сделал именно то, что позволило мне выстоять и прожить жизнь относительно полно.

Ныне я могу сказать, что никогда не отрешался от своих первоначальных переживаний. Вся моя работа, вся моя творческая

деятельность восходит к этим фантазиям и видениям, явившимся мне в 1912 году, без малого 50 лет назад. Все, что мне удалось осуществить в дальнейшем, уже содержалось в них — пусть поначалу только в форме эмоций и образов.

Наука была единственным доступным для меня средством преодолеть этот хаос. Иначе материал видений и фантазий мог бы затянуть меня в ловушку, опутать по рукам и ногам, подобно лианам тропических лесов. Я изо всех сил старался понять каждый отдельный образ, каждый элемент содержания моей психики, по возможности классифицировать их на научных основаниях и, что особенно важно, осуществить их в действительной жизни. Именно последним мы, как правило, пренебрегаем. Мы позволяем образам выйти на поверхность, иногда относимся к ним с известным любопытством, но этим все и ограничивается. Мы не даем себе труда понять их, не говоря уже о том, чтобы сделать из них этические выводы. Все это открывает путь негативным воздействиям со стороны бессознательного.

Не менее опасная ошибка — считать, будто наше познание не имеет иной цели, кроме как приблизиться к пониманию образов. Интуитивное проникновение в смысл образов должно обрести статус этического обязательства. Если этого не произойдет, носитель знания станет жертвой принципа власти, что может привести к опасным последствиям не только для других, но и для него самого. Образы бессознательного ставят человека перед серьезной ответственностью. Неспособность понять их или уклонение от этической ответственности лишают индивида целостности и обрекают его на мучительную разорванность.

В самый разгар того периода, когда я был столь озабочен образами бессознательного, я решил уволиться из университета, где занимал должность приват-доцента и в течение восьми лет (с 1905 года) читал лекции. Переживания и опыты, связанные с бессознательным, обусловили резкий спад моей интеллектуальной активности. После завершения книги «Метаморфозы и символы либидо» я вдруг обнаружил, что совершенно не могу читать научную литературу. Так продолжалось три года. Я чувствовал, что в мире интеллекта больше не могу держаться на должном уровне и, кроме того, лишен возможности говорить о том, что меня заботит по-настоящему. То что явилось из глубин бессознательного, можно сказать, парализовало меня¹. Я не мог

1 В тот период Юнг написал очень мало: несколько статей на английском языке и работу «Das Unbewusste im normalen und kranken Seelenleben» («Бессознательное нормальной и больной души») (в переработанном виде вошедшую в «Два опыта аналитической психологии» под заглавием «Über die Psychologie des Unbewussten» — «Психология бессознательного»). Период завершился в 1921 году, когда была опубликована книга «Psychologische Typen» («Психологические типы»). (Прим. А. Яффе.)

ни понять его, ни придать ему вразумительную форму. В университете я был на виду и понимал, что если хочу продолжать преподавательскую деятельность, мне следует прежде всего найти совершенно новую, отличную от прежней ориентацию. Я был не вправе учить студентов в то время, когда мой собственный ум терзался сомнениями.

Таким образом, я почувствовал, что мне предстоит выбор между гладкой академической карьерой и законами моей внутренней личности и высшего разума, которые требовали от меня решить эту интереснейшую задачу, довести до конца этот эксперимент по столкновению «Я» и бессознательного. Но до тех пор не следовало выступать перед публикой.

Итак, я в здравом уме и твердой памяти оставил академическую карьеру¹. Я чувствовал, что со мной происходит нечто в своем роде необыкновенное, и доверился тому, что, как я рассчитывал, является более важным *sub specie aeternitatis*². Я знал, что это наполнит содержанием мою жизнь, и ради такой цели был готов рисковать чем угодно.

Какое, в конце концов, могло иметь значение — буду я профессором или нет? Конечно, последствия предстоявшего шага меня немало беспокоили. Я сожалел, что не могу ограничиться общепонятным материалом. Моментами я даже пытался бунтовать против судьбы. Но эмоции подобного рода преходящи и не оставляют следов. Другая сторона дела более важна. Стоит нам обратить должное внимание на то, что говорит и чего хочет наша внутренняя личность, — и смятение уляжется. Это я испытывал неоднократно, в разное время, а не только в период моего прощания с академической карьерой. Впервые это произошло со мной в детстве. В юности я отличался скорее бурным темпераментом; однако каждый раз, стоило только эмоциональному накалу достичь максимума, наступал мгновенный спад, после чего воцарялась космическая тишина. В такие минуты я был далек от всего на свете, и то, что волновало меня мгновением раньше, теперь, казалось, принадлежало далекому прошлому.

Из-за своей решимости продолжать и интереса к непонятному — причем непонятному не только для других, но и для меня самого — я стал крайне одинок. Я был перегружен мыслями, о

1 В 1933 году Юнг возобновил свою преподавательскую деятельность; он начал читать лекции в Цюрихской Конфедеративной высшей технической школе. В 1935 г. он получил звание почетного профессора. В 1942 г. он оставил это место по состоянию здоровья, но в 1944 г. стал ординарным профессором Базельского университета, где специально для него была открыта ординатура по медицинской психологии. Здесь он успел прочесть только одну лекцию; тяжелая болезнь прервала его занятия и через год вынудила подать в отставку. (Прим. А. Яффе.)

2 С точки зрения вечности (лат.).

которых не мог заговорить ни с кем, поскольку наверняка был бы ложно понят. Я мучительно переживал разделение мира на внешний и внутренний. Тогда я еще не пришел к пониманию взаимодействия между ними. Я видел только непримиримое противоречие между «внутренним» и «внешним».

И все же мне с самого начала было ясно, что мой контакт с внешним миром и другими людьми предполагает соблюдение следующего условия: ценой самых интенсивных усилий я должен доказать, что содержание психических переживаний реально, причем реально не только как мой личный опыт, но и как коллективный опыт, разделяемый также и другими людьми. Позднее я попытался продемонстрировать это в своих научных трудах; я делал все, что было в моих силах, дабы внушить своим ближним этот новый способ видения мира. Я знал, что в случае неудачи окажусь обречен на абсолютное одиночество.

Лишь к концу Первой мировой войны я постепенно начал выходить из тьмы. Этому способствовали два события. Во-первых, я прекратил отношения с дамой, которая стремилась убедить меня в наличии у моих фантазий ценности произведений искусства; во-вторых — что более важно, — я начал понимать изображения мандалы. Это случилось в 1918—1919 гг. Первую свою мандалу я нарисовал в 1916 году, сразу после написания «Семи проповедей»; естественно, тогда я ее еще не понял.

В 1918—1919 гг. я находился в Шато д'Э в качестве коменданта английского участка зоны, отведенной для лиц, интернированных во время войны. Там я каждое утро набрасывал в записной книжке по маленькому рисунку в виде круга (мандалы); эти рисунки, казалось, соответствовали моему внутреннему состоянию того времени. С их помощью я мог изо дня в день наблюдать за динамикой своих психических состояний. Например, однажды я получил от упомянутой дамы с эстетическими наклонностями послание, в котором она в очередной раз упорно уверяла меня, что фантазии, происходящие из глубин моего бессознательного, имеют художественную ценность и должны считаться искусством. Это послание сильно подействовало мне на нервы. Оно было далеко не глупым и как раз поэтому обладало опасной убеждающей силой. Ведь современный художник прежде всего стремится создавать искусство, исходя из бессознательно-го. Утилитарная направленность послания и его уверенный тон будили поролили во мне сомнения; в частности, я никак не мог толком понять, действительно ли продуцируемые мною фантазии спонтанны и естественны, или они все-таки имеют характер произвольных измышлений. Я не до конца преодолел слепоту и самовлюбленность сознания, которое непременно хочет отнести любую хоть сколько-нибудь значимую мысль на счет своих

собственных достоинств, а низшие реакции — на счет случайности или даже каких-то посторонних источников. Вследствие этого моего раздражения и несогласия с самим собой днем позже возникла видоизмененная мандала: в одном месте закругление оказалось неровным, что привело к нарушению симметрии.

Лишь постепенно я обнаружил, чем является мандала на деле: «Так вечный смысл стремится в вечной смене / От воплощения к перевоплощению»¹. Это — Самость (das Selbst), целостность личности, которая, если все идет хорошо, гармонична, но которая не способна выдержать самообмана.

Мои мандалы были криптограммами, отображавшими состояние моей Самости, которое менялось ото дня ко дню. В них я видел свою Самость — то есть все мое существо в целом — в состоянии активного действия. По правде говоря, поначалу я понимал их весьма смутно; но они казались мне в высшей степени значительными, и я хранил их как драгоценные жемчужины. У меня сложилось отчетливое ощущение, что они представляют собой нечто, так сказать, «центральное»; с течением времени благодаря им я обрел живое понимание Самости. Мне представилось, что Самость — это нечто вроде монады, каковой являюсь я и каковой является мой мир. Мандала выражает эту монаду и соответствует природе психической субстанции как микрокосма.

Я уже не помню, сколько мандал я успел нарисовать в то время, но их было очень много. Когда я работал над ними, передо мной то и дело возникал вопрос: куда этот процесс меня в конце концов приведет? Где его цель? По собственному опыту я понял, что не могу взять на себя ответственность за выбор такой цели, значимость которой не вызывала бы сомнений. Мне было ясно показано, что я должен отказаться от представления о главенствующем положении «Я»: ведь все мои попытки настаивать на нем увенчивались провалом. Мне хотелось продолжить научный анализ мифов, начатый в «Метаморфозах и символах либидо». Он все еще был моей целью — но я не имел даже права думать об этом! Мне необходимо было довести до конца это странствие сквозь бессознательное. Я должен был позволить потоку нести себя, не заботясь о том, куда он меня в конце концов вынесет. Но начав рисовать мандалы, я убедился, что все пути, которыми я шел, все шаги, мною предпринятые, были направлены назад, к одной и той же точке — к центру. Я постепенно приходил к пониманию того, что мандала — это центр. Это прообраз всех путей, путь к центру, к индивидуации, то есть к обретению личностью самой себя.

1 Гете, «Фауст», сцена «Темная галерея» из 1-го акта второй части (перевод Б. Пастернака).

Между 1918 и 1920 годами я начал понимать, что целью психического развития является Самость. Здесь нет прямолинейной эволюции, а есть хождение вокруг Самости, своего рода нащупывание Самости. Поступательное развитие возможно в начале процесса; в дальнейшем же все поворачивает в сторону центра. Эта догадка придала мне устойчивость, и ко мне постепенно вернулся внутренний покой. Я знал, что открыв мандалу как выражение Самости, я достиг своего последнего, высшего знания. Возможно, кто-то другой знает больше, но не я.

Подтверждение своим идеям о центре и Самости я получил несколькими годами позднее (в 1927 году) во сне. Сущность этого сна я изобразил в виде мандалы, которую назвал «окном в вечность». Она воспроизведена в моей (написанной совместно с Рихардом Вильгельмом¹⁾ книге «Тайна золотого цветка». Годом позже я изобразил еще одну мандалу, на этот раз с золотым замком в середине. Кончив рисовать, я взглянул на нее и спросил себя: «Почему она выглядит так по-китайски?» На меня произвели впечатление форма и выбор цветов, показавшиеся мне «китайскими», хотя ничего явно китайского в них не было. Тем не менее рисунок воздействовал на меня именно так, а не иначе. По странному совпадению я вскоре получил от Рихарда Вильгельма письмо вместе с приложенной к нему рукописью даоистского алхимического трактата под названием «Тайна золотого цветка»; автор письма просил меня написать к этому трактату комментарий. Рукопись вызвала у меня восторг, поскольку текст чудесным, совершенно неожиданным образом подтвердил мои идеи относительно мандалы и кружения вокруг центра. Именно это событие положило конец моему одиночеству. Я осознал, что нахожусь в духовном родстве с другими людьми, что отныне смогу устанавливать с ними связи.

В память об этом совпадении, или «синхроничности» я написал под своей мандалой: «В 1928 году, когда я писал эту картину, изображающую золотой замок, Рихард Вильгельм выслал мне из Франкфурта китайский текст тысячелетней давности о желтом замке, зародыше бессмертного тела».

Только что упомянутый сон 1927 года заключался в следующем. Я находился в грязном, покрытом копотью городе. Это был Ливерпуль. Стояла темная, холодная, дождливая ночь. Вместе с полудюжиной швейцарцев я шел по темным улицам. У меня было ощущение, что мы идем со стороны порта и что настоящий город находится сверху, над обрывом. Мы принялись карабкаться вверх. Это напомнило мне Базель, где рыночная площадь расположена в нижней части города, а от нее в сторону

1 Р. Вильгельм (Wilhelm) (1873—1930) — немецкий синолог.

верхнего плато ведет «Аллея мертвых», оканчивающаяся на Петерсплатц, у церкви св. Петра. Достигнув плато, мы оказались на обширной площади, тускло освещенной уличными фонарями; в эту площадь со всех сторон «впадало» множество улиц. Городские кварталы радиально располагались вокруг площади. В центре был округлый пруд, а в середине пруда — островок. Из-за дождя, тумана, дыма и тусклого света фонарей все окружающее оставляло самое мрачное впечатление; но островок был залит солнечным светом. На нем росло одно-единственное дерево — магнолия, усыпанная алыми цветками. Казалось, дерево освещается солнечным светом и одновременно само является источником света. Мои попутчики бранили отвратительную погоду и, судя по всему, не видели дерева. Они говорили о некоем живущем в Ливерпуле «другом швейцарце» и удивлялись, как он мог поселиться в таком месте. Плененный красотой цветущего дерева и солнечного острова, я подумал: «Я-то прекрасно знаю, почему он поселился здесь». И тут я проснулся.

Одну из деталей сна я должен специально пояснить. Городские кварталы располагались радиально по отношению к центральным точкам. Каждая из таких точек представляла собой уменьшенное повторение островка — маленькую открытую площадь, освещенную сравнительно ярким фонарем. Я знал, что «другой швейцарец» живет поблизости от одного из этих «второстепенных» центров.

В этом сне было наглядно представлено положение, в котором я находился в то время. Я все еще вижу грязно-желтые, блестящие от дождевой воды плащи. Все окружающее чрезвычайно малопривлекательно, мрачно и мутно — в точном соответствии с моими тогдашними ощущениями. Но мне явилось видение неземной красоты — и только благодаря ему я вообще мог жить. Ливерпуль моего сна — это «пруд жизни» (англ.: «pool of life») созвучно названию города — Liverpool). Печень (англ. liver), согласно древнему представлению, является вместилищем жизни — тем, что «заставляет жить (to live)».

Этот сон принес с собой чувство завершенности. Я усмотрел в нем выражение цели. Цель — это центр; все направлено к центру. Благодаря описываемому сну я понял, что Самость — это принцип и архетип ориентации и смысла. В этом и заключается ее исцеляющая функция. Для меня это открытие означало приближение к центру и, соответственно, к цели. Из него возник первый проблеск понимания моего личного мифа.

После этого сна я перестал рисовать мандалы. Сновидение стало вершиной развития моего сознания. Оно принесло мне успокоение, поскольку явило полную картину моего положения. Я знал, что занимавшая меня проблема чрезвычайно важна, но все еще чего-то не понимал, и никто из окружавших не

мог мне в этом смысле помочь. Озарение, снизошедшее на меня благодаря сну, дало мне возможность объективно оценить содержание, которым было заполнено все мое существо.

Без этого видения я, возможно, утратил бы ориентацию и был бы вынужден остановиться. Но теперь смысл происшедшего стал для меня совершенно ясен. Порывая с Фрейдом, я знал, что с головой окунаюсь в неизвестность. Будучи обязан Фрейду, в сущности, всем своим знанием, я тем не менее не поколебался шагнуть во тьму. Когда за драматическим развитием событий следует подобный сон, он воспринимается как акт милосердия.

По существу, мне понадобилось сорок пять лет, чтобы зафиксировать в научных трудах квинтэссенцию того, что я в тот период пережил и записал. В молодости я считал своей целью успехи в науке. Но потом я бросился в этот поток лавы, и благодаря его жару изменился облик всей моей жизни. Эта лава стала исходным сырьем, которое мне предстояло обработать; вся моя последующая работа — это более или менее успешные попытки включить эту раскаленную материю в состав современной картины мира.

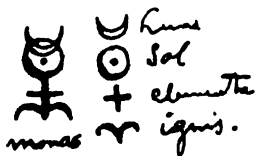
Годы, когда я погружался в образы своего внутреннего мира, стали самыми важными в моей жизни. Именно тогда ко мне пришло решение всех насущных вопросов. Тогда было положено начало; все дальнейшее свелось к дополнениям, разъясняющим отдельные аспекты материала, извергнутого из глубин бессознательного и в первое время затопившего меня с головой. Таково исходное вещество всех трудов моей жизни.

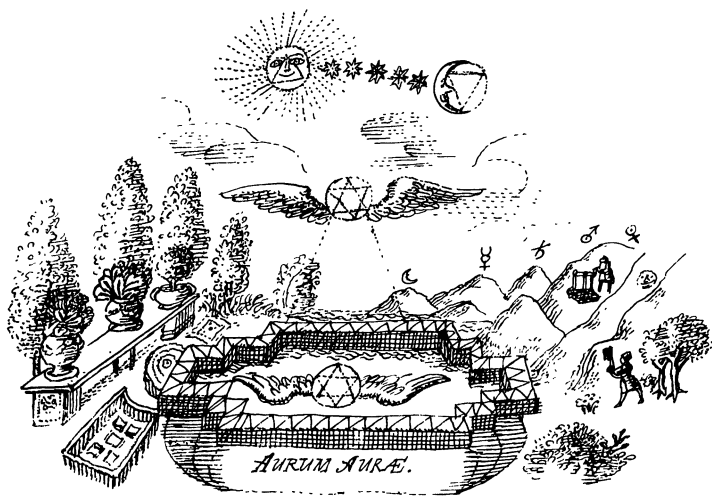
7

Об истоках моих трудов



f. VII, 36





Во вторую половину жизни я вступил, уже будучи вовлечен в схватку с бессознательным. Моя работа с ним растянулась на очень длительный срок, и лишь примерно через двадцать лет я начал кое-что понимать в содержимом собственного воображения.

В первую очередь мне нужно было найти доказательства тому, что у моих внутренних переживаний есть исторические прецеденты. Иными словами, мне надо было найти ответ на вопрос: «Где в прошлом опыте человечества кроются предпосылки того, что доводится переживать мне?» Не найдя соответствующих доказательств, я не мог бы обосновать свои идеи. Именно поэтому решающее значение для меня приобрела встреча с алхимией: она дала мне исторический базис, которого мне прежде не доставало.

В основе своей аналитическая психология является естественной наукой; в то же время она, как никакая другая наука, зависит от личных склонностей наблюдателя. Поэтому психолог, дабы избежать хотя бы самых грубых ошибок суждения, должен серьезнейшим образом подбирать исторические и литературные параллели.

Между 1918 и 1926 годами я тщательно изучал гностиков, поскольку они также сталкивались с первобытным миром бессознательного и имели дело с его содержанием — с образами, явно подверженными влиянию мира инстинктов. Трудно сказать, как именно они понимали эти образы: ведь все сведения о гностиках носят фрагментарный, неполный характер и, к тому же, восходят к трудам их оппонентов — отцов Церкви. Я не думаю, что гностикам удалось выработать психологическую концеп-

цию образов. Но гностики были слишком далеки от меня, чтобы я мог увидеть в них предшественников и лучше осознать то, с чем мне пришлось столкнуться. Мне представлялось, что традиция, которая могла бы связывать гностические учения с современностью, уже давно прервалась; в течение длительного времени мне не удавалось найти связующую нить между гностицизмом (или неоплатонизмом) и современным миром. Но стоило мне углубиться в алхимию, как я понял, что она представляет собой историческое звено, обеспечивающее преемственность между прошлым (то есть гностицизмом) и настоящим. Укорененная в естественной философии средневековья, алхимия стала мостом между гностицизмом, с одной стороны, и современной психологией бессознательного — с другой.

Основы психологии бессознательного были заложены Фрейдом, который вернул в научный обиход классические гностические мотивы сексуальности и пугающего воздействия отца. Мотив гностического Яхве и бога-Создателя появился вновь во фрейдистском мифе о первоотце (Urvater) и мрачном сверх-Я, ведущем свое происхождение от этого отца. Urvater стал демоном, создавшим мир разочарований, иллюзий и страданий. Но материалистическая тенденция, уже нашедшая свое проявление в увлеченности алхимиков тайнами материи, заслонила от Фрейда еще один существенный аспект гностицизма: исходный образ другого, высшего Бога, Который дал человеку кратер (сосуд для смешивания жидкости), то есть сосуд духовной трансформации¹. Кратер — это женское начало, которое не могло найти себе места во фрейдистском патриархальном мире. Впрочем, в этом своем предубеждении Фрейд отнюдь не одинок. Если говорить о сфере католической мысли, то Матерь Господа и Невеста Христова были приняты в Божественный таламус (брачную опочивальню) лишь совсем недавно, после многовековых колебаний, и уделенное им признание оказалось в лучшем случае частичным². Что же касается сфер протестантизма и иудаизма, то в них отец доминирует в той же мере, что и прежде. С другой стороны, в герметической философии алхи-

1 В писаниях Поимандра, языческого писателя-гностика, термином «кратер» обозначался сосуд, заполненный духом и ниспосланный Создателем на землю, дабы те, кто стремится к высшему сознанию, могли в нем креститься. Это было своего рода чрево духовного обновления и возрождения. (Прим. А. Яффе.)

2 Юнг имеет в виду буллу папы Пия XII Munificentissimus Deus (1950), провозгласившую догмат успения Блаженной Девы Марии, который гласит, что Мария, как Невеста, соединена с Сыном в небесной брачной опочивальне, а как София (Премудрость), соединена с Богом-Отцом. Таким образом, женское начало, наконец, оказалось максимально сближено с мужской Троицей. (Прим. А. Яффе.)

мии женское начало играет роль, вполне равноправную с мужским. Одним из важнейших женских символов алхимии был сосуд, внутри которого происходила трансформация вещества. В центре моих психологических открытий также находится процесс внутренней трансформации: индивидуация.

До того как открыть для себя алхимию, я несколько раз видел сны на одну и ту же тему. Рядом с моим домом стояло строение — то ли флигель, то ли пристройка, — совершенно мне неизвестное. Каждый раз во сне я удивлялся своей неспособностью узнать это строение, хотя, судя по всему, оно было там всегда. Наконец, в очередном сне я проник в этот флигель и обнаружил там великолепную библиотеку, датируемую главным образом шестнадцатым и семнадцатым веками. Вдоль стен выстроились пухлые фолианты в толстых кожаных переплетах. Среди них было немало книг, украшенных необычного вида гравюрами на меди и иллюстрациями, содержащими странные символы, которых я прежде никогда не видел. В то время я не знал, что же именно они обозначают; лишь значительно позднее я распознал в них алхимические символы. Во сне я успел только ощутить исходившее от них — как и от всей библиотеки — очарование. Библиотека представляла собой собрание старинных инкунабул и печатных книг шестнадцатого столетия.

Неизвестный флигель моего дома был частью моей личности, аспектом меня самого. Он представлял собой нечто принадлежащее мне, но пока еще мною не осознанное. Флигель в целом, а особенно находившаяся в нем библиотека отсылали меня к алхимии, в которой я не разбирался, но за изучение которой мне предстояло вскоре взяться. Спустя примерно пятнадцать лет я собрал библиотеку, очень похожую на ту, которую увидел во сне.

Самый важный сон, предвосхитивший мою встречу с алхимией, приснился мне примерно в 1926 году и заключался в следующем. Я находился в Южном Тироле; шла война, и я вместе с каким-то низкорослым крестьянином бежал с итальянского фронта в конной повозке. Повсюду рвались снаряды, и я знал, что нужно двигаться как можно быстрее, так как нам угрожает страшная опасность¹.

Нам предстояло проехать по мосту, а затем преодолеть тон-

1 Снаряды, падающие с неба, с психологической точки зрения интерпретируются как нечто, появляющееся из «потустороннего мира». Таким образом, это эманации бессознательного, теневой стороны психики. События сна указывали, что война, происходившая во внешнем мире несколькими годами раньше, еще не кончена; она продолжает бушевать внутри психической субстанции. Именно здесь, судя по всему, должно быть найдено решение проблем, которые невозможно решить во внешнем мире. (Прим. А. Яффе.)

нель, своды которого уже были частично разрушены снарядами. Достигнув конца тоннеля, мы увидели солнечный ландшафт, в котором я узнал окрестности Вероны. Внизу раскинулся город, ярко освещенный солнцем. Я почувствовал облегчение, и мы двинулись дальше по зеленой, цветущей ломбардской равнине. Дорога вела через прелестную весеннюю сельскую местность; вокруг мы видели рисовые поля, оливковые деревья и виноградники. Затем я заметил стоявшее наискосок от дороги большое строение, типичный помещичий дом внушительных размеров, напоминающий скорее дворец какого-нибудь североитальянского вельможи. В этом помещичьем доме было множество пристроек и флигелей. Дорога вела через обширный двор мимо дворца — совсем как в Лувре. Мы с маленьким кучером въехали в ворота; отсюда, сквозь вторые ворота в дальнем конце двора, мы еще раз увидели вдаль тот же солнечный пейзаж. Я огляделся; справа от меня был фасад помещичьего дома, слева — пристройки для слуг, конюшни, амбары и длинный ряд других сооружений.

Когда мы достигли центральной части двора и оказались напротив главного входа, случилось неожиданное: первые и вторые ворота захлопнулись с глухим стуком. Крестьянин вскочил со своего сиденья и воскликнул: «Мы заперты в семнадцатом столетии!» Покорившись судьбе, я подумал: «Значит, так тому и быть. Я ничего не могу поделать. Теперь мы застрянем здесь на годы». Но потом пришла утешительная мысль: «Когда-нибудь, через много лет, я непременно выберусь отсюда».

После этого сновидения я тотчас погрузился в изучение объемистых томов по истории человечества, религии и философии, но так и не обнаружил ничего такого, что помогло бы мне найти объяснение увиденному во сне. Лишь много позднее я осознал, что сон указывал на алхимию, поскольку эта наука достигла вершины своего развития как раз в семнадцатом веке. Как ни странно, я совершенно забыл все, что писал об алхимии Герберт Зильберер¹. В то время, когда появилась книга Зильберера, я считал алхимию чем-то периферийным и довольно-таки бессмысленным, но анагогическая, то есть конструктивная точка зрения Зильберера мне понравилась². В то время я переписывался с ним и не преминул выразить высокое мнение о его труде. Насколько можно судить по трагической смерти Зильберера (он

1 В книге «Проблемы мистики и ее символики» (H. Silberer. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, 1914). (Прим. автора.)

2 «Анагогический» здесь можно понимать как «аллегорический», «символический». В средневековом богословии различались четыре возможных смысла при толковании Священного Писания: буквальный, аллегорический, моральный и анагогический.

покончил с собой), ему удалось проанализировать проблему, но далее не последовало интуитивного проникновения в ее суть. Он использовал главным образом поздний материал, в котором я долгое время не мог разобраться. Поздние алхимические тексты фантастичны и барочны; нужно было научиться их интерпретировать, чтобы распознать скрытые в них сокровища.

Природа алхимии начала для меня проясняться только после того, как я прочел текст «Золотого цветка», этого памятника китайской алхимии, присланного мне Рихардом Вильгельмом в 1928 году. Меня охватило непреодолимое желание подробнее ознакомиться с алхимическими текстами. Я написал одному из мюнхенских книготорговцев, чтобы он сообщал мне обо всех алхимических книгах, попадающих к нему в руки. Вскоре я получил первую из них: *Artis Auriferae Volumina Duo* («Искусство сотворения золота», в двух томах, 1593) — обширное собрание трактатов на латыни, включающее труды классиков алхимии.

Около двух лет я почти не прикасался к этой книге. Время от времени я просматривал иллюстрации и думал: «Бог ты мой, какая бессмыслица! Все это совершенно невозможно понять!» Но материал не переставал вызывать во мне живейший интерес, и я в конце концов решил изучить его более подробно. Я взялся за дело следующей зимой и вскоре пришел к выводу, что имею дело с чем-то в высшей степени стимулирующим ум и увлекательным. Тексты в целом все еще производили на меня впечатление явной бессмыслицы, но там и сям попадались отрывки, казавшиеся мне исполненными значения, а смысл некоторых фраз даже стал казаться более или менее доступным пониманию. В конечном счете, я осознал, что алхимики изъяснялись посредством символов — этих моих старых знакомцев. «Да это фантастика! — думал я. — Мне во что бы то ни стало *нужно* научиться все это расшифровывать!» Как только у меня выдавалось свободное время, я самозабвенно погружался в изучение текстов. Однажды ночью, когда я предавался этому занятию, мне неожиданно вспомнился сон о том, как я был заперт в семнадцатом столетии. Наконец, я уловил смысл этого сна. «Вот оно что! Теперь я обречен исследовать алхимию с самых ее истоков».

Понадобилось немало времени, прежде чем я, не имея в руках нити Ариадны, нашел свой путь в лабиринте алхимической мысли. Читая текст шестнадцатого века, озаглавленный *Rosarium Philosophorum* («Четки философов»), я заметил, что отдельные странные выражения и обороты — в частности, *solve et coagula* («растворяет и свертывает»), *unum vas* («один сосуд»), *lapis* («камень»), *prima materia* («первичное вещество»), *Mercurius* и другие — повторяются в нем очень часто. Я понял, что все они используются вновь и вновь в каком-то особом смысле, но ни-

как не мог сообразить, в чем же этот смысл состоит. Посему я решил составить лексикон ключевых фраз с перекрестными ссылками. С течением времени я собрал несколько тысяч таких ключевых фраз и слов и заполнил отрывками текстов великое множество записных книжек. Я работал как настоящий филолог, пытающийся найти разгадку какого-то неизвестного языка. В итоге алхимический способ выражения постепенно начал приобретать осмысленность. На решение этой задачи ушло десять с лишним лет.

Очень скоро я убедился, что между аналитической психологией и алхимией существуют в высшей степени интересные совпадения. Опыт алхимиков был в известном смысле моим опытом, а их мир — моим миром. Это было, конечно, открытием огромного значения: я натолкнулся на исторический прототип моей психологии бессознательного. Возможность сопоставления с алхимией и духовная преемственность с гностицизмом дали моей психологии осязаемую основу. Стоило мне сосредоточиться над этими старинными текстами, как все стало на свои места: фантастические образы, собранный мною эмпирический материал, выводы, сделанные на основании изучения этого материала. Теперь я начал понимать, что означает это психическое содержание с исторической точки зрения. Я стал глубже понимать его типический характер, представление о котором стало складываться у меня еще в период моих занятий мифологией. Первообразам и сущности архетипа принадлежало в моих изысканиях центральное место; мне стало ясно, что без истории не может быть психологии и уж во всяком случае — психологии бессознательного. Психология сознания, в принципе, может удовлетвориться материалом, почерпнутым из жизни данной личности; но для объяснения невроза нужно иметь под рукой анамнез более глубокий, чем тот, который основывается на наших сведениях о сфере сознания. А когда в процессе лечения появляется необходимость в необычных решениях, возникают сны, требующие для своей интерпретации чего-то большего, нежели личные воспоминания.

Свою работу над алхимией я рассматриваю как признак моей внутренней связи с Гете. Тайна Гете заключается в том, что он оказался пленником многовекового процесса архетипической трансформации. Он рассматривал своего «Фауста» как *opus magnum* или *divinum* («творение величайшее, божественное»), считал его своим «главным делом», и вся его жизнь оказалась вписана в рамки этой драмы. Таким образом, все, что было в нем жизнеспособного и активного, являлось живой субстанцией, сверхличностным процессом, великим сном архетипического мира (*mundus archetypus*).

Тот же сон преследует и меня; я также с одиннадцатилетнего возраста призван осуществить единственную в своем роде задачу, ставшую моим «главным делом». Вся моя жизнь пронизана одной мыслью и подчинена одной цели — проникнуть в тайну человеческой личности. Все, что есть в моих трудах, может быть объяснено лишь с этой центральной точки зрения и связано с этой единственной темой.

Собственно говоря, моя научная работа началась в 1903 году с опытов по ассоциациям. Я считаю их своей первой научной работой в том смысле, который вкладывают в это понятие в сфере естественных наук. За работой «Диагностические исследования по ассоциациям» («Diagnostischen Assoziationsstudien») последовали две работы по психиатрии, об истоках которых я уже говорил: «Психология dementia praecox» («Über die Psychologie der Dementia praecox») и «Содержание психозов» («Der Inhalt der Psychose»). Публикация в 1912 году книги «Метаморфозы и символы либидо» («Wandlungen und Symbole der Libido») положила конец моей дружбе с Фрейдом. С той поры мне волей-неволей предстояло идти по избранному пути в одиночестве.

Отправной точкой послужил мой глубокий интерес к образам моего собственного бессознательного. Этот период продлился с 1913 по 1917 гг.; в дальнейшем поток фантазий иссяк, и лишь после этого, как бы выйдя из заточения в «волшебной горе», я получил возможность объективно взглянуть на весь накопленный опыт и начать его осмысливать. Мой первый вопрос заключался в следующем: «Что делать с бессознательным?» Ответом стала работа «Диалектика „Я“ и бессознательного» («Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten»). В 1916 году я прочел лекцию на эту тему в Париже, а спустя 12 лет, в значительно расширенной форме, опубликовал ее на немецком языке. В этой работе я описал некоторые типичные содержательные элементы бессознательного и показал, насколько важна позиция, занимаемая по отношению к ним сознанием.

Тогда же я занимался подготовительной работой к книге «Психологические типы» («Psychologische Typen»), впервые опубликованной в 1921 году. Стимулом для ее написания стала потребность определить, чем отличается мое научное мировоззрение от фрейдовского или адлеровского. Пытаясь решить эту задачу, я столкнулся с проблемой классификации типов: ведь именно психологический тип человека изначально определяет и ограничивает его суждения. Таким образом, моя книга стала попыткой понять отношение личности к миру, другим людям и предметам. В ней рассматриваются разные аспекты сознания и его различные установки по отношению к миру; она представ-

ляет собой психологию сознания, описанную, так сказать, с клинической точки зрения. В процессе написания этой книги я изучил огромное количество литературы. Особое место занимали произведения Шпиттелера¹, главным образом поэма «Прометей и Эпиметей»; кроме того, я анализировал Шиллера, Ницше и духовную историю античности и средневековья. У меня хватило самонадеянности послать экземпляр книги самому Шпиттелеру. Он мне не ответил, но вскоре прочел лекцию, в которой без обиняков заявил, будто его произведения ничего не «означают»; так, вместо «Олимпийской весны» он с таким же успехом мог бы спеть: «Вот и май наступил, тра-ля-ля, тра-ля-ля!»

Новизна книги о психологических типах состояла в том, что в ней впервые было заявлено: любое высказываемое личностью суждение обусловлено ее типом, так что любая точка зрения по необходимости относительна. Отсюда возник вопрос о единстве, компенсирующем это многообразие, что привело меня непосредственно к китайской концепции «дао». Я уже говорил о том, какое огромное значение для моего внутреннего развития имел даоистский текст, полученный от Рихарда Вильгельма. В 1929 году мы с ним написали «Тайну золотого цветка» («Das Geheimnis der Goldenen Blüte»). Лишь после того, как в своем духовном развитии и научной работе я достиг центрального пункта, а именно концепции Самости, я смог вновь обрести дорогу назад, в мир. Я вновь принялся читать лекции и путешествовать. Обилие и разнообразие моих печатных работ и публичных выступлений явило выразительный контраст молчаливому периоду внутренних поисков. Кроме того, своими научными трудами и выступлениями я пытался ответить на вопросы читателей и пациентов.

Темой, глубоко занимавшей меня со времен «Метаморфоз и символов либидо», стала теория либидо. Я воспринимал либидо как психический аналог физической энергии, то есть как понятие более или менее количественной природы, не подлежащее определению в качественных терминах. Моя идея состояла в том, чтобы уйти из-под власти преобладавшего в то время плоско-конкретного теоретического представления о либидо; иными словами, вместо того, чтобы говорить об инстинктах голода, агрессии и пола, я стремился рассматривать все эти феномены как проявления психической энергии.

В физике мы говорим об энергии и ее разнообразных проявлениях — таких, как электричество, свет, тепло и т. д. В психо-

1 Карл Шпиттелер (Spitteler) (1845—1924) — швейцарский поэт и прозаик, нобелевский лауреат 1919 года. Среди его основных произведений — эпические поэмы «Прометей и Эпиметей» и «Олимпийская весна», а также роман «Имаго».

логии ситуация выглядит точно так же. Здесь мы также имеем дело прежде всего с энергией, то есть с мерой интенсивности, с большими или меньшими ее количествами. Энергия эта может выявляться в разнообразных формах. Рассматривая либидо в качестве энергии, мы приходим к всеобъемлющему, синтезирующему взгляду. Все противоречащие друг другу точки зрения на качественную природу либидо — есть ли оно сексуальный инстинкт, инстинкт власти или голода и т. п. — отступают на задний план. В психологии я хотел достичь такого же логичного, глубокого, всестороннего взгляда, как и тот, который утвердился в физической науке благодаря концепции превращения энергии. Именно этому посвящена моя работа «О психической энергии» («Über die Energetik der Seele», 1928). Например, в человеческих стремлениях я усматривал разнообразные проявления энергетических процессов, то есть факторы, аналогичные выделению тепла, свету и т. д. Ни один современный физик не станет искать единый источник всех сил, скажем, в тепловой или какой-либо другой форме энергии; точно так же психолог не должен сваливать все инстинкты в кучу под одной и той же «этикеткой» сексуальности. В этом-то и заключалась исходная ошибка Фрейда, которую он впоследствии исправил допущением так называемых «Я-влечений» (Ichtriebe). Еще позднее он выдвинул концепцию «сверх-Я» (Über-Ich), которому фактически отвел главенствующее место.

В работе «Диалектика „Я“ и бессознательного» отразилось мое отношение к собственному бессознательному, но почти ничего не сказано о бессознательном как таковом. Работая над расшифровкой своих фантазий, я пришел к выводу, что бессознательное изменчиво и само порождает изменения. Только ознакомившись с алхимией, я понял, что бессознательное — это процесс, и что психическая субстанция трансформируется или развивается благодаря взаимодействию «Я» и содержания сферы бессознательного. У отдельной личности трансформация проявляется в сновидениях и фантазиях. В жизни человеческих сообществ она обнаруживается главным образом в виде разнообразных религиозных систем и их изменчивых символов. Благодаря исследованию этих коллективных процессов изменчивости и пониманию алхимической символики я пришел к центральному понятию моей психологии: понятию *процесса индивидуации*.

Важно отметить, что с определенного момента моя работа коснулась проблемы мировоззрения человека и, соответственно, отношения между психологией и религией. Эти проблемы я впервые подробно рассмотрел в работе «Психология и религия» («Psychologie und Religion», 1938), а затем в сборнике статей

«Парацельсика» («Paracelsica», 1942), возникшем как одно из ее ответвлений. Особое значение с этой точки зрения имеет вторая работа названного сборника, «Парацельс как духовное явление» («Paracelsus als geistige Erscheinung»). Писания Парацельса¹ содержат огромное количество оригинальных мыслей, включая четкие — хотя и облаченные в поздние, барочные одежды — формулировки вопросов, в свое время поставленных алхимиками. Именно благодаря Парацельсу я, в конце концов, понял природу алхимии и связал ее с религией и психологией, то есть увидел в алхимии форму религиозной философии. Я осуществил это в книге «Психология и алхимия» («Psychologie und Alchemie», 1944). Таким образом я, наконец, сумел найти обоснование моему собственному опыту 1913—1917 гг.; ведь то, что было пережито мною тогда, в точности соответствовало алхимической трансформации, разобранным в названной книге.

Естественно, я должен был постоянно думать о том, как символизм сферы бессознательного связан с христианством и другими религиями. Я не просто оставляю дверь для христианской благой вести открытой; я считаю ее важнейшим фактором в жизни человека Запада. Но ее необходимо истолковать по-новому, в соответствии с изменениями, внесенными секулярным духом современной эпохи. Без учета этих изменений она оказывается в подвешенном состоянии, вне времени, и не может воздействовать на человека в целом. Я считал своим долгом отразить все эти аспекты. Я дал психологическое истолкование догмату троичности и тексту литургии — который вдобавок сопоставил с видениями, описанными алхимиком и гностиком третьего века нашей эры Зосимом Панополитанским (см. мою работу: «Символ пресуществления в литургии» [«Das Wandlungssymbol in der Messe», 1942]). Моя попытка установить связь между аналитической психологией и христианством привела в конечном счете к постановке вопроса о Христе как психологической фигуре. Еще в 1944 году, в работе «Психология и алхимия», я сумел продемонстрировать параллелизм между фигурой Христа и центральным понятием алхимиков — «камнем» (lapis).

В 1939 году я провел специальный семинар по «Духовным упражнениям» (Exercitia Spiritualia) Игнатия Лойолы². В тот же период я занимался подготовкой материалов для «Психологии и алхимии». Однажды ночью я внезапно проснулся и увидел у изножья своей кровати излучающее яркий свет Распятие. Оно

1 Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493(?)—1541) — швейцарский врач и алхимик.

2 Св. Игнатий Лойола (1491—1556) — испанский церковный деятель, основатель монашеского ордена иезуитов.

было несколько меньше натуральной величины и выглядело как настоящее; мне показалось, что оно сделано из отливающего зеленью золота. Видение отличалось необыкновенной красотой, но оно меня испугало. Нужно сказать, впрочем, что видения не являются для меня такой уж редкостью, поскольку я часто вижу исключительно живые гипнагогические образы.

В то время я много думал о тексте («медитации») из «Духовных упражнений», озаглавленном *Anima Christi* («Душа Христова»). Видение явилось мне словно специально для того, чтобы указать, что в своих размышлениях я упустил нечто важное — аналогию между Христом и *aurum non vulgi* («необычным золотом») и *viriditas* («зеленью») алхимиков¹. Стоило мне уяснить, что видение указывало именно на этот центральный алхимический символ — то есть мне явилось, по существу, алхимическое видение Христа, — как я сразу же почувствовал успокоение.

Зеленое золото — это живое качество, которое алхимики усматривали не только в человеке, но и в неорганической природе. Через него выражает себя дух жизни, *anima mundi* (душа мира) или *filius macrocosmi* (сын макрокосма), Высший человек (Антропос), одушевляющий весь космос. Этот дух излился во все, даже в неорганическую материю; он присутствует в металле и камне. Таким образом, в моем видении образ Христа соединился с *filius macrocosmi*, то есть с его аналогом в сфере материи. Если бы отливающее зеленью золото не оказало на меня столь потрясающего воздействия, я бы непременно пришел к допущению, что в моем «христианском» миропонимании недостает чего-то существенно важного: мое традиционное представление о Христе в каком-то отношении неадекватно и мне еще предстоит развиваться в направлении истинного христианства. Но явственно выраженный акцент на металле со всей отчетливостью дал мне понять, что в данном случае следует говорить о безусловно алхимической концепции Христа как единства духовно живой и физически мертвой материи.

Проблема Христа вновь была поднята мною в работе «Эон» («Aion», 1951), где меня занимали не столько разнообразные исторические параллели, сколько отношение образа Христа к психологии. Я был далек от взгляда на Христа как на фигуру, лишённую всяких поверхностных, сугубо внешних признаков. Напротив, я стремился показать, какое развитие получило в течение веков то религиозное содержание, которое Он в себе во-

1 Наиболее серьезные из алхимиков видели цель своей работы не в трансмутации исходных металлов в золото, а в получении *aurum non vulgi* или *aurum philosophicum* («философского золота»). Иными словами, их занимали духовные сущности и проблема психической трансформации. (Прим. А. Яффе.)

плотил. Мне важно было также показать, как Он мог быть предсказан астрологами, как понимали Его в духе Его времени и как это понимание изменялось в течение двух тысяч лет существования христианской цивилизации. Все это я стремился отразить в меру своих возможностей, обогащая картину разнообразными побочными толкованиями Его образа на протяжении долгих веков.

В процессе работы передо мной не мог не возникнуть вопрос о Христе как об историческом персонаже — как о человеке. Представление о Нем как о человеке было существенно важно с точки зрения коллективного менталитета Его эпохи: ведь можно сказать, что в Его лице — в образе почти неведомого иудейского пророка — утвердился уже успевший оформиться к тому времени архетип, исходный образ Антропоса. Древнее, укорененное в иудаистской традиции и древнеегипетском мифе о Горе¹ представление об Антропосе овладело людьми в самом начале христианской эры, потому что оно было частью духа времени. Оно относилось, по существу, к Сыну Человеческому, родному сыну Бога, противопоставленному обожествленной фигуре Августа (*divus Augustus*), правителя мира сего. Вступив во взаимодействие с исконно иудейской проблемой Мессии, это представление выросло до ранга мировой проблемы.

Было бы серьезной ошибкой считать «чистой случайностью», что именно Иисус, сын плотника, провозгласил Евангелие и стал Спасителем мира. Он должен был непременно быть личностью исключительного масштаба, чтобы с такой полнотой выразить и воплотить всеобщие, хотя и неосознанные ожидания своей эпохи. Никто иной, кроме этого конкретного человека, Иисуса, не мог бы стать носителем подобной вести.

В те времена вездесущая, всеподавляющая Римская держава, олицетворенная божественным Цезарем, сотворила мир, в котором не только бесчисленные личности, но и целые народы были насильственно лишены культурной и духовной независимости. Ныне личности и целые культуры столкнулись с похожей угрозой — угрозой быть поглощенными безликой массой. Именно поэтому во многих местах подымается волна надежды на повторное появление Христа; рождается даже своего рода визионерский слух, выражающий ожидание искупления. Фор-

1 Согласно мифу о Горе — сыне Исиды, она зачала его от мертвого Осириса, коварно убитого Сетом, его братом. Возмужав, Гор на суде богов в споре с Сетом добивается признания себя единственным наследником Осириса. В битве с Сетом Гор сначала терпит поражение: Сет вырывает у него глаз — чудесное око; затем, однако, Гор побеждает Сета и лишает его мужского начала. Свое око Гор дает проглотить Осирису, и тот оживает. Воскресший Осирис передает Гору свой трон в Египте, а сам становится царем загробного мира.

ма, в которой воплотился этот слух, не имеет параллелей в прошлом; это типичное порождение «технического века». Я имею в виду получивший всемирное распространение феномен «неопознанных летающих объектов»¹.

Поскольку моя задача состояла в том, чтобы в полном объеме показать взаимное соответствие между моей психологией и алхимией, я стремился, наряду с религиозными вопросами, указать и на те специальные психотерапевтические проблемы, которые так или иначе затрагиваются в трудах алхимиков. Основной, центральной проблемой медицинской психотерапии является «перенесение» (трансфер). Тут между Фрейдом и мною не было никаких разногласий. Я имел возможность показать, что в алхимии также есть нечто аналогичное трансферу, а именно понятие *coniunctio* («соединение»)², чье огромное значение было отмечено уже Зильберером. Обоснование подобной аналогии содержится в моей книге «Психология и алхимия». Позднее, в 1946 году, я продолжил исследование данной проблемы в «Психологии трансфера» («Die Psychologie der Übertragung»); окончательным итогом стала работа, озаглавленная «*Mysterium Coniunctionis*» («Таинство соединения», 1955/56).

Как и все остальные проблемы, касающиеся меня как человека или ученого, проблема «перенесения» и «соединения» сопровождалась или предвосхищалась сновидениями. В одном из них проблемы «соединения» и Христа объединились в многозначном образе.

Мне снова приснилось, будто у моего дома есть обширный флигель, в котором я еще никогда не бывал. Наконец, я решился заглянуть в него. Передо мной была большая двойная дверь. Открыв ее, я оказался в помещении, оборудованном как настоящая лаборатория. У окна стоял стол, уставленный многочисленными стеклянными сосудами и принадлежностями зоологической лаборатории. Это был рабочий кабинет моего отца. Но сам отец отсутствовал. На полках вдоль стен стояли сотни бутылок, в которых хранилось множество разнообразных рыб. Я был изумлен: оказывается, мой отец увлекся ихтиологией!

Разглядывая окружающее, я обратил внимание на занавес, время от времени надувавшийся подобно парусу под сильным ветром. Внезапно появился Ганс, молодой человек из деревни. Я попросил его посмотреть, не открыто ли окно в комнату, рас-

1 Данный феномен рассматривается в работе: «Современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе» («Ein moderner Mythos. Von Dingen, die am Himmel gesehen werden», 1958). Русский перевод см. в: К. Г. Юнг о современных мифах. — М., «Практика», 1994.

2 Другие возможные переводы термина *coniunctio* — «слияние», «бракосочетание».

положенную за занавесом. Ганс вышел и недолго отсутствовал. Когда он вернулся, я увидел на его лице выражение ужаса. Он смог произнести лишь несколько слов: «Да, там что-то есть. Там поселились призраки».

Я отправился туда сам и обнаружил дверь в комнату матери. В комнате, оказавшейся весьма просторной, никого не было. Атмосфера дышала жутью. С потолка свисали сундучки в виде двух «связок», по пять сундучков в каждой; нижние сундучки каждой связки находились на высоте около полуметра над полом. Сундучки выглядели как маленькие садовые беседки площадью около двух метров; внутри каждого из них было по две кровати. Я знал, что это та самая комната, в которую моя мать — в действительности давно уже умершая — приходила, чтобы расставить кровати для духов. Последние появлялись, так сказать, призрачными супружескими парами, чтобы провести там ночь, а иногда даже целые сутки.

Напротив комнаты матери была дверь. Я открыл ее и вошел в просторный зал, похожий на вестибюль большого отеля. Зал был обставлен легкими стульями, столиками, в нем были колонны, пышные драпировки и т. п. В зале было пусто; где-то громко играл духовой оркестр, исполнявший танцы и марши; музыка доносилась отовсюду, и я не мог точно определить ее источник.

Этот духовой оркестр в гостиничном вестибюле означал чисто внешнюю, показную жизнерадостность и мирскую суету. Никто не мог бы догадаться, что за этим шумным фасадом, в глубинах того же самого здания, есть совершенно иной мир. Привидевшийся мне во сне образ гостиничного вестибюля был, так сказать, карикатурой моего наивного представления о мирских радостях. Но это был лишь внешний аспект, за которым крылось нечто совершенно иное, неподвластное исследованию под громкие звуки духовой музыки: ихтиологическая лаборатория и висячие беседки для призраков. Оба эти места внушали благоговейный страх; в обоих господствовала таинственная тишина. Находясь в них, я ощущал, что попал в царство ночи, тогда как вестибюль представлял сугубо поверхностный мир дня.

Самыми важными образами сновидения были «приемная для призраков» и ихтиологическая лаборатория. Первая в несколько гротескной форме выражала идею «соединения», «бракосочетания», тогда как вторая указывала на мою озабоченность проблемой Христа, который сам является «рыбой» (*ichtys*)¹. Оба

1 Рыба — один из символов Христа. Возможно, это связано с тем, что греческое *ichtys* — неточная анаграмма слова *Chrystos*; в других интерпретациях никогда не закрывающиеся глаза рыбы сближаются со всевидящим Божьим оком.

эти предмета оставались в центре моего внимания в течение десяти с лишним лет.

Примечательно и то, что мой отец в этом сне предстал ихтиологом. Во сне он был ходатаем за христианские души, потому что согласно древнему поверью последние — это рыбы, пойманные в сети апостола Петра¹. Не менее примечательно, что в том же сне моя мать выступала в качестве стража духов умерших. Таким образом, оба моих родителя оказалисьотягощены проблемой «исцеления душ», которая в действительности была моей задачей. Что-то оставалось незавершенным и все еще находилось у моих родителей; иначе говоря, это «что-то» все еще пребывало в латентном состоянии, в сфере бессознательного и, таким образом, предназначалось для будущего. Мне было показано, что я еще не обращался к одной из основополагающих тем «философской» алхимии, теме соединения, и, таким образом, не ответил на вопрос, поставленный передо мной христианской душой. Кроме того, неоконченным оставалось дело жизни моей жены — основополагающий труд, посвященный легенде о св. Граале². Я помню, что поиски Грааля и «Король-рыбак»³ очень часто приходили мне на ум в то время, когда я, в связи с «Эоном», работал над символом *ichtys*. Если бы не нежелание

1 Ср.: Лука, 5:10.

2 После смерти г-жи Юнг, последовавшей в 1955 году, доктор Мария-Луиза фон Франц продолжила работу над книгой о Граале и успешно завершила ее в 1958 году. См.: E. Jung, M.-L. von Franz. *Die Graalslegende in psychologischer Sicht*. — Studien aus dem C. G. Jung-Institut, Band XII, Zürich, 1960. (Прим. А. Яффе.)

3 Имеется в виду Амфортас (или Анфортас) — персонаж романа в стихах «Парцифаль» немецкого поэта Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170—1220), а также оперы «Парсифаль» Р. Вагнера. Легенда о Парцифале (или Персевале) восходит к преданиям так называемого Артурова цикла, связанного с образами короля Артура и рыцарей Круглого Стола, и составляет часть сказания о Граале. В основных вариантах этого сказания Грааль — чаша, в которую ученик Иисуса Христа Иосиф Аримафейский собрал кровь Спасителя, пролитую при распятии. В романе Вольфрама Грааль — лучезарный драгоценный камень, дарующий благодать и неиссякающую пищу и питье. Он хранится в Испании, в замке Мунсальвеш (Монсальват, Монтсеррат) у короля Анфортаса, страдающего от таинственной болезни. Неспособный ни сидеть, ни лежать, он пытается отвлечься от своих страданий тем, что удит рыбу, полулежа на берегу озера (отсюда его прозвище «Король-рыбак»). Парцифаль — «блаженный» сын рыцаря Гамурета; для его характеристики Вольфрам использует старонемецкое слово *tumb* (*thumb*), от которого происходят современное немецкое *dumm* (глупый, онемевший) и английское *dumb* (глупый, немой, бессловесный). После различных перипетий и духовных испытаний Парцифаль познает истину, исцеляет Анфортаса и становится его наследником. (Прим. Д. Лахути.)

вторгаться в сферу занятий жены, я непременно включил бы легенду о Граале в свои исследования по алхимии.

В моих воспоминаниях отец представлял страдальцем, «королем-рыбаком», мучающимся, подобно Амфортасу, от незаживающей раны — чисто христианского недуга, против которого алхимики искали панацею. Я, как «бессловесный» Парсифаль, оказался свидетелем этой болезни в своем детстве; мне, как и Парсифалю, изменяла речь, и я мог только предчувствовать.

В действительности мой отец никогда не интересовался связанной с Христом зооморфной символикой. С другой стороны, буквально до самой своей смерти он испытывал страдание, заповеданное Христом, явившим людям его прообраз; при этом он даже не сознавал, что страдание это — следствие принципа «подражания Христу» (*imitatio Christi*). Он рассматривал свое страдание как личную беду, входящую в компетенцию лечащего врача; но он не видел в нем страдания христианина как такового. Слова из Послания к Галатам: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (2:20) так и не были поняты им во всей полноте, поскольку любая мысль о религиозных материях заставляла его дрожать от ужаса. Он хотел удовлетвориться одной лишь верой, и именно поэтому его вера подверглась разрушению. Таково возмездие за *sacrificium intellectus* (жертвоприношение разума). «Не все вмещают слово сие, но кому дано... Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Матфей, 19:11—12). Слепое приятие никогда не приводит к решению; в лучшем случае оно способно привести к застою, что дорого обходится следующему поколению.

Наличие у богов зооморфных атрибутов означает, что сфера божественного распространяется не только на сверхчеловеческое, но и на то, что находится ниже человека. Животные — это, так сказать, тени богов, самой природой ассоциируемые с Образом Божьим. «Христианские рыбки» (*pisciculi Christianorum*) свидетельствуют о том, что подражающие Христу суть рыбы, то есть души, не обладающие сознанием и нуждающиеся в исцелении (*cura animarum*). Ихтиологическая лаборатория — синоним церковного «исцеления душ». И как ранящий ранит сам себя, точно так же целитель исцеляет себя сам. Показательно, что в моем сновидении решающие действия осуществляются мертвыми над мертвыми, в рамках мира по ту сторону сознания, то есть в сфере бессознательного.

Итак, в тот период я все еще не осознавал одного из главных аспектов своей жизненной сверхзадачи; соответственно, я не был в состоянии дать своему сну удовлетворительное истолкование. Я лишь смутно ощущал его смысл. Мне предстояло преодолеть огромное внутреннее сопротивление, прежде чем я смог

наконец взяться за написание работы, получившей заглавие «Ответ Иову» («Antwort auf Iob»).

Глубинный корень названной книги можно найти уже в «Эоне», где я анализирую психологию христианства; что же касается Иова, то в определенном смысле он может рассматриваться как предвосхищение Христа. Обоих связывает идея страдания. Христос — страждущий раб Божий; то же относится и к Иову. В случае Христа причиной страдания являются грехи мира; страдание — это ответ христианства грешному миру. Отсюда неизбежно возникает вопрос: кто повинен в этих грехах? В конечном счете вся вина лежит на Боге, сотворившем мир со всеми его грехами и ставшем Христом ради того, чтобы разделить судьбу страждущего человечества.

В «Эоне» говорится о светлой и темной сторонах образа божества. Я упоминаю там «гнев Божий», заповедь страха Божьего и мольбу «не ввести нас во искушение». Амбивалентный образ Бога играет в книге Иова решающую роль. Иов ждет, что Бог будет в некотором смысле вместе с ним противостоять Себе; в этом-то и заключается картина трагической противоречивости Бога. Такова главная тема «Ответа Иову».

На написание книги меня подтолкнули также внешние силы. Многочисленные вопросы моих читателей и пациентов достаточно красноречиво давали мне понять, что мне следует по возможности ясно высказаться о религиозных трудностях современного человека. В течение долгих лет я колебался, поскольку хорошо сознавал, что рискую вызвать бурю. В конце концов, однако, эта настоятельная и сложная проблема захватила меня до такой степени, что я уже не мог мешкать с ответом. Форма моего ответа была обусловлена тем, что сам вопрос предстал передо мной как эмоционально насыщенное переживание. Я выбрал данную форму умышленно, поскольку не хотел, чтобы у читателя создалось впечатление, будто я склонен к провозглашению каких-то вечных истин. Мой «Ответ Иову» был задуман как откровения отдельной личности, надеющейся пробудить у читателей определенные раздумья. Я был далек от стремления изрекать метафизические истины. Тем не менее именно этим меня попрекают богословы: ведь они настолько привыкли иметь дело с вечными истинами, что ничего другого просто-напросто не знают. Когда физик говорит, что атом имеет такое-то и такое-то строение, или когда он описывает структурную модель атома, он также не имеет в виду ничего похожего на вечную истину. Но богословы не понимают естественнонаучного и, в частности, психологического мышления. Материал аналитической психологии, ее основные данные — это объективные свидетельства, то и дело повторяющиеся в неизменной форме в разных местах и в разное время.

Проблема Иова со всеми ее следствиями также была предвосхищена сновидением. Последнее началось с того, что я отправился навестить моего давно умершего отца. Он жил в какой-то неизвестной мне деревне. Я увидел дом в стиле восемнадцатого столетия, весьма просторный, с несколькими обширными пристройками. Насколько мне удалось узнать, в свое время это была гостиница на водном курорте; судя по всему, в ней останавливались многие выдающиеся люди — знаменитости, высородные вельможи и т. п. Некоторые из них здесь же и умерли, и их саркофаги покоились в крипте при доме. Мой отец сторожил эти саркофаги.

Но вскоре я обнаружил, что он не только сторож, но и выдающийся исследователь — каковым никогда не был при жизни. Я застал его в кабинете, где, как ни странно, находились также два психиатра: доктор Й. — человек примерно моих лет — вместе со своим сыном. То ли в ответ на какой-то мой вопрос, то ли просто желая что-то объяснить, отец снял с полки тяжелый том Библии, похожий на Мерианову Библию¹ из моей библиотеки, но переплетенный в сверкающую рыбу чешую. Он открыл ее на Ветхом Завете — как я догадался, на Пятикнижии, — и принялся толковать какой-то отрывок. Он делал это настолько ловко и умно, что я никак не мог за ним угнаться. Я только отметил про себя, что в его словах видны огромные и разнообразные познания; я мог лишь смутно уловить их значение, но не был способен понять по существу. Насколько мне удалось заметить, доктор Й. вообще ничего не понял, а его сына разобрал смех. Им казалось, что мой отец свихнулся, а его слова — просто бред старого маразматика. Но мне было совершенно ясно, что дело заключалось вовсе не в болезненном возбуждении. Отцовские слова были настолько разумны, а его аргументация содержала в себе столько учености, что мы, в силу нашей умственной ограниченности, просто не могли за ним поспеть. Его речь касалась некоего исключительно важного предмета, к которому он относился с чрезвычайным энтузиазмом. Его разумом владели глубокие идеи; вот почему все, что он говорил, было до такой степени содержательно. Мне стало неловко от сознания, что ему приходится метать бисер перед тремя свиньями вроде нас.

Два психиатра воплощали собой врачебную ограниченность, которая, конечно, заразила и меня как врача. Они олицетворяли мою тень² — или, точнее говоря, два варианта тени, отца и сына.

Затем обстановка изменилась. Мы с отцом оказались перед

1 Имеется в виду Библия с гравюрами М. Мериана (1593—1650) — франкфуртского гравера и издателя, родом из Базеля. Серию иллюстраций к библии Мериан создал в 1625—1630 гг.

2 См. Глоссарий.

домом, напротив сарая, в котором, судя по всему, были сложены дрова. Мы слышали тяжелые, глухие удары, словно кто-то швырял дрова на землю. У меня создалось впечатление, что в сарае трудится по меньшей мере двое рабочих, но отец сказал, что там поселился домовый. Он-то, судя по всему, и производил весь этот шум.

Затем мы вошли в дом. Я обратил внимание на то, что в доме очень толстые стены. По узкой лестнице мы поднялись на второй этаж. Там моему взору предстало странное зрелище: обширный зал, представляющий собой точную копию «зала совета» («диван-и-каас») во дворце султана Акбара в Фатехпур-Сикри¹. Это было круглое помещение с высокими потолками и галереей, проходившей вдоль всех стен; от галереи к выполненному в виде чаши центру вели четыре моста. Чаша была установлена на огромной колонне и служила тронem, на котором восседал сам султан. С этого возвышения он обращался к своим советникам и философам, сидевшим вдоль стен на галерее. Все вместе представляло собой гигантскую мандалу и в точности соответствовало реальному «залу совета», который я до того видел в Индии.

Во сне я внезапно увидел крутую лестницу, взмывающую из центра прямо под потолок. Эта деталь уже не соответствовала действительности. Верхний конец лестницы упирался в маленькую дверцу, и мой отец сказал: «Сейчас я поведу тебя к высшему присутствию!», причем мне показалось, что последние слова он произнес по-английски: «highest presence». Затем он стал на колени и коснулся лбом пола. Я истоково повторил его движение. Почему-то мне не удалось коснуться пола лбом — не хватило какого-нибудь миллиметра. Но по меньшей мере само движение я повторил в точности. Внезапно я узнал — возможно, мне об этом сказал отец, — что верхняя дверь ведет в одинокую комнату, где живет Урия, военачальник царя Давида, которого тот постыдно предал, приказав солдатам оставить его один на один с врагами, дабы самому овладеть его женой Вирсавией².

В связи с описываемым сном я должен кое-что разъяснить. Начальная сцена служит описанием того, как решается неосознанная задача, оставленная мною на долю отца, то есть сферы бессознательного. Отец явно был поглощен Библией (Книгой Бытия?) и всячески стремился сообщить содержание своих открытий и озарений. Рыбья чешуя указывает на Библию как на элемент сферы бессознательного: ведь рыбы немые и не облада-

1 Фатехпур-Сикри — городок в Индии, между городами Агра и Джайпур, любимая резиденция шаха Акбара (1542—1605), одного из наиболее значительных представителей династии Великих Моголов. Комплекс дворцов, заложенный в 1569 г., был заброшен вскоре после смерти Акбара.

2 См.: 2-я Царств, 11.

ют сознанием. Мой бедный отец так и не смог установить контакта со своими слушателями, поскольку те оказались отчасти непонятливыми, отчасти же — злонамеренными и глупыми.

После этой неудачи мы пересекли дорогу и вышли на «другую сторону», где действуют домовые. Домовые обычно появляются вблизи подростков; иначе говоря, я оказался все еще незрелым и недостаточно сознательным. «Другая сторона» была представлена образами Индии. Когда я был в Индии, структура мандалы, приданная «залу совета», действительно, произвела на меня сильное впечатление как воплощение идеи центра. Центр — это место, где восседает Акбар Великий, правящий целым субконтинентом, «господин мира сего», подобно Давиду. Но еще выше Давида стоит его безвинная жертва, верный военачальник Урия, которого царь оставил на растерзание врагам. Урия — предвосхищение Христа, Богочеловека, оставленного Богом. «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?»¹ Вдобавок Давид «взял себе» жену Урии. Лишь впоследствии я понял, что указание на Урию означало не только необходимость публично и во многом во вред себе говорить об амбивалентности образа Божьего в Ветхом Завете, но и то, что моя жена будет отнята у меня смертью.

Все это ждало меня, будучи скрыто в бессознательном. Мне предстояло подчиниться судьбе, и я должен был и вправду коснуться лбом пола, чтобы подчинение стало полным. Но что-то помешало мне поступить именно так и удержало на расстоянии какого-нибудь миллиметра от цели. Что-то во мне говорило: «Все очень хорошо, но что-то тут не так». Что-то во мне отказывалось повиноваться, решительно не хотело, чтобы я превратился в бессловесную рыбу; и если бы это «что-то» не было свойственно всем свободным людям, за несколько веков до Рождества Христова не была бы написана Книга Иова. Человек не склонен безоговорочно принимать даже повеления Бога. Иначе где была бы его свобода? И какая была бы польза от этой свободы, если бы она не могла грозить Тому, Кто угрожает ей?

Место, где живет Урия, расположено выше, нежели трон Акбара. Более того, во сне Урия был назван «высшим присутствием» — то есть ему был придан статус, достойный, по существу, только Бога (если, конечно, не принимать во внимание византийских способов выражения). Здесь я не могу удержаться от мысли о Будде и его отношении к богам. Для благочестивого азиата Татхагата² — это Высшее, Абсолют. Именно поэтому

1 Эти слова впервые появляются в одном из Давидовых Псалмов: Псалтирь, 21:2. См. также: Матфей, 27:46, Марк, 15:34.

2 Эпитет Будды (Шакьямуни) в буддийской мифологии хинаяны; толкуется обычно как «постигший истинную сущность».

мифологию хинаяны ошибочно подозревают в атеизме. Благодаря могуществу богов человеку дано проникнуть в сущность Творца. Ему дано даже уничтожить Творение в его существеннейшем аспекте — то есть в аспекте осознания человеком мира. Ныне он может убить любые высшие проявления жизни на Земле с помощью радиации. Мысль об уничтожении мира была подсказана еще Буддой: благодаря озарению цепь Нидаана — то есть цепь причинности, неизбежно ведущая к старости, болезням и смерти — может быть разорвана, и тогда иллюзия Бытия придет к концу. Шопенгауэровское отрицание Воли пророчески указывает на проблему будущего, которое ныне уже стало угрожающе близким. Сон вскрывает мысль и предчувствие, вот уже в течение долгого времени таящиеся в человечестве: идею творения, превосходящего своего творца по одному небольшому, но решающему показателю.

После этой вылазки в мир снов я должен еще раз вернуться к моим писаниям. В «Эоне» затронут ряд вопросов, которые нужно было рассмотреть особо. Я попытался объяснить, как явление Христа совпало с началом нового эона, эры Рыб. Существует точное совпадение по времени между жизнью Христа и астрономическим фактом: вхождением точки весеннего равноденствия в созвездие Рыб. Посему Христос — это «Рыба» (точно так же, как Хаммурапи до него был «Овном»); Он явился как правитель нового эона. Эти соображения привели меня к необходимости заняться проблемой синхроничности, которой я посвятил работу «Синхроничность как внепричинный связующий принцип» («Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge», 1952).

Поднятая в «Эоне» проблема Христа привела меня к вопросу о выражении феномена Антропоса (в психологических терминах — Самости) в опыте отдельной личности. Ответ я попытался дать в работе «О корнях сознания» («Von den Wurzeln des Bewusstseins», 1954). В ней я рассматриваю взаимодействие между сознанием и бессознательным, развитие сознания из бессознательного, влияние высшей личности — то есть внутреннего человека — на жизнь каждого отдельного индивида.

Завершением этого цикла исследований — выросшего из моего первоначального намерения представить алхимию прежде всего как разновидность психологии алхимии (или, иначе говоря, создать алхимическую основу для глубинной психологии), — стало «Таинство соединения» («Mysterium Coniunctionis»), где я в очередной раз обратился к проблеме трансфера. Благодаря «Таинству соединения» моя психология наконец обрела свое место в реальности и свой исторический фундамент. Таким образом, моя задача оказалась выполнена, мое дело —

сделано, и можно было поставить точку. Стоило мне коснуться дна, как я достиг предела научного познания; что же касается сферы трансцендентного, то есть природы архетипа как такового, то она не может быть предметом дальнейшего научного обсуждения.

Этот обзор моих трудов, конечно, является лишь кратким резюме. Я мог бы с равным успехом сообщить значительно больше или значительно меньше. Мой обзор, как и вся эта книга в целом, — импровизация, родившаяся из потребности настоящего времени.

Не исключено, что те, кто знает мои работы, найдут в моем кратком обзоре нечто полезное; других же, возможно, он побудит ознакомиться с моими идеями подробнее. Моя жизнь — это то, что мне удалось совершить, мое духовное творчество. Одно неотделимо от другого. Работа выражает мое внутреннее развитие: ведь подчинение сфере бессознательного формирует человека и преображает его. Мои труды могут, в некотором роде, рассматриваться как остановки на моем жизненном пути.

Все мои сочинения можно рассматривать как попытки решить задачи, диктуемые изнутри; их источником всегда была воля судьбы. Я брался за перо, только повинуясь внутреннему импульсу. Я позволял духу, движущему мной, говорить то, что он должен был сказать. Я никогда не рассчитывал, что мои труды вызовут сколько-нибудь значимый отклик. Они представляют собой компенсаторный ответ господствующему духу нашего времени; случилось так, что именно я оказался принужден сказать то, чего никто не хочет слышать. По этой причине я часто — особенно вначале — ощущал крайнее одиночество. Я знал, что сказанное мною может натолкнуться на реакцию отторжения: ведь современному человеку трудно смириться с существованием противовеса миру, в котором безраздельно царит сознание. Ныне я могу признаться, что удивлен успехом, который мне все же удалось снискать: в свое время я не мог ожидать ничего подобного. Теперь я чувствую, что совершил все, что мог. Несомненно, дело моей жизни могло бы иметь больший размах и более высокое качество исполнения; но это уже было бы выше моих сил.

8

Башня



liebe Frau!
 nochmals meine herzlich-
 sten für Deine Mühe und
 Sorgung! Ich bin froh,
 so gute Nachrichten von Dir zu
 haben. Willst Du nicht das nächste
 Mal verzeihen und mir bei Mei-
 nem nächsten Besuche am 19.





Благодаря научной работе я постепенно смог подвести под свои фантазии и содержание сферы бессознательного достаточно твердую основу. Но слова и бумага казались мне недостаточно реальными; не хватало чего-то еще. Мне нужно было воплотить свои самые интимные мысли и обретенное знание в камне. Иными словами, я должен был исповедать в камне свою веру. С этого-то и началась Башня — дом, который я построил для себя в Боллингене. Поначалу сама идея такого дома казалась нелепой, но я все-таки осуществил ее, что принесло мне не просто необычайное удовлетворение, но и ощущение полноты постигнутого¹.

С самого начала я постановил построить дом у воды. Поскольку меня всегда привлекала живописность верхней части Цюрихского озера, в 1922 году я купил в Боллингене участок земли, в свое время принадлежавший монастырю св. Галла.

Поначалу я планировал построить не дом в собственном смысле, а скорее некое первобытное одноэтажное строение. Оно должно было иметь форму круга с очагом в центре и нарами, расположенными вдоль стен. Я имел в виду нечто более или менее похожее на африканскую хижину, где огонь, обрамленный несколькими камнями, горит в середине, и вся жизнь семьи

1 Башня в Боллингене была для Юнга не просто местом, где он коротал свои каникулы; в старости он проводил там едва ли не по полгода, работая и отдыхая: «мои работы не могли бы возникнуть без моей земли». Вплоть до глубокой старости Юнг находил разрядку в рубке дров, возделывании земли, уходе за растениями и сборе урожая. В более ранние годы он был страстным яхтсменом и занимался различными видами водного спорта. (Прим. А. Яффе.)

вращается вокруг центра. Первобытная хижина воплощает идею целостности, семейной целостности, в которой принимают участие также все мелкие домашние животные. Но сразу же после начала строительства я изменил план, так как счел его слишком примитивным. Вместо простейшей хижины без фундамента я решил выстроить нормальный двухэтажный дом. Так в 1923 году был воздвигнут первый круглый дом; по его завершении я понял, что он оказался удобной жилой башней.

Как только я стал жить в этой башне, у меня возникло сильное чувство покоя и обновления. Для меня башня была подобием материнского лона. Но в то же время во мне нарастало сознание, что ей чего-то недостает; ей явно предстояло выразить что-то еще. В результате, в 1927 году к ней была добавлена центральная часть с пристройкой в виде башни.

Прошло еще четыре года, прежде чем во мне опять созрело ощущение неполноты. Здание опять показалось мне слишком примитивным, и в 1931 году башенная пристройка была расширена. В этой второй башне я выделил помещение, предназначенное только для меня. Я имел в виду то, что часто видел в индийских домах: специальное пространство — это может быть просто уголок комнаты, отделенный занавеской, — где любой из обитателей имеет возможность уединиться на полчаса для медитаций или занятий йогой. Такой уединенный уголок очень много значит для жителей Индии, где плотность населения чрезвычайно высока.

В своей уединенной комнатке я предоставлен самому себе. Ключ от нее всегда находится у меня в кармане; в нее никто не допускается без моего дозволения. В течение многих лет я списывал стены картинами, выражая таким образом все то, что уводило меня от времени и злободневности в уединение и вневременность. Вторая башня стала для меня местом духовной сосредоточенности.

В 1935 году у меня возникло желание обзавестись огороженным участком земли. Мне нужно было более обширное пространство, открытое небу и природе. Так — вновь по прошествии четырех лет — я добавил к унитарной троичности дома отдельный от нее четвертый элемент в виде двора и лоджии у озера. Возникла структура из четырех различных элементов — четверица; для ее завершения потребовалось двенадцать лет.

После смерти жены в 1955 году я ощутил внутреннюю обязанность сделаться тем, что я есть в действительности. Говоря языком моего боллингенского дома, я внезапно понял, что его центральная, самая приземистая, словно спрятанная от посторонних взоров часть и есть я. Я больше не мог прятаться за «материнской» и «духовной» башнями. Поэтому я тогда же добавил к этой части верхний этаж, олицетворяющий меня, мое

личностное «Я». Ранее я не мог бы этого сделать: я посчитал бы это самонадеянным выпячиванием своей личности. Теперь же подобное действие означало расширение сферы сознания, достигнутое в старости. Тем самым дом был завершен. Первую башню я начал строить в 1923 году, спустя два месяца после смерти матери. Эти две даты — 1923 и 1955 — имеют глубокий смысл, поскольку Башня, как мы увидим, связана с мертвыми.

С самого начала я воспринимал Башню как своего рода место для созревания — образ матери или материнское лоно, где я мог бы стать тем, чем я был, есть и буду. Башня давала мне ощущение повторного рождения в камне. Она стала воплощением индивидуации, мемориалом *aere perennius* (прочнее меди). Конечно, во время строительства я не думал ни о чем подобном. Я строил отдельные части дома, каждый раз следуя потребности времени. Можно сказать даже, что в некотором смысле я строил дом во сне. Лишь впоследствии я увидел, насколько точно все части соответствуют друг другу, насколько осмысленной стала итоговая форма — зримый символ психической целостности.

В Боллингене я нахожусь в сердцевине своей истинной жизни; здесь я становлюсь в наиболее глубинном смысле самым собой — «древнейшим сыном матери», как алхимики мудро называли того старца, которого я уже познал в своих детских переживаниях в качестве личности номер два, который всегда был и всегда будет. Сын материнского бессознательного, он существует вне времени. В моих фантазиях он некогда принял образ Филемона, и теперь он вновь возрождается в Боллингене.

Иногда у меня появляется чувство, будто я существую в окружающей природе и внутри вещей, будто я живу в каждом дереве, в плеске волн, в облаках, в животных, приходящих и уходящих в соответствии со сменой времен года. В Башне нет ничего такого, что не обретало бы свою форму десятилетиями; ничего такого, с чем я не был бы связан. Здесь все имеет свою историю, являющуюся в то же время моей историей; Башня — это пространство для не умещающегося ни в каком пространстве царства мировых и душевных глубин.

Я обхожусь без электричества; я развожу огонь и топлю печку сам. По вечерам я зажигаю старые светильники. В доме нет водопровода, и я сам качаю воду из колодца. Я колю дрова и готовлю пищу. Эти простые действия делают человека простым; а это ведь так сложно — быть простым!

В Боллингене, окруженный почти осязаемой тишиной, я живу «в скромной гармонии с природой»¹. На поверхность всплывают мысли, уходящие назад в века и, соответственно, предвос-

1 Название старинной китайской гравюры на дереве, изображающей маленького старичка в величественном пейзаже. (Прим. А. Яффе.)

хищающие отдаленное будущее. Здесь творческие муки затихают; творчество сближается с игрой.

В 1950 году я воздвиг нечто вроде каменного монумента специально для того, чтобы выразить, что значит для меня Башня. История о том, как этот камень попал ко мне, сама по себе довольно занята. Мне нужны были камни, чтоб соорудить ограду так называемого сада, и я заказал их в одном из карьеров недалеко от Боллингена. Я находился там, когда каменщик диктовал размеры владельцу карьера, записывавшему все данные в записную книжку. После разгрузки судна с камнями оказалось, что угловой камень имеет совершенно неверные размеры: вместо треугольного камня прислали глыбу идеальной кубической формы и значительно больших размеров, чем требовалось (сторона куба равнялась приблизительно полуметру). Разгневанный каменщик велел матросам отвести камень обратно.

Но стоило мне увидеть камень, как я тут же решил: «Нет, это мой камень. Он должен принадлежать мне!» Я сразу понял, что он мне идеально подходит, что мне нужно с ним что-то сделать. Я только пока не знал, что именно.

Первым, что пришло мне на ум, было латинское стихотворение алхимика Арнальдуса из Виллановы (ум. в 1313 г.). Его-то я и выгравировал на камне. Его приблизительный перевод таков:

Вот камень, на вид нехорош,
Цена ему ломаный грош.
Чем больше его презирают глупцы,
Тем более ценят его мудрецы¹.

Эти слова относятся к алхимическому камню, ляпису, всеми презираемому и отвергаемому.

Вскоре возникло нечто новое. На передней поверхности камня я стал различать естественный рисунок окружности, подобный смотревшему на меня глазу. Я выгравировал на этом месте глаз и в центре поместил крошечного человечка. Он соответствует «куколке» (*лат. pupilla*) — человеку, каким он видит себя в зрачке (*pupilla*) другого человека: это своего рода кабир или асклепиев Телесфор. На античных статуях Телесфора изображали в плаще с капюшоном и светильником в руках. Одновременно его считали «указчиком пути». Я посвятил ему несколько слов, пришедших мне на ум в то время, пока я работал. Надпись на древнегреческом языке переводится следующим образом.

Время — это дитя — оно играет как дитя — играет в шашки — царство дитяти. Это Телесфор, который странствует по

1 Перевод Д. Лахути.

темным областям этого мира и сияет из глубин, как звезда. Он указывает путь к вратам солнца и стране снов¹.

Эти слова, одно за другим, явились мне, пока я работал над камнем.

На третьей грани камня — той, которая смотрит на озеро — я выгравировал латинскую надпись, состоящую из более или менее точно процитированных выдержек из алхимических трактатов. В этой надписи камень говорит о себе:

«Я сирота, я одинок; и все же меня можно найти где угодно. Я один, но противопоставлен сам себе. Я юн и стар одновременно. Я не знал ни отца, ни матери, потому что то ли был извлечен из глубины, как рыба, то ли упал с небес, как белый камень. Я странствую по лесам и горам, но скрыт в самых глубинах человеческой души. Я смертен для любого, но меня не затрагивает ход времени».

Наконец, под словами Арнальдуса из Виллановы я выгравировал по-латыни: «К. Г. Юнг сотворил и установил это как благодарственное приношение к своему семидесятипятилетию в 1950 году».

Когда камень был закончен, я смотрел на него снова и снова, размышляя и спрашивая себя, что же побудило меня сделать на нем все эти надписи.

Камень стоит рядом с башней и является как бы ее объяснением. В нем проявляется ее обитатель — но проявление это недоступно пониманию посторонних. Знаете ли вы, что я хотел выгравировать на задней стороне камня? «Крик Мерлина»! Ведь содержание, выражаемое моим камнем, напомнило мне о жизни Мерлина после того, как он покинул мир и поселился в лесу. Согласно легенде, люди все еще слышат его крики, но не могут их понять.

Мерлин представляет собой попытку средневекового бессознательного создать фигуру, параллельную Парсифалю. Парсифаль — это христианский герой, тогда как Мерлин, сын дьявола и девственницы, является его темным братом. В двенадцатом веке, когда появилась эта легенда, предпосылки для понимания ее глубинного смысла еще не сложились. Поэтому он кончил изгнанием; отсюда же — «крик Мерлина», доносящийся из леса после его смерти. Этот недоступный человеческому пониманию крик указывает на то, что Мерлин продолжает жить неискупленным. Его история еще не завершена, он все еще где-то бродит. Можно сказать, что тайна Мерлина нашла свое продолжение в алхимии, главным образом в фигуре Меркурия. Затем

1 Первое предложение — фрагмент из Гераклита, второе намекает на культ Митры, третье — на Гомера («Одиссея», книга 24, стих 12). (Прим. автора.)

Мерлин вновь объявился в моей психологии бессознательного — и остается непонятым донныне! Это происходит потому, что большинство людей не понимает, как можно сосуществовать с бессознательным. Я вновь и вновь убеждался в том, насколько трудно дается людям любая встреча с ним.

Я поселился в Боллингене сразу по завершении первой башни, зимой 1923—1924 гг. Насколько я помню, снега не было; возможно, уже начиналась весна. Я провел в одиночестве то ли неделю, то ли несколько больше. Царила неопиcуемая тишина. Никогда еще я не переживал тишину с такой интенсивностью.

Однажды вечером — я все еще могу припомнить это во всех подробностях — я сидел у очага, на который поставил большой металлический чайник, чтобы согреть воду для умывания. Вода закипела, и чайник «запел». Звук был похож на пение множества голосов или струнных инструментов, или на игру целого оркестра. Он очень напоминал полифоническую музыку, которую я вообще-то терпеть не могу, хотя в данном случае она показалась мне чрезвычайно интересной. Казалось, один оркестр играет внутри Башни, а другой — вне ее. То один, то другой выходил на первый план, словно они отвечали друг другу.

Я слушал, как завороченный. Этот концерт, эту волшебную мелодию природы я слушал больше часа. Музыка была нежной, мягкой, и тем не менее она содержала в себе всю дисгармонию природы. И это было правильно, потому что природа не только гармонична; она также пугающе противоречива и хаотична. В музыке чувствовалось то же самое: это был поток звуков, обладающий свойствами воды и ветра, настолько странный, что его просто невозможно описать.

В другую столь же тихую ночь, зимой или ранней весной 1924 года, вновь будучи в Боллингене один, я проснулся от тихого звука шагов, который доносился откуда-то из окрестностей Башни. В отдалении звучала музыка, она стала приближаться, а затем я услышал смеющиеся и разговаривающие голоса. Я подумал: «Кто бы это мог сюда прокрасться? Что все это означает? Здесь только одна тропинка, идущая вдоль озера, да и по ней едва ли кто-нибудь ходит!» Думая обо всем этом, я окончательно проснулся, встал и подошел к окну. Я открыл ставни — все было тихо. Никого не было ни видно, ни слышно; ветра тоже не было. Ничего не происходило.

«Как странно», — подумал я. Ведь шаги, смех, разговоры — все это произвело на меня впечатление полной реальности. И в то же время все это мне, очевидно, приснилось. Я вернулся в постель и принялся размышлять над тем, насколько легко мы поддаемся самообману. Пытаясь угадать причины этого странного сновидения, я опять уснул, и сразу же увидел тот же сон:

снова шаги, разговоры, смех, музыка. Одновременно мне привиделось несколько сот фигурок в темных одеждах; возможно, это были крестьянские дети в праздничных нарядах, сошедшие с гор и теперь толпящиеся в окрестностях Башни, громко топаящие, смеющиеся, поющие, играющие на аккордеонах. В раздражении я подумал: «Что за чертовщина! Я думал, что это сон, но, оказывается, все это происходит в действительности!» Я мгновенно стряхнул с себя сон, вскочил, снова подбежал к окну, открыл ставни, выглянул и обнаружил, что все осталось как прежде: тишайшая лунная ночь и ничего больше. Тогда я решил, что это просто-напросто призраки.

Естественно, я спрашивал себя, что могла бы значить настойчивость, с которой сновидение утверждало свою реальность и всячески подчеркивало, что все виденное мной явилось мне наяву. Обычно такое ощущение возникает при виде призрака. Бодрствовать — значит воспринимать действительность. Следовательно, сон представлял собой ситуацию, эквивалентную действительности, в рамках которой он воссоздал, так сказать, состояние бодрствования. В сновидениях этого рода, в отличие от обычных снов, бессознательное склонно навязывать человеку впечатление реальности, дополнительно усиливаемое благодаря повторяемости. В качестве источников реалий выступают, насколько нам известно, с одной стороны физические ощущения, а с другой — архетипические фигуры.

В ту ночь все было так потрясающе реально — или, по меньшей мере, казалось таковым, — что я с трудом сумел выбрать одну из двух реальностей. Кроме того, я не мог разобраться в значении самого сна. Что могли бы означать эти крестьянские мальчишки-музыканты, шагающие длинными рядами мимо моего дома? Мне казалось, что они явились сюда из любопытства, чтобы поглазеть на Башню.

Никогда прежде мне не доводилось переживать или видеть во сне что-либо подобное; я даже не помню, слышал ли я о каких-нибудь параллелях или аналогиях этому сну. Лишь много позже я нашел объяснение. Это случилось, когда я наткнулся на люцернскую хронику семнадцатого века Реннварда Цизата (Susat). Там рассказывается следующая история: как-то раз на пастбище, высоко на горе Пилат, пользующейся особенно дурной славой из-за привидений (говорят, Вотан доньне предается на этой горе занятиям магией), Цизат был разбужен ночью толпой людей, собравшихся вокруг его шалаша и развлекавшихся музыкой и песнями. Иначе говоря, с ним произошло в точности то же, что и со мной в Башне.

На следующее утро Цизат спросил у пастуха, с которым он провел ночь, что бы это все могло значить. У пастуха был готов ответ: это, должно быть, «ушедшие люди» — на швейцарском

диалекте *sälig Lüt* (что можно перевести также «блаженные»), — то есть Вотановская армия душ умерших. Он пояснил, что эти души имеют обыкновение странствовать по окрестностям и время от времени обнаруживать свое присутствие.

Эти картины многолюдной толпы вполне можно было бы объяснить в терминах компенсации одиночества, внешней пустоты и тишины и, таким образом, классифицировать по аналогии с такими же компенсаторными галлюцинациями отшельников. Но знаем ли мы, на каких реалиях основываются подобные сообщения? Возможно также, что одиночество настолько обострило мои ощущения, что я приобрел способность осязаемо воспринимать процессию «ушедших» рядом с собой.

Объяснение этого переживания как психической компенсации никогда не удовлетворяло меня до конца; назвать его галлюцинацией значило для меня уйти от ответа. Я чувствовал, что обязан серьезно отнестись к этой «галлюцинации» как к чему-то реальному — в особенности в свете ставшего мне известным рассказа, датированного семнадцатым веком.

Наиболее вероятно, что это был феномен из области синхронии. Подобные феномены свидетельствуют о том, что предчувствия или видения часто имеют соответствия во внешней реальности. Я обнаружил, что мое переживание действительно имело некую параллель. В Средние Века такие собрания молодежи происходили довольно регулярно. Наемники (*Reisläufer*) обычно собирались весной, шли пешком из центральной Швейцарии в Локарно, встречались в Каза ди Ферро («Железном доме») в Минузио, а затем все вместе направлялись к Милану. В Италии они служили солдатами при княжеских дворах. Мое видение могло быть одним из этих весенних сходов молодых людей, которые с веселыми песнями прощались со своей родиной.

Когда в 1923 году мы только приступали к строительству дома в Боллингене, моя старшая дочь, увидев предназначенное для этой цели место, воскликнула: «Что это, ты собираешься строить здесь? Ведь вокруг трупы!» Естественно, я подумал: «Какая чепуха! Почудится же такое!» Но четыре года спустя, во время строительства пристройки, мы наткнулись на скелет. Он лежал в земле, на глубине двух метров. В локте застряла пуля от старинного ружья. По некоторым признакам можно было заключить, что тело было брошено в могилу на поздней стадии разложения. Оно принадлежало одному из многих десятков французских солдат, утонувших в Линте в 1799 году (когда австрийцы взорвали мост Гринау во время штурма его французами), и впоследствии выброшенных на берег Верхнего озера. В Башне хранится фотография открытой могилы со скелетом; на ней значится дата обнаружения могилы: 22 августа 1927 года.

Я с почестями похоронил солдата на своем участке земли, трижды выстрелив над могилой из ружья. Затем я установил могильный камень с надписью. Моя дочь точно уловила присутствие мертвого тела. Способность ощущать подобные вещи она унаследовала от моей бабушки по материнской линии.

Зимой 1955—1956 гг. я выгравировал на трех каменных табличках имена моих предков по отцовской линии, после чего установил эти таблички во дворе Башни. Потолок я расписал мотивами, заимствованными из моего герба, герба моей жены, а также гербов наших зятёв.

Изначально гербом семьи Юнг была птица феникс — символ, очевидным образом связанный с понятиями «юный», «юность». Мой дед внес изменения в некоторые элементы герба — вероятно, из чувства противоречия своему отцу. Он был истовым франкмасоном, Великим Магистром Швейцарской ложи, что повлияло на внесенные им изменения. Я упоминаю об этом обстоятельстве — которое само по себе не имело никаких последствий, — поскольку оно принадлежит к историческому контексту моего мышления и моей жизни.

Из-за дедова вмешательства в моем гербе уже нет изображения птицы феникс. Вместо этого в правом верхнем углу изображен голубой крест, а в левом нижнем — синие виноградные гроздья на золотом поле; их разделяет голубая полоса с золотой звездой. Символика герба имеет масонское или розенкрейцерское происхождение. Розенкрейцерские крест и роза символизируют противоположности («per crucem ad rosam» — «через крест к розе»), то есть христианский и дионисийский элементы; аналогично, крест и виноградные грозди символизируют небесный и хтонический духи. Объединяющим символом является золотая звезда — *aurum philosophorum* (философское золото).

Розенкрейцеры ведут свое происхождение от герметической, то есть алхимической философии. Одним из основателей ордена был Михаэль Майер (1568—1622), известный алхимик и младший современник не слишком известного, но довольно влиятельного ученого XVI столетия Герардуса Дорнеуса; трактаты последнего составляют первый том «Химического театра» (*Theatrum Chemicum*) 1602 года. Оба они жили во Франкфурте — городе, который, судя по всему, был центром алхимической философии того времени. Так или иначе, в качестве пфальцграфа¹

1 В Священной Римской империи германской нации (962—1806) пфальцграфами (от средневекового немецкого *Pfalz* — императорский дворец) первоначально назывались представители императора, осуществлявшие судебную власть в округе. Постепенно должность превратилась в наследственный титул.

и личного врача Рудольфа II¹ Михаэль Майер был своего рода местной знаменитостью. В соседнем Майнце в то же время жил доктор медицины и права Карл Юнг (ум. в 1654 г.), о котором ничего не известно, поскольку фамильное древо обрывается на моем прапрадеде, жившем в начале восемнадцатого века. Это был Зигмунд Юнг, *civis Moguntinus* (гражданин Майнца). Лакуна возникла вследствие того, что архивы Майнца сгорели при осаде города в период войны за испанское наследство. Есть все основания предполагать, что ученый и врач Карл Юнг знал труды обоих алхимиков, так как тогдашняя фармакология все еще находилась под большим влиянием Парацельса. Дорнеус был преданным сторонником Парацельса; он даже составил объемистый комментарий к Парацельсову трактату *De Vita Longa* («О долгой жизни»). Упорнее, чем кто-либо иной из алхимиков, он занимался процессом индивидуации. Если вспомнить, что значительная часть трудов моей жизни так или иначе имеет отношение к проблеме противоположностей и в особенности к алхимическим символам противоположности, все это не лишено определенного интереса.

Работая над каменными табличками, я осознал, что между мною и моими предками существует своего рода роковая связь. Я очень сильно ощущаю на себе влияние вещей или вопросов, оставленных моими родителями, дедами и более отдаленными предками в состоянии незавершенности и без ответов. Часто кажется, что внутри семьи есть какая-то безликая карма, переходящая от родителей к детям. У меня всегда было ощущение, что мне предстоит решить вопросы, поставленные судьбой перед моими праотцами, но все еще не решенные; мне также неизменно казалось, что я обязан продолжить или, возможно, завершить то, что прошлое оставило на мою долю незавершенным. Трудно определить, являются ли такие вопросы прежде всего личными или общими (коллективными) по своей природе. Мне представляется, что верно скорее последнее. Коллективная проблема, не распознанная как таковая, всегда обнаруживает себя как личностная и в отдельных случаях может показаться нарушением порядка в психической субстанции индивида. В подобных случаях в личной сфере, действительно, имеют место нарушения, но они не обязательно первичны; с тем же успехом они могут носить вторичный характер, как последствия невыносимых изменений в общественной атмосфере. Значит, причину нарушений следует искать не столько в непосредственном окружении личности, сколько в коллективной ситуации. Психотерапия все еще недостаточно учитывает эту возможность.

Как любой человек, хоть в какой-то степени способный к са-

1 Рудольф II — император Священной Римской империи с 1576 по 1612 г.

моанализу, я очень рано привык думать, что раздвоение моей личности касается только меня, что это предмет моей личной ответственности. Фауст, конечно, несколько облегчил мое состояние, сказав: «Но две души живут во мне / И обе не в ладах друг с другом»¹; но он не прояснил причин этой двойственности. В каком-то смысле его прозрение казалось мне относящимся прямо ко мне. В те дни, когда я прочел «Фауста» впервые, я еще не мог ощутить, до какой степени удивительный героический миф Гете представляет собой коллективный опыт и пророчество о грядущей судьбе немцев. Поэтому я чувствовал себя вовлеченным в этот миф лично, и когда Фауст в своей самонадеянности и гордыне стал причиной смерти Филемона и Бавкиды, я ощутил свою личную вину — словно я сам способствовал убийству двух стариков. Эта странная мысль встревожила меня, и я посчитал своим долгом загладить это преступление или предотвратить его повторение.

Мой ошибочный вывод, казалось, получил дополнительное подтверждение в некоторых ложных сведениях, которые стали мне известны в те давние годы. До меня дошли слухи, будто мой дед Юнг был незаконным сыном Гете². Мне сразу же показалось, что эта глупая история подтверждает и объясняет мою странную реакцию на «Фауста». Я, конечно, не верил в реинкарнацию, но инстинктивно ощущал существование того понятия, которое индусы называют кармой. Поскольку в те времена я не имел понятия о существовании бессознательного, я не мог психологически истолковать собственные реакции. Кроме того, я еще не знал, что будущее бессознательно готовится задолго до своего осуществления и поэтому может быть угадано ясновидящими (впрочем, это и сегодня мало кому известно). Вот почему когда стало известно о коронации кайзера Вильгельма I в Версале³, Якоб Буркхардт воскликнул: «Это гибель Германии!» Архетипы Вагнера уже грозно стучали в ворота, а рядом с ними явилось дионисийство Ницше — которое лучше было бы приписать богу опьянения, Вотану. Самонадеянность вильгельмовской эры привела к отчуждению Европы и в конечном счете открыла путь катастрофе 1914 года.

В ранней юности (около 1893 года) я был бессознательно захвачен духом времени и еще не умел избавиться от его подавляющего воздействия. «Фауст» затронул во мне некую жизнен-

1 Слова Фауста из 1-й части трагедии Гете (перевод Б. Пастернака).

2 См. примечание 1 на с. 43.

3 Коронация прусского короля Вильгельма I в качестве германского императора в Версале (18 января 1871 года) стала возможна в результате победы Пруссии во франко-прусской войне. Данное событие положило начало Германской империи («Второму райху») и традиционно считается моментом величайшего исторического триумфа Германии.

но важную струну; он поразил меня настолько глубоко, что мне ничего не оставалось, кроме как воспринимать его как чисто личное переживание. Особенно существенно то, что он пробудил во мне проблему противоположностей: добра и зла, духа и материи, света и тьмы. Фауст, этот недалекий, посредственный философ, встречается с темной стороной своего существа, со своей зловещей тенью — Мефистофелем, который, несмотря на стремление к всеотрицанию, воплощает истинный дух жизни, столь яркий на фоне сухого, бесплодного схоласта, балансирующего на грани самоубийства. Здесь мои личные, внутренние противоречия предстали в драматизированной форме: Гете, по существу, описал основную схему и модель моих собственных конфликтов и решений. Дихотомия Фауст-Мефистофель пришла к единству в рамках одной личности, и этой личностью оказался я. Иными словами, я был поражен в самую сердцевину своего существа и распознал в этом свою судьбу. Поэтому все критические стороны драмы коснулись меня лично; с одним я был готов горячо согласиться, с другим — не менее горячо спорить. Никакое решение не могло бы оставить меня равнодушным. Впоследствии я сознательно связал свою работу с тем, что Фауст оставил без внимания: с уважением к вечным правам человека, признанием роли «древнего», непрерывностью культуры и истории духа¹.

Наши души, подобно телам, построены из отдельных элементов, которые в том же составе присутствовали уже у наших предков. «Новизна» каждой индивидуальной души — это еще одна из бесконечного количества разнообразных комбинаций исконных компонентов. Стало быть, тело и душа в высшей степени историчны и не находят себе соответствующего места среди нового, то есть среди вещей, лишь недавно явившихся на свет. Иначе говоря, компоненты, унаследованные нами от предков, лишь отчасти живут в этих вещах как у себя дома. Наша психическая субстанция активно претендует на то, чтобы покончить счеты со средневековьем, классической древностью и первобытностью; но в действительности мы еще очень далеки от этого. Очертя голову, мы бросились в водопад прогресса, отрывающего нас от наших корней и все более и более остервенело уносящего в будущее. Стоит нам пробить брешь в собственном прошлом, как оно исчезает, и тогда движения вперед уже, как

1 Отношение Юнга выразилось в надписи над воротами боллингенской Башни: *Philemonis Sacrum — Fausti Poenitentia* («Жертвоприношение Филемона — Раскаяние Фауста»). После того, как ворота были заделаны, Юнг поместил те же слова над входом во вторую башню. (Прим. А. Яффе.)

правило, не остановить. Но ведь именно утрата связи с прошлым, отрыв от корней порождают так называемое «недовольство культурой» и ту беспорядочную спешку, благодаря которой мы живем больше в будущем с его химерическими обещаниями «золотого века», чем в настоящем, за которым никак не может поспеть весь наш эволюционный фон. Мы нетерпеливо рвемся к новизне, движимые постоянно возрастающим чувством неполноты, неудовлетворенности и беспокойства. Мы уже кормимся не тем, что имеем, а обещаниями; мы живем не в свете нынешнего дня, а во тьме будущего, от которого почему-то ждем истинного восхода солнца. Мы отказываемся признать, что любое улучшение оплачивается ухудшением в чем-то ином: так, надежды на большую свободу перечеркиваются постоянно возрастающим подчинением человека государству, не говоря уже о страшных угрозах, которые несут с собой блестящие открытия современной науки. Чем меньше мы понимаем то, к чему стремились наши отцы и праотцы, тем меньше мы понимаем себя. Мы всячески способствуем отрыву индивида от его корней и направляющих инстинктов; в результате человек становится частичкой массы, управляемой лишь тем, что Ницше некогда назвал «духом тяготения» («Geist der Schwere»).

Прогрессивные преобразования, состоящие в освоении новых методов и разного рода замысловатых изобретениях, конечно, могут поначалу произвести яркое впечатление, но в дальней перспективе они сомнительны и часто обходятся слишком дорого. Они ни в коей мере не повышают общий уровень удовлетворенности и счастья людей. В большинстве случаев они сводятся к обманчивому «подслащиванию» бытия: это относится, например, к всемерному повышению скорости коммуникаций, что неприятно ускоряет темп жизни; в итоге у нас остается меньше свободного времени. *Omnis festinatio ex parte diaboli est* — «любая спешка — от дьявола», как говорили старые мастера.

С другой стороны, регрессивные преобразования обычно менее дорогостоящи и к тому же более долговечны. Они означают возвращение к более простым, проверенным и надежным обычаям прошлого и всячески ограничивают использование газет, радио, телевидения и других новаций, будто бы экономящих наше время.

В этой книге я отвел немало места своему субъективному видению мира, которое, однако же, не является порождением рационального мышления. Это скорее видение человека, преднамеренно прикрывающего глаза и уши, чтобы как можно лучше увидеть образ и услышать голос бытия. Когда наши впечатления слишком отчетливы, мы оказываемся всецело привязаны к настоящему и не имеем возможности узнать, как слышит и по-

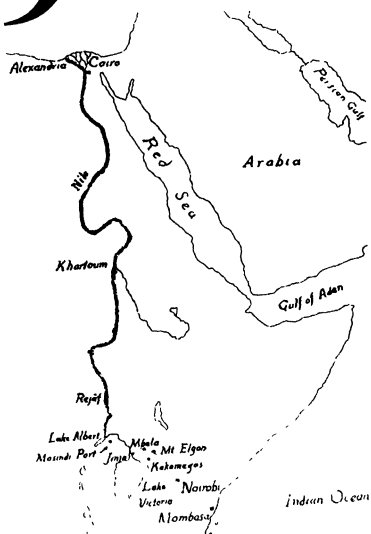
нимает настоящее наша исконная, унаследованная от предков психическая субстанция, то есть как реагирует на текущее мгновение наше бессознательное. Таким образом, мы ничего не узнаем о том, получают ли унаследованные от предков компоненты психики хоть какое-то удовлетворение в нашей эмпирической жизни, или они отвергаются ею. Внутренний покой и удовлетворенность жизнью во многом зависят от того, насколько историческая семья, неотъемлемая от любой личности, может быть приведена в гармонические отношения с эфемерными условиями настоящего.

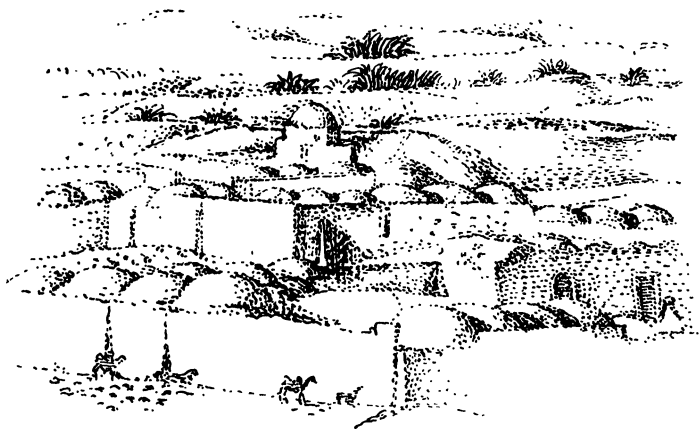
В моей боллингенской Башне живешь словно во многих столетиях одновременно. Это место переживет меня. Своим местоположением и стилем оно обращено назад, в далекое прошлое. Лишь очень немногое в нем свидетельствует о настоящем.

Если бы в этом доме поселился человек шестнадцатого века, он обнаружил бы только две незнакомые вещи: керосиновую лампу и спички. Здесь нет ни телефона, ни электрического света — ничего, что могло бы потревожить мертвецов. Более того, присутствие душ моих предков поддерживается самой атмосферой дома, ибо я отвечаю вместо них на вопросы, которые в их жизни остались без ответа. По мере сил я нащупываю эти ответы. Я даже рисую их на стенах. Мой дом словно населяет огромная и молчаливая семья, жизнь которой продолжается долгие века. Я живу здесь в своей «второй ипостаси»; отсюда я охватываю взглядом круговорот непрестанно возникающей и преходящей жизни.

9

Путешествия





1 СЕВЕРНАЯ АФРИКА

В начале 1920 года один мой друг предложил сопровождать его в деловой поездке в Тунис. Я без колебаний согласился. В марте мы отправились в плавание; вначале мы прибыли в Алжир, после чего, двигаясь вдоль берега, достигли Туниса, а затем Суса. Там я расстался с другом, предоставив ему заниматься своими делами.

Наконец-то сбылась моя давняя мечта: я оказался в неевропейской стране, где не говорят на европейских языках, где преобладают нехристианские представления, где живут люди другой расы, где на внешнем облике толпы отпечатались совершенно иная историческая традиция, совершенно иная философия. Мне часто хотелось увидеть европейца как бы со стороны — то есть посмотреть на свой собственный образ, отраженный чуждой средой. Конечно, я очень сожалел о незнании арабского языка; зато тем более внимательно наблюдал я за людьми и их поведением. Я целыми часами просиживал в арабских кофейнях, слушая разговоры, в которых не понимал ни слова. Но я изучал жесты людей и особенно способы выражения ими своих чувств; я заметил, что их жестикуляция слегка меняется, стоит им заговорить с европейцем. Благодаря этому наблюдению я научился смотреть на себя другими глазами — как на белого человека, оказавшегося вне своего обычного окружения.

То, что европейцы привыкли воспринимать как восточное спокойствие и апатию, показалось мне маской; за ней я ощутил беспокойство, какую-то взволнованность, которой я не мог объяснить. Как ни странно, оказавшись на земле, населенной маврами, я не мог отделаться от непонятного чувства: мне упор-

но казалось, будто здешняя земля пахнет как-то «не так»: словно вся почва насквозь пропитана кровью. Я вспомнил, что эта полоска земли уже выдержала натиск трех цивилизаций: карфагенской, римской и христианской. К каким результатам приведет влияние технологического века на исламскую цивилизацию — покажет время.

Из Суса я выехал на юг, в Сфакс, а оттуда — в Сахару, в городок Тозер, расположенный в одном из оазисов. Этот городок раскинулся на краю невысокого плоскогорья, у подножья которого бьют многочисленные источники тепловатой, слегка соленой воды; вода эта орошает оазис, растекаясь по бесчисленным узким каналам. Высоченные финиковые пальмы образуют зеленую тенистую крышу, под которой цветут персики, абрикосы, смоковницы; нижний же ярус растительности составляет люцерна (по-арабски — альфальфа) поистине невероятного ярко-зеленого цвета. В листве, подобно драгоценным камням, кое-где мелькают зимородки. В относительной прохладе, под деревьями, прогуливаются одетые в белое фигуры; среди них нередко можно увидеть страстно обнявшиеся — очевидно, гомосексуальные — парочки. Я неожиданно почувствовал, что перенесся в эпоху классической Греции, где склонности данного рода служили цементирующим средством для сообщества мужчин и полиса, основанного на этом сообществе. Мне стало ясно, что здесь мужчины разговаривают только с мужчинами, а женщины — только с женщинами. Впрочем, женщины — плотно задрапированные, похожие на монашенок — попадались на глаза крайне редко. Лишь немногие были без покрывал; как объяснил мне мой толмач, это были проститутки. На главных улицах преобладали мужчины и дети.

Толмач подтвердил мое впечатление о том, что в здешних краях гомосексуальность играет очень значительную роль и считается чем-то неотъемлемым от мужской природы; не мешкая, он предложил мне свои услуги. Этому славному малому, конечно, никогда бы не пришли в голову те мысли, которые озарили меня подобно удару молнии и прояснили смысл того, что мне довелось наблюдать. Я почувствовал, что вернулся на много веков назад, в бесконечно более наивный мир юношей, которые, вооружившись скудным знанием Корана, готовились выйти из исходного, державшегося с незапамятных времен сумеречного состояния и осознать собственное бытие перед лицом неотвратимой угрозы с Севера.

Все еще погруженный в грезу об этой статичной, архаической жизни, я вдруг вспомнил о своих карманных часах, символе ускоренного темпа жизни европейца. Над этими ни о чем не подзревающими простыми душами угрожающе нависла темная туча. Они внезапно показались мне похожими на дичь, не видя-

шую охотника, но со смутной тревогой ощущающую по запаху его присутствие — присутствие бога времени, который непременно разобьет на дни, часы, минуты и секунды то «дление», которое ближе всего к вечности.

Из Тозера я направился в оазис Нефта. Мы с толмачом выехали ранним утром, вскоре после восхода солнца. Нашим средством передвижения были крупные, быстроногие мулы. У самого оазиса нам встретился одинокий, одетый в белое всадник на черном муле с посеребренной сбруей. С гордым видом, не поздоровавшись, он прогарцевал мимо нас. Его по-своему изящная, элегантная фигура произвела на меня глубокое впечатление. Вот человек, у которого явно нет карманных часов — не говоря уже о наручных: ибо он, сам того не сознавая, тот же, кем был всегда. В нем отсутствовал элемент нелепости, который почти неотъемлем от европейца. Европейец, конечно, убежден, что ныне он уже не то, что много веков назад; но он не знает, во что успел за это время превратиться. Глядя на свои часы, он может убедиться, что с эпохи «средних веков» время и его синоним, прогресс, незаметно, но безвозвратно лишили его чего-то очень существенного. Он продолжает свое движение к туманным целям со все возрастающей скоростью и полегчавшим багажом. Утрату земного тяготения и сопровождающее эту утрату ощущение неполноты (*sentiment d'incomplétude*) он компенсирует иллюзией триумфов — таких, как пароходы, железные дороги, аэропланы, ракеты, — лишаящих его «дления» и уносящих в иную, чуждую реальность скоростей и взрывных ускорений.

Чем дальше мы углублялись в Сахару, тем медленнее текло для меня время; казалось, еще немного, и оно потечет в обратном направлении. Набегающие волны жара способствовали моему сонному состоянию, а когда мы достигли первых пальм и жилищ оазиса, меня охватило ощущение, что здесь все так, как должно быть и как было всегда.

На следующий день ранним утром я проснулся от незнакомых звуков, доносившихся из-за стен моего жилища. Вчера вечером большая открытая площадка перед домом была пуста; теперь же я увидел на ней множество людей, верблюдов, мулов и ослов. Верблюды фыркали на разные голоса, выражая свое хроническое недовольство жизнью; ослы отвечали им какофоническими воплями, а возбужденные люди бегали вокруг, крича и жестикулируя. Казалось, они совсем ополоумели, что было даже несколько тревожно. Мой толмач объяснил, что нынче отмечается большой праздник. Несколько пустынных племен явились прошедшей ночью, чтобы в течение двух дней заниматься сельскохозяйственными работами для марабута¹. Марабут рас-

1 Марабут — мусульманский старейшина-праведник.

поряжался пособием для бедных и владел обширными сельскохозяйственными угодьями в оазисе. Людям предстояло выгородить новое поле и провести оросительные каналы.

В противоположном углу площади внезапно поднялось облако пыли, а затем взвился зеленый флаг и зазвучали барабаны. Во главе процессии, состоявшей из сотен людей диковатого вида с корзинами и короткими широкими мотыгами в руках, появился белобородый старец на белом муле. В нем ощущалось неподдельное, естественное достоинство; казалось, ему не меньше ста лет. Это и был марабут. Люди плясали вокруг него, ударяя в маленькие барабаны. Все перемешалось: дикое возбуждение, резкие выкрики, пыль и жара. С фанатической целеустремленностью процессия прошествовала к оазису, как на битву.

Я следовал за этой ордой на почтительном расстоянии, а мой толмач не пытался побудить меня приблизиться к ней, пока мы не достигли того места, где разворачивалась «работа». Здесь — невероятно! — царило еще большее возбуждение. Люди били в барабаны и громко кричали; территория походила на потревоженный муравейник, и все делалось в невероятной спешке. Держа в руках корзины с землей, люди отплясывали в ритме барабанной дробы; их товарищи в это же время очень быстро мотыжили землю, выкапывали канавы и воздвигали запруды. Посреди всей этой сумятицы марабут на белом муле отдавал команды полным достоинства, спокойным и слегка утомленным тоном, единственно приличествующим его преклонному возрасту. Везде, где бы он ни оказывался, спешка возрастала, а крики и барабанный бой становились громче; все это создавало фон, чрезвычайно эффектно оттенявший святого человека. К вечеру толпа, судя по всему, утомилась; всеобщее возбуждение спало, и присутствующие, один за другим, погрузились в глубокий сон рядом со своими верблюдами. Ночью, после обычного оглушительного собачьего концерта, воцарилось глубокая тишина — пока, наконец, при первых лучах солнца людей не призвало на утреннюю молитву заклинание муэдзина, которое, как всегда, глубоко меня взволновало.

Я понял, что эти люди живут аффектами; эмоции движут всеми их действиями и составляют суть их жизни. Их сознание — которым также движут внутренние импульсы и аффекты — заботится об их ориентации в пространстве и передает впечатления от окружающего. Но в нем нет места рефлексии; «Я» этих людей почти лишено какой бы то ни было самостоятельности. Это не так уж сильно отличается от того, что происходит с европейцами: но все-таки мы несколько сложнее. Европейец в известной мере наделен волей и целеустремленностью; но нашей жизни явно недостает яркости переживания.

Я не хотел поддаваться обаянию первобытности, но тем не

менее не избегал своего рода психической инфекции. Внешне это проявилось в инфекционном энтерите, который через несколько дней был излечен благодаря принятой в этих краях терапии — рисовому отвару и каломели.

Полный впечатлений и мыслей, я вернулся в Тунис. В ночь перед отплытием в Марсель я увидел сон, подытоживший накопленный мною новый опыт. Именно так и должно было быть, поскольку я уже привык жить одновременно в двух плоскостях: находясь в одной из них — сознательной, — я пытался достичь понимания, но терпел неудачи, тогда как бессознательное стремилось выразить нечто, но не могло сформулировать этого иначе, как через сновидение.

Итак, мне снилось, что я нахожусь в арабском городе. Как в большинстве арабских городов, в нем была цитадель — касба. Город располагался на обширной равнине и был обнесен четырехугольной стеной с четырьмя воротами.

Внутри городской стены касба была окружена широким, наполненным водою рвом (что в арабских странах вообще-то не принято). Я стоял перед переброшенным через ров деревянным мостом, который вел к мрачному подковообразному portalу. Вход был открыт. Стремясь увидеть цитадель также и изнутри, я двинулся по мосту. Когда я находился примерно на его середине, из ворот навстречу мне вышел красивый смуглый араб с аристократическими, почти царственными манерами. Я знал, что этот юноша в белом бурнусе — принц, владеющий цитаделью. Подойдя поближе, он внезапно напал на меня и попытался свалить с ног. Мы схватились в борьбе. Не выдержав тяжести наших тел, перила моста обрушились, и мы оба упали в ров. Он изо всех сил давил мне на голову, пытаясь меня утопить. Поняв, что надо спасаться, я тоже попытался затолкнуть его голову под воду. Я сделал это, хотя искренне восхищался им — но мне вовсе не хотелось погибать. У меня не было намерения его убивать; я просто хотел, чтобы он отключился и прекратил бороться.

Затем декорация сна изменилась, и мы вместе с принцем оказались в обширной сводчатой восьмиугольной комнате в центре цитадели. Комната была очень светлой, просторной и красивой. Вдоль беломраморных стен стояли низкие диваны, а передо мною на полу лежала открытая книга с черными буквами, написанными каллиграфическим почерком на молочно-белом пергаменте. Это были не арабские письма; они напомнили мне скорее уйгурские письма из Западного Туркестана, с которыми я имел возможность познакомиться благодаря манихейским фрагментам из Турфана. Не зная содержания книги, я сразу почувствовал, что она *моя*, и ее написал я. Юный принц, с которым я только что боролся, сидел на полу по правую руку

от меня. Я объяснил ему, что теперь, после того, как я его одолел, он обязан прочесть книгу. Но он не соглашался. Я положил руку ему на плечо и с отеческой добротой и терпеливостью все-таки заставил его прочесть книгу. Я знал, что это необыкновенно важно, и он в конце концов подчинился.

В моем сновидении юноша-араб был двойником того горделивого араба, который прогарцевал мимо меня, не поздоровавшись. Будучи обитателем цитадели, он был воплощением Самости или, скорее, посланником, эмиссаром Самости: ведь «каба», из которой он вышел, была идеальной мандалой — цитаделью, обнесенной квадратной стеной с четырьмя воротами. В его попытке убить меня ощущался отголосок мотива борьбы Иакова с ангелом¹; пользуясь библейским языком, он был подобен ангелу Господню, посланнику Божьему, возжелавшему убить людей потому, что он не знал их.

Вообще говоря, ангел должен был бы иметь свое обиталище во мне. Но ему была известна только «ангельская» правда; в людях же он не разбирался. Именно поэтому он вначале выступил в качестве моего врага; я, однако же, сумел постоять за себя. Во второй части сна хозяином цитадели был уже не принц, а я; принц же сидел у моих ног и должен был научиться понимать мои мысли или, скорее, научиться познавать человека.

Конечно, встреча с арабской культурой глубоко меня поразила. Эмоциональная натура этих не склонных к рефлексии людей, настолько более близких к жизни, чем мы, оказывает сильное и разнообразное воздействие на те исторические слои внутри нас, которые мы уже преодолели и оставили позади — или, во всяком случае, считаем преодоленными. Это похоже на рай детства, из которого, как нам кажется, мы уже вышли, но который при малейшем провоцирующем толчке становится источником все новых и новых поражений. Что же касается нашего культа прогресса, то чем настойчивее мы, под его воздействием, стремимся убежать от прошлого, тем более инфантильны наши грезы о будущем.

С другой стороны, для детства характерно то, что благодаря наивности и бессознательности оно, по сравнению со взрослым состоянием, создает более полный образ Самости — то есть образ целостного человека в его чисто личностном качестве. Поэтому вид ребенка или первобытного человека вызывает у взрослых и цивилизованных людей что-то вроде ностальгии, связанной с неосуществленными желаниями и потребностями тех частей личности, которые оказались исключены из приспособившейся к жизни в обществе «персоны» или «маски»².

1 Бытие, 32, 24.

2 «Персона» («маска») — см. Глоссарий.

Поехав в Африку в поисках точки отсчета, находящейся вне сферы действия европейской психической субстанции, я бессознательно хотел обрести ту часть моей личности, которая под влиянием и давлением моей «европейскости» стала невидимой. Часть, о которой я говорю, находится в неосознанной оппозиции моему «Я»; последнее же, в свою очередь, действительно старается ее подавить. В согласии со своей природой эта часть желает лишить меня сознания (утопить под водой), то есть в определенном смысле убить меня; с другой стороны, моя цель состоит в том, чтобы познать и тем самым осознать ее, найти способ ужиться с ней. Смуглая кожа араба выделяет его в качестве «тени»¹ — причем не столько моей личной тени, сколько этнической тени, ассоциируемой не с моей «персоной», а с целостностью моей личности, то есть с Самостью. Как хозяин цитадели, араб представляет своего рода тень Самости. Рационалистически настроенный европеец, видя, что многое человеческое ему чуждо, склонен этим гордиться, не понимая, что его рациональность оплачена частичной утратой жизненной энергии, а первобытная составляющая его личности обречена на более или менее подпольное существование.

Сон показал мне, как на меня подействовала встреча с Северной Африкой. Прежде всего возникла угроза, что мое европейское сознание может быть подавлено неожиданно мощной атакой со стороны бессознательной психической субстанции. На уровне сознания я не отдавал себе отчета ни в чем подобном; напротив, я не мог не чувствовать своего превосходства, поскольку на каждом шагу вспоминал о собственном европейском происхождении. Избежать этого было совершенно невозможно: мое европейское происхождение создавало очень четкую дистанцию между мною и этими столь непохожими на меня людьми. Но я не был готов к тому, что во мне есть бессознательные силы, сильно тяготеющие к этим чужакам и способные породить жестокий внутренний конфликт. Сон символически выразил этот конфликт в форме покушения на убийство.

Лишь спустя несколько лет, после поездки в тропическую Африку, я сумел распознать истинную природу этого внутреннего разлада. В сущности, здесь крылся первый намек на бессознательное стремление «стать черным изнутри» (англ.: «going black under the skin») — духовную опасность, которая всерьез угрожает оторвавшимся от своих корней европейцам в Африке. «Где есть опасность, там возникает и спасение» — эти слова Гельдерлина² часто вспоминались мне в подобных ситуациях. Спасение заключается в предостерегающих сновидениях, через посред-

1 См. Глоссарий.

2 Из гимна «Патмос».

ство которых бессознательные побуждения передаются сознанию. Предостерегающие сновидения свидетельствуют о том, что внутри нас есть нечто, не только пассивно подчиняющееся воздействию бессознательного, но и энергично стремящееся навстречу ему и отождествляющее себя с тенью. Существуют воспоминания детства, способные охватить наше сознание с такой эмоциональной живостью и силой, что мы чувствуем, как переносимся в исходную ситуацию; точно так же и эти с виду чуждые, ни на что не похожие арабские пейзажи пробудили во мне архетипическую память о слишком хорошо известном, но, казалось бы, прочно забытом первобытном прошлом. Мы вспоминаем возможности жизни, подавленные нашей цивилизацией, но кое-где все еще продолжающие существовать. Если бы мы захотели просто, не рефлексировав, пережить их заново, мы непременно впали бы обратно в варварство. Поэтому мы предпочитаем забыть о них. Но стоит им, приняв форму внутреннего конфликта, явиться вновь, как мы стремимся удержать их в нашем сознании и пробуем сопоставить две возможности: жизнь, которой мы в действительности живем, и жизнь, о которой мы забыли. Ведь то, что кажется утраченным, никогда не возвращается без существенного повода. В живой психической структуре ничто не происходит чисто механически: все соответствует закону оптимального функционирования целого, соотносится с целым. Иначе говоря, все происходящее целесообразно и осмысленно. Но поскольку сознание никогда не охватывает целого, оно обычно не способно понять, в чем же заключается эта осмысленность. В результате мы вынуждены до поры до времени смиряться со своим прозаичным существованием и удовлетворяться надеждой, что когда-нибудь, основываясь на новом научном знании, сможем уяснить истинный смысл этого столкновения с тенью нашей Самости. Как бы то ни было, в то время я еще не догадывался о природе этого архетипического переживания и ничего не знал о его исторических параллелях. И все же, несмотря на мою тогдашнюю неспособность понять смысл сна до конца, он прочно запечатлелся в моей памяти вместе с живейшим желанием еще раз, при ближайшей возможности, съездить в Африку. Это желание мне удалось осуществить лишь спустя пять лет.

2 АМЕРИКА: ИНДЕЙЦЫ ПЛЕМЕНИ ПУЭБЛО

Если мы хотим пользоваться своим критическим аппаратом на практике, нам обязательно нужно стать на внешнюю, удаленную от объекта точку зрения. Это в особенности относится к психологии, где в силу самой природы материала степень нашей субъективной вовлеченности оказыва-

ется гораздо выше, чем в любой другой науке. К примеру, как мы можем осознать психологические особенности какой-либо нации, если у нас не бывает возможности посмотреть на свою нацию со стороны? Взглянуть на нее со стороны — значит стать на точку зрения другой нации, а для этого мы должны обрести достаточно полное знание о чужой коллективной душе; в процессе такой ассимиляции мы неизбежно столкнемся со всем тем, что несовместимо с нашей природой и составляет склонности и особенности другой нации. Все, что раздражает нас в других, может помочь нашему пониманию себя. Я понимаю Англию только настолько, насколько вижу, что я, как швейцарец, ей не соответствую. Я понимаю Европу — нашу величайшую загадку — только настолько, насколько вижу, в чем я, как европеец, не соответствую остальному миру. Знакомство со многими американцами, равно как и путешествия по Америке весьма углубили мое понимание европейского характера; мне всегда казалось, что для европейца не может быть ничего полезнее, чем время от времени поглядывать на Европу с верхушки небоскреба. Когда мне впервые довелось посмотреть на Европу со стороны Сахары — причем я был окружен цивилизацией, соотносящейся с нашей примерно так же, как античный Рим с современностью, — я смог по-настоящему ощутить, до какой степени даже в Америке меня подавляет и сковывает культурное сознание белого человека. Поэтому у меня возникло желание продолжить исторические сопоставления и с этой целью углубиться в культуры еще более примитивные.

Во время очередной поездки в США я вместе с группой американских друзей посетил город индейцев-пуэбло в штате Нью-Мексико. Впрочем, назвать это индейское поселение «городом» было бы некоторым преувеличением. На самом деле индейцы этого племени строят деревни; но их густонаселенные, громоздящиеся один на другой дома, равно как и язык и манеры их обитателей невольно ассоциируются именно со словом «город». Там мне впервые в жизни посчастливилось беседовать с представителем другой культуры — с человеком, не принадлежащим к белой расе. Это был вождь пуэбло Таоса, умный, рассудительный человек лет сорока с небольшим. Его звали Охвиз Биано (Горное Озеро). Я говорил с ним так, как мне редко удавалось поговорить с европейцем. Конечно, он был пленником своего мира в той же степени, что и европеец — своего; но какой это был мир! Разговаривая с европейцем, мы, словно в песчаных отмелях, то и дело увязаем в вещах, давно известных, но так и не понятых; в беседе же с этим индейцем корабль свободно плыл по глубокому, неведомому морю. К тому же неизвестно, что привлекательнее: высматривать новые берега или открывать новые подходы к древнейшему, полузабытому знанию.

«Посмотри, — говорил мне Охвиз Биано, — какой жестокий вид у белых людей. Их губы тонки, носы остры, лица испещрены складками. У них пристальный взгляд; они всегда что-то ищут. Что они ищут? Белые всегда чего-то хотят; они постоянно чем-то обеспокоены, постоянно испытывают тревогу. Мы не знаем, чего они хотят. Мы их не понимаем. Мы считаем их сумасшедшими».

Я спросил его, почему он считает белых сумасшедшими, на что он ответил:

— Они говорят, что они думают головой.

— Но ведь это естественно! А чем думаешь ты сам? — удивленно спросил я.

— Мы думаем здесь, — сказал он, указывая на свое сердце.

Я надолго задумался. Мне словно впервые в жизни показали правдивый портрет белого человека; казалось, прежде мне доводилось видеть лишь сентиментальные, приукрашенные цветные открытки. Этот индеец коснулся нашего самого уязвимого места; он снял покров с истины, которой мы не видим. Я ощутил, как во мне, подобно бесформенному туману, растет нечто неизвестное, но в то же время очень близкое и знакомое. И из этого тумана, один за другим, выплывали образы: римские легионы, врывающиеся в галльские города, резко высеченные черты Юлия Цезаря, Сципион Африканский, Помпей. Я увидел римского орла на Северном море и на берегах Белого Нила. Затем я увидел святого Августина, на остриях римских копий несущего христианскую веру бриттам; самые славные случаи насильственного обращения язычников при Карле Великом; банды крестоносцев, разоряющие и уничтожающие все на своем пути. С внезапной тайной горечью я осознал всю лживость старых романтических рассказов о крестоносцах. Затем появились Колумб, Кортес и другие конквистадоры, которые с огнем, мечом, пытками и христианством накинудись на этих далеких пуэбло, мирно грезивших в лучах своего Отца — Солнца. Я увидел также народы тихоокеанских островов, уничтожаемые алкоголем, сифилисом, скарлатиной, в одеждах, которые им навязали миссионеры.

Мне все стало ясно. То, что мы со своей точки зрения зовем колонизацией, миссией по просвещению язычников, распространением цивилизации и т. д., можно увидеть и с другой стороны — и тогда оно обретет черты хищной птицы, зорко высматривающей добычу. Черты эти достойны племени пиратов и разбойников с большой дороги. Все эти орлы и прочие хищные твари, украшающие наши гербы, кажутся мне психологически наиболее точным отражением нашей истинной природы.

В разговоре с Охвиз Биано меня поразило еще одно обстоятельство, на мой взгляд, настолько глубоко связанное с непо-

вторимой атмосферой нашего диалога, что без его упоминания мой рассказ был бы неполон. Наша беседа проходила на крыше пятого этажа главного здания «города». На крышах соседних домов то и дело появлялись фигуры индейцев, закутанных в шерстяные одеяла и погруженных в созерцание странствующего солнца, ежедневно восходящего в ясное небо. Вокруг нас было множество приземистых квадратных саманных домишек с характерными лестницами, ведущими от земли к крышам или от крыш нижних этажей к крышам более высоких ярусов (в прежние, беспокойные времена вход в дом обычно делали на крыше). Перед нами, насколько хватало взгляда, расстилалось холмистое плато Таос (около двух тысяч метров над уровнем моря); на горизонте возвышалось несколько конических пиков — потухших вулканов высотой около четырех тысяч метров. Позади нас слышалось журчание огибающей дома чистой, прозрачной реки, на противоположном берегу которой находилось еще одно красновато-кирпичное поселение; его дома также громоздились друг на друга, делаясь по мере приближения к центральной части все выше и выше и, таким образом, словно предвосхищая абрис американского города-гиганта с небоскребами в центре. На расстоянии примерно двенадцати часов плавания вверх по течению высилась одинокая гора — просто Гора, без названия. Говорят, что в дни, когда гора окутана облаками, мужчины незаметно устремляются туда, чтобы справить какие-то таинственные обряды.

Индейцы-пуэбло необыкновенно молчаливы, а в вопросах, касающихся их религии — совершенно недоступны общению. Они тщательно скрывают свои религиозные обряды; тайна охраняется настолько строго, что я понял безнадежность любых прямых вопросов. Никогда ранее мне не приходилось попадать в подобную атмосферу тайны; ведь все религии современных культурных народов вполне доступны, а их обряды давно перестали быть настоящими таинствами. Здесь же воздух был насыщен тайной, известной всем посвященным, но недоступной белому человеку. Эта странная ситуация заставила меня вспомнить об Элевсине, тайна которого была известна только одному народу и скрыта от всех остальных. Я понял чувства то ли Павсания, то ли Геродота, писавшего: «Мне не позволено назвать имя этого бога». Я ощутил, что здесь нет мистификации: напротив, здесь кроется жизненно важное таинство, и его выдача посторонним грозит крахом всему сообществу и каждому индивиду в отдельности. Сохранение тайны придает индейцам-пуэбло гордость и силу для противостояния господствующей белой расе. Оно сообщает им сплоченность и единство; я не сомневаюсь, что пуэбло сохраняются в качестве самостоятельного сообщества лишь до тех пор, пока их таинства не будут осквернены.

Я был поражен тем, насколько сильно меняются эмоции индейца, когда он заговаривает о своей религии. В обыденной жизни ему свойственна высокая мера самоконтроля и собственного достоинства, граничащая с фатализмом. Но стоит ему заговорить о чем-то, имеющем отношение к таинствам, как его охватывает удивительный эмоциональный подъем, которого он не в силах скрыть. Именно это обстоятельство помогло мне удовлетворить свою любознательность. Как я уже сказал, прямо поставленные вопросы оказались безрезультатны. Поэтому, чтобы узнать о самом существенном, я делал осторожные замечания и следил за столь хорошо знакомыми мне аффективными движениями моего собеседника. Как только я касался чего-то по-настоящему важного, он замолкал или отвечал уклончивой репликой, но при этом выказывал все признаки сильного чувства; часто его глаза наливались слезами. Религиозные представления этих людей, как они полагают, не содержат в себе ничего теоретического (действительно, трудно представить себе теорию, вызывающую слезы на глазах у взрослого мужчины!); это факты, столь же важные и волнующие, сколь и соответствующие им реалии внешнего мира.

Пока мы с Охвиэ Биано сидели на крыше, сияющее солнце поднималось все выше и выше. Указывая на него, вождь сказал: «Разве тот, кто движется там, не есть наш отец? Можно ли говорить иначе? Как может существовать другой бог? Без Солнца ничего не может быть». Чувствовалось, что он взволнован, и его волнение не переставало возрастать; он с трудом выговаривал слова, а под конец воскликнул: «Что делал бы человек, оказавшись в горах один? Ведь без него он даже огня не может развести».

Я спросил своего собеседника, не приходило ли ему в голову, что солнце может быть огненным шаром, созданным каким-то невидимым богом. Мой вопрос не вызвал у него даже удивления, не говоря уже о гневе. Очевидно, этот вопрос не затронул в нем ни единой струны; он даже не счел его глупым. Он остался абсолютно холоден. У меня возникло ощущение, что я натолкнулся на непреодолимую стену. Он ответил только: «Солнце есть бог. Каждый может это видеть».

Конечно, никто из людей не в силах устоять перед огромным воздействием солнца; и все же всеохватывающий эмоциональный подъем, с которым эти зрелые, полные чувства собственного достоинства мужчины говорили о солнце, превзошел мои ожидания и глубоко меня поразил.

Как-то раз я стоял у реки и смотрел на горы, возвышавшиеся над плоскогорьем на две тысячи метров без малого. Я думал о том, что это крыша Американского континента, и что люди здесь живут перед лицом солнца, как эти индейцы-пуэбло, стоя-

щие, закутавшись в одеяла, на крышах своих домов и безмолвно погруженные в созерцание светила. Внезапно слева от меня слышался низкий голос, дрожащий от едва сдерживаемого чувства: «Разве ты не понимаешь, что вся жизнь приходит оттуда, с Горы?» Этот на диво многозначительный вопрос был задан мне пожилым индейцем, неслышно приблизившимся сзади в своих мокалинах. Взглянув на стекающую с горы речку, я понял, какая именно картина внешнего мира побудила его сделать этот вывод. Конечно, любая жизнь приходит с Горы, так как где вода, там и жизнь. В мире нет ничего более очевидного. В его вопросе я ощутил переполненность эмоциями, связанными со словом «гора», и вспомнил легенду о тайных обрядах, справляемых на Горе. Я ответил: «Любой может видеть, что ты говоришь правду».

К сожалению, разговор очень скоро прервался, и я так и не смог добиться более глубокого проникновения в символику воды и горы.

Я заметил, что индейцы пуэбло, не желавшие распространяться на религиозные темы, очень охотно и живо говорили о своих отношениях с американцами. «Почему, — спрашивал меня Горное Озеро, — американцы не оставляют нас в покое? Почему они хотят запретить наши танцы? Почему они чинят нам препятствия, когда мы хотим забрать нашу молодежь из школы, чтобы отвести ее в «кива» (место, где справляются ритуалы) и обучить основам нашей религии? Мы же ничего не делаем против американцев!» После затянувшегося молчания он продолжил: «Американцы хотят разделаться с нашей религией. Неужели они не могут оставить нас в покое? Ведь то, что мы делаем, нужно не только нам, но и им. Да, мы делаем это для всего мира. Это идет на пользу всем людям».

Судя по его взволнованности, он коснулся какого-то исключительно важного элемента своей религии. Поэтому я спросил: «Значит, по-вашему, то, что вы делаете в своей религии, приносит пользу всему миру?» Он ответил с большим подъемом: «Конечно. Если бы не мы, что бы произошло с миром?» И многозначительным жестом показал на солнце.

Я почувствовал, что мы приблизились к исключительно деликатной материи, граничащей с темой племенных таинств. «Прежде всего, — сказал он, — мы народ, который живет на крыше мира; мы — сыны нашего Отца, Солнца, и с помощью нашей религии мы ежедневно помогаем ему пересекать небо. Если бы нам пришлось прекратить справлять обряды нашей религии, через десять лет солнце перестало бы всходить, и воцарилась бы вечная ночь».

Теперь я понял, на чем основывается «достоинство», спокойное самообладание каждого индейца в отдельности. Ведь он —

сын солнца; его жизнь космологически осмысленна, ибо он ежедневно помогает всходить и заходить отцу и хранителю жизни. Стоит нам сопоставить с этой уверенностью чисто рассудочные доводы, служащие нам для оправдания собственного существования, как смысл нашей жизни неизбежно покажется чрезвычайно бедным. Из чистой зависти мы чувствуем себя обязанными улыбаться наивности индейцев и гордиться собственным умом — ведь в противном случае нам непременно открылось бы все наше убожество. Знание не обогащает нас; оно лишь неуклонно отдаляет нас от мифического мира, бывшего некогда тем самым домом, в котором мы обитали по праву рождения.

Чтобы прийти к постижению точки зрения индейцев-пуэбло, мы должны отвлечься от европейского рационализма и перенестись в чистый горный воздух этого пустынного плоскогорья, раскинувшегося между обширными континентальными прериями и Тихим океаном; мы должны забыть также о достигнутом нами подробном знании мира и заменить его на кажущийся бесконечным горизонт и полное незнание всего, что лежит по ту сторону. «Вся жизнь приходит с гор»: это непосредственно убеждает индейца; он совершенно уверен, что живет на крыше неизмеримого мира, ближе всех к Богу. Его голос скорей, чем другие, касается Божьего слуха; его обряд быстрее всех достигает далекого солнца. Святость гор, явление Иеговы на горе Синай, вдохновение, снизошедшее на Ницше в Энгадине — все это явления одного порядка. Нелепая с виду мысль, будто ритуальный акт может магически воздействовать на солнце, при более внимательном рассмотрении утратит значительную часть своей иррациональности и покажется более близкой нашему образу мышления. Наша христианская религия — кстати, так же, как и любая иная — пропитана представлением, что особые действия или способы деятельности могут повлиять на Бога; например, такое влияние могут оказать определенные обряды, или молитвы, или соблюдение угодных Ему нравственных установлений.

Культовый обряд — это ответ и реакция человека на воздействие, оказываемое на него Богом. Но у обрядов есть и иное предназначение: их наделяют силой воздействия, они становятся своего рода магическим «принуждением». Способность человека формулировать достойные ответы на всеподавляющее воздействие Бога и воздавать Богу нечто, имеющее жизненно важное значение для Него Самого, порождает гордость, ибо возвышает человеческую личность до метафизического уровня. «Бог и мы» — именно это отождествление, пусть даже представляющее собой всего лишь бессознательное *sous-entendu*¹, несом-

1 Нечто подразумеваемое (*франц.*).

ненно, лежит в основе завидной безмятежности индейца-пуэбло. Такой человек находится на своем месте в самом полном смысле слова.

3 КЕНИЯ И УГАНДА

Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses,
*Rousseau*¹

Посетив в 1925 году выставку в Уэмбли (Лондон), я испытал настолько глубокое впечатление от прекрасно представленного на ней обзора жизни племен, находящихся под британским владычеством, что решил в ближайшем будущем предпринять путешествие по тропической Африке.

Осенью того же года с двумя друзьями, англичанином и американцем, я отправился в плавание на вурмановском пароходе. Нашей целью был порт Момбаса; вместе с нами на судне находилось множество молодых англичан, которым предстояло занять должности в африканских колониях. По царившей на судне атмосфере чувствовалось, что эти пассажиры путешествуют не ради удовольствия, а выполняют миссию, предначертанную им судьбой. Конечно, жизнерадостность не была им чужда; но во всем их поведении ощущалась некая глубоко серьезная нота. Прежде чем я пустился в обратный путь, я кое-что узнал о судьбе некоторых своих попутчиков. В течение первых же двух месяцев несколько человек умерло от тропической лихорадки, амёбной дизентерии и пневмонии. Среди них был и молодой человек, сидевший напротив меня за столом. Среди умерших был также доктор Экли (Akley), сделавший себе имя как основатель заповедника для горилл в Центральной Африке; незадолго до нашего африканского путешествия я встречался с ним в Нью-Йорке.

Момбаса запечатлелась в моей памяти как влажно-жаркое европейско-индийско-негритянское поселение, находящееся под покровом пальм и манговых деревьев. Она расположена чрезвычайно живописно: на берегу естественной бухты, с возвышающимся над городом старым португальским фортом. На третий день мы на поезде узкоколейной железной дороги выехали в глубь страны, в Найроби; стоило поезду тронуться с места, как мы почти мгновенно погрузились в тропическую ночь.

Поначалу наш путь проходил по береговой полосе; мы пересекли множество негритянских деревушек, где люди сидели, беседуя, вокруг маленьких костров. Вскоре дорога пошла вверх. Поселения кончились, и ночь стала кромешно-черной. Начало холодать, я заснул. Проснулся я с первыми лучами утреннего

1 Все, что выходит из рук Создателя, хорошо (Руссо) (*франц.*).

солнца. Поезд, окутанный красным облаком пыли, огибал крутой красный утес. Над нами, на самой вершине, стояла неподвижная стройная фигура шоколадного цвета: опираясь на копые, человек смотрел вниз, на поезд. За ним высился гигантский кактус в форме канделябра.

Это зрелище меня буквально околдовало. Оно представляло собой нечто, с одной стороны совершенно чуждое и незнакомое, а с другой — оставляющее сильнейшее впечатление однажды виденного (*déjà vu*). Мне казалось, что этот момент уже был мною пережит, что я всегда знал этот мир, просто прежде он был отделен от меня во времени. Я словно перенесся в край своей юности, а этот темнокожий человек был моим знакомым, ждавшим меня пять тысяч лет.

Это странное переживание наложило свой отпечаток на все те ощущения, которые мне довелось испытать за время путешествия по черной Африке. Я могу вспомнить еще только один случай подобного узнавания чего-то, известного с незапамятных времен. Это было, когда я со своим бывшим руководителем, профессором Ойгеном Блейлером¹, наблюдал парапсихологический феномен. Прежде мне казалось, что такое фантастическое зрелище меня непременно ошеломит. Но в действительности я не почувствовал ни малейших признаков удивления; напротив, я воспринял наблюдаемое явление как нечто совершенно естественное, поскольку давно уже мне знакомое.

Я не мог угадать, какая именно струна во мне отозвалась на зрелище этого одинокого темнокожего охотника. Я лишь знал, что этот мир вот уже многие тысячелетия был моим.

Все еще несколько ошеломленный, около полудня я прибыл в Найроби — город, расположенный на высоте тысячи восьмисот метров над уровнем моря. Избыток ослепительного света напомнил мне сияние солнечных лучей в Энгадине, когда, поднимаясь на гору, покидаешь низинную зону зимних туманов. К моему удивлению, все африканцы, во множестве собравшиеся на железнодорожной станции и предлагавшие свои услуги в качестве проводников или носильщиков, были в старомодных шерстяных лыжных шапочках серого или белого цвета. Именно такие шапочки я часто видел и сам носил в Энгадине. Отворот шапочки можно опустить и превратить в своего рода козырек; в Альпах это служит хорошей защитой от ледяного ветра, а в здеших краях — от нестерпимой жары.

Из Найроби мы на маленьком «форде» выехали в долину Ати,

1 О. Блейлер (Bleuler) (1857—1939) — выдающийся швейцарский психиатр, психопатолог и психолог, многолетний директор клиники Бурггельцли, в 1909—1913 гг. — соиздатель (вместе с Фрейдом) первого психоаналитического журнала. Редактором этого журнала был Юнг.

представляющую собой огромный заповедник. С невысокого холма открылся поистине величественный вид на эту обширную саванну. У самого горизонта виднелись гигантские стада газелей, антилоп-гну, зебр, бородавочников и т. п. Пощипывая траву, стада неторопливо двигались вперед, подобно медленно текущим рекам. Глубокая тишина нарушалась только редкими нагнетавшими тоску криками хищных птиц. Это была тишина вечного начала, тишина мира, каким он был всегда, или мира в состоянии небытия, когда еще никому не пришлось побывать в нем и узнать, что это и есть мир. Я покинул своих попутчиков, чтобы насладиться чувством совершенного одиночества. Я ощущал себя первым человеком, открывшим для себя существование мира и тем самым воистину сотворившим его.

Здесь мне с потрясающей ясностью открылся космический смысл сознания. Алхимики говорили: «Искусство совершенствует то, что природа оставляет несовершенным». Человек, воплощенный в моем лице, в невидимом акте творения ставит на мир печать совершенства, даруя ему объективное бытие. Этот акт мы обычно приписываем одному Создателю — не отдавая себе отчета, что поступая так, мы рассматриваем жизнь как машину, рассчитанную до мельчайших подробностей и, вместе с человеческой душой, функционирующую без всякого смысла согласно заранее известным и предустановленным правилам. В подобном унылом, механическом представлении нет места для драмы человека, мира и Бога, нет «нового дня», ведущего к «новым берегам»; все это заменено скучным ходом заранее исчисленных процессов. Мне вспомнился мой старый друг-индеец. Смыслом существования своего племени он считал помощь отцу — солнцу — в его ежедневном прохождении по небу. Потерявшись в безнадежных поисках нашего собственного мифа, я завидовал полноте смысла, кроющегося в этой вере. Но теперь я узнал, в чем заключался предмет моих поисков. Я узнал даже нечто большее, а именно: человек необходим для полноты творения и, в сущности, является вторым творцом мира, поскольку лишь он один дает миру его объективное бытие — ведь без этого наш безмолвно поглощающий пищу, рождающий, умирающий, клюющий носом в течение сотен миллионов лет мир так и ушел бы в глубочайшую ночь небытия неслышанным и неувиденным. Человеческое сознание создало объективное бытие и смысл, и тем самым человек нашел свое неотъемлемое место в великом процессе бытия.

По угандийской железной дороге, которая в те годы все еще строилась, мы доехали до временной конечной станции под названием «Сигистифор» (искаженное английское *sixty four*, «шестьдесят четыре»). Проводники разгрузили объемистый ба-

гаж нашей экспедиции. Я присел на одну из корзин с провизией, которые в здешних краях принято носить на голове, и закурил трубку, размышляя о том, что мы достигли, так сказать, края ойкумены, обитаемой земли, откуда по бесконечным тропкам можно попасть в любой уголок континента. Через некоторое время ко мне подсел пожилой англичанин, по виду землевладелец-сквоттер; он также закурил трубку и спросил меня, куда это мы направляемся. Когда я рассказал ему о наших маршрутах, он спросил:

— Вы впервые в Африке? Я вот живу здесь уже сорок лет.

— Да, мы впервые в Африке, — ответил я. — Во всяком случае, в этой части Африки.

— Раз так, могу ли я дать вам совет? Знаете ли, сударь, это не страна людей, это страна Бога. Значит, если что случится, сидите на месте и не делайте лишних движений. — С этими словами он встал и молча исчез в толпе кишевших вокруг нас негров.

Его слова поразили меня своей значительностью, и я попытался облечь в видимую форму породившее их психологическое состояние. Очевидно, они представляли собой квинтэссенцию его опыта: здесь всем распоряжается не человек, а Бог, то есть не воля и намерение, а непостижимый промысел.

Не успел я продумать свою мысль до конца, как два наших автомобиля были уже готовы к отъезду. В них погрузилась вся наша экспедиция вместе с багажом — всего восемь человек, — и мы кое-как тронулись в путь. Тряска нескольких последующих часов не оставляла возможностей для размышлений. Нам предстояло прибыть в Какамегас, где находилась резиденция местного провинциального комиссара и располагался небольшой войсковой гарнизон; кроме того, здесь же находилась больница и — о диво! — небольшой приют для умалишенных. Наступил вечер, сразу же перешедший в ночь. Тут же началась тропическая гроза с почти непрерывными вспышками молний, громом и ливнем, превратившим даже самые мелкие ручейки в бушующие потоки, и мы мгновенно вымокли с головы до пят.

Примерно в половине первого ночи, когда небо уже начало проясняться, наша группа достигла Какамегаса. Мы совершенно выбились из сил; комиссар, принявший нас в своем доме и угостивший виски, показался нам настоящим спасителем. В камине весело горел вожаделенный огонь. В центре прекрасно обставленной гостиной стоял большой стол с кипой английских журналов. Все выглядело так, словно мы оказались где-нибудь в сельской местности графства Сассекс. Я устал до такой степени, что уже не знал, где сон, а где явь. Затем мы — впервые за все время нашего путешествия — разбили свои палатки. К счастью, в пути ничего не пропало и не испортилось.

На следующее утро я проснулся с сильнейшим ларингитом и

целый день вынужден был провести в постели. Этому обстоятельству я обязан своим знакомством с так называемой «горячечной птичкой» (brainfever bird), особенно замечательной способностью точно выводить гамму до предпоследней ноты, а затем начинать все сначала. Слушать подобное, лежа в горячке — значит подвергать нервы почти невыносимому испытанию.

Крик другого пернатого обитателя банановых плантаций состоит из двух нежнейших, мелодичнейших флейтовых тонов, за которыми следует резкая и гневная финальная нота. «Что природа оставляет несовершенным...». Впрочем, песня «птицы-колокольчика» прелестна без всяких «но»; она напоминает отдаленный колокольный перезвон.

На следующий день мы с помощью комиссара сколотили команду носильщиков, дополненную тремя вооруженными солдатами, и пустились в путь по направлению к горе Элгон, чей кратер, взметнувшийся в небо на высоту 4400 метров над уровнем моря, вскоре открылся нашим взорам. Дорога пролежала через сравнительно сухую саванну, покрытую зонтичными акациями. Повсюду виднелись старые колонии термитов — округлые холмики высотой от двух до трех метров.

Вдоль дороги стояли домики для отдыха путешественников — круглые хижины, прикрытые сверху травой, с утрамбованным земляным полом, открытые и пустые. По ночам, для защиты от незваных посетителей, у входа в каждый такой домик ставился светильник. У нашего повара не было светильника, зато он имел в своем полном распоряжении целую маленькую хижину и был этим чрезвычайно доволен. Но это обстоятельство чуть было не стало для него роковым. Днем раньше он зарезал перед своей хижинкой барашка, купленного нами за пять угандийских шиллингов, и приготовил на ужин отличные бараньи отбивные. После ужина, когда мы сидели и курили вокруг костра, до нас донеслись какие-то странные звуки, похожие не то на медвежье рычание, не то на многоголосый лай и тявканье собак. Постепенно приближаясь, эти звуки перешли в пронзительный истерический хохот. Поначалу я подумал, что это какой-то комический номер в духе Барнума и Бейли. Вскоре, однако, происходящее приняло более угрожающий оборот: нас со всех сторон окружили многочисленные голодные гиены, очевидно, привлеченные запахом бараньей крови. Именно они устроили этот адский концерт; при свете костра можно было ясно разглядеть их глаза, поблескивающие в высоких зарослях сеновой травы.

Хотя мы и считали себя великими знатоками гиен — которые, как предполагается, никогда не нападают на людей, — мы чувствовали себя не вполне уверенно. Вдруг из-за хижины послышался душераздирающий человеческий вопль. Выхватив ружья

(девятимиллиметровую манлихеровскую винтовку и дробовик), мы сделали несколько выстрелов в направлении этих поблескивающих огоньков. Сразу после этого появился наш полумертвый от страха повар; по его словам, в его хижину ворвалась «физи» (гиена) и чуть его не прикончила. Весь наш лагерь разразился громopodobным смехом, который, по-видимому, так напугал гиен, что они, шумно протестуя, пустились в бегство. Носильщики еще долго не могли сдерживать смех, но в конце концов все успокоилось, и остаток ночи прошел без приключений. На следующее утро в нашем лагере появился местный вождь, несший в качестве дара двух цыплят и корзинку яиц. Он умолял нас остаться еще на день и устроить отстрел гиен. Оказалось, что днем раньше они растерзали какого-то старика, спавшего в своей хижине, и съели его. *De Africa nihil certum!*¹

Поутру со стороны хижин наших носильщиков послышались новые раскаты хохота. Судя по всему, они в очередной раз разыгрывали события предшествующей ночи. Один из них исполнял роль спящего повара, тогда как один из солдат — роль гиены, подкрадывающейся к спящему с кровожадными намерениями. Эта сценка повторялась вновь и вновь бесчисленное множество раз, к вящему удовольствию аудитории.

С того дня повару присвоили кличку «Физи». Что касается нас, троих белых, то у нас уже были свои «ярлыки». Моего друга-англичанина называли «Красношейей»: по мнению местного населения, у всех англичан красная шея. Американин, щеголявший своим эффектным гардеробом, был известен как «Бвана Маредеди» («нарядный господин»). Благодаря своей седине (в то время мне было пятьдесят лет), я удостоился клички «Мзи», что в переводе значит «старик»; с их точки зрения мне было чуть ли не сто лет. Старики в этих краях редкость; я почти не встречал людей с седыми волосами. К тому же «Мзи» представляет собой почетный титул; он был пожалован мне как главе «Психологической экспедиции к бугишу». Это название было навязано нам Министерством иностранных дел в Лондоне в качестве *lucus a non lucendo*². Мы действительно ехали на земли племени бугишу, но значительно больше времени провели среди элгоны.

Так или иначе, негры оказались отличными знатоками человеческих характеров. Один из истоков их проницательности кроется в высокоразвитой способности к мимикрии. Они умеют необыкновенно похоже имитировать манеру выражаться, жестикуюляцию, походку; иногда кажется, что их дар перевоплощения не имеет пределов. Их понимание эмоциональной природы

1 В Африке нельзя быть ни в чем уверенным (*лат.*).

2 Пример ложной этимологии: лес называется *lucus*, потому что там не светло (*non lucendo*). (*Прим. Д. Лахути.*)

других людей казалось мне поистине изумительным. Я постоянно вел с ними долгие разговоры, которые они очень любят. В результате мне удалось узнать очень много любопытных вещей.

Полуофициальный статус нашего путешествия дал нам немало преимуществ, поскольку облегчил задачу найма носильщиков; кроме того, мы получили в свое распоряжение вооруженную охрану. Последняя отнюдь не была излишней, поскольку нам предстояло путешествовать по землям, которые все еще не контролировались белыми. В нашем сафари к горе Элгон нас сопровождали капрал и двое рядовых.

Я получил письмо от губернатора Уганды с просьбой взять под свое покровительство некую англичанку, возвращающуюся в Египет через Судан. Было известно, что мы путешествуем по тому же маршруту, а поскольку нам уже приходилось встречаться с этой дамой в Найроби, мы имели возможность убедиться, что в ее лице получим подходящую попутчицу. Более того, мы были обязаны отблагодарить губернатора за активную, разнообразную помощь.

Я упоминаю об этом эпизоде для того, чтобы показать, каким образом архетип оказывает влияние на наши действия. Нас было трое мужчин. Благодаря чистой случайности среди нас не оказалось четвертого: я пригласил участвовать в поездке еще одного своего друга, но в силу обстоятельств он не смог принять моего приглашения. В результате возникло бессознательное или предопределенное сочетание: архетип триады, требующий дополнения в виде четвертого элемента, в чем можно убедиться на многочисленных примерах из истории данного архетипа.

Ввиду своей привычки не уклоняться от случайностей, встречающихся на моем пути, я с удовольствием воспринял появление дамы в нашей чисто мужской компании. Выносливая и бесстрашная, она оказалась ценным противовесом нашей односторонней «мужественности». Когда один из нас заболел тяжелой формой тропической малярии, нам чрезвычайно пригодился ее опыт сестры милосердия во время Первой мировой войны.

После приключения с гиенами мы, невзирая на просьбы вождя, продолжили путь. Вскоре дорога плавно пошла вверх. Признаки лавы третичного периода стали более многочисленны. Мы проехали сквозь пышные заросли огненных деревьев Нанди, щеголявших алыми цветками. Опушки и просеки в зарослях оживлялись гигантскими жуками и еще более гигантскими бабочками изумительной окраски. В глубине зарослей ветви раскачивались под тяжестью любопытных обезьян. Это был поистине райский мир. Большая часть нашего пути проходила по обширной саванне с глубокой красной почвой. Продвигаясь главным образом по невероятно извилистым тропкам, проло-

женным местными жителями, мы вступили в обширный лесной массив Нанди. Затем, без всяких происшествий, мы достигли туристического домика у подножия горы Элгон, вот уже несколько дней нависавшей над нашими головами все более и более тяжелой громадой. Отсюда, по узкой тропинке, нам предстояло начать процесс восхождения. Нас приветствовал местный вождь, сын знахаря — «лайбона». Он был на пони — единственной лошади, виденной нами в этих краях. От него мы узнали, что его племя принадлежит к народу масаи, но ведет замкнутую жизнь на склонах Элгона.

Спустя несколько часов после начала восхождения мы достигли обширной и совершенно прелестной лужайки, посреди которой протекал светлый прохладный ручей с водопадом высотой около трех метров. Заводь под самым водопадом стала местом нашего купания. Свой лагерь мы разбили на расстоянии примерно трехсот метров, на покатом сухом склоне, в тени зонтичных акаций. Невдалеке, примерно в пятнадцати минутах ходьбы, находился туземный крааль, состоявший из нескольких хижин и «бомь» — дворики, обнесенного колючей изгородью. С вождем я объяснялся на суахили.

Воду для нас носили уроженки этого крааля — женщина и две ее дочери-подростка; все они были обнажены (если не считать набедренных повязок из ракушек-каури, которые в этих краях играют также роль денег) и удивительно хороши собой — с шоколадно-коричневой кожей, тонкими талиями и аристократической неторопливостью движений. Для меня было большим удовольствием каждое утро слышать нежное позвякивание железных колец, которые они носили на лодыжках; вслед за этим звуком, возвещавшим об их приближении со стороны ручья, из желтых зарослей слоновьей травы выплывали и они сами, держа на головах амфоры с водой. Помимо колец на лодыжках, их украшали также бронзовые браслеты и ожерелья и медные или деревянные цилиндрические серьги. Нижнюю губу пронзал костяной или железный гвоздь. Наделенные изящными манерами, они всегда приветствовали нас застенчивыми, обаятельными улыбками.

За исключением одного-единственного случая, о котором я вскоре расскажу, я никогда не заговаривал с туземными женщинами. Собственно говоря, именно такого поведения от меня и ожидали. Как и в южной Европе, здесь мужчины говорят только с мужчинами, а женщины — только с женщинами. Любое отступление от этого правила означает любовное ухаживание. Белый человек, забывший об этом, не только теряет свой авторитет, но и серьезно рискует сам «сделаться черным». Мне довелось наблюдать несколько в высшей степени поучительных примеров подобного рода. Нередко туземцы говорили мне о том или ином

белом человеке: «Он — плохой человек». Когда я спрашивал, почему они так думают, они отвечали: «Он спит с нашими женщинами».

Мужчины моих элгони занимались скотоводством и охотой, тогда как женщины отождествлялись с «шамбой» — полем, на котором растут бананы, сладкий картофель, каффир (зерновое сорго) и кукуруза. Женщины смотрели за детьми, козами и цыплятами, обитавшими вместе со всей семьей в круглой хижине. Их достоинство и естественность обуславливались той ролью, которую они, будучи исключительно активными деловыми партнерами, играли в экономике. Концепция женского равноправия является порождением эпохи, когда подобное партнерство утратило свое значение. Первобытным обществом управляют бессознательные эгоизм и альтруизм; обеим позициям мудро воздается должное. Бессознательный порядок нарушается только в тех случаях, когда возникают проблемы, нуждающиеся для своего разрешения в осознанных действиях.

Мне приятно вспомнить одного из тех, кто предоставил мне особенно ценную информацию о семейных отношениях среди элгони. Это был необычайно красивый, обаятельный юноша с изысканными манерами по имени Джиброат — сын вождя, испытывавший ко мне, судя по всему, особое доверие. Конечно, он с удовольствием принимал мои сигареты, но не выказывал при этом жадности, свойственной его соплеменникам при виде любых даров. Иногда он наносил мне визиты вежливости, во время которых рассказывал разные интересные вещи. Я чувствовал, что у него на уме есть какая-то просьба, которую он никак не решается высказать. Лишь после того, как наше знакомство продлилось достаточно долго, он попросил меня встретиться с его семьей — что меня, по правде сказать, немало удивило. Я знал, что он все еще холост, а его родители умерли. Оказалось, что он имел в виду семью своей старшей сестры; она была второй, «младшей» женой своего супруга и имела четверых детей. Джиброату очень хотелось, чтобы мы посетили ее дом и, таким образом, дали ей возможность встретиться со мной. Очевидно, в его жизни она заняла место матери. Я согласился, поскольку надеялся, что такого рода общение даст мне возможность кое-что понять в семейной жизни туземцев.

Madame était chez elle!; при нашем приближении она вышла из хижины и приветствовала нас с поразительной естественностью. Это была привлекательная женщина средних лет — то есть ей было около тридцати. Помимо обязательной повязки из каури на ней были браслеты, кольца на лодыжках, несколько медных украшений, свисавших с сильно растянутой мочки уха,

1 Мадам была дома (*франц.*).

и шкура какого-то зверька на груди. Своих четверых маленьких «мтото» она заперла в хижине; они выглядывали из щелей и весело хихикали. По моей просьбе она открыла дверь, но прошло немало времени, прежде чем малыши осмелились выйти. Она обладала столь же изящными манерами, как и ее брат, сивший от удовольствия при виде успеха своего предприятия.

Мы беседовали стоя, поскольку сесть можно было разве что на пыльную землю, покрытую куриным и козьим пометом. Разговор шел в обычном, наполовину семейном, наполовину светском стиле, то есть вращался вокруг семьи, детей, дома и сада. Старшая жена, чья земля граничила с ее территорией, имела шестерых детей. «Бома» (хижина) этой старшей «сестры» располагалась на расстоянии примерно восьмидесяти метров. Примерно на середине пути между хижинами обеих женщин, в третьем углу треугольника, стояла хижина мужа, за которой, на расстоянии пятидесяти метров, находилось жилище взрослого сына первой жены. У каждой из двух женщин была своя собственная «шамба». Судя по всему, «шамба» моей хозяйки была предметом ее немалой гордости.

У меня возникло ощущение, что ее уверенность в себе в значительной мере основывается на чувстве тождества собственному гармоничному приватному миру, состоящему из детей, дома, маленького скотного двора, «шамбы», а также — и это отнюдь не маловажно! — на ее привлекательной внешности. О муже она вспоминала только вскользь, не называя его по имени. Казалось, он появляется дома лишь время от времени. В настоящий момент он находился неизвестно где. Моя хозяйка была явным и несомненным воплощением стабильности, настоящим оплотом для своего мужа. Главное заключалось не в том, где находится *он*, а в том, присутствует ли здесь *она* во всей своей целостности, обеспечивая тем самым геомагнитный центр для мужа, странствующего где-то со своими стадами. Процессы, происходящие в этой «простой» душе, бессознательны и, значит, неизвестны, и мы можем делать относительно них какие-то выводы только на основании сопоставления с «высокоразвитой» европейской дифференциацией.

Я спрашивал себя, не связана ли возрастающая «маскулинизация» белой женщины с потерей исходной, естественной гармонии и целостности («шамба», дети, скотный двор, собственный дом, очаг); не является ли она компенсацией за обеднение ее приватного мирка, ведущей — в качестве следствия — к «феминизации» белого мужчины. Чем рациональнее устроено общество, тем более завуалированы различия между полами. В современном обществе гомосексуализм играет огромную роль. Отчасти это следствие материнского комплекса, отчасти же — целенаправленное явление (снижение рождаемости!).

Моим попутчикам и мне повезло: мы успели ощутить, что такое первобытная Африка с ее невероятной красотой и столь же невероятным страданием. Наша жизнь в лагере у горы стала одной из чудеснейших интерлюдий моей жизни: *procul negotiis et integer vitae scelerisque purus* («далекий от дел, не тронутый жизнью, не запятанный преступлением»). Я наслаждался «божественным миром» этой все еще не вышедшей из первобытного состояния страны. Никогда еще я не видел «человека и других животных» (Геродот) с такой ясностью. Между мною и Европой — матерью всех демонов — пролегали тысячи миль. Демонов я мог не бояться: ведь здесь не было ни телеграмм, ни телефонных звонков, ни писем, ни посетителей. В этом состояла одна из главных особенностей «Психологической экспедиции к бугишу». Обретя свободу, мои душевные силы блаженно устремились в это первобытное пространство.

Каждое утро мы легко завязывали так называемые «палаверы» — долгие переговоры с туземцами, целыми днями слонявшимися вокруг лагеря и наблюдавшими за всеми нашими действиями с неослабевающим интересом. Мой старший «адъютант», Ибрагим, научил меня основам этикета, согласно которому ведутся эти палаверы. Все мужчины (женщины всегда держались в стороне) должны были сесть на землю. Для меня, как главного, Ибрагим раздобыл маленький стул красного дерева на четырех ножках. Я произносил вступительную речь и излагал «шаури», то есть своего рода повестку дня переговоров. Большинство туземцев говорило на вполне удовлетворительной помеси суахили и английского; мне кое-как удавалось объясняться с ними с помощью словарика. Эта книжка стала для них предметом неустанного восхищения. Ограниченность словарного запаса заставляла меня выражаться по возможности просто. Часто беседа начинала походить на забавную игру в отгадки, что делало процесс переговоров чрезвычайно привлекательным для его участников. «Заседания» редко продолжались свыше часа или полутора часов, поскольку туземцы быстро утомлялись и демонстрировали свою усталость подчеркнуто драматичной жестикуляцией.

Конечно, меня очень интересовали сновидения туземцев, но поначалу мне никак не удавалось вывести у них хоть что-нибудь на данную тему. Я делал им разного рода мелкие подарки — сигареты, спички, английские булавки и т. п.; они были без ума от подобных вещей, но мне тем не менее ничего не удалось добиться. Я никогда не мог до конца понять, почему моя просьба рассказать свои сны сталкивалась с таким смущением. Думаю, что они испытывали страх и недоверие. Хорошо известно, что негры боятся, когда их фотографируют. Они боятся, что

тот, кто их снимает, крадет у них душу; возможно, они опасаются, что аналогичный ущерб нанесет им и тот, кто узнает об их снах. Кстати, это не относилось к нашим носильщикам — сомали и суахили береговой зоны. У них был арабский сонник, с которым они справлялись каждый день в течение всего нашего путешествия. Как только у них возникали какие-либо сомнения относительно правильности толкования сновидений, они обращались за советом ко мне. Благодаря своему знанию Корана я заслужил в их глазах звание «человека Книги». Они были убеждены, что я — замаскированный мусульманин.

Однажды мы вели палавер со старым знахарем — «лайбоном». Он явился в парадном наряде — роскошном плаще из шкурок голубых обезьян. Когда я спросил его, что он видит во сне, он ответил мне со слезами на глазах: «Это в прежние времена лайбоны видели сны и узнавали, есть ли война или болезнь, надвигается ли дождь, или куда нужно повести стадо». Его дед еще видел сны. Но с той поры, как в Африке появились белые, люди перестали видеть сны. Нужда в снах отпала, так как теперь англичане знали все!

Его ответ означал, что знахарь утратил смысл жизни. Нужда в руководившем племенем божественном гласе отпала, поскольку «англичане знают лучше». Прежде знахарь вел переговоры с богами или силами, управляющими судьбой, и давал советы своему племени. Его влияние было очень большим — подобно тому, как в древней Греции высочайшим авторитетом пользовалось слово Пифии. Ныне же авторитет знахаря оказался заменен авторитетом представителя местной колониальной власти. Отныне все жизненные ценности нашли свое место в посюстороннем мире, и я понял, что осознание неграми важности физической силы — это лишь вопрос времени и жизнеспособности черной расы.

В нашем «лайбоне» не осталось ничего внушительного или величественного; это был лишь несколько слезливый пожилой господин — живое воплощение подорванного в своих основах, уходящего в прошлое, невозстановимого мира.

Как только представлялся подходящий случай, я заводил разговор о духовных материях, в особенности об обрядах и церемониях. Относительно последних я получил лишь одно фактическое свидетельство. Напротив пустой хижины, посреди оживленной сельской улицы, я увидел тщательно прибранный участок диаметром в несколько метров. В центре его лежали: набедренная повязка из каури, браслеты, лодыжечные кольца, серьги, черепки разнообразных сосудов и копалка. Нам удалось узнать лишь, что в этой хижине умерла женщина. О похоронах ничего не было сказано.

Во время очередного палавера мои собеседники принялись

очень настойчиво уверять меня, что их западные соседи — «плохие» люди. Если у них кто-то умирал, об этом сообщали в соседнюю деревню, а к вечеру тело приносили в точку, находящуюся посредине между двумя деревнями. Из второй деревни на это же место приносили многочисленные и разнообразные дары, а к утру труп исчезал. В этом рассказе содержался явный намек на то, что жители второй деревни съедали покойников. Мне было сказано, что среди элгони подобных вещей не бывает. Элгони оставляют своих покойников в чаше, где те на следующую же ночь становятся добычей гиен. Мы ни разу не наблюдали никаких признаков похорон.

Туземцы также рассказали мне, что когда человек умирает, его тело кладут на середину хижины. «Лайбон» ходит вокруг трупа, льет на землю молоко из кувшина и бормочет: «Айик адхиста, адхиста айик!»

О смысле этих слов я узнал из одного памятного палавера, имевшего место несколькими днями раньше. Под конец один старик внезапно воскликнул: «По утрам, когда восходит солнце, мы выходим из хижин, плюем на свои ладони и поднимаем их к солнцу». Я попросил его показать мне всю церемонию и дать ее точное описание. Держа руки у рта, мои собеседники принялись энергично плевать или дуть, после чего развернули руки ладонями вверх, к солнцу. Я спросил их, чего ради это они плевали или дули в свои ладони, но ответа не получил. Вместо объяснений они лишь сказали: «Мы всегда так делаем». Мне стало ясно, что в своих действиях они не усматривают никакого значения. Но ведь и мы справляем обряды, не представляя себе, что же именно делаем — скажем, когда мы зажигаем свечи на рождественской елке, прячем пасхальные яйца и т. д.

Старик сказал, что такова истинная религия всех народов: все кевирондо, все буганда, все племена, чьи земли можно видеть с вершины горы, а также все племена, живущие в бесконечно более отдаленных краях, поклоняются «адхисте» — солнцу в момент восхода. Лишь тогда солнце является «мунгу», то есть Богом. Бог — это также первый тончайший золотой полумесяц, появляющийся сразу после новолуния в розовом сиянии западного неба. В другое же время луна не есть Бог.

Очевидно, смысл церемониала Элгони состоял в приношении даров солнечному божеству в минуту его восхода. Они дарят ему либо свою слюну — вещество, в котором, согласно первобытным воззрениям, содержится исходящая от данной личности «мана», то есть исцеляющая, магическая сила жизни, — либо свое дыхание, «рохо» (арабское «рух», еврейское «руах», греческое «пневма»), отождествляемое с ветром и духом. Их действие означает: «Я отдаю Богу свою живую душу». Эту бессловесную

молитву-действие можно было бы передать и так: «Господи, в руки Твои предаю дух мой»¹.

Нам было сообщено также, что помимо «адхисты» элгоны почитают «айик». Это дух, живущий в земле и являющийся «шейтаном» (дьяволом) — творцом страха и холодного ветра, который подстерегает ночного путника. Старик просвистел некое подобие мотива Локи², чтобы по возможности выразительно показать, как «айик» ползет сквозь высокую, таинственную траву буша.

Согласно всеобщему мнению Творец создал мир добрым и прекрасным. Он вне добра и зла. Он «м'зури», то есть прекрасен, и все созданное им тоже «м'зури».

На мой вопрос: «А как же насчет хищных животных, убивающих ваш скот?», они отвечали: «Лев добр и красив». «А как же ваши страшные болезни?» — «Мы греемся на солнце, и это прекрасно».

Этот оптимизм произвел на меня большое впечатление. Но очень скоро я обнаружил, что в шесть часов вечера от него не остается и следа. После захода солнца вступает в права другой мир — мрачный мир «айик», мир зла, опасностей, страхов. Оптимистическая философия уступает место страху перед духами и магическим процедурам, предназначенным обеспечить защиту от злых сил. К рассвету, без какого бы то ни было внутреннего противоречия, оптимизм возвращается вновь.

Это было поистине глубоко волнующее переживание — обнаружить у самых истоков Нила реликтовый остаток древнеегипетского представления о двух помощниках Осириса — Горе и Сете³. Очевидно, в данном представлении было нечто исконно африканское, с течением времени по священным водам Нила достигшее средиземноморских берегов. «Адхиста», восходящее солнце — это светлое начало, подобное Гору; «айик» — это темное начало, порождающее страх. В простейшем обряде, справляемом над телом покойника, слова «лайбона» и расплескиваемое им молоко объединяют противоположности. «Лайбон» приносит жертву одновременно обоим противоположностям, изначально равным по силе и значимости — согласно закону дня и ночи, которые в этих краях длятся ровно по двенадцать часов. Но особенно важен тот момент, когда со свойственной для тропиков внезапностью первый луч света

1 Ср. последние слова Христа на кресте: Лука, 23:46. Ср. также: Псалтирь, 30:6.

2 По-видимому, имеется в виду «ползучий», хроматический лейтмотив Логге (древнегерманского бога огня, в скандинавском произношении — Локи) из оперной тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга».

3 См. примечание 1 на с. 218.

«выстреливает» как из лука, и ночь переходит в полный жизни день.

Восход солнца в этих широтах не переставал меня поражать. Своеобразное драматическое содержание этого феномена кроется не столько в роскошном зрелище солнца, взмывающего из-за горизонта, сколько в том, что происходит в дальнейшем. У меня сложилась привычка каждое утро перед рассветом сидеть на своем походном стуле под зонтичной акацией. Внизу передо мной расстилалась маленькая долина, поросшая темнозеленой, почти черной полоской тропического леса; над противоположным от меня концом долины высился участок плоскогорья. В первый момент контраст между светом и тьмой был исключительно силен. Затем предметы обретали более четкие очертания под лучами света, который, казалось, заполнял долину каким-то сплошным сиянием. Горизонт надо мной становился ослепительно белым. Постепенно нарастая, свет, казалось, проникал в самую структуру предметов, которые словно озарялись изнутри и в конце концов начинали сиять, подобно осколкам цветного стекла. Все вокруг превращалось в пламенеющий хрусталь. Со стороны горизонта доносился крик птицы-колокольчика. В подобные моменты мне казалось, что я нахожусь в храме. Для меня это был самый священный час дня. Я впитывал это великолепие с жадным наслаждением или, скорее, с каким-то вневременным восторгом.

Недалеко от моего наблюдательного пункта высилась скала, населенная крупными бабуинами. Каждое утро они спокойно, почти неподвижно сидели на обращенном к восходу краю скалы, а в течение остального дня носились по лесу с шумным верещанием и пронзительными криками. Казалось, по утрам они, подобно мне, ждут рассвета. Они напомнили мне больших бабуинов из храма в Абу Симбеле (Египет), застывших в молитвенной позе. Они говорят о том же: с незапамятных времен люди поклонялись великому богу, который спасает мир, восходя из тьмы и превращаясь в ослепительный свет небес.

Тогда я понял, что в человеческой душе изначально существует жажда света и непреодолимая потребность вырваться из первобытной тьмы. Великая ночь приносит с собой состояние всеобщей подавленности, и душу охватывает невыразимая тоска по свету. Это скрытое чувство можно прочесть в глазах первобытных людей, а также в глазах животных. Глаза животных полны тоски, и мы никогда не знаем, связана ли эта тоска с душой животного, или это какое-то горькое, мучительное сообщение, обращенное к нам из глубин его бессознательного существования. В этой тоске отражается также общее настроение Африки — одиночество живого существа на просторах этого континента. Эта первобытная тьма и есть мать всех тайнств. Вот

почему утреннее рождение солнца так потрясает туземцев своей всеподавляющей значительностью. *Момент явления солнца* и есть Бог. Именно он, этот момент, приносит спасение, искупление и облегчение. Говорить, что Бог есть *солнце* — значит затушевывать архетипическое переживание этого момента, забывать о нем. Когда туземцы говорят: «Мы рады, что ночь, когда духи выходят наружу, уже кончилась», — это уже рационализация. В действительности, тьма, совсем не похожая на обычную, природную ночь, окутывает землю постоянно. Это первобытная ночь души, которая ныне так же темна, как и бесчисленные миллионы лет назад. Тоска по свету есть тоска по сознанию.

Наше благословенное пребывание на горе Элгон подошло к концу. С тяжелым сердцем мы собрали палатки, пообещав себе когда-нибудь непременно сюда вернуться. Все мое существо противилось мысли о том, что подобное неслыханное счастье может не повториться. Но с тех пор близ Какамегаса нашли золото, началась работа на приисках, среди невинных и дружелюбно настроенных туземцев получило развитие движение мау-мау¹, и нас самих внезапно и грубо вырвали из сна цивилизации.

Мы двигались вдоль южного склона горы Элгон. Характер ландшафта постепенно менялся. Теперь над долиной нависали более высокие горы, покрытые густыми джунглями. Цвет кожи туземцев стал более темным, а их телосложение — более массивным; в них не было того изящества, которое свойственно масаи. Мы въехали на территорию бугишу; там нам предстояло провести некоторое время на постоялом дворе городка Бунамбале. Городок этот расположен на большой высоте, и нам удалось полюбоваться роскошным видом на широкую долину Нила. Из Бунамбале мы отправились в Мбалу, где нас ожидали два грузовых «форда», которые довели нас до Джинджи на берегу озера Виктория. Там мы погрузили свой багаж на поезд узкоколейки, каждые две недели отправляющийся к озеру Кьога. Колесный пароход, чей котел топился дровами, после целого ряда происшествий доставил нас в порт Масинди. Там мы пересели на грузовик, который привез нас в город Масинди, расположенный на плоскогорье, разделяющем озеро Кьога и Альберт.

В деревушке на полпути между озером Альберт и Реджафом в Судане с нами случилось приключение, изрядно пощекотавшее нам нервы. Местный вождь, высокий, сравнительно молодой человек, явился вместе со своей свитой. Это были самые

1 Под этим названием известна тайная организация племени кикуйю, каждый член которой при вступлении давал обет убить белого человека. В 1952 году мау-мау подняли в Кении восстание, на подавление которого у англичан ушло четыре года.

черные негры, которых я когда-либо видел. В них было что-то не вполне внушавшее доверие. «Мамур» (префект) Нимуле дал нам в качестве эскорта троих вооруженных бойцов, но я заметил, что и они, подобно нашим проводникам, чувствуют себя не вполне уютно. Надо сказать, что у каждого из них было всего по три патрона; таким образом, акт колониальных властей, которому мы были обязаны их присутствием, носил скорее символический характер.

Когда вождь предложил нам показать вечером «н'гому» (танец), я с радостью согласился. Я надеялся, что веселье рассеет ощущавшуюся напряженность. Настала ночь; мы уже собирались ко сну, как вдруг услышали звуки барабанов и рогов. Вскоре появилось около шестидесяти мужчин в полном военном облачении: со сверкающими копьями, дубинками и мечами. На некотором расстоянии за ними следовали женщины и дети; самых маленьких матери несли на спинах. Очевидно, все это устраивалось по какому-то важному для всех них поводу. Несмотря на жару, все еще державшуюся на уровне тридцати четырех градусов, был разожжен большой костер; женщины и дети образовали вокруг него внутреннее, мужчины — внешнее кольцо. Примерно так же, по моим наблюдениям, поступают слоны, когда в их стаде возникает нервозность. Я не знал, что и думать об этом массовом действе. Поискав глазами наших проводников и правительственных солдат, я обнаружил, что они куда-то испарились! В качестве жеста доброй воли я раздал сигареты, спички и английские булавки. Мужской хор начал петь оживленные, воинственные мелодии, не лишенные своеобразной гармонии; одновременно мужчины принялись пританцовывать. Женщины и дети пустились вприпрыжку вокруг костра; мужчины, танцуя и размахивая оружием, то подступали к костру, то отходили назад. Все это сопровождалось диким пением, битьем в барабаны и ревом труб.

Это была поистине первобытная, необыкновенно возбуждающая сцена, словно омытая блеском костра и магическим светом луны. Вместе со своим другом-англичанином, размахивая плетью из носорожьей кожи — единственным моим оружием, — я присоединился к танцующим. По их сияющим лицам я понял, что они одобряют наше участие. Их рвение еще более возросло; все как один топали ногами, пели, кричали, обливаясь потом. Ритм танца и барабанного боя неуклонно ускорялся.

В танцах с музыкой подобного рода туземцы легко впадают в состояние настоящей одержимости. Именно это и случилось сейчас. Часам к одиннадцати их возбуждение начало переходить все границы, и мне стало не по себе. Танцоры мало-помалу превращались в дикую орду, что меня изрядно беспокоило. Я сделал знак вождю, давая понять, что ему и его людям пора

закругляться и отходить ко сну. Но он упорно настаивал: «еще немного, еще немного, еще чуть-чуть».

Я вспомнил, что одного моего земляка и родственника, путешествовавшего по острову Целебес (Индонезия), как раз во время похожей «н'гомы» поразило чье-то шальное копье. Посему, невзирая на просьбы вождя, я созвал весь народ, раздал сигареты, а затем сделал жест, изображающий сон. После этого я угрожающе и в то же время смеясь помахал перед ними своей носорожьей плетью и за неимением более понятного языка гаркнул на швейцарском диалекте немецкого, что, дескать, хватит, нужно расходиться по домам и ложиться баиньки. Люди поняли, что мой гнев в какой-то степени притворен; судя по всему, я взял верную ноту. Поднялся общий хохот; веселясь и дурачась, они разбежались в разные стороны и исчезли в ночи. Долгое время до нас продолжали доноситься их веселые крики и барабанный бой. Затем наступила тишина, и мы, совершенно обессиленные, погрузились в глубокий сон.

Наше путешествие завершилось в Реджафе, на берегу Нила. Мы уложили свое имущество на колесный пароход, кое-как пришвартовавшийся на мелководе. Я успел утомиться от обилия впечатлений. В моей голове носились тысячи мыслей, и я с огорчением понял, что моя способность усваивать новые впечатления близка к своему пределу. Мне нужно было еще раз оглянуться на все свои наблюдения и переживания и раскрыть их внутренние взаимосвязи. Я записал все, что заслуживало внимания.

В течение всего путешествия мои сновидения упорно придерживались тактики игнорирования Африки. Они вращались исключительно вокруг сцен, связанных с домом; казалось, они утверждают — если только по отношению к бессознательным процессам допустима подобная персонификация, — что африканское путешествие есть не столько реальное событие, сколько некий симптоматический или символический акт. Из моих снов строжайшим образом исключались даже самые впечатляющие моменты поездки. Лишь однажды я увидел во сне негра. Его лицо показалось мне удивительно знакомым, но я долго не мог понять, где же я с ним встречался. Наконец, меня осенило: ведь это мой парикмахер из Чаттануги, штат Теннесси! Американский негр. Во сне он держал в руках огромные, раскаленные докрасна щипцы для завивки и чуть ли не касался ими моей головы, собираясь с их помощью превратить мои волосы в курчавые — то есть сделать мне прическу негра. Ощутив приближение мучительного жара, я в ужасе проснулся.

Этот сон я воспринял как предостережение со стороны бессознательного: опасаться первобытных людей. В то время я,

очевидно, был как никогда близок к тому, чтобы «сделаться черным». У меня как раз начался приступ лихорадки¹, который, вероятно, уменьшил мою психическую сопротивляемость. Мое бессознательное не стало напоминать мне о настоящем; но ради того, чтобы показать угрожающего мне негра, оно возродило воспоминание о негре-цирюльнике, которого я встретил в Америке двенадцать лет тому назад.

Кстати сказать, странное поведение моих снов согласуется с феноменом, отмеченным во время Первой мировой войны. Солдатам на передовой война снилась несравненно реже, чем мирная жизнь дома. Согласно принятому среди военных психиатров фундаментальному принципу, как только человеку начинают слишком часто сниться военные сцены, его необходимо удалить с линии фронта, ибо его психическая защита от внешних впечатлений исчерпана.

Итак, сновидения существовали параллельно моим сложным взаимоотношениям с африканской действительностью и обеспечивали успешную защиту моей душевной сферы. Сны имели отношение к моим личным трудностям. Из всего этого я смог заключить лишь, что целостность моей европейской личности должна при любых обстоятельствах оставаться ненарушенной.

У меня появилось странное подозрение, что все это африканское путешествие я затеял с тайной целью ускользнуть от Европы с ее бесчисленными проблемами. Кажется, в какие-то минуты я даже был внутренне готов остаться в Африке — подобно многим, поступавшим так в прошлом и настоящем. В итоге путешествие свелось не столько к исследованию первобытной психологии («Психологическая экспедиция к бугишу», черные буквы ПЭБ на наших сундуках!), сколько к прощупыванию довольно-таки деликатного вопроса: что станет с психологом Юнгом на диких просторах Африки? Этого вопроса я всячески старался избегать — даже несмотря на мое желание изучить реакцию европейца на первобытные условия. Мне стало ясно, что задуманное мною исследование было не столько объективным научным проектом, сколько задачей глубоко личного свойства; любая попытка проникнуть в ее глубины неизбежно затрагивала самые болезненные точки моей психологии. Мне пришлось признаться себе, что решение предпринять путешествие возникло не столько в связи с моим посещением выставки в Уэмбли, сколько из-за слишком тягостной для меня атмосферы, сложившейся к тому времени в Европе.

С такими мыслями я плыл по спокойным водам Нила к северу — к Европе, к будущему. Я прибыл в Хартум. Дальше начи-

1 В оригинале — sandfly fever (англ.): лихорадка, переносимая «песчаной мухой» (рода *Phlebotomus*).

нался Египет. Таким образом, я осуществил свою мечту и приблизился к этой культурной сфере не с запада, то есть не со стороны Европы и Греции, а с юга, с истоков Нила. В египетской культуре меня интересовали не столько ее сложные азиатские элементы, сколько хамитский вклад. Следуя географическому течению Нила и, соответственно, течению времени, я смог об этом кое-что узнать. Моим самым большим озарением стало открытие принципа Гора у Элгони. Весь этот эпизод и его значение драматически прорвались в сферу моего сознания в тот момент, когда я увидел изваяния киноцефалов (собакоголовых бабуинов) в Абу Симбеле, у южных ворот Египта.

Миф о Горе — это возникшая в незапамятные времена история о только что взошедшем божественном свете. Этот миф был рассказан сразу после того, как человеческая культура — то есть пробудившееся сознание — впервые избавила людей от первобытной тьмы. Поэтому путь из сердца Африки в Египет стал для меня своего рода драмой рождения света. Эта драма оказалась глубоко связана со мной, с моей личной психологией. Я сознавал это, но не мог облечь в словесную форму. Я не знал заранее, что даст мне Африка; но именно здесь крылся ответ, завершающее переживание. Оно значило для меня куда больше, чем этнологическая добыча — коллекции оружия, орнаментов, глиняной посуды, — не говоря уже об охотничьих трофеях. Я хотел узнать, как на меня воздействует Африка, и это удалось.

4 ИНДИЯ

Инициатива поездки в Индию, состоявшейся в 1938 году, принадлежала не мне. Британские власти Индии пригласили меня на торжества в связи с празднованием двадцатипятилетия Калькуттского университета.

К тому времени я уже успел прочесть обширную литературу по индийской философии и религиозной истории и был глубоко уверен в величии восточной мудрости. Но я должен был совершить путешествие, так сказать, на самообеспечение, в полной изоляции, как гомункулус в реторте. Индия подействовала на меня как сон, ибо я был занят поисками себя, то есть своей истины.

Путешествие в Индию стало своего рода интерлюдией в процессе интенсивного изучения алхимической философии. В то время алхимия занимала меня до такой степени, что я взял с собой в дорогу первый том «Theatrum Chemicum» 1602 года, содержащий основные сочинения Герардуса Дорнеуса. В путешествии я прочел эту книгу от корки до корки. И образы чужой культуры и чуждого мышления стали своеобразным контрапунктом к этой книге, идеи которой вошли в основы европейской

мысли. И то, и другое исходило из исконного бессознательного психического опыта и поэтому рождало одинаковые, сходные или, по меньшей мере, сопоставимые соображения.

В Индии я впервые испытал непосредственное воздействие чуждой, высоко дифференцированной культуры. В моем путешествии по Центральной Африке культурные впечатления не играли особой роли. Что касается Северной Африки, то там мне не с кем было вести беседы на культурные темы. Зато в Индии мне представилась возможность говорить с носителями индийского менталитета и сравнивать его с европейским. У меня были очень содержательные разговоры с гуру майсорского магараджи по имени С. Субраманья Ийер, чьим гостем я был некоторое время; я беседовал также и с другими людьми, имена которых, к сожалению, не удержались в моей памяти. С другой стороны, я тщательно избегал всех так называемых «святых людей» — ведь мне нужно было разобраться в себе, а не заимствовать у других то, чего я сам достичь не в силах. Правду, почерпнутую у святых людей и приспособленную для собственных нужд, я неизбежно воспринимал бы как краденое добро. Их мудрость принадлежит им, тогда как мне принадлежит только то, что исходит от меня. Впрочем, в Европе я также не позволял себе заимствовать восточную мудрость; я должен был строить свою жизнь в соответствии с самим собой: с моей внутренней сущностью и моей природой.

Я вовсе не склонен недооценивать индийских святых, но у меня нет данных, чтобы оценить индийскую святость как особый феномен. К примеру, я не знаю, является ли мудрость, изрекаемая святым человеком, его собственным откровением, или поговоркой, вот уже тысячу лет имеющей хождение в городах и весях всей страны. Мне вспоминается характерный случай, происшедший на Цейлоне. На узкой улочке столкнулись двое крестьян, везших свои тачки. Но ожидаемой ссоры не произошло; вместо этого оба произнесли сдержанно-вежливые слова, звучавшие как «адукан анатман» и означавшие «мимолетная неприятность, не (индивидуальная) душа». Было ли это что-то особое или типично индийское?

В Индии меня прежде всего занимал вопрос о психологической природе зла. Меня всегда живо интересовал способ, с помощью которого вопрос о зле интегрируется в духовную жизнь Индии; теперь же я многое понял в новом свете. Разговор с одним высококультурным китайцем также произвел на меня глубокое впечатление: я в очередной раз убедился, что представители этого народа способны интегрировать так называемое «злое начало», не теряя при этом своего лица. Мы, люди Запада, на это не способны. Представляется, что жители Востока, в отличие от нас, не придают морали первоочередного значения. Для

жителя Востока добро и зло осмысленно содержатся в природе и представляют собой лишь различные меры одной и той же субстанции.

Я убедился, что индийская духовность содержит столько же зла, сколько и добра. Христианин стремится к добру и поддается злу; что же касается индуса, то он ощущает себя по ту сторону добра и зла или стремится достичь этого состояния через посредство медитации или йоги. Мое возражение состоит в том, что такая позиция не дает добру и злу обрести хоть сколько-нибудь реальные очертания; в результате возникает некоторый застой. Ни в добро, ни в зло человек не верит по-настоящему. Добро и зло рассматриваются всего лишь как *мое* добро или *мое* зло, как то, что кажется добрым или злым мне самому. Отсюда можно сделать парадоксальный вывод, что индийской духовности в равной мере чужды и добро, и зло, или же она настолько отягощена противоречиями, что нуждается в «нирване» — освобождении от противоположностей и от «десяти тысяч вещей».

Цель индуса — не нравственное совершенство, а состояние нирваны. Он хочет освободиться от природы; ради этого он стремится через медитацию достичь состояния безобразности и пустоты. Я же хочу оставаться в состоянии живого созерцания природы и образов, порожденных психической субстанцией. Я не хочу освобождаться от других людей, от самого себя, от природы — ведь все это кажется мне величайшим чудом. Природа, психическая субстанция, жизнь кажутся мне самораскрытием божества — и чего же еще я мог бы желать? Для меня высшим смыслом Бытия является то, что оно *есть*, а не то, что его нет или больше нет.

Для меня не существует освобождения любой ценой. Я не могу освободиться от того, чем не обладаю, чего не делал или не пережил на собственном опыте. Истинное освобождение приходит только тогда, когда я делаю все, что в моих силах, когда я полностью посвящаю себя чему-либо и участвую в нем до самого конца, «до упора». Уклоняясь от участия, я фактически ампутирую соответствующую часть собственной души. Порой участие дается слишком тяжело; это, естественно, служит достаточным основанием для того, чтобы отстраниться, отойти в сторону. Но при этом я вынужденно признаю свое бессилие и говорю себе, что, возможно, пренебрег чем-то жизненно важным, не справился с какой-то задачей. За неспособность совершить позитивное действие я плачу сознанием собственной некомпетентности.

Человек, не прошедший сквозь ад собственных страстей, никогда не преодолевал их. Значит, они скрываются где-то поблизости — в соседнем доме, где тлеющее пламя в любой момент может разгореться и сжечь дом этого человека. Стоит нам

отказаться от чего-то, оставить что-то позади, слишком многое забыть — и возникает опасность, что оставшееся в небрежении вернется и даст о себе знать с удвоенной силой.

В Конарке (Орисса) я познакомился с пандитом¹, охотно согласившимся быть моим спутником при посещении храма и большой храмовой колесницы. Пагода была снизу доверху усеяна восхитительно непристойными изваяниями. Мы долго обсуждали этот примечательный в своем роде факт; объяснения моего спутника сводились к тому, что такие изображения способствуют достижению духовного совершенства. Указав на группу молодых крестьян, с раскрытыми ртами уставившихся на все это великолепие, я возражал, что едва ли подобные зеленые юнцы именно здесь и сейчас преисполняются духовности; ведь их головы, скорее всего, забиты сексуальными фантазиями. Он ответил мне: «Но ведь так и должно быть. Как они могут достигнуть духовности, если прежде не выполняют своей кармы? Эти непристойные с виду образы созданы с целью напомнить людям об их законе — дхарме; иначе эти лишенные сознания юнцы забудут его».

Мне показалось странным его предположение, будто молодые люди, подобно животным между течками, могут время от времени забывать о своей сексуальности. Но мой мудрец решительно настаивал, что они так же лишены сознания, как и животные, и крайне нуждаются в увещании. Пока они не вступили в храм, об их дхарме им напоминают внешние декорации; ведь не осознав своей дхармы и не выполнив ее, они не могут вкусить духовности.

При входе в храм мой спутник указал мне на изваяния двух «обольстительниц» — танцовщиц с соблазнительно выгнутыми бедрами, с улыбкой приветствующих каждого входящего. «Вы видите этих танцующих девушек? Они имеют тот же смысл. Естественно, это не относится к людям вроде вас или меня, поскольку достигнутый нами уровень сознания превосходит подобные вещи. Но для таких крестьянских юнцов это необходимое руководство и предостережение».

Когда мы уже покинули храм и шли по аллее фаллических изваяний — лингамов, — он вдруг сказал: «Вы видите эти камни? Знаете ли вы, что они означают? Я раскрою вам великую тайну!» Я был удивлен, поскольку не сомневался, что фаллическая природа лингамов ясна даже ребенку. Но он в высшей степени серьезно прошептал мне на ухо: «Эти камни — сокровенные органы мужчины». А я-то ждал, что он скажет мне, что эти камни символизируют великого бога Шиву. На мой изумлен-

1 Пандит — ученый индус, брамин.

ный взгляд он ответил многозначительным кивком, долженствовавшим означать: «Да-да, именно так. Несомненно, вы, европейцы, в своей недалекости никогда бы до этого не додумались». Когда я рассказал эту историю известному индологу Генриху Циммеру, он в восторге воскликнул: «Наконец-то я услышал хоть какую-то правду об Индии!»

Во время посещения ступ Санчи — места, где Будда произнес проповедь об огне¹ — меня охватило знакомое сильное чувство; именно оно часто возникает во мне при виде загадочных предметов и людей, а также при соприкосновении с идеями, значения которых я не могу осознать. Ступы расположены на скалистом холме, вершины которого можно достичь, поднимаясь по приятной дороге, проходящей по зеленому лугу и вымощенной большими каменными плитами. Ступы — это гробницы или вместилища мощей полукруглой формы, похожие на две гигантские чаши для риса, поставленные одна на другую согласно предписаниям самого Будды в «Маха-Париниббана-Сутре». Англичане выполнили реставрационные работы очень бережно, сохраняя пиетет к этому памятнику. Самое большое из сооружений окружено стеной с четырьмя богато украшенными воротами. Вы входите через одни из них, затем дорога поворачивает влево, и вы по часовой стрелке движетесь вокруг ступы. В четырех главных точках стоят статуи Будды. Сделав первый круг, вы вступаете во второй, более высокий, и двигаетесь в том же направлении. Я был очарован видом, открывающимся на долину, самими ступами, развалинами храма, одиночеством и тишиной святого места. Оставив своего спутника, я всецело покорился неодолимому воздействию окружающей атмосферы.

Через некоторое время я услышал постепенно приближающиеся ритмические удары гонга. Это была процессия японских пилигримов; люди шли гуськом, и каждый ударял в маленький гонг. Они отбивали ритм старинной молитвы «Ом мани падме хум», причем удар гонга совпадал со слогом «хум». Перед ступами они низко склонились, а затем вошли в ворота, после чего склонились еще раз перед статуей Будды; при этом они пели песню, похожую на хорал. Они прошли оба круга, останавливаясь и повторяя свой гимн перед каждой статуей Будды. Я смотрел на них, и мои душа и дух были с ними, что-то внутри меня

1 Санчи — деревушка в центральной Индии, недалеко от города Бхопал. Считается, что там Будда произнес свою первую проповедь, в которой сравнил дурные страсти с огнем, причиняющим одновременно и боль, и удовольствие, и быстро ведущим к разрушению (поводом для этого послужил лесной пожар, вспыхнувший на склоне соседней горы). В память об этом в Санчи был воздвигнут ряд ступ — куполообразных строений, принадлежащих к числу древнейших в Индии (III в. до н. э.).

благодарило их за чудесную помощь, которую они оказали, вызвав у меня особые, непередаваемые в слова ощущения.

В этой своей захваченности я усмотрел признак того, что холм Санчи воплощает для меня нечто центральное. Там мне открылась новая сторона буддизма. Я мысленно охватил жизнь Будды и понял ее как реальное воплощение Самости, прорвавшейся на поверхность жизни эмпирической личности и предъявившей ей свои требования. Для Будды Самость стоит выше всех богов; это — *unus mundus* («единый мир»), представляющий собой сущность человеческой жизни и мира в целом. Самость воплощает как «бытие в себе», так и познание бытия — то познание, без которого мир не существует. Будда увидел и сумел понять космогоническое достоинство человеческого сознания; поэтому ему стало ясно, что если этот свет погаснет, мир погрузится в ничто. Великое достижение Шопенгауэра состоит в том, что он понял или открыл то же, что и Будда.

Подобно Будде, Христос также является воплощением Самости — но в совершенно ином смысле. Оба ставят задачу преодоления мира: Будда исходя из рационального постижения, Христос — путем искупительной жертвы. В христианстве больше страдания, в буддизме — созерцания и действия. Оба пути истинны, но с индийской точки зрения Будда есть человеческое существо в более полном смысле. Он историчен, и поэтому легче доступен человеческому пониманию. Христос же сочетает в себе одновременно историческую личность и Бога, что делает Его значительно более трудным для постижения. В сущности, Он не был до конца понятен даже Самому Себе; Он знал только, что Ему предстоит принести Себя в жертву, и что источник этого императива кроется внутри Него. Принесение себя в жертву было для Него актом судьбы. Будда же действовал, исходя из рассудка. Он прожил долгую жизнь и умер в преклонном возрасте, тогда как действенная жизнь Христа продлилась, вероятно, не более года.

Впоследствии буддизм подвергся той же трансформации, что и христианство: Будда стал, так сказать, образом развития Самости, всеобщей моделью для подражания — между тем как сам он проповедовал, что в результате преодоления цепи Нидана любое человеческое существо может стать озаренным, Буддой. Аналогично дело обстоит и в христианстве: Христос — это образец, живущий в любом христианине как интегральный компонент его личности. Но исторические тенденции привели к концепции *imitatio Christi* (подражания Христу), согласно которой личность, вместо того чтобы стремиться к достижению собственной целостности и идти по предназначенной ей дороге, должна пытаться имитировать путь, пройденный Христом. На Востоке исторические тенденции также привели к благоговей-

ному подражанию Будде. То, что Будда стал образцом для подражания, явилось известным ослаблением его идеи; точно так же и *imitatio Christi* предвосхитило роковой застой в эволюции христианской идеи. Благодаря своим прозрениям Будда значительно опередил брахманских богов; и когда Христос во всеуслышание объявил евреям: «Вы боги» (Иоанн, 10:34), никто не оказался в состоянии понять, что Он имеет в виду. В итоге мы видим, что так называемый христианский Запад, отнюдь не преуспевший в построении нового мира, гигантскими шагами движется к уничтожению даже того мира, который у нас есть.

Индия одарила меня тремя докторскими степенями — Аллахабад, Бенарес и Калькутта представляли, соответственно, ислам, индуизм и британско-индийскую медицину и науку. Это навалившееся на меня обилие приятных ощущений несколько меня утомило, и я нуждался в отдыхе. Возможность передохнуть не преминула представиться: в Калькутте я заболел дизентерией и провел десять дней в больнице. Это был благословенный островок в бурном море новой информации; я обрел сравнительно удаленное место, откуда мог созерцать бесчисленные вершины и глубины, щедрость и несказанную нужду, красоту и мрак Индии — в их безумном мелькании.

Более или менее выздоровев и вернувшись в гостиницу, я увидел настолько характерное сновидение, что не могу не привести его здесь. Вместе с несколькими цюрихскими друзьями и знакомыми я оказался на неизвестном острове, расположенном, вроде бы, недалеко от южного берега Англии. Остров был невелик и почти не заселен. Он представлял собой узкую полосу земли длиной около тридцати километров, вытянутую с севера на юг. На скалистом южном берегу острова высился средневековый замок. Мы — группа туристов, осматривающих достопримечательности — стояли во дворе замка. Перед нами высилась внушительная колокольня, за открытыми воротами которой можно было различить широкую каменную лестницу, оканчивавшуюся где-то вверху, в зале с колоннами. Этот зал смутно освещался свечами. Я понял, что это замок Грааля, и нынче вечером здесь ожидается «прославление Грааля». В этих сведениях, судя по всему, содержалось нечто секретное, поскольку находившийся среди нас немецкий профессор, необыкновенно похожий на старого Моммзена¹, ничего об этом не знал. Я оживленно беседовал с ним и был в восторге от его блестящей и глубокой учености. Лишь одно смущало меня: он постоянно говорил о далеком прошлом и очень подробно рассказывал о соотношении британских и французских источников о Граале. Очевидно, он

1 Теодор Моммзен (Mommesen) (1817—1903) — немецкий историк.

не сознавал ни смысла легенды, ни ее живого присутствия; что же касается меня, то я напряженно ощущал и то, и другое. Кроме того, его восприятие нашего непосредственного, реального окружения казалось неадекватным: он вел себя так, словно находился в классной комнате и читал студентам лекцию. Напрасно я пытался обратить его внимание на своеобразие ситуации. Он не замечал ни лестницы, ни праздничного сияния в зале.

В некоторой растерянности я огляделся и обнаружил, что стою у высокой стены замка; нижняя ее часть была заслонена решеткой, сделанной не из обычного дерева, а из чугуна, которому была искусно придана форма виноградной лозы с листьями, двоящимися усиками и гроздьями. Через каждые два метра на горизонтальных ветвях находились миниатюрные домики, похожие на скворешни, также изготовленные из металла. Внезапно я заметил в листе какое-то движение; поначалу мне показалось, что это мышь, но потом я отчетливо разглядел крошечного чугунного гномика (*cucullatus*) в капюшоне, снующего от одного домика к другому. Я изумленно воскликнул, обращаясь к профессору: «Посмотрите на это, неужели вы не...»

Здесь наступил провал, и началось другое сновидение. Мы — та же группа, что и прежде, но без профессора — оказались за стенами замка, в скалистой, лишенной деревьев местности. Я знал, что случилось нечто непредвиденное: Грааль в замке еще не было, хотя его прославление должно было состояться сегодня вечером. Стало известно, что Грааль находится в северной части острова, в маленьком необитаемом домике — единственном строении в тех краях. Я знал, что именно мы обязаны принести Грааль в замок. Шестеро из нас пустились в путь на север.

После нескольких часов энергичной ходьбы мы достигли самого узкого места острова, и я обнаружил, что, в действительности, он поделен проливом на две половины. В самой узкой своей части пролив достигал примерно ста метров в ширину. Солнце село, наступила ночь. Усталые, мы сделали привал. Местность была необитаема и уныла; куда ни глянь — ни дерева, ни куста, только трава и скалы. Не было видно ни моста, ни лодки. Стояла очень холодная погода; все мои попутчики уснули один за другим. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что должен в одиночестве переплыть канал и добыть Грааль. Я снял с себя одежду и в этот момент проснулся.

Этот типично европейский по своему содержанию сон приснился мне как раз тогда, когда я с трудом продирался сквозь навалившуюся на меня массу индийских впечатлений. Примерно десятью годами ранее я обнаружил, что во многих местах Англии миф о Граале все еще жив — несмотря на множество ученых комментариев, скопившихся вокруг этой легенды. Это произвело на меня очень сильное впечатление в свете параллеле-

лизма между поэтическим мифом о чаше и алхимическими понятиями *unum vas*, *una medicina* и *unus lapis*¹. Мифы, забытые днем, являются ночью; могущественные фигуры, превращенные сознанием в нечто мелкое, банальное и смехотворно-тривиальное, вновь распознаются поэтами и возрождаются в пророчествах; посему мыслящий человек может также распознать их в «видоизмененной форме». Великие люди прошлого не умерли — что бы мы об этом ни думали; они просто изменили свои имена. «Малый на взгляд, силой обильный»²: кабир, скрытый покрывалом, вступает в новый дом.

Мой сон самым решительным образом вытеснил богатейшие индийские впечатления и унес меня обратно на Запад, к тому, что некогда воплотилось в виде поисков святого Грааля и философского камня. Меня словно извлекли из мира Индии, напомнив, что Индия не является моей конечной задачей; она — лишь часть (впрочем, достаточно значительная) того пути, который приведет меня к цели. Сон словно задавал мне вопрос: «Что ты делаешь в Индии? Лучше найди для себя и своих соотарищей исцеляющий сосуд, *servator mundi* («спасителя мира»), в котором вы все так остро нуждаетесь. Ведь вы в ужасном положении: на вас неумолимо надвигается опасность уничтожения всего, что строилось веками».

Цейлон, последний этап моего путешествия, удивил меня несходством с Индией: здесь чувствуется дыхание южных морей, дыхание рая, в котором нельзя задерживаться надолго. Коломбо — это оживленный международный порт, где каждый день, от рассвета до шести вечера, с совершенно ясного неба льют потоки дождя. Скоро мы покинули его и направились в древнюю королевскую столицу Канди, расположенную в холмистой внутренней части острова. Этот город словно окутан тонким слоем тумана, тепловатая влажность которого способствует пышному расцвету всяческой растительности. Храм Далада-Малигава, где хранится Святой Зуб (Будды) невелик по размерам, но от него исходит особое очарование. Я провел немало времени в его библиотеке, беседуя с монахами и рассматривая тексты буддийского канона, выбитые на серебряных листьях.

Там я и стал свидетелем незабываемой вечерней церемонии. Молодые люди и девушки складывали перед алтарем огромные охапки цветов жасмина, одновременно тихо напевая молитву — «мантру». Я думал, что они молятся Будде, но сопровождавший меня монах объяснил мне: «Будды больше нет, он в нир-

1 Один сосуд, одно лекарство, один камень (лат.).

2 Ср.: Гете, «Фауст», часть вторая, 2-й акт, сцена «Скалистые заливы Эгейского моря» (перевод В. Холодковского).

ване, и мы не можем ему молиться. Они поют: «Эта жизнь переходяща, как и красота этих цветов. Да разделит мой Бог¹ со мной заслугу этого приношения».

В качестве прелюдии к церемонии в «мандапаме» — своего рода «зале ожидания» индуистского храма — был исполнен на барабанах целый концерт, продлившийся час. Барабанщиков было пятеро: по одному в каждом углу квадратного зала, и еще один — молодой человек — в центре. Этот последний блестяще выступил в качестве солиста. Обнаженный до пояса, с блестящей темно-коричневой кожей, опоясанный красной лентой, в белой «шоке» (длинной, до земли, юбке) и белом тюрбане, с блестящими браслетами на запястьях, он подступил к золотому Будде, держа в руках двойной барабан, чтобы совершить «музыкальное жертвоприношение». Сопровождая пение изящными движениями, он исполнил свое соло — чудесную, на редкость совершенную в художественном отношении «мелодию». Я разглядывал его сзади; он стоял напротив входа в «мандапам», который освещался множеством маленьких лампад. Барабан говорит на древнем языке живота и солнечного сплетения; живот не «молится», а порождает «заслуженную» мантру или медитативное «произнесение». Следовательно, это не прославление несуществующего Будды, а один из многих актов самоискупления пробуждающегося человеческого существа.

В начале весны я отправился в обратный путь с таким большим запасом впечатлений, что мне не захотелось сойти на берег, дабы увидеть Бомбей. Вместо этого я с головой зарылся в латинские алхимические тексты. Но Индия оставила во мне глубокий след, ведущий от одной бесконечности к другой.

5 РАВЕННА И РИМ

Уже при моем первом посещении Равенны в 1914 году гробница Галлы Плацидии² показалась мне очень значительным, необыкновенно чарующим памятником. То же чувство возникло у меня во второй раз, спустя двадцать лет. Вновь у гроба Галлы Плацидии меня охватило какое-то необычное настроение; вновь я был глубоко взволнован. Я пришел туда с одной своей знакомой, и мы вместе направились в православный баптистерий.

1 Бог = дэва = ангел-хранитель. (Прим. автора.)

2 Галла Плацидия (ок. 390—450) — дочь римского императора Феодосия Великого; была замужем за вестготским королем Атаульфом (410—415), а после его смерти — за Констанцием III, ставшим в 421 году римским императором и вскоре после этого умершим.

Здесь меня с самого начала поразил наполнявший помещение нежный голубой свет. Я не пытался дознаться, откуда он исходит, и поэтому чудо неведомого источника этого света не внушало мне беспокойства. Я только испытывал некоторое удивление, так как вместо окон, запомнившихся мне со времени предыдущего посещения, увидел четыре мозаики невообразимой красоты, о существовании которых, по-видимому, начисто забыл. Подобная ненадежность памяти меня несколько смутила. Мозаика на южной стене представляла крещение в Иордане; вторая картина, на северной стене, изображала переход Сынов Израиля через Чермное море; что касается третьей, восточной фрески, то она и на этот раз быстро изгладилась из моей памяти. Возможно, она представляла излечение прокаженного Неемана¹ в водах Иордана: картина на эту тему, очень похожая на мозаику, есть в Мериановой Библии из моей библиотеки. Но самой впечатляющей была четвертая мозаика, на западной стороне баптистерия. Ее мы осмотрели последней. Она изображала Христа, который протягивает руку Петру, тонущему в волнах. Мы стояли перед этой мозаикой не меньше двадцати минут и обсуждали исконную форму крещения и интересную архаическую концепцию, согласно которой оно представляет собой инициацию, связанную с реальной угрозой смерти. Такие инициации часто были сопряжены с опасностью для жизни и, таким образом, выражали архетипическую идею смерти и возрождения. Поначалу крещение было настоящим погружением в воду, то есть существовала опасность захлебнуться.

Я очень четко запомнил мозаику с тонущим Петром и донные могу мысленно восстановить все ее подробности: синеву моря, отдельные фрагменты мозаики, условные свитки с исходящими из уст Петра и Христа словами, которые я пытался расшифровать. Сразу после того, как мы вышли из баптистерия, я поспешил в Алинари, чтобы купить открытки с мозаиками, но ничего не смог найти. Времени на поиски больше не оставалось — пора было уезжать, — и поэтому я отложил покупку фотографий на потом. Я думал, что смогу заказать их из Цюриха.

Вернувшись домой, я попросил знакомого, собиравшегося в Равенну, раздобыть интересовавшие меня изображения. Но он, естественно, не смог выполнить мою просьбу, поскольку обнаружил, что описанных мною мозаик не существует!

Тем временем (в 1932 году) я успел доложить об истоках концепции крещения на семинаре по тантра-йоге, упомянув в связи с этим мозаики, виденные мной в равеннском православном баптистерии. Воспоминание о них все еще очень живо во мне.

1 4-я Книга Царств, 5:14.

Дама, бывшая со мною там, долго отказывалась верить, что того, что она видела «собственными глазами», не существует.

Как известно, очень сложно определить, действительно ли и в какой степени двое людей одновременно видят одно и то же. Но как раз в данном случае я могу удостоверить почти полную идентичность того, что нам довелось увидеть.

Пережитое в Равенне стало одним из самых примечательных событий моей жизни. Этот эпизод едва ли поддается объяснению. Впрочем, определенный свет на происшедшее проливает инцидент, случившийся некогда с императрицей Галлой Плацидией. Во время бурного зимнего морского путешествия из Византии в Равенну она дала обет в случае благополучного исхода плавания построить церковь и изобразить на ее стенах опасности, которые подстерегают мореплавателей. Она выполнила свой обет, построив базилику святого Иоанна (Сан Джованни) в Равенне и украсив ее мозаиками. В период раннего средневековья эта базилика сгорела вместе с мозаиками, но в миланской Амброзиане до сих пор есть набросок, изображающий Галлу Плацидию в лодке.

Образ Галлы Плацидии воздействовал на меня еще во время моего первого приезда в Равенну; я не переставал удивляться, как могла эта высокообразованная, изысканная дама жить с варварским царьком. Ее гробница показалась мне последним свидетельством, оставленным ею словно специально для того, чтобы дать мне возможность проникнуть в ее личность. Ее судьба, вся ее сущность живо присутствовали во мне; благодаря этому она стала самым подходящим историческим воплощением моей анимы¹.

Анима мужчины по своей природе в высшей степени исторична. Как персонификация бессознательного, она восходит к первобытным временам и воплощает содержание прошлого. Она сообщает индивиду то, что он должен знать о собственной предыстории. Для человеческой личности анима — это вся жизнь, которая была в прошлом и все еще продолжается в данной личности. Соотнося себя с анимой, я всегда ощущал себя варваром без собственной истории, — тварью, только что возникшей из ничего, не имеющей ни прошлого, ни будущего.

Встречаясь со своей анимой, я фактически подвергался опасностям, изображенным на мозаике. Я был близок к тому, чтобы утонуть. Со мной случилось то же, что и с Петром, который

1 Юнг объяснял свое видение не как синхронический феномен, а как мгновенное творение бессознательного, порожденное его мыслями об архетипической инициации. Непосредственная причина конкретизации, по его мнению, крылась в проекции его анимы на Галлу Плацидию. (*Прим. А. Яффе.*)

возопил о помощи и был спасен Христом. Со мной могло произойти то же, что и с фараоновым войском¹. Но, подобно Петру и Нееману, я остался невредим, а интеграция бессознательного содержания сыграла решающую роль в становлении моей личности.

То, что происходит внутри человека, когда содержание бессознательного интегрируется в сферу сознания, едва ли может быть описано словами. Его можно только пережить на собственном опыте. Это дело субъективное, совершенно не поддающееся обсуждению; я воспринимаю себя определенным образом, и для меня это факт, который невозможно, да и бессмысленно подвергать сомнению. Но, с другой стороны, меня определенным образом воспринимает другой; это тоже факт, не подлежащий отрицанию. Насколько нам известно, не существует высшего авторитета, способного примирить возможные расхождения между всеми впечатлениями и мнениями. Лишь на основании своих ощущений субъект решает, возникли ли в результате интеграции какие-либо изменения и какова их природа. Конечно, это не факт, который может быть проверен научными методами; поэтому он не находит себе места в общепринятой картине мира. Тем не менее, это факт, имеющий чрезвычайно большое значение и чреватый последствиями. Во всяком случае, реалистически мыслящие психотерапевты и психологи едва ли могут позволить себе не обращать внимания на фактические данные подобного рода.

После того, что мне довелось испытать в равеннском баптистерии, я со всей ясностью понял, что внутреннее может казаться внешним, а внешнее может стать внутренним. Стены баптистерия, какими они были в действительности и какими предстали моему физическому взору, оказались заслонены совсем иным видением — столь же реальным, сколь и купель, ничуть не изменившаяся. Так что же было тогда реально на самом деле?

Мой случай — не единственный в таком роде. Но когда подобное происходит с тобой самим, поневоле воспринимаешь это серьезнее, нежели то, о чем слышал или читал. Вообще говоря, подобные рассказы непременно приводят на ум разные объяснения, которые принято давать в наше время таинственным явлениям. Я пришел к заключению, что прежде чем формулировать теории о бессознательном, необходимо многое, очень многое пережить самому.

Я много путешествовал в своей жизни; и я очень хотел посетить Рим, но чувствовал, что могу не усвоить тех впечатлений,

1 См. Исход, 14:26—28.

которых ожидал от этого города. С меня достаточно было Помпей; обилие полученных там впечатлений уже превысило возможности моего восприятия. Мне удалось съездить в Помпеи только после того, как благодаря своим исследованиям 1910—1912 гг. я кое-что понял в психологии классической древности. В 1912 году я поднялся на борт корабля, плывшего из Генуи в Неаполь. Когда корабль поравнялся с Римом, я поднялся на палубу. На берегу раскинулся Рим — все еще дымящийся очаг древних культур, оплетенный корнями христианского и западного средневековья. Классическая древность все еще жила там во всем своем великолепии и беспощадности.

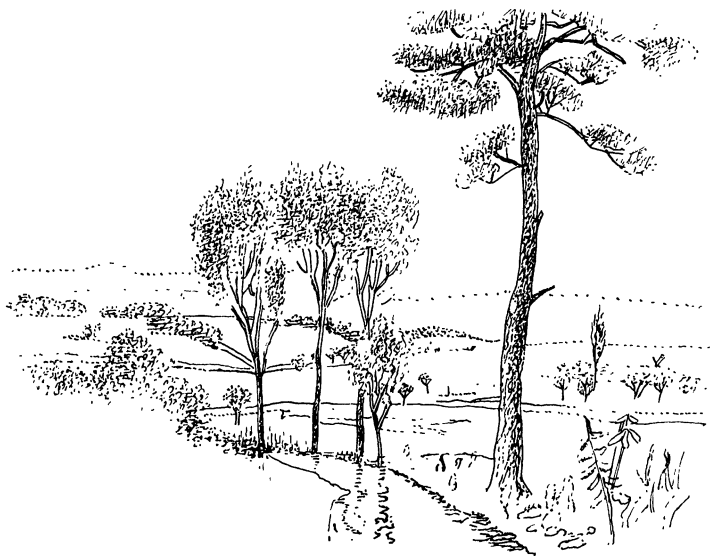
Я всегда удивляюсь людям, которые приезжают в Рим так, словно это Париж или Лондон. Конечно, Рим, подобно этим городам, также может служить предметом эстетического восхищения; но если вы до глубины души захвачены духом, который здесь дает о себе знать на каждом шагу, если развалины какой-нибудь стены или колонны то и дело обнаруживают перед вами свой мгновенно узнаваемый облик, все предстает в совершенно ином свете. Даже в Помпеях я открывал непредвиденные перспективы, осознавал неожиданные вещи, задавался вопросами, на которые не мог найти ответов.

Уже в старости — в 1949 году — я решил исправить это упущение, но в самый момент покупки билетов неожиданно потерял сознание. С той поры план посещения Рима был оставлен мною навсегда.

10

Видения





В начале 1944 года я сломал ногу; за этой неприятностью последовал инфаркт. Пока я лежал без сознания, мне являлись видения и кошмары, начавшиеся, по-видимому, в то самое время, когда я был на грани жизни и смерти и меня «откачивали» с помощью искусственного дыхания и инъекций камфоры. Видения выглядели столь ужасающе, что я догадался о близости смерти. Впоследствии моя сиделка говорила мне: «Вас словно окружало сияние». Она добавила, что нечто подобное ей приходилось наблюдать у умирающих. Я достиг крайнего предела и не знаю, спал ли я или пребывал в экстазе. Как бы там ни было, со мной начали происходить удивительные вещи.

Мне казалось, что я где-то высоко в космосе. Далеко внизу я видел земной шар, окутанный чудесным синим сиянием. Я разглядел глубокое синее море и континенты. Далеко под моими ногами был Цейлон, а чуть спереди — субконтинент Индии. Мое поле зрения не охватывало всей земли, но ее общая шаровидная форма была хорошо различима, а ее контуры излучали серебряный ореол, пробивавшийся сквозь этот чудесный синий свет. Во многих местах земной шар казался цветным или покрытым темно-зелеными пятнами, словно окислившееся серебро. Слева, в отдалении, расстиралось обширное пространство — красно-желтая Аравийская пустыня; казалось, что там серебро земли приобрело красновато-золотой оттенок. Еще дальше начиналось Красное море, а совсем далеко — словно в верхнем левом углу карты — открывался кусочек Средиземного моря. Именно туда и был направлен, главным образом, мой взгляд. Все остальное казалось неотчетливым. Я мог видеть также покрытые снегом

Гималаи, но в той стороне было туманно или облачно. Вправо я вообще не смотрел. Я знал, что еще немного — и я улечу вдаль от земли.

Впоследствии я узнал, что именно такой обзор открывается на расстоянии примерно полутора тысяч километров от Земли! Мне никогда не приходилось видеть ничего более великолепно-го и завораживающего.

После недолгого созерцания я отвернулся. Теперь я стоял, так сказать, спиной к Индийскому океану и лицом к северу. Потом я вроде бы совершил поворот к югу. В поле моего зрения обнаружилось нечто новое. В космическом пространстве, невдалеке от себя, я увидел огромную темную каменную глыбу, похожую на метеор. По размерам она была никак не меньше моего дома. Она парила в космосе, и сам я также парил в космосе.

Похожие камни — глыбы темно-красного гранита — я видел на берегу Бенгальского залива; во многих из них были выдолблены святилища. Мой камень также был гигантской темной глыбой. За входом открывалась небольшая прихожая. Справа от входа, на каменной скамье, молча сидел в позе лотоса темнокожий индус. На нем была белая одежда, и я знал, что он ждет меня. Чтобы попасть в прихожую, я должен был подняться по двум ступенькам; внутри, слева, находились ворота в храм. В стенах были бесчисленные узкие углубления, внутри каждого была блюдцеобразная впадина, наполненная кокосовым маслом и маленькими горящими фитилями; огни окружали дверь сияющим венцом. То же самое я видел в храме Святого Зуба в Канди на Цейлоне; там также ворота были окружены несколькими рядами похожих масляных лампад.

Когда я подходил к ступенькам, ведущим внутрь скалы, случилось нечто странное. У меня возникло ощущение, будто все, к чему я стремился, чего желал, о чем размышлял, вся фантазмагория земного существования словно сходит с меня как кожа во время линьки. Этот процесс был чрезвычайно болезнен. Тем не менее, кое-что осталось; казалось, теперь я несу на себе все, когда-либо мною пережитое и сделанное; все, происходившее вокруг меня. Можно было бы сказать и так: это было со мной, и я был этим. Я, так сказать, состоял из всего этого. Я состоял из своей собственной истории и отчетливо ощущал: это — я. «Я — этот узел свершившегося и совершенного».

Это переживание принесло с собой ощущение собственного убожества и одновременно исключительной полноты. Мне больше нечего было желать. Я существовал объективно; я был тождествен прожитой мною жизни. Поначалу доминировало ощущение, будто меня уничтожили или обобрали; но потом все это вдруг перестало иметь значение. Казалось, все ушло в прош-

лое; все осталось как *fait accompli*¹, без всякой обратной связи с тем, что прошло. Не было сожаления об утраченном или отнятом. Напротив, я владел всем, чем я был, и я не владел ничем иным.

Тут мое внимание привлекло нечто иное: по мере приближения к храму у меня нарастала уверенность, что вот-вот я войду в освещенную комнату и увижу там всех тех, к чьему обществу принадлежу в действительности. Там я наконец пойму — и в этом я также был уверен, — каков исторический контекст моей личности или моей жизни. Я узнаю, что было до меня, почему я возник из небытия и куда направлено течение моей жизни. Моя жизнь часто казалась мне похожей на рассказ без начала и конца. Я казался себе каким-то историческим фрагментом, отрывком, которому недостает предшествующего и последующего текста. Жизнь представлялась длинной цепочкой событий, которую словно разрезали ножницами; многие вопросы так и остались без ответов. Почему все произошло именно так? Почему я принес с собой в мир именно эту совокупность исходных предпосылок? Что я с ней сделал? Что будет дальше? Я чувствовал полную уверенность, что стоит мне войти в скальный храм, как я получу ответы на все эти вопросы. Там я узнаю, почему все стало так, а не иначе. Там я встречу людей, знающих ответ на мой вопрос о том, что было прежде и что будет в дальнейшем.

Пока я думал обо всех этих материях, случилось нечто, привлекавшее мое внимание. Снизу, со стороны Европы, в воздух поднялось какое-то изображение. Это был мой врач, доктор Г. — или, точнее, его подобие, обрамленное золотой цепью или золотым лавровым венком. Я сразу понял: «Вот он, мой врач, тот самый, который меня лечил. Но сейчас он приходит в своем первоначальном облике, как *басилевс Коса*². В жизни он был „аватарой“ (воплощением) этого *басилевса*, временным воплощением исконной, изначально существовавшей формы. Сейчас он является именно в этой исконной форме».

По-видимому, я также был в своей исконной форме, хотя сам этого не наблюдал, а просто принял как данность. Когда он встал передо мной, между нами произошел безмолвный обмен мыслями. Доктор Г. был послан с Земли, чтобы передать мне послание и сообщить, что там протестуют против моего ухода. Я не имел права покидать Землю и должен вернуться. Как только я это услышал, видение исчезло.

Я был глубоко разочарован, так как теперь все показалось лишенным смысла. Болезненный процесс «линьки» оказался на-

1 Сверхившийся факт (*франц.*).

2 Басилевс — царь (*греч.*). Кос был известен в древности как место, где находился храм Асклепия; там родился Гиппократ. (*Прим. А. Яффе.*)

прасным, мне не было позволено войти в храм и присоединиться к тем, кто составлял мое истинное общество.

В действительности, прошло добрых три недели, прежде чем я пришел к решению жить дальше. Я не мог есть — любая пища вызывала у меня отвращение. Открывавшийся с моей кровати вид на город и горы казался мне раскрашенным занавесом с черными дырами или клочками газеты, полными бессмысленных фотографий. Я разочарованно подумал: «Теперь мне придется вновь вернуться в систему ящичков»: ведь мне казалось, будто внизу, на Земле искусственно воздвигнут трехмерный мир, где каждый отдельный индивид сидит в собственном ящичке. И мне предстояло вновь уверить себя в том, что это разумно! Жизнь и весь мир показались мне тюрьмой, и я испытал величайшее раздражение при мысли, что мне вновь придется смириться с таким положением вещей. Я с такой радостью сбросил было это с себя, а теперь вдруг выясняется, что я — так же, как и все остальные — вновь буду привязан к ящичку веревочкой. Паря в космосе, я был невесом, и ничто меня не притягивало. А теперь всему этому предстоит уйти в прошлое!

Я был возмущен врачом, вернувшим меня к жизни. Но одновременно я беспокоился о нем. «Господи Боже мой, ведь его жизнь находится под угрозой! Он появился передо мной в своем изначальном облике! Тому, кто обретает этот облик, предстоит умереть, так как он уже принадлежит к обществу „своих“!» Внезапно мне в голову пришла пугающая мысль, что доктор Г. умрет вместо меня. Я всячески пытался заговорить с ним об этом, но он никак не мог меня понять. Тогда я рассердился. «Почему он упорно притворяется, будто не знает, что является „басилевсом“? Коса и уже принял свой исконный облик? Он хочет заставить меня поверить, что ничего этого не знает!» Я был раздражен. Моя жена упрекала меня в недружелюбии по отношению к доктору. Она была права; но тогда я был разгневан на него за упорный отказ говорить о том, что произошло между нами в моем видении. «Черт подери, он должен соблюдать осторожность. Он не имеет права на такую беспечность! Я хочу, я должен предупредить его, чтобы он вел себя осмотрительнее». Я был совершенно убежден, что его жизнь в опасности.

Я и вправду оказался его последним пациентом. 4 апреля 1944 года — я хорошо помню точную дату — мне впервые с начала болезни разрешили сесть. В тот же день доктор Г. слег и больше не вставал. Мне сказали, что у него начались приступы лихорадки. Вскоре он умер от заражения крови. Он был хорошим врачом; в нем было что-то гениальное. Если бы не это, он не явился бы мне в облике косского царька.

Те недели я прожил в необычном ритме. Днем я обычно бывал

подавлен. Я чувствовал себя усталым и несчастным, не хотелось даже пальцем шевельнуть. Я мрачно думал о том, что мне придется вернуться в этот унылый мир. К вечеру я засыпал и спал до полуночи. Затем я приходил в себя и примерно час лежал без сна, пребывая в совершенно измененном состоянии — то ли в экстазе, то ли в состоянии величайшего блаженства. Казалось, я парил в космическом пространстве, чувствуя себя в безопасности в лоне Вселенной — в невероятной пустоте, но совершенно счастливый. «Вот оно, вечное блаженство, — думал я. — Это не поддается описанию; это слишком, слишком прекрасно!»

Все окружающее казалось мне зачарованным. В этот ночной час сиделка приносила мне чуть теплую еду — только такую я и мог есть, — и я поглощал ее с аппетитом. Некоторое время я воспринимал свою сиделку как старую — значительно старше своих настоящих лет — еврейку, готовящую для меня ритуальную кошерную еду. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что от ее головы исходит голубой ореол. Сам я, казалось, находился в «пардес риммоним», гранатовом саду, где играли свадьбу Тиферет и Малхут¹. Или же я был рабби Симоном бен Иохан, сыгравшим свадьбу в иной жизни. Это была мистическая свадьба, известная в каббалистической традиции. Ее великолепие не поддается никакому описанию. Я мог только беспрестанно думать: «Вот он, гранатовый сад! Вот она, свадьба Малхут и Тиферета!» Не знаю в точности, какую роль я играл во всем этом. В сущности, это был я сам; я и был свадьбой. И мое счастье было счастьем блаженной свадьбы.

Постепенно гранатовый сад поблек и изменил свой облик. Возник образ Свадьбы Агнца в празднично украшенном Иерусалиме. Не могу описать ее в подробностях. Это были состояния невыразимой радости. Меня окружали ангелы, все было залито светом. Я сам был «Свадьбой Агнца».

Этот образ тоже исчез и сменился новым, последним видением. Я шел по широкой долине к тому месту, где начиналась отлогая гряда холмов. Долина оканчивалась классическим амфитеатром, необыкновенно красиво расположенным среди зелени. И здесь, в этом театре, отмечалось священное бракосочетание — «иеросгамос». На сцене танцевали мужчины и женщины, а на устланном цветами ложе Всеобщий Отец Зевс и Гера совершали свой, описанный в «Илиаде» мистический брак.

Все эти переживания были поистине роскошны. Ночь за

¹ «Пардес риммоним» — название старого каббалистического трактата Моисея из Кордовы (XVI в.). Согласно каббалистической доктрине, Малхут и Тиферет — две из десяти сфер божественного проявления, в которых Бог возникает из невидимого состояния. Они представляют женский и мужской принципы внутри Божьей головы. (Прим. А. Яффе.)

ночью я парил в состоянии чистейшего блаженства, «оваян обликами всякого творенья»¹. Постепенно мотивы утрачивали отчетливость и тускнели. Обычно видения длились около часа, после чего я снова засыпал. С приближением утра я думал: «Снова наступает серое утро; возвращается серый мир с его системой ящичков! Какая глупость, какая страшная бессмыслица!» Эти внутренние состояния были настолько прекрасны, что по сравнению с ними наш посюсторонний мир казался просто смехотворным. Но по мере моего возвращения к жизни они становились все более и более мимолетными, и к концу третьей недели после первого видения прекратились совершенно.

Невозможно передать всю красоту и насыщенность чувств, испытанных мною во время этих видений. Мне никогда не приходилось переживать ничего более потрясающего. И какой контраст по отношению к ним являл день! Я невыразимо страдал, нервы мои были на пределе; все меня раздражало, все казалось слишком материальным, грубым, неуклюжим, страшно ограниченным как пространственно, так и духовно, искусственно привязанным к каким-то несуразным целям; и в то же время все это обладало какой-то непреодолимой гипнотической силой — при том, что я ясно ощущал его пустоту. Хотя моя вера в мир вернулась ко мне, я так и не избавился до конца от впечатления, что эта жизнь — лишь сегмент существования, отрывок действия, разыгрываемого в специально устроенной для этой цели трехмерной, похожей на ящичек вселенной.

Я совершенно явственно вспоминаю кое-что еще. Вначале, когда мне явилось видение гранатового сада, я попросил у сиделки извинения за то, что ей, возможно, будет нанесен ущерб. Я сказал ей, что царящая в комнате святость может ей повредить. Конечно, она меня не поняла. Для меня присутствие святости создавало магическую атмосферу; я боялся, что другие его могут не выдержать. Тогда я понял, почему говорят об аромате святости, о «благоухании» Святого Духа. В комнате присутствовал дух, «пневма» невыразимой святости, проявившейся в «таинстве соединения» — *mysterium coniunctionis*.

Я никогда бы не подумал, что подобное переживание вообще возможно. Оно не было плодом воображения. Видения и переживания были чрезвычайно реальны. В них не содержалось ничего субъективного; напротив, они обладали свойством абсолютной объективности.

Мы чураемся слова «вечность», но я могу описать свое переживание только как блаженство вневременного состояния, ко-

1 «Фауст», часть вторая, 1-й акт, сцена «Темная галерея» (строка дана в переводе Д. Лахути; в переводе Б. Пастернака эта строка отсутствует).

гда настоящее, прошлое и будущее сливаются воедино. Все происходящее во времени объединяется в объективную целостность. Ничто не распределяется во времени, ничто не может быть измерено с помощью временных категорий. Лучше всего это переживание можно было бы определить как состояние чувства, но такое, какого нельзя вызвать в воображении. Как я могу вообразить свое одновременное существование позавчера, сегодня и послезавтра? В этом случае то, что еще не начиналось, то, что несомненно есть и то, что уже завершилось — все должно было бы совместиться во времени и образовать единство. Чувство могло бы воспринять только сумму, то есть искрящуюся всеми цветами радуги целостность, содержащую и ожидание начала, и удивление происходящим, и удовлетворенность или разочарование результатами уже свершившегося. Человек вовлечен в не поддающееся никакому описанию целое и в то же время наблюдает его с полной объективностью.

Позднее я пережил это состояние объективности на собственном опыте еще раз. Это случилось после смерти моей жены. Я увидел ее во сне, похожем на видение. Она стояла довольно далеко от меня и смотрела на меня в упор. Она была в расцвете лет — ей было около тридцати, — в платье, сшитом для нее много лет назад моей кузиной-медиумом. Пожалуй, у нее никогда не было более красивой одежды. Выражение ее лица не было ни радостным, ни грустным; на ее лице можно было прочесть скорее объективную мудрость и знание без малейших следов эмоциональной реакции — словно она находилась по ту сторону туманной завесы аффектов. Я знал, что это не она, а портрет, сделанный или заказанный ею для меня. В нем содержались начало наших отношений, события пятидесяти трех лет супружества, а также конец ее жизни. Перед лицом такой целостности человек остается безмолвным, ибо ее едва ли можно постичь.

Объективность, пережитая мною в этом сне и в видениях, составляет часть осуществленной индивидуации. Она означает освобождение от оценочных суждений и от того, что мы называем эмоциональными привязанностями. Вообще говоря, эмоциональные привязанности играют в жизни человека важнейшую роль. Но они все еще содержат проекции, и самое существенное состоит в том, чтобы избавиться от проекций, дабы достичь самого себя и высшей объективности. Эмоциональные связи — это связи, определяемые нашими желаниями и, следовательно, запятнанные принуждением, несвободой; мы чего-то ждем от другого, и это лишает свободы и его, и нас. Объективное познание скрыто за притягательностью эмоционального отношения; оно представляется центральной тайной. Лишь через объективное познание возможно истинное coniunctio.

После выздоровления у меня начался период продуктивной работы, в течение которого было написано значительное число моих основных трудов. Открывшееся мне знание или видение конца всех вещей придало мне смелости, благодаря которой я многое сумел сформулировать по-новому. Я больше не пытался доказать свое, а подчинился спонтанному потоку мыслей, исходящих из глубин моего существа. Задачи, одна за другой, возникали передо мной и обретали форму.

В результате болезни я обрел еще кое-что. Я назвал бы это утвердительным отношением к бытию, безоговорочным приятием всего сущего, без субъективного отторжения чего бы то ни было; приятием условий существования, какими я их вижу и понимаю, приятием моей собственной природы, какой она мне дана. В начале болезни мне казалось, что в моем отношении к жизни есть нечто ошибочное, что я в определенной мере ответственен за постигшую меня неприятность. Но когда человек идет по пути индивидуации, когда он проживает свою собственную жизнь, ошибки нужно принимать как свершившийся факт; без них жизнь неполна. Никогда нельзя быть уверенным, что мы не впадем в ошибку или не окажемся перед лицом смертельной угрозы. Мы можем счесть ту или иную дорогу совершенно надежной; но тогда это будет дорога к смерти. Тогда уже ничего не произойдет — во всяком случае, не произойдет того, что нужно. Выбирающий надежную дорогу все равно что умер.

Лишь после болезни я понял, как важно приятие собственной судьбы. Таким образом выковывается «Я», способное не сломаться при столкновении с непонятным и непостижимым — «Я», способное выдержать правду и устоять при столкновении с миром и судьбой. Тогда поражение становится равноценным победе. Ничто не нарушается — ни внутри, ни снаружи: ведь теперь уже потоку жизни и времени противостоит непрерывность личности. Но этого можно достичь только в том случае, если личность не позволяет себе назойливого вмешательства в дела судьбы.

Я понял также, что человек должен воспринимать мысли, приходящие к нему спонтанно, помимо его воли, как некую непреложную данность. Категории истинного и ложного, конечно, присутствуют всегда; но если они не становятся связывающим и ограничивающим началом, они отодвигаются куда-то в тень. Наличие мыслей важнее, нежели субъективное суждение о них. Но и эти суждения нельзя подавлять в себе, поскольку они также существуют и составляют часть нашей целостности.

11

О жизни после смерти





То, что я собираюсь рассказать о потустороннем мире и о жизни после смерти, целиком состоит из воспоминаний, из образов и мыслей, которыми я жил, и которые вызывали во мне особенно значительный отклик. Эти воспоминания, в определенном смысле, лежат в основе моих трудов: ведь последние, по существу, представляют собой не что иное, как постоянно возобновляемые попытки найти ответ на вопрос о связи между «посюсторонним» и «потусторонним». И все же я никогда ничего не писал о жизни после смерти: ведь у меня не было никакой возможности документально подкрепить свои соображения. Так или иначе, я собираюсь высказаться по данному вопросу.

Даже сейчас я могу лишь рассказывать истории — то есть «мифологизировать». Пожалуй, чтобы свободно говорить о смерти, нужно находиться достаточно близко к ней. Нельзя сказать, что я желаю или не желаю жизни после смерти, и мне бы не хотелось культивировать идеи подобного рода. Но верность истине вынуждает меня признаться, что помимо моего желания и осознанных действий мысли об этом постоянно присутствуют во мне. Я не могу сказать, истинны они или ложны; но я знаю, что они есть и могут найти свое выражение, если только я, следуя тем или иным предубеждениям, не стану их подавлять. На психическую жизнь, понимаемую как целостный феномен, предубеждение оказывает уродующее, калечащее воздействие; что же касается меня, то я знаю о психической жизни слишком мало, чтобы позволить себе исправлять ее. Похоже, что критический рационализм изгнал из нашей действительности множество мифических понятий, в том числе идею жизни после смерти. Это

могло произойти только потому, что в наши дни люди в большинстве своем отождествляют себя почти исключительно с собственным сознанием и воображают, что они суть то, что знают о себе сами. Но любой человек, хоть что-то смыслящий в психологии, понимает, насколько ограничено это знание. Рационализм и доктринерство — болезни нашего претендующего на всезнание века. Но нам предстоит открыть еще очень многое из того, что с нашей нынешней ограниченной точки зрения кажется невозможным. Наши понятия пространства и времени очень приблизительны; значит, они допускают более или менее значительные отклонения — как абсолютные, так и относительные. Имея все это в виду, я внимательнейшим образом прислушиваюсь к странным, чудесным мифам души и наблюдаю за различными событиями, с которыми мне случается столкнуться — независимо от того, в какой степени они соответствуют моим теоретическим постулатам.

К сожалению, мифическая сторона человека сегодня почти не проявляет себя. Человек перестал рассказывать сказки. В результате очень многое ускользает от него; а ведь это так важно и благотворно — говорить о непостижимом. Такие разговоры похожи на старые добрые истории о привидениях, которые мы рассказываем, сидя у камина и куря трубку.

Мы, конечно, не знаем, что на самом деле означают мифы или истории о жизни после смерти, и какого рода действительность кроется за ними. Мы не можем сказать, обладают ли они какой-либо значимостью, помимо своей несомненной ценности в качестве антропоморфных проекций. Мы должны ясно сознавать, что не можем быть хоть сколько-нибудь уверены в вещах, выходящих за пределы нашего понимания.

Иной, управляемый совершенно другими законами мир недоступен нашему воображению по одной простой причине: мы живем в особом мире, который помог сформироваться нашим умам и установиться нашим психическим предпосылкам. Наши врожденные структуры ограничивают нас со всей строгостью; поэтому всем своим существом и образом мыслей мы связаны с нашим миром. Конечно, мифический человек желает «выйти за пределы всего этого», но человек, осознающий свою научную ответственность, не может позволить себе ничего подобного. С точки зрения интеллекта все мое мифологизирование есть не что иное, как пустая спекуляция. На эмоции, однако, оно оказывает оздоравливающее, целебное действие; оно придает жизни столь необходимое ей очарование. Так почему же мы должны от него отказываться?

Согласно утверждениям парапсихологов, существование жизни после смерти научно доказывается тем фактом, что мерт-

вые — либо как призраки, либо через посредство медиума — позволяют ощутить свое присутствие и сообщают такое, о чем явно не может знать никто, кроме них самих. Но даже хорошо документированные случаи подобного рода не снимают вопросов: идентичен ли призрак или голос умершему человеку, или это психическая проекция; в самом ли деле сказанное ведет свое происхождение непосредственно от умершего или оно обязано своим появлением знанию, возможно, присутствующему в бессознательном живых?¹

Разум может сколько угодно восставать против какой бы то ни было определенности в подобных вопросах; но мы не должны забывать о настойчивом стремлении большинства людей верить в то, что их жизнь будет неопределенно долго продолжаться за пределами их нынешнего существования. От этого они живут более осмысленно, чувствуют себя лучше, ощущают большую уверенность. Имея перед собой века, имея перед собой немыслимый океан времени, зачем предаваться глупой, дикой спешке?

Естественно, подобный ход мыслей присущ не всякому. Многие вовсе не стремятся к бессмертию и содрогаются от одной только мысли о том, что им предстоит десять тысяч лет сидеть на облаке и играть на арфе! Есть и такие — их не так уж мало, — кто испытал в своей жизни настолько болезненные удары или питает такое отвращение к собственному существованию, что предпочитает непрерывности абсолютный конец. Но в большинстве случаев вопрос о бессмертии кажется столь настоящим, непосредственным и к тому же неискоренимым, что мы должны хотя бы попытаться сформировать по этому вопросу какое-либо мнение. Но как это сделать?

Моя гипотеза состоит в том, что мы можем достичь этого с помощью намеков, посылаемых нам со стороны бессознательного — например, в сновидениях. Обычно мы гоним от себя намеки подобного рода, поскольку убеждены, что данный вопрос не может иметь ответа. В порядке возражения на этот понятный скептицизм я могу сказать следующее. Если непознаваемое существует, оно не может представлять для нас интеллектуальную проблему. Например, я не знаю, по какой причине возникла Вселенная, и я никогда этого не узнаю. Посему этот вопрос, как научная или интеллектуальная проблема, должен утратить для меня всякий интерес. Но если сновидения или мифы внушают какие-то мысли, связанные с этим, мне следует обратить на них должное внимание. Мне даже имеет смысл

1 Об «абсолютном знании» в бессознательном ср. работу Юнга: «Синхроничность как внепричинный связующий принцип» («Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge», 1952). (Прим. А. Яффе.)

построить на основании такого рода намеков целую концепцию — даже если она так и останется недоказуемой гипотезой.

Для человека очень важна возможность сказать себе, что он сделал все, что было в его силах, дабы сформировать определенное понятие о жизни после смерти или создать умозрительную картину этой жизни — пусть даже затем ему придется признать неудачу своих попыток. Не сделать этого — значит утратить что-то жизненно важное. Ведь вопрос, поставленный перед ним — это древнейшее наследие человечества: полный тайной жизни архетип, стремящийся присоединиться к нашему индивидуальному существованию и тем самым сообщить ему целостность. Разум заставляет нас держаться слишком узких рамок, принимать — к тому же с ограничениями — только то, что хорошо известно, и жить в заранее обусловленных пределах, которые мы отождествляем с истинными пределами существования. Но, по существу, мы день за днем живем, пребывая далеко за рамками нашего сознания: ведь внутри нас бессознательное ведет свою, неизвестную нам жизнь. Чем более явственно доминирует критический разум, тем беднее становится жизнь; с другой стороны, чем больше бессознательного содержимого — или, иначе говоря, чем больше мифа — способно интегрировать наше сознание, тем большей оказывается мера целостности нашей жизни. У переоцененного разума есть общая черта с политическим абсолютизмом: и тот, и другой доводят личность до духовной нищеты.

Помощь бессознательного состоит в том, что оно нам либо что-то сообщает, либо дает указания с помощью зрительных образов. У него есть и иные способы сообщать нам о вещах, которые, согласно логике, не могут быть нам известны. Вспомните хотя бы синхронистические явления, предчувствия и сновидения, которые сбываются!

Я вспоминаю случай, происшедший в годы Второй мировой войны, когда я возвращался из Боллингена домой. У меня с собой была книга, но я не мог читать, поскольку мое сознание было всецело занято образом тонущего человека. Это было воспоминание об инциденте, происшедшем во время моей армейской службы. Весь день я не мог избавиться от него. Оно испортило мне настроение, и я непрестанно думал: «Что же случилось? Неужели произошло несчастье?»

Все еще взволнованный этим воспоминанием, я вышел в Эрленбахе и направился пешком к дому. Дети моей средней дочери были в саду. Ее семья, из-за войны вернувшаяся из Парижа в Швейцарию, жила с нами. Дети выглядели расстроенными; на мой вопрос о том, что произошло, они сообщили, что младший из братьев, Адриан, упал в воду в сарае для лодок. Там было довольно глубоко, и ребенок, практически не умеющий плавать,

чуть не утонул. Его спас старший брат. Все это случилось как раз тогда, когда я был в поезде и на меня нахлынуло то самое воспоминание. Бессознательное послало мне намек. Почему бы не предположить, что оно способно информировать и о других вещах?

Нечто похожее я пережил незадолго до смерти одной из родственниц моей жены. Я увидел во сне, будто кровать моей жены — это глубокая яма с каменными стенами. По существу это была могила, и что-то в ее облике напоминало о классической древности. Затем я услышал глубокий вздох, словно кто-то испустил дух. Внутри ямы возникла похожая на мою жену фигура, которая воспарила ввысь. Фигура была в белом платье с вытканными на нем странными черными символами. Я проснулся, разбудил жену и проверил время. Было три часа пополудни. Я сразу же подумал о том, что этот удивительный сон означает чью-то смерть. В семь часов утра мы узнали, что двоюродная сестра моей жены умерла в три часа ночи!

В подобных случаях предчувствие часто не сопровождается узнаванием. Так, однажды я увидел во сне garden party — прием, устроенный в саду. Среди гостей я встретил свою сестру, что меня очень удивило, поскольку она умерла несколько лет тому назад. Там же находился один из моих умерших друзей. Все остальные присутствовавшие на приеме лица были еще живы. Моя сестра была вместе с хорошо знакомой мне дамой. Даже во сне я легко сделал вывод, что этой даме предстоит вскоре умереть. Я подумал: «Она уже отмечена». Во сне я точно знал, кто она. Я знал также, что она живет в Базеле. Но по пробуждении я, несмотря на все свои усилия, никак не мог вспомнить ее — даже при том, что сон в целом все еще очень живо стоял перед моими глазами. Я вызвал в воображении всех своих базельских знакомых, чтобы проверить, какой из мысленных образов попадет в цель. Но все оказалось тщетно!

Несколько недель спустя я получил известие о внезапной гибели одной знакомой дамы. Я сразу же понял, что это та самая женщина, которую я видел во сне, но никак не мог идентифицировать. Мое воспоминание о ней отличалось совершенной ясностью и богатством подробностей, поскольку она долгое время была моей пациенткой; курс лечения завершился за год до ее смерти. Но пытаясь вспомнить, кто же именно привиделся мне во сне, я почему-то не смог восстановить в памяти ее лицо — хотя она по праву могла претендовать на одно из первых мест в портретной галерее моих базельских знакомых.

Когда у человека бывают переживания подобного рода — ниже я расскажу еще и о других, — он начинает уважать возможности и способности бессознательного. Но нужно соблюдать критический подход и сознавать, что подобные «сообщения»

могут иметь и чисто субъективное значение. Они вовсе не обязательно соответствуют действительности. Тем не менее я убедился в том, что соображения и мнения, сформировавшиеся у меня на основании этих намеков со стороны бессознательного, оказались в высшей степени стоящими. Естественно, я не собираюсь писать книгу о таких открытиях; но я должен признаться, что у меня есть свой миф, который меня интересует и побуждает взглянуть в глубины этой сферы. Мифы — самая ранняя форма науки. Когда я говорю о том, что происходит после смерти, я движим внутренними побуждениями; единственное, что я могу — поведать сны и мифы, относящиеся к данной теме.

Естественно, с самого начала можно со всей категоричностью возразить, что мифы и сны о продолжении жизни после смерти суть не что иное, как компенсирующие фантазии, неотъемлемо присущие нашей природе: ведь жизни вообще свойственно стремление к вечности. Единственный аргумент, который я мог бы выдвинуть в ответ, есть сам миф.

Существуют указания на то, что по меньшей мере часть психической субстанции не подчиняется законам пространства и времени. Научное доказательство этому было получено благодаря хорошо известным экспериментам Дж. Б. Райна¹. Наряду с многочисленными случаями спонтанных предчувствий, внепространственного восприятия и т. д. — ряд аналогичных примеров из собственного опыта я уже приводил, — эксперименты Райна доказывают, что психическая субстанция иногда функционирует независимо от пространственно-временного закона причинности. Это свидетельствует о недостаточности наших концепций пространства и времени и, следовательно, причинности. Полная картина мира, видимо, должна включать еще одно измерение; лишь тогда вся совокупность явлений сможет получить целостное объяснение. Вот почему сторонники рационализма и сейчас настаивают на том, что парапсихологических переживаний в действительности нет; ведь устойчивость всего их мировоззрения находится в прямой зависимости от этого вопроса. Если парапсихологические явления существуют, это само по себе означает, что рационалистическая картина мира неполна и потому не имеет абсолютной ценности. Тогда возможность существования за пределами феноменального мира иной, оцениваемой по собственным законам реальности становится проблемой, от которой невозможно уклониться; нам придется

1 Опыты с карточками, осуществленные Дж. Б. Райном (Rhine) из университета Дьюк в Дархэме, США, доказали способность человека к сверхчувственному восприятию. (Прим. А. Яффе.) См.: J. B. Rhine. Extra-Sensory Perception (Boston, 1934); id. The Reach of Mind (New York, 1947).

признать, что наш мир с его временем, пространством и причинностью каким-то образом связан с иным порядком вещей, кроющимся где-то «по ту сторону», то есть в сфере, где наши «здесь и там», «раньше и позже» не имеют никакого значения. Я убедился в том, что по меньшей мере часть нашего психического бытия характеризуется относительностью пространства и времени. По мере удаления от сознания эта относительность, судя по всему, возрастает, вплоть до перехода в абсолютное состояние вневременности и внепространственности.

Мои взгляды на жизнь после смерти формировались, корректировались или подтверждались не только моими собственными, но и чужими сновидениями. Особое значение я придаю сну, который примерно за два месяца до своей смерти видела одна из моих учениц, женщина шестидесяти лет. Она вступила в потусторонний мир. Там была классная комната; за партами сидели ее умершие подруги. Царила атмосфера всеобщего ожидания. Она оглядела помещение в надежде найти учителя или докладчика, но никого похожего не было. Тогда она поняла, что она и есть докладчик: ведь сразу после смерти человек должен дать полный отчет о пережитом. Мертвым чрезвычайно важен жизненный опыт людей, которые только что умерли — словно действия и переживания, имевшие место в земной жизни, во времени и пространстве, обладают для них решающей ценностью.

Это сновидение представляет совершенно необычную, не свойственную земной действительности аудиторию: сообщество людей, испытывающих жгучий интерес к окончательным итогам и психологическим выводам совершенно непримечательной — с нашей точки зрения — человеческой жизни. Но если предположить, что «аудитория» эта пребывала в состоянии относительного отсутствия времени, где такие понятия, как «окончание», «событие» и «развитие» утратили свою несомненность, можно сделать логичный вывод, что ее члены вполне могли бы интересоваться именно тем, чего недоставало их собственному состоянию.

Дама, которой приснился этот сон, боялась смерти и как раз в тот период делала все, чтобы отогнать от себя мысли о ней. Но смерть сильно занимает мысли человека, особенно пожилого. Перед ним неотвратимо ставится вопрос, и он обязан на этот вопрос ответить. Для этого в его распоряжении должен быть миф о смерти, поскольку разум указывает ему только на мрачную яму, в которую ему предстоит спуститься; миф, однако же, может вызвать в его воображении другие образы: благотворные и обогащающие картины жизни в стране мертвых. Веря в них или допуская ту или иную меру их истинности, он прав или не прав в той же мере, что и тот, кто в них не верит. Но в то время

как отрицающий направляет свои шаги в никуда, человек, верующий в архетип, следует путями жизни и «плавно» входит в смерть. Конечно, оба они ни в чем не уверены; но один живет в противоречии со своими инстинктами, а другой — в согласии с ними.

Что касается фигур из сферы бессознательного, то они также «не информированы» и нуждаются в человеке или контакте с сознанием, чтобы достичь знания. В начальный период моей работы с бессознательным большую роль играли фигуры Саломеи и Илии. Затем они отступили, но примерно через два года возникли вновь. К моему величайшему изумлению, они совершенно не изменились; они говорили и действовали так, словно за время их отсутствия ничего не изменилось. В действительности же, за эти годы моей жизни произошли самые невероятные вещи. Мне пришлось начать все как бы с самого начала: рассказать им о происшедшем и дать необходимые объяснения. Эта ситуация меня поначалу немало удивила. Лишь потом я понял, что случилось на самом деле. В промежутке между двумя своими появлениями обе фигуры погрузились обратно в глубины бессознательного и в самих себя; я бы мог с тем же успехом сказать, что они перешли в состояние вневременности. Они не имели контакта с «Я» и его меняющимися обстоятельствами и поэтому не знали о событиях в мире сознания.

Я достаточно рано понял, что мне необходимо дать соответствующие указания фигурам бессознательного или тем «духам ушедших», которые столь часто неотличимы от этих фигур. Впервые я ощутил это в 1911 году во время велосипедной экскурсии по Северной Италии, которую я совершил вместе с одним из своих друзей. На обратном пути мы доехали из Павии до Ароны, что в нижней части Лаго Маджоре, и провели там ночь. Дальше мы намеревались обогнуть озеро и через Тичино добраться до Фаидо, где нам предстояло сесть на поезд до Цюриха. Но в Ароне я увидел сон, расстроивший наши планы.

Во сне я оказался в компании сиятельных духов прежних веков; нечто похожее я впоследствии испытал в отношении «сиятельных предков» в черном скальном храме из моего видения 1944 года. Разговор шел на латыни. Господин в пышном кудрявом парике обратился ко мне с каким-то сложным вопросом, сути которого, проснувшись, я уже не мог вспомнить. Я понял его, но не сумел ответить, ибо недостаточно владел латынью. Это обстоятельство настолько глубоко меня устыдило, что я проснулся от внезапно нахлынувших чувств.

В момент пробуждения я подумал о книге, над которой в то время работал, то есть о «Метаморфозах и символах либидо», и испытал настолько интенсивное чувство унижения из-за ос-

тавшегося без ответа вопроса, что тут же сел в поезд и напрямик направился домой, чтобы работать дальше. Я не мог себе позволить потратить еще три дня на велосипедную прогулку. Я должен был работать и искать ответ.

Лишь много лет спустя я понял этот сон и свою реакцию на него. Господин в парике был своего рода духом предка (или мертвеца); он задал мне вопрос — а я не знал ответа. Было еще слишком рано, я еще не достиг соответствующего уровня; у меня, однако же, было смутное ощущение, что работая над книгой я найду ответ на поставленный передо мною вопрос. Этот вопрос был задан мне, так сказать, моими духовными праотцами в надежде узнать то, чего они не могли узнать во время своей земной жизни, поскольку ответ был найден лишь в последующие века. Если бы вопрос и ответ уже существовали в вечности, с моей стороны не требовалось бы никакого усилия, и мои предки могли бы найти ответ в любом другом столетии. Представляется, что в природе есть некое безграничное знание, но оно может быть постигнуто только тогда, когда сознание в своем развитии достигнет подходящей стадии. То же самое, вероятно, происходит и в душе индивида: человек много лет носит в себе некую смутную догадку, но схватывает ее суть только в определенный момент.

В период написания «Семи проповедей» мертвые снова задавали мне решающие вопросы. По их собственным словам, они шли «из Иерусалима, где не нашли того, что искали». Тогда эти слова меня очень удивили, так как согласно традиционным воззрениям мертвые обладают большими знаниями. Людям присуще думать, будто мертвые знают много больше нас, поскольку христианская доктрина учит, что в потустороннем мире мы будем видеть «лицом к лицу». Но, судя по всему, души мертвецов «знают» только то, что они знали к моменту смерти. Отсюда их стремление проникнуть в жизнь, дабы почерпнуть из сокровищницы человеческого знания. У меня часто возникает ощущение их присутствия за нашей спиной в ожидании ответа, который мы дадим им и нашей судьбе. В том, что касается ответов на их вопросы, они, как мне кажется, зависят от живых — тех, кто пережил их и продолжает существовать в изменчивом мире: всезнание или всеприсутствие сознания, недоступное мертвым, может вливаться только в связанные с телом души живых. Таким образом, дух живых, как кажется, превосходит дух мертвых по меньшей мере в смысле способности достигать ясного и решающего знания. Трехмерный мир во времени и пространстве представляется мне системой координат; то, что здесь разделено на ординаты и абсциссы, «там», в условиях вневременности и внепространственности, может явиться как исконный образ

(Urbild) со многими аспектами — возможно, как диффузное «облако познания», окутывающее архетип. Тем не менее никакая дифференциация дискретного содержания невозможна без системы координат. Любая операция такого рода кажется немыслимой в условиях диффузного «всезнания» или внесубъектного сознания, без пространственно-временных разграничений. Познание, подобно деторождению, предполагает наличие противоположностей — «здесь» и «там», «вверху» и «внизу», «прежде» и «потом».

Если после смерти есть сознательное существование, оно должно, как мне кажется, продолжаться на том уровне сознания, который достигнут человечеством, и в любую эпоху иметь некий высший — хотя и изменчивый — предел. Многие люди всю свою жизнь и даже в момент смерти значительно отстают от собственных возможностей и — что еще более важно — от знаний, освоенных в течение их жизни сознанием других людей. Отсюда их потребность в том, чтобы в смерти добиться освоения той части сознания, которую не удалось обрести при жизни.

Я пришел к этому выводу благодаря наблюдению за сновидениями о мертвых. Однажды мне приснилось, будто я посетил своего друга, умершего примерно двумя неделями ранее. При жизни этот человек придерживался общепринятого взгляда на мир; до самого конца он оставался сторонником нерассуждающей установки. В моем сне его дом стоял на холме, похожем на холм Тюллингера близ Базеля. Стены старого замка окружали площадь с небольшой церковью и несколькими домиками. Это было похоже на площадь перед замком Рапперсвилля. Стояла осень. Листья старых деревьев пожелтели; окружающее преобразилось под нежными лучами солнца. Мой друг сидел за столом со своей дочерью, изучающей психологию в Цюрихе. Я знал, что она рассказывает ему о психологии. Он был настолько восхищен ее рассказом, что приветствовал меня лишь небрежным взмахом руки, словно давая понять: «Не отвлекай меня». Приветствуя меня таким образом, он в то же время отсылал меня.

Сон сообщил мне, что ныне, каким-то непонятным мне образом, мой друг призван уяснить реальность собственного психического существования — чего он так и не смог осуществить при жизни. Позднее в связи с образами этого сна мне вспомнились слова: «Святые отшельники, ютящиеся по ступенчатым уступам горы...» Отшельники в последней сцене второй части «Фауста» задуманы как изображение различных ступеней развития, взаимно дополняющих и возвышающих друг друга.

Еще одно переживание, связанное с развитием души после смерти, возникло у меня примерно через год после смерти моей

жены, когда я вдруг проснулся среди ночи, зная, что нахожусь вместе с ней в Южной Франции, в Провансе, и что провел рядом с ней целый день. Там она занималась исследованиями Грааля. Этот сон показался мне полным смысла, так как она умерла, не успев завершить свою работу над данной темой.

Интерпретация сновидения на субъективном уровне сводится к тому, что моя анима еще не осуществила свою задачу до конца. Такая интерпретация не представляет никакого интереса: ведь я и так достаточно хорошо знаю, что я еще с этим не покончил. Но мысль о том, что моя жена и после смерти продолжает работать над своим духовным развитием — в какой бы форме это ни выражалось, — поразила меня своей значительностью и оказала в известной мере успокаивающее воздействие.

Представления подобного рода, естественно, неточны, и дают неправильную картину — по аналогии с телом, проецируемым на плоскость, или наоборот, с четырехмерной моделью, конструируемой исходя из трехмерного тела. Чтобы позволить нам воспринять себя, эти представления используют язык трехмерного мира. Математика делает все возможное, чтобы найти выражение для связей, выходящих за пределы эмпирического понимания. Аналогично, для дисциплинированного воображения исключительно важно создавать образы непостижимых вещей с помощью логических принципов и на основании эмпирических данных — таких, например, как свидетельства, сообщаемые в сновидениях. Используемый в данном случае метод я называю «методом необходимого высказывания». Он представляет собой принцип амплификации (усиления) в применении к интерпретации снов, но проще всего его можно продемонстрировать через посредство некоторых рассуждений о натуральных целых числах.

Единица, как первая в ряду цифр, есть нечто одно. Но она есть также Единство, Всеединство, неделимость и нечленимость — понятие не числовое, а философское, архетип и атрибут Бога, монада. Подобные высказывания совершенно естественны для человеческого интеллекта; но в то же время интеллект детерминирован и ограничен своей концепцией единого и ее следствиями. Иными словами, высказывания, о которых я говорю, не являются произвольными. Они управляются природой единства и посему являются необходимыми. Теоретически говоря, та же логическая операция может быть осуществлена в отношении концепций, касающихся любого числа, следующего за единицей; на практике, однако, процесс вскоре приходит к концу, поскольку упирается в осложнения, с которыми, ввиду их многочисленности, становится все труднее и труднее справиться.

Каждое последующее число вводит новые свойства и новые модификации. Так, свойством числа четыре является то, что

уравнения четвертой степени могут быть решены, а уравнения пятой степени — нет. Соответственно, «необходимое высказывание» о числе четыре состоит в том, что оно, среди прочего, служит высшей точкой и одновременно концом предшествовавшего подъема. Ввиду того, что с каждым новым числом появляется по меньшей мере одно новое математическое свойство, высказывания настолько усложняются, что их становится невозможно формулировать.

Бесконечный ряд натуральных чисел соответствует бесконечному количеству отдельных творений. Ряд чисел также состоит из индивидов, и свойства даже первых десяти если и представляют собой что-либо, то в первую очередь — абстрактную космогонию, выведенную из монады. Свойства чисел, однако, суть также свойства материи; именно поэтому некоторые уравнения предвосхищают поведение последней.

Я полагаю, что высказывания нематематической природы также могут отсылать к не поддающимся представлению реалиям вне их самих. В частности, я имею в виду пользующиеся всеобщим признанием и повсеместно распространенные порождения фантазии, а также архетипические мотивы. Существуют математические уравнения, относительно которых мы не можем сказать, каким физическим реалиям они соответствуют; точно так же мы поначалу часто не можем судить о том, к каким психическим реалиям отсылают те или иные плоды мифотворчества. Уравнения, управляющие турбулентностью газов при нагревании, существовали задолго до того, как сама проблема стала предметом точного исследования. Аналогично, в нашем распоряжении уже давно имеются мифологемы, выражающие динамику некоторых подпороговых процессов — хотя сами эти процессы получили свое наименование лишь в самое последнее время.

Максимум, где бы то ни было достигнутый сознанием, составляет, по моему мнению, верхний предел знания, доступного мертвым. Вот почему земная жизнь, судя по всему, столь много значит; вот почему столь важно то, что уносит с собой человек в момент своей смерти. Лишь здесь, в земной жизни, где противоположности сталкиваются, возможно общее повышение уровня сознания. Представляется, что как раз в этом-то и состоит метафизическая задача человека, которую он не может осуществить без «мифологизирования». Миф — это естественная и необходимая промежуточная стадия между бессознательным и сознательным познанием. Бессознательному известно больше, нежели сознанию; но его знание — особого рода, знание в вечности, обычно не имеющее референтов здесь и сейчас, не поддающееся выражению на языке разума. Лишь в тех случаях, ко-

гда мы позволяем его свидетельствам амплифицировать самих себя — как было показано выше на примере чисел, — оно может быть нами понято; лишь тогда мы оказываемся способны воспринять его новые аспекты. Этот процесс убедительно повторяется в любом успешном анализе сновидений. Вот почему так важно сохранять непредвзятое отношение ко всему тому, что говорят нам сны. Если нас начинает удивлять некоторая «монотонность интерпретации», мы понимаем, что наш подход стал грешить доктринерством и посему утратил результативность.

Настоящих доказательств посмертного существования души не существует; но есть опыт определенных переживаний, заставляющий нас задуматься. Я воспринимаю их скорее как намеки и не хотел бы приписывать им ценность открытий или озарений.

Как-то ночью я лежал без сна, размышляя о внезапной смерти одного из своих друзей, чьи похороны состоялись днем раньше. Его смерть очень сильно на меня подействовала. Внезапно я ощутил его присутствие в своей спальне. Мне почудилось, что он стоит у изножья моей кровати и зовет меня за собой. Он не был похож на явление призрака; скорее это был внутренний зрительный образ, который я сам себе объяснил как фантазию. Но я не мог не спросить себя со всей откровенностью: «Существуют ли хотя бы какие-нибудь доказательства того, что это фантазия? Предположим, это не фантазия; предположим, мой друг действительно здесь, а я решил, что он представляет собой плод моего воображения — разве подобное не было бы низостью с моей стороны?» Впрочем, я не имел никаких оснований утверждать обратное. Тогда я сказал себе: «Невозможно доказать ни то, ни другое! Вместо того, чтобы выбрать самый легкий путь и объяснить его как фантазию, я с таким же успехом мог бы, в порядке эксперимента, попробовать наградить его реальностью». Стоило моим мыслям принять это направление, как он тут же направился к двери и сделал мне знак, словно призывая следовать за ним. Итак, мне нужно было «подыграть» ему. К этому я не был готов! Мне пришлось еще раз повторить самому себе свою аргументацию. Лишь после этого я, в своем воображении, повиновался его приглашению.

Он вывел меня из дома в сад, затем на дорогу и, наконец, в свой дом (последний находился на расстоянии нескольких сот метров от моего дома). Мы вошли; он провел меня в свой кабинет. Поднявшись на стул, он показал мне вторую из пяти книг в красных переплетах, стоявших на второй полке сверху. После этого видение прекратилось. Мне не приходилось бывать в его библиотеке, и я не мог знать, что в ней есть. Уж во всяком случае мне не могли быть известны заглавия тех книг, которые стояли на второй полке сверху и на которые он указывал мне.

Это переживание показалось мне настолько интересным, что

на следующее утро я отправился к вдове покойного и попросил разрешения поискать кое-что в его библиотеке. Рядом с книжным шкафом, действительно, стоял стул — совсем как в моем видении; не успев подойти к книжным полкам, я уже заметил корешки пяти книг в красных переплетах. Чтобы разобрать заголовки, я вынужден был подняться на стул. Это были переводы романов Эмиля Золя. Второй том назывался «Завет умершей». Содержание его меня не заинтересовало; лишь заглавие, в контексте моего переживания, оказалось исключительно важным.

Столь же важную роль сыграли в моей жизни сновидения, явившимися мне незадолго до смерти матери. Весть о ее смерти достигла меня, когда я находился в Тичино (Южная Швейцария). Неожданность этой вести глубоко меня потрясла. За ночь до смерти матери мне приснился страшный сон. Я находился в густом, мрачном лесу; между гигантскими тропическими деревьями то и дело попадались фантастические, огромные валуны. Это был героический, первобытный пейзаж. Внезапно я услышал пронзительный свист, огласивший, казалось, всю вселенную. Мои колени задрожали. Затем где-то внизу послышался грохот, и из-за деревьев выскочила гигантская овчарка с жуткой, широко разверстой пастью. При виде нее кровь застыла в моих жилах. Она промчалась мимо, и я внезапно понял: Дикий Охотник приказал ей принести человеческую душу. Я проснулся в смертельном страхе, и в то же утро узнал о кончине матери.

Этот сон оказался одним из немногих, чье воздействие на меня было поистине потрясающим: ведь с поверхностной точки зрения его можно было трактовать как указание на то, что моя мать стала добычей дьявола. Но в действительности сон утверждал, что в ту ночь — это было время фена, лютой январской непогоды — вместе со своими волками на охоту вышел Дикий Охотник, Тот, кто носит зеленую шляпу (*Grünhütli*). Это был Вотан, бог моих германских предков, взявший мою мать к праотцам; в негативном смысле последние представляли собой «дикие орды», тогда как в позитивном смысле — «блаженных», на швейцарском диалекте — «*sälig Lüt*». Лишь христианские миссионеры превратили Вотана в дьявола. Сам по себе, изначально, он был важнейшим богом — Меркурием или Гермесом, каковым его верно восприняли римляне; духом природы, вернувшимся к жизни в образе Мерлина из легенды о Граале, и в качестве «духа ртути» (*spiritus Mercurialis*) ставшим вожделем «арканумом» алхимиков. Таким образом, мой сон свидетельствовал, что душа моей матери взята в ту более широкую область Самости, которая лежит по ту сторону христианской нравственности — в сферу целостности природы и духа, где разрешаются все конфликты и противоречия.

Я немедленно вернулся домой ночным поездом. Я чувствовал глубокую скорбь, но в самых сокровенных глубинах сердца не мог испытывать скорби по весьма своеобразной причине: в течение всей поездки я постоянно слышал танцевальную музыку, смех и радостные возгласы, подобные звукам свадебного торжества. Все это резко контрастировало с устрашающим воздействием сна. Веселая танцевальная музыка и радостный смех не позволяли мне всецело отдаться чувству скорби. Каждый раз, когда это чувство готово было поглотить меня, оно тут же заглушалось потоком веселой музыки. Одна часть моего существа была охвачена теплом и радостью, а другая — ужасом и тоской. Я метался между этими двумя несовместимыми чувствами.

Этот парадокс можно объяснить исходя из предположения, что представления о смерти с точки зрения «Я» перемежались с представлениями о ней же с точки зрения души. В первом случае смерть казалась катастрофой: ведь она так часто потрясает нас как злобная и безжалостная сила, кладущая безоговорочный конец человеческой жизни.

Все это верно: смерть и вправду груба и жестока, и нет смысла делать вид, что это не так. Она жестока даже не столько физически, сколько психически: человек вырывается из нашей жизни, и после него остается только ледяная тишина смерти. Исчезает всякая надежда на какое бы то ни было общение, ибо одним-единственным ударом крушатся все мосты. Те, кто заслуживает долгой жизни, уничтожаются во цвете лет, а ничемнейшие люди доживают до старости. Такова суровая действительность, от которой не уйти. Угнетающее воздействие, оказываемое на нас жестокостью и бессмысленностью смерти, грозит подорвать веру в милосердного Бога, в справедливость и доброту.

Но есть и другая точка зрения, с которой смерть кажется радостным событием. В свете вечности смерть — это свадьба, таинство соединения (*mysterium coniunctionis*). Душа, так сказать, соединяется со своей недостающей половиной и тем самым обретает целостность. На греческих саркофагах радостный элемент представлен танцующими девами, на этрусских гробницах — картинами пиршеств. Когда благочестивый каббалист рабби Симон бен Йоханн умер, его друзья говорили, что он справил свадьбу. До сих пор во многих местах в День всех святых принято устраивать пирушки на могилах. В этом обычае отражено ощущение смерти как праздничного события.

За несколько месяцев до смерти матери, в сентябре 1922 года, мне приснился сон, предсказавший это событие. Сон касался моего отца и произвел на меня глубокое впечатление. С 1896 года, то есть с года его смерти, мне не приходилось видеть его во сне. Теперь же он словно явился из дальнего путешествия. Он казался помолодевшим; в нем не осталось ничего от обычного

авторитаризма. Вместе со мной он вошел в мою библиотеку, и я с радостным нетерпением ждал, когда он расскажет о своих планах на будущее. Кроме того, я с чрезвычайным удовольствием собирался представить ему свою жену и детей, показать свой дом и рассказать все, что происходило со мной за то время, пока мы не виделись. Я хотел также рассказать ему о своей только что опубликованной книге, посвященной психологическим типам. Но я очень скоро понял неуместность своих ожиданий, так как отец был явно чем-то озабочен. По-видимому, ему было что-то от меня нужно. Почувствовав это, я не стал занимать его своими проблемами.

Он сказал мне, что поскольку я прежде всего психолог, он хотел бы получить от меня кое-какие советы по части психологии брака. Я собрался было прочесть ему обширную лекцию на тему о сложностях брачной жизни, но как раз в этот момент проснулся. Тогда я не мог понять свой сон, ибо мне не приходило в голову, что он может указывать на смерть моей матери. Я осознал его смысл лишь в январе 1923 года, после ее внезапной кончины.

Брак моих родителей нельзя было назвать счастливым; вся их жизнь была полна испытаний взаимного терпения. Они совершали ошибки, обычные для многих супружеских пар. Содержавшееся в моем сне предвосхищение смерти матери заключалось в том, что мой отец, вернувшись после двадцатилетнего отсутствия, хотел узнать у психолога что-нибудь о новых открытиях, касающихся брака; тем самым он явно выдал свое намерение возобновить прерванные отношения. Судя по всему, находясь во вневременном состоянии, он не смог достичь лучшего понимания проблемы и потому нуждался в консультации с кем-то из живущих — из тех, кто, пользуясь преимуществом существования в условиях меняющегося времени, мог бы по-новому подойти к его вопросу.

Таково было сообщение, переданное мне этим сном. Несомненно, вдумываясь в его субъективный смысл, я мог бы обнаружить в нем намного больше — но почему же он приснился мне как раз перед смертью матери, которой я вовсе не предчувствовал? Сон явно относился к моему отцу, к которому я испытывал тем большее сочувствие, чем старше я становился.

Ввиду своей пространственно-временной относительности бессознательное, по сравнению с опирающимся только на органы чувств сознанием, имеет лучшие источники информации. Именно поэтому наш миф о жизни после смерти всецело зависит от скудных намеков со стороны сновидений и других аналогичных спонтанных проявлений бессознательного. Как я уже говорил, мы не имеем оснований считать их знаниями, а тем более — доказательствами. Тем не менее, они могут служить под-

ходящей основой для мифических амплификаций: ведь они предоставляют пытливому интеллекту сырой материал, необходимый для сохранения его жизнеспособности. Отсеките промежуточный мир мифического воображения, и разум станет жертвой малоподвижного доктринерства. С другой стороны, излишняя увлеченность этими зародышами мифа опасна для слабых и внушаемых умов, ибо они легко могут спутать туманные намеки с фундаментальным знанием и наделить свойством реального существования то, что на самом деле является плодом воображения.

Один из широко распространенных мифов о потустороннем мире образуют представления и образы, связанные с перевоплощением душ — реинкарнацией.

В стране, духовная культура которой очень сложна и намного древнее нашей — я имею в виду, конечно, Индию, — идея реинкарнации кажется столь же ясной, сколь для нас, скажем, идея о сотворении мира Богом или о существовании некоего *spiritus rector* («направляющего духа»). Образованные индусы знают, что мы не разделяем их образа мыслей, но это их нисколько не волнует. С точки зрения духа Востока последовательность жизни и смерти — это бесконечная непрерывность, вечное колесо, вращающееся без всякой цели. Человек живет, достигает знания, умирает и начинает снова, с самого начала. Лишь вместе с Буддой появилось представление о цели, а именно — о преодолении земного существования.

Мифическим потребностям западного человека соответствует эволюционная космогония, имеющая *начало* и *цель*. Человек западной цивилизации восстает против космогонии, имеющей начало и всего лишь *конец*; точно так же он не приемлет представления о статичном, самодовлеющем, вечном цикле событий. С другой стороны, человек Востока, как кажется, вполне уживается с этим представлением. Очевидно, общепринятой концепции мира не существует — так же, как не существует согласия на эту тему между современными астрономами. Западному человеку бессмысленность чисто статичной Вселенной кажется невыносимой. Ему свойственно приписывать ей некоторый смысл. Но человеку Востока такое миропонимание не свойственно; скорее он сам воплощает смысл Вселенной. Один ощущает потребность в том, чтобы довести смысл Вселенной до завершения; другой стремится к полноценному осуществлению смысла в человеке, избавляя мир и бытие от самого себя (Будда).

Я полагаю, что правы оба. Человек Запада кажется преимущественно экстравертом, человек Востока — преимущественно интровертом. Первый проецирует смысл и полагает, что он су-

шествует в предметах; второй ощущает смысл в самом себе. Но смысл содержится как вне, так и внутри.

Представление о повторном рождении неотделимо от представления о карме. Кардинальный вопрос заключается в том, личностна ли карма. Если карма — принадлежность личности, значит, предопределенная судьба, с которой человек входит в жизнь, есть нечто, достигнутое предшествующими жизнями, и это доказывает непрерывность личности. Если же это не так, если внеличностная карма соединяется с человеком в акте его рождения — значит, карма каждый раз возрождается заново, то есть личностной непрерывности не существует.

Ученики дважды спрашивали Будду, принадлежит ли человеческая карма личности или нет. Каждый раз он отклонял этот вопрос, говоря, что знание ответа на него не может способствовать освобождению человека от иллюзии бытия. Будда считал, что для его учеников было бы намного полезнее предаться медитации над цепью Нидана, то есть над рождением, жизнью, старостью и смертью, а также над причиной и воздействием страдания.

Я не могу ответить на вопрос, является ли карма, которую я проживаю, итогом моих предшествующих жизней, или она представляет собой скорее достижение моих предков, чье наследие сосредоточилось во мне. Являюсь ли я сочетанием жизней этих предков; воплощаю ли я эти жизни вновь? Жил ли я в прошлом как отдельная личность; достиг ли я настолько высокого уровня развития, чтобы суметь ныне найти решение этих вопросов? Не знаю. Будда оставил вопрос открытым, и мне кажется, что и сам он не знал точного ответа.

Я вполне мог бы представить себе, что я жил в прошедших веках и там сталкивался с вопросами, на которые не был в состоянии ответить; что мне было необходимо родиться вновь, ибо в то время я не выполнил предложенной мне задачи. Согласно моему представлению, когда я умру, мои деяния последуют за мной. Я принесу с собой все, что я сделал. А пока я должен предпринять все усилия, чтобы не прийти к концу с пустыми руками. Судя по всему, так же думал и Будда, предостерегая своих учеников от пустых, бесплодных рассуждений.

Смысл моего существования заключается в вопросе, заданном мне жизнью. Можно было бы выразиться наоборот: я сам являюсь вопросом, заданным миру, и я должен сообщить свой ответ — иначе я сам начинаю зависеть от ответа, который будет дан мне окружающим миром. Эту сверхличностную жизненную задачу я выполняю ценой труда и усилий. Возможно, тот же вопрос занимал и моих предков, не сумевших на него ответить. Не потому ли на меня столь большое впечатление произвело то обстоятельство, что финал «Фауста» не содержит в себе окон-

чательной развязки? Не потому ли я так живо заинтересовался сформулированной Ницше проблемой дионисийского аспекта жизни, путь к которому, судя по всему, утрачен христианской традицией? А может быть, взывающие к ответу загадки задавал мне неутомимый Вотан-Гермес моих алеманских и франкских предков? А может, прав был Рихард Вильгельм, шутливо утверждая, что в прошлой жизни я был мятежным китайцем, а теперь ишу в Европе корни своей восточной души?

То, что кажется мне суммарным итогом жизни моих предков или кармой, приобретенной в течение моих прошлых жизней, может быть и внеличным архетипом, который ныне держит за горло весь мир, но с особой силой захватил именно меня. Возможно, это развивавшийся в течение долгих веков архетип божественной Троицы в его столкновении с женским началом; а может быть, это все еще не получивший ответа вопрос гностиков о происхождении зла, то есть, иными словами, вопрос о неполноте христианского образа Бога.

Я думаю и том, что действующая личность предъявляет миру вопрос, взывающий к ответу. Но поставленный мною вопрос может оказаться неудовлетворительным — так же, как и мой ответ. В этом случае некто, обладающий моей кармой — то есть, по-видимому, я сам — должен родиться заново, чтобы дать более полный ответ. Возможно, мне не дано родиться заново, пока мир не нуждается в таком ответе; возможно, мне предстоит несколько веков полного покоя, пока не появится нужда в ком-то, интересующемся теми же вопросами и способном взяться за ту же задачу. Я представляю себе, что может наступить более или менее длительный период покоя, пока не возникнет потребность в возобновлении урока, которому я посвятил свою жизнь.

Вопрос о карме для меня темен; то же относится и к вопросу о повторном рождении личности и странствиях души. *Libera et vasa mente*¹ я внимательно прислушиваюсь к индийской доктрине повторного рождения и в мире собственного опыта ишу подлинные и достоверные знаки, указывающие на реинкарнацию. Естественно, я не беру в расчет многочисленные свидетельства тех, кто верит в реинкарнацию. Понятие «вера» означает для меня только наличие феномена веры, но не сообщает ничего о том содержании, которое является объектом веры. Последнее я должен обнаружить эмпирическими методами, и лишь после этого смогу его принять. До последнего времени, несмотря на мое самое внимательное отношение, мне не удавалось обнаружить ничего убедительного; лишь совсем недавно мне приснился целый ряд снов, которые, похоже, описывают процесс реинкарнации знакомых мне умерших. Но другие никогда не

1 Со свободным и открытым умом (лат.).

сообщали мне об аналогичных снах, и поэтому у меня нет оснований для сравнения. Поскольку это мое наблюдение субъективно и не имеет параллелей, я предпочитаю просто упомянуть о нем, но не пытаюсь его анализировать. Вместе с тем я должен признаться, что после этих снов я увидел проблему реинкарнации несколько иными глазами, хотя все еще не имею возможности высказать определенное мнение.

Предполагая, что жизнь продолжается «там», мы не можем представить себе иной формы бытия, помимо психической: ведь жизнь психической субстанции не нуждается ни в пространстве, ни во времени. Психическое бытие — и в первую очередь занимающие нас здесь внутренние образы — предоставляет материал для всех мифических спекуляций о жизни в потустороннем мире, и в моем восприятии «та» жизнь — это продолжение мира образов. Следовательно, психическая субстанция может быть тем самым бытием, в котором помещен потусторонний мир или «страна мертвых». С этой точки зрения бессознательное и «страна мертвых» — синонимы.

С психологической точки зрения жизнь в потустороннем мире кажется логическим продолжением психической жизни в старости. По мере старения возрастает склонность к созерцанию и размышлениям, что, естественно, приводит к возрастанию роли внутренних образов в жизни человека. «Старцам вашим будут сниться сны»¹. Это, конечно, предполагает, что души старцев не полностью одеревенели или окаменели — *sero medicina paratur cum mala per longas convaluere moras*². В старости перед внутренним взором человека начинают проходить воспоминания о прошедшей жизни и, размышляя, он узнает себя во внутренних и внешних образах прошлого. Это похоже на подготовку к бытию в потустороннем мире — точно так же как философия, по мнению Платона, есть подготовка к смерти.

Внутренние образы не позволяют мне потеряться в воспоминаниях чисто личного свойства. Многие старики слишком озабочены мысленным воскрешением прошлого. Они оказываются пленниками своей памяти. Но если взгляд в прошлое отрефлектирован и переведен на язык образов, он может стать своего рода разбегом перед прыжком. Я стараюсь увидеть линию, ведущую через мою жизнь в мир и обратно, в пространство, находящееся вне мира.

Вообще говоря, представления людей о потустороннем во многом состоят из предрассудков, выдающих желаемое за дей-

1 Иоиль 2:28; ср. также Деяния 2:17.

2 Лекарство [будет] приготовлено слишком поздно, когда болезнь успеет укрепиться из-за долгой отсрочки (*лат.*).

ствительное. Так, в большинстве представлений потусторонний мир рисуется как приятное место. Мне это вовсе не кажется очевидным. Я не думаю, что после смерти наши духи окажутся на каком-нибудь прелестном цветущем лугу. Если бы в потустороннем мире все было так хорошо и приятно, между нами и блаженными духами непременно возникло бы дружественное общение, и еще до рождения на нас изливались бы добро и красота. Но ничего такого нет и в помине. Почему же существует эта непреодолимая преграда между ушедшими и живыми? По меньшей мере половина сообщений о встречах с мертвецами повествует о страшных впечатлениях, связанных с мрачными духами; как правило, страна мертвых хранит ледяное молчание, не отзываясь на скорбь тех, кто остался одинок.

Я хотел бы продолжить невольно возникшую мысль и сказать, что в моем представлении мир слишком унитарен, чтобы можно было допустить существование совершенно непротиворечивого по своей природе «потустороннего». «Там» также есть «природа», и она тоже в каком-то смысле Божья. Мир, в который мы вступим после смерти, будет велик и ужасен, подобно Богу и всей известной нам природе. И я не могу представить себе, что страданий больше не будет. То, что я пережил в своих видениях 1944 года — освобождение от тяжести собственного тела и восприятие смысла, — было глубочайшим блаженством. Но там были и тьма, и странное, непривычное отсутствие человеческого тепла. Вспомните черную скалу! Она была темной, из самого тяжелого гранита. Что это означало? Если бы не существовало несовершенства, не было исходного дефекта в самих основах творения, откуда бы могло взяться стремление к созиданию, тоска по тому, что еще должно быть осуществлено? Почему человек и творение служат предметом заботы богов? Почему им важно, чтобы цепь Нидана не прерывалась? В конце концов, Будда противопоставляет мучительной иллюзии бытия свое «ничто», а христианин уповает на скорый конец этого мира.

Мне кажется вполне вероятным, что в потустороннем мире также есть некоторые ограничения; но души мертвых лишь постепенно обнаруживают пределы своей свободы. Где-то «там» должен быть некий определяющий фактор, некий императив, стремящийся положить конец состоянию «потусторонности». Я полагаю, что этот творческий императив несет ответственность за решение вопроса о том, каким именно душам предстоит возродиться. Я могу помыслить, что некоторым душам бытие в трехмерном пространстве кажется более блаженным состоянием по сравнению с вечностью. Но, возможно, это зависит от степени полноты, достигнутой этими душами в период их земного, человеческого бытия.

Возможно, продолжение жизни в трехмерном пространстве

теряет смысл по достижении душой определенной меры прозрения; иначе говоря, высокая мера прозрения способна уничтожить всякое стремление к повторному воплощению. Тогда душа должна покинуть трехмерный мир и достичь того, что буддисты называют нирваной. Но если у нее еще остается возможность как-то распорядиться своей кармой, она возвращается обратно в мир желаний, в жизнь, поступая так, вероятно, в силу переживаемой потребности завершить незавершенное.

В моем случае речь должна идти, по-видимому, о непреодолимом желании понять, что же именно обусловило мое появление на свет. В этом заключается самый сильный элемент моей природы. Можно сказать, что это ненасытное стремление к пониманию породило сам феномен сознания, нужный для того, чтобы узнать о процессах, которые происходят в окружающем мире, и составить мифические концепции на основании скудных намеков со стороны бессознательного.

У нас нет доказательств того, что какая-то часть нашего существа вечна. Мы в лучшем случае можем допустить, что какая-то часть нашей психической субстанции продолжает существовать после физической смерти. Мы также не знаем, обладает ли эта часть самосознанием. Не исключено, что некоторую определенность здесь могли бы внести наблюдения за так называемой психической диссоциацией. В большинстве случаев комплекс расщепления личности проявляется как нечто, обладающее собственным личностным сознанием. Так персонифицируются голоса, слышимые душевнобольным. Свою докторскую диссертацию я посвятил как раз разбору феномена персонифицированных комплексов. При желании эти комплексы можно посчитать доводом в пользу непрерывности сознания. К числу аналогичных доводов относятся также удивительные наблюдения над случаями глубоких обмороков, наступающих в результате острых повреждений мозга, когда полная потеря сознания сопровождается сохранением восприятия внешнего мира и богатыми, эмоционально насыщенными сновидениями. Поскольку кора головного мозга — то есть место, где сосредоточена функция сознания — оказывается выключенной, иного объяснения феноменам подобного рода дать пока невозможно. Они могут доказывать по меньшей мере субъективную сохранность способности сознавать — даже в состоянии явной утраты сознания.

Проблема соотношения между «вневременным человеком», то есть Самостью, и земным человеком во времени и пространстве озарила для меня новым светом благодаря двум снам.

В первом из них, приснившемся мне в октябре 1958 года, я увидел из окна своего дома два чечевицеобразных диска, отличавшихся металлическим сиянием. Они стремительно влетели в

узкую арку над домом и понеслись по направлению к озеру. Это были два так называемых неопознанных летающих объекта (НЛО). Затем появилось еще одно тело, летевшее прямо на меня. Это была идеально круглая линза, похожая на объектив телескопа. На расстоянии четырехсот или пятисот метров от меня тело на мгновение застыло неподвижно, после чего улетело вдаль. Сразу после этого воздух прорезало еще одно тело: подобие объектива с металлической насадкой, которая соединялась с ящичком — своего рода волшебным фонарем. Примерно в шестидесяти или семидесяти метрах оно зависло в воздухе, указывая прямо на меня. Я проснулся с чувством величайшего удивления. Еще когда я был в полусне, в моей голове мелькнула мысль: «Мы всегда думали, что НЛО — это наши проекции. А теперь оказывается, что это мы их проекции. Волшебный фонарь спроецировал меня как К. Г. Юнга. Но кто управляет этим аппаратом?»

Еще раньше мне приснился сон, касающийся проблемы соотношения Самости и «Я». В этом сне я шел пешком по узкой тропинке, пересекавшей холмистую местность; светило солнце, и было видно далеко во все стороны. У дороги стояла церковь. Дверь была приоткрыта, и я вошел. К моему удивлению, над алтарем не было ни образа Богородицы, ни Распятия; зато место, где я ожидал их увидеть, было необыкновенно красиво убрано цветами. На полу перед алтарем в позе лотоса сидел йог, погруженный в глубокую медитацию. Присмотревшись к нему, я понял, что у него мое лицо. Я в страхе проснулся и тут же подумал: «Значит, это он медитирует обо мне. Ему снится сон, и этот сон — я». Я знал, что стоит ему проснуться, как меня не станет.

Этот сон приснился мне после болезни в 1944 году. Он представляет собой притчу о том, как моя Самость уходит в медитацию о моем земном образе. Можно было бы сказать и иначе: Самость обретает человеческий облик, чтобы вступить в трехмерное бытие — по аналогии с тем, как человек надевает водолазный костюм, чтобы погрузиться в море. Отказываясь от существования в потустороннем мире, Самость выполняет религиозную функцию, на что указывает церковь из моего сна. В своей земной форме Самость может пройти через опыт трехмерного мира и благодаря выходу на более высокий уровень сознания сделать шаг в сторону более полного осуществления.

Фигура йога, судя по всему, олицетворяет мою бессознательную пренатальную целостность, тогда как образ Востока — как это часто бывает в снах — психическое состояние, чуждое и противостоящее нашему собственному. Подобно волшебному фонарю, медитация йога «проецирует» мою эмпирическую реальность. Как правило, мы видим эту причинную связь наоборот:

в порождениях бессознательного мы обнаруживаем символы мандалы, то есть округлые и квадратные фигуры, выражающие целостность; каждый раз, желая выразить целостность, мы используем именно эти фигуры. Наша основа — это «Я»-сознание, а наш мир — световое поле, сфокусированное на нашем «Я». Именно с этой точки зрения мы смотрим на загадочный мир тьмы, никогда не зная, до какой степени видимые нам смутные тени вызваны к жизни нашим сознанием, а до какой — обладают собственной реальностью. Поверхностный наблюдатель готов удовлетвориться первым предположением. Но при более внимательном исследовании обнаруживается, что образы бессознательного, как правило, не порождаются сознанием, а наделены собственной реальностью и спонтанностью. Мы, однако же, рассматриваем их как всего лишь маргинальные, малосущественные феномены.

В обоих снах проявляется тенденция повернуть связь «Я»-сознания и бессознательного на сто восемьдесят градусов и представить бессознательное генератором эмпирической личности. Обращение этой связи дает понять, что по мнению «другой стороны» наше бессознательное бытие есть реальность, а наш сознательный мир — своего рода иллюзия, то есть кажущаяся действительность, созданная для определенной цели и подобная сновидению, которое кажется нам реальностью в течение того времени, пока мы находимся в его власти. Ясно, что все это очень похоже на восточную концепцию Майя¹.

Итак, бессознательная целостность кажется мне истинным «направляющим духом» всех биологических и психических событий. Здесь кроется начало, стремящееся к абсолютной реализации; для человека это означает достижение полноты сознания. Достижение сознания есть культура в самом широком смысле; соответственно, самопознание есть сердцевина и суть этого процесса. Человек Востока приписывает Самости безусловно божественное значение, а согласно старому христианскому взгляду самопознание — это путь к познанию Бога.

Решающий, жизненно важный вопрос для каждого человека состоит в следующем: связан ли он с чем-то бесконечным или нет? Только сознавая все великое значение бесконечности, мы можем избежать распыления нашего внимания на пустяки, на цели, которые на самом деле вовсе не важны. Мы требуем, чтобы мир признал те наши качества, которые мы рассматриваем

1 В индуистской мифологии Майя — способность к перевоплощению, свойственная «нуминозным» персонажам; иллюзорность действительности, понимаемой как своего рода «сон» божества или божественная игра (лила).

как нашу личную принадлежность — то есть наш талант и красоту. Чем большее значение человек придает ложным ценностям, чем меньше развито в нем чувство насущного, тем менее удовлетворительна его жизнь. Он чувствует свою ограниченность, поскольку перед ним стоят ограниченные цели; в результате возникают зависть и ревность. Если мы поймем и ощутим, что здесь, в этой жизни нас уже что-то связывает с бесконечностью, наши желания и установки изменятся. В конечном счете мы чего-то стоим только потому, что воплощаем нечто существенное; если же это «нечто» отсутствует, жизнь оказывается прожитой зря. Присутствие элемента безграничности имеет решающее значение и для наших отношений с другими людьми.

Но чувство безграничного я могу испытать, только если я до крайности ограничен. Самое большое ограничение для человека — Самость; оно проявляется в переживании того, что «Я» есть *это*, и только это! Лишь осознание нашей ограниченности узкими пределами Самости обеспечивает связь с неограниченностью бессознательного. Достигнув такого осознания, мы воспринимаяем и переживаем как собственную ограниченность, так и собственную принадлежность сфере вечности. Только зная собственную уникальность в качестве некоей личностной комбинации — то есть, в конечном счете, собственную предельную ограниченность, — мы обретаем возможность осознать бесконечность.

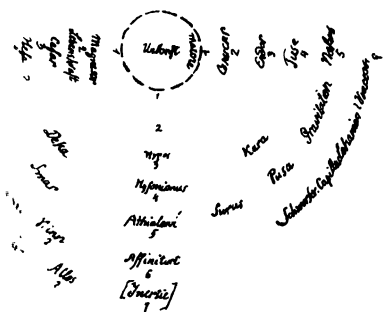
В эпоху, сосредоточенную исключительно на расширении жизненного пространства и всемерном повышении рационального знания, высший вызов состоит в том, чтобы призвать человека к осознанию собственной уникальности и собственной ограниченности. Уникальность и ограниченность — синонимы. Без них нельзя достичь восприятия неограниченности — и, следовательно, полноты сознания; без них возможно разве что иллюзорное самоотождествление с неограниченностью, приобретающее форму своего рода опьянения большими числами и жадного стремления к политической власти.

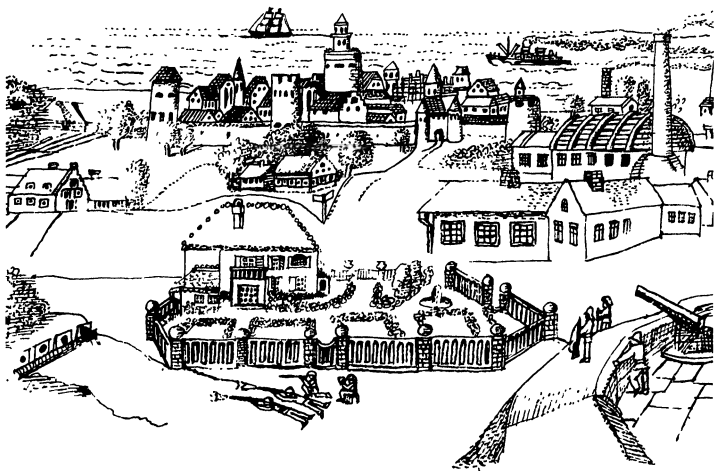
Наш век сместил все акценты на «здесь и сейчас», что привело к «демонизации» человека и его мира. Феномен диктатуры вместе со всеми обусловленными им ужасающими бедствиями имеет своим источником близорукость сверхинтеллектуалов, из-за которой человек оказался оторван от трансцендентного и стал жертвой бессознательного. Но задача человека состоит как раз в противоположном: осознать то, что устремляется наружу из глубин бессознательного. Он не должен ни длить свое бессознательное состояние, ни сохранять тождество с бессознательными элементами своего существа, уклоняясь таким образом от своего призвания, которое заключается в приумножении сознания. Насколько можно понять, единственная цель человеческого бы-

тия состоит в том, чтобы осветить мрак «просто» существования. Можно было бы даже сказать, что как бессознательное воздействует на нас, точно так же и приумножение нашего сознания воздействует на бессознательное.

12

Поздние мысли





1 Я полагаю, что мою биографию следует дополнить некоторыми размышлениями; им я и собираюсь посвятить настоящую главу. Конечно, размышления эти могут показаться в высшей степени «теоретическими», но «теоретизирование»¹ подобного рода является жизненной функцией, неотъемлемой от моего существа в той же мере, что еда или питье.

Особенно примечательно в христианстве то, что его догматика предполагает метаморфозу божества, то есть процесс исторического изменения, идущий «по ту сторону». Процесс этот принимает форму нового мифа о разногласии на небесах, о котором речь впервые заходит в мифе о сотворении мира. Там появляется змееподобный антагонист Создателя, соблазняющий человека и толкающий его к неповиновению; за это он сулит рост позитивного знания («познание добра и зла»). Вторично речь о том же разногласии заходит в повествовании о падении ангелов, то есть о «преждевременном» вторжении в человеческий мир содержательных элементов сферы бессознательного. Ангелы — это весьма своеобразные существа. Они суть в точности то, чем являются, и не могут быть ничем иным. Сами по себе это лишенные души существа, представляющие мысли и интуицию своего Господа. Следовательно, падшие ангелы — это исключительно «злые» ангелы. Это они положили начало хорошо известному эффекту «инфляции», который мы ныне мо-

1 В первоначальном смысле греческого *theorein*, «обозревать мир», или немецкого *Weltanschauung*. (Прим. А. Яффе.)

жем наблюдать в виде мании величия диктаторов: ангелы, соединяясь с людьми, рожают племя гигантов, грозящее в конце концов поглотить человечество, как об этом рассказывается в апокрифической книге Еноха.

Что же касается третьей и решающей стадии развития того же мифа, то она заключается в самоосуществлении Бога в образе человека — во исполнение ветхозаветной идеи о божественном браке и его последствиях. Уже в период первоначального христианства идея воплощения была усовершенствована до такой степени, что смогла включить в себя представление о «Христе внутри нас» (*Christus in nobis*). Таким образом, бессознательная целостность стала частью психической сферы внутреннего опыта, в результате чего человек сумел составить представление о своем собственном целостном образе. Это был решающий шаг — не только для человека, но и для Создателя, Который в глазах освобожденных от власти тьмы очистился от темных аспектов и стал высшим добром — *summum bonum*.

Этот миф сохранял в неприкосновенности свою жизненную силу в течение целого тысячелетия, пока в одиннадцатом веке не появились первые признаки дальнейшей трансформации сознания. С той поры симптомы беспокойства и сомнения возрастали, и к концу тысячелетия сознанию стала угрожать всеобщая катастрофа. Она заключается в гигантомании или гордыне сознания и выражается формулой: «Нет ничего выше человека и его деяний». Потусторонность, трансцендентность христианского мифа оказалась утрачена — а вместе с ней и представление о том, что целостность достигается в ином мире.

За светом следует тень, другая сторона Создателя. В двадцатом веке она достигла апогея. Ныне христианский мир по-настоящему столкнулся со Злом, с неприкрытой несправедливостью, тиранией, ложью, рабством и насилием над совестью. Может показаться, что воплощением откровенно злого начала стали русские; но его первый разрушительный взрыв произошел в Германии. Этот прорыв зла показал, как сильно подточены в нашем веке устои христианства. Теперь уже нельзя преуменьшать зло с помощью эвфемизма о *privatio boni*. Зло стало определяющей реальностью. Его невозможно изгнать из мира одним только «неназыванием». Мы должны научиться обращаться со злом, ибо оно *все равно останется с нами*. Но пока мы не в силах избежать его ужасающих последствий.

Так или иначе, мы испытываем нужду в смене ориентации, в метанойе. Прикосновение ко злу влечет за собой страшную угрозу поддаться ему. Значит, мы больше не должны «поддаваться» даже добру. Так называемое добро, которому мы поддаемся, утрачивает свой этический характер. Не то чтобы в нем, как таковом, было что-либо плохое; но пассивное «впадение» в

него может привести к худшим последствиям. Неумеренная, наркотическая страсть к чему бы то ни было есть зло — независимо от того, идет ли речь об алкоголизме, морфинизме или идеализме. Мы не должны представлять себе добро и зло как абсолютные противоположности. Критерий этического действия больше не может ограничиваться простейшим представлением, будто добро обладает силой категорического императива, а так называемое зло следует непоколебимо отвергать. Признание реальности зла обязательно релятивизирует как добро, так и зло, превращая оба эти начала в половины парадоксального, внутренне противоречивого целого. На практике это означает, что добро и зло уже не так самоочевидны и абсолютны, как прежде. Нам следует осознать, что оба термина представляют собой суждения.

Ввиду несовершенства любого человеческого суждения мы не можем быть уверены в своей неизменной правоте. Мы вполне способны стать жертвами ложного суждения. Это касается и этической проблемы, поскольку моральные оценки не внушают нам абсолютной уверенности. Тем не менее мы обязаны принимать этические решения. Относительность категорий «добра» и «зла» вовсе не означает, что этих категорий не существует или что они недействительны. Моральное суждение присутствует всегда, со всеми своими специфическими психологическими последствиями. Я многократно указывал, что как в прошлом, так и в будущем любое совершенное, помысленное или предпринимаемое зло будет отмщено, и последствия этого будут пагубны. Воздействию дифференцирующих условий времени и места подвержено лишь *содержание* оценочного суждения; соответственно, лишь оно обладает изменчивостью. Моральные оценки всегда основываются на бесспорных с виду истинах морального кодекса, который будто бы содержит точный ответ на вопрос о том, что хорошо и что плохо. Но с той минуты, как мы осознаем всю зыбкость данной основы, этическое решение становится субъективным, творческим актом. Мы можем уверить себя в его правильности и обоснованности лишь *Deo concedente*¹ — то есть мы нуждаемся в спонтанном и решающем импульсе со стороны бессознательного. Этот импульс не действует на этику как таковую, то есть на выбор между добром и злом; он лишь делает этот выбор еще более трудным для нас. Ничто не может избавить нас от мучений, связанных с принятием этического решения. Мое суждение многим покажется резким, но я считаю, что мы должны обладать свободой, позволяющей нам в некоторых обстоятельствах принимать этическое решение в пользу того, что в сфере морали считается злом, и уклоняться от того, что

1 С попущения Божия (лат.).

считается добром. Иными словами, мы не должны уступать ни одной из этих двух противопоставленных друг другу категорий. Полезным образцом может служить «не-ти-не-ти»¹ индийской философии. В случаях, которые я имею в виду, моральный кодекс явно отвергается, и право этического выбора всецело предоставляется самой личности. Собственно говоря, в этой мысли нет ничего нового: в те времена, когда психологии еще не существовало, ситуация трудного выбора была известна под названием «конфликта долга».

Но уровень развития сознания личности, как правило, настолько низок, что она совершенно не знает собственных возможностей принимать решения. Вместо этого она постоянно ищет вокруг себя внешние правила и установления, способные помочь ей найти выход из затруднительного положения. Помимо несовершенства и неприспособленности человеческой природы как таковой большую ответственность за это несет образование, всячески пропагандирующее общие места и ничего не говорящее о тайнах личных переживаний и личного опыта. Таким образом, делается все, чтобы воспитать идеалистические убеждения или формы поведения, относительно которых человек в глубине души понимает, что в жизни он не станет им следовать; эти идеалы проповедуются чиновниками, сознающими, что сами они не жили и никогда не будут жить в соответствии с этими высокими принципами. И такое положение вещей принимается повсеместно и безоговорочно.

Итак, человек, желающий найти современное решение проблемы зла, прежде всего нуждается в *самопознании*, то есть в максимально полном знании своей собственной целостности. Он должен со всей откровенностью отдавать себе отчет о том, сколько он может совершить добра и на какие способен преступления; он ни в коем случае не должен рассматривать одну

1 «Не-ти-не-ти» (санскр. *neti* или *na eti*: «не то»): «не то и не это» — отрицательный способ определения Бога, принятый в классической индийской философии. «...Мы ничего не можем утверждать о Брахмане, кроме *Na Na*, т. е. „нет, нет“; он не то, он не это» (Макс Мюллер. Шесть систем индийской философии. — М., 1901, с. 149). «...Философы Веданты говорят: „О Боге мы можем говорить только нет, нет“, то же, что говорил Афанасий (*ad Monacos*), то есть, что невозможно понять, что есть Бог, и мы можем сказать только, что он не есть» (Макс Мюллер. Философия Веданты. — М., 1912, с. 69—70). Ср. также в «Догматическом богословии» В. Лосского: «Путь негативный, апофатический, стремится познать Бога не в том, что он есть... а в том, что он не есть. Путь этот состоит из последовательных отрицаний. Этим путем пользовались также неоплатоники и индуизм» (В. Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. — М., 1991, с. 204). (прим. Д. Лахути.)

сторону как реальность, а другую — как иллюзию. И добро, и зло — элементы, входящие в состав его природы и готовые в нем проявиться, если только он хочет — а он должен этого хотеть — жить, не разочаровываясь и не заблуждаясь относительно себя.

Большинство людей, однако, безнадежно плохо подготовлено к жизни на таком уровне сознания — при том, что и сейчас многие способны к достаточно глубокому пониманию себя. Такое самопознание имеет важнейшее значение, ибо благодаря ему мы приближаемся к тому фундаментальному слою или ядру человеческой природы, в котором укоренены инстинкты. Именно здесь следует вести поиск предсуществующих динамических факторов, которые в конечном счете управляют этическими решениями нашего сознания. Ядро, о котором идет речь — это бессознательное и его содержание. Все, что мы могли бы о нем сказать, неизбежно будет носить приблизительный, неокончательный характер. Наши соображения легко могут оказаться ошибочными, поскольку мы, в принципе, неспособны понять его суть и с помощью рациональных методов установить его границы. Мы познаем природу только благодаря науке, которая расширяет сферу сознания; следовательно, углубленное самопознание также требует научного, то есть психологического подхода. Невозможно изготовить микроскоп или телескоп, руководствуясь одной только доброй волей; для этого нужно знать законы оптики.

Наша нынешняя потребность в психологии обусловлена причинами, касающимися самих основ нашего бытия. Мы испытываем замешательство, страх и беспомощность перед лицом таких феноменов, как нацизм и большевизм, поскольку ничего не знаем о человеке или, в лучшем случае, обладаем односторонним и фрагментарным представлением о человеческой природе. Но наше самоощущение было бы совершенно иным, если бы нам было присуще самопознание. Соприкасаясь со злом, мы даже не отдаем себе отчета в том, с чем же именно нам пришлось столкнуться; стоит ли говорить, что нам нечего ему противопоставить. Но даже распознав зло, мы все равно не сумели бы понять, «как это могло случиться». С великолепной наивностью государственный муж позволяет себе гордое заявление, будто «зло выходит за пределы его представлений». Совершенно верно: *мы* не представляем себе зла, но зло *захватило* нас. Пока одни не хотят этого признавать, другие отождествили себя со злом. Сложившаяся в современном мире психологическая ситуация такова: одни считают себя христианами и полагают, что могут поправить зло, стоит им только этого захотеть; другие же всецело уступают злу и уже не могут видеть добро. Ныне зло стало отчетливо видимой великой державой. Половина чело-

вещества крепнет на почве доктрины, порожденной человеческим стремлением к умствованию; другая же половина слабеет из-за отсутствия мифа, соизмеримого со сложившейся ситуацией. Христианские нации дошли до жалкого состояния: их христианство утратило энергетический заряд и способность к дальнейшему развитию своего мифа. Те, кому удалось выразить темные порывы к развитию мифических идей, оказались невыслушанными: Иоахим Флорский, Мастер Экхарт, Якоб Беме¹ так и остались для большинства всего лишь мракобесами. Единственный луч света — папа Пий XII и его догма². Но когда я заговариваю о ней, никто не понимает, что я имею в виду. Люди не представляют себе, что миф умирает, если не живет и не развивается.

Наш миф стал безмолвным и больше не дает ответов. Изъян кроется не в нем самом, каким он изложен в Писании, а исключительно в нас, ибо мы не просто не развиваем его сами, но и подавляем любые попытки к его развитию. Исходная версия мифа открывает большие возможности для развития. Возьмем, к примеру, слова, вложенные в уста Христа: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»³. Для какой цели могла бы понадобиться человеку мудрость змей? И какова связь между этой мудростью и невинностью голубя? «Если не будете как дети...»⁴ Кто задумывается о том, каковы маленькие дети на самом деле? Какой моралью оправдывает Господь присвоение осла, необходимого Ему для триумфального въезда в Иерусалим?⁵ Как случилось, что вскоре после этого Он поддался по-детски капризной перемене настроения и проклял смоковницу?⁶ Какую мораль можно извлечь из притчи о неверном управителе?⁷ Какая премудрость содержится в апокрифической логии, столь актуально звучащей в связи с нашими нынешними трудностями: «Человек, если ты знаешь, что делаешь, будь благословен; но если не знаешь, будь проклят как нарушитель закона»? Наконец, что имеет в виду св. Павел, исповедуясь: «Злое, которого не хочу, делаю»?⁸ Я не буду говорить о внятных пророчествах

1 Иоахим Флорский (Джоаккино да Фьоре, Gioacchino da Fiore) (ок. 1130—1202) — итальянский мистик, аббат, основатель монашеского ордена, прекратившего существование в XVI в.; Мастер Генрих Экхарт (Eckhart) (ок. 1260—ок. 1327) и Якоб Бёме (Böhm) (1575—1624) — знаменитые немецкие богословы, мистики, философы.

2 См. примечание 2 на с. 208.

3 Матфей, 10:16.

4 Там же, 18:3.

5 См. там же, 21:2.

6 Там же, 21:19.

7 См. Лука, 16:1—8.

8 Послание к Римлянам, 7:19.

Откровения св. Иоанна Богослова, поскольку никто в них не верит, и все, с ними связанное, неизменно вызывает в людях ощущение некоторой неловкости.

Христианский мир так и не дал ответа на старый вопрос, поставленный еще гностиками: «Откуда приходит зло?»; осторожное соображение Оригена¹ относительно возможного искупления дьявола было объявлено ересью. Ныне этот вопрос стал перед нами с невиданной прежде остротой, но мы встречаем его неподготовленными, испуганными и растерянными; мы даже не можем до конца уяснить себе, что в нашем распоряжении нет мифа, способного нам помочь. А ведь миф — это то, в чем мы нуждаемся прежде всего! Вследствие сложившейся политической ситуации и пугающих, если не сказать дьявольских успехов науки мы ощущаем тайный трепет и темные предчувствия; но мы не знаем пути к избавлению, и лишь очень немногим удастся осознать, что на сей раз выход кроется в давно забытой *человеческой душе*.

Дальнейшее развитие мифа могло бы начаться с излияния Святого Духа на апостолов². Вследствие этого события апостолы сделали сынами Бога — и не только они, но и все, кто через них и после них обрел *filiatio* (достоинство Божьего Сына) и, значит, уверенность в том, что он есть нечто большее, нежели рожденное из земли автохтонное существо, что благодаря повторному рождению он укоренен в Самом Божестве. Его видимая, физическая жизнь протекает на этой земле; но невидимый внутренний человек исходит из первообраза целостности — вечного Отца, как он назван в христианском мифе о спасении — и туда же возвращается.

Создатель обладает целостностью; значит, Его творение, Его сын также должен обладать целостностью. Понятие божественной целостности не подлежит сомнению. Но совершенно непостижимым образом эта целостность оказалась расщепленной надвое: в результате возникли сфера света и сфера тьмы. Такой исход был явно предвосхищен еще до воплощения Христа, что мы можем наблюдать, между прочим, на примере опыта Иова или же на примере получившей широкое распространение книги Еноха, написанной незадолго до возникновения христианства. Это метафизическое расщепление откровенно увековечилось в христианстве: Сатана, который в Ветхом Завете все еще принадлежал к непосредственному окружению Яхве, теперь со-

1 Ориген (185—254) — александрийский философ и богослов, чье учение о предсуществовании душ и некоторые другие идеи были объявлены еретическими и осуждены на Константинопольском Соборе 553 г.

2 См.: Деяния 2:4.

ставил диаметрально и вечную противоположность Божественному миру. Его нельзя искоренить. Поэтому нет ничего удивительного, что в начале XI века возникло убеждение, будто мир был создан не Богом, а дьяволом. Так был задан тон всей второй половине христианского зона — после того, как миф о падении ангелов уже объяснил, что именно падшие ангелы научили людей таким опасным вещам, как науки и искусства. Интересно, что сказали бы древние повествователи по поводу Хиросимы?

Благодаря своему визионерскому гению Якобу Беме удалось распознать парадоксальную природу образа Бога и тем самым способствовать дальнейшему развитию мифа. Символ мандалы, изображенный Беме, представляет расщепленного Бога: в нем внутренний круг поделен на два полукруга, повернутых друг к другу своими обратными сторонами.

Поскольку согласно христианской догме Бог полностью присутствует в каждой из трех Своих ипостасей, Он также полностью присутствует в любой части изливающегося Святого Духа; следовательно, любой человек может содержать в себе Бога во всей Его целостности и, значит, в полной мере обладать достоинством Его Сына. Таким образом, *complexio oppositorum* (сочетание противоположностей), свойственное образу Бога, входит в человека не как нечто единое, а как конфликт: темная половина образа вступает в противоречие с принятым взглядом на Бога как на «Свет». Именно этот процесс происходит в наше время, хотя официальные учителя человечества — которым вроде бы положено понимать подобные вещи — не хотят этого признавать. Конечно, все чувствуют, что мы достигли определенного поворотного пункта в истории, но принято считать, что самое главное — это расщепление ядра, термоядерный синтез и космические ракеты. То, что одновременно со всем этим происходит в человеческой душе, обычно не принимается во внимание.

Поскольку образ Бога, с психологической точки зрения, есть проявление основы души, а расщепление этого образа уясняется человечеством как глубокая дихотомия, проникающая даже в область политики, возникает компенсаторная реакция. Последняя находит свое выражение в округлых символах единства, представляющих синтез противоположностей внутри психической субстанции. Я имею в виду слухи о НЛО, получившие всемирное распространение примерно с 1945 года. Эти слухи основываются либо на видениях, либо на реальных явлениях. Обычно НЛО представляются как своего рода космические машины, прилетающие то ли с других планет, то ли даже из четвертого измерения.

За двадцать с лишним лет до того, в 1918 году, в процессе исследования коллективного бессознательного я открыл, судя по всему, универсальный символ аналогичного типа — мандалу. Свыше десяти лет я провел, собирая дополнительные данные, прежде чем впервые объявил о своем открытии¹. Мандала — это древнейший архетипический образ, чье появление отмечается в самых различных эпохах. Она означает *целостность Самости*. Этот округлый образ представляет целостность психической основы или — выражаясь в мифологических терминах — воплощенное в человеке божественное начало. В противоположность мандале Якоба Беме, современные мандалы устремлены к единству; они представляют собой компенсацию психической расщепленности или предвосхищение того, что она будет преодолена. Поскольку этот процесс происходит в коллективном бессознательном, он находит свое проявление повсеместно. Об этом свидетельствует всемирное распространение рассказов о НЛО; следовательно, эти объекты суть симптомы всеприсутствующей психической склонности.

Известно, что лечение аналитическим методом приводит к осознанию «тени»; поэтому оно порождает расщепление психической субстанции и напряженность между полюсами, что, в свою очередь, требует компенсации через достижение единства. Последнее осуществляется с помощью символов. Конфликт между противоположностями — если мы относимся к ним серьезно, или наоборот, если они относятся к нам серьезно — может довести напряженность внутри нашей психической субстанции до крайней степени. Логический принцип «третьего не дано» демонстрирует свою силу: никакого решения не видно. Если все идет хорошо, решение, по всей видимости спонтанно, возникает из природы. Тогда, и только тогда оно оказывается убедительным. Оно воспринимается как «благодать». Поскольку решение проистекает из столкновения и конфликта противоположностей, оно обычно представляет собой непостижимую смесь сознательных и бессознательных факторов и, значит, символ — то есть монету, разрезанную на две половинки, в точности подходящие друг к другу². Символ — это итог совместного действия сознания и бессознательного; он обретает сходство с образом Бога, принимая форму мандалы, которая есть, вероятно, простейшая модель понятия целостности, спонтанно возникающая в воображении как зрительный эквивалент борьбы и примире-

1 В комментариях к работе «Тайна золотого цветка» («Das Geheimnis der Goldenen Blüte»). (Прим. автора.)

2 Одно из значений слова symbolon — это tessera hospitalitatis: разломленная надвое монета, которую друзья делят между собой перед расставанием. (Прим. А. Яффе.)

ния противоположностей. Столкновение, имеющее поначалу чисто личностный, внутренний характер, вскоре сменяется пониманием того, что субъективный конфликт — это всего лишь частный случай всеобщего конфликта между противоположностями. Структура нашей психической субстанции соответствует структуре Вселенной, и происходящее в макрокосме происходит также в глубоко субъективном микрокосме души. Посему образ Бога есть всегда проекция внутреннего переживания могущественной «инакости». Эта проекция символизируется объектами, из которых опыт внутреннего переживания черпает начальный импульс; отныне эти объекты сохраняют свое нуминозное значение или от них остается лишь их нуминозность, характеризующаяся непреодолимой силой воздействия. Так воображение освобождает себя от эмпирических характеристик объекта и пытается набросать образ того невидимого «нечто», которое кроется за феноменом. Я имею в виду простейшую основную форму мандалы, круг, и простейший (мысленный) способ деления круга — квадрат или крест.

Переживания подобного рода могут оказывать как благотворное, так и разрушительное воздействие на человека. Человек не способен уловить их смысл, понять их, овладеть ими; он не может также избавиться от них или избежать их. Поэтому он ощущает их как нечто подавляющее и непреодолимое. Сознавая, что их источник не идентичен его собственному сознательному «Я», он называет их «маной», «демоном» или «Богом». Наука использует для данного случая термин «бессознательное», таким образом давая понять, что она ничего о нем не знает: ведь невозможно достичь сколько-нибудь глубокого знания о психической субстанции, если единственным средством познания чего бы то ни было служит сама психическая субстанция. Поэтому законность таких терминов, как мана, демон или Бог, никогда не будет ни подтверждена, ни опровергнута. Но в наших силах — подтвердить, что они указывают на переживание «инакости», которая каким-то образом связана с объективной действительностью.

Мы знаем, что на нашем пути встречается что-то неизвестное и чуждое — подобно тому, как мы знаем, что не мы сами *создаем* свои сны или мысли, но они спонтанно возникают неясным для нас образом. То, что с нами при этом происходит, можно объяснить воздействием со стороны маны, демона, Бога или бессознательного. Первые три слова имеют то достоинство, что они включают в себя эмоциональное качество нуминозности, тогда как последний термин — бессознательное — стандартен и потому более близок к действительности. Термин «бессознательное» объемлет область эмпирического, то есть хорошо известную нам повседневную действительность. Он слишком нейтра-

лен и рационален, чтобы волновать воображение. Изначально он был предназначен для научных целей и поэтому намного более пригоден для бесстрастных, не связанных с выходом в сферу метафизики наблюдений, нежели понятия из области трансцендентного, характеризующиеся противоречивостью и поэтому способные провоцировать фанатизм.

Итак, я предпочитаю термин «бессознательное» — понимая, что стоит мне захотеть воспользоваться языком мифа, как я вполне могу заменить данный термин словами «Бог» или «демон». Я сознаю, что «мана», «демон» и «Бог» — это синонимы бессознательного на языке мифа; о них мы знаем столько же, сколько и о нем. Людям свойственно лишь *верить* в то, что они знают обо всем этом гораздо больше — и для некоторых целей такая вера оказывается куда более полезной и действенной, чем научные понятия или концепции.

Большое преимущество понятий «демон» и «Бог» заключается в том, что с их помощью являющаяся человеку «инакость» объективируется в относительно наиболее выразительной, *персонифицированной* форме. Содержащийся в них эмоциональный заряд придает им жизненную силу и действенность. Ненависть и любовь, страх и почтение сталкиваются между собой и порождают полную напряжения драму. То, что было всего лишь «предъявлено», становится «совершенным». Человек без остатка призывается к борьбе со всей своей реальностью. Лишь таким путем человек может осуществиться как некая целостность, и лишь таким путем может «родиться Бог» — или, иными словами, Бог может войти в человеческую реальность и соединиться с человеком в форме «человека» же. Благодаря этому акту воплощения человек — то есть его «Я» — внутренне замещается Богом, тогда как Бог внешне становится человеком, в соответствии со словами Иисуса: «Видящий Меня видит Пославшего Меня»¹.

Начиная отсюда, становятся ясны недостатки мифической терминологии. Обычная христианская концепция Бога представляет Его всемогущим, всеведущим и милостивым Отцом и Создателем мира. Если этот Бог хочет стать человеком, он должен прибегнуть к неслыханному «кеносису» (самоопустошению)², чтобы свести Свою всеобщность до бесконечно малого масштаба отдельного человека. Но даже в этом случае не совсем ясно, как человеческая форма может уцелеть и не рассыпаться вдребезги в момент воплощения. Поэтому богословы посчитали необходимым наделить Иисуса качествами, поднимающими Его над уровнем обычного человеческого бытия. Прежде всего

1 Иоанн, 12:45.

2 Ср. Послание к Филиппийцам, 2:7. (Прим. автора.)

ему не свойственно «пятно первородного греха» (*macula peccati*). Уже поэтому Он может считаться по меньшей мере богочеловеком или полубогом. Христианский образ Бога не может воплотиться в человеке без противоречий — не говоря уже о том, что человек по своим внешним признакам кажется не самым подходящим существом для того, чтобы представлять Бога.

В конечном счете миф вынужден воспринять монотеизм серьезно, то есть отойти от своего (официально отвергаемого) дуализма, донесшего до наших дней присутствие мрачного антагониста рядом с всеильным Добром. В системе монотеизма следовало бы открыть место для философского «сочетания противоположностей» (*complexio oppositorum*) Николая Кузанского¹ и моральной противоречивости Якоба Беме; лишь при этом условии возможно обретение Единым Богом целостности и осуществление Им в Самом Себе синтеза противоположностей. Известно, что символы по своей природе способны объединять противоположности так, чтобы они более не расходились и не сливались, но взаимно дополняли друг друга, придавая жизни осмысленную форму. Для человека, пережившего данную способность символа на собственном опыте, противоречивость Бога-природы или Бога-Создателя уже не представляет психологических затруднений. Миф о необходимом воплощении Бога — то есть самый основной элемент Евангелия — может быть понят таким человеком как творческая полемика с обеими противоположностями и их синтез в Самости, в целостности человеческой личности. Неизбежная внутренняя противоречивость образа Бога-Создателя примиряется в единстве и целостности Самости как *coniunctio oppositorum* алхимиков или как *unio mystica* («мистическое единение»). В опыте Самости примиряются уже не противопоставленные категории «Бог» и «человек», как было прежде, а противоположности внутри самого образа Бога. Таков смысл Божественного служения, или служения, которым человек может воздать Богу: чтобы свет мог возникнуть из тьмы, чтобы Создатель осознал Свое творение, а человек — самого себя.

Такова цель — или, по меньшей мере, одна из целей, — наличие которой осмысленным образом вписывает человека в схему творения и одновременно придает смысл самой этой схеме. Это — объяснительный миф, постепенно, с течением десятилетий, обретший во мне свою форму. Такую цель я могу осознать и оценить, и потому она меня удовлетворяет.

1 Николай Кузанский (Nicolaus Cusanus), кардинал (настоящая фамилия Кребс, Krebs) (1401—1464) — немецкий богослов и философ, автор трактата «Ученое незнание».

Благодаря своей способности к рефлексии человек выделился из мира животных, а история человеческого духа доказывает, что развитие сознания щедро вознаграждается природой. С помощью сознания человек овладевает природой, признавая существование мира и тем самым как бы подтверждая акт творения. Мир становится феноменальным миром, поскольку без осознанной рефлексии он не существовал бы. Если бы Создатель обладал самосознанием, он не нуждался бы в сознательных творениях; маловероятно также, чтобы в высшей степени «косвенный» способ творения, при котором миллионы лет тратятся на развитие бесчисленного количества видов, мог быть итогом целенаправленного намерения. Естественная история рассказывает нам о случайных, по видимости ничем не обусловленных трансформациях видов на протяжении сотен миллионов лет, заполненных взаимным пожиранием. Биологическая и политическая история человеческого рода повторяет тот же процесс в значительно «обогащенной» форме. Но история духа выглядит совершенно иначе. Здесь ощущается чудесное вмешательство рефлектирующего сознания, выполняющее функцию своего рода второй космогонии. Огромная роль сознания заставляет нас усматривать наличие некоего смысла, скрытого где-то в глубинах этого чудовищного, бессмысленного с виду биологического хаоса; то, что путь к проявлению этого смысла в конечном счете был найден на уровне теплокровных позвоночных с дифференцированным мозгом — найден как бы случайно, непреднамеренно и непредвиденно и все же каким-то удивительным образом осмысленно, — внушает смутное ощущение какого-то таинственного исходного импульса.

Я далек от иллюзии, что в своих размышлениях о значении человека и его мифа я выразил какую-то высшую, окончательную истину; тем не менее я думаю, что все это можно было высказать в конце нашего эона Рыб и, вероятно, нужно было высказать в преддверии наступающего эона Водолея, имеющего человеческий облик. Водолей следует за двумя противопоставленными друг другу рыбами (*coniunctio oppositorum*) и, по-видимому, воплощает Самость. Властным жестом он льет воду из своего сосуда в рот Южной Рыбы, символизирующей сына, то есть содержание, остающееся все еще в сфере бессознательного. При переходе в следующий эон, то есть через две с лишним тысячи лет, из этого содержания сферы бессознательного возникнет будущее, основные признаки которого содержатся в фигуре Козерога: чудовищной *aigokeros*, Козе-Рыбе (именно так первоначально называлось созвездие Козерога), символизирующей одновременно вершины гор и глубины морей, полярность, составленную из двух недифференцированных, выросших сов-

местно животных стихий. Это странное существо вполне может быть исконным образом Бога-Создателя, встретившегося с «человеком», Антропосом. Но на этот счет мне нечего сказать, поскольку в моем распоряжении нет эмпирических данных — исторических документов или плодов бессознательного творчества известных мне народов. Если озарение не приходит само, спекулятивные рассуждения не принесут никакой пользы. Такие рассуждения имели бы смысл только при наличии объективных данных, сравнимых с материалом, который мы имеем об зоне Водолея.

Мы не знаем, как далеко может зайти процесс обретения сознания и куда он может нас завести. Это новый, не имеющий параллелей элемент в истории Творения. Мы не знаем скрытых в нем возможностей. Мы также не знаем, какое будущее ждет *Homo sapiens*. Станет ли история этого вида повторением судьбы других видов животных, которые некогда процветали, а затем угасли и исчезли с лица земли? Биология не может выдвинуть никаких аргументов против подобного предположения.

Нужда в мифических свидетельствах удовлетворяется, когда мы строим мировоззрение, объясняющее смысл человеческого бытия в космосе — то есть такое мировоззрение, которое исходит из нашей психической целостности, из взаимодействия сознания и бессознательного. Бессмысленность препятствует достижению полноты жизни и поэтому равносильна болезни — тогда как наличие смысла делает переносимым очень многое, если не все. Никакая наука никогда не заменит миф; но и миф не может быть выведен из какой бы то ни было науки. Ведь суть не в том, что «Бог» — миф, а в том, что миф служит проявлением божественной жизни в человеке. Не мы придумываем миф; это миф говорит через нас как Слово Божье. Слово Божье приходит к нам, и мы не имеем возможности понять, насколько Оно отлично от Самого Бога. В этом Слове нет ничего неведомого и нечеловеческого — если не считать обстоятельств, при которых Оно спонтанно является нам, налагая на нас соответствующие обязательства. Оно не подвержено действию нашей воли. Мы не можем объяснить вдохновения. Мы лишь ощущаем, что оно не является плодом деятельности нашего интеллекта, а приходит откуда-то извне. А если нам случается увидеть вещий сон, разве можем мы приписать его нашему собственному разумению? Ведь мы очень часто лишь с большим опозданием узнаем, что сон содержал в себе предвосхищение или знание чего-то происшедшего вдали от нас.

Слово является нам; оно причиняет нам страдание, так как мы — жертвы глубоко укорененной в нас неуверенности: ведь поскольку Бог — это сочетание противоположностей, с ним возможно абсолютно все. С ним равно возможны правда и об-

ман, добро и зло. Миф бывает двусмысленным, как дельфийский оракул или сновидение. Мы не можем и не имеем права отвергать доводы разума; но одновременно мы должны верить себя надежде на то, что инстинкт поспешит нам на помощь, что Бог поддержит нас в противостоянии с Богом же. Это уже давно было понятно Иову. Все средства выражения «другой воли» порождены человеком; это его мысли, его слова, его образы, даже его ограничения. Соответственно человек, начиная мыслить в неуклюжих психологических терминах, стремится соотносить все с самим собой и приходит к выводу, что все исходит из его намерений, из «него самого». С детской наивностью человек полагает, что знает границы своего кругозора и сознает себя «как такового». Но в то же время он фатально ограничен слабостью своего сознания и, соответственно, своим страхом перед бессознательным. Поэтому он абсолютно неспособен отличить то, что является плодом тщательного обдумывания, от того, что спонтанно приходит из другого источника. Человек необъективен по отношению к самому себе и до поры до времени не может рассматривать себя со стороны как феномен, которому он, к добру или к худу, идентичен. Поначалу все ему навязывается, все с ним «случается», и лишь посредством большого усилия ему в конечном счете удастся завоевать для себя и удержать область относительной свободы.

Лишь после этого человек обретает возможность осознать, что он противостоит своим собственным, изначально данным ему инстинктивным основам, от которых при всем желании не может избавиться. Его начала ни в коей мере не принадлежат прошлому; они живут с ним как постоянный субстрат его бытия, а его сознание сформировано ими в той же степени, что и окружающим физическим миром.

Все это обступает человека извне и изнутри, оказывая на него непреодолимое воздействие. Он обобщает этот свой опыт под общим названием «божества», описывает его воздействие с помощью мифа и интерпретирует этот миф как «Слово Бога», то есть как вдохновение и обнаружение нумена из сферы «потустороннего».

2 Ничто не способствует развитию в человеке чувства собственной индивидуальности лучше, чем тайна, которую он хочет или обязан хранить. С самого начала человеческой истории социальные структуры выказывали приверженность к секретным организациям. В отсутствие по-настоящему значительных тайн изобретаются разного рода мистерии, к которым допускаются только привилегированные, «инициированные» члены общества. Таковы розенкрейцеры и многие

другие тайные общества. Среди этих ложных тайн, как ни удивительно, есть и тайны истинные, существования которых инициированные члены тайных сообществ не сознают — например, «тайны», заимствованные из алхимической традиции.

Потребность в сотворении тайны имеет жизненно важное значение на первобытной ступени развития: ведь общая тайна служит действенным средством сплочения племени. Тайны на социальном уровне служат полезным противовесом неразвитости связей внутри отдельной личности, которая то и дело возвращается к состоянию бессознательного самоотождествления с другими членами группы. В этих условиях достижение главной цели — осознания человеком собственной неповторимости — становится долгим, почти безнадежным воспитательным процессом: ведь даже те, чье посвящение в тайну каким-то образом выделило их из группы, бессознательно подчиняются законам групповой идентичности (правда, в их случае речь должна идти уже о социально дифференцированной группе).

Тайное общество — это промежуточная стадия на пути к индивидуации. В процессе дифференциации личность все еще опирается на коллективную организацию; иначе говоря, задача отделения от окружающих и обретения опоры в самой себе все еще не признается собственной задачей личности. Осуществление данной задачи тормозится вследствие отождествления личности с коллективом, выражаемого в форме членства в организациях, поддержки разного рода «измов» и т. п. Отождествление личности с коллективом — это костыли для хромых, щит для боязливых, кровать для ленивых, детская комната для безответственных; но в то же время это приют для бедных и слабых, пристань для потерпевших кораблекрушение, семейный очаг для сирот, земля обетованная для разочарованных бродяг и усталых пилигримов, стадо и безопасный загон для заблудших овец, наконец, кормящая и опекающая мать. Поэтому было бы неверно рассматривать эту промежуточную стадию как ловушку; она еще надолго останется единственной формой существования личности, которая ныне, более чем когда бы то ни было, находится под угрозой анонимности. Принадлежность к организованному сообществу и сейчас имеет настолько существенное значение, что многие не без оснований считают ее конечной целью; призывы же к дальнейшим шагам в сторону обретения личностной самостоятельности кажутся проявлениями гордыни и самонадеянности, беспочвенными фантазиями, чем-то нелепым или невозможным.

Но у человека могут появиться достаточно весомые причины для того, чтобы вступить на дорогу, ведущую к более широким горизонтам. Может случиться, что разнообразные внешние оболочки, формы, ограничения и разновидности образа жизни

не предоставят человеку того, в чем он ощущает особую необходимость. В этом случае он предпочтет идти своей дорогой в одиночестве. Он сам будет представлять целую группу, состоящую из множества различных мнений и тенденций и вовсе не обязательно движущуюся все время в одном направлении. Он вступит в противоречивые отношения с самим собой и испытает большие трудности, желая преодолеть собственную множественность во имя достижения единой цели. Даже будучи внешне защищен социальными формами промежуточной стадии, он не сможет защитить себя от собственной внутренней множественности. Отсутствие единства внутри его существа может заставить его сдаться и снова отождествиться со своим окружением.

Подобно посвященному члену тайного общества, обретшему свободу от недифференцированной коллективности, личность на своем одиноком пути нуждается в тайне, которую по ряду причин она не может и не способна открыть кому бы то ни было. Такая тайна придает ей силы для достижения своих индивидуальных целей в изоляции от других людей. Очень многие не могут выдержать такой изоляции. Это невротики, которые по необходимости играют в прятки с другими, равно как и с самими собой, но при этом не способны воспринять игру всерьез. Как правило, они кончают тем, что подчиняют свою индивидуальную цель стремлению слиться с коллективом; в этом их всецело поддерживают мнения, убеждения и идеалы, исповедуемые их средой. Более того, влиянию среды не способны противостоять никакие рациональные аргументы. Лишь тайна, которую человек не может выдать — то ли из страха, то ли из неспособности сформулировать ее в словах (чтобы тайна не показалась чем-то «безумным»), — предотвращает его регрессию.

Потребность в тайне во многих случаях оказывается настолько непреодолимой, что влечет за собой мысли и действия, за которые личность уже не несет ответственности. Мотивировка таких мыслей и действий не сводима к капризу или самонадеянности; это *dira necessitas* (суровая необходимость), которую личность сама не в состоянии понять. Эта необходимость обрушивается на человека с непреодолимой роковой силой и, вероятно, впервые в жизни *ad oculos* (воочию) демонстрирует ему существование чего-то чуждого и более могущественного, чем он сам, и к тому же действующего в той сфере, где он дотоле чувствовал себя хозяином. Наглядным примером служит история Иакова, который боролся с ангелом и вышел из борьбы с поврежденным бедром, но благодаря сопротивлению остался в живых. В те счастливые времена в рассказ Иакова верили безоговорочно. Но современный Иаков, приди ему в голову рассказать подобную историю, был бы встречен многозначительными усмешками. Современный Иаков предпочитает вообще не говорить на

такие темы — в особенности если у него есть собственные взгляды на природу посланника Яхве. Таким образом, он невольно становится обладателем не подлежащей обсуждению тайны, «белой вороной» в своем коллективе. Естественно, его *reservatio mentalis* (скрытое знание) в конечном счете делается известно окружающим — ведь мало кому удастся лицемерить до конца своих дней. Но любой человек, пытающийся убить сразу двух зайцев — то есть оставаться в согласии со своей группой и в то же время стремиться к своей личностной цели, — становится невротиком. Современному «Иакову» пришлось бы скрывать от самого себя то обстоятельство, что ангел сильнее — а ведь это, несомненно, так, ибо нигде не говорится, что ангел также покинул поле битвы хромым.

Итак, человек, движимый собственным демоном и выходящий за пределы промежуточной стадии, вступает поистине в мир «незнаем, нехожен, девствен, недосягаем»¹, где нет дорожных указателей и безопасных приютов. Там нет и готовых предписаний по поводу того, как вести себя в непредвиденной ситуации — например, в случае конфликта долга, способного поставить человека на колени. Для большинства людей вылазки в область «ничейной земли» продолжаютсЯ до первых признаков такого конфликта; и почти никто не мешкает с отступлением. Я не могу осуждать человека, сразу же пускающегося в бегство; но я также не могу одобрить его желания видеть достоинство в собственной слабости и трусости. Поскольку мое презрение не способно причинить ему вреда, я могу спокойно сказать, что не вижу в подобной модели поведения ничего похвального.

Но если человек пытается разрешить конфликт долга на свой страх и риск и притом в присутствии беспрерывно наблюдающего за ним судьи, он легко может оказаться в изоляции. Ведь отныне в его жизни появляется настоящая, не подлежащая обсуждению тайна: он вовлечен в бесконечный внутренний судебный процесс, в котором сам же и является как адвокатом, так и безжалостным обвинителем, и никакой светский или духовный судья не сможет вернуть ему былое спокойствие. Впрочем, если бы он не был сыт по горло решениями этих судей, он никогда не оказался бы в ситуации конфликта. Конфликт, о котором идет речь, всегда предполагает повышенное чувство ответственности. Именно последнее не позволяет его носителю разделить решения коллектива. В его случае суд переносится во внутренний мир, где приговор выносится за закрытыми дверями.

После того, как это произошло, значение личностного начала резко и беспрецедентно возрастает. Это уже не просто хо-

1 Гете, «Фауст», часть вторая, 1-й акт, сцена «Темная галерея» (перевод Б. Пастернака).

рошо известное и социально определенное «Я» человека; это также показатель его ценности для себя и других. Ничто не способствует росту сознания так эффективно, как это внутреннее столкновение противоположностей. Обвинение предъявляет совершенно неожиданные, непредвиденные факты, а защите приходится искать неизвестные доселе аргументы. В ходе этого процесса значительная часть внешнего мира проникает во внутренний, что приводит к обеднению или «облегчению» внешнего мира. С другой стороны, внутренний мир, возведенный в ранг трибунала для принятия этических решений, приобретает дополнительную весомость. Некогда однозначное «Я» утрачивает прерогативу быть только прокурором; оно должно овладеть также ролью защитника. «Я» становится амбивалентным, оно оказывается между молотом и наковальней. *Оно отдает себе отчет в том, что находится в подчинении у некоей высшей полярности.*

Не каждый конфликт долга разрешим; возможно, конфликты такого рода не «разрешаются» вовсе, хотя могут обсуждаться чуть ли не до Судного Дня. Просто-напросто рано или поздно принимается какое-то решение. Практическая жизнь не терпит вечного противоречия. Но ни противоположности, ни противоречия не исчезают — даже если им случается отступить под давлением того или иного импульса к действию. Они постоянно угрожают единству личности и вновь и вновь улавливают жизнь в свои сети.

Догадываясь о грозящих опасностях и болезненных переживаниях, человек вполне может предпочесть «остаться дома», то есть не покидать безопасного загона и теплого кокона — ибо только они обеспечивают защиту от внутренних потрясений. Те, кто не *обязан* покинуть своих родителей, явно чувствуют себя с ними в большей безопасности. Но не меньшее число людей оказывается вытолкнуто на дорогу, ведущую к индивидуации. По прошествии очень недолгого времени эти люди бывают вынуждены узнать все «да» и «нет» человеческой природы.

Любая энергия имеет своим источником взаимодействие противоположностей; точно так же и душа обладает собственной внутренней *полярностью*, без которой она нежизнеспособна (что в свое время понял Гераклит). Как теоретически, так и практически не вызывает сомнений, что полярность присуща всему живому. Этой силе противостоит только хрупкое единство «Я», чье многовековое становление оказалось возможно благодаря бесчисленным защитным мерам. Самим своим существованием «Я», по всей видимости, обязано тому, что противоположности стремятся к равновесию. Это происходит в процессе энергетического обмена между жаром и холодом, высоким и низким и т. д. Энергия, питающая сознательную психи-

ческую жизнь, старше сознания; значит, до какого-то момента энергия эта принадлежит сфере бессознательного. По мере приближения к сфере сознания она проецируется прежде всего в виде фигур наподобие маны, богов, демонов и т. п.; нуминозность этих сверхъестественных фигур служит жизненно важным источником энергии до тех пор, пока они остаются приемлемыми с точки зрения оценочной функции сознания. Но по мере того, как они увядают и утрачивают силу, человеческое «Я» — то есть эмпирический человек как таковой — оказывается в двусмысленном положении: «Я» не только вступает во владение этим источником энергии, но и всецело оказывается в его власти. С одной стороны, «Я» стремится подчинить эту энергию себе, овладеть ею и даже воображает, что это ему удалось; с другой же стороны энергия овладевает им.

Такая гротескная ситуация может возникнуть, конечно же, только тогда, когда сознание рассматривается как единственная форма существования психической субстанции. В этом случае никакие возвратные проекции не в силах предотвратить психическую инфляцию. Но стоит признать существование бессознательной психической субстанции, как содержание проекции получает шанс быть воспринятым во врожденных, предшествующих сознанию инстинктивных формах. В итоге их объективность и автономность сохраняются, и инфляции удастся избежать. Архетипы, существующие прежде сознания и обуславливающие его структуру, обнаруживают себя в своей истинной функции, то есть как априорные структурные формы содержания сознания. Они ни в коей мере не являются вещами в себе; они скорее представляют собой формы восприятия и понимания. Естественно, природой восприятия управляют не только архетипы. Они ответственны лишь за коллективную составляющую восприятия. Будучи атрибутами инстинкта, они разделяют с ним его динамическую природу и, следовательно, обладают специфической энергией, которая порождает или подталкивает определенные поведенческие формы или импульсы; иначе говоря, при определенных условиях они могут наделяться всеохватывающей или всезахватывающей силой (нуминозность!). Следовательно, представление об архетипах как о «демоническом» начале находится в полном соответствии с их истинной природой.

Человек, склонный верить в то, что формулировки подобного рода вносят изменения в самую *природу* вещей, грешит излишней доверчивостью к словам. Факты не меняются в зависимости от того, как мы их называем. Любая перемена названий действует только на нас самих. Если кто-то понимает «Бога» как «чистое Ничто», это не имеет никакого отношения к высшему, всеподчиняющему началу как факту. Мы захвачены так же, как

и прежде; переименование ничего не отняло от реальности. Переименование, осуществляемое с намерением подвергнуть отрицанию то, что переименовывается, порождает в нас ложное отношение к действительности. С другой стороны, предлагая для непознаваемого наименование с позитивным оттенком, мы совершаем благое дело, поскольку вводим это непознаваемое в сферу нашего позитивного отношения. Так, говоря о «Бог» как «архетипе», мы ничего не говорим о его истинной природе, но даем понять, что «Бог» уже занял место в той части нашей души, которая предсуществует сознанию и, соответственно, не может рассматриваться как изобретение сознательной мысли. Мы не дистанцируемся от Него и не устраняем Его; напротив, мы приближаемся к возможности пережить Его на собственном опыте. Последнее обстоятельство само по себе отнюдь не маловажно: ведь то, чего не удастся пережить, может легко подпасть под подозрение как нечто мнимое. Это подозрение настолько соблазнительно, что так называемые верующие видят в моих попытках реконструкции первобытной бессознательной души атеизм или гностицизм, но отнюдь не психическую реальность бессознательного. Если бессознательное существует, оно должно состоять из ранних стадий развития нашей сознательной психической субстанции. Утверждение, будто человек во всей своей славе был сотворен на шестой день Творения, представляется слишком упрощенным и архаичным, чтобы удовлетворить нас. Человек как биологический организм — плод длительной эволюции; относительно этого ныне, кажется, существует всеобщее согласие. Что же касается психической субстанции, то здесь продолжают царить архаические представления: у психической субстанции нет предшественников, она представляет собой *tabula rasa* («чистую доску»), рождается каждый раз заново вместе с человеком и есть только то, чем считает себя сама.

Как филогенетически, так и онтогенетически сознание представляет собой вторичный феномен. Настало, наконец, время осознать этот очевидный факт. Психическая система не отличается от тела в том смысле, что оба они имеют анатомическую предысторию, растянувшуюся на миллионы лет. Тело современного человека в любой своей части репрезентирует итог этой эволюции и обнаруживает следы ее прежних стадий; то же самое можно сказать и о психической субстанции. Первоначальная «животная» стадия развития сознания, кажущаяся нам все еще недифференцированной и бессознательной, свойственна также и новорожденному. Психическая субстанция ребенка на предсознательной стадии ее развития может считаться чем угодно, но только не *tabula rasa*; в ней отчетливым образом преформирована будущая личность, и к тому же она наделена все-

ми специфически человеческими инстинктами, равно как и априорными основами высших психических функций.

Таков сложный фундамент, на котором вырастает и в течение всей жизни индивида поддерживается его «Я». Стоит этому фундаменту перестать функционировать, как наступает застой, а за ним — смерть. Его жизнеспособность и реальность имеют первостепенное значение. По сравнению с ним даже внешний мир второстепенен: ведь что может значить мир, если отсутствует эндогенный импульс для того, чтобы понять его и найти в нем свое место? Никакая сознательная воля не заменит жизненного инстинкта. Последний является нам изнутри, как некий императив, и называя его — согласно обыкновению, установившемуся с незапамятных времен — нашим личным «демоном», мы более или менее адекватно выражаем психологическую ситуацию. Если же, пытаясь более точно определить ту точку, в которой «демон» захватывает нас, мы прибегаем к понятию «архетип», это не приводит к отмене или упразднению прежних понятий, а лишь приближает нас к источнику жизни.

Кажется совершенно естественным, что я как *психиатр* (врачеватель души) должен придерживаться именно такого взгляда: ведь я озабочен прежде всего тем, чтобы вернуть пациенту его здоровый психический фундамент. Я знаю, что осуществление этой задачи требует больших и разнообразных познаний. Без этого в медицине делать нечего. Успехи медицины состоят не в том, что ей удалось открыть секрет здоровья и, соответственно, упростить свои методы. Напротив, медицина выросла в науку исключительной степени сложности, и этим она не в последнюю очередь обязана заимствованиям из самых различных сфер. Я не стремлюсь внести вклад в другие дисциплины; я только пытаюсь использовать их багаж для нужд моей собственной науки. Естественно, я считаю своим долгом давать широкую информацию об этих своих попытках и их последствиях. Многие открытия делаются благодаря тому, что результаты, полученные в одной области науки, находят практическое применение в иной области. Если бы рентгеновские лучи остались достоянием одной только физики и не вошли в медицинский обиход, мы знали бы намного меньше. С другой стороны, опасные последствия лучевой терапии представляют интерес для врача, но не для физика, использующего радиацию совершенно иным способом и для иных целей. Физик не станет обвинять врача во вторжении на свою суверенную территорию, если тот укажет на некоторые вредные или целебные свойства невидимых лучей.

Если я использую в психотерапии открытия и идеи из области истории или богословия, они, естественно, предстают в ином свете и влекут за собой иные выводы; излишне говорить, что в

рамках исходных дисциплин те же открытия и идеи служат совершенно иным целям.

Обобщим сказанное. Тот факт, что в основе динамики души лежит некая полярность, означает перенос проблемы противоположностей, со всеми сопутствующими ей религиозными и философскими аспектами, в плоскость психологического обсуждения. При этом аспекты, о которых идет речь, утрачивают былую автономность; иначе и не может быть, поскольку они рассматриваются уже не под углом зрения религиозной или философской истины, а исследуются на предмет своей психологической значимости и обоснованности. Мы можем отвлечься от их притязания быть независимыми истинами и указать, что с эмпирической — то есть с естественнонаучной — точки зрения они суть прежде всего *психические* явления. Данное обстоятельство кажется мне бесспорным. То, что они претендуют на собственную значимость, не противоречит психологическому подходу, который не только не отбрасывает подобную претензию как необоснованную, но проявляет к ней особое внимание. В психологии недопустимы «чисто религиозные» или «чисто философские» суждения — даже несмотря на то, что мне и другим представителям моей профессии очень часто (особенно от богословов) приходится слышать упрек в «чистой психологичности».

Любые мыслимые утверждения делаются психической субстанцией. Помимо прочего, она является динамическим процессом, основывающимся на антитезах, на энергетическом обмене между двумя полюсами. Известно общее логическое правило: «не умножай сущности без необходимости». Значит, поскольку интерпретация в энергетических терминах доказала свою объяснительную ценность в естественных науках, мы должны ограничиться ею также и в области психологии. Не существует сколько-нибудь надежно установленных фактов, которые могли бы побудить нас изменить нашу точку зрения; более того, антитетическая или биполярная природа психической субстанции и ее содержания подтверждается всем опытом психологической науки.

Итак, если энергетическая концепция психической субстанции верна, все утверждения, которые стремятся выйти за пределы, установленные ее антитетической природой (например, утверждения о метафизической действительности), должны рассматриваться как парадоксальные. Только при этом условии они могут притязать на какую-либо значимость.

Психическая субстанция не может выйти за свои пределы. Это значит, что она не способна постулировать какие бы то ни было абсолютные истины, ибо ее антитетическая (биполярная) природа предопределяет относительность любых выдвигаемых

ею утверждений. При любой попытке выдвинуть абсолютную истину — скажем, «вечная сущность есть движение» или «вечная сущность есть Одно» — психическая субстанция непременно впадает в одну из внутренне присущих ей антитез: ведь процитированные утверждения вполне можно было бы заменить на: «вечная сущность есть покой» или «вечная сущность есть Все». Любая односторонность способствует дезинтеграции психической субстанции и утрате ею способности к познанию. Психическая субстанция становится нерелефлюэирующей (поскольку не становящейся предметом рефлексии) последовательностью душевных состояний, каждое из которых стремится к оправданию и обоснованию самого себя, ибо не видит (или еще не видит) других, смежных состояний.

Говоря все это, мы, конечно же, не выдвигаем оценочного суждения, а лишь указываем на зыбкость существующих пределов. Это и вправду неизбежно, ибо, как говорил Гераклит, «все течет». За тезисом следует антитезис, а в промежутке между ними рождается третий фактор, лизис, который прежде не был замечен. Таким образом, психическая субстанция еще раз демонстрирует свою антитетическую природу, отнюдь не выходя при этом за свои пределы.

Обрисовывая ограниченность психической субстанции, я не хочу сказать, что существует *только* она, и ничего сверх нее. Просто когда речь идет о восприятии и познании, мы не способны видеть по ту сторону психической субстанции. Наука молчаливо подразумевает существование внепсихических, трансцендентных объектов. Но науке известно также, насколько сложно уловить истинную природу объекта — особенно если орган восприятия отсутствует или не функционирует, и если соответствующих форм мышления не существует или их еще только предстоит создать. В тех случаях, когда наличие действительного объекта не может быть подтверждено ни нашими органами чувств, ни искусственными средствами, созданными для усиления их восприимчивости, возникают многочисленные осложнения, побуждающие человека отказать данному объекту в реальном существовании. Я никогда не делал подобных поспешных выводов, поскольку никогда не был склонен полагать, что наши органы чувств способны к восприятию любых форм бытия. Я даже рискнул выдвинуть постулат, что феномен архетипических образов (то есть феномен самой что ни на есть психической природы) может быть основан на *психоидном* фундаменте — иначе говоря, лишь отчасти на психической, а в остальном, возможно, на совершенно иной форме бытия. Вследствие отсутствия эмпирических данных я не знаю и не понимаю этих форм бытия — форм, которые обычно называют «духовными». С научной точки зрения не имеет значения, во что я в

этой связи *верю*. Я должен только смириться с собственным незнанием. Но поскольку архетипы *воздействуют* на меня, они для меня действительны — даже при том, что я не знаю их истинной природы. Сказанное относится, конечно, не только к архетипам, но и к природе психической субстанции в целом. Что бы она ни свидетельствовала о себе, она не может выйти за рамки самой себя. Вся совокупность наших понятий, равно как и все, что могло бы войти в круг наших понятий, всецело принадлежит миру психического; значит, мы безнадежно замкнуты в рамках этого мира. Тем не менее, мы вполне можем предполагать, что по ту сторону этих рамок существует не понятый нами абсолютный объект, который оказывает на нас воздействие; подобная гипотеза выглядит более или менее убедительно даже — а может быть и особенно — в отношении тех психических явлений, о которых не существует проверяемых свидетельств. Утверждения о возможности или невозможности того или иного явления чего-то стоят только в специализированных областях науки; вне последних они представляют собой не более чем предположения, продиктованные человеческой самонадеянностью.

Объективный подход требует избегать необоснованных суждений; но в некоторых случаях это сделать не удастся. Обоснование таких суждений носит психодинамический характер и обычно считается субъективным, сугубо личным. Но не следует впадать в ошибку и смешивать суждения, действительно принадлежащие отдельному человеку и продиктованные совершенно личными мотивами, с теми, что носят более общий характер и порождаются присущей коллективу динамической моделью. В последнем случае суждение должно считаться не субъективным, а психологически объективным как раз потому, что у неопределенного количества индивидов срабатывает некий внутренний импульс, побуждающий их говорить одно и то же или придавать какому-либо одному воззрению статус жизненно важной ценности. Поскольку архетип — это не пассивная форма, а реальное, наделенное особой энергией начало, он может с успехом рассматриваться как *causa efficiens* (действующая причина) и субъект суждений такого рода. Иными словами, суждения высказываются не личностью как таковой, а говорящим через нее архетипом. Если они замалчиваются или недооцениваются, психические расстройства не заставляют себя ждать; свидетельством тому — опыт медицины и повседневное знание. Психические расстройства возникают либо как невротические симптомы, либо — в случае лиц, не подверженных неврозу — как коллективные галлюцинации или бредовые идеи.

Архетипические суждения основываются на инстинктивной предрасположенности и не имеют ничего общего с разумом; они

не могут быть ни рационально обоснованы, ни опровергнуты рациональными аргументами. Они всегда были частью картины мира — «коллективными представлениями» (*représentations collectives*), как их правильно назвал Леви-Брюль¹. Конечно, «Я» и его воля играют в жизни человека большую роль; но воля «Я» в высшей степени чувствительна к воздействию со стороны автономных и нуминозных архетипических процессов — воздействию, пути которого обычно остаются для «Я» неизвестными. Практические соображения, касающиеся архетипических процессов, составляют сущность религии — в той мере, в какой о религии вообще можно говорить в терминах психологии.

Здесь я не могу не обратить внимания на то обстоятельство, что помимо сферы рефлексии существует столь же (если не более) обширная область, где рациональному пониманию и рациональным представлениям совершенно нечего делать. Речь идет о сфере Эроса. В классические времена, когда подобные вещи еще понимались правильно, Эрос почитался богом, чья божественность выходит за рамки человеческого, и который по этой причине не может быть ни постигнут, ни изображен в какой бы то ни было форме. Подобно многим своим предшественникам, я также мог бы попытаться найти подход к этому демону, чья область деятельности охватывает бесконечные пространства небес и мрачные ущелья ада; но я не решаюсь взяться за поиск языка, способного выразить непредсказуемые парадоксы любви. Эрос — это «творец Космоса» (*kosmogonos*), сочетающий в одном лице отца и мать любого высшего сознания. Мне иногда кажется, что слова Павла: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий»² — это первое условие любого познания и квинтэссенция самого божества. Как бы ни интерпретировали ученые люди выражение «Бог есть любовь», оно утверждает суть божества как *complexio oppositorum*.

В своем врачебном опыте, равно как и в личной жизни, я многократно сталкивался с таинством любви и никогда не мог объяснить, что же оно собой представляет. Подобно Иову, я обязан был сказать: «Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, — теперь отвечать не буду»³. В таинстве любви сосредото-

1 Люсьен Леви-Брюль (Lévy-Bruhl) (1857—1939) — выдающийся французский этнолог и философ, основоположник науки о мышлении первобытных людей.

2 Первое послание к Коринфянам, 13:1.

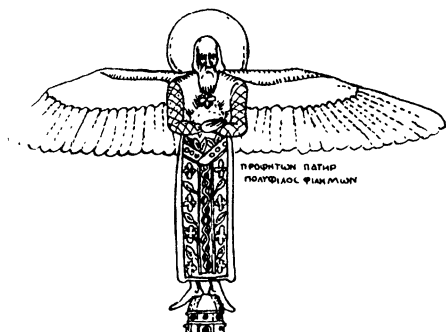
3 Иов, 39:34.

точены величайшее и малейшее, отдаленнейшее и ближайшее, высочайшее и глубочайшее, и мы не можем говорить об одной из сторон, умалчивая о противоположной. Этот парадокс не может быть выражен ни на одном языке. Никакое слово не в состоянии охватить целого. Говорить же о частичных аспектах — либо недостаточно, либо избыточно: ведь только целое имеет смысл. Любовь «все покрывает» и «все переносит»¹. В этих словах сказано все, что должно быть сказано; к ним уже нечего добавить. В самом глубинном смысле мы являемся жертвами и орудиями космогонической «Любви». Я ставлю это слово в кавычки, чтобы показать, что я не имею в виду содержащихся в нем оттенков желания, предпочтения, благорасположения, вожделения и т. п., а указываю на нечто, превосходящее личность и представляющее собой единое и неделимое целое. Будучи сам частью, человек не способен охватить целое. Он подчинен целому. Он может соглашаться с ним или бунтовать против него; но он всегда оказывается захвачен и поглощен им. Он зависит от него и поддерживается им. Любовь — это его бесконечный свет и бесконечная тьма. «Любовь никогда не кончается» — независимо от того, говорит ли человек «языками ангельскими»² или с научной точностью прослеживает жизнь клетки вплоть до ее глубочайшего истока. Человек может придумывать для любви какие угодно названия — но это будет только бесконечный самообман. Если же у него есть хотя бы капелька мудрости, он отбросит ненужные попытки и назовет *ignotus per ignotum*, неведомое именем еще более неведомого — то есть именем Бога. Таким образом он признает свою подчиненность, свое несовершенство, свою зависимость; и в то же время он засвидетельствует свободу своего выбора между истиной и заблуждением.

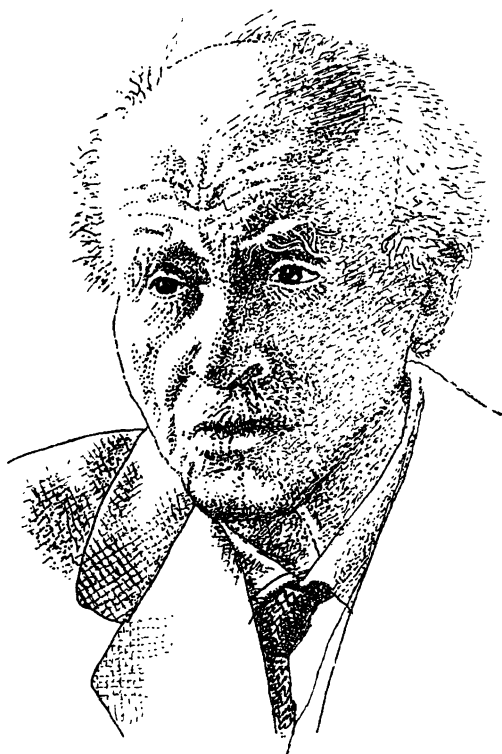
1 Первое послание к Коринфянам, 13:7.

2 Первое послание к Коринфянам, 13:1.

13 Взгляд, обращенный вспять



ПРОФЕТА ИСАИ
ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΙΣΑΙΑΝ





Когда люди называют меня мудрым, я не могу этого принять. Некто зачерпнул шляпой воды из ручья. Что же это значит? Я не есмь ручей. Я нахожусь у ручья, но я ничего не делаю. Многие из тех, кто находится на берегу того же ручья, считают себя обязанными что-то с ним делать. Я же не делаю ничего. Я никогда не считал себя призванным следить за тем, чтобы вишни росли на стебельках. Я просто стою и восхищаюсь деяниями природы.

Есть замечательный старинный анекдот о студенте, который приходит к раввину и спрашивает: «В прежние времена были люди, которые видели Бога в лицо. Почему их больше не осталось?» Раввин отвечает: «В наше время люди разучились нагибаться так низко». Для того, чтобы зачерпнуть воды из ручья, все-таки нужно хоть немного нагнуться.

Разница между большинством людей и мною заключается в том, что для меня «разделительные перегородки» прозрачны. Такова моя особенность. Для других эти перегородки абсолютно непроницаемы; ничего за ними не видя, люди считают, что там ничего нет. Мой взгляд до известной степени различает процессы, протекающие в глубине, и это придает мне внутреннюю уверенность. Те, кто ничего не видит, не могут быть ни в чем уверены. Они не способны делать выводы или не доверяют уже сделанным выводам. Я не знаю, чему я обязан своей способностью замечать течение потока жизни. Возможно, сфере бессознательного. Или собственным ранним сновидениям. Они определили весь ход моей жизни.

Знание о глубинных процессах очень рано сформировало характер моего отношения к миру. В сущности, это отношение не

изменилось с самого детства. В детстве я чувствовал себя одиноким, и я одинок до сих пор: ведь я знаю то (и должен указывать другим на то), чего другие явно не знают и в большей своей части не хотят знать. Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенными, или неприемлемостью твоих воззрений для других. Мое одиночество началось с переживаний, связанных с моими ранними сновидениями, и достигло высшей точки в период, когда я работал над бессознательным. Человек, знающий больше других, обречен на одиночество. Но одиночество вовсе не враждебно общению, ибо ни в ком общительность не развита сильнее, чем в одиноким человеке; более того, процветают только те общности, где каждый индивид помнит о своей неповторимости и не отождествляет себя с другими.

Очень важно обладать тайной, ощущать присутствие непознаваемого. Это наполняет жизнь внеличным, нуминозным началом. Человек, которому это ощущение незнакомо, упустил в своей жизни нечто очень важное. Человеку нужно ощущение того, что мир, в котором он живет, в некоторых отношениях таинственен; что многие события и переживания так навсегда и останутся необъясненными; что не все происходящее можно предугадать. Неожиданное и невероятное также принадлежит этому миру. Без них жизнь неполна. Для меня мир с самого начала был бесконечен и непознаваем.

Мне стоило больших трудов достичь гармонии с собственными идеями. Во мне был «демон», и в конечном счете его присутствие решило все. Он полностью овладел мной, и если мне иногда бывала свойственна беспощадность, ее причина коренилась именно в этой моей захваченности демоном. Я никогда не умел останавливаться на достигнутом. Я должен был спешить, я всячески пытался угнаться за собственными видениями. Мои современники, естественно, не могли наблюдать мои видения; поэтому для них я был безумцем, сломя голову устремившимся неведомо куда.

Мне суждено было оттолкнуть от себя очень многих людей: ведь стоило мне заметить, что они меня не понимают, как у меня исчезали основания для дальнейших контактов с ними. В общении с людьми — исключая только моих пациентов — мне всегда не хватало терпения. Я должен был подчиняться навязанному мне внутреннему закону и не имел права на свободный выбор. Конечно, я не всегда полностью подчинялся ему. Но кто в своей жизни может избежать непоследовательности?

Некоторые люди чувствовали мое присутствие и близость, пока находились в контакте с моим внутренним миром. Но мое присутствие в их жизни переставало ощущаться в тот самый миг, когда исчезало то, что связывало меня с ними. Мне прихо-

дилось с трудом привыкать к мысли, что люди продолжают существовать, даже если им уже нечего мне сказать. Многие пробуждали во мне чувство живой человечности — но только тогда, когда они высвечивались внутри волшебного круга психологии; когда же луч света изменял свое направление, я переставал их видеть. Я мог питать глубокий интерес ко многим людям; но как только я проникал взглядом в глубь их существа, волшебство исчезало. В результате я нажил себе немало врагов. Но ведь творческая личность имеет слишком мало власти над собственной жизнью. Творческий человек не свободен. Он захвачен и управляем своим демоном. Как говорил Гельдерлин:

...Бесчинно

Сердце в нас разрывает какая-то сила.

Ведь из небожителей каждый ждет жертвы,

И уклонившимся

Снисхожденья не будет.

Эта несвобода была для меня источником глубокой душевной боли. Часто я чувствовал себя бойцом на поле брани и приговаривал: «Что ж, друг мой, ты пал, но я должен идти дальше. Я не могу, да, не могу оставаться на месте!» Ведь «бесчинно сердце в нас разрывает какая-то сила». Я люблю тебя, я очень люблю тебя, но я не могу оставаться! В этом есть нечто «разрывающее сердце». И жертва — я сам: я *не могу* оставаться. Но благодаря демону я выпутываюсь из трудного положения и в силу благословенной непоследовательности ухитряюсь, в вопиющем противоречии с собственной «неверностью», не утратить доверия к себе.

Пожалуй, я мог бы сказать, что нуждаюсь в людях в большей и одновременно в значительно меньшей степени, нежели другие. Когда демон пребывает в действии, охваченный им человек находится слишком близко и в то же время слишком далеко. Срединное положение достижимо, только пока демон молчит.

Демон творчества был со мною беспощаден. Как правило, от этого страдали мои обычные начинания — правда, не всегда и не везде. Поэтому я, как мне кажется, в высшей степени консервативен. Я набиваю свою трубку из табакерки деда и все еще храню его увенчанный рогом серны альпеншток, который он привез из Понтрезины, будучи в свое время одним из первых посетителей этого курорта.

Я доволен тем, как прошла моя жизнь. Она была богата и плодотворна. Мог ли я ожидать большего? Со мною сплошь и рядом случались неожиданности. Многое могло бы сложиться иначе, если бы я сам был иным. Но все сложилось так, как сложилось, ибо я есмь я. Многое происходило так, как я предполагал, но далеко не всегда это оборачивалось для меня благопри-

ятными последствиями. Тем не менее почти все развивалось естественно, в соответствии с предназначенной мне судьбой. Я испытываю сожаление в связи со многими опрометчивыми шагами, вызванными моим упрямством; но только благодаря упрямству я все-таки достиг своей цели. Так что я и разочарован и не разочарован. Я разочарован в людях и разочарован в себе самом. Я узнал от людей очень много интересного и смог достичь большего, чем ожидал от себя. Я не могу высказать окончательное мнение, ибо явление жизни и явление человека слишком масштабны. Чем старше я становился, тем меньше я понимал самого себя, или узнавал самого себя, или догадывался о самом себе.

Я удивлен, разочарован, доволен собой. Я мрачен, подавлен, восторжен. Все это присутствует во мне одновременно, и я не могу привести это разнообразие к единству. Я не способен вынести окончательное суждение о том, что ценно и что лишено ценности во мне и моей жизни. Не существует ничего такого, в чем я был бы совершенно уверен. У меня нет твердых убеждений ни о чем на свете. Я знаю только, что был рожден, что существую и что меня ведут. Мое существование основывается на чем-то, неведомом мне самому. Несмотря на всю свою неуверенность, я ощущаю твердую основу всего живущего и непрерывность моего собственного бытия.

Мир, в который мы рождены, груб и жесток, — и в то же время полон божественной красоты. Наше ощущение того, какое именно начало — смысл или бессмысленность — преобладает в этом мире, обусловлено только нашим темпераментом. Если бы преобладала бессмысленность, мы с каждым шагом приходили бы к постепенной утрате смысла жизни. Но мне кажется, что дело обстоит не так. Вероятно, как и в любых метафизических вопросах, истинны оба полюса: жизнь есть смысл и бессмысленность, или: жизнь наделена смыслом и лишена смысла. Я питаю надежду на то, что смысл все-таки возобладает и победит.

Когда Лао Цзы говорит: «Все ясны, я один затуманен», он выражает то, что я чувствую ныне, в своем более чем почтенном возрасте. Лао Цзы — это образец человека, обладающего высшей интуицией, увидевшего и пережившего значимое и ничего не значащее, ценное и лишённое ценности, и в конце своей жизни захотевшего вернуться в свое собственное бытие, в вечный непознаваемый смысл. В архетипе много повидавшего старца заключена вечная правда. Этот архетип появляется на любом уровне умственного развития, и его отличительные признаки не зависят от того, воплощен ли он в старом крестьянине или великом философе вроде Лао Цзы. Это старость, и это — ограничение. И все-таки мою жизнь наполняет многое: растения,

животные, облака, день и ночь и вечное в человеке. Чем сильнее я чувствую неуверенность в себе, тем больше во мне нарастает ощущение родства со всем сущим. Да, мне кажется, что отчужденность, в течение столь долгого времени разобщавшая меня с миром, перешла в мой собственный внутренний мир и дала мне понять, как неожиданно мало я знаю о себе самом.

Septem sermones ad mortuos

(Семь проповедей мертвецам, 1916)

Юнг дал разрешение на приватную публикацию «Семи проповедей» в виде брошюры для распространения среди друзей и знакомых; брошюра эта никогда не появлялась в продаже. Впоследствии он характеризовал «Семь проповедей» как «грех молодости» и сожалел о том, что их написал.

Язык «Семи проповедей» более или менее соответствует стилю «Красной книги». Но по сравнению с бесчисленными диалогами, которые в «Красной книге» ведутся с фигурами внутреннего мира, «Семь проповедей» представляют собой самодовлеющее целое. Они позволяют ощутить — пусть отчасти, — через что прошел Юнг в течение 1913—1917 гг. и что ему предстояло вынести из этого опыта.

В «Проповедях» встречаются зародыши идей, которые впоследствии нашли свое место в его научных трудах; в особенности это касается соображений о биполярной природе духа, жизни в целом и каких бы то ни было психологических суждений. Юнг всегда испытывал живой интерес к гностикам с их парадоксальным мышлением. Вот почему в «Проповедях» он отождествляет себя с гностическим автором Василидом (начало II в.) и даже заимствует у него кое-какие термины — например, называет Бога именем АБРАКСАС. Все это — хорошо продуманная мистификация.

Юнг согласился опубликовать «Семь проповедей» в своих «Воспоминаниях» после долгих колебаний — «желая быть честным до конца». Он так и не выдал ключа к анаграмме в конце книги.

А. Яффе

Семь проповедей мертвецам, написанные Василидом в Александрии, городе, где Восток встречается с Западом

1 ПРОПОВЕДЬ ПЕРВАЯ

Мертвые возвратились из Иерусалима, где они не нашли того, что искали. Они просили меня впустить их, и возжаждали моего слова, и я наставлял их:

Слушайте: я начинаю с «ничто». «Ничто» — это то же, что полнота. В бесконечности полнота не лучше пустоты. «Ничто» пусто и полно. О «ничто» вы можете сказать и что угодно иное: например, что оно белое, или черное, или что его нет, или что оно есть. Бесконечное и вечное не имеет качеств, ибо оно наделено всеми качествами.

Это «ничто» или полноту мы называем словом ПЛЕРОМА. Здесь прекращаются мысль и бытие, ибо вечное и бесконечное не имеют никаких качеств. В Плероме нет бытия, ибо если бы оно было, оно должно было бы отличаться от Плеромы и обладать качествами, которые отличали бы его от Плеромы.

В Плероме есть все и ничего. Нет пользы размышлять о Плероме, ибо это означало бы саморастворение.

ТВОРЕНИЕ — не в Плероме, а в самом себе. Плерома есть начало и конец сотворенных. Она наполняет их, подобно тому, как солнце повсюду наполняет собою воздух. Хотя Плерома наполняет собою все, сотворенные не имеют в ней доли — точно так же, как совершенно прозрачное тело не становится ни светлым, ни темным от наполняющего его света.

Но мы, будучи частью вечного и бесконечного, тождествен-

ны Плероме. И мы не имеем в ней доли, ибо бесконечно удалены от нее — не в пространстве или во времени, а по существу: ведь мы отличаемся от Плеромы по самому существу — как сотворенные, ограниченные временем и пространством.

Но поскольку мы — часть Плеромы, Плерома есть также и в нас. Даже в малейшей точке Плерома бесконечна, вечна и полна, ибо малое и большое суть качества, содержащиеся в ней. Это «ничто» полно и непрерывно везде. Поэтому я лишь символически говорю о сотворенных как о части Плеромы. Ведь на самом деле Плерома нигде не поделена на части, так как она есть ничто. Мы также — полная Плерома, ибо, символически, Плерома есть наименьшая точка (только предполагаемая, не существующая в действительности) в нас, и бесконечный небесный свод вокруг нас. Но почему же мы вообще говорим о Плероме, раз она есть все и ничто?

Я говорю о ней, чтобы с чего-то начать, а также, чтобы избавить вас от заблуждения, будто где-то, внутри или вовне, есть нечто изначально определенное или устойчивое. Все, что называют определенным и несомненным, на самом деле лишь относительно. Только то определено и несомненно, что подвержено изменениям.

Но изменчивое есть сотворенное. Посему, кроме него, нет ничего определенного и несомненного; ведь у него есть качества; более того, оно само есть качество.

Возникает вопрос: как возникает сотворенное? Возникают сотворенные существа, но не сотворенное, ибо оно есть само качество Плеромы — равно как и несотворенное, которое есть вечная смерть. Во все времена и повсюду есть творение, и во все времена и повсюду есть смерть. У Плеромы есть все, различимость и неразличимость.

Различимость есть сотворенное. Сотворенное различимо. Различимость есть его суть, и поэтому оно само различает. Человек способен различать, ибо различимость свойственна его природе. Поэтому он различает качества Плеромы, которых нет. Он различает их по своей природе. Поэтому он должен говорить о качествах Плеромы, которых нет.

Вы говорите: к чему тогда толковать о ней? Не ты ли сам говоришь, что мыслить о Плероме бесполезно?

Я сказал это вам, дабы избавить вас от заблуждения, будто мы способны мыслить о Плероме. Различая качества Плеромы, мы говорим от имени нашей собственной различимости и о нашей собственной различимости. Но мы не говорим ничего о Плероме. О нашей собственной различимости, однако, нам нужно говорить, дабы лучше различать нас самих. Различимость есть сама наша природа. Если мы неверны этой нашей

природе, мы не различаем сами себя в достаточной мере. Посему мы должны различать качества.

Вы спрашиваете: а что дурного в неумении различать самих себя?

Не различая, мы выходим за рамки нашей собственной природы, за рамки сотворенного. Мы впадаем в неразличимость, которая есть иное качество Плеромы. Мы впадаем в самое Плерому и прекращаем быть сотворенными. Мы растворяемся в ничто.

Это — смерть сотворенного. Посему мы умираем в той мере, в какой не различаем. Отсюда — естественное стремление сотворенного к различимости, к борьбе с первобытным, губительным единообразием. Это называется: **PRINCIPIUM INDIVIDUATIONIS**. Этот принцип есть суть сотворенного. Отсюда понятно, почему неразличимость и неразличение столь опасны для сотворенного.

Значит, мы должны различать качества Плеромы. Эти качества суть **ПАРЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ**:

Действенное и Неспособное к действию;

Полнота и Пустота;

Живое и Мертвое;

Различие и Единообразие;

Свет и Тьма;

Тепло и Холод;

Сила и Вещество;

Время и Пространство;

Добро и Зло;

Красота и Уродство;

Единое и Многое и т. д.

Пары противоположностей суть качества Плеромы, которых нет, ибо противоположности уравнивают друг друга. Поскольку мы сами Плерома, мы содержим в себе все эти качества. Поскольку самая основа нашей природы состоит в различимости, мы обладаем этими качествами во имя и в знак нашей различимости, что означает:

1. Эти качества различны и отделены в нас друг от друга; поэтому они не упраздняют друг друга, а обладают действительностью. Посему мы являемся жертвами пар противоположностей. Плерома раздроблена в нас.

2. Качества принадлежат Плероме, и только во имя и в знак нашей различимости мы можем и должны обладать или жить ими. Мы должны отличать себя от наших качеств. В Плероме качества упраздняют друг друга, в нас же — нет. Отличая себя от наших качеств, мы достигаем освобождения.

Стремясь к добру или красоте, мы забываем о своей природе, которая есть различимость, и подпадаем под власть качеств

Плеромы, которые суть пары противоположностей. Мы хлопочем о том, чтобы достичь добра или красоты, но в то же время становимся добычей зла и уродства, ибо в Плероме они едины с добром и красотой. Но когда мы сохраняем верность собственной природе, каковая есть различимость, мы отличаем себя от добра и красоты и, значит, от зла и безобразности. И посему мы не впадаем в Плерому, то есть в ничто и саморастоворение.

Вы возражаете: если различие и единообразие суть качества Плеромы, почему мы тогда стремимся к различимости? Верны ли мы при этом нашей собственной природе? И не становимся ли мы, стремясь к различимости, добычей единообразия?

Вы не должны забывать, что у Плеромы нет качеств. Мы создаем их благодаря мысли. Значит, если вы стремитесь к различимости или единообразию или каким-либо иным качествам, вы следуете за мыслями, являющимися вам из Плеромы, то есть за мыслями, относящимися к несуществующим качествам Плеромы. Следуя за ними, вы впадаете обратно в Плерому и достигаете различия и одновременно единообразия. Но различимость — это не ваша мысль, а ваше бытие. Значит, вы должны стремиться не к различию, как вы думаете, а к **ВАШЕМУ СОБСТВЕННОМУ БЫТИЮ**. В сущности, есть только одно стремление, а именно — к вашему собственному бытию. Если у вас оно есть, вам не нужно знать ничего о Плероме и ее качествах; и тогда вы придете к своей истинной цели в силу вашего собственного бытия. Но поскольку мысль отчуждена от бытия, я должен научить вас этому знанию, чтобы вы могли укротить вашу мысль.

ПРОПОВЕДЬ ВТОРАЯ

2

Ночью мертвецы стали вдоль стены и возопили:

Мы хотим узнать о боге. Где бог? Он умер?

Бог не умер. Ныне он жив, как и всегда. Бог есть сотворенное, ибо он различим и посему не тождествен Плероме. Бог есть качество Плеромы, и все, что я сказал о сотворенном, в точности относится и к нему.

Но бог отличается от сотворенных существ тем, что он более неопределен и неопределим, нежели они. Он менее различим, нежели сотворенные существа, ибо основой его бытия является действенная полнота. Лишь в той мере, в какой он определен и различим, он есть сотворенное, и в той же мере он есть проявление действенной полноты Плеромы.

Все, чего мы не различаем, впадает в Плерому и упраздняется собственной противоположностью. Значит, если мы не различаем бога, действенная полнота для нас упраздняется.

Бог есть еще и сама Плерома, подобно тому, как любая наи-

меньшая точка в сотворенном и несотворенном есть сама Плерома.

Действенная пустота есть природа дьявола. Бог и дьявол — это первые проявления того «ничто», которое мы зовем Плеромой. Безразлично, существует Плерома или нет, ибо все в ней взаимно упраздняется. Но не то в сотворенном. В той мере, в какой бог и дьявол суть сотворенные, они не упраздняют друг друга, но стоят друг против друга как действительные противоположности. Мы не нуждаемся в доказательствах их существования. Достаточно того, что нам надлежит постоянно говорить о них. Даже если бы их не было, сотворенное, в силу своей сущностной различимости, всегда заново выделяло бы их из Плеромы.

Все, что способность к различению выделяет из Плеромы, есть пара противоположностей. Значит, с богом всегда связан дьявол.

Эта взаимосвязанность столь же глубинна и, как показал вам ваш же собственный опыт, столь же неотделима от жизни, как сама Плерома. Значит, оба они — бог и дьявол — весьма близки Плероме, где все противоположности упраздняют друг друга и составляют единое.

Бог и дьявол отличаются друг от друга качествами полноты и пустоты, созидания и разрушения. Но **ДЕЙСТВЕННОСТЬ** присуща им обоим. Действенность объединяет их. Значит, действенность превышает их обоих; она есть бог над богом, ибо в своем действии она объединяет полноту и пустоту.

Это божество, которого вы не знаете, ибо человечество его забыло. Мы называем это божество его именем — **АБРАКСАС**. Оно еще более неопределенно, нежели бог и дьявол.

Различимого бога мы называем **ГЕЛИОС**, или солнце. Абраксас же есть действие. Ему противостоит только отсутствие действия; посему его действенная природа проявляет себя свободно. Отсутствие действия не может оказать ему никакого противодействия. Абраксас превышает солнца и дьявола. Это — невероятная вероятность, нереальная реальность. Если бы Плерома имела бытие, Абраксас был бы его проявлением. Он действителен сам по себе: не как некое особое действие, а как действие вообще.

Он есть нереальная реальность, ибо не имеет определенного воздействия.

Он есть также сотворенное, ибо отличается от Плеромы.

У солнца есть определенное воздействие, у дьявола — тоже. Поэтому они кажутся нам более действенными, нежели неопределенный Абраксас.

Он есть сила, длительность, изменчивость.

Тут мертвые подняли большой шум, ибо были христианами.

3 ПРОПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ

Подобно туманам, поднимающимся с поверхности болота, мертвые приблизились и возопили: Говори нам еще о высшем божестве.

Бога Абраксаса трудно познать. Его сила превышает всех, ибо для человека она незаметна. От солнца он берет *summum bonum* (высшее добро), от дьявола — *infimum malum* (низшее зло); но от Абраксаса происходит совершенно недоступная определению ЖИЗНЬ, мать добра и зла.

Жизнь кажется меньше и слабее, нежели *summum bonum*; поэтому трудно постичь, что сила Абраксаса превышает даже силу солнца, которое само по себе есть лучезарный источник силы жизни.

Абраксас есть солнце и в то же время — вечно втягивающая воронка пустоты, умаляющий и расчленяющий дьявол.

Сила Абраксаса — двояка; но вы ее не видите, так как для вашего взгляда борющиеся между собой противоположности этой силы взаимно упраздняются.

То, о чем говорит бог-солнце, есть жизнь.

То, о чем говорит дьявол, есть смерть.

Но Абраксас говорит то непререкаемое и проклятое слово, которое есть жизнь и смерть одновременно.

Абраксас рождает истину и ложь, добро и зло, свет и тьму в одном слове и действии. Поэтому Абраксас страшен.

Он великолепен как лев, настигающий свою жертву. Он прекрасен, как весенний день. Он — великий Пан и одновременно малейший. Он — Приап.

Он — чудовище подземного мира, тысячерукий полип, извивающийся клубок крылатых змей, неистовство.

Он — гермафродит самого раннего начала.

Он — господин жаб и лягушек, живущих в воде и выходящих на сушу, чей хор поднимается к небу в полдень и в полночь.

Он — полнота, стремящаяся к единству с пустотой.

Он — священное зачатие.

Он — любовь и убийство любви.

Он — святой и его предатель.

Он — сияющий свет дня и мрачайшая ночь безумия.

Смотреть на него значит ослепнуть.

Познать его значит заболеть.

Поклоняться ему значит умереть.

Бояться его значит быть мудрым.

Не противиться ему значит прийти к спасению.

Бог живет за Солнцем, дьявол — за ночью. То, что Бог рождает из света, дьявол уносит в ночь. Но Абраксас есть мир, его становление и угасание. На любой дар Бога-Солнца дьявол налагает свое проклятие.

Все, что вы вымаливаете у Бога-Солнца, порождает какое-нибудь дьявольское дело.

Все, что вы создаете вместе с Богом-Солнцем, сообщает действительную силу дьяволу.

Это страшный Абракасас.

Он — могущественнейшее из творений, и в его лице творение страшится самого себя.

Он — открытое противопоставление сотворенного Плероме с ее «ничто».

Он — страх сына перед матерью.

Он — любовь матери к сыну.

Он — восторг земли и жестокость небес.

Перед его лицом человек каменеет.

Перед его лицом нет вопросов и ответов.

Он — жизнь сотворенного.

Он — различающее действие.

Он — человеческая любовь.

Он — человеческая речь.

Он — облик и тень человека.

Он — обманчивая реальность.

Тут мертвецы принялись выть и шуметь, ибо были несовершенны.

4 ПРОПОВЕДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мертвецы, ропща, заполнили пространство и сказали:

Расскажи нам о богах и дьяволах, о проклятый!

Бог-солнце есть высший бог, а дьявол — его противоположность. Итак, вот вам два бога.

Но многочисленно высокое добро и тяжелое зло. Среди них есть два бога-дьявола: один — **СЖИГАЮЩИЙ**, другой — **РАСТУЩИЙ**.

Сжигающий — это **ЭРОС**, который имеет форму пламени. Пламя дает свет, ибо оно сжигает.

Растущий — это **ДРЕВО ЖИЗНИ**. Оно зеленеет, ибо растет, накапливая живое вещество.

Эрос пламенеет и умирает. Но дерево жизни растет медленно и непрерывно на протяжении неизмеренного времени.

Добро и зло объединены в пламени.

Добро и зло объединены в росте древа.

Жизнь и любовь противопоставлены друг другу в своей божественности.

Неисчислимы, подобно звездам небесным, боги и дьяволы.

Каждая звезда есть бог, и каждое пространство, занимаемое звездой, есть дьявол. Но пустота и полнота всего есть Плерома.

Действие всего есть Абракасас, которому противостоит только отсутствие действия.

Четыре — это число главных богов, подобно тому, как четыре — это число измерений мира.

Один — это начало, бог-солнце.

Два — это Эрос; ибо он соединяет два в одно и разрастается, пылая.

Три — это Древо Жизни, ибо оно наполняет пространство телесными формами.

Четыре — это дьявол, ибо он открывает то, что закрыто. Он разлагает все обретшее вид и телесное; он — уничтожитель, в котором все обращается в ничто.

Благо мне, кому дано знание множественности и разнообразия богов. Но горе вам, замещающим это многообразие несовместимостей одним-единственным богом. Ведь поступая так, вы порождаете муки непонимания и увечите сотворенное, чья природа и цель есть различие. Как вы можете соблюсти верность своей собственной природе, если вы пытаетесь сделать из многого одно? С вами происходит то же, что вы делаете с богами. Вы все становитесь равны, увеча вашу собственную природу.

Равенство должно господствовать не ради богов, а ради людей, ибо богов много, а людей мало. Боги могущественны и могут перенести свое многообразие. Подобно звездам, они пребывают в одиночестве, отделенные друг от друга огромными расстояниями. Люди же слабы и не могут перенести своего многообразия. Посему они живут вместе и нуждаются в причастии, дабы преодолеть свою разъединенность. Ради спасения я учу вас отвергнутой истине, из-за которой меня отвергли.

Многообразие богов соответствует многообразию людей.

Бесчисленные боги ждут перехода в человеческое состояние. Бесчисленные боги были людьми. Человеку уделено от божественной природы. Он приходит от богов и уходит к богу.

Как бесполезно размышлять о Плероме, так же бесполезно поклоняться множественности богов. Меньше всего пользы — от поклонения первому богу, действительной полноте и *summum bonum*. Наша молитва не способна добавить к нему что бы то ни было, равно как и убавить от него что бы то ни было, ибо действительная пустота поглощает все.

Светлые боги образуют небесный мир. Он многообразен, он простирается на бесконечное расстояние и растет в размерах. Бог-солнце есть высший господин этого мира.

Темные боги образуют земной мир. Они просты и бесконечно уменьшаются и умаляются. Дьявол есть малейший господин земного мира, дух луны, спутник земли, меньший, более холодный и более мертвый, нежели земля.

Нет различия между могуществом небесных богов и могуществом земли. Небесные боги возвеличивают, боги земли умаляют. Неизмеримо их обоюдное движение.

5 ПРОПОВЕДЬ ПЯТАЯ

Мертвецы глумливо возопили: Наставь нас, о безумец, касательно Церкви и святого причастия.

Мир богов проявляется в духовности и сексуальности. Небесные являются в духе, земные — в поле.

Духовность принимает и охватывает. Она женственна и поэтому мы называем ее: MATER COELESTIS, небесная мать. Пол рождает и созидает. Он мужествен, и поэтому мы называем его: PHALLOS, земной отец.

Пол мужчины преимущественно от земли, пол женщины преимущественно от неба.

Духовность мужчины преимущественно от неба, она идет к большему.

Духовность женщины преимущественно от земли, она идет к меньшему.

Обманчива и дьяволоподобна духовность мужчины, идущая к меньшему.

Обманчива и дьяволоподобна духовность женщины, идущая к большему.

Каждый да идет к своему.

Мужчина и женщина, не пошедшие раздельно по своим духовным путям, становятся друг для друга дьяволами, ибо природа сотворенного есть различие.

Сексуальность мужчины направлена к земле, сексуальность женщины — к духу. Не различая сексуальности друг друга, мужчина и женщина становятся дьяволами друг для друга.

Мужчина знает о меньшем, женщина — о большем.

Мужчина отличает себя как от духовности, так и от пола. Он называет духовность Матерью и помещает ее между небом и землей. Он называет пол Фаллосом и помещает его между собой и землей. Ибо Мать и Фаллос — это сверхчеловеческие демоны и проявления мира богов. Для нас они более действенны, чем боги, поскольку они близко родственны нашей собственной природе. Если вы не отличаете себя от пола и духовности и не рассматриваете их как нечто, по природе пребывающие выше вас и по ту сторону от вас, вы предаетесь им как качествам Плеромы. Духовность и сексуальность — это не ваши качества, не то, чем вы обладаете и что носите в себе. Напротив, это они вами обладают, это они носят вас в себе; ведь они — могущественные демоны, проявления богов и посему, существуя сами в себе, превосходят вас. Никто не имеет собственной духовности

или собственной сексуальности; но все подчинены законам духовности и пола. Посему никто не может ускользнуть от этих демонов. Вы должны рассматривать их как демонов и как общую заботу и угрозу, как общую тяжелую ношу, возложенную жизнью на всех вас. Итак, жизнь для вас также есть общая забота и угроза, как и боги, и прежде всего — страшный Абракасас.

Человек слаб, и поэтому причастие необходимо. Если ваше причастие не под знаком Матери, значит, оно под знаком Фаллоса. Никакое причастие не есть страдание и болезнь. Любое причастие есть расчленение и растворение.

Различимость ведет к единственности. Единственность противопоставлена причастию. Но ввиду того, что человек слаб по сравнению с богами и демонами, и их непреодолимым законом, причастие необходимо. Значит, причастия должно быть ровно столько, сколько нужно, и не ради человека, но из-за богов. Боги побуждают вас причащаться. В той мере, в какой они делают это, причастие необходимо, большее же есть зло.

В причастии каждый человек пусть подчиняется другим, чтобы сохранилось причастие: ведь вы нуждаетесь в этом.

В своей единственности человек да превосходит других, чтобы каждый мог прийти к самому себе и избежать рабства.

В причастии есть воздержание.

В единственности есть расточительство.

Причастие есть глубина.

Единственность есть высота.

Правильная мера в причастии очищает и сохраняет.

Правильная мера в единственности очищает и умножает.

Причастие нас согревает, единственность нас освещает.

6 ПРОПОВЕДЬ ШЕСТАЯ

Демон пола приближается к нашей душе как змея. Эта змея — наполовину душа; она и является как мысль-желание.

Демон духовности опускается в нашу душу как белый голубь. Этот голубь наполовину человек и является как желание-мысль.

Змея — это земная душа, наполовину демоническая, это дух, родственный духам мертвых. Как и они, змеи кишат вокруг земных вещей, внушая нам страх или неумеренные желания. Природа змеи сходна с природой женщины. Она всегда ищет общества мертвых, тех, кто зачарован землей, тех, кто не находит пути, ведущего к единственности. Змея — это блудница, заигрывающая с дьяволом и злыми духами; это зловерный тиран и мучитель, соблазняющий причаститься к худшему. Белый голубь — это душа человека, наполовину небесная. Она пребывает с Матерью и время от времени опускается вниз. Голубь

обладает природой, сходной с природой мужчины; он есть действительная мысль. Он чист и одинок, и является посланником Матери. Голубь летает высоко над землей. Он повелевает единственностью. Он приносит знание от далеких, существовавших и совершенных. Он уносит наше слово ввысь, к Матери. Она ходатайствует, она предостерегает, но против богов она бессильна. Она есть сосуд солнца. Змея уходит вниз и коварством увечит фаллического демона или, наоборот, подстегивает его. Выползая, она выносит наверх слишком хитрые мысли земных демонов, которые проникают во все отверстия и с жадностью присасываются ко всему. Хоть змея того и не хочет, она должна быть нам полезна. Ускользая от нас, она указывает нам путь, которого мы не умеем найти с помощью нашего человеческого разума.

Мертвецы бросили презрительный взгляд и сказали: Прекрати болтать о богах, демонах и душах. В сущности, мы все это давно уже знали.

7 ПРОПОВЕДЬ СЕДЬМАЯ

Но когда настала ночь, мертвецы вновь приблизились с жалобным видом и сказали: Есть еще одна вещь, о которой мы забыли упомянуть. Наставь нас о человеке.

Человек — это врата, сквозь которые из внешнего мира богов, демонов и душ вы проникаете во внутренний мир; из большего мира — в меньший мир. Человек мал и преходящ, он уже позади вас, и вы снова оказываетесь в бесконечном пространстве, в меньшей или внутренней бесконечности.

На неизмеримом расстоянии в зените стоит одинокая звезда.

Это — единый бог этого единого человека. Это его мир, его Плерома, его бесконечность.

Внутри этого мира человек есть Абракасас, создатель и разрушитель своего собственного мира.

Эта звезда есть бог и цель человека.

Это единственный бог, который его направляет. В нем человек уходит на покой. К нему ведет долгий путь души после смерти. В нем сияет, подобно свету, все, что человек приносит из большего мира. Лишь этому богу молится человек.

Благодаря молитве свет звезды делается ярче. Она перебрасывает мост через смерть. Она готовит жизнь для меньшего мира и умеряет безнадежные желания большего мира.

Когда больший мир остывает, звезда горит.

Между человеком и его единым богом не остается ничего, как только человек отрывает взгляд от пылающего зрелища Абракасаса.

Человек здесь, бог там.

Слабость и ничтожество здесь; там — вечная творящая сила.
Здесь — лишь тьма и пронизывающе-холодная влажность.
Там все — солнце.

После этого мертвые замолкли и вознеслись ввысь, как дым
над костром пастуха, стерегущего свое стадо в ночи.

Анаграмма:

NAHTRIHECCUNDE
GAHINNEVERAHTUNIN
ZEHGESSURKLACH
ZUNNUS

И. Якоби

**Психологическое
учение
К. Г. Юнга**

Предисловие к первому изданию

Я считаю, что настоящая работа отвечает растущей потребности, которую сам я до сих пор не был в состоянии удовлетворить — потребности в сжатом пересказе начал моей психологической теории. Будучи сосредоточен главным образом на развитии новых идей в области психологии, я не имел ни времени, ни возможности дать их популярное систематическое изложение. Эту сложную задачу с успехом выполнила доктор Якоби, которой удалось дать весьма полный и в то же время свободный от технических подробностей обзор; в итоге читатель — с помощью ссылок — сможет свободно ориентироваться во всем множестве моих трудов. Одно из достоинств работы заключается в том, что текст дополнен рядом диаграмм, помогающих лучше понять некоторые функциональные связи.

С особым удовлетворением я должен отметить то обстоятельство, что в изложении автора совокупность моих исследований отнюдь не выглядит как законченная и самодовлеющая система: ведь любой шаг к превращению ее в догму был бы абсолютно чужд всему строю моих мыслей. Я твердо убежден, что время для всеобъемлющей теории, описывающей все явления, все содержательные элементы психической субстанции, еще не наступило. Свои суждения и концепции я рассматриваю как опыт построения новой научной психологии, основанной прежде всего на непосредственном опыте общения с людьми. Мое учение нельзя назвать разновидностью психопатологии; это скорее общая психология с элементами патологии.

Я надеюсь, что благодаря этой книге читатель будет посвящен в суть моих исследований, не тратя силы на черновую, поисковую работу.

*Август 1939
К. Г. Юнг*

Введение.

Психологическое учение К. Г. Юнга

Учение К. Г. Юнга можно разделить на две части — теоретическую и практическую. Теоретическая часть распадается на два основных раздела, которые в самом общем виде можно обозначить как учение о структуре психической субстанции и учение о психических процессах и силах. Основанная на этой теории практическая часть относится уже к области терапии.

Чтобы правильно понять теорию Юнга, мы должны прежде всего принять его точку зрения, согласно которой *все психические явления совершенно реальны*. Как ни странно, эта точка зрения относительно нова. Еще несколько десятилетий назад психология рассматривалась не столько как независимая наука, сколько как побочная ветвь религии, философии или естествознания, и это, конечно, мешало распознать истинную природу психической субстанции.

Что касается Юнга, то для него психическая субстанция так же реальна, как и тело. Будучи неосознаваемой, она, тем не менее, непосредственно переживается; ее проявления можно наблюдать. Психическая субстанция — это особый мир со своими законами, структурой и средствами выражения.

Все, что мы знаем о мире или о самих себе, приходит к нам через психическую субстанцию. «Психическая субстанция не составляет исключения из общего правила, согласно которому Вселенная может быть воссоздана только в той мере, в какой это позволяет наша психическая организация»¹. Отсюда сле-

1 C. G. Jung. *Psychologie und Religion*. — Zürich, 1940, 2 Aufl. 1947, S. 75; *Collected Works*, vol. 11, p. 41. Все цитаты из работ Юнга сопровождаются двумя ссылками: на оригинальное издание и на английский перевод Собрания сочинений (издательство Princeton University Press, 1953—1972). В дальнейшем при ссылках на работы Юнга его фамилия будет опускаться. (Здесь и далее все специально не оговоренные примечания принадлежат И. Якоби.)

дует, что «предмет современной эмпирической психологии и используемые ею методы исследования делают ее естественной наукой, но с точки зрения методов интерпретации материала она является наукой гуманитарной». Согласно Юнгу, «наша психология рассматривает человека одновременно как культурное и как природное существо; соответственно, предлагаемые ею объяснения должны иметь в виду как духовные, так и биологические аспекты человека. Будучи медицинской психологией, она непременно должна держать в поле своего зрения человека в целом». В поисках причин патологической неспособности к адаптации она «следует скользкими путями невротического мышления и чувствования, пока не находит дорогу, ведущую обратно в жизнь». Поэтому наша психология — в высшей степени практическая наука. Она занимается исследованиями не ради самих исследований, а ради того, чтобы помочь страждущему. Не преувеличивая, можно сказать, что приумножение знания — не столько ее основная цель, сколько побочный продукт; этим также она отличается от академической науки»¹.

Вся система Юнга построена на этой предпосылке, и мы также должны исходить из нее. Но Юнг отнюдь не подвержен предрассудкам чистого психологизма и не пренебрегает другими путями познания; не придерживается он и свойственной психизму или панпсихизму веры в то, что все на свете имеет психическую природу. Его цель — исследовать психическую субстанцию как орган познания мира и бытия, выявить и описать ее проявления и расположить их в осмысленном порядке.

Исходными дисциплинами для исследования бытия могут в равной мере служить богословие, психология, история, физика, биология и другие науки; они отчасти взаимозаменяемы и могут даже «гибридизироваться» в зависимости от их отношения к обсуждаемой проблеме или от точки зрения исследователя. Юнг придерживается психологического подхода. Он строит свою систему, исходя из собственного глубокого знания психической действительности; в итоге построенное им здание оказывается не абстрактной, чисто спекулятивной теорией, а структурой, основанной на прочном фундаменте опыта. Две основные опоры юнговского построения — это *принцип психической целостности* и *принцип психической энергии*. Анализируя эти два принципа и практическое применение юнговской доктрины в целом, мы будем оперировать его собственными терминами и объяснениями. Следует подчеркнуть, что термин «бессознательное», используемый для указания на ту сферу психической жизни, которая не совпадает с сознанием, есть на самом деле

1 Psychologie und Erziehung, S. 41, 53 f.; Collected Works, vol. 17, pp. 86, 90, 93.

результат некорректного гипостазирования. Тем не менее, «бессознательное» доказало свою полезность в качестве рабочей гипотезы.

Юнг назвал свое учение «аналитической психологией». Он ввел этот термин после разрыва с Фрейдом в 1913 году, чтобы предотвратить возможную путаницу с «психоанализом» фрейдовской школы. Впоследствии он предложил термин «комплексная психология» и использовал его всякий раз, когда акцент ставился на основополагающих принципах и теории. Тем самым он стремился подчеркнуть, что его учение, в отличие от других психологических доктрин (например, от психологии, исследующей только сознание, или от фрейдовского психоанализа, ограниченного чисто инстинктивными элементами), охватывает сложные психические феномены. В последние годы термин «комплексная психология» выходит из употребления, поскольку при переводе на другие языки слово «комплексный» порождает известные недоразумения. Ныне юнговскую доктрину в целом — то есть как ее теоретическую, так и практическую часть — принято называть «аналитической психологией».

1 Природа и структура психической субстанции

СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Под «психической субстанцией» (Psyche) Юнг понимает не только то, что мы обычно зовем «душой» (Seele), но и совокупность всех психических процессов — как осознанных, так и бессознательных. Следовательно, психическая субстанция — это нечто заведомо более обширное и всеобъемлющее, нежели душа; последняя для Юнга есть всего лишь некий «ограниченный функциональный комплекс»¹. Психическая субстанция состоит из

1 В юнговской терминологии слово «душа» обозначает определенный, четко очерченный функциональный комплекс — своеобразную «внутреннюю личность» или «субъекта», с которым «Я»-сознание человека связано так же, как и с объектами внешнего мира. Согласно юнговскому определению, «субъект, понимаемый и воспринимаемый как „внутренний“ объект, есть бессознательное... „Внутренняя личность“ — это способ поведения человека по отношению к собственным внутренним психическим процессам; это внутренняя установка человека, его характер, проявляющийся в его отношении к сфере бессознательного... [Эту] внутреннюю установку я обозначаю термином *анима* или *душа*... Внутренняя установка часто требует такой же степени автономности, что и внешняя, осознанная установка личности... Внутренняя установка обычно включает все те человеческие качества, которых недостает осознанной установке» (Psychologische Typen. — Zürich, 1921, 8 Aufl. 1950, S. 634—635; Collected Works, vol. 6, pars. 801, 803 f.). Под «интеллектом» подразумевается способность к рассудочному мышлению и пониманию, то есть чисто рациональный аспект личности, тогда как под «духом» — способность, принадлежащая сознанию, но естественно сопряженная с бессознательным. Именно эта последняя способность порождает творческие

двух взаимодополняющих и в то же время противопоставленных друг другу областей: *сознания и бессознательного*¹. Наше «Я» принимает участие в обеих областях. На диаграмме 1 «Я» расположено между двумя областями, которые не только дополняют, но и компенсируют друг друга². Иными словами, линия, разделяющая эти две области в рамках нашего «Я», может быть сдвинута в обоих направлениях — что показывают стрелки и пунктирные линии на нашем рисунке. Конечно, положение «Я» в самом центре круга следует воспринимать как условность. Смещение разделительной линии вверх означает ограничение сознания, а смещение вниз — расширение сознания.

Но если мы попытаемся оценить соотношение этих двух областей, мы увидим, что сознание составляет лишь очень малую часть нашей психической субстанции. Согласно антропологическим данным, сознание — плод относительно поздней дифференциации. Оно подобно островку в безграничном океане бессознательного. На диаграмме 2 черной точкой в центре отмечено наше «Я»; окруженное и поддерживаемое сознанием, оно представляет собой ту часть психической субстанции, которая ориентируется прежде всего на адаптацию к внешнему миру (в особенности это относится к человеку западной культуры). «Говоря „Я“, я имею в виду комплекс представлений,

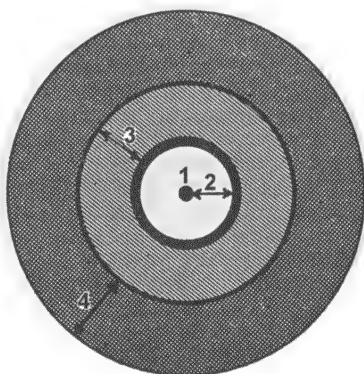
достижения и открытия в эстетической и этико-религиозной сфере; она же придает определенный колорит мыслям и суждениям, равно как и эмоциональным установкам. Понимаемый таким образом «дух» включает в себя как интеллект, так и душу; он осуществляет связь между ними и является «сублимацией» их обоих; это структурирующий принцип, противопоставленный бесструктурной, инстинктивной, биологической природе человека и, значит, постоянно поддерживающий то напряжение между полюсами, на котором основывается вся наша психическая жизнь. Эти три термина — душа, интеллект, дух — обозначают «подсистемы» психической целостности; говоря обо всех аспектах этой целостности, то есть о том единстве, которое включает в себя как сознание, так и бессознательное, я всегда прибегаю к термину «психическая субстанция».

- 1 Пионерские научные исследования бессознательного явились выдающимся достижением Зигмунда Фрейда, которого следует считать основоположником современной глубинной психологии.
- 2 Эта диаграмма, подобно всем последующим, призвана служить лишь вспомогательным средством. Читатель не должен воспринимать наши диаграммы иначе, как попытки придать упрощенно-наглядную форму некоторым в высшей степени сложным и абстрактным функциональным связям. Круг выражает относительно самодовлеющее единство психической субстанции отдельного человека: ведь именно круг и сфера с незапамятных времен служат символами целостности. «В неоплатонической философии душе приписывалось совершенно определенное родство со сферой... Ср. также сферическую форму платоновского первочеловека» (*Psychologie und Alchemie*. — Zürich, 1944, 2 Aufl. 1952, S. 125; *Collected Works*, vol. 12, par. 109 and note).

Диаграмма 1



Диаграмма 2



- 1 – Я
- 2 – сфера сознания
- 3 – сфера личностного бессознательного
- 4 – сфера коллективного бессознательного

составляющий центр моего поля сознания и в очень высокой мере наделенный свойствами непрерывности и самотождественности»¹. Юнг называет «Я» также «субъектом сознания»². Он определяет сознание как «функцию или деятельность, которая поддерживает связь психического содержимого с „Я“». Любое переживание воспринимается и осознается только при условии, что оно проходит через «Я»: «элементы психического содержимого, не ощущаемые нашим „Я“ как таковые, не становятся достоянием нашего сознания»³.

Следующий круг — область сознания, окруженная бессознательным. Содержание бессознательной сферы как бы отодвинуто в сторону (ибо сознание способно одновременно удерживать весьма незначительный объем), но может в любой момент возвратиться на уровень сознания. Сюда же относятся и те элементы содержимого нашей психики, которые мы так или иначе вытесняем, поскольку они по разным причинам нам неприятны — «все то, что забыто, подавлено, что воспринимается, мыслится и ощущается лишь „подпороговым“ образом»⁴. Юнг называет эту область *личностным* бессознательным⁵ и отличает ее от *коллективного* бессознательного, как показано⁶ на диаграмме 3.

1 Psychologische Typen, S. 591; Collected Works, vol. 6, par. 706.

2 В последние годы некоторыми учениками Юнга — в особенности Фордхэмом (Fordham) в Лондоне и Нойманном (Neumann) в Израиле — был выдвинут ряд гипотез, касающихся развития «Я». Ни одна из них, однако, на сегодняшний день не кажется вполне удовлетворительной. Экспериментальным данным лучше соответствует теория Ж. Пиаже (Piaget), хотя она и не учитывает специфических воззрений глубинной психологии. Так или иначе, фрейдовский взгляд — который в этом отношении разделяет и Юнг — все еще сохраняет свое фундаментальное значение.

3 Psychologische Typen, S. 67; Collected Works, vol. 6, par. 700. В обыденной речи «сознание» часто смешивается с «мышлением». Это недопустимо, поскольку существует сознание чувства, воли, страха и всех прочих жизненных проявлений, не тождественных мышлению. Часто «сознание» отождествляют с «жизнью», чего также не следует делать: человек, который спит или пребывает в обморочном состоянии, жив, но лишен сознания. Сознание бывает выражено в разной степени: от изолированных актов простого восприятия до глубокого анализа и оценки явлений.

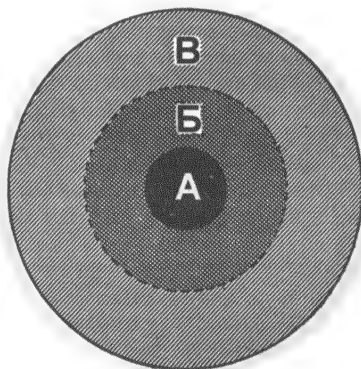
4 Psychologische Typen, S. 656; Collected Works, vol. 6, par. 842.

5 Те психические элементы, которые в любой момент могут быть подняты на уровень сознания, Фрейд называет «предсознанием». К «бессознательному» он относит только те элементы, которые не могут быть осознаны без применения специальных приемов. И те, и другие Юнг включает в «личностное бессознательное».

6 В зависимости от предмета обсуждения центральное место на наших диаграммах может занимать «Я» или коллективное бессознательное. Когда мы говорим о «сферах», «областях» или «слоях» бессознательного или пытаемся проиллюстрировать их графически, мы осуществляем своего рода «перевод» генетического подхода в пространственные термины.

Коллективная составляющая бессознательного не включает те элементы, которые приобретаются индивидом в течение его жизни и специфичны для его «Я»; содержимое коллективного

Диаграмма 3



- А – часть коллективного бессознательного, которая никогда не может стать достоянием сознания
 Б – сфера коллективного бессознательного
 В – сфера личностного бессознательного

бессознательного всецело проистекает из «унаследованных нами функциональных возможностей психической субстанции, то есть из структуры человеческого мозга как такового»¹. Это

1 Psychologische Typen, S. 656; Collected Works, vol. 6, par. 842. Термин «структура мозга», использованный Юнгом там, где можно было бы ожидать термина «психическая структура», должен быть понят правильно. Он указывает на связь психической субстанции с физическим бытием. Психическая субстанция переживается нами как неотделимая от физического бытия. Это, однако, никак не предполагает биологической зависимости. «Психическая субстанция заслуживает того, чтобы к ней относились как к самостоятельному феномену; нет никаких оснований считать ее простым эпифеноменом (хотя она и может зависеть от работы мозга). Это было бы так же неправильно, как считать жизнь эпифеноменом химии углеродных соединений» (Über die Energetik der Seele. — Zürich, 1928, S. 16; Collected Works, vol. 8, p. 8). Далее Юнг заявляет: «Можно уверенно утверждать, что смерть человека — это конец его личностного сознания. Но мы не знаем, прерывается ли в момент смерти психический процесс в целом: ведь ныне мы значительно меньше уверены в „привязанности“ психической субстанции к мозгу, чем полвека назад» (Wirklichkeit der Seele. — Zürich, 1934, 3 Aufl. 1947, S. 225; Collected Works, vol. 8, p. 412). Напротив, психическая субстанция, судя по всему, не знает пространственных и временных ограничений. Бессознательное всегда проявляет себя так, словно оно пребывает вне пространства и времени.

наследие является общим для всех людей (а возможно, даже и животных) и составляет основу психической субстанции любого человека.

«Бессознательное старше сознания. Это первичная данность, из которой сознание каждый раз возникает заново». Соответственно, сознание — «лишь вторичное явление, надстраивающееся над фундаментальной психической деятельностью, каковой является деятельность бессознательного». Считать, что жизненная установка человека определяется его сознанием, — ошибка: ведь «значительную часть нашей жизни мы проводим в сфере бессознательного; мы спим или грезим наяву... Во всех важных жизненных ситуациях наше сознание *зависит от бессознательного*»¹. В начале жизни человек пребывает в бессознательном состоянии и лишь затем вырастает до сознания. Если так называемое личностное бессознательное составляют «забытые, вытесненные, подавленные, воспринимаемые лишь „подпороговым образом“» содержательные элементы, источник которых — в жизни данной личности, то коллективное бессознательное не зависит от исторической эпохи, от влияний, обусловленных общественной или этнической принадлежностью, и представляет собой хранилище типичных, исконно присущих всем людям реакций на универсальные ситуации — такие, как тревога, угроза, борьба с превосходящей силой, отношения полов, отношения между детьми и родителями, ненависть и любовь, рождение и смерть, власть светлого и темного начал и т. п.

Одно из самых существенных свойств бессознательного состоит в том, что оно способно компенсировать реакции сознания. При нормальных условиях реакция сознания специфична для данной личности и адаптирована к *внешней* действительности; бессознательное же обеспечивает типическую реакцию, проистекающую из совокупного опыта человечества и гармонирующую с потребностями и закономерностями *внутренней* жизни человека. Таким образом, бессознательное дает человеку возможность принять такую установку, которая соответствовала бы конфигурации его психики в целом.

ФУНКЦИИ СОЗНАНИЯ

Прежде чем перейти к дальнейшему обсуждению бессознательного, посмотрим внимательнее к психологии и структуре сознания.

Для этой цели нам будет служить диаграмма 4. (Следует отметить, что для простоты во всех наших диаграммах в качестве модели использован *мыслящий тип личности* — то есть тот тип,

1 Kindertraumseminar (Семинар по детским сновидениям), 1938—1939.

который постигает внутренний и внешний мир преимущественно через мышление или интеллектуальное познание. При соответствующем сдвиге функций моделью может служить любой другой психологический тип.) Круг здесь вновь символизирует

Диаграмма 4



психическую целостность¹; четырем кардинальным точкам соответствуют четыре фундаментальные функции, присутствующие в конституции любого человека: *мышление*, *интуиция*, *чувство* и *ощущение*.

Под «психической функцией» Юнг понимает «форму психической деятельности, которая теоретически остается неизменной при различных обстоятельствах» и совершенно не зависит от своего содержания в каждый данный момент². С этой точки зрения существенно не то, *что* человек думает, а то, что постигая и разрабатывая содержательные элементы внешнего или внутреннего происхождения, он прибегает к помощи именно интеллектуальной функции (мышления), а не, скажем, интуиции. Здесь нас интересует прежде всего тип постижения и усвоения реалий психической жизни, независимо от их содержания. Мышление — это функция, стремящаяся постичь мир и приспособиться к нему путем интеллектуального познания, то есть путем логических умозаключений. Функция чувства постигает мир, оценивая явления с точки зрения того, приятны они или неприятны, приемлемы или неприемлемы. Обе эти функции

1 Под «целостностью» Юнг понимает нечто большее, нежели единство или неделимость. Этот термин указывает на интеграцию, объединение частей, творческий синтез, включающий в себя некую активную силу. Понятие «целостности» тождественно понятию «саморегулирующейся системы» (см. ниже).

2 Psychologische Typen, S. 590; Collected Works, vol. 6, par. 731.

считаются *рациональными*, поскольку связаны с оценками и суждениями: мышление оценивает вещи через познание, в терминах истинности и ложности, тогда как чувство — через эмоции, в терминах привлекательности и непривлекательности. В качестве установок, определяющих поведение человека, эти две фундаментальные функции в каждый данный момент времени исключают друг друга; господствует либо одна из них, либо другая. Не подлежит сомнению, например, что некоторые политики принимают решения, основываясь на чувствах, а не на разуме.

Две другие функции, ощущение и интуицию, Юнг называет *иррациональными*, так как они оперируют не оценками и суждениями, а простыми восприятиями, которые не оцениваются и не истолковываются. Ощущение воспринимает вещи такими, как есть. Иначе говоря, ощущение — это «функция действительного» (ср. распространенный во франкоязычной литературе термин «fonction du réel»). Интуиция также «воспринимает», но не столько благодаря осознаваемому чувственному механизму, сколько благодаря бессознательной способности «внутренне» схватывать возможности, имманентные природе вещей. Личность «ощущающего» типа, например, отметит все подробности какого-либо исторического события, но не обратит внимания на его контекст; личность же интуитивного типа не обратит особого внимания на подробности, но зато без труда сумеет распознать внутренний смысл происходящего, его возможные последствия и влияния. Другой пример: при виде прекрасного весеннего пейзажа личность ощущающего типа обратит внимание на все детали — цветы, деревья, оттенок неба и т. п., тогда как личность интуитивного типа отметит лишь общую атмосферу и колорит. Очевидно, что эти две функции так же полярно противоположны и взаимоисключающи, как и функции первой пары; они не могут действовать одновременно.

Эта попарная группировка взаимоисключающих функций соответствует наблюдаемым фактам (ведь Юнг был прежде всего эмпириком) и в то же время прямо вытекает из юнговской теории, которая, в свой черед, также основана на фактах. Так, невозможность совмещения двух фундаментальных «оценочных» функций — мышления и чувства — обуславливается тем, что к одной и той же вещи невозможно применить сразу две различные системы измерения.

Хотя в конституции любого человека присутствуют все четыре функции (что «позволяет нам ориентироваться в окружающем нас мире с той же полнотой, какой мы достигаем, определяя местоположение географической точки по широте и долготе»¹),

1 Seelenprobleme der Gegenwart. — Zürich, 1931, 5 Aufl. 1950, S. 125; Collected Works, vol. 6, par. 958.

опыт показывает, что в каждом отдельно взятом человеке доминирует одна из них. Эта доминирующая функция — вероятно, всякий раз предопределяемая особенностями конституции — развита и дифференцирована лучше других; «она играет господствующую роль в процессе адаптации и придает осознанной установке человека определенные направленность и качество»¹. Она всегда доступна осознанной воле индивида. Таким образом, психологический тип сводится к общему облику (*habitus*'у) психической субстанции, который может варьировать в сколь угодно широких пределах, в зависимости от социального, интеллектуального и культурного уровня индивида.

На диаграмме 4 показаны отношения между четырьмя психическими функциями. Верхняя половина диаграммы светлая, тогда как нижняя — темная; такое соотношение оттенков призвано показать, что *высшая*, преобладающая функция всецело принадлежит светлой, сознательной стороне, тогда как ее противоположность, которую мы называем *низшей* функцией, ограничена областью бессознательного. Две оставшиеся функции локализуются отчасти в сознательной, отчасти же — в бессознательной зоне²; это указывает, что вдобавок к главной функции личность обычно использует и вторую, *вспомогательную* функцию, которая также характеризуется относительно высоким уровнем дифференциации и определенной направленностью. Третья функция редко бывает доступна среднему человеку; четвертая, низшая функция, как правило, оказывается всецело вне сферы контроля со стороны его осознанной воли. Все это относится, конечно, только к таким людям, которые развиваются в соответствии с нормой, то есть наделены относительно «здоровой» психической субстанцией; если же психическая субстанция «расстроена» — как, например, у невротиков, — ситуация выглядит иначе. В подобных случаях развитие главной функции может тормозиться, а функция, которая в соответствии с конституцией человека должна была бы занимать второе или третье место, может в силу принуждения или упражнения «выталкиваться» на поверхность и водворяться на место главной. Другой фактор, влияющий на относительное развитие функций, — возраст индивида. Вообще говоря, все функции выстраиваются в должном порядке и достигают должной степени дифференциации к середине жизни (каковая у различных людей наступает, конечно же, в разное время).

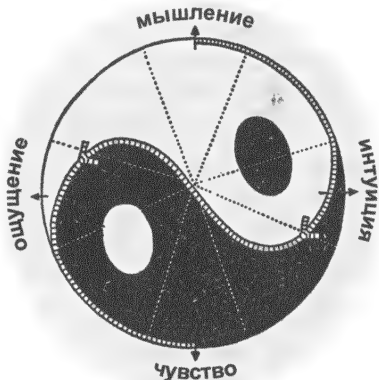
В китайском знаке «тай-цзи», воспроизведенном на диаграм-

1 Toni Wolff. Studien zu C. G. Jungs Psychologie. — Zürich, 1959, S. 92.

2 Эта диаграмма представляет собой всего лишь теоретическую модель; в действительности мы никогда не сталкиваемся со столь радикальной односторонностью развития функций.

ме 5, можно усмотреть интересную и, пожалуй, не совсем случайную аналогию относительной значимости и направленности функций. Пунктирная линия отмечает ход процесса дифференциации; «путь» следует не по периферии, а по внутренней

Диаграмма 5



линии, которая соответствует описанному выше соотношению функций. Знак «тай-цзи» — порождение внутреннего видения, один из исконных символов человечества. Он представляет дуализм света и тьмы, мужского и женского начал в их неделимом единстве¹. «Та же линия утверждает деление мира на верх и низ, левое и правое, переднее и заднее — одним словом, на пары противоположностей»². Путь, обозначенный стрелкой, не крестообразен (как можно было бы ожидать); он ведет от верхней точки вправо (два сегмента светлой части круга могут быть поняты как символическое изображение отца и сына), затем влево, в область, занятую темным (символ дочери), и в конце концов опускается в область четвертой функции, пребывающей всецело во тьме материнского лона, в бессознательном. Все это в полной мере согласуется с данными психологии функций. Дифференцированная и вспомогательная функции осознаны и имеют определенную направленность; часто — например, в снах — они представлены фигурами отца и сына или другими фигурами, символизирующими доминантный и ближайший к нему принципы сознания; две другие функции принадлежат в основном (или всецело) сфере бессознательного и, согласно тому же правилу, часто представлены матерью и дочерью. Но поскольку

- 1 В иконографии символов светлое обычно соответствует мужскому, а темное — женскому началу.
- 2 I Ging. Buch der Wandlungen, aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. — Jena, 1924, S. VIII.

противопоставление двух вспомогательных функций никогда не бывает столь резким, как противопоставление дифференцированной и низшей функций, третья функция также может быть выведена на уровень сознания и, следовательно, сделаться «мужской». При этом она вносит с собой момент «запятнанности» четвертой, низшей функцией, благодаря чему выполняет роль, так сказать, посредника между сознанием и бессознательным. Четвертая функция полностью вписана в бессознательное; если в силу обстоятельств ей приходится преодолеть порог сознания, она привносит нечто от бессознательного, то есть «вторгается» в область сознания своим недифференцированным содержанием. Возникает столкновение, в результате которого может произойти синтез содержания обеих сфер¹.

Почему же Юнг выбирает в качестве «фундаментальных» именно эти четыре функции? Он пишет: «Я не могу предъявить каких бы то ни было априорных резонов... я могу только сказать, что эта концепция сформировалась благодаря многолетнему опыту». Он различает эти четыре функции, так как они «не покрывают друг друга и не сводятся друг к другу»² и к тому же, согласно его наблюдениям, исчерпывают все существующие возможности³. И действительно, число «четыре» с незапамятных времен рассматривалось как выражение целостности, законченности, единства: достаточно вспомнить хотя бы четыре поля традиционной системы координат, четыре конца креста, четыре стороны света и т. д.

Если бы все четыре функции получили доступ к сознанию, круг стал бы целиком светлым, и мы могли бы говорить о «закругленном» (*runden*), то есть цельном (*vollkommenen*) человеке. Но подобный идеал существует лишь в теории; в реальной жизни возможна только та или иная мера приближения к нему. Никто не в силах до конца прояснить тьму внутри своего существа; достичь этого означало бы избавиться от последних «следов земного». В каждый данный момент в психической суб-

-
- 1 Сказанное относится к психической субстанции мужчины, чье бессознательное имеет женские признаки. В параллельном символическом представлении психической субстанции женщины третья и четвертая функции будут иметь мужские признаки и, ввиду своей принадлежности бессознательному, будут «темными», тем самым противореча обычной иконографии символов.
 - 2 *Psychologische Typen*, S. 590; *Collected Works*, vol. 6, par. 731.
 - 3 Многие психологи рассматривают в качестве одной из фундаментальных функций также и волю; но согласно Юнгу, воля — это свободно доступная психическая энергия, присутствующая во всех четырех фундаментальных функциях. Она может направляться сознанием. Размах и интенсивность так называемой силы воли определяются объемом сферы сознания и степенью ее внутренней дифференциации.

станции господствует одна из четырех функций; но по мере развития сознания личность может последовательно достигать все новых и новых степеней функциональной дифференциации, приближаясь таким образом к идеалу «округлости». Если человеку удалось добиться полного контроля над главной функцией и относительного контроля над вспомогательными функциями, если он хотя бы примерно представляет себе истинную природу четвертой, низшей функции и умеет более или менее уверенно предвидеть время и характер ее возможного выхода на поверхность психической жизни (а именно в этом состоит одна из идеальных целей анализа) — значит, он может вначале постичь предмет интеллектуально, затем интуитивно «уловить» его скрытые возможности, затем «ощупать» его с помощью функции ощущения и, наконец, примерно оценить его с точки зрения его привлекательности или непривлекательности¹.

Лишь редкие люди обладают ясным сознанием того, к какому именно функциональному типу они принадлежат — при том, что, вообще говоря, степень дифференцированности любой функции несложно «распознать, исходя из ее силы, устойчивости, постоянства и адаптированности»².

Низшая функция характеризуется ненадежностью, неспособностью противостоять влияниям, неустойчивостью и своеобразной «невоспитанностью». Юнг говорит о ней: «Это не вы держите ее под башмаком; это она владеет вами». Она действует автономно, всплывая из глубин бессознательного, когда этого хочется ей самой. Поскольку она не дифференцирована и всецело погружена в бессознательное, ей свойственны инфантилизм, инстинктивность, архаичность. Вот почему мы так часто видим, как примитивные, чисто импульсивные действия совершаются людьми, ни к чему подобному, казалось бы, не склонными.

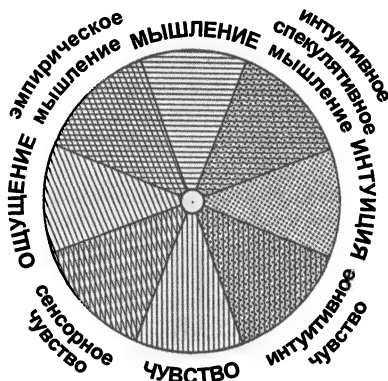
Нечего и говорить, что представленная здесь картина во многом умозрительна. В реальной жизни типы почти никогда не выступают в чистом виде; вместо этого, как показано на диаграмме 6, существует бесконечное множество смешанных форм. Например, Кант принадлежал к чисто мыслительному типу, тогда как Шопенгауэра следовало бы отнести к интуитивно-мыслительному типу. Во всех смешанных типах взаимодействуют только «смежные» функции; если в личности достаточно раз-

1 Напомним, что здесь, как и в других примерах, в качестве наиболее отчетливо дифференцированной (высшей) функции условно принимается мышление.

2 Ср.: *Seelenprobleme der Gegenwart*, S. 124; *Collected Works*, vol. 6, par. 956. Выводы о низшей функции иногда удается делать на основании типологических признаков тех людей, которых носитель этой функции видит в своих снах.

виты оба компонента, возникают сложности с ее функционально-типологической классификацией. Наши диаграммы показывают, что смешение противоположностей на двух альтернативных осях — то есть смешение мышления и чувства и смешение

Диаграмма 6



ощущения и интуиции — исключается; с другой стороны, эти противоположности всегда вступают друг с другом в отношения компенсации. Когда одна из функций — скажем, мышление у односторонне развитого интеллектуала — оказывается подчеркнута слишком сильно, противоположная функция (здесь — чувство, выступающее, конечно же, в качестве низшей функции), отвечает компенсаторными инстинктивными движениями. Совершенно неожиданно интеллектуала охватывают вспышки инфантильных чувств; его упорно преследуют фантазии и чисто инстинктивные сновидения, перед воздействием которых он бессилен. Аналогично, отодвинутая в тень функция ощущения, принимая форму странных, непонятных порывов, часто побуждает односторонне интуитивную личность считаться с суровой действительностью.

Комплементарное или компенсаторное соотношение между противоположными функциями — это структурный закон психической субстанции. С возрастом дифференциация высшей функции почти неизбежно принимает чрезмерную форму; это приводит к возникновению напряжений, весьма серьезно осложняющих жизнь во второй ее половине. Чрезмерная дифференциация порождает нарушение равновесия, что само по себе может причинить существенный вред.

ТИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Говоря о функциональном типе, к которому принадлежит данный индивид, мы указываем на некоторые черты его психологической конституции. Для полноценной характерологической классификации, однако, этого недостаточно. Кроме функционального типа, следует определить общую жизненную установку индивида, то есть типологию его реакций на события внутренней и внешней жизни. Юнг различает две такие установки: *экстравертную* и *интровертную*. Они влияют на психическую жизнь индивида в целом. Та или иная из этих ориентаций определяет нашу реакцию на объекты внешнего и внутреннего мира, природу наших субъективных переживаний и даже компенсаторное действие нашего бессознательного. Юнг называет эту типологическую характеристику «центральным пунктом управления, который заведует внешним поведением и формирует присущие личности переживания»¹.

Экстравертная установка характеризуется позитивным, тогда как интровертная — негативным отношением к объекту. Адаптируясь к окружающему, выбирая модель поведения, экстраверт ориентируется прежде всего на внешние, коллективные нормы, на дух времени и т. д. Что же касается интровертной установки, то она определяется преимущественно субъективными факторами. Часто интроверт бывает плохо приспособлен к своей среде. Экстраверт «мыслит, чувствует и действует, соотнося себя с объектом»; он переносит свой интерес с субъекта на объект и ориентируется прежде всего на внешний мир. Поэтому Юнг часто называет этот тип «ориентационным». Основой для интровертной ориентации служит субъект, в то время как объект играет в лучшем случае второстепенную, косвенную роль. В какую бы ситуацию он ни попал, его первый шаг — всегда отпрянуть («как бы с безгласным „нет“»²); лишь после этого «включается» его настоящая реакция.

Итак, если функциональный тип указывает на способ постижения и оформления материала, данного в опыте, то установка (экстравертного или интровертного типа) указывает на направленность «либидо», то есть, по Юнгу, психической энергии в самом общем смысле. Установка укоренена в биологической конституции и по сравнению с функциональным типом более отчетливо детерминирована от рождения. Правда, доминирующая функция также определяется конституционной предрасположенностью; но в ее случае тенденция, изначально заложенная в конституции, может изменяться или даже подавляться благодаря осознанному усилию. Что же касается изменения психоло-

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 116; Collected Works, vol. 6, par. 941.

2 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 115; Collected Works, vol. 6, par. 937.

гической установки, то оно может произойти только в результате «внутренней перестройки», модификации всей структуры психической субстанции — то есть либо вследствие ее спонтанной трансформации (которая опять же проистекает из биологических факторов), либо вследствие такого сложного и медленного психического процесса, как «анализ»¹.

Вторая и третья функции (вспомогательные) поддаются дифференциации легче, нежели четвертая, низшая функция, которая не просто диаметрально противоположна главной, но и совпадает со скрытым и, значит, не дифференцированным типом установки. Соответственно, интроверсия экстраверта с доминирующей функцией мышления бывает окрашена в цвета не столько интуиции или ощущения, сколько чувства.

Между экстра- и интроверсией также существует отношение компенсации: экстравертное сознание сочетается с интровертным бессознательным и наоборот. Это обстоятельство чрезвычайно важно для психологического понимания. В своем «Введении в фундаментальные принципы комплексной психологии»² Тони Вольф пишет: «Экстраверт обладает интровертным бессознательным, и именно ввиду своей неосознанности интровертная сторона его природы выступает в недифференцированной и навязчивой или инстинктивной форме. Поэтому всякий раз, когда такой бессознательный „двойник“ прорывается в сознание, субъективные факторы дают о себе знать с исключительной силой. Спокойный, благожелательный, живущий в мире со своим окружением человек на короткое время или на всю оставшуюся жизнь становится придирчивым, недоверчивым эгоцентриком, готовым заподозрить кого угодно в самых низменных мотивах. Он чувствует себя одиноким, непонятым, ощущает враждебные импульсы со всех сторон. Автоматический переход от сознательной установки к ее бессознательной противоположности часто выражается в том, что человек находит негативные стороны собственной природы в другом человеке — как правило, в представителе противоположного (в данном случае интровертного) психологического типа — или проецирует их на него. Конечно, на внешний объект при этом обрушивается град горьких и несправедливых упреков.

Если же противопоставленное сознательной установке бессознательное содержание вторгается в сферу сознания индивида интровертного типа, он превращается во „второсортного“,

- 1 Вопрос об отношении между биологически и психологически детерминированными расстройствами, а также о воздействии гормонов на психическую субстанцию рассматривается во множестве содержательных трудов (Штайнах [Steinach], Фрейд, Менг [Meng], фон Висс [von Wyss] и др.).
- 2 T. Wolff. Einführung in die Grundlagen der komplexen Psychologie, in: id. Studien zu C. G. Jungs Psychologie, S. 87.

плохо приспособленного к окружающему миру экстраверта. Внешний объект заслоняется проекциями субъективного материала и, таким образом, приобретает для него магический смысл». Здесь мы имеем дело с разновидностью так называемого «мистического соучастия» (франц.: *participation mystique*). Понятно, что нечто подобное особенно часто встречается в отношениях любви и ненависти, когда механизм проекции стимулируется сильным аффектом¹.

Осознанная установка теряет свое значение, когда односторонность почему-либо становится помехой для адаптации человека к реальности. В отношениях с объектом противоположного психологического типа, когда противоположности сталкиваются и в результате этого возникают недоразумения, человеку свойственно во всем винить другого — обладателя качеств, которых субъект у себя не обнаруживает, которые в нем не развиты, то есть присутствуют только в низшей, недифференцированной форме. Несоответствие психологических типов часто бывает психологической основой супружеских проблем, сложностей во взаимоотношениях между родителями и детьми, трений между друзьями и деловыми партнерами и даже политических расхождений. Во всех подобных случаях то, что неосознанно присутствует в психической субстанции субъекта, проецируется на объект; и пока субъект не распознаёт проецируемое содержание в себе самом, он неизбежно будет относиться к объекту как к козлу отпущения. Этическая задача сводится к тому, чтобы распознать в собственной психической субстанции признаки противоположной установки, структурно присутствующей в любом человеке. Принимая и развивая ее *сознательно*, индивид не просто достигает внутреннего равновесия, но и совершенствует свою способность понимать другого².

Как правило, противоположность осознанных и неосознанных функций и установок обостряется до степени конфликта только во второй половине жизни; по существу, такой конфликт указывает на возрастное изменение психологической ситуации. Часто случается, что где-то на пятом десятке человек, наделенный большими способностями и хорошо адаптированный к окружающему, вдруг обнаруживает, что, несмотря на его «блестящий ум», бремя домашних забот становится для него непосильным, он больше не соответствует своему общественному положению и т. п. Таким образом ему дается понять, что низшая

1 Согласно Юнгу, аффект «всегда появляется там, где не удается адаптация» (*Psychologische Typen*, S. 638; *Collected Works*, vol. 6, par. 808).

2 См. также прекрасное описание этих двух антитетических типов в работе Юнга *Über die Psychologie des Unbewussten*. — Zürich, 1942, 6 Aufl. 1948, S. 102 ff.; *Collected Works*, vol. 7, pp. 81 ff.

функция имеет свои права и что необходимо, наконец, повернуться к ней лицом. Именно с такой переориентации должен начинаться анализ в этом возрасте.

Здесь мы должны отметить еще одно, почти столь же распространенное в наши дни нарушение психического равновесия — недоразвитие, недостаточную дифференциацию всех четырех фундаментальных функций. Такое состояние характерно для психической субстанции ребенка, когда его «Я» еще не устоялось: ведь развитие «Я»-сознания — это медленный и трудный процесс сосредоточения и роста, идущий параллельно росту и укреплению основной функции. Этот процесс должен завершаться к концу отрочества; но у многих людей он и в более зрелом возрасте не выходит за пределы начальной стадии. Несмотря на годы, такие люди сохраняют инфантильные черты; их поведение и суждения отличаются неустойчивостью. Кажется, что в любой ситуации они силятся сделать выбор между двумя возможными типами психологических установок и четырьмя психологическими функциями. Такие личности легко внушаемы и крайне непостоянны; но ограждая себя от излишней восприимчивости, они могут прикрываться неподвижной условной маской, призванной заслонить недостаточный уровень развития психической субстанции. Опыт, однако же, показывает, что в критические моменты и в критических жизненных ситуациях психическая субстанция непременно обнаруживает свою незрелость; ясно, что это не может не привести к осложнениям. Недостаточное развитие функций так же вредно, как и односторонняя сверхдифференциация. В качестве примера можно привести широко распространенный тип нестареющего юноши, даже если он выступает в светлом, привлекательном облике «вечного дитяти» (*puer aeternus*). «Вечная юность», однако, в некоторых случаях может символизировать не просто фиксацию на ранней стадии — то есть отставание, — но и возможность дальнейшего роста, еще не раскрывшийся потенциал.

Важнейшая психологическая задача юности — осуществить дифференциацию и выделение той функции, которая, будучи глубже других укоренена в конституции личности, наилучшим образом позволит ей найти опору в мире и ответить на предъявляемые им требования. Лишь после выполнения этой задачи появляется возможность для дифференциации остальных функций: ведь пока человек не укоренил свое сознание в окружающем мире — что происходит по наступлении зрелости или даже позднее, после накопления определенного опыта, — ему не следует вступать в непосредственный контакт со своим бессознательным иначе как в случае абсолютной необходимости.

То же относится и к заложенному в конституции типу установки. В первой половине жизни лучше, если эта установка гос-

подстывает безраздельно: как правило, именно установка, данная от природы, позволяет человеку успешно найти свою дорогу в мире. Лишь во второй половине жизни возникает реальная необходимость в том, чтобы вторая, противоположная установка также проявила себя. Очевидно, врожденному экстраверту будет проще выполнить основную задачу первой половины жизни любого человека — задачу приспособления к окружающему, — чем врожденному интроверту. Можно утверждать, что экстраверт легче проходит первую половину жизни, тогда как интроверт — вторую: чаши весов более или менее уравновешены, и соблюдается относительная справедливость.

Обоим типам угрожает одна и та же опасность — одностороннее развитие. Человека иногда уносит настолько далеко в окружающий мир, что ему с большим трудом удастся найти дорогу домой. Его собственная внутренняя сущность становится для него чуждой. Он упорно бежит ее, пока, наконец, это не становится невыносимым. Бывает и так, что человек слишком полагается на свой разум, постоянно упражняя и упрочивая одну только мыслительную функцию, и в итоге осознает, что это привело его к отчуждению от живой сердцевины собственного бытия: функция чувства «подводит» его даже в общении с самыми близкими людьми. Односторонняя ориентация с годами создает сложности и для интровертов. Находящиеся в небрежении функции и оставшаяся невыявленной установка поднимают бунт; они требуют своего места под солнцем и, за неимением лучшего выхода, заставляют обратить на себя внимание посредством невроза. Цель любого развития состоит в достижении психической целостности, а идеальное решение заключается в том, чтобы по меньшей мере три из четырех функций и оба типа реакции в максимально возможной степени стали достоянием сознания. Личность должна хотя бы раз в жизни попытаться приблизиться к этому идеалу; она должна также постараться хотя бы что-то узнать о своей четвертой функции и об исходящих от нее опасностях. Если личности не пришлось ответить на вызов в более раннем возрасте, ей остается сделать это только в середине жизни — иначе ее психическая субстанция встретит старость, так и оставшись незавершенной, недостаточно «округлой».

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ

Как мы убедились, человек редко осознает свою принадлежность к тому или иному из четырех известных функциональных типов. То же относится и к типу общепсихологической установки. Часто ее бывает очень нелегко

распознать; требуется серьезное психологическое исследование, чтобы освободить психическую субстанцию от той пестрой внешней оболочки, которая заслоняет ее истинную природу от наблюдателя. Решить эту задачу тем труднее, чем прочнее естественная связь индивида с бессознательным. Это относится в особенности к художественным натурам. Творческим людям свойственна сильно выраженная естественная связь с бессознательным; поэтому они трудно поддаются типологической классификации — тем более, что художника, вообще говоря, нельзя автоматически отождествлять с его творчеством. Часто художник может быть экстравертом в жизни и интровертом в творчестве или наоборот. Закон психической дополнительности применим в особенности к тем людям искусства, чье творчество отражает комплементарный аспект их существа — ведь такие художники в своем творчестве представляют то, чем на самом деле не являются. С другой стороны, подобное типологическое раздвоение обычно не возникает у художников, чье творчество выражает не их «другой», не выявленный в реальной жизни аспект, а «сублимацию» их сознательной личности — некий интенсифицированный и идеализированный автопортрет. К этой последней категории относятся интроверты, пишущие утонченные психологические романы о самих себе, равно как и экстраверты, делающие себя героями приключенческих повестей. Согласно Юнгу, экстравертное искусство проистекает из переработки художником опыта его внешней жизни, тогда как интровертное искусство создается художником, которого переполняет внутреннее содержание.

Творческий процесс — это прежде всего активизация покоящихся в сфере бессознательного вечных символов человечества и их преобразование в завершенное произведение искусства. По словам Юнга, «говорящий на языке исконных образов (Urbilder) говорит великим множеством голосов; он покоряет и потрясает, и в то же время извлекает описываемое из области случайного и преходящего и возвышает его до уровня вечного. Он преобразует нашу личную судьбу в судьбу общечеловеческую, тем самым пробуждая в нас все те благодатные силы, которые всегда помогали человечеству преодолевать опасности и выдерживать даже самые долгие ночи... Именно здесь кроется тайна воздействия великого искусства»¹.

Говоря о творчестве, Юнг большое значение придает фантазии, которую он даже выделяет в особую категорию: по его мнению, фантазия, не подчиняясь ни одной из четырех фундаментальных функций, принимает участие в каждой из них. Он отвергает расхожее представление, будто художественное вдохно-

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 62 f.; Collected Works, vol. 15, pars. 129 f.

вание свойственно только интуитивному типу, а во всех художественных натурах доминирует функция интуиции. Фантазия — источник любого творческого вдохновения, и этот дар доступен людям всех четырех функциональных типов. Фантазия — не синоним «активного воображения», которое выводит образы коллективного бессознательного в сферу сознания, активизирует и фиксирует их; она не должна отождествляться и с интуицией как определенным способом постижения психического содержания, то есть одной из функций сознания. Функциональный тип определяется тем, как человек воспринимает и разрабатывает собственные интуиции и порождения творческой фантазии.

Итак, произведение искусства всем своим содержанием может свидетельствовать о совершенно ином психологическом типе, нежели тот, к которому принадлежит его творец. Типологические выводы о художнике делаются не только на основании содержания его творчества, но и на основании того, каким именно образом разрабатывается это содержание. Конечно, в основе своей фантазия художника не отличается от фантазии обычного человека; но помимо богатства, оригинальности и силы воображения художник определяется наличием формирующей способности, благодаря которой порождения его фантазии преобразуются в органичное, эстетически значимое целое.

Часто приходится слышать об опасностях, с которыми сопряжено внимание художника к сфере бессознательного. По Юнгу, очень многие художники бегут психологии, «потому что страшатся, как бы это чудовище не пожрало их так называемый творческий дар. Но ведь даже целая армия психологов не в состоянии что-либо поделать с тем, что исходит от Бога! Истинная творческая продуктивность — это неиссякаемый родник. Ничто на свете не могло бы заставить Моцарта или Бетховена отказать от творчества. Творческий дар могущественнее своего обладателя. Если это не так, значит, сам дар незначителен; при благоприятных условиях он способен стать питательной средой для развития симпатичного таланта, но не более того. Если же это невроз, бывает достаточно слова или взгляда, чтобы иллюзия испарилась в одно мгновение. Тогда поэт больше не может сочинять стихи, а живописца начинают посещать одни только скучные идеи. И во всем этом винят психологию. Я был бы счастлив, если бы знание психологии сумело оказать благотворное действие и покончило с невротичностью, сообщающей современному искусству столь непривлекательный облик. Болезнь не способствует творческой деятельности; напротив, она служит самым страшным препятствием для творчества. Устранение факторов, угнетающих психическую жизнь, ни в коем случае не

может повредить истинному творческому дару — точно так же, как анализ никогда не исчерпает бессознательного»¹.

Другая распространенная ошибка заключается в предположении, будто создавая законченное, совершенное произведение искусства, художник тем самым совершенствует сам себя. Для того, чтобы извлечь из «общения с бессознательным» реальную пользу для психической дифференциации, чтобы достичь желаемого уровня развития личности, человек должен лично пережить и понять образы, символы и видения, которые являются ему из глубин его психической субстанции; человек должен ассимилировать и интегрировать их *активно* или, по выражению самого Юнга, «взглянуть на собственные видения в упор, проявляя абсолютно осознанные активность и реактивность»². Но художник часто относится к образам бессознательного пассивно: он наблюдает за ними, воспроизводит их, в лучшем случае позволяет, чтобы они *сами* воздействовали на него. Такой опыт может иметь художественную ценность, но с психологической точки зрения он неполноценен. Лишь у очень немногих, самых великих художников развитие личности и творчества проходило одинаково интенсивно. Лишь очень немногим хватило силы, чтобы достичь одинакового совершенства как во внутренней, так и во внешней работе. Ведь «великие дары — это самые прекрасные, но часто и самые опасные плоды на древе человеческом. Они висят на самых хилых ветвях, которые часто обламываются»³.

Экстравертная или интровертная установка обычно сохраняется в течение всей жизни индивида. Но иногда установки могут сменять друг друга. Некоторые периоды в жизни не только отдельной личности, но иногда и целых народов могут характеризоваться преобладанием экстра- или интроверсии. Обычно в период наступления половой зрелости на первый план выступает экстраверсия, а в период климакса — интроверсия; в Средние века преобладала интроверсия, а в эпоху Возрождения — экстраверсия; англичане в массе своей более интровертны, чем американцы и т. д. Предпочитать одну из установок другой бессмысленно (впрочем, надо сказать, что эта ошибка является довольно распространенной). Каждая из альтернативных установок имеет свое оправдание и свое место в жизни; каждая из них вносит свой вклад в целостную картину мира. Тот, кто не способен этого понять, является слепой жертвой одной из двух крайностей.

1 Psychologie und Erziehung, S. 92; Collected Works, vol. 17, p. 115.

2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten. — Zürich, 1928, 5 Aufl. 1950, S. 161; Collected Works, vol. 7, par. 342.

3 Psychologie und Erziehung, S. 195; Collected Works, vol. 17, p. 141.

Сочетая два типа общепсихологической установки с четырьмя фундаментальными функциями, мы получаем восемь различных психологических типов: экстравертный мыслящий тип, интровертный мыслящий тип, экстравертный чувствующий тип, интровертный чувствующий тип и т. п. Эта классификация типов образует нечто вроде компаса, с помощью которого мы можем ориентироваться в структуре психической субстанции. Чтобы получить схематическую картину личности в соответствии с юнговской теорией типов, мы должны рассматривать соотношение интроверсии/экстраверсии как третью ось, перпендикулярную двум скрещенным осям четырех функциональных типов; последовательно связывая четыре типические функции с двумя типическими установками, мы получим конфигурацию с восемью детерминантами. И действительно, идея «четверицы» часто выражается как $4 \times 2 = 8$ (октоада, Ogdoas).

МАСКА

Мера дифференциации (или сверхдифференциации) сознания во многом определяет ту общую установку личности по отношению к внешнему миру, которую Юнг именует *маской* (Persona). На диаграмме 7 показано, как система психических отношений, обеспечивающих контакт человека со средой, создает заслон между «Я» и объективным миром. Здесь, как и на других диаграммах, в качестве основной функции выступает мышление; именно оно почти полностью подчиняет себе этот заслон, то есть маску. Вспомогательные функции играют в формировании маски скромную роль; что же касается низшей функции (в данном случае чувства), то ее значение, можно сказать, равно нулю. По существу, маска — это та часть «Я», которая обращена к внешнему миру. Юнг определяет ее следующим образом: «Маска — это функциональный комплекс, возникающий для удовлетворения потребности в адаптации или для обеспечения некоторых других удобств, но отнюдь не идентичный личности как таковой. Функциональный комплекс маски относится всецело к области субъектно-объектных отношений»¹ — иными словами, к области отношений личности с внешним миром. «Маска... — это компромисс между личностью и обществом, определяющий, чем именно человек должен казаться»². Иными словами, это компромисс между требованиями среды и внутренней структурной потребностью индивида.

1 Psychologische Typen, S. 651; Collected Works, vol. 6, par. 801.

2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 64; Collected Works, vol. 7, par. 246.

Для того, чтобы маска функционировала нормально, должны учитываться три фактора: во-первых, идеал собственного «Я» или его желаемый образ, который каждый человек носит в себе и в соответствии с которым он хотел бы моделировать свою

Диаграмма 7



«Я» и маска в отношении к четырем функциональным типам

природу и свое поведение; во-вторых, господствующие в обществе воззрения на то, какой человек может считаться «приемлемым»; наконец, в-третьих — более или менее случайные физические и психические обстоятельства, ограничивающие возможности реализации идеалов. Стоит одному или двум из этих факторов выпасть из поля зрения — что случается не так уж редко, — как маска перестает выполнять свою функцию; она уже не столько способствует развитию личности, сколько тормозит его. Маска, состоящая исключительно из признаков, одобряемых коллективом, — это маска человека толпы; с другой стороны, человек, принимающий во внимание только желанный образ собственного «Я» и пренебрегающий двумя другими факторами, надевает на себя маску эксцентрической личности или даже бунтаря. Таким образом, маска включает в себя не только определенные психические качества, но и формы социального поведения и привычки, относящиеся к внешнему виду человека, его осанке, походке, манере одеваться, мимике, даже к таким мелочам, как прическа.

У личности, находящейся в согласии как со средой, так и с собственной внутренней жизнью, маска — это не более чем тонкая защитная оболочка, содействующая ее ровным, естественным отношениям с окружающим миром. Но когда сокрытие личностью своей истинной природы становится достаточно вы-

годным, в маске проступает нечто механическое. Это по-своему небезопасно: маска застывает, и собственно человек за ней, так сказать, сходит на нет¹. «Отождествление с собственной должностью или титулом, конечно же, очень соблазнительно, и как раз поэтому столь многие люди без остатка сводятся к очевидной для окружающих, внешне привлекательной оболочке. Но напрасно было бы искать за этой шелухой живую личность; в действительности за ней кроется ничтожное, мелкое существо. Вот почему должность — или какая угодно иная эфемерная оболочка — так привлекательна»²: ведь она обеспечивает дешевый способ компенсации личной недостаточности. Каждый из нас знает профессоров, чья личность всецело исчерпывается их «профессорством»: за такой маской нет ничего реального, кроме раздражительности и инфантилизма. Таким образом, несмотря на свой привычный и, значит, во многом автоматический способ функционирования маска никогда не должна становиться непроницаемой до такой степени, чтобы человек со стороны не смог догадаться, какие именно черты характера она скрывает. Она не должна также «прирастать» к своему обладателю настолько прочно, чтобы ее при случае нельзя было снять. В норме сознание умеет свободно распоряжаться правильно функционирующей маской, адаптируя ее к потребностям момента и даже, при необходимости, меняя одну маску на другую. Хорошо приспособленный к среде человек не станет участвовать в свадебном торжестве, вести переговоры с налоговым инспектором и председательствовать на собрании в одной и той же маске. Чтобы уметь менять маски, нужно их осознавать, а это, конечно же, возможно только при условии, что они связаны с главной функцией сознания данного человека.

К сожалению, так происходит далеко не всегда. Для адаптации к окружающей среде часто прибегают не к высшей — как это по идее должно быть, — а к низшей психической функции. Это может навязываться человеку его родителями или традицией. С течением времени неизбежно возникают серьезные осложнения. Подобное насилие над естественной психической конституцией приводит к своего рода «принудительности», а иногда и к настоящему неврозу. В таких случаях маска неизбежно принимает на себя все недостатки низшей, недифференцированной функции. Люди этого типа, в общем, скорее малосимпатичны и часто производят обманчивое впечатление на тех,

-
- 1 Ср. тонкое эссе Шопенгауэра «Von dem, was Einer ist und dem, was Einer vorstellt» («О различии между „быть“ и „казаться“»), в «Афоризмах житейской мудрости» («Aphorismen zur Lebensweisheit», II, IV).
 - 2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 42; Collected Works, vol. 7, par. 230.

кто недостаточно искушен в психологии. Их поведению присуще нечто фальшивое и механическое. Кому-то из них «никогда не везет», другой — вечный «слон в посудной лавке», неуклюжее существо, лишенное того естественного чутья, которое должно определять подходящие формы поведения.

Нельзя сказать, чтобы такая небезопасная (поскольку грозящая психической инфляцией) привлекательность была свойственна только социально значимым титулам, почестям и другим атрибутам *коллективного* сознания¹. За пределами нашего «Я» есть не только коллективное сознание, но и коллективное бессознательное, то есть наши собственные глубины, в которых таятся не менее привлекательные образы. В первом случае человек может быть «вытолкнут» в мир собственным официальным положением, тогда как во втором случае — «вытянут» из мира, то есть поглощен коллективным бессознательным. Отождествляя себя с образами, порожденными глубинами его существа, он оказывается захвачен иллюзорными представлениями о собственном величии или ничтожестве. Он воображает себя героем, спасителем человечества, мстителем, мучеником, парией и т. д. Опасность подпасть под власть этих «внутренних образов» возрастает по мере того, как маска «каменеет» и все больше идентифицируется с «Я»: ведь при этом все внутренние элементы личности пребывают в подавленном, вытесненном, недифференцированном состоянии и несут в себе угрожающую динамику.

Итак, подходящая и хорошо функционирующая маска существенно важна для психического здоровья личности и совершенно необходима для того, чтобы личность могла соответствовать требованиям, предъявляемым ей окружающей средой. Подобно тому, как здоровая мягкость кожи способствует нормальному течению метаболизма под ее поверхностью, а дряблая, огрубевшая кожа нарушает правильность соматических процессов, «полнокровная» маска служит эффективным регулятором обмена между внутренним и внешним мирами, но при утрате эластичности и проницаемости становится обузой или

1 Под «коллективным сознанием» мы понимаем совокупность традиций, условностей, обычаев, предрассудков, правил и норм коллективной жизни, сообщающую сознанию целой группы определенную направленность и позволяющую представителям группы вести хотя и осознанное, но совершенно лишенное рефлексии существование. Юнговское понятие «коллективного сознания» отчасти совпадает с фрейдовским «сверх-Я», но в отличие от последнего включает не только «интериоризированные» положительные и отрицательные императивы, действующие изнутри психической субстанции, но и те императивы, которые непрерывно поступают извне, влияя на действие и бездействие, на чувства и мысли каждого человека.

препятствием. Длительное отождествление с маской — особенно если установка не соответствует истинному «Я» — к середине жизни непременно приводит к нарушениям, которые способны вырасти до масштабов серьезного психологического кризиса или даже психического расстройства.

СОДЕРЖАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

СКак мы уже видели, *бессознательное* состоит из двух зон: *зоны личностного бессознательного* и *зоны коллективного бессознательного*¹ (диаграмма 8).

Как уже было сказано, личностное бессознательное состоит из разнообразнейшего «забытого, подавленного, воспринимаемого лишь „подпороговым образом“» материала². Коллективное бессознательное также делится на зоны, которые условно можно считать расположенными друг над другом — хотя на самом деле сознание со всех сторон *окружено бессознательным*. Юнг даже говорит: «Как показывает мой опыт, сознательная составляющая психической субстанции может притязать лишь на *относительно* центральное положение и должна смириться с тем, что бессознательное превышает и как бы окружает ее *со всех сторон*. Содержание бессознательного связывает разум с *тыла* — с физиологическими состояниями и архетипами; но оно же продвигает его *вперед* с помощью интуиции»³. Здесь мы, однако,

-
- 1 Эту попытку разделить бессознательную составляющую психической субстанции на «зоны» конечно же следует воспринимать всего лишь как рабочую гипотезу, призванную помочь нам разобраться в сложнейшем материале бессознательного и должным образом сгруппировать его.
 - 2 Понятия «предсознательного» и «подсознательного», все еще широко отождествляемые с личностным или коллективным бессознательным (что является источником многочисленных недоразумений), в действительности покрывают лишь часть сферы бессознательного. «Предсознательное» (Vorbewusstsein) — это термин, введенный Фрейдом и обозначающий, так сказать, пограничную область личностного бессознательного, сферу подпорогового содержания, которое «готово к действию» и лишь ждет соответствующего сигнала, чтобы перейти в сферу сознания. Словом «подсознательное» (Unterbewusstsein, термин был введен Дессуаром [Dessoir]) обозначается то, что происходит между сознанием и бессознательным (некоторые состояния транса, а также неподконтрольные памяти, непреднамеренные или не замечаемые действия). «Подсознательное» сопоставимо с личностным, но не коллективным бессознательным (содержимое последнего выходит за рамки личного опыта). Рассматривая эти понятия в топографических терминах, мы могли бы сказать, что «предсознательное» занимает верхнюю, пограничную с сознанием зону личностного бессознательного, тогда как «подсознательное» — нижнюю зону, граничащую с коллективным бессознательным.
 - 3 Psychologie und Alchemie, S. 193 f.; Collected Works, vol. 12, par. 175.

будем придерживаться концепции слоев, которая имеет то достоинство, что ее легче представить зрительно; тогда в качестве верхней зоны нам следует принять область аффектов и примитивных инстинктов, иногда доступных частичному контролю с нашей стороны. Следующая зона включает содержательные

Диаграмма 8



- Сфера бессознательного:
- I – содержание памяти
 - II – вытесненный материал
 - III – эмоции
 - IV – прорывающееся содержание
 - V – часть коллективного бессознательного, которая никогда не может быть осознана
- } личностное бессознательное

элементы, которые со стихийной силой, подобно каким-то чуждым телам, извергаются прямо из глубинного, темного центра бессознательного и никогда не могут быть полностью осознаны и ассимилированы нашим «Я». Будучи совершенно автономными, они обеспечивают материал не только для неврозов и психозов, но и для многих видений и фантазий творческих людей.

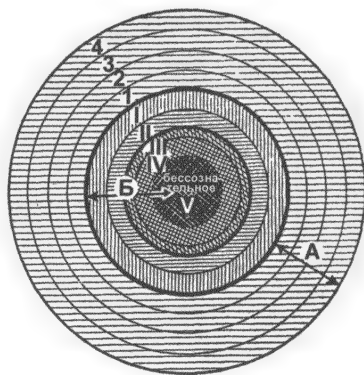
Дифференциация различных зон и элементов их содержания часто наталкивается на существенные трудности. Обычно нам приходится иметь дело со смешанным материалом¹. Не следует понимать сознание как «ближнее», а бессознательное — как «дальнее». «Психическую субстанцию следует считать скорее сознательно-бессознательным целым с зыбкими границами между этими двумя сферами»².

1 На наших диаграммах зоны отделяются друг от друга линиями только ради наглядности.

2 Von den Wurzeln des Bewusstseins. — Zürich, 1954, VII, S. 557; Collected Works, vol. 8, p. 200.

На диаграммах 9 и 10 показана структура целостной психической системы личности. Нижний круг (на диаграмме 9 — внутренний круг) — самый обширный. Каждый последующий круг меньше предыдущего. Вершина и кульминация — это «Я». На диаграмме 11 показано своего рода генеалогическое древо психической субстанции — филогенетическое дополнение к

Диаграмма 9



А — сознание
1 — ощущение
2 — чувство
3 — интуиция
4 — мышление

Б — бессознательное
I — содержание памяти
II — вытесненный материал
III — эмоции
IV — прорывающееся содержание
V — часть коллективного бессознательного, которая никогда не может быть осознана

представленной выше онтогенетической картине. В самом низу локализуется область непостижимого, «центральная энергия»¹, тот источник, к которому в конечном счете восходит психическая субстанция отдельно взятой личности. Центральная энергия пронизывает собой все последующие уровни дифференциации; она живет во всех этих уровнях и, проходя сквозь них, достигает уровня индивидуальной души. Это единственный фактор, который остается неизменным на всех «этажах» структуры. Непосредственно над «недостижимым дном» находится хранилище опыта всех наших предков-животных, а еще выше — хранилище опыта наших древнейших предков-людей. С каждым

1 «Центральная энергия» должна трактоваться не как метафизическое понятие, а как эвристический термин, относящийся к эмпирическим опытным данным.

новым сегментом достигается очередной уровень дифференциации коллективной психической субстанции; наконец, в результате развития от этнических групп к национальным и, далее, от рода к семье завоевывается вершина — неповторимая психичес-

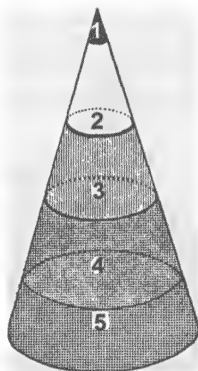


Диаграмма 10

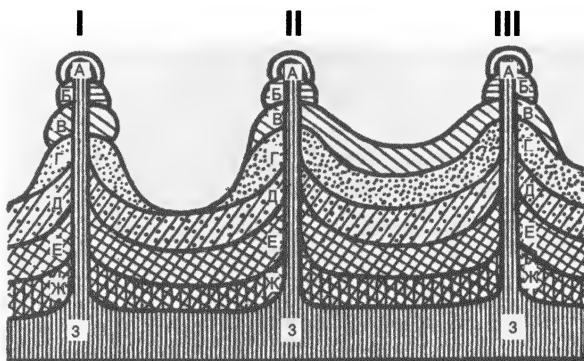
- 1 – «Я»
- 2 – сознание
- 3 – личностное бессознательное
- 4 – коллективное бессознательное
- 5 – часть коллективного бессознательного, которая не может быть осознана

кая субстанция индивида. Как говорит Юнг, «коллективное бессознательное содержит все духовное наследие человечества, каждый раз рождающееся заново в структуре мозга отдельного человека».

В противоположность личностному бессознательному, которое, будучи хранилищем вытесненного материала, пополняется в течение всей жизни индивида, коллективное бессознательное состоит только из элементов, присущих человеческому роду в целом. Основываясь на удобной рабочей гипотезе, Юнг пришел к дифференциации разнообразных элементов, перемешанных в бессознательном. Он, так сказать, разъял содержание бессознательного на части; в результате стала ясна его по существу неомогенная природа. Элементы, относящиеся к коллективному бессознательному — это сверхличностная основа как личностного бессознательного, так и сознания; сама по себе она во всех отношениях «нейтральна», а для выявления значимости и позиции отдельных ее элементов необходимо, чтобы они вступили в контакт с сознанием. Коллективное бессознательное непрони-

цаемо для критической и упорядочивающей деятельности сознания; в нем мы слышим голос первобытной, неискаженной природы, и поэтому Юнг называет его *объективной* психической субстанцией. Сознание всегда направлено на приспособле-

Диаграмма 11



- I – отдельные нации
- II, III – группы наций (например, Европа)
- A – личность
- B – семья
- V – племя
- G – нация
- D – этническая группа
- E – первобытные предки
- Ж – животные предки
- З – центральная энергия

ние «Я» к среде. Что же касается бессознательного, то оно «безразлично к *эгоцентрическому* целеполаганию и приобщено к сверхличностной *природной* объективности»¹, чья единственная цель — сохранить непрерывность психического процесса и тем самым выполнить роль противовеса любой односторонности, которая могла бы привести к изоляции, торможению или другим болезненным явлениям. В то же самое время коллективное бессознательное действует — как правило, недоступными нашему пониманию способами — в своих собственных целях, стремясь к достижению целостности и единства психической субстанции.

До сих пор мы говорили о структуре и функционировании сознания, о его внешних, доступных наблюдению проявлениях

1 T. Wolff. Studien, S. 109.

и реакциях. Мы говорили также о структурных «этажах» бессознательного. В связи со всем сказанным возникает вопрос: можно ли говорить о структуре или морфологии бессознательного, и если да, то что мы об этом знаем? Можно ли получить какие-либо сведения о том, что остается «неизвестным» сознанию? Наш ответ на данный вопрос положителен — но с учетом того обстоятельства, что искомые сведения получается косвенным путем, то есть *только* благодаря симптомам и комплексам, образам и символам, обнаруживаемым в снах, фантазиях и видениях¹.

КОМПЛЕКСЫ

В плоскости сознания легче всего обнаруживаются такие явления, как *симптомы* и *комплексы*. Симптом можно определить как физический или психический показатель того, что на пути нормального энергетического потока возникла какая-то преграда. Симптом — это «сигнал опасности, указывающий, что в сознательной установке есть что-то аномальное или неадекватное, и для его устранения желательно расширение сферы сознания»². Иными словами, преграда должна быть снята — пусть даже а priori не известно, где она находится и как до нее добраться.

Юнг определяет комплексы как «психические единства, ускользнувшие из-под контроля сознания и отколовшиеся от него, дабы вести независимое существование в темных сферах психической субстанции; отсюда они могут в любое время либо тормозить активность сознания, либо способствовать ей»³. Комплекс состоит, во-первых, из «ядерного элемента» — носителя смысла, который обычно бывает неосознанным и автономным и, следовательно, не подчиняется контролю со стороны субъекта — и, во-вторых, из связанных с ним и окрашенных в тот же эмоциональный оттенок ассоциаций; последние, в свой черед, черпают свое содержание отчасти из исходной предрасположенности личности, отчасти же — из внешнего опыта⁴.

1 Здесь можно усмотреть сходство с гипотезами физики. Волны и атомы недоступны нашему непосредственному восприятию; вывод об их существовании мы делаем только исходя из наблюдаемых явлений. Последние составляют фундамент гипотез, с помощью которых мы пытаемся связно и логично объяснить наблюдаемые факты.

2 T. Wolff. Studien, S. 101.

3 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 107; Collected Works, vol. 6, par. 923.

4 Подробное определение и описание понятия «комплекс» и двух важнейших связанных с ним понятий — «архетип» и «символ» — можно найти в моей работе: J. Jacobi. Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie von C. G. Jung. — Zürich, 1957, S. 7 ff.

«Ядерный элемент наделен объединяющей и формирующей способностью, которая пропорциональна его энергетической значимости»¹. С точки зрения как отдельной личности, так и филогенеза человека это своего рода «невралгическая точка», центр функционального расстройства, которое в некоторых внешних и внутренних ситуациях становится, так сказать, «за-разным», может полностью нарушить психическое равновесие и подчинить своему контролю личность в целом.

На диаграмме 12 показан процесс развития комплекса². Под давлением последнего порог сознания как бы прогибается, позволяя бессознательному вторгнуться в сферу сознания. Вместе с этим понижением порога (в терминологии Пьера Жане [Janet] — «понижением уровня рассудка», франц.: *l'abaissement du niveau mental*) сознание утрачивает часть своей активной энергии, и человек становится пассивной жертвой «припадка»³. Нарастающий таким образом комплекс действует как некое инородное для сознания тело. Он представляет собой самодовлеющее целое. Обычно он выражается в форме аномальной психической ситуации, окрашенной в интенсивные эмоциональные тона и несовместимой с обычной сознательной ситуацией или установкой. Чаще всего комплексы возникают вследствие моральных — но вовсе не обязательно сексуальных — конфликтов. «Комплекс... обладает энергетической значимостью, часто превосходящей таковую наших осознанных намерений»⁴.

Комплексы присущи всем людям. Как убедительно показано в «Психопатологии обыденной жизни» Фрейда (впервые опубликованной в 1904 году), это подтверждается всякого рода промахами, случайными ошибками, описками и т. п. Наличие комплексов само по себе вовсе не означает, что их обладатель в каком-либо отношении неполноценен; оно лишь указывает на существование «чего-то несовместимого, неассимилированного и пребывающего в состоянии борьбы [с сознательной частью психической субстанции] — то ли препятствия, то ли стимула к новым достижениям. Следовательно, комплексы в указанном смысле — это узловые точки психической жизни, от которых нам вовсе не обязательно избавляться. Без комплексов психическая деятельность неизбежно пришла бы к фатальному за-

1 Über psychische Energetik. — Zürich, 1948, S. 22; Collected Works, vol. 8, p. 12.

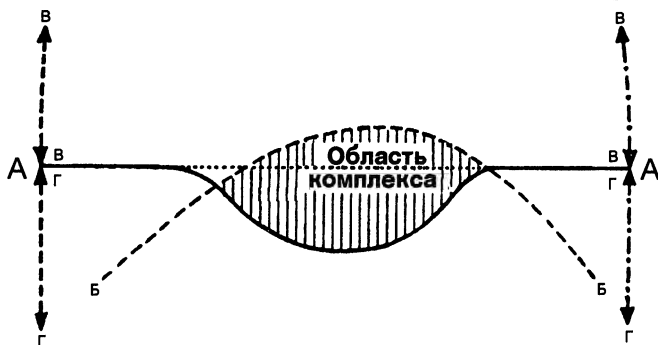
2 Эта диаграмма заимствована из английского отчета о лекциях, прочитанных Юнгом в Цюрихской Конфедеративной высшей технической школе в 1934—1935 гг.

3 То же может относиться и к человеческим сообществам. Проявления этого процесса в нацистской Германии описаны в интересной книге: H. G. Baynes. Germany Possessed. — London, 1941.

4 Über psychische Energetik, II, S. 128; Collected Works, vol. 8, p. 96.

стою». Имея в виду их «размах» и энергетический заряд или ту роль, которую они играют в психической «экономии», мы можем говорить о «здоровых» или «болезненных» комплексах; лишь от состояния сознания, от степени относительной ста-

Диаграмма 12



- АА — порог сознания, разорванный на участке, соответствующем пунктирной линии
- ББ — путь нарастающего комплекса
- ВВ — сфера сознания
- ГГ — сфера бессознательного

бильности «Я» зависит, в какой мере возможна их осознанная «обработка» и будет ли в конечном счете их воздействие позитивным или негативным. Но, так или иначе, комплексы всегда отмечают момент некоей «незавершенности» личности или, как говорит Юнг, ее «слабости — в любом смысле этого слова».

Своим происхождением комплекс часто бывает обязан так называемой «травме», эмоциональному шоку или иному событию, вследствие которого фрагмент психической субстанции как бы «изолируется» или «откалывается» от нее. По мнению Юнга, комплекс может возникнуть как из недавнего или все еще незавершившегося конфликта, так и из события, происшедшего в детстве. Как бы там ни было, исходная причина комплекса состоит обычно в том, что личность не имеет возможности утвердить свою целостность.

Лишь в рамках психотерапии можно показать действительное значение комплекса для психической жизни личности и освободить последнюю от его вредоносного воздействия. Что же касается реальной глубины комплекса и его эмоциональной окраски, то они могут быть определены на основании ассоциативного метода, разработанного Юнгом в начале нашего сто-

летия. Этот метод состоит в том, что в присутствии субъекта подряд произносят сто специально отобранных «слов-стимулов» (Reizwörter), на каждое из которых он должен сразу ответить одним «словом-реакцией» (Reaktionswort). По прошествии определенного времени субъект, в порядке контроля, должен воспроизвести все свои словесные реакции по памяти. Обнаружилось, что время, необходимое для реакции, отсутствие воспроизведения или ошибка в воспроизведении и другие симптоматические формы реакции определяются отношением слова-стимула к комплексу, свойственному данной личности. Психический механизм с ювелирной точностью указывает на те точки психической субстанции, которые, так сказать, отягощены комплексом.

Юнг разрабатывал ассоциативный метод с исключительной тщательностью, принимая во внимание самые разнородные точки зрения и возможности. В качестве учебного и диагностического средства ассоциативный метод принес психотерапии существенную пользу; он доныне используется в психиатрической практике, в учебных курсах по клинической психологии, даже в судебной экспертизе. Термин «комплекс» своим происхождением обязан Юнгу. Именно Юнг в своих «Исследованиях по ассоциативной диагностике» (Diagnostische Assoziationsstudien, 1904—1906) для обозначения определенных «эмоционально окрашенных идей из области бессознательного» ввел термин «эмоционально окрашенный комплекс» (gefühlbetonter Komplex). Впоследствии укрепился сокращенный вариант термина — «комплекс»¹.



РХЕТИПЫ

Анализируя сны, фантазии и видения, мы однозначно заключаем, что все эти феномены в значительной мере трансцендентны личностной сфере и содержат элементы коллективного бессознательного. Мифологические мотивы, общечеловеческие символы, чрезвычайно интенсивные реакции свидетельствуют об участии в нашей психической жизни глубочайших слоев психической субстанции. Мотивы и символы, о которых здесь идет речь, оказывают решающее влияние на психическую жизнь в целом; они играют функционально первостепенную роль и характеризуются огромным энергетическим зарядом, в связи с чем Юнг поначалу говорил о них как о «первообразах» (Urbilder или, вслед за П. Буркхардтом, urtüm-

1 Следует отметить, что еще раньше Блейлер (Bleuler) использовал термин «комплекс» по отношению к некоторым психическим явлениям; этот термин и в настоящее время используется достаточно свободно.

liche Bilder) или «доминантах коллективного бессознательно-го». Лишь позднее он обозначил их термином *архетипы*, заимствованным из Corpus Hermeticum (I, 140, 12b) и из сочинения псевдо-Дионисия Ареопагита «О Божественных именах», в 6-м разделе 2-й главы которого читаем: «Если же кто-нибудь возразит, что печать не во всех оттисках проявляется всецело и тождественно, то [мы ответим], что это происходит не по вине печати, поскольку она всецело и тождественно запечатлевается на каждом из них, но различие в изображении одного и того же всецелого прообраза (τῆς αὐτῆς καὶ μιᾶς ἀρχετύπιας) происходит единственно в силу разнообразия свойств оттисков»¹.

К выбору термина «архетип» Юнга, однако же, подтолкнуло прежде всего августинианское определение *ideae principales* (латинского эквивалента греческого *ἀρχετύπια* — «прообразы»). Св. Августин пишет: «Прообразы — это некие вмещающиеся в Божественный разум формы, или устойчивые и неизменные причины вещей, сами по себе не сформированные и, таким образом, продолжающие существовать вечно и неизменно. Сами они бессмертны, но, как утверждают, все то, что способно рождаться и умирать, все, что рождается и умирает, формируется по их образцу. Утверждается также, что душа не способна их созерцать; но их можно осмыслить»². Начиная с 1946 года³ Юнг — пусть не всегда в явном виде — проводил различие между архетипом «как таковым» — то есть таким архетипом, который не воспринимается и лишь потенциально присутствует в любой психической структуре — и актуализированным архетипом, ставшим доступным для восприятия и уже вторгшимся в область сознания. Выражением этого актуализированного архетипа служит архетипический образ, представление или процесс; форма выражения может постоянно меняться в соответствии с тем, в рамках какой психической констелляции (то есть устойчивого сочетания факторов, детерминирующих деятельность психической субстанции) архетип дает о себе знать. Конечно, существуют архетипические способы действия, архетипические реакции, равно как и архетипические процессы — такие, как эволюция «Я» или переход от одной ступени возраста и опыта к следующей; существуют также архетипические установки, идеи, способы ассимиляции опыта, которые, будучи при определенных обстоятельствах «задействованы», преодолевают порог бессознательного и становятся «видимыми».

1 Св. Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. — М., Тетра, 1993, с. 24, пер. О. Л. Лутковского. (Прим. ред.)

2 Liber de diversis quaestionibus, XLVI, 2.

3 Vom Geist der Psychologie. — Eranos-Jahrbuch, 1947; Von den Wurzeln des Bewusstseins, VII, S. 497 ff.; Collected Works, vol. 8, pp. 159 ff.

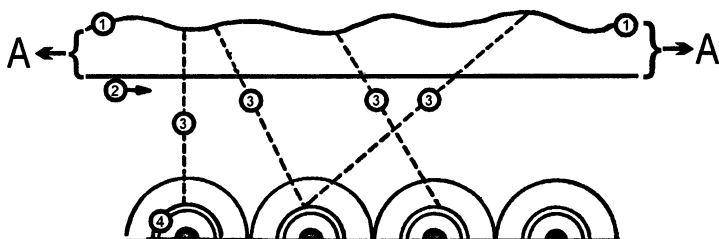
Итак, архетип может найти свое проявление не только в статической форме (к примеру, в форме первообраза), но и в динамическом процессе — в частности, в процессе функциональной дифференциации сознания. Любые типические, общечеловеческие жизненные проявления — независимо от того, имеют ли они биологический, психофизиологический или духовно-идеологический характер — базируются на архетипическом фундаменте. Мы можем даже построить определенную «иерархию» архетипов в соответствии с тем, характеризуют ли они человечество в целом или более или менее обширные группы людей. Подобно основателям династий, архетипы способны давать «потомство»; при этом в каждом следующем поколении они сохраняют исходную форму. Архетипы отражают врожденные, инстинктивные реакции на определенные ситуации и поэтому способны как бы в обход сознания привести к психологически необходимым формам поведения¹ (впрочем, со стороны последние часто кажутся неадекватными). Архетипы играют жизненно важную роль в психической экономике, поскольку, по словам Юнга, «представляют или персонифицируют некоторые инстинктивные данные, относящиеся к темной, первобытной психической субстанции, к реальным, но невидимым *корням* сознания»².

Эти рассуждения часто критиковались на том основании, что согласно современным научным данным приобретенные признаки или сохраненные памятью образы не могут передаваться по наследству. Ответ Юнга на подобного рода возражения гласит: «Конечно, термин „архетип“ обозначает не какую-то наследуемую идею, а скорее наследуемый способ психического функционирования, аналогичный тому врожденному *пути*, который проходит цыпленок, вылупляющийся из яйца, птица, строящая гнездо, оса, протыкающая жалом двигательный ганглий гусеницы, или угорь, находящий путь к Бермудам. Иными словами, архетип — это модель поведения. Данный аспект архетипа нужно считать биологическим; он относится к области научной психологии. Но картина совершенно меняется, стоит нам взглянуть на архетип изнутри, то есть с точки зрения психической субстанции отдельного человека. Приняв облик подходящего символа — что имеет место отнюдь не всегда, — архетип внезапно потрясает человека до самых глубин, порождая то состояние глубокой захваченности (*Ergriffenheit*), последствия которого могут приобрести совершенно непредсказуемые масштабы»³.

- 1 J. Jacobi. *Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie* von C. G. Jung, S. 36 ff.; *Über psychische Energetik*, S. 259; *Collected Works*, vol. 8, p. 133.
- 2 *Das göttliche Kind*, in: C. G. Jung, K. Kerényi. *Einführung in das Wesen der Mythologie*. — Amsterdam, 1942, S. 117; *Collected Works*, vol. 9, I, p. 160.
- 3 Из предисловия Юнга к книге: E. Harding. *Fraün-Mysterien*. — Zürich, 1949, S. VIII; in: *Collected Works*, vol. 18.

На диаграмме 13 показано членение психической субстанции на отдельные слои согласно тому, насколько они подвержены воздействию архетипов¹. Сфера сознания полна самых разнообразных элементов; содержащиеся в ней архетипические симво-

Диаграмма 13



- 1 – поверхность сознания
- 2 – сфера, в которой начинается действие «внутреннего порядка»
- 3 – пути, по которым содержимое погружается в сферу бессознательного
- 4 – архетипы и их «магнетические поля», под действием которых содержательные элементы отклоняются от обычного пути
- АА – зона, в пределах которой чисто архетипические процессы становятся невидимыми под действием внешних событий

лы часто бывают «перекрыты» другими содержательными элементами или отрезаны от своего контекста. Содержимое сознания в значительной степени управляется и контролируется волей; что же касается бессознательного, то его непрерывность и упорядоченность не зависят от нас и непроницаемы для влияний со стороны нашего «Я». Архетипы — это центры и силовые поля бессознательного. Таким образом, погружающиеся в бессознательное элементы психического содержания подвергаются воздействию нового, невидимого и непознаваемого порядка; их пути часто подвергаются своеобразному «преломлению», а их внешние проявления и смыслы меняются недоступным нашему пониманию образом. Этот абсолютный внутренний порядок бессознательного служит спасительным средством, помогающим нам перенести потрясения и превратности жизни — конеч-

1 Диаграмма взята из отчета о лекциях, прочитанных Юнгом в Цюрихской Конфедеративной высшей технической школе в 1934—1935 гг.

но, при условии, что мы умеем им пользоваться¹. Архетип может модифицировать нашу осознанную ориентацию или даже менять ее на противоположную — как, например, в тех случаях, когда мы во сне видим нашего обожаемого отца с головой животного и копытами козла или в облике страшного громовержца Зевса, а нежно любимую нами жену — в облике менады и т. д. Такие сны могут быть восприняты как предостережения со стороны бессознательного, которое, будучи носителем более глубокого знания, пытается защитить нас от ложных оценок.

Архетипы родственны также платоновским идеям — с той лишь разницей, что последние служат образцами высшего совершенства только в «светлом» смысле, тогда как юнговские архетипы биполярны и включают в себя, наряду со светом, также и тьму.

Юнг называет архетипы также «психическим органами»² или, следуя Бергсону, говорит о «вечных несотворенных» (франц.: *les éternels incréés*). «Глубочайшее смысловое ядро» архетипов может быть, согласно Юнгу, «очерчено, но не описано»: ведь «что бы мы ни говорили об архетипах, они доступны сознанию только в той мере, в какой они воплощаются и становятся видимыми»³.

Еще одна полезная аналогия — *гештальт* (Gestalt: первичная конфигурация, определяющая всю совокупность онтологических свойств объекта и не поддающаяся членению на элементы) в том широком смысле этого термина, в котором он употребляется в гештальтпсихологии, а в последнее время — также и в биологии⁴. По утверждению Юнга, «форму архетипа можно сравнить с осевой системой кристалла, которая, так сказать, преформирует кристаллическую структуру в маточном растворе, при этом не обладая собственным материальным существованием. О последнем можно говорить начиная с того момента, когда появляются организованные агрегаты ионов и молекул... Осевая структура определяет только стереометрическую структуру, но не форму отдельного кристалла». Сходным образом, «архетип имеет неизменное смысловое ядро... но оно существует только в *принципе*, то есть ни при каких обстоятельствах не бывает тождественно отдельным проявлениям архетипа»⁵.

1 На этом внутреннем порядке бессознательного основаны, в частности, упражнения йоги.

2 *Das göttliche Kind*, S. 117; *Collected Works*, vol. 9, I, p. 160.

3 *Das göttliche Kind*, S. 111; *Collected Works*, vol. 9, I, p. 156.

4 Соотношение между архетипом и гештальтом исследовано в работе: K. W. Bash. *Gestalt, Symbol und Archetypus*. — *Schweizerische Zeitschrift für Psychologie* (Bern), V (1946), 2. См. также мою работу: J. Jacobi. *Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie von C. G. Jung*, S. 45 ff., 62 ff.

5 *Von den Wurzeln des Bewusstseins*, III, S. 95; *Collected Works*, vol. 9, I,

Итак, архетип как потенциальная «осевая система» (архетип как таковой) предсуществует и внутренне присущ психической субстанции. «Маточный раствор» — совокупный опыт человечества — состоит из образов, кристаллизующихся вокруг осевой системы и постепенно, еще в лоне бессознательного, обретающих отчетливость и богатство содержания. Нельзя сказать, чтобы образ «рождался» в момент своего осознания — он уже присутствовал в темных глубинах с того времени, когда отражаемое им типическое и фундаментальное переживание вошло в сокровищницу психического опыта человечества. По мере приближения к сфере сознания он испускает все более и более яркий свет, делающий его контуры все более и более отчетливыми, — пока наконец образ не становится виден во всех подробностях. Этот процесс прояснения архетипического образа имеет не только частное, но и общечеловеческое значение. Как говорил Ницше, «в сновидениях и грезах мы проходим через все мышление раннего человечества»¹. Нечто похожее утверждал и Юнг: «Судя по всему, в психологии также существует соответствие между онтогенезом и филогенезом»². В согласии с современной генетикой (которая отчасти основывается на идеях гештальт-теории) можно утверждать, что наследуемые факторы — это как раз гештальты и наше свойство воспринимать вещи как гештальты. А гештальт не нуждается в интерпретации; он, так сказать, изъясняет свой собственный смысл.

³ Архетипы могут быть описаны как «автопортреты инстинктов», как трансформированные в образы психические процессы или как первичные модели человеческого поведения. Приверженец Аристотеля мог бы сказать: архетипы — это идеи, укорененные в восприятии человеком его *настоящих* отца и матери. Платоник выразился бы иначе: отец и мать вырастают из архетипов, поскольку последние суть *первичные* образы, прототипы явлений³. Рассматриваемые с точки зрения отдельной личности, архетипы существуют а priori; они неотъемлемо присущи коллективному бессознательному и поэтому независимы от процессов роста и распада на уровне отдельного индивида. Согласно Юнгу, «вопрос о том, можно ли вообще говорить о „возникновении“ этой психической структуры [коллективного бессознательного] и ее элементов когда-либо в прошлом — это вопрос

pp. 79 f. Интересную аналогию находим в работе: J. Killian. Der Kristall. — Berlin, 1937: «Кристаллическая решетка определяет спектр возможных форм; окружающая среда решает, какие из этих возможностей будут реализованы».

- 1 «Человеческое, слишком человеческое», т. 2; цитируется по: Symbole der Wandlung. — Zürich, 1952, S. 35; Collected Works, vol. 5, p. 23.
- 2 Symbole der Wandlung, S. 35; Collected Works, vol. 5, p. 23.
- 3 Kindertraumseminar, 1936—1937.

метафизический и, как таковой, не может служить предметом психологического исследования». «Архетип метафизичен, поскольку трансцендентен сознанию»¹; он относится, по существу, к области «психоидного»/«Архетип — это, так сказать, вечное присутствие (ewige Präsenz), вопрос лишь в том, воспринимается ли последнее сознанием или нет»². Архетип может проявить себя на любых психических уровнях и в составе самых разнообразных констелляций; адаптируясь к ситуации индивида, он приобретает определенную форму, *habitus*, оставаясь при этом неизменным как на уровне фундаментальных структурных характеристик, так и на уровне смысла; подобно мелодии, он может быть транспонирован³. Данное свойство иллюстрируется диаграммой 14, которая, однако же, отражает лишь небольшую часть проявлений одного из архетипов — «женского начала». Гештальт архетипа остается неизменным, а его содержание меняется.

Если форма архетипического образа скудна и неотчетлива — значит, этот образ проистекает из глубинного слоя коллективного бессознательного, где символы присутствуют только как «осевые системы», еще не наполненные индивидуальным содержанием, еще не дифференцированные под воздействием бесконечной цепочки индивидуальных переживаний, которым они онтологически предшествуют. Чем более личностна и злободневна психологическая проблема, тем более сложна, детализирована и отчетлива выражающая ее архетипическая фигура. И напротив, чем выше степень универсальности и отвлеченности ситуации, тем проще и неотчетливее воплощающая ее архетипическая фигура — ибо даже Космос построен на небольшом количестве простых принципов. В своей сжатой простоте такой архетипический образ содержит все богатство и многообразие жизни и мира. Так, например, архетип «матери» в описанном нами структурном смысле предшествует любому индивидуальному проявлению «материнского» и подчиняет его себе. Первичный, исконный образ матери — «Великая Мать» со всеми ее парадоксальными атрибутами — в душе современного человека тот же, что и в мифические времена⁴. Различение «Я» и «матери» лежит в начале любого «становления сознания» (*Bewusst-*

1 Из предисловия Юнга к книге E. Harding. *Fraün-Mysterien*, S. IX; in: *Collected Works*, vol. 18.

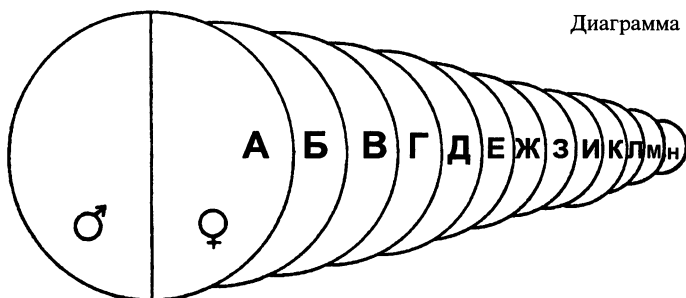
2 *Psychologie und Alchemie*, S. 305; *Collected Works*, vol. 12, par. 329.

3 Здесь также мы отмечаем родство с гештальтпсихологией.

4 Этот первичный образ размещается на различных плоскостях в психической субстанции мужчины и женщины. Так называемый материнский комплекс, который мы только начинаем исследовать, представляет серьезную проблему для мужчины, тогда как для женщины он значительно проще. Обратное, по-видимому, верно для отцовского комплекса.

werdung); а «становление сознания» означает построение мира через различения¹. Осознавать и формулировать идеи — вот основополагающий принцип логоса, который постоянно борется

Диаграмма 14



Ход развития архетипа женственности

Исконные сферы, которые можно представить как бисексуальные

♂ — архетипы мужественности

♀ — архетипы женственности

А — ночь, бессознательное, приемлющее

Б — море, вода и т.д.

В — земля, гора и т.д.

Г — лес, долина и т.д.

Д — пещера, подземное

царство, глубины и т.д.

Е — дракон, паук, кит и т.д.

Ж — колдунья, фея, божественная дева, царевна и т.д.,

З — дом, корзина и т.д.

И — корова, кошка и т.д.

К — роза, тюльпан и т.д.

Л — предок женского пола

М — бабушка

Н — мать

за свое освобождение из первичной тьмы материнского лона, то есть из глубин бессознательного. Поначалу оба — логос и бессознательное — суть одно и не могут существовать друг без друга: ведь слово «свет» не имело бы смысла, если бы не было

1 «Становление сознания» в юнговском смысле — нечто большее, чем просто «восприятие», «обнаружение» или «осознание» чего-то. Оно не имеет специфического объекта и указывает на процесс углубления и расширения, интенсификации и роста восприимчивости сознания, обострения его способности к оценке и разработке содержательных элементов, поступающих из пределов внешнего и внутреннего мира. Становление сознания или осознанного представления, будучи целью аналитического процесса, не предполагает одностороннего развития сознания как доминирующего фактора психической жизни личности: ведь такая направленность развития была бы несовместима с психическим равновесием и здоровьем. Юнговское *Bewusstwerdung* не равнозначно «сознанию» в обычном смысле, то есть той сфере психической субстанции, которая управляется исключительно разумом. Напротив, оно относится к своего рода «высшему сознанию», связанному с содержимым как бессознательного, так и «Я»-сознания; это углубленное и расширенное сознание, произрастающее из прочно укорененной связи с бессознательным.

тмы. «Мир существует только благодаря тому, что противоположные силы уравниваются»¹.

На языке бессознательного — который является языком образов — архетипы выражаются в персонифицированной или символической форме. Юнг пишет: «Архетипическое содержание выражает себя прежде всего посредством метафор. Если ему нужно выразить идею солнца и отождествить его со львом, королем, золотом, которое охраняет дракон, или силой, способствующей жизни и здоровью, оно избирает не первый и не второй члены этого тождества, а некое неизвестное третье, которое выражает все эти аналогии и при этом — к постоянной досаде интеллекта — так и остается неизвестным и неопределенным... Мы ни на мгновение не позволяем себе поддаться иллюзии, что архетип в конечном счете может быть объяснен и укрошен. Даже самые удачные попытки объяснения архетипических представлений сводятся в лучшем случае к их более или менее успешному переводу на другой метафорический язык»².

Итак, архетипы составляют реальное содержание коллективного бессознательного. Их количество невелико, поскольку соответствует числу «типических и фундаментальных переживаний», известных человеку с первобытных времен. Их значение кроется в том самом «исконном опыте» (*Urerfahrung*), который основан на них и который они представляют и выражают. Архетипические мотивы и образы соответствуют филогенетически обусловленной конституции человека и являются общими для всех культур. Мы встречаемся с ними во всех мифологиях, волшебных сказках, религиозных традициях. Что такое мифы о «ночном мореплавании» или «странствующем герое», если не переведенное в образную форму вечное знание о заходящем и вновь восходящем солнце? Похититель огня Прометей, убийца дракона Геракл, сотворение мира, изгнание из рая, предательство героя, расчленение Осириса и многие другие мифологические и сказочные мотивы суть образные представления психических процессов. Змей, рыба, сфинкс, животные-помощники, Мировое Древо, Великая Мать, заколдованный принц, Вечное Дитя (*Puer aeternus*), Волшебник, Мудрец, Рай и т. д. — все это воплощения мотивов коллективного бессознательного³. В пре-

1 Von den Wurzeln des Bewusstseins, S. 114; Collected Works, vol. 9, I, p. 94.

2 Das göttliche Kind, S. 117 f.; Collected Works, vol. 9, I, 157 f.

3 Мы можем распознать и те доминирующие архетипы, которые лежат в основе доктрин различных мыслителей, в особенности психологов. Когда Фрейд усматривает фундаментальный принцип всего сущего в сексуальности, а Адлер — в стремлении к власти, в этих двух идеях выражают себя определенные архетипы; похожие архетипические представления выступают в трудах древних философов, гностиков и алхимиков.

Юнговское учение также основывается на архетипе, находящем свое вы-

делах психической субстанции каждого отдельного человека они могут пробуждаться к новой жизни, оказывать свое магическое воздействие и конденсироваться в некую «индивидуальную мифологию»¹, которая вызывает поразительное сход-

ражение, в частности, в «тетрасомии» — четырехэлементности (ср. теорию четырех функций, представление о четверице как структурной основе изображений и т. п.). Число 4 часто обнаруживается в качестве фактора, упорядочивающего содержание снов; возможно, повсеместная пространственность и магическое значение креста или разделенного на четыре части круга также объясняется архетипической природой четверицы (*Psychologie und Alchemie*, S. 209; *Collected Works*, vol. 12, par. 189.). Другой архетип — число 3 — с незапамятных времен, особенно в христианстве, рассматривается как символ «чистого духа». Наряду с троицей, Юнг выдвигает четверицу как архетипическое выражение, имеющее высшую значимость для психической субстанции. Этот четвертый элемент сообщает «чистому духу» свойство телесности. Наряду с мужским духом, отцовским началом, представляющим только половину мира, четверица содержит противоположный полюс — женский и телесный аспект; только в соединении этих двух аспектов может сформироваться единство. В большинстве культур нечетные числа рассматриваются как мужских, а четные — как женские символы. Возможно, это как-то связано с тем, что у самцов почти всех биологических видов — включая *Homo sapiens* — нечетное число хромосом, тогда как у самок — четное (мое внимание на данное обстоятельство обратил Бэш [Bash]). Кроме того, Юнг отмечает: «Занятный фокус природы заключается в том, что основной элемент живых организмов — углерод — четырехвалентен; известно также, что алмаз — это кристаллический углерод. Цвет углерода (графита) — черный... тогда как алмаз — это „чистейшая вода“. Подобные аналогии могли бы показаться безвкусицей, если бы феномен четверицы представлял собой лишь плод поэтической изобретательности разума, а не спонтанное порождение объективной психической субстанции» (*Psychologie und Alchemie*, S. 302; *Collected Works*, vol. 12, par. 327).

Не случайно именно сейчас — когда благодаря революционным открытиям естественных наук и прежде всего физики мы переходим от трехмерного к четырехмерному мышлению — самое современное течение в глубинной психологии избрало архетип четверицы в качестве центрального структурного понятия. В современной физике возникла необходимость во введении времени — четвертого измерения, столь поражающего нас своим фундаментальным отличием от трех пространственных измерений — ради того, чтобы прийти к всеобъемлющей картине физического мира; аналогично, для выработки всеобъемлющего взгляда на психическую субстанцию потребовалось принять во внимание четвертую, «нижнюю», обладающую свойством «абсолютной инакости» функцию, диаметрально противоположную сознанию. Это фундаментальное нововведение Юнга выдвигает юнговскую психологию в ряд наук, которые оказывают глубоко преобразующее влияние на картину мира.

1 Этот термин был впервые использован К. Кереньи (Kerenyi) в работе: *Über Ursprung und Gründung in der Mythologie*, in: C. G. Jung, K. Kerenyi. *Einführung in das Wesen der Mythologie*, S. 36.

ство с великими традиционными мифологиями всех народов и эпох, как бы конкретизируя их происхождение, сущность и смысл и по-новому освещая их.

Итак, с юнговской точки зрения совокупность архетипов представляет собой сумму возможностей психической субстанции человека — богатейшее хранилище унаследованного от самых отдаленных предков знания о глубинных взаимоотношениях между Богом, человеком и Космосом. Открыть это хранилище в душе отдельного человека, пробудить его к новой жизни, интегрировать его в сознание — значит уберечь человека от одиночества и включить его в извечный космический процесс. Отсюда можно сделать вывод, что обсуждаемые нами концепции выходят за рамки «чистого» познания и «чистой» психологии. Они учат и направляют. Архетип как первичный источник любого человеческого переживания лежит в бессознательном, откуда проникает в наше бытие. Поэтому для нас жизненно важно уметь «расшифровывать» его проекции и, значит, осознанно ассимилировать его содержание.

В своей поздней работе «Синхроничность: акаузальный связующий принцип» Юнг указал на один особенно существенный аспект воздействия архетипов. Ему удалось по-новому осветить некоторые явления так называемого экстрасенсорного восприятия (телепатию, ясновидение и т. п.), не имевшие научного объяснения, и применить научные методы для исследования отдельных странных совпадений и переживаний, которые принято было отрицать или трактовать как простые случайности. Объяснительный принцип, служащий дополнением принципа причинности (каузальности), Юнг обозначил термином *синхроничность*. В отличие от *синхронности* (одновременности), синхроничность определяется Юнгом как «совпадение во времени по меньшей мере двух не объединенных причинной связью событий, которые имеют одинаковый или сходный смысл». Синхроничность может принять форму совпадения внутренних восприятий (предчувствий, снов, видений, догадок, подозрений и т. п.) с внешними событиями прошлого, настоящего или будущего. Синхроничность — это «формальный фактор», «эмпирическое понятие», благодаря которому постулируется принцип, необходимый для достижения более всеобъемлющего знания; в качестве «четвертого элемента синхроничность может быть добавлена к уже признанной триаде пространства, времени и причинности». Появление подобных синхронических феноменов Юнг объясняет «априорным, необъяснимым в терминах причинности знанием», основанным на порядке микро- и макрокосма, не зависящим от нашей воли и подчиненным упорядочивающему воздействию архетипов. Осмысленное совпадение внутреннего образа с внешним событием выявляет как духов-

ный, так и материальный, физический аспекты архетипа. Кроме того, именно архетип, благодаря своему повышенному энергетическому заряду (или нуминозному эффекту), вызывает у переживающего его воздействие индивида состояние повышенной эмоциональности или частичного «понижения уровня рассудка» (франц.: *abaissement du niveau mental*), без чего синхронические феномены не могут иметь места (равно как и восприниматься в данном качестве). Юнг высказывает даже следующее суждение: «Архетип — это интроспективно распознаваемая форма априорной психической упорядоченности»¹. Юнговские исследования в области синхроничности выдвинули множество новых проблем, каждая из которых требует дальнейшего исследования и обсуждения.

Согласно Юнгу, «архетипы были и все еще остаются живыми психическими силами, требующими серьезного к себе отношения; они удивительным образом умеют убеждать нас в своей действительности. Архетипы всегда были носителями защиты и спасения, а насилие над ними неизбежно приводит к опасностям для души (англ.: *perils of the soul*), известным нам по психологии первобытных людей. Более того, подобно находящимся в небрежении соматическим органам, архетипы в таких случаях становятся источниками невротических (если не психотических) расстройств»².

Понятно, почему архетипические образы всегда и повсюду находились в центре религиозных представлений. Даже несмотря на то, что на протяжении человеческой истории образы эти часто «затуманивались» разного рода догмами и искусственно лишались своей первоначальной формы, они все еще выступают как действенные факторы психической субстанции, а их смысловое богатство все еще способно оказывать непреодолимое влияние — особенно там, где вера остается живой силой. Это одинаково относится и к христианской вере в умирающего и воскресающего Бога и в непорочное зачатие, и к покрывалу Майи у индусов, и к молитве мусульман, обращающих свои лица в сторону Мекки. Только когда вера и догма застывают и перерождаются в пустые формы — а именно это в значительной степени характеризует наш сверхцивилизованный, технологический, рационально устроенный западный мир, — они утрачивают свою магическую силу и оставляют человека беспомощным и одиноким перед лицом внешнего и внутреннего зла.

Преодолеть состояние изоляции и растерянности, характер-

1 Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge, in: Studien aus dem C. G. Jung-Institut. — Zürich, 1952, S. 26 f., 97, 99, 104; Collected Works, vol. 8, pp. 441, 447, 511, 512, 516.

2 Das göttliche Kind, S. 112; Collected Works, vol. 9, I, pp. 156 f.

ное для современного человека, помочь ему найти свое место в великом потоке бытия, сделать так, чтобы он сумел обрести целостность и тем самым осознанно, по собственной воле, соединил свою светлую, сознательную сторону с темной и бессознательной — таковы смысл и цель юнговской теории как особой формы «душеводства».

Одна из основных задач настоящей книги состоит в том, чтобы разъяснить основы этой формы душеводства, а также использованные Юнгом подходы и методы. Но для лучшего понимания основ мы должны прежде всего вкратце рассмотреть вторую часть теории — динамику психической субстанции.

2 Законы, управляющие психическими процессами и силами

ПОНЯТИЕ ЛИБИДО

По Юнгу, вся психическая система постоянно пребывает в состоянии энергетического движения. Под *психической энергией* он понимает ту всеприсутствующую силу, которая пульсирует во всех формах и проявлениях психики и устанавливает связь между ними. Термин *либидо* означает не что иное, как меру интенсивности психического процесса, его *психологическую значимость*¹, которая определяется только через внешние психические проявления и воздействия. По аналогии с «энергией» в физике, «либидо» используется как абстракция, выражающая динамические взаимосвязи и основанная на некотором экспериментально подтверждаемом теоретическом постулате².

- 1 Мы видим, что понятие «либидо», использованное Фрейдом для обозначения сексуального инстинкта как в узком, так и в расширенном смысле, имеет для Юнга несравненно более многогранное значение. Отметим, что данное различие недостаточно учитывается даже психологами.
- 2 Чтобы избежать весьма распространенного недоразумения, следует с самого начала подчеркнуть, что понятию таким образом энергия принципиально отличается от выдвинутого Аристотелем представления об энергии как «формирующем принципе». Мы имеем в виду понятие, близкое энергии в физическом смысле; иначе говоря, термин «либидо» используется только ради того, чтобы не смешивать психическую энергию с физической. Говоря о «недифференцированном либидо», Юнг имеет в виду вовсе не *предпосылку*, а эмпирическое открытие. Понятие «энергии»

«Психическую энергию» не следует отождествлять с «психической силой»: будучи отвлеченным понятием, «энергия существует не в самих явлениях, а в нашем опыте. Иными словами, энергия всегда переживается либо как движение и сила — актуальная энергия, — либо как состояние или условие — потенциальная энергия»¹. Будучи актуализована, психическая энергия проявляется в явлениях психической жизни: инстинктивных движениях, желаниях, волевых актах, аффектах, целенаправленных действиях и т. п. — тогда как оставаясь потенциальной, она находит свое отражение в способностях, возможностях, установках и т. п.² «Стремясь оставаться на почве научного здравого смысла и избегать философских рассуждений, которые могли бы завести нас слишком далеко, мы, вероятно, поступим правильно, если будем рассматривать психический процесс просто как один из жизненных процессов. В итоге мы сможем расширить относительно узкое понятие психической энергии до масштабов понятия жизненной энергии, для которого психическая энергия служит одной из составных частей». Но понятие «жизненной энергии», о котором здесь идет речь, не имеет ничего общего с так называемой витальной силой. «Поэтому я предложил, чтобы, учитывая желательную для нас психологическую трактовку гипотетической жизненной энергии, обозначить последнюю термином „либидо“. Я всегда проводил различие между понятиями „либидо“ и собственно „энергия“, сохраняя таким образом за биологией и психологией право на формирование собственных понятий»³.

Из сказанного можно заключить, что с точки зрения Юнга структура психической субстанции носит не статический, а *динамический* характер. В самом общем смысле психическая энер-

не имеет ничего общего с метафизикой, поскольку оно служит своего рода знаком, вспомогательным средством, с помощью которого удастся достичь лучшего понимания и упорядочения результатов *опыта*; аналогично обстоит дело и с «либидо» в юнговском понимании термина. Слово «энергия» приобретает метафизический смысл только тогда, когда оно начинает обозначать не эмпирическое понятие, а некую гипотетическую субстанцию, основу мира и т. п. — как, например, в некоторых монистических построениях. Говоря об «энергии», ученый-эмпирик ничего не постулирует; он лишь делает выводы из имеющихся в его распоряжении фактов. Итак, об «энергии» можно говорить в двух смыслах: как о понятии, постулируемом в качестве идеи или модели (такова «энергия» в аристотелевском или схоластическом смысле), и как об эмпирическом понятии, выдвигаемом *a posteriori* в качестве упорядочивающего принципа (именно в таком смысле употребляется юнговское «либидо»).

1 Über psychische Energetik, S. 26; Collected Works, vol. 8, p. 15.

2 Так, «воля» — это особый случай свободной психической энергии, которая может направляться сознанием. Ср. примечание 3 на с. 401.

3 Über psychische Energetik, S. 31 ff.; Collected Works, vol. 8, p. 17.

гия подобна метаболизму, поддерживающему в организме состояние соматического равновесия; она определяет отношения между различными элементами психической субстанции, а ее возмущения приводят к возникновению патологических явлений. Энергетическая точка зрения на психический процесс финалистична — в отличие от механистической точки зрения, которая по своей природе причинна. Но эта финалистичная концепция отнюдь не является единственной: как мы вскоре убедимся, Юнг рассматривает проблему с разных сторон.

СТРУКТУРА ОППОЗИЦИЙ

Юнговская теория энергии основывается на принципе *оппозиций* (противоположностей). Согласно Юнгу, противоположности управляют всеми психическими процессами; принцип оппозиций неотъемлем от человеческой природы, поскольку «психическая субстанция — это саморегулирующаяся система», а «никакое равновесие, никакая саморегуляция невозможны без оппозиций». Гераклит первым открыл самый удивительный из всех психологических законов — принцип регулирующей функции противоположностей. Он обозначил его термином *enantiodromia*, означающим, что все сущее в конечном счете должно обратиться в свою противоположность. «Переход от утра к полудню означает переоценку прежних ценностей. Возникает потребность в оценке того, что противоположно прежним идеалам, в обнаружении ошибок, содержащихся в наших прежних убеждениях... Конечно же, ценность и истина не перестают существовать с того момента, когда мы начинаем усматривать в ценности „антиценность“, а в истине — ложь. Можно сказать, что ценность и истина просто-напросто становятся относительными, *релятивизируются*. Все человеческое относительно, поскольку зиждется на внутренней полярности; ибо все человеческое — это проявления энергии. Энергия зависит от предсуществующей полярности, без которой она — в любой форме — невозможна. Для того, чтобы процесс установления равновесия — то есть энергетический процесс как таковой — мог вообще иметь место, всегда должна существовать оппозиция высокого и низкого, горячего и холодного... Задача состоит не в том, чтобы изменить все знаки на противоположные, а в том, чтобы, *сохраняя* прежние ценности, одновременно признать их противоположности»¹.

Все, что мы до сих пор говорили о структуре психической субстанции — о ее функциях, установках, отношении между со-

1 Über die Psychologie des Unbewussten, S. 111, 137; Collected Works, vol. 7, pp. 60, 74 f.

знанием и бессознательным и т. д., — учитывает этот закон оппозиций, построенный на комплементарных или компенсаторных факторах. Но тот же закон проявляет себя и на уровне любых частных систем. Так, если бессознательному позволено развиваться своим естественным путем, положительные и отрицательные элементы содержания сменяют друг друга. Часто фантазия, представляющая светлое начало, сменяется образом темного начала. На уровне сознания значительное усилие мысли часто приводит к отрицательным эмоциональным реакциям. Эти отношения противоположностей регулируются благодаря движениям и превращениям психической энергии, поддерживающим напряжение между ними: ведь пары, о которых здесь идет речь, различаются не только по содержанию, но и по энергетическому заряду. Представление о том, как распределяются энергетические заряды, могла бы дать картина сообщающихся сосудов. Но на уровне психической субстанции как целого картина эта становится в высшей степени сложной: ведь здесь мы имеем дело со связанной, относительно самодовлеющей системой, которая, в свою очередь, включает в себя множество систем сообщающихся сосудов низших порядков. В целостной системе количество энергии постоянно; меняется только ее распределение.

Физический закон сохранения энергии и платоновская концепция души как того, что «движет само себя», находятся в теснейшей архетипической связи. «Ни одна значимая составляющая психической субстанции не может исчезнуть без того, чтобы на его место не явилась другая составляющая равноценной энергетической насыщенности»¹. Закон сохранения энергии действует не только на уровне оппозиции «сознание-бессознательное», но и на уровне любого единичного содержательного элемента, принадлежащего как сознанию, так и бессознательному: ведь, вообще говоря, энергетический заряд любого элемента должен быть отнят у его противоположности.

«Судя по всему, идея энергии и ее сохранения неотъемлема от коллективного бессознательного. После такого заявления нам следовало бы показать на исторических примерах, что эта идея действительно принадлежит к исконным представлениям человеческого духа и так или иначе воздействовала на него в течение долгих веков. Сделать это не так уж сложно: ведь на этой идее основаны все первобытные религии. Речь идет о так называемых „динамистических“ религиях, признающих существование некоей универсальной магической силы, вокруг которой вращается все сущее... Согласно древней точке зрения, такой силой является сама душа; в идее бессмертия души содержится пред-

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 375; Collected Works, vol. 10, par. 175.

ставление о ее сохранении, а в буддистском и первобытном понятии метемпсихоза — переселения душ — содержится представление о ее беспредельной изменчивости, сочетающейся с абсолютной неуничтожимостью»¹.

ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ ЛИБИДО
Из закона сохранения энергии следует, что она может перемещаться: по естественному градиенту энергия перетекает из одного члена пары оппозиций в другой. Это, в частности, означает, что энергетический заряд бессознательного возрастает по мере уменьшения энергетического заряда сознания. Перемещение энергии от одного полюса к другому может осуществляться также благодаря направленному волевому акту; в этом случае ее проявления и способы воздействия видоизменяются. Пользуясь фрейдовской терминологией, этот процесс можно было бы назвать «сублимацией» — с той лишь разницей, что по Фрейду в качестве предмета таких видоизменений выступает только сексуальная энергия.

Для перетекания энергии необходим градиент, разность потенциалов — что психологически выражается во взаимном противопоставлении элементов, составляющих пары оппозиций. Вот почему возникновение препятствий на путях либидо приводит к развитию комплексов; вот почему любая пара оппозиций дезинтегрируется, когда один из полюсов оказывается энергетически «пустым» (подобное наблюдается при самых различных психических расстройствах, от легких невротозов до полной диссоциации или распада личности). Утраченная сознанием энергия переходит в область бессознательного, активизируя его содержательные элементы — архетипы, подавленные элементы, комплексы и т. д., — которые в итоге начинают вести самостоятельное существование и вторгаются в сознание, а это, в свою очередь, ведет к невротозам и психозам.

Абсолютно однородное распределение энергии, однако, также несет в себе опасность. Здесь мы сталкиваемся с действием закона энтропии². В самом общем, огрубленном виде можно сказать, что согласно физическому закону энтропии работа сопровождается трансформацией упорядоченного движения в неупорядоченное, дисперсное движение.

Но поскольку движение основано на градиенте, благодаря

1 Über die Psychologie des Unbewussten, S. 125 ff.; Collected Works, vol. 7,
2 Именно этим законом определяются направление времени и необратимость физических процессов. Здесь не место обсуждать возможные следствия, связанные с применением к этому физическому закону теории вероятности; они продемонстрированы в других областях.

которому первоначальный потенциал неуклонно растрачивается, поток энергии обязательно стремится к равновесию и, значит, к тотальному застою. Поскольку доступные нашему опыту системы никогда не бывают абсолютно замкнутыми, нам не приходится сталкиваться с абсолютной психологической энтропией. Но чем выше степень изоляции отдельных подсистем психики и чем значительнее напряжение между полюсами, тем более вероятным становится феномен энтропии (ср. застывшую, кататоническую позу многих душевнобольных, отсутствие у них контактов с внешним миром, апатию, отсутствие видимых проявлений собственного «Я» и т. п.). На примере психической субстанции мы достаточно часто наблюдаем относительные формы действия этого закона. «Самые напряженные конфликты, будучи преодолены, оставляют устойчивое ощущение безопасности и покоя или, напротив, безнадежный надлом. И обратно, именно эти напряженные конфликты нужны для достижения самых ценных и устойчивых результатов. Не зависящее от нашей воли представление об энергетическом процессе дает о себе знать даже в языке, когда мы говорим об „устоявшихся убеждениях“ и т. п.»¹.

Необратимость, характеризующая энергетические процессы в неживой природе, может быть модифицирована только искусственными средствами. Что же касается психической субстанции, то здесь обратимость достижима через вмешательство сознания. «Вмешательство в ход естественных процессов неотъемлемо от творческой природы психической субстанции. Это фундаментальное вмешательство состоит в формировании, дифференциации и расширении сознания»²; последнее же служит источником той самой способности подчинять себе природу, которая свойственна психической субстанции.

ПРОГРЕССИЯ И РЕГРЕССИЯ

Поток энергии имеет определенную *направленность*; согласно этой направленности мы различаем *прогрессивное* и *регрессивное* движения³. Прогрессивное движение — это процесс, начинающийся в сфере сознания и сос-

1 Über psychische Energetik, S. 46; Collected Works, vol. 8, pp. 26—27.

2 T. Wolff. Studien, S. 188.

3 Речь идет о «движениях живого» (Lebensbewegungen), которые не следует смешивать с «эволюцией» или «инволюцией». Более адекватными терминами были бы, вероятно, «диастола» и «систола». В данной связи «диастола» определяется как экстериоризация либидо, распространяющегося по всему космосу, а систола — как его интериоризация, сжатие до пределов отдельного человека, монады» (Über psychische Energetik, Fn. 42, S. 66; Collected Works, vol. 8, p. 37, note 52).

тоящий в непрерывной и беспрепятственной «адаптации к осознанным жизненным потребностям и дифференциации необходимых для этого типов установки и функциональных типов»¹. Это может достигаться только через разрешение конфликтов и установление координации между взаимно противопоставленными полюсами. Регрессивные движения возникают тогда, когда неспособность к осознанной адаптации и проистекающие отсюда процессы интенсификации или подавления бессознательного приводят к одностороннему накоплению энергии, вследствие чего содержание бессознательного, получив слишком большой энергетический заряд, вырывается на поверхность. Если сознание не вмешается вовремя, частичная регрессия может отбросить человека назад, на более раннюю стадию развития, и привести к неврозу; при полной регрессии сознание оказывается совершенно «затоплено» содержимым бессознательного, что означает возникновение психоза.

Говоря о прогрессии и регрессии, следует иметь в виду не только эти крайние формы; в бесчисленных больших и малых, существенных и несущественных разновидностях прогресс и регресс составляют часть нашей повседневной психической жизни. Акты внимания или психического усилия, осознанные волевые акты — все это проявления энергетической прогрессии; моменты усталости и рассеянности, эмоциональные реакции и прежде всего сон — это примеры регрессии. Обычно прогрессия рассматривается как всецело позитивная, а регрессия — как всецело негативная форма психического функционирования. Но такая точка зрения неверна: хотя в идеале нормальная психическая субстанция всегда стремится к прогрессу, регрессия также содержит в себе нечто положительное (юнговская точка зрения здесь принципиально отличается от фрейдовской). Прогрессия укоренена в потребности адаптироваться к внешнему миру, тогда как регрессия проистекает из потребности в адаптации к миру внутреннему, в достижении индивидом гармонии с собственным внутренним законом. Таким образом, прогрессия и регрессия — одинаково необходимые формы естественного психического опыта. С энергетической точки зрения как прогрессия, так и регрессия должны рассматриваться всего лишь как средства, как «стадии, через которые проходит энергетический поток»². В психической субстанции индивида регрессия может выступать не только как симптом невроза или психоза, но и как способ восстановить равновесие и расширить горизонты психической субстанции. Именно регрессия активизирует образы и выводит их из области бессознательного — как

1 T. Wolff. Studien, S. 194.

2 Über psychische Energetik, S. 69—70; Collected Works, vol. 8, pp. 39—40.

это имеет место, в частности, в сновидениях. Регрессия способствует обогащению сознания, поскольку содержит — пусть в недифференцированной форме — зерно нового психического здоровья. Она извлекает из бессознательного такие содержательные элементы, которые могут действовать в качестве «преобразователей энергии» и вернуть психическому процессу прогрессивную направленность.

МЕРА ЗНАЧИМОСТИ И КОНСТЕЛЛЯЦИЯ

После временной направленности или движения энергетического процесса — а либидо движется не только вперед или назад, прогрессивно или регрессивно, но также внутрь или вовне, то есть интро- или экстравертно — его второй важной характеристикой служит *мера* его насыщенности в *содержательном* отношении (мера значимости, Wertintensität). Форма проявления энергии в психической субстанции — это *образ*, извлекаемый благодаря формирующей способности *воображения* (imaginatio), творческой фантазии, из материала коллективного бессознательного, то есть объективной психической субстанции. Эта творческая деятельность психической субстанции¹ преобразует хаос бессознательного содержимого в те самые образы, которые появляются в снах, фантазиях, видениях и произведениях искусства. Именно эта деятельность в конечном счете определяет смысловую наполненность образов, которая эквивалентна их значимости и может быть измерена на основании того, в составе какой констелляции или в каком контексте обнаруживается соответствующий образ². Например, в снах всегда имеются элементы, смысл которых меняется в зависимости от контекста и от положения элементов в контексте. Образ или мотив может в одном случае выступать как второстепенный, тогда как в другом случае он становится центральной фигурой или носителем комплекса (Komplexträger); например, при материнском комплексе символ матери будет наделен большим энергетическим зарядом и большей содержательной значимостью, чем при комплексе отца.

В динамике психической субстанции направленность и насыщенность коррелируют друг с другом: ведь градиент, делающий возможным движение психической энергии и детерминирующий его направленность, обуславливается неодинаковостью энергетического заряда различных психических явлений, то есть неодинаковой важностью их содержимого для индивида.

1 «Психологическим механизмом преобразования энергии является символ» (Über psychische Energetik, с. 80; Collected Works, vol. 8, p. 45).

2 Ср. ниже, раздел «Принцип обусловленности».

Либи́до или психическая энергия в юнговском смысле — это основа и регулирующий фактор всей психической жизни. Понятие либидо необходимо для логичного, трезвого описания психических процессов и их взаимоотношений. Но то же понятие вполне можно использовать и без предварительного решения вопроса о том, существует ли вообще такая вещь, как психическая энергия. Приступая к описанию жизни психической субстанции, происходящих в ней процессов, ее феноменологии, можно делать это в трех аспектах. Первый — это аспект ее структурных характеристик (такая точка зрения была принята нами в Главе 1); второй — это функциональный аспект, представленный теорией либидо: Наконец, третий аспект — практический; с ним мы сталкиваемся в психотерапевтических трудах. Именно этот последний аспект станет предметом рассмотрения в следующей главе.

3 Практическое применение юнговской теории

ДВУЕДИННЫЙ ХАРАКТЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ЮНГА

Юнговская психотерапия — при том, что она строго согласуется с достижениями науки и медицины — не является аналитической процедурой в обычном смысле. Ее точнее было бы обозначить термином *Heilsweg*, имея при этом в виду оба значения этого немецкого слова: путь к *исцелению* и путь к *спасению*. Она способна излечивать психические и психогенные страдания человека. Она обладает всеми средствами, необходимыми для устранения всякого рода незначительных психических расстройств, которые могут положить начало неврозу; в то же время ей под силу успешно справляться с серьезными и сложными формами психических заболеваний. Но, сверх того, ей известен путь к *спасению* и средства, с помощью которых человек может достичь этой высшей ступени самопознания и самоощущения — то есть того, что во все времена было целью всех духовных устремлений. Сама природа этого пути такова, что говорить о нем в абстрактных терминах очень сложно. Юнговская система мышления может быть объяснена только до определенного момента; чтобы понять ее до конца, человек должен всем своим существом пережить или, лучше сказать, *выстрадать* ее как живую, действенную силу. Как всякий процесс, способный преобразить человека, такое переживание может быть описано лишь в самых общих чертах, но отнюдь не систематически. Как любое душевное переживание, оно в высшей степени

лично; в его субъективности и состоит его самая действенная правда. Как бы часто переживание это ни повторялось, оно всякий раз остается неповторимым; только внутри субъективных рамок оно открыто для рационального понимания.

Итак, будучи медицинской дисциплиной, юнговская психотерапия одновременно представляет собой систему духовного воспитания и руководства, средство, помогающее формированию личности. Лишь немногие хотят и способны пойти по пути спасения. «И эти немногие вступают на путь, только побуждаемые внутренней потребностью, чтобы не сказать страданием; ибо идти им приходится по лезвию бритвы»¹.

Юнг не сформулировал никаких общих предписаний для лиц, готовых довериться его терапии. Метод и интенсивность применения психотерапии зависят от характера расстройства и конституции больного. Юнг признает важную роль сексуальности и стремления к власти. Очень часто происхождение психического расстройства удастся возвести к одному из этих двух факторов; соответственно, такие расстройства подлежат фрейдовским или адлеровским методам психотерапии! Но если сексуальность для Фрейда и воля к власти для Адлера — это главные объяснительные принципы, то с точки зрения Юнга не менее существенными могут быть и другие мотивации; Юнг отвергает точку зрения, согласно которой какой-либо один фактор может выступать в качестве источника любых психических расстройств. Помимо названных двух, безусловно очень важных факторов, Юнг обнаруживает и иные мотивации, одна из которых, особенно существенная, свойственна из всех живых существ только человеку: это врожденная духовная и религиозная потребность психической субстанции. Это ключевой момент теории Юнга, отличающий ее от всех прочих теорий и определяющий ее устремленность в будущее, ее синтезирующую направленность. «Духовное начало в психической субстанции выступает также в качестве инстинкта, настоящей страсти... Оно является не производным от какого-то другого инстинкта... а принципом *sui generis* (лат.: собственного рода), специфической и необходимой формой инстинктивной энергии»².

Миру природных, биологических инстинктов Юнг противопоставляет столь же значимое начало, формирующее и развивающее биологическую природу и данное только человеку. «Полиморфизму инстинктивной природы первобытного человека противопоставляет регулирующий принцип индивидуации... Вместе они образуют пару оппозиций, которая... часто обозна-

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 205; Collected Works, vol. 7, par. 401.

2 Über psychische Energetik, S. 103; Collected Works, vol. 8, p. 58.

чается терминами *природа* и *дух*... Это противопоставление служит выражением и, возможно, основой той напряженности, из которой проистекает психическая энергия»¹. Образно говоря, оно олицетворяет два основных тона, на которых строится полифоническая структура психической субстанции. «Рассматривая психические процессы с этой точки зрения, их можно оценить как процессы, поддерживающие динамическое равновесие энергии, которая перетекает от духа к инстинкту и обратно — хотя вопрос о том, должен ли этот энергетический обмен описываться как духовный или инстинктивный, остается неясным. Такая оценка всецело зависит от точки зрения, от позиции сознания... Итак, психические процессы подобны некоей шкале, вдоль которой „скользит“ сознание. Иногда оно вплотную приближается к инстинкту и подпадает под его влияние; иногда же оно достигает другого конца шкалы, где преобладает дух, способный ассимилировать даже те инстинктивные процессы, которые ему диаметрально противоположны»².

Термины «природа» и «дух», однако, не должны восприниматься в их обычном философском смысле. Мы не можем однозначно определить понятие *Trieb* («инстинкт», «побуждение», «склонность», «влечение»); Юнг использует этот термин для обозначения «инстинктивного действия или процесса», то есть автономной формы функционирования без осознанной мотивации. Следовательно, то, что он имеет в виду под «напряженностью» (*Spannung*) между природой и духом, есть прежде всего «частное противоречие между сознанием и бессознательным или инстинктивным», поскольку только такой конфликт доступен наблюдению. «В архетипических понятиях и инстинктивном восприятии дух и материя соприкасаются в плоскости психического. И материя, и дух выступают в сфере психического как отличительные качества, присущие содержанию сознания. В конечном счете природа обоих начал трансцендентна, то есть непредставима: ведь психическая субстанция — это единственная реальность, данная нам *непосредственно*»³.



ОТНОШЕНИЕ К ТОЧНЫМ НАУКАМ

Здесь мы подходим к ключевой идее, которая сообщает юнговской мысли направленность, тональность и глубину и делает его психологию открытой системой, не исключающей ни одной из новых проблем, которые

1 Über psychische Energetik, S. 93; Collected Works, vol. 8, pp. 51—52.

2 Von den Wurzeln des Bewusstseins, VII, S. 567 f.; Collected Works, vol. 8, p. 207.

3 Von den Wurzeln des Bewusstseins, S. 580; Collected Works, vol. 8, p. 216.

почти произвольно возникают всякий раз, когда мы приступаем к исследованию неизвестных областей психической жизни. Внимательному читателю может показаться, что в работах Юнга есть противоречия. Но при исследовании психической субстанции представление фактов должно соответствовать тому, что мы наблюдаем — а наблюдаемые нами факты, как некогда выразился сам Юнг, относятся не столько к категории «либо — либо» (*Entweder — Oder*), сколько к категории «либо и либо» (*Entweder und Oder*). Юнговское проникновение в истину есть одновременно познание и прозрение.

Кто попрекает Юнга «мистицизмом», вероятно, не сознает, что самая строгая из всех современных наук — теоретическая физика — «мистична» ровно в той же мере, что и юнговская психология, с которой у нее много точек соприкосновения¹. Дуалистическое «либо и либо», которое критики Юнга считают противоречием, принимается современной физикой просто потому, что таково требование, предъявляемое самой действительностью. Так, исследуя природу света, современный физик должен работать с двумя противоречащими друг другу гипотезами — волновой и корпускулярной; все попытки установить логическую связь между теорией относительности и квантовой теорией оканчивались неудачей. Но никто не обвиняет современных физиков в нелогичности или беспорядочности мышления: ведь факты, действительно, бросают вызов логике. Физикам приходится признать, что некоторые феномены, судя по всему, несводимы к единству или даже парадоксальны; конечно, это не лишает нас надежды, что единство — без всякого форсирования — все же когда-нибудь будет достигнуто.

Психология сталкивается с похожими трудностями: ~~отправляясь~~ от эмпирических фактов, она движется туда, где язык опыта способен разве что на самые приблизительные описания. В этом отношении Юнга следует считать «метафизиком» не в большей степени, чем любого специалиста по естественным наукам: ведь все, о чем говорит Юнг, также относится только к эмпирическим данным. Но в психологии, как и в современных естественных науках, существует предел, за которым кончается эмпирическое знание и начинается метафизика. Это признают и такие исследователи, как Планк, Гартман, Иксюль, Эддингтон, Джинс и многие другие. Конечно, ~~та~~ область эмпирического опыта, которую изучает юнговская психология, по самой своей природе закрыта для прежней, чисто рациональной мето-

1 Юнг сам проводит параллель между материей и психической субстанцией и указывает на возможность того, что они являются двумя сторонами одного и того же феномена (*Von den Wurzeln des Bewusstseins*, VII, S. 578; *Collected Works*, vol. 8, p. 215).

дологии. (Попутно можно заметить, что среди современных точных наук только физика имеет возможность выразить свои гипотезы — которые уже не поддаются фактической проверке — на чистом, свободном от ассоциаций языке математики.)

Итак, современная глубинная психология не может не быть двуликим Янусом: одно из ее лиц направлено к действительному опыту, а другое — к абстрактному мышлению или познанию. Не случайно многие глубокие европейские мыслители — в том числе Паскаль, Кьеркегор и Юнг — приходили к парадоксам (иногда очень плодотворным) всякий раз, когда им случалось сталкиваться с вопросами, на которые невозможно дать единственный, недвусмысленный и непротиворечивый ответ — а ведь именно таковы все вопросы, обусловленные двойственной природой психической субстанции.

Великое достижение Юнга состоит в разрыве с линейным, чисто причинным образом мышления прежней психологии; именно Юнгу мы обязаны открытием, что дух следует рассматривать не просто как эпифеномен или «сублимацию», а как *suī generis* формирующий и, значит, высший принцип, который выступает в качестве неотъемлемого условия любой психической и, возможно, даже физической формы. Даже при самом осторожном отношении к поспешным аналогиям нельзя не заме-

- 1 «Некоторые свойства микрофизического мира атома настолько живо напоминают то, что известно о психической субстанции, что поражают даже физиков» (Psychologie und Erziehung, S. 45 f.; Collected Works, vol. 17, p. 89). Более подробное рассмотрение данной темы и связанных с нею соображений см. в: C. A. Meier. Moderne Physik — Moderne Psychotherapie, in: Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie (Festschrift zum 60 Geburtstag von C. G. Jung). — Berlin, 1935; здесь же содержится соответствующая библиография. Особое внимание следует обратить на работы Нильса Бора: N. Bohr. Das Quantenpostulat und die neuere Entwicklung der Atomistik. — Die Naturwissenschaften (Brunswick), XVI (1928), S. 245; id. Wirkungsquantum und Naturbeschreibung. — Die Naturwissenschaften (Brunswick), XVII (1929), S. 483. Недавно физик Паскуаль Йордан из Ростока также обратил внимание на некоторые аналогии между открытиями современной физики с одной, и биологии и психологии — с другой стороны (P. Jordan. Die Physik des 20 Jahrhunderts. — Brunswick, 1936; id. Positivistische Bemerkungen über die parapsychischen Erscheinungen. — Zentralblatt für Psychotherapie (Leipzig), 9 (1936); id. Anschauliche Quantentheorie. — Berlin, 1936, S. 271 ff.; id. Die Physik und das Geheimnis des organischen Lebens. — Brunswick, 1941, S. 114 f.; id. Quantenphysikalische Bemerkungen zur Biologie und Psychologie. — Erkenntnis (Leipzig), 4 (1934)); см. также работы физика Макса Кнолля из Принстона и Мюнхена: M. Knoll. Wandlungen der Wissenschaft in unserer Zeit. — Eranos-Jahrbuch XX (1951), Zürich, 1952; id. Quantenhafte Energiebegriffe in Physik und Psychologie. — Eranos-Jahrbuch XXI (1952), Zürich, 1953. См. также: Von den Wurzeln des Bewusstseins, VII, S. 497 ff.; Collected Works, vol. 8, pp. 159 ff.

тить, что революционными потрясениями в современной физике мы обязаны именно логическим сложностям, с которыми столкнулся принцип причинности перед лицом новых данных. Согласно современным воззрениям, в интерпретации физического процесса место понятия строгой причинно-следственной связи должна занять концепция простой последовательности событий. Несколько десятилетий назад Юнг заметил, что для психологии категория причинности в том смысле, в котором она используется в естественных науках, не подходит. В своем предисловии к «Собранию работ по аналитической психологии»¹ он писал: «Причинность — это лишь *один* из возможных принципов; психологию нельзя исчерпать только причинными методами, поскольку дух живет также и целеполаганием». Это последнее свойство духа укоренено во внутреннем законе, недоступном нашему сознанию — законе, воздействие и проявления которого основываются на символах, порождаемых нашим бессознательным. Начиная с того времени Юнг, как уже было сказано, посвятил ряд трудов проблеме акаузальности и предложил ее в качестве особого принципа для объяснения некоторых явлений, объединенных им под рубрикой «осмысленных совпадений».

По существу, проявления творческого начала в психической субстанции человека не могут быть продемонстрированы и объяснены на основе чистой причинности. «В этом ключевом пункте психология отличается от естественных наук. С одной стороны, она придерживается того же метода наблюдения и эмпирической верификации фактических данных; с другой же стороны, ей недостает архимедовой внешней точки опоры и, значит, возможности объективного измерения»². «Нет архимедовой точки, на которой можно было бы основывать суждения, так как психическая субстанция неотличима от своих проявлений. Психическая субстанция — это не только объект психологии, но и — роковым образом — ее субъект. От этого никуда не уйти»³. И выводы, сделанные на основании данных современной физики такими мыслителями, как Уайтхед и Эддингтон, указывают на существование первичных формообразующих духовных сил, которые могут быть — и были-таки — названы «мистическими».

Итак, нам уже не следует по привычке страшиться слова «мистика». Прежде всего мы не должны смешивать мистику с дешевым иррационализмом, ибо речь — как и в случае совре-

1 Collected Papers on Analytical Psychology, 2nd Ed. — L. and N. Y., 1917, p. X—XII; Collected Works, vol. 4, p. 292.

2 Psychologie und Erziehung, S. 45; Collected Works, vol. 17, p. 88.

3 Psychologie und Religion, S. 91; Collected Works, vol. 11, pp. 49 f.

менной логики — идет о честном стремлении разума к установлению собственных границ, причем не путем отказа от признания автономной значимости «мистического», а путем признания за ним определенной суверенности исходя из верного представления о том, что такое «знание».

Работая в области, пограничной между познанием и переживанием, Юнг использовал весь свой творческий потенциал, чтобы преодолеть «капризный», во многом иррациональный характер предмета и установить необходимые и разумные разграничения. Отличительный признак «метафизика» заключается в смещении познания и переживания, в стремлении перевести любое переживание на язык понятий. И Юнг делает все от него зависящее, чтобы избежать этой ошибки.

Не случайно юнговская психология и современная логика прилагают один и тот же эпитет ко всем вопросам, на которые нельзя дать ответ и которые можно лишь пережить. Этот эпитет — «трансцендентные». Именно к разряду «трансцендентных» относятся проблемы, составляющие содержание юнговской психологии и психологического воспитания. Конечно, в данном случае также — и этого не следует забывать — определенную роль играет «субъективное уравнивание» (*subjektive Gleichung*), применимое ко всем людям, в том числе и к выдающимся ученым.

ПРИЧИННОСТЬ И «ФИНАЛИСТИЧНОСТЬ» С ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Сравнивая между собой центральные, наиболее значительные идеи ведущих психотерапевтических учений нашего времени¹, мы можем сказать, что Зигмунд Фрейд ищет исходные причины психических расстройств, тогда как Альфред Адлер исследует фактическую ситуацию, толкуемую как «конечная причина» (*causa finalis*); и оба они в качестве материальных причин рассматривают инстинкты. Что же касается Юнга, то он также принимает во внимание материальные причины, он также считает «конечные причины» альфой и омегой², но при этом делает весьма показательное дополнение в ви-

1 Систематическое сопоставление трех основных психотерапевтических течений см. в: W. Kranefeldt. *Die Psychoanalyse*. — Leipzig, 1930; G. Adler. *Entdeckung der Seele*. — Zürich, 1934; J. Jacobi. *Two Essays on Freud and Jung*. — Zürich, 1958.

2 «Согласно концепции *финалистичности*, причины понимаются как средства, ведущие к достижению некоторой конечной цели. В качестве простого примера можно привести процесс регрессии. Рассматривая регрессию с точки зрения причинности, ее можно определить, к примеру, как „фиксацию на матери“ (*Fixierung an die Mutter*). Но если рассуждать с

де *формальных* причин (*causae formales*). Последние представляют собой прежде всего символы, выполняющие роль посредников между бессознательным и сознанием, а в более общем случае — между психическими парами противоположностей.

Юнговская психология, «имея в виду конечный результат анализа, рассматривает исходящие из бессознательного мысли и импульсы как символы, указывающие на определенную направленность будущего развития. Мы могли бы согласиться с тем, что... для такой процедуры не существует научного обоснования, поскольку вся наша современная наука базируется на принципе причинности. Но причинность — это лишь *один* из возможных принципов; психологию нельзя исчерпать только причинными методами, поскольку дух живет также и целеположением. Помимо этого спорного аргумента философского порядка, мы можем привести в пользу нашей гипотезы и другие, значительно более ценные аргументы — в частности, жизненную необходимость. Невозможно жить, повинаясь только собственным инфантильно-гедонистическим побуждениям или инфантильному же стремлению к власти. В таких стремлениях и побуждениях следует видеть символический смысл. Из символического приложения инфантильных устремлений проистекает определенного рода философская или религиозная установка, в терминах которой должно характеризоваться дальнейшее развитие личности. Человек — это не просто устойчивый, не подверженный изменениям комплекс психологических данных; это еще и чрезвычайно переменчивая целостность. Редукция всего содержания психики до уровня чисто причинных факторов акцентирует присущие личности примитивные тенденции; такая редукция имеет смысл только при условии, что за примитивными тенденциями признается символическая значимость. Анализ и редукция приводят к выявлению истинных движущих причин; само по себе это не столько помогает нам выжить и жить дальше, сколько порождает резиньяцию и чувство безнадежности. С другой стороны, признание имманентной значимости символа приводит к выявлению конструктивной истины и помогает нам жить; оно порождает надежду и способствует дальнейшему развитию личности»¹.

В своей книге о структуре и движущих силах психической суб-

точки зрения финалистичности, мы придем к следующему выводу: либидо регрессирует к *imago* матери для того, чтобы обнаружить там элементы ассоциативной памяти, которые могли бы способствовать дальнейшему развитию — например, от сексуальной к интеллектуальной или духовной подсистеме» (*Über psychische Energetik*, S. 41; *Collected Works*, vol. 8, p. 23).

1 Из предисловия к первому изданию сборника: *Collected Papers on Analytical Psychology*. — L., 1916; *Collected Works*, vol. 4, pp. 292 ff.

станции Юнг пишет: «Приступая к объяснению психологического факта, следует помнить, что любые психологические данные предполагают двуединый — *причинный* и в то же время *финалистический* — подход. Я преднамеренно использую термин „финалистический“, чтобы избежать смешения с телеологическими категориями. „Финалистичность“ — это всего лишь имманентное психологическое стремление к цели. Вместо „стремление к цели“ (*Zielstrebigkeit*) можно было бы с тем же успехом сказать „чувство цели“ (*Zwecksinn*)»¹. Иными словами, если в основе фрейдовского метода лежит редукция, то в основе юнговского — устремленность в будущее. Фрейд трактует свой материал чисто аналитически, растворяя настоящее в прошлом; что же касается Юнга, то его трактовка материала *синтетична*: исходя из ситуации, сложившейся на данный момент времени, он намечает модель будущего, поскольку пытается связать между собой сознание и бессознательное — то есть психические противоположности — и тем самым создать личности ту основу, на которой могло бы быть построено длительное и устойчивое психическое равновесие.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Юнговский метод «диалектичен» не только потому, что он представляет собой диалог двух личностей и, следовательно, взаимодействие двух психических систем. Он диалектичен также и *внутренне* — поскольку это процесс, который, сталкивая между собой сознание и бессознательное, «Я» и «не-Я», порождает взаимодействие, в своей высшей точке приводящее к третьему звену, к синтезу, объединяющему и превосходящему два первых звена. Психотерапевту необходимо знать данный диалектический принцип и следовать ему: ведь будучи практиком, он не столько анализирует объект теоретически, на расстоянии, сколько пребывает *внутри* самого процесса анализа в той же мере, что и его пациент².

Именно поэтому, а также в силу автономного действия бессознательного, «перенесение» («трансфер», *Übertragung*), то есть слепое проецирование всех мыслей и чувств пациента на аналитика, при юнговской психотерапии не столь неизбежно, как при использовании других аналитических методов. Юнг даже склонен считать трансфер препятствием для достижения ре-

1 *Über psychische Energetik*, S. 154; *Collected Works*, vol. 8, p. 241.

2 Здесь и далее термин «пациент» (или «анализируемый») относится как к больным, так и к здоровым людям, ко всем тем, кто ищет исцеления или спасения, будь то невротики или лица, решившиеся пройти курс юнговской психотерапии ради того, чтобы с ее помощью сформировать свой характер.

альных терапевтических результатов — особенно если он приобретает преувеличенные формы. Как бы то ни было, «привязанность» к третьему лицу — например, отношение влюбленности — он считает не менее удовлетворительной основой для аналитического разрешения неврозов или для способствующего психическому развитию диалога с бессознательным. В отличие от Фрейда Юнг считает, что самое главное — не «пережить заново» давнюю, испытанную еще в детстве и породившую невроз травматическую эмоцию, а «прожить» нынешние затруднения с конкретным партнером и таким образом суметь их понять. Как аналитик, так и анализируемый должны полностью «отдаться» процессу; но при этом оба — в меру своих возможностей — должны сохранять объективность.

Каждый из участников анализа бессознательно влияет на партнера, и это обстоятельство играет в терапевтическом процессе весьма существенную роль. Встреча двух личностей подобна смешению двух химических веществ: если происходит реакция, она приводит к трансформации обоих исходных компонентов. «Участвуя в диалектической процедуре... врач должен отказаться от анонимности и дать такой же отчет о себе самом, какого он ждет от своего пациента»¹. Таким образом, в рамках юнговского метода роль аналитика не столь пассивна, как во фрейдовском анализе; врач руководит пациентом, воодушевляет его и на равных участвует в общении. Ясно, что при такой форме вмешательства, сильнейшим образом стимулирующей процесс психической трансформации (поскольку предполагающей взаимодействие двух жизненных процессов), личность врача, его позиция и кругозор, чистота его помыслов и его духовная мощь несравненно более значимы, нежели при использовании других методов глубинной психологии. Именно поэтому Юнг настаивает, чтобы аналитик, прежде чем приступать к психотерапевтической деятельности, сам непременно прошел через всестороннюю аналитическую процедуру: ведь никакой душеводитель не может провести своего подопечного дальше той точки, до которой ему удалось дойти самому. Следует отметить также, что даже самому умелому психотерапевту не дано извлечь из пациента больше того, что в нем заложено; никакая терапия не способна расширить конститутивные пределы психической субстанции. Психическое развитие любого человека обусловлено структурой его личности, и терапевт обязан оптимально действовать в заданных этой структурой пределах.

1 Grundsätzliches zur praktischen Psychotherapie. — Zbl. für Psychotherapie, VIII, 2, 1935; Collected Works, vol. 16, p. 18.

ПУТИ К БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ

Согласно Юнгу, есть «четыре метода исследования того, что в психической субстанции пациента остается неизвестным.

1. Первый и самый простой метод — это *метод ассоциаций*... Он заключается в обнаружении основных комплексов путем выявления нарушений в ответах на ассоциативные тесты. Метод ассоциаций рекомендуется всем начинающим в качестве введения в аналитическую психологию и симптоматологию комплексов.
2. Второй метод — *симптоматический анализ* — имеет чисто историческое значение... С помощью гипнотического внушения пациентов побуждают вспомнить вещи, лежащие в основе некоторых патологических симптомов. Данный метод эффективен в тех случаях, когда главной причиной невроза служит шок или психическая травма. Именно на нем основана ранняя фрейдовская „травматическая теория“ истерии...
3. Третий метод — метод *анамнестического анализа* — более важен как с исследовательской, так и с терапевтической точки зрения. На практике он состоит в тщательном сборе анамнеза — то есть восстановлении всего процесса развития невроза... Очень часто сбор анамнеза сам по себе имеет большое терапевтическое значение, поскольку сообщает пациенту об основных движущих силах его невроза и может в конце концов побудить его к решающей смене установки. Конечно, никакая терапия не может обойтись без анамнеза: ведь врачу необходимо не просто задавать вопросы, но и прибегать к намекам и объяснениям, указывающим пациенту на те важные связи, существования которых лсам пациент не сознает...
4. Четвертый метод — это *анализ бессознательного*... Он начинается с момента исчерпания того материала, который предоставляется сознанием... Анамнестический метод часто служит своего рода введением в этот четвертый метод... Контакт между личностями врача и пациента имеет первостепенное значение, так как образует единственную надежную основу для установления контакта с бессознательным... Установить такой контакт отнюдь не легко; вы можете добиться своего только при условии тщательного сопоставления точек зрения обоих участников аналитического процесса и, кроме того, при условии взаимной свободы от предубеждений и предрассудков... Начиная с этого момента, мы обращаемся к живому психическому процессу как таковому, а именно — к снам»¹.

1 Psychologie und Erziehung, S. 56 ff.; Collected Works, vol. 17, pp. 94 ff.

СНЫ
 Самый простой и эффективный способ исследования механизма и содержания бессознательного — это анализ *снов*, материал которых состоит из сознательных и бессознательных, известных и неизвестных элементов. Эти элементы смешиваются самыми разными способами и происходят из самых разных источников — начиная от так называемых «остаточных впечатлений дня» (Tagesresten) и кончая глубочайшими слоями бессознательного. Согласно Юнгу, порядок элементов в сновидениях не определяется ни причинными, ни пространственными, ни временными факторами. Язык снов архаичен, символичен и дологичен (prälogisch); это язык символов, смысл которых может быть выявлен только с помощью особого метода интерпретации. Юнг придает снам огромное значение; он считает их не только дорогой в бессознательное, но и функцией, с помощью которой бессознательное в значительной мере осуществляет свою *регулирующую* деятельность — ибо сны выражают «другую сторону», своего рода «изнанку» осознанной установки.

«Когда я попытался выразить „поведение“ снов определенной формулой, единственным подходящим понятием мне показалось понятие *компенсации*, поскольку оно одно способно охватить все аспекты того, как ведут себя сновидения. Компенсацию ни в коем случае не следует смешивать с *дополнительностью*. Понятие „дополнительности“ слишком узко, слишком ограничено; оно недостаточно для объяснения функции снов, ибо обозначает такую связь, при которой две вещи дополняют друг друга более или менее механически. С другой стороны, компенсация — как указывает сам термин — предполагает установление равновесия и сопоставление различных данных или точек зрения, что в конечном счете должно привести к их взаимному приспособлению или коррекции»¹. Представляется, что эта врожденная компенсаторная функция психической субстанции, направленная на достижение индивидуации (целостности), дана только человеку; ее, пожалуй, можно обозначить как присутствующую именно Ното сарпиенс форму психической деятельности.

В связи с этой важнейшей компенсаторной функцией снов, которые не только выражают тревоги и желания, но и воздействуют на все психическое поведение, Юнг отказывается от более или менее простых и однозначных объяснений в терминах «стандартных символов». Содержание бессознательного всегда поливалентно; его смысл зависит от контекста, в котором оно проявляет себя, от текущих условий внешней и внутренней жизни того лица, которому снится сон. Некоторые сны выходят за

1 Über psychische Energetik, S. 240; Collected Works, vol. 8, pp. 287 f.

рамки личного и выражают вещи, относящиеся к человеческому сообществу в целом. Такие сны часто содержат в себе нечто пророческое, и именно поэтому первобытные народы все еще считают их общим делом и превращают их толкование в особый ритуал, происходящий в присутствии всего племени.

В качестве проявлений бессознательного Юнг, помимо снов, выделяет *фантазии* и *видения*. Подобно снам, они обнаруживаются при пониженной функции сознания. Они несут как латентный, так и явный смысл и могут иметь в качестве источника как личностное, так и коллективное бессознательное. Поэтому с точки зрения психологической интерпретации они принадлежат к тому же разряду, что и сны. Показательно, что их спектр бесконечно широк — от обычных грез наяву до экстатических видений.

Итак, для Юнга *сон* — это главный инструмент терапевтического метода, относительно легко доступный путь к содержанию бессознательного; благодаря своей компенсаторной функции сон становится самым надежным индикатором скрытых взаимосвязей. «Проблема анализа снов всецело зависит от этой гипотезы (то есть гипотезы о бессознательном — *И. Я.*). Без нее сон есть просто каприз природы, бессмысленное нагромождение фрагментарных остатков дневных впечатлений»¹. Фантазии и видения пациента Юнг использует так же, как и его сны. Ограничиваясь в дальнейшем снами, мы делаем это лишь в интересах краткости и простоты; все сказанное в равной мере должно быть отнесено также и к фантазиям и видениям.

ТОЛКОВАНИЕ СНОВ

Наряду с обсуждением и разработкой психологически значимого материала на основе контекста и ассоциативных связей, предоставляемых не только больным, но и врачом, в диалектическом процессе анализа важное место занимает интерпретация снов, видений и всех прочих разновидностей образов, рожденных психической субстанцией. Но только сам пациент может решить, как будет истолкован его материал. Все зависит от его личностных качеств.

Соглашаясь на анализ, он должен исходить не из одних только рациональных соображений; его согласие должно быть по-настоящему пережито, и только это может служить залогом истинности последующей интерпретации. «Если аналитик хочет исключить осознанную подсказку, он должен рассматривать любые толкования снов как недействительные, пока ему не удастся найти формулу, обеспечивающую согласие пациен-

1 Wirklichkeit der Seele, S. 69; Collected Works, vol. 16, p. 139.

та»¹ — в противном случае каждое очередное сновидение будет ставить его перед той же проблемой, что и все предыдущие. Так будет происходить до тех пор, пока пациент не «изживет» проблему и в нем не разовьется новая установка. Люди, не знакомые с природой воздействия бессознательного, часто опасаются того, что интерпретация снов психотерапевтом может отрицательно повлиять на пациента. Возможности и опасности такого рода влияния сильно преувеличены, ибо, как показывает опыт, объективная психическая субстанция — то есть сфера бессознательного — в высшей степени автономна. Если бы это было не так, она не смогла бы выполнить столь характерную для нее функцию компенсации сознания. Сознание можно выдрессировать, как попугая; но бессознательное не поддается дрессировке². Если врач и пациент допустили ошибку в интерпретации, бессознательное с течением времени поправит их со всей суровостью: ведь оно, благодаря своей автономной деятельности и постоянному воспроизводству элементов собственного содержания, непрерывно катализирует диалектический процесс.

Фундаментальное различие между юнговским методом и другими аналитическими методами заключается в том, что в сновидениях и других аналогичных явлениях Юнг видит не только отражения личностных конфликтов, но и, во многих случаях, проявления коллективного бессознательного, трансцендентные по отношению к личностным конфликтам и уравнивающие их переживанием исконных, общечеловеческих проблем. Здесь мы вынуждены ограничиться только кратким наброском теории и метода юнговского анализа сновидений.

«Сон не может быть объяснен психологией, построенной только на изучении сознания. Это определенный способ функционирования психической субстанции, не зависящий от желания и воли, от намерений и осознанного целеполагания „Я“. Он произволен, как и все происходящее в природе... Весьма вероятно, что мы видим сны непрерывно, просто в бодрствующем состоянии наше сознание производит такой шум, что мы ничего иного не слышим... Если бы мы могли фиксировать процесс на всем его протяжении, мы бы убедились, что он идет по вполне определенной колее»³. Иными словами, сон — это естественное, автономное и преследующее неизвестные сознанию цели проявление психической субстанции. Сон обладает собственным языком и собственными закономерностями, к которым мы не должны подходить с субъективными мерками психологии сознания. «Это не человек видит сны; это сны являются человеку. Мы „ис-

1 Wirklichkeit der Seele, S. 81; Collected Works, vol. 16, p. 147.

2 Psychologie und Alchemie, S. 75; Collected Works, vol. 12, par. 51.

3 Kindertraumseminar, 1938—1939.

пытываем “сны; мы служим их объектами»¹). Можно без особого преувеличения утверждать, что в сновидениях мы переживаем мифы и сказки — но не так, как в состоянии бодрствования, когда мы их читаем, а так, как если бы они были реальными событиями нашей жизни.

КОРНИ СНОВИДЕНИЙ

Насколько можно судить, сновидения укоренены отчасти в содержимом сознания — фрагментарных впечатлениях, оставшихся от событий прошедшего дня, — отчасти же в констеллированном содержании бессознательного, которое, в свою очередь, может вести свое происхождение либо от содержания сознания, либо от спонтанных процессов, происходящих в бессознательном. Последние же, не выказывая никаких связей с сознанием, могут проистекать из самых разнообразных источников: соматических или психических реакций на окружающее, событий прошлого или будущего — ведь некоторые сны воспроизводят исторические события далекого прошлого или (как часто бывает в случаях явно архетипических сновидений) предвосхищают будущее. Известны сновидения, ведущие свое происхождение от утраченного, словно никогда и не существовавшего сознательного контекста, от которого если что-то и осталось, то в лучшем случае разрозненные, недоступные пониманию фрагменты; известны и такие сны, в которых выявляются все еще не осознанные личностью глубины ее собственной психической субстанции.

Уже было сказано, что по Юнгу *порядок* образов в сновидениях является внепространственным, вневременным и внепричинным. Сон — это «загадочное послание сознанию от ночной сферы души»².

Сон — чем бы он нам ни казался — никогда не бывает простым повторением предшествующих событий или переживаний. Единственное исключение из этого правила — определенная категория сновидений, связанных с реакцией на психический шок или травму, причиненную некоторыми объективными событиями (например, войной). Такие сны, будучи по существу воспроизведением травматического или шокового переживания, не могут быть истолкованы как компенсаторные. К тому же вызвавший их к жизни шок не удастся рассеять путем выведения его в сферу сознания. «Сон продолжает невозмутимо „воспроизводить“: содержание травматического переживания

1 Kindertraumseminar, 1938—1939.

2 Wirklichkeit der Seele, S. 88; Collected Works, vol. 16, p. 151.

становится автономным и будет продолжать воздействовать до тех пор, пока травматический стимул не исчерпает себя сам»¹.

По словам Юнга, сон «всегда связывается в единое целое или изменяется согласно собственным целям — пусть незаметно, но не совсем так, как это соответствовало бы целям сознания или влиянию причинных факторов»².

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СНОВИДЕНИЙ

По своему значению сны бывают трех типов:

1. За осознанной ситуацией следует сон, представляющий собой реакцию сферы бессознательного. Восполняя или дополняя эту ситуацию, он явственно указывает на впечатления дня; ясно, что возникновение такого сна прямо обусловлено событиями недавнего прошлого.
2. Сон вызывается к жизни не осознанной ситуацией, а спонтанным действием бессознательного; последнее создает ситуацию, настолько отличающуюся от сложившейся на данный момент в сфере сознания, что возникает конфликт между обеими сферами. Если в случае снов первого типа сознательный компонент выполняет функцию доминантного полюса, от которого происходит отток энергетического потенциала в направлении бессознательного, то в снах второго типа соблюдается равновесие обоих полюсов.
3. Когда позиция бессознательного сильнее, градиент направлен от бессознательного к сознанию. Именно в таких случаях мы сталкиваемся с исполненными значения снами, способными иногда внести серьезнейшие изменения в ориентацию сознания или даже произвести в нем полный переворот.

Третий тип, когда максимум действенности и смысла сосредоточен в области бессознательного, включает наиболее удивительные, труднее всего поддающиеся толкованию и при этом особенно содержательные сны; именно в таких снах отражаются бессознательные процессы, никак не связанные с сознанием. Тот, кому снятся сны этого типа, не понимает их и обычно всячески дивится тому, что ему вообще может привидеться нечто подобное: ведь он не способен обнаружить даже косвенную связь между снами и тем, что занимает его сознание. Именно в силу своей архетипичности такие сны способны оказывать потрясающее воздействие; иногда в них обнаруживается даже нечто пророческое. Нередко они предшествуют душевной болез-

1 Über psychische Energetik, S. 182; Collected Works, vol. 8, p. 261.

2 Kindertraumseminar, 1938—1939.

ни или тяжелой форме невроза; внезапно вторгающееся содержание производит на человека глубокое впечатление даже тогда, когда он его не понимает¹.

Многие думают, что архетипические сны полезны для душевного здоровья; но это мнение должно быть отвергнуто. Напротив, частое возникновение архетипических сновидений указывает на излишнюю подвижность коллективных глубин бессознательного, чреватую внезапными взрывами и потрясениями. В таких случаях анализ должен осуществляться медленно и с величайшими предосторожностями. Каким бы благотворным архетипический сон ни был потенциально, если его содержание не может быть правильно понято и интегрировано в должный момент, он становится крайне опасным: он несет в себе опасность психического расстройства, если «Я» того лица, которому он приснился, все еще не обладает достаточной широтой и в силу этого не способно справиться с натиском архетипического содержимого.

Дифференцируя сны, мы должны задаться вопросом: как реакции бессознательного связываются с осознанной ситуацией? Здесь существует величайшее разнообразие оттенков — от простой, однозначной реакции на осознанное содержание до спонтанных проявлений бессознательных глубин².

ПОРЯДОК ЭЛЕМЕНТОВ В СНОВИДЕНИЯХ

Как, с помощью каких методов мы интерпретируем сновидения?

Любая интерпретация есть лишь гипотеза, попытка расшифровать неизвестный текст. Лишь изредка при истолковании сна удастся достичь более или менее надежного результата. Относительная уверенность в правильности интерпретации возможна только применительно к сериям сновидений: каждый последующий сон исправляет ошибки, допущенные при интерпретации предыдущих. Юнг был первым исследователем, анализировавшим целые серии снов. Он исходил из предположения, что «сны подобны монологам, происходящим под покровом сознания»³ — при том, что их хронологический порядок далеко не всегда совпадает с внутренним смысловым порядком, то есть сон *В* вовсе не обязательно следует за сном *А*, а сон *В* —

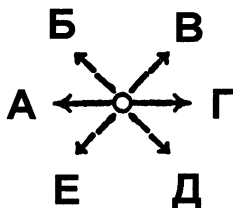
1 Поразительный пример приводится в: C. A. Meier. Spontanmanifestationen des kollektiven Unbewussten. — Zentralblatt für Psychotherapie (Leipzig), XI (1939); ср. также детский сон о «злом звере», подробно рассмотренный в моей работе: J. Jacobi. Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie von C. G. Jung.

2 Kindertraumseminar, 1938—1939.

3 Kindertraumseminar, 1938—1939.

за сном *Б*. Порядок снов скорее следовало бы назвать *радиальным*: сны скапливаются вокруг некоего «смыслового центра», от которого расходятся лучами, как показано на диаграмме 1. Сон *В* вполне может наступить непосредственно после сна *А*, а сон *Б* может как предшествовать *Е*, так и следовать за ним. Вы-

Диаграмма 1



явление и осознание смыслового центра приводят к прекращению его действия; возникает новый центр, порождающий новые сны и т. п. Очень важно, чтобы пациент постоянно вел запись своих снов и их толкований; «таким образом пациент учится справляться с собственным бессознательным без помощи врача»¹. Психотерапевт должен активно руководить пациентом. Он участвует в процессе, указывая на возможный смысл сна и подсказывая *направленность* развития пациента. Только при этом условии последний может осознанно усваивать и ассимилировать интерпретацию собственных сновидений². «Подлинное толкование снов — это такая задача, которая, как правило, предъявляет весьма высокие требования. Она предполагает высокоразвитую способность к психологической эмпатии (вчувствованию), способность к упорядочению материала, острую интуицию, знание жизни и людей и, прежде всего, особого рода *проницательность*, которая определяется как широтой кругозора, так и тем, что называют „разумом сердца“ (франц.: *intelligence du coeur*)»³.

1 Wirklichkeit der Seele, S. 86; Collected Works, vol. 16, p. 150.

2 Ср. с. 455, где говорится о диалектическом процессе.

3 Über psychische Energetik, S. 238; Collected Works, vol. 8, p. 286.

МНОГОСМЫСЛЕННОСТЬ СНОВИДЕНИЙ

Содержание любого сна многообразно и, как уже было сказано, обуславливается характером и личностью человека, которому он снится. Интерпретация «по словарю», то есть на основании стандартных символов, абсолютно несовместима с юнговской точкой зрения на природу и структуру психической субстанции. Чтобы истолковать содержание сна правильно и действенно, следует хорошо знать обстоятельства жизни рассказчика и его явную, сознательную психологию. Более того, следует сделать все возможное, дабы установить контекст сна; для этого аналитиками используются методы ассоциации и амплификации. Искомый контекст — это «сетка взаимосвязей, в которую естественным образом вплетено содержание сна. Теоретически эта сетка не может быть известна заранее; смысл любого сновидения и любой его части должен быть а priori постулирован как неизвестный»¹. Лишь после того, как контекст тщательно выверен, можно приступать к интерпретации. О результате можно говорить после того, как смысл, извлеченный из контекста, сопоставляется с записью сна, а также после выявления реакции рассказчика на предлагаемое толкование смысла сна (то есть после определения того, в какой степени рассказчик принимает или отвергает это толкование). Но нам ни при каких обстоятельствах нельзя основывать свое отношение к смыслу сновидения на основании его соответствия или несоответствия нашим априорным ожиданиям. На самом деле истинный смысл сна сплошь и рядом выказывает поразительные отличия от того, что мы способны предвидеть с наших субъективных позиций. Решение, внешне соответствующее ожидаемому, должно вызвать подозрение — ведь бессознательное обычно бывает на удивление «иным». Сны, смысл которых совпадает с осознанной ориентацией рассказчика, встречаются крайне редко².

1 Kindertraumseminar, 1938—1939.

2 Приведем пример компенсаторной функции сна. Человеку снится, будто на дворе весна, но все ветки на его любимом дереве в саду — сухие. В этом году дерево осталось без листьев и цветов. Сновидение несет в себе следующее сообщение: можешь ли ты увидеть себя в этом дереве? Ты именно таков, пусть даже не хочешь этого признавать. Вся твоя природа иссохла, в тебе чахнут все всходы. Такие сны служат уроком для людей, чье сознание сделалось автономным и начало играть слишком важную роль. Сны человека, в психической субстанции которого гипертрофирована сфера бессознательного — то есть человека, живущего чисто инстинктивной жизнью, — также всячески подчеркивают его «иную сторону». Безответственным, низменным натурам часто снятся морализирующие сны, тогда как в сновидениях людей, воплощающих собой добродетель, сплошь и рядом встречаются разного рода аморальные образы.

Юнг считает, что отдельно взятый сон очень редко может прояснить психическую ситуацию человека; в лучшем случае он позволяет высветить какую-либо частность. Полноценную картину причин и природы психического расстройства мы можем получить только на основании наблюдений и толкований, относящихся к сравнительно долгим сериям снов. Можно утверждать, что серия сновидений замещает собой тот контекст, который фрейдовский анализ стремится выявить с помощью «свободных ассоциаций». В случае же юнговского анализа «направленные ассоциации», катализируемые и управляемые аналитиком и проявляющиеся в сериях снов и т. п., способствуют прояснению и регуляции психического процесса.

КОМПЕНСАТОРНЫЙ АСПЕКТ СНОВ

ККак правило, ориентация бессознательного дополняет или компенсирует сознательную установку. «Чем более однобоко ориентирована сознательная установка, чем дальше отклоняется она от оптимума, тем вероятнее появление ярких сновидений с резко контрастирующим, но при этом в высшей степени целесообразным содержанием — сновидений, в которых выражает себя процесс саморегуляции психической субстанции»¹. Характер компенсации, конечно же, находится в тесной связи с «Я» данного человека. «Только зная о том, что происходит в сознании индивида, мы сможем прийти к обоснованному толкованию значений, которые несет с собой его бессознательное... Между сознанием и сном существует взвешенное, полное тончайших нюансов взаимодействие... В этом смысле теорию компенсации можно считать фундаментальным законом психического поведения»².

Помимо обычной компенсаторной функции, выступающей у нормальных людей при нормальных внешних и внутренних условиях, сны способны выполнять также функцию редукции и функцию предвосхищения. Содержание снов может осуществлять негативную компенсацию, редуцируя индивида до его «человеческой ничтожности, до его зависимости от физиологических, исторических и филогенетических условий» (материал этого рода был блестяще исследован Фрейдом); но оно же может осуществлять и позитивную компенсацию, предлагая индивиду своего рода «руководящий образ», который корректирует самоуничижительную установку и оптимизирует ориентацию сознания. Обе формы компенсации могут принести пользу. Предвосхищающую функцию сна следует отличать от его компенса-

1 Über psychische Energetik, S. 175; Collected Works, vol. 8, p. 253.

2 Wirklichkeit der Seele, S. 90; Collected Works, vol. 16, pp. 153—154.

торной функции. Последняя означает, что бессознательное, вступая в связь с сознанием, «снабжает» его вытесненными элементами, без которых сознание неполно. «Компенсация, трактуемая как саморегуляция психического организма, целесообразна (то есть соответствует принципу финалистичности). Предвосхищающая функция — это заключенное в пределах бессознательного предвидение будущих достижений сознания, подобие предварительного упражнения или наброска»¹.

Из всей юнговской концепции структуры снов, из того значения, которое Юнг придает осознанной ситуации, равно как и контекстуальной и позиционной значимости мотивов сновидения, из вневременной и внепространственной природы, приписываемой им снам, со всей очевидностью вытекает, что к его интерпретации снов — в противоположность фрейдовской — принцип причинности применим только в самом ограниченном смысле. «Рассмотрение сна с финалистической точки зрения... предполагает не столько отрицание причин сна, сколько иное толкование ассоциативного материала, скопившегося вокруг сновидения»². Кроме того, как мы вскоре убедимся, оно предполагает также иной *метод* истолкования. Юнга в первую очередь интересуют вовсе не действенные причины; он даже считает, что сны «часто бывают *предвосхищающими*; если такие сны рассматривать только с точки зрения причинности, в них не обнаружится никакого особенного смысла. На самом же деле они предоставляют безошибочную и многостороннюю информацию об обстоятельствах психической жизни пациента; понимание этой информации имеет величайшее терапевтическое значение». Сказанное относится в особенности к «исходным снам» — то есть к снам, которые сняты пациенту на ранних стадиях анализа; ибо «любой сон — это орган информации и контроля»³.

СНЫ КАК «СТРАНА ДЕТСТВА»

Процесс анализа направлен к «стране детства» — ко времени, когда нынешнее рациональное сознание еще не отделилось от исторической психической субстанции, то есть от коллективного бессознательного. Иначе говоря, цель анализа — возвращение не просто в «страну», из которой берут начало наши детские комплексы, но и в доисторическую «страну-колыбель» всех наших индивидуальных душ. Любому человеку так или иначе приходится покинуть «страну детства»; но слишком часто люди удаляются от исконной сумеречной

1 Über psychische Energetik, S. 186, 179; Collected Works, vol. 8, pp. 258, 255.

2 Über psychische Energetik, S. 157; Collected Works, vol. 8, p. 243.

3 Wirklichkeit der Seele, S. 77, 91; Collected Works, vol. 16, pp. 144—145, 153.

психической субстанции настолько далеко, что это приводит к утрате естественных инстинктов. «В итоге происходит атрофия инстинктов и — что отсюда следует — неспособность ориентироваться в повседневной жизни. Отпадение от „страны детства“ приводит и к другому последствию: „страна“ эта становится средоточием чего-то абсолютно детского, постоянным источником инфантильных наклонностей и импульсов. Вторжения последних, естественно, воспринимаются сознательным разумом как нечто в высшей степени нежелательное, и поэтому он их систематически подавляет. Но именно систематический характер подавления способствует прогрессирующему отчуждению от первоисточника; „утечка“ инстинкта в конечном счете переходит в „утечку“ души. В итоге сознательный разум либо оказывается полностью затоплен инфантилизмом, либо вынужден постоянно и безуспешно защищать себя от такого затопления с помощью то ли аффектированного старческого цинизма, то ли горькой резиньяции. Мы должны ясно отдавать себе отчет в том, что, несмотря на все свои достижения, рациональная установка современного сознания во многих важных для человека отношениях отличается инфантильной неприспособленностью и враждебностью жизни. Лишившись питательных соков, утратив гибкость и многогранность, жизнь вызывает к повторному обретению своих первоисточков. Но о возвращении к последним можно говорить только при условии, что сознательный разум позволит увести себя обратно в „страну детства“ и там, как и в прежние времена, получит направляющие импульсы со стороны бессознательного. Оставаться ребенком слишком долго — это значит впасть в инфантилизм; но не меньшим инфантилизмом следовало бы считать и такую установку, когда человек, повзрослев, начинает утверждать, будто от детства ничего не осталось. Стоит нам вернуться в „страну детства“, как нас охватывает страх перед угрозой инфантилизма — ведь мы не понимаем, что все психическое двулико. Одно из лиц смотрит вперед, другое — назад. Как все жизненные реалии, психическое по природе своей амбивалентно и, значит, символично.

Мы находимся на вершине сознания, по-детски веря в то, что дорога отсюда ведет все выше и выше, ко все новым и новым вершинам. Но путь от одной вершины к другой — это химерический радужный мост¹. Чтобы достичь следующей вершины, мы должны прежде спуститься в долину, где пути начинают расходиться... Противостояние сознательного разума сфере бессознательного и умаление последней были исторически необходимыми этапами развития психической субстанции человека, ибо если бы этого не произошло, сознательный разум так

1 См. ниже, с. 476.

и не пришел бы к возможности самодифференциации». Но сознание современного человека, пожалуй, слишком удалилось от своих истоков, то есть от бессознательного; мы забыли, что бессознательное функционирует не в согласии с нашими осознанными целями, а безотносительно к ним. «Поэтому сближение с бессознательным вызывает в цивилизованных людях панический страх, и притом не в последнюю очередь из-за угрожающих аналогий с душевной болезнью. Интеллект ничего не имеет против того, чтобы анализировать бессознательное как пассивный объект; деятельность подобного рода вполне согласуется с нашими рациональными ожиданиями. Но среднему современному европейцу явно не хватает смелости и способности позволить бессознательному идти своим путем; его страшит перспектива пережить его как нечто реальное. Европейец предпочитает просто-напросто не понимать эту проблему. Для духовно „хилого“ человека невозможно придумать ничего лучшего, ибо проблема сама по себе не лишена скрытых опасностей. Переживание бессознательного — это тайна, поделиться которой можно лишь с очень немногими»¹.

В психике современного человека сознательная сфера гипертрофирована; соответственно, подавленная, словно перекрытая со всех сторон плотинами область бессознательного грозит в любой момент прорвать препятствия и затопить сознательный разум. Вот почему потребность в том, чтобы интегрировать бессознательное в целостную психическую субстанцию, сделалась специфически западной и современной проблемой, имеющей ключевое значение не только для отдельных индивидов, но и для целых народов. Что же касается людей Востока и, вероятно, африканцев, то у них мы наблюдаем совершенно иное соотношение между сознанием и бессознательным.

Юнг придерживается мнения, что прежде чем иметь дело с материалом коллективного бессознательного, мы должны вывести инфантильное содержимое в область сознания и интегрировать его. «Исследование нужно начинать с личностного бессознательного; прежде всего следует сделать его достоянием сознания»². В противном случае путь к коллективному бессознательному останется закрытым. Любой конфликт вначале должен быть проанализирован в свете опыта данной личности. Поначалу основное внимание должно быть обращено на самую интимную сторону жизни индивида и на связанное с ней психическое содержание; и лишь после этого человека можно развернуть лицом к универсальным проблемам бытия. Данный путь,

1 Psychologie und Alchemie, S. 97, 85; Collected Works, vol. 12, pars. 74—75, 60—61.

2 Psychologie und Alchemie, S. 98 ff.; Collected Works, vol. 12, par. 81.

ведущий к активации архетипов и объединению сознания и бессознательного или установлению должного равновесия между ними, и есть путь «исцеления»; технически же это путь, по которому движется интерпретация снов.

ЭТАПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СНОВ

Обобщим сказанное еще раз. Техника анализа снов подразделяется на следующие этапы: описание ситуации сознания на данный момент времени; описание предшествовавших событий; исследование субъективного контекста и, в случае выявления архаических мотивов, сопоставление с мифологическими параллелями; наконец, в сложных случаях — сравнение с объективными данными, полученными из других источников.

С другой стороны, путь, преодолеваемый содержанием бессознательного, в общих чертах состоит из следующих этапов:

- 1) понижение порога сознания, что позволяет содержанию бессознательного всплыть на поверхность¹;
- 2) выявление содержания сферы бессознательного в снах, видениях, фантазиях;
- 3) восприятие и фиксация этого содержания сознанием;
- 4) анализ, прояснение, истолкование и понимание смысла этого содержания;
- 5) интеграция этого смысла в контекст общей психической ситуации личности;
- 6) обретение, инкорпорация и разработка обнаруженного таким образом смысла;
- 7) достижение такой степени полноты и органичности инкорпорации «смысла» в психическую субстанцию, при которой он входит, так сказать, в плоть и кровь, то есть становится *инстинктивно* защищаемым знанием.

СТРУКТУРА СНОВ

Юнг обнаружил, что сны в большинстве своем вызывают определенное структурное сходство. В противоположность Фрейду, он считал, что каждый сон — это самодовлеющая целостность, драматическое действие, поддающееся членению на элементы пьесы греческого театра.

1. *Место, время, действующие лица*: это начало сна, которое часто указывает на обстановку действия и состав персонажей.

1 Некоторые пациенты испытывают на этом этапе существенные затруднения; тайная тревога, связанная с перспективой выявления содержания бессознательного, служит частой причиной бессонницы.

2. *Экспозиция* (постановка задачи). Здесь представляется центральное содержание сна: бессознательное обрисовывает тот вопрос, на который ему предстоит ответить в течение сна.
3. Собственно *действие* — своего рода «хребет» сна; здесь разворачивается «сюжет», действие движется к кульминации, трансформации или катастрофе.
4. *Разрешение*, итог сна, его осмысленное заключение и раскрытие заключенного в нем компенсаторного «посыла».

Эта обобщенная модель, по которой строится большинство снов, образует основу для интерпретации¹. Сны, не содержащие разрешения, указывают на трагический ход развития жизни индивида; но такие сны образуют весьма специфическую категорию и их не следует смешивать со снами, лишенными разрешения потому, что рассказчик не может его вспомнить или не все о нем рассказывает. Излишне говорить, что психотерапевту очень редко удастся с самого начала получить полный отчет о сновидении. Часто для того, чтобы полностью раскрыть структуру сна, ему приходится провести тщательное исследование.

ПРИНЦИП ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

В целях истолкования снов Юнг использовал так называемый *принцип обусловленности*². «При таких-то и таких-то условиях может возникнуть такое-то и такое-то сновидение»³; все определяется сложившейся к данному моменту ситуацией со всеми наличествующими в ней услови-

1 В качестве примера можно привести сон шестилетнего ребенка, описанный в *Kindertraumseminar*, 1938—1939 (неопубликованные материалы): «Перед девочкой возникает прекрасная радуга. Карабкаясь на нее, девочка достигает неба. Оттуда она зовет свою подружку Мариетту подняться к ней. Но Мариетта никак не может решиться; наконец, радуга исчезает, и девочка падает на землю». *Место* — явление природы: перед девочкой вырастает радуга. *Экспозиция* также соотносится с этим местом: девочка карабкается по радуге и достигает неба. *Действие* или разворачивание сюжета: она зовет подружку подняться к ней, но та колеблется, и наступает *разрешение*: радуга исчезает, и девочка падает обратно на землю.

2 Физиолог и философ Макс Ферворн (1863—1921), выдвинувший понятие «обусловленности», определил его так: «Любое состояние или процесс определяется некоторой совокупностью условий: (1) сходные состояния или процессы всегда служат выражением сходных условий, тогда как несходные условия выражаются в форме несходных состояний и процессов; (2) совокупность условий любого состояния или процесса тождественна самому этому состоянию или процессу. Отсюда следует, что состояние или процесс полностью изучены, если установлена совокупность их условий» (M. Verworn. *Kausale und konditionale Weltanschauung*, 3 Aufl. — Jena, 1928).

3 *Kindertraumseminar*, 1938—1939.

ями. С точки зрения принципа обусловленности одни и те же проблемы и причины в зависимости от контекста могут быть наделены совершенно различным смыслом; не следует, отвлекаясь от реальной ситуации и реальных обстоятельств, закреплять за одним и тем же явлением один и тот же смысл.

Принцип обусловленности — это расширенная форма принципа причинности, то есть поливалентная интерпретация причинных отношений. Это попытка «постижения строгой причинности через разнообразно взаимодействующие условия, попытка расширенного понимания простого смысла причинно-следственных отношений через многослойный смысл отношений между следствиями. Таким образом, причинность в общем смысле не опровергается; она просто приспосабливается к разнородному материалу живого»¹ и, значит, расширяется и дополняется. Соответственно, смысл того или иного мотива сновидения объясняется не только на основании его причинных связей, но и через его «позиционную значимость»² в общем контексте сна.

МЕТОД АМПЛИФИКАЦИИ

Вместо того, чтобы работать со «свободными ассоциациями», Юнг использовал метод, названный им методом *амплификации* (усиления, расширения). По его мнению, хотя свободные ассоциации в конечном счете «всегда приводят к комплексу, мы не можем быть уверены, что именно данный комплекс и составляет настоящий смысл сна... Конечно, мы всегда можем так или иначе добраться до наших комплексов, поскольку они являются полюсами притяжения для всего остального психического материала»³. Но бывает и так, что сон указывает на нечто прямо противоположное содержанию комплекса: с одной стороны, на естественную функцию, которая могла бы избавить индивида от его комплекса, с другой же стороны — на путь, который мог бы избрать этот индивид. В противоположность фрейдовскому методу *reductio in primum figuram* («редукции к исходному»), амплификация является не просто непрерывной, ведущей в прошлое цепочкой ассоциаций, а процессом, благодаря которому содержание сна расширяется и обогащается через привлечение аналогий. Метод амплификации отличается от метода свободных ассоциаций также и в том отношении, что источником ассоциаций здесь, наряду с пациентом или лицом, рассказывающим собственный сон, является

1 Kindertraumseminar, 1938—1939.

2 См. также выше, с. 444.

3 Kindertraumseminar, 1938—1939.

сам аналитик. Аналогии, предлагаемые аналитиком, часто определяют направленность ассоциаций, возникающих у пациента. При всем своем богатстве и разнообразии такие аналогии и образы всегда родственны содержанию сна; что же касается свободных ассоциаций, то в нашем распоряжении нет никаких способов контролировать их поток и предотвращать его «растекание» в стороны, весьма далекие от содержания сна.

Итак, амплификация — это ограниченный, контролируемый и направляемый ассоциативный процесс, который так или иначе вращается вокруг смыслового ядра сновидения и тем самым помогает аналитику нащупать это ядро. «Амплификация приносит пользу в тех случаях, когда приходится иметь дело со смутными, неясными переживаниями, которые можно понять только поместив их в определенный психологический контекст (что, в свою очередь, требует их расширения, увеличения их объема). Именно поэтому, толкуя сны в духе аналитической психологии, мы прибегаем к амплификации: ведь сон — это очень тонкий намек, который чрезвычайно сложно понять, не обогатив его определенным набором ассоциаций и аналогий»¹.

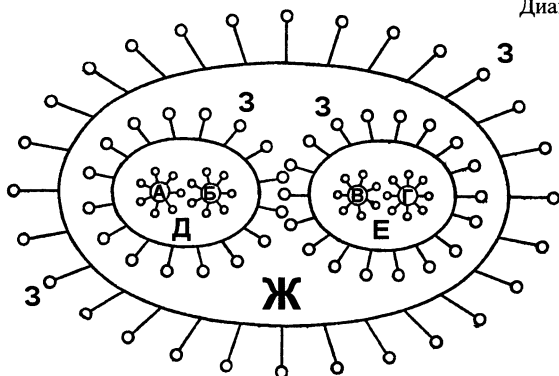
Пользуясь методом амплификации, мы выбираем те или иные аналогии не на основе временного совпадения или какого-либо научного, исторически обусловленного критерия, а потому, что их смысловое ядро идентично содержанию исследуемого сна или в каком-то отношении походит на него. Принимая в качестве данности, что все, когда-либо выраженное человеком в словесной или образной форме (независимо от того, было ли это сделано под воздействием вдохновения, родилось ли в рамках традиции или в процессе научного исследования), обладает абсолютной психической реальностью, мы можем утверждать, что любая аналогия помогает уточнить, объяснить и подтвердить наше толкование мотивов сновидения постольку, поскольку она указывает на те же архетипические представления. Такая амплификация представляет собой новый и плодотворный научный метод исследования психологом, мифологом и самых разнообразных психических структур.

Амплификацию следует применять к любым элементам сновидения — если только мы хотим сформировать для себя некую общую картину, на основании которой можно было бы расшифровать скрытый «смысл». В рамках юнговского метода амплификации различные мотивы сна «обрастают» родственными образами, символами, легендами, мифами и т. п., в результате чего постепенно выявляются их самые различные аспекты и возможные смыслы; в конечном счете это приводит к полному прояснению их значения. Полученные смысловые элементы свя-

1 Psychologie und Alchemie, S. 397; Collected Works, vol. 12, par. 403.

зываются друг с другом, и в итоге формируется непрерывная цепь мотивов сна, а сам сон, как некое единство, становится доступен окончательной верификации. Диаграмма 2 в общих чертах иллюстрирует этот процесс.

Диаграмма 2



- А, Б, В, Г – отдельные мотивы
 Д, Е – смысловые элементы (мотивы сна), например:
 А – рог, Б – зверь, Д – рогатый зверь
 Ж – сон в целом как осмысленное единство,
 аналог мифологемы
 3 – точки соответствия

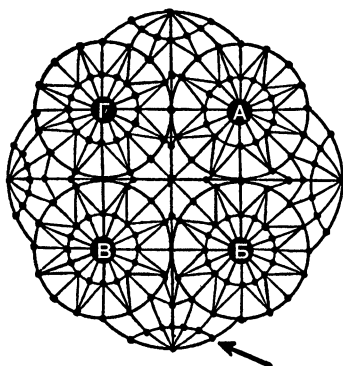
РЕДУЦИРУЮЩАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

На диаграммах 3 и 4 в самом общем виде сопоставлены метод амплификации и метод «редукции к исходному». В обоих случаях процесс интерпретации начинается с четырех исходных содержательных элементов сна: А, Б, В, Г. Благодаря использованию амплификации они сочетаются во всех направлениях, с учетом всех возможных аналогий; их ассоциативное поле расширяется, что приводит к максимально полному прояснению их смысла. Если, например, в качестве элемента сна выступает фигура реального отца, амплификация может обогатить и расширить ее до масштабов идеи «отцовства» как такового.

Используя редуцирующий метод интерпретации — который исходит из того, что различные элементы сна суть следствия искажения содержания, первоначально выглядевшего иначе, — мы попадаем в ловушку причинных связей. Ретроспективно продвигаясь по цепочке свободных ассоциаций, мы возвращаем все четыре пункта к *единому* пункту Х, которому они будто бы обязаны своим происхождением и который они «искажают»

или «маскируют». Таким образом, амплификация выявляет все возможные смыслы четырех точек (мотивов) сна для рассказчика в его реальной жизненной ситуации, тогда как редукция всего лишь возвращает их назад, к исходной «точке комплекса».

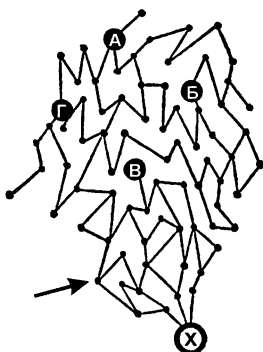
Диаграмма 3



А, Б, В, Г — элементы сна

Узловые точки сети взаимосвязей, на которые указывает стрелка, представляют отдельные параллели или амплификации

Диаграмма 4



А, Б, В, Г — элементы сна

Х — первоначальная фигура.

Различные ассоциации отмечены узловыми точками, на которые указывает стрелка.

Фрейд со своей редукцией задается вопросами «почему?» и «откуда?», тогда как Юнг, со своим методом толкования снов, в первую очередь интересуется вопросом «зачем?», «с какой целью?»: каковы были намерения бессознательного, что оно хотело сообщить индивиду, посылая ему этот сон? Например, интеллектуалу снится, будто он проходит под большим мостом-радугой. Его удивляет, что он идет *под* мостом, а не *по* нему. Сон стремится показать, что избранный этим человеком способ разрешения личных проблем нереален, и указывает ему верный путь — не по мосту, а под мостом¹. Для интеллектуалов, предполагающих, будто они вполне могут игнорировать собственную инстинктивную природу и строить свою жизнь на чисто рассудочных, рациональных основаниях, подобные намеки часто оказываются весьма уместны. Как видим, этот сон служит предостережением, призванным открыть человеку глаза на его реальную психическую ситуацию.

ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СНА

Конечно, действительный смысл сна во всех его подробностях может быть раскрыт только в процессе детального анализа, следующего путями, описанными выше. Но даже из немногого уже сказанного явствует, что сон имеет определенную «цель», состоящую в раскрытии неких обстоятельств, существования которых сновидец либо не сознает, либо не хочет сознавать². Объяснить такие сны нетрудно, ибо это своего рода притчи, в которых сразу же обнаруживаются предостерегающие знаки. Последние выражают динамические тенденции бессознательного, то есть силы, стоящие за сновидением и его зримыми элементами. Благодаря этим силам в сознание вливаются новые содержательные элементы; сознание определенным образом реагирует на них и, соответственно, модифицирует силовое поле бессознательного. Динамический процесс, не выявляемый в рамках одного сна, но легко прослеживаемый в серии снов, нейтрализует прерывность аналитических сеансов и обеспечивает возможность осуществлять анализ с большими перерывами между сеансами. Как уже говорилось, динамика процесса имеет цель и смысл; если какой-то отдельный сон был истолкован ложно, за ним непременно последуют другие сны,

1 Пример из *Kindertraumseminar*, 1938—1939.

2 Конечно, мы не должны приписывать сну «осознанной цели». Формулировки типа: бессознательное (или сон) «выражает суждение» или «преследует цель» и т. п., используются ради того, чтобы показать, что бессознательное, будучи наделено способностью к саморегуляции, осмысленно управляет своими проявлениями.

которые исправят ошибку и вновь выведут аналитика на верный путь.

Согласно упомянутому выше принципу сохранения энергии, в психической субстанции ничто не теряется бесследно. Между всеми ее элементами происходит энергетический обмен; все они интегрированы в осмысленное, но при этом пребывающее в постоянном развитии целое. «Деятельность бессознательного никогда не прерывается; комбинируя свой материал, бессознательное действует в интересах будущего. Ни в чем не уступая сознательному разуму, оно продуцирует подпороговые сочетания, способные предвосхищать ход событий — причем продукты бессознательного куда более утонченны и разнообразны, чем сочетания, порожденные сознанием. Именно поэтому бессознательное может служить человеку единственным в своем роде проводником — при условии, что он сумеет удержаться от соблазнов и не позволит завести себя на ложный путь». В сновидениях мы распознаем признаки, характеризующие не только ситуацию рассказчика на данный момент времени, но и прогресс (или отсутствие такового) в аналитическом процессе. Зафиксированные вне контекста и без учета сведений о рассказчике, сны вполне могут показаться бессмысленными. Но будучи поняты и должным образом разработаны, они могут оказать исключительно сильное, даже освобождающее воздействие на индивида, чьи проблемы они выражают и разъясняют. «На бумаге толкование снов может казаться произвольным, туманным или просто ложным; но в действительной жизни то же самое часто выглядит как драма, характеризующаяся непревзойденным реализмом»¹.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ СМЫСЛ

Субъективный, индивидуальный смысл сна восполняется *субъективными* амплификациями: аналитик спрашивает рассказчика, что значат для него лично отдельные элементы сна. Затем, с помощью *объективной* амплификации, выявляется коллективный смысл сна: элементы сна обогащаются универсальным, символическим материалом сказок, мифов и т. п., тем самым проясняя универсальный аспект проблемы, касающийся любого человеческого существа.

Сны, богатые живописными подробностями, отражают прежде всего проблемы самой личности; они принадлежат сфере личностного бессознательного, и их резко очерченные об-

1 Über die Psychologie des Unbewussten, S. 207, 209; Collected Works, vol. 7, pp. 114—115.

разы, будучи воплощением вытесненной или подавленной «инакости», дополняют бодрствующее сознание. С другой стороны, сны, характеризующиеся скупыми деталями и простыми образами, несут в себе сообщения о неких весьма значительных, универсальных контекстах; они представляют космос, вечные законы природы, истину. Как правило, они позволяют заключить, что сознание вышло на уровень сверхдифференциации или даже автономности, что оно далеко ушло от бессознательного; выражая стремление к компенсации, они обычно пользуются образами коллективного бессознательного.

(Сон — это утверждение, свободное от влияний со стороны сознания, отражающее внутреннюю правду индивида, его внутреннюю действительность — такую, «какова она на самом деле: не мои гипотетические предположения относительно этой действительности, не то, какой сам индивид хотел бы ее видеть, а именно *ее самое*»¹⁾ Итак, с точки зрения Юнга явное содержание сна — это не внешняя оболочка, а непреложная данность, которая всегда раскрывает и выражает то, что имеет в виду и хочет сообщить бессознательное. Когда, например, во сне появляется змея, существенно то, что это именно змея, а не бык или какое-то иное животное. Змея избирается бессознательным в силу ее характерного облика; связанное с ней богатое смысловое поле сообщает индивиду в точности то, что входит в «намерения» бессознательного. Мы устанавливаем смысл змеи для сновидца не через цепочку ассоциаций, а через амплификацию, благодаря которой символ змеи дополняется самыми разнообразными аллюзиями и связями (например, мифами), имеющими отношение к змее как определенному устойчивому образу и согласующимися с субъективной психической констелляцией сновидца. В отличие от Фрейда, мы не рассматриваем змею как «прикрытие», а считаем, что она, именно как змея, призвана сообщить сновидцу нечто в высшей степени специфическое; поэтому в процессе интерпретации сна мы не пытаемся во что бы то ни стало определить, что же может скрываться за данным символом. Напротив, в анализ вовлекается весь контекст символа.²⁾ Функция и смысл символа сновидения могут быть распознаны только исходя из соответствующего контекста — подобно тому, как из контекста вытекает изобразительное значение цвета (только формой и цветовой гаммой картины как целостной структуры определяется то, что именно обозначает серое пятно на ней — тень, световой рефлекс, пятно грязи или прядь волос). Если мы вдобавок будем учитывать психическую конституцию рассказчика, его жизненную ситуацию и осознанную психичес-

1 Wirklichkeit der Seele, S. 74; Collected Works, vol. 16, p. 142.

кую ориентацию, смысл увиденного во сне образа сам собой проявится во всем комплексе его субъективных ответвлений.

Абстрагируясь от ассоциаций и соображений, связанных с личностью сновидца и контекстом сна, мы можем рассчитывать только на истолкование коллективного, общечеловеческого аспекта сна, то есть содержащихся в сновидении архетипических мотивов. Именно поэтому интерпретация сна как такового не может восприниматься сновидцем как нечто жизненно важное. Интерпретируя сон как таковой, мы выявляем только его архетипический смысл и, значит, должны воздерживаться от соображений, относящихся к обстоятельствам жизни и свойствам личности рассказчика. Сами архетипы не содержат в себе никакого толкования: ведь это отражения наших инстинктов или, как их называл Юнг, «органы нашей души», образы самой природы. Чтобы прийти к верному толкованию или отвергнуть ложное, мы должны иметь в виду личность сновидца. Совершенно очевидно, что один и тот же мотив будет существенно различаться по смыслу в зависимости от того, снится ли он ребенку или пятидесятилетнему человеку.



ФОРМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Юнг различает две формы или плоскости интерпретации: *субъектный* уровень и *объектный* уровень. На субъектном уровне фигуры и события сна толкуются *символически*, как отражения душевных факторов и обстоятельств жизни самого рассказчика. Рассматриваемые на этом уровне, фигуры сна представляют тенденции или функции психики рассказчика, а события сна отражают его установку по отношению к самому себе и к собственной психической реальности. Понимаемый таким образом сон указывает на данные внутреннего (интрапсихического) порядка.

Что же касается толкования на объектном уровне, то здесь фигуры сна трактуются не символически, а *конкретно*. Они представляют установку индивида по отношению к внешним фактам и окружающим людям. Их цель состоит в том, чтобы с полной объективностью показать обратную сторону вещей, которые разумное око индивида наяву видит только с одной стороны, либо в том, чтобы раскрыть индивиду глаза на то, чего он прежде не замечал. Предположим, некто видит во сне своего отца — которого он всегда считал благородным и добрым человеком — в виде деспотического, жестокого, эгоистичного и грубого существа. Толкуемое на субъектном уровне, это сновидение означает, что сновидец таит все эти качества в глубинах собственной души, но не сознает их присутствия или не представляет всей степени их реальности. Толкуемое на объектном

уровне, оно выявляет истинный характер отца сновидца, — то, чего последний прежде не знал или не умел распознать.

Когда в сновидении появляются близкие сновидцу люди, это следует толковать не только на субъектном уровне (с точки зрения того, как в соответствующих фигурах отражаются отдельные стороны психической субстанции сновидца), но и на объектном уровне. На субъектном уровне мы толкуем сон как репрезентацию субъективных образов, как воплощение или проекцию бессознательных комплексов анализируемого лица. Так, фигура друга мужского пола в сновидении женщины может интерпретироваться как образ мужского элемента в ее собственной психической субстанции. Не будучи распознан ее сознанием, этот элемент скрыт в сфере ее бессознательного и выявляется благодаря проецированию его на постороннего человека. Смысл этой фигуры сна состоит в том, что она обращает внимание пациентки на ее собственный мужской аспект, на качества, о присутствии которых в себе она не знала или, во всяком случае, не хотела знать. Это может иметь исключительно важное значение для женщины, ошибочно считающей себя крайне хрупким, чувствительным, женственным существом — например, для типа суетливой старой девы.

ПРОЕКЦИЯ

«Все бессознательное *проецируется*, то есть проявляется как свойство или действие, приписываемое внешнему объекту. Только в акте самопознания проецируемые элементы интегрируются субъектом, отъединяются от объекта и распознаются как явления психического ряда»¹. Проекция — неотъемлемая часть бессознательного; поскольку бессознательное занимает существенное место в любой психической субстанции, проекции постоянно присутствуют в психической жизни. Проекции при любых обстоятельствах — во сне или в состоянии бодрствования, у отдельных людей или у групп людей, в связи с личностями, вещами или условиями — не зависят от осознанной воли. «Проекция никогда не создается (*gemacht*); она *случается* (*geschieht*)»². Юнг определяет ее как «выброс субъективного содержания на объект» — в противоположность *интроекции*, состоящей в «прятии объекта субъектом»³.

1 T. Wolff. Studien, S. 99 f.

2 Psychologie und Alchemie, S. 338; Collected Works, vol. 12, par. 346.

3 Psychologische Typen, S. 625 ff.; Collected Works, vol. 6, par. 783. Психологическая установка немецких романтиков и свойственный им способ переживания мира может быть охарактеризован как интроекция: они отворачивались от уродливого внешнего мира, воспринимаемого как ложный — при том, что они полностью сознавали его реальность, — чтобы

Неспособность провести грань между собой и объектом характерна для первобытных людей, равно как и для детей. У первобытных людей и у детей содержание индивидуальной психической субстанции еще не отделилось от содержания коллективной психической субстанции; индивидуальная и коллективная души в них существуют не раздельно, а в состоянии своеобразного «соучастия» (participation). Как говорит Юнг, «боги и демоны рассматривались не как психические проекции, то есть не как содержательные элементы сферы бессознательного, а как самоочевидные реалии. Только в век Просвещения люди обнаружили, что в действительности богов нет, а вместо них есть простые проекции. Таким образом люди разделались с богами. Но с соответствующей психологической функцией не удалось разделаться с той же легкостью; она ускользнула в бессознательное, в результате люди оказались наделены избытком либидо, некогда находившего выход в культе божественных образов»¹.

Если сознание недостаточно устойчиво, если личностный стержень недостаточно прочен, чтобы ассимилировать, понять и развить содержание бессознательного и порождаемые им проекции, сознанию грозит затопление или даже полное поглощение активированным и разросшимся материалом бессознательного. В таком случае психическое содержание не только приобретает свойства действительности, но и отражает конфликт в грубо-примитивной или мифологически преувеличенной форме; отсюда открывается прямой путь к психозу. Поэтому интерпретация на субъектном уровне становится одним из важнейших инструментов юнговского анализа снов. Она помогает нам понять сложности и конфликты, связанные с отношением индивида к внешнему миру, как отражение процессов, происходящих внутри его психики; в итоге индивид обретает возможность избавиться от проекций и разрешить свои трудности наедине с собственной душой. Если мы дадим себе труд поразмыслить над тем, куда в этом мире ведут устойчивые проекции наших собственных качеств и комплексов, мы сможем по достоинству оценить значимость юнговского метода.

обратиться к произвольному, идеальному миру собственного воображения, через посредство которого они трансформировали внешний мир или адаптировали его к субъективным чувствам. Очевидно, при подобной переоценке субъективной точки зрения сознательное «Я» пребывает под постоянной угрозой затопления избытком внутренних образов и, следовательно, утраты объективной точки отсчета.

1 Über die Psychologie des Unbewussten, S. 168; Collected Works, vol. 7, par. 150.

СИМВОЛ

В юнговской интерпретации снов центральную роль играет психический феномен, который принято обозначать термином *символ*¹. Поскольку символ выполняет функцию превращения энергии, Юнг считает его аналогом либидо. Под символом он подразумевает такое образное представление, которое может сообщить либидо эквивалентную форму выражения и, следовательно, направить его по новому пути². Психические образы в снах, фантазиях и т. п. являются порождениями и выражениями психической энергии — точно так же, как, скажем, водопад есть порождение и выражение энергии в физическом смысле. Без энергии (хотя физическое понятие энергии есть всего лишь рабочая гипотеза) не было бы водопада; а без таких частных проявлений, как водопад, энергия была бы недоступна наблюдению и верификации. Приведенное рассуждение выглядит парадоксально, но ведь парадокс составляет суть всякой психической жизни.

Символы *экспрессивны* (то есть обладают свойством выразительности) и одновременно *импрессивны* (то есть способны «впечатлять»). С одной стороны, они выражают интрапсихические процессы в образах; с другой стороны, «воплотившись» в изобразительной форме, они «впечатляют»: их осмысленное содержание воздействует на ход интрапсихического процесса и активизирует поток психической энергии. Так, символ увядшего Древа Жизни, обозначающий сосредоточенную на умствовании, утратившую естественные инстинктивные корни жизнь³, выражает этот смысл в форме раскрывающегося в сновидении образа; в то же время он оказывает на сновидца определенное впечатление и влияет на направленность его психического процесса. Таким образом, символы служат настоящими преобразователями энергии в психическом процессе.

В ходе анализа сплошь и рядом обнаруживается, как один изобразительный мотив обуславливает и порождает другой. Поначалу мотивы скрыты в материале субъективного опыта и несут на себе печать детских или более поздних воспоминаний. Но чем глубже проникает анализ, тем яснее проявляется действие архетипов; символ постепенно занимает доминирующую позицию, поскольку включает в себя архетип — смысловое ядро, непредставимое само по себе, но заряженное энергией. Это похоже на печатание гравюры: первый экземпляр весьма отчетлив, на нем различаются все детали, и понимание изображения

1 Подробное определение символа дано в моей работе: J. Jacobi. *Komplex, Archetypus, Symbol in der Psychologie* von C. G. Jung.

2 *Über psychische Energetik*, S. 84; *Collected Works*, vol. 8, p. 48.

3 Ср. примечание 2 на с. 465.

не представляет трудностей; последующие экземпляры отличаются все меньшей и меньшей отчетливостью, пока, наконец, все контуры и детали не становятся совершенно расплывчатыми — при том, что общая конфигурация продолжает быть вполне различимой. Аналогично, первый сон серии может содержать, скажем, отчетливый образ реальной матери, представленный в той ограниченной роли, в которой она выступает ежедневно; в последующих снах той же серии этот образ будет постепенно расширяться и углубляться и в конце концов трансформируется в символ Женщины — партнера противоположного пола — во всем многообразии ее проявлений; затем, по мере проникновения в еще более глубокий слой, образ обнаружит мифологические признаки, превратится в волшебницу или дракона; наконец, на самом глубинном уровне — то есть там, где хранится совокупность коллективного, общечеловеческого опыта — он приобретет форму темного погребца, подземного мира, океана, и наконец разрастется до масштабов половины творения, хаоса, принимающей и зачинающей тьмы.

Эти символы бессознательного, выявляемые в снах, видениях или фантазиях, воплощают своего рода «индивидуальную мифологию», аналогичную типическим фигурам мифов, легенд, волшебных сказок и т. п. «Поэтому мы должны принять как данность, что они соответствуют некоторым *коллективным* (не личностным) структурным элементам психической субстанции человека и, подобно морфологическим элементам его соматической субстанции, являются *врожденными*»¹.

«Символы никогда не *измышляются* сознательно; они продуцируются бессознательным при посредстве озарений и интуиций»². Символы могут указывать на самое разнообразное содержание. В символические одежды рядятся как естественные, так и интрапсихические процессы. Например, для первобытного человека движение солнца по небу может символизировать вечный природный процесс, тогда как в глазах психологически ориентированного человека нашего времени оно может обозначать столь же закономерный процесс, происходящий во внутреннем мире. Символ «возрождения» всегда — независимо от того, формируется ли он в рамках первобытного обряда инициации, обряда крещения с его раннехристианскими коннотациями или образной структуры сновидения современного человека — обозначает исконную идею психической трансформации. Но пути к возрождению варьируют в зависимости от исторических и личностных обстоятельств, воздействующих на сознание. Поэтому любой символ необходимо оценивать и ин-

1 Das göttliche Kind, S. 110; Collected Works, vol. 9, I, p. 155.

2 Über psychische Energetik, S. 85; Collected Works, vol. 8, p. 48.

терпретировать с точки зрения как коллективного, так и индивидуального содержания; только при этом условии мы достигнем точного знания о том, что именно значит он в каждом отдельном случае. Как писал Кереньи, «изолированных мифологических образов не бывает. Первоначально все такие образы были частью объективного и субъективного контекста — внутреннего контекста самого продукта мифотворческой деятельности в его связи с продуцирующим субъектом». Личностный контекст и психологическая ситуация непременно должны учитываться при любой интерпретации.

СИМВОЛ И ЗНАК

Содержание символа невозможно выразить в рациональных терминах. Оно ведет свое происхождение от «той промежуточной сферы неосознанной действительности (*Zwischenreich subtiler Wirklichkeit*), которая может быть выражена только через символ»¹. Аллегория — это знак чего-то известного, способ выражения известного содержания; символ же всегда означает нечто большее, не переводимое на понятийный язык. Поэтому нельзя согласиться с Фрейдом, определяющим символы как «такие содержательные элементы сознания, которые дают ключ к бессознательной основе»: в его теории они суть всего лишь «симптомы» процесса, происходящего на уровне бессознательного «заднего плана». С другой стороны, когда Платон «изъясняет теорию познания через аллегория пещеры или когда Христос в притчах выражает идею Царства Небесного, мы сталкиваемся с настоящими символами, то есть с попытками выразить нечто, пока еще не выразимое в словах»². Немецкий эквивалент понятия «символ» — *Sinnbild* — сложное слово, одновременно указывающее на обе связанные с символом сферы: смысл — *Sinn*, — принадлежащий рациональному сознанию, и образ — *Bild*, — принадлежащий иррациональному бессознательному. Именно благодаря двойному происхождению и двойственной природе символ оказывается самым верным выражением психической целостности и способен не просто воплощать самые противоречивые и сложные психические ситуации, но и оказывать на них действенное влияние.

«Прежде всего от установки созерцающего сознания зависит, считать ли созерцаемое символом или нет»³. Речь идет о том, насколько индивид способен или настроен в данный момент воспринять объект — например, дерево — не просто как извест-

1 *Psychologie und Alchemie*, S. 387; *Collected Works*, vol. 12, par. 400.

2 *Seelenprobleme der Gegenwart*, S. 43; *Collected Works*, vol. 15, par. 105.

3 *Psychologische Typen*, S. 644; *Collected Works*, vol. 6, par. 818.

ное, частное явление, но и как символ чего-то более или менее неизвестного и наделенного жизненно важным смыслом, как символ человеческой жизни. Вполне возможно, что один и тот же объект для одного человека будет представлять собой символ, тогда как для другого — всего лишь знак. Но существуют и такие объекты и формы, которые любому наблюдателю изначально являются в качестве символов; одна из таких форм — треугольник с вписанным в него глазом. Впрочем, в основном именно тип личности определяет точку зрения на эмпирические данные: один не увидит в них ничего кроме фактов, тогда как другой сможет подойти к ним с ощущением символического.

Символ — это не аллегория и не знак; это образ содержания, в значительной своей части трансцендентного сознанию. Но символы могут «вырождаться» в знаки и, полностью выявляя таким образом свой скрытый смысл, превращаться в «мертвые символы»; все богатство потенциальных смысловых возможностей при этом теряется. Истинный же символ никогда не может быть объяснен до конца. Его рациональная составляющая может стать открытой для нашего сознания, но его иррациональную составляющую можно разве что «прочувствовать». Символ всегда обращается к психической субстанции в целом, к ее сознательной и бессознательной сферам и ко всем ее функциям сразу. Именно поэтому Юнг настаивает на том, чтобы его пациенты не просто придавали своим «внутренним образам» определенную речевую или письменную форму, но и воспроизводили их именно такими, какими они явились им изначально. Он придает существенное значение не только тому, *что* представляет тот или иной образ, но и *как* (имея в виду цвет и рисунок) он это представляет¹. Юнговский метод позволяет психотерапевту в полной мере оценить значение символов для пациента и использовать их как самый важный фактор в его продвижении по пути «становления сознания» (*Bewusstwerdung*)².

1 Корреляции между цветами и психическими функциями варьируют в широких пределах в зависимости от культурной или групповой принадлежности и т. п. Но, как правило, для европейца *синий* — цвет прозрачного воздуха, чистого неба — есть цвет мысли, тогда как *желтый* — цвет солнца, освещающего непостижимую тьму и вновь исчезающего во тьме — есть цвет интуиции, то есть функции, которая словно по внезапному озарению улавливает истоки вещей и скрытые в них тенденции. Далее, *красный* — цвет пульсирующей крови и пламени — является цветом жгучих и волнующих эмоций, а *зеленый* — цвет земной, осязаемой, непосредственно воспринимаемой растительности — представляет функцию ощущения.

2 См. выше, примечание 1 на с. 431.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА

Напомним важнейшие моменты анализа:

1. Анализируемое лицо описывает свои обстоятельства в меру своего *осознания*.
2. Складывающаяся у психотерапевта картина дополняется снами и фантазиями анализируемого лица, то есть материалом бессознательного происхождения.
3. Эти два субъективных момента дополняются объективным — отношениями между анализируемым лицом и психотерапевтом.
4. Разработка материала, почерпнутого на уровнях 1, 2 и 3, а также материала, который удалось получить в результате амплификаций и разъяснений психотерапевта, довершает картину психической ситуации; последняя обычно оказывается в остром противоречии с совокупностью осознанных установок анализируемого лица, что приводит к различным интеллектуальным и эмоциональным реакциям и осложнениям, настойчиво требующим ответа и разрешения.

Подобно Фрейду и Адлеру,¹ Юнг полагает, что выведение конфликта на уровень сознания и удержание его там есть непременное условие успеха. Но он, в общем, склонен возводить конфликт не столько к какому-то одному инстинктивному фактору, сколько к нарушению гармонии в психической субстанции в целом — то есть к нарушению равновесия между сознанием и бессознательным, между личностными и коллективными факторами, которые в совокупности составляют нашу психическую целостность. Другое важное отличие состоит в том, что Юнг обычно стремится разрешать конфликты исходя из их значения в *настоящий* момент, а не в период их возникновения — независимо от того, относится ли возникновение конфликта к давнему или к относительно позднему времени. По мнению Юнга, любая жизненная ситуация и любой возраст требуют своих, неповторимых решений; значение одного и того же конфликта зависит от жизненных обстоятельств — при том, что его происхождение, конечно же, остается одним и тем же. Пути разрешения родительского комплекса для пятидесятилетнего выглядят совершенно иначе, чем для двадцатилетнего, хотя корни конфликта в обоих случаях могут лежать в одном и том же детском переживании.

Метод Юнга финалистичен: его взгляд неизменно устремлен в сторону целостности психической субстанции, и даже самый ограниченный конфликт рассматривается им в терминах этой целостности. В пределах психической целостности бессознательное — это не просто «сточная яма» для вытесненных эле-

ментов сознания; оно является также «вечно творящей матерью сознания»¹. Бессознательное — отнюдь не «трюк души» (*Kunstgriff der Psyche*), как его называет Адлер; напротив, это первичный и творческий фактор психики, неисчерпаемый источник искусства и человеческих свершений.

Взгляд на бессознательное и на его архетипические формы как символические образы «единства противоположностей» позволяет Юнгу подойти к интерпретации содержания снов как с позиции редуccionизма, так и с конструктивной, обращенной в будущее точки зрения: ведь его занимают «не только истоки или исходный материал, из которого черпает бессознательное»; он одновременно стремится найти общепонятную форму выражения для символического конечного результата. Таким образом, «свободные ассоциации с участием продуктов деятельности бессознательного оцениваются с точки зрения не столько происхождения, сколько цели... Исходная позиция этого метода состоит в том, что продукт деятельности бессознательного рассматривается в качестве символа, представляющего фрагмент психологического развития в форме *предвосхищения*»². Фрейд, для которого все бессознательное ограничивалось данными «личностной биографии», неизбежно должен был рассматривать символы как всего лишь знаки или аллегории, предназначенные для сокрытия чего-то иного. С юнговской же точки зрения символы — это формы выражения парадоксальной «двуликости», смотрящие одновременно вперед и назад и отражающие такое видение мира, при котором формулу «либо — либо» заменяет характерная для любой психической деятельности формула «либо и либо». Основываясь на таком понимании символа, Юнг первым увидел в анализе психической субстанции не только способ нормализации психического процесса путем удаления помех на его пути (именно такова цель анализа по Фрейду), но и путь к осознанному формированию символов и углубленному изучению их смысла; это необходимо для обогащения психической субстанции семенами роста и, значит, для обнаружения нового источника животворящей энергии в душе пациента.

О СМЫСЛЕ НЕВРОЗА

Описанный подход позволяет Юнгу рассматривать невроз не просто как мучительное расстройство, то есть чисто негативный фактор, но и как позитивную, благотворную силу, при определенных условиях способствующую формированию личности: ведь если мы оказываемся вы-

1 *Psychologie und Erziehung*, S. 83; *Collected Works*, vol. 17, p. 115.

2 *Psychologische Typen*, S. 611; *Collected Works*, vol. 6, par. 702.

нуждены, через осознание собственной установки или функционального типа, признать в себе недостаток глубины, или если нам приходится компенсировать свое сверхразвитое сознание, черпая из бессознательного, это непременно приводит к *расширению* и углублению нашего сознания, расширению границ нашего «Я». Таким образом, невроз может служить предостережением от имени некоей высшей власти, напоминанием о том, что наше «Я» остро нуждается в расширении, и что это достижимо только при условии правильного отношения к собственному неврозу. Под юнгианским руководством невротик выходит из состояния изоляции, поскольку сталкивается с собственным бессознательным; в нем активируются архетипы и тем самым приводится в движение тот «отдаленный фон... человеческого духа... который унаследован нами от самого темного прошлого. Если такая сверхличностная психическая субстанция существует в действительности, все, что переводится на язык ее образов, подвергается деперсонализации и, будучи осознано, является нам *sub specie aeternitatis* (лат.: с точки зрения вечности). Моя скорбь обращается в мировую скорбь, моя личная, отъединяющая боль — в ту лишенную горечи боль, которая объединяет человечество. Целебное действие таких моментов кажется самоочевидным»¹.

Юнг далек от того, чтобы отрицать существование неврозов травматического происхождения, основанных, главным образом, на детских переживаниях; он не отрицает и того, что лечение этих неврозов должно следовать фрейдовским принципам. Во многих случаях он использует именно фрейдовскую методику, которая удобна, главным образом, для лечения страдающих травматическими неврозами молодых людей. Но он совершенно не согласен с тем, что травматическое происхождение имеют *все* неврозы. «Стоит нам заговорить о коллективном бессознательном, как мы... сталкиваемся с проблемой, изначально исключенной из практического анализа молодых людей или тех, кто сохранил инфантильные черты слишком надолго. Во всех случаях, когда у индивида есть потребность в преодолении имago отца и матери или в завоевании еще хотя бы одной частички бытия, по праву являющейся достоянием любого взрослого человека, о коллективном бессознательном и проблеме противоположностей лучше не заговаривать. Но после того, как разного рода родительские трансферы и юношеские иллюзии удалось „укротить“ (или по меньшей мере после того, как они созрели для „укрощения“), мы можем смело начинать разговор об этих материях. Теперь мы оказываемся вне пределов досягаемости редукционистской методологии фрейдовского или адле-

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 142; Collected Works, vol. 8, pp. 149 f.

ровского толка. Мы больше не озабочены тем, как устранить помехи, препятствующие нормальному развитию профессиональной и семейной жизни человека или как-либо иначе мешающие ему расширить сферу своего бытия; теперь нас заботит проблема обнаружения смысла, который позволил бы ему преодолеть пустую резиньяцию и мрачную сосредоточенность на прошлом и жить дальше»¹. Соответственно, редукционистская методология полезна в тех случаях, когда картина болезни включает разного рода иллюзии, фикции и преувеличения. С другой стороны, конструктивный метод рекомендуется в случаях, когда осознанная установка относительно нормальна, но кажется открытой для развития в сторону большей рафинированности и полноты; он приносит пользу и тогда, когда многообещающие тенденции бессознательного ложно понимаются и подавляются сознанием. «Редукционистская точка зрения... неизменно ведет назад, к первобытному и элементарному. Конструктивный же подход устремлен вперед, к синтезу, к сотворению нового»².

Причины неврозов, особенно у пожилых людей, часто обусловлены тем, что переживается в данный период. Юному возрасту обычно соответствует неокрепшее, недоразвитое «Я»-сознание; с другой стороны, период полового созревания бывает отмечен односторонним развитием сферы сознания. Но если эти особенности юности и периода полового созревания сохраняются до пожилого возраста, они могут вызвать невроз. Индивид может испытывать трудности с адаптацией из-за того, что ему так и не удалось установить «естественную» связь с собственными инстинктами или бессознательным, или же из-за того, что он ее почему-либо утратил. Иногда истоки подобного состояния приходится искать в детстве, иногда же они всецело

1 Über die Psychologie des Unbewussten, S. 133; Collected Works, vol. 7, par. 113. В своем «Комментарии к тибетской Книге мертвых» (1935; 5-е изд. 1953) Юнг весьма убедительно показал, насколько остро тибетцы осознавали присутствие в психической субстанции человека как личностной, так и сверхличностной сфер. Толкуя путь умершего к новой инкарнации по-западному, то есть как процесс психического роста, Юнг делит его на три сферы. Первая из них — область личностного бессознательного; это своего рода врата, вводящие во вторую сферу — сферу коллективных образов, то есть сверхличностных архетипических фигур («демонов-кровопийц», как их называют в тибетских похоронных ритуалах), наделенных нуминозным потенциалом. Пройдя через эту сферу или повстречавшись с ее «обитателями», психическая субстанция достигает «места», где противоположности преодолеваются, где достигается мир, где безраздельно царит центральная «власть» — Самость, — то есть верховная упорядочивающая инстанция, которая объемлет все психические процессы и движет ими.

2 Psychologie und Erziehung, S. 76; Collected Works, vol. 17, p. 105.

сосредоточены в обстоятельствах данного момента жизни. В последнем случае образы и символы, возникающие ради расширения пределов психической субстанции и активизации психических процессов, должны рассматриваться с точки зрения их целесообразности, их значения для будущего.

СООТНЕСЕННОСТЬ С БУДУЩИМ
 «Невроз устремлен к определенной позитивной цели» — таков краеугольный камень юнговской концепции. Невроз — это не просто «бесцельная» болезнь: ведь «именно благодаря „затеянному“ сферой бессознательно-го неврозу люди — вопреки собственной лени, а иногда и отчаянному сопротивлению — встряхиваются от апатии». Невроз может развиваться под воздействием энергии, пути выхода которой перекрывается односторонностью сознания, а также под воздействием недостаточной адаптации бессознательного к среде. Как бы то ни было, неврозом заболевает относительно небольшое количество людей — пусть даже количество это вызывает тенденцию к росту, особенно в среде так называемых интеллигентов в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, рост числа неврозов приобрел поистине пугающие масштабы. «Те немногие, кого поразило это несчастье, суть в действительности люди „высшего“ типа, слишком долго остававшиеся в первобытном состоянии»; подпав под воздействие механизированного внешнего мира, люди эти уже не могли должным образом отвечать на требования, предъявляемые реалиями их внутреннего мира. Но не следует думать, что за всем этим кроется какая-то «планомерная» деятельность бессознательного. «Все объясняется простым стремлением человека к самореализации. Мы можем говорить также о запоздалом созревании личности»¹.

Итак, при некоторых обстоятельствах невроз может «пустить в ход» борьбу личности за собственную целостность — что с точки зрения Юнга есть задача, цель и высшее из благ, достижимых для человека на земле; как таковая, эта цель совершенно не зависит от медико-терапевтических соображений.

Чтобы излечить невроз или общее нарушение психического равновесия, мы должны активировать некоторые содержательные элементы бессознательного и добиться того, чтобы они были ассимилированы сознанием: ведь чем больших масштабов достигло подавление бессознательного, тем в большей степени, по мере старения человека, оно угрожает психическому равно-

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 110—111; Collected Works, vol. 7, par. 291.

весию. Под «ассимиляцией» или «интеграцией» мы имеем в виду не просто оценку сознательного или бессознательного содержания, а взаимообмен, в процессе которого обе стороны образуют связную психическую целостность. Прежде всего не следует допускать недоразвития тех или иных существенных ценностей сознательной личности (то есть «Я») — ведь если это произойдет, интеграция психической субстанции не сможет состояться, поскольку «бессознательная компенсация эффективна только при условии сотрудничества с целостным сознанием»¹. Практикующий аналитик должен обладать «внутренней убежденностью в значимости и ценности процесса расширения сознания — процесса, благодаря которому часть содержания сферы бессознательного выводится на поверхность и подвергается осознанной дифференциации и критическому рассмотрению. В этом процессе от пациента требуется повернуться лицом к собственным трудностям и, значит, до предела напрячь свою способность к осознанному суждению и принятию решений. Это прямой вызов его этическому чувству, сигнал, на который он должен ответить своей личностью во всей ее целостности»².

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Р Целостность личности достигается по мере дифференциации основных пар противоположностей; для этого необходимо, чтобы обе части психической субстанции — сознание и бессознательное — находились в живой, подвижной взаимосвязи. Динамический градиент (спонтанный поток психической жизни) при этом не подвергается никакой опасности: ведь бессознательное никогда не может быть в полной мере осознано и к тому же обладает значительно бóльшим запасом энергии. Целостность всегда относительна и, как бы далеко ни продвинулся человек в процессе ее достижения, ему всегда остается идти еще и еще. «Личность, как полное осуществление всего нашего бытия, есть недостижимый идеал. Но недостижимость не может служить аргументом против идеала, ибо идеалы — это лишь путевые знаки, а не конечная цель»³.

Развитие личности — это одновременно благословение и проклятие. За него нам приходится платить дорогой ценой изоляции и одиночества. «Его первым плодом оказывается осознанное и неизбежное отделение индивида от недифференцированного и лишённого сознания стада». Но недостаточно оставаться в одиночестве; прежде всего необходимо соблюдать вер-

1 Wirklichkeit der Seele, S. 95; Collected Works, vol. 16, par. 338.

2 Wirklichkeit der Seele, S. 80; Collected Works, vol. 16, par. 315.

3 Wirklichkeit der Seele, S. 188; Collected Works, vol. 17, par. 291.

ность собственному закону: «Только человек, способный осознанно подчиниться власти своего внутреннего голоса, становится личностью»¹. И только личность может найти свое настоящее место в человеческом коллективе; только личности наделены способностью создавать сообщества, то есть по-настоящему интегрироваться в группы людей, а не просто быть отдельными «номерами» в безликой массе. Ведь масса — это лишь сумма индивидов, которая, в отличие от сообщества, никогда не может сделаться организмом, получающим и дарующим жизнь. Таким образом, самореализация — как в индивидуальном, так и во внеличном, коллективном смысле — становится моральным решением; именно это моральное решение сообщает импульс процессу становления личности, который Юнг называет *индивидуацией*.

Итак, самопознание и самореализация являются — или, скорее, должны быть! — абсолютно необходимыми предпосылками для принятия любых по-настоящему высоких обязательств, в том числе и обязательства наилучшим образом распорядиться своей жизнью. К тому, что делает природа, должен быть добавлен элемент ответственности — эта поистине божественная ноша человека. «Индивидуация означает превращение человека в неповторимое, гомогенное существо. Поскольку категория „индивидуального“ охватывает все то, что в человеке есть глубинного, нередуцируемого, ни с чем не сравнимого, она подразумевает превращение человека в собственную „Самость“, то есть *в себя самого*»². Но индивидуация отнюдь не тождественна индивидуализму в узком, эгоцентрическом понимании этого слова: весь ее смысл заключается в том, чтобы сделать из человека личность, каковой он является в действительности. Индивидуация не делает человека эгоистом, а побуждает его следовать своей неповторимой природе; это очень далеко от какого бы то ни было эгоизма или индивидуализма. Человек становится не просто индивидом, но и членом сообщества, обретая целостность через осознанный и бессознательный контакт со всем миром. Ясно, что при этом акцентируется не его мнимая «индивидуальность» (как нечто, противопоставленное его обязательствам перед сообществом людей), а полноценная реализация истинной природы человека в ее связи с тем целым, частью которого он является. «Реальный конфликт с коллективной нормой имеет место только тогда, когда за норму принимается чисто индивидуальный путь»³.

1 Wirklichkeit der Seele, S. 188; Collected Works, vol. 17, pars. 294, 308.

2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 91; Collected Works, vol. 7, par. 266.

3 Psychologische Typen, S. 599; Collected Works, vol. 6, par. 761.

ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЦИИ

ПВзятая в целом, индивидуация представляет собой спонтанный, естественный процесс в рамках психической субстанции; потенциально она свойственна любому человеку, хотя большинство из нас ее не осознает. В отсутствие торможений, препятствий или искажений, обусловленных тем или иным расстройством психики, индивидуация — это процесс созревания или развертывания, психический эквивалент физического процесса роста и взросления. При определенных условиях — например, в практической психотерапии — процесс этот может тем или иным образом стимулироваться, интенсифицироваться, осознаваться, переживаться и развиваться; таким образом индивиду оказывается помощь в смысле «завершения», «закругления» его «Я». Для успешного хода процесса требуется значительное аналитическое усилие, сознательная и абсолютно искренняя сосредоточенность на интрапсихическом. Благодаря активизации сферы бессознательного такое усилие частично снимает напряжение между парами противоположностей и делает возможным познание их динамической структуры. Продвигаясь по извилистым путям выведенной из состояния равновесия психической субстанции, преодолевая все новые и новые слои, процесс в конечном счете проникает в тот самый центр, который представляет собой исток и основу нашего психического бытия — в *Самость* (das Selbst).

Этот путь, как было сказано выше, рекомендуется не всем пациентам, да и открыт он далеко не для всех. В нем есть свои опасности: ведь для того, чтобы защитить «Я» от грозящего захлестнуть его потока бессознательного и интегрировать содержание бессознательного в психическую целостность, необходим строжайший контроль со стороны партнера или терапевта, равно как и со стороны сознания самого пациента. Следовательно, для успешного преодоления пути нужно взаимодействие двух участников. В других частях света на пути к индивидуации иногда удаётся достичь впечатляющих результатов; но для человека Запада попытка осуществить такое путешествие в одиночку кажется чрезвычайно рискованной, а возможность успеха — сомнительной.

Расчет на одни лишь собственные силы способствует развитию духовной гордыни, бесплодной рефлексии и изоляции в рамках своего «Я». Для того, чтобы прояснить для себя собственное переживание, человек нуждается в содействии другого человека — иначе вопрос и ответ неизбежно сольются в бесформенную массу. Именно ради этого существует такой мудрый институт, как исповедальня — место, где ведется диалог между верующим и священником. Для соблюдающего обряды католика Церковь обладает и другими инструментами, еще более дейс-

твенными, чем исповедь. Что же касается тех, кто не исповедуется, а также неверующих, то для них работа с психотерапевтом служит полезным средством для достижения аналогичной цели. Конечно, здесь имеется существенное различие: ведь психотерапевт — это не священник и не абсолютный моральный авторитет, говорящий от имени высших сил; психотерапевт и не должен выдавать себя за такового. В лучшем случае это заслуживающий доверия человек с определенным жизненным опытом, профессионально знающий природу и законы психической субстанции. «Он не убеждает каяться — но его пациент сам приходит к покаянию; он не налагает епитимью, если пациент сам довел себя до беды (а так чаще всего и случается); и он не отпускает грехов — разве что Бог Сам проявит снисходительность»¹. «Целостность» — то есть реализация заключенного в субъекте потенциала личностного развития, которая, собственно, и является целью всего процесса — должна достигаться естественным путем, хотя и при поддержке психотерапевта. Если личность не развивается спонтанно, никто не может привести ее к обретению Самости одним лишь мановением руки.

В своих самых общих чертах процесс индивидуации врожден человеку и развивается по единой модели. Он делится на две взаимно независимые, контрастные и дополняющие друг друга части, которые совпадают с первой и второй половинами жизни. Задача первой половины — «инициация, посвящение во внешнюю действительность». На этом этапе процесса индивидуации, благодаря укреплению «Я», выделению основной функции и доминирующей установки и развитию соответствующей «маски» достигается адаптация индивида к требованиям окружающей среды. Что же касается второй половины жизни, то ее задача состоит в «посвящении во внутреннюю действительность», то есть в углубленном самопознании и познании человеческой природы, в рефлексии над теми чертами собственной природы, которые прежде оставались неосознанными или в какой-то момент сделались таковыми. Делая их достоянием сознания, индивид устанавливает внутреннюю и внешнюю связь с миром и космическим порядком. Значительную часть усилий Юнг посвятил именно второй половине процесса индивидуации; людям среднего возраста он указал пути расширения личностных горизонтов, что может рассматриваться как подготовка к смерти. Когда Юнг говорит о процессе индивидуации, он имеет в виду прежде всего именно эту вторую половину.

Юнгу удалось показать, что путевые знаки, размечающие

1 Из интервью на тему «Самопознание и глубинная психология» (Selbsterkenntnis und Tiefenpsychologie). — Du, September 1943; Collected Works, vol. 18.

процесс индивидуации, соответствуют некоторым архетипическим символам, формы и типы проявления которых разнообразны. Здесь также решающую роль играет личностный фактор: ведь «метод — это... лишь путь и направление, установленные человеком ради того, чтобы его поступки могли стать истинным выражением его природы»¹.

Для того, чтобы описать и объяснить символы индивидуации во всем многообразии их форм, нужно подробнейшим образом изучить всевозможные мифологии и систематизировать все исторические разновидности символических образов. Наше дальнейшее изложение ограничится кратким очерком тех символических фигур, которые особенно характерны для основных этапов процесса. Кроме них существует множество иных архетипических образов и символов, одни из которых имеют второстепенное значение, тогда как другие представляют собой варианты основных фигур.

ТЕНЬ
Первый этап индивидуации приводит к переживанию *тени*, символизирующей «другую сторону» или «темного брата», который является невидимой, но неотъемлемой частью нашей психической целостности. «Живая форма не может достичь пластичности, если у нее нет тени. Без тени она так и останется всего лишь двухмерным призраком»².

Тень — это архетипическая фигура, которая у первобытных народов принимает вид самых разнообразных персонификаций. Она представляет собой часть индивида, отколовшийся фрагмент его существа, который, как и настоящая тень, остается в неразрывной связи с ним. Первобытный человек воспринимает как плохое предзнаменование, когда кто-нибудь наступает на его физическую тень; нанесенный в результате этого ущерб может быть исправлен только посредством специального магического ритуала. Кроме того, фигура тени получила широкое распространение в искусстве. Художник активнейшим образом черпает из бессознательного; своими творениями он приводит в движение бессознательное читателей, зрителей, слушателей, и именно в этом кроется главная тайна его воздействия на людей. Пробудившись в нем, образы и фигуры бессознательного захватывают и других людей — которые, конечно же, не отдают себе отчета в источнике собственной «захваченности». Шекспировс-

1 Das Geheimnis der goldenen Blüte. — München, 1929, 3 Aufl. Zürich, 1957, S. 13; Collected Works, vol. 13, par. 3.

2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 204; Collected Works, vol. 7, par. 400.

кий Калибан, Франкенштейн г-жи Шелли, «Рыбак и его душа» Уайльда, мистер Хайд Стивенсона, «Петер Шлемиль» Шамиссо, «Степной волк» Гессе, «Серый кардинал» Хаксли, не говоря уже о Мефистофеле, этом темном искусителе Фауста, — вот лишь некоторые образцы использования архетипического мотива тени в искусстве.

Встреча с тенью часто совпадает с осознанием личностью своего функционального типа и типа общепсихологической установки. Недифференцированная функция и не получивший развития тип установки — это и есть наша «темная сторона», врожденная коллективная предрасположенность, которую мы отвергаем по этическим, эстетическим или иным соображениям и подавляем ввиду ее несоответствия нашим осознанным принципам. Пока единственной дифференцированной функцией индивида остается его главная функция, пока он воспринимает внутреннюю и внешнюю реальность почти исключительно под углом зрения этой стороны своей психической субстанции, три оставшиеся функции неизбежно пребывают «в тени», из которой они, так сказать, «востребуются» по частям, в формах, не отягощенных фигурами бессознательного. Развитие тени происходит параллельно развитию «Я»: качества, в которых «Я» не нуждается или которым оно не может найти применения, отстраняются или подавляются, и в результате их роль в сознательной жизни человека сводится на нет. Поэтому у ребенка по существу нет «тени». Поскольку в течение нашей жизни нам то и дело приходится подавлять в себе те или иные качества, тень никогда не осознается в полной мере. Тем не менее, очень важно, чтобы ее наиболее значительные признаки были осознаны и приведены в соответствие с «Я»: это способствует усилению и оздоровлению последнего, развитию чувства его укорененности в нашей природе.

Высвобождение тени тесно связано с тем, чего психоаналитики пытаются достичь с помощью «раскапывания» биографических данных, в особенности относящихся к детским годам. Работая с «теневыми» качествами человека в первой половине его жизни, Юнг в основном придерживается фрейдовских принципов: ведь одного только осознания этих качеств обычно оказывается достаточно для достижения результата.

«Тень» может найти свое проявление как в символической фигуре внутреннего мира, так и в реальной фигуре, принадлежащей миру внешнему. В первом случае она воплощается в материале бессознательного — возможно, в виде фигуры сновидения, персонифицирующей определенные психические качества индивида. Во втором случае мы проецируем те или иные из наших скрытых, не осознаваемых признаков на того представителя нашего окружения, который в силу каких-то своих качеств

наиболее приспособлен для этой цели. Но проще всего заметить «теневые» качества в самих себе — для этого нужно только признать их принадлежность нашей природе. Так происходит, например, когда нас охватывает приступ гнева, когда мы внезапно принимаемся изрыгать проклятия или вести себя по-хамски, когда против своей воли совершаем недопустимые в обществе поступки, выказываем мелочность, скупость, несдержанность, трусость, бесцеремонность или лицемерие, тем самым демонстрируя качества, которые при обычных обстоятельствах бывают скрыты или подавлены в нас настолько тщательно, что мы и не подозреваем об их существовании. Когда такие черты характера выплескиваются в столь явной форме, что их уже невозможно не заметить, мы удивленно спрашиваем себя: каким образом это оказалось возможно? Неужели это все — я?

Юнг различает две формы тени. Первая — это «личностная тень», содержащая те психические качества индивида, которые никак не проявлялись в нем с самого раннего детства или проявились лишь в очень ограниченной мере. Вторая форма — «коллективная тень». Она принадлежит к числу фигур коллективного бессознательного и соответствует негативной версии архетипа «мудрого старца» или темному аспекту Самости. Она символизирует, так сказать, «другую сторону» господствующего духа времени, его скрытую антитезу. Обе формы тени играют существенную роль в психической субстанции человека.

Личностная или коллективная природа проявления тени определяется тем, принадлежит ли сама тень сфере «Я» и личностного бессознательного или сфере коллективного бессознательного. Тень может явиться нам как фигура из области нашего сознания, как наш старший брат или старшая сестра, как наш лучший друг или как лицо, во всех отношениях нам противоположное — наподобие фаустовского помощника Вагнера; если же проецируемое содержание ведет свое происхождение из глубин коллективного бессознательного, тень может обрести мифическую форму и явиться в виде, скажем, Мефистофеля, фавна, Хагена, Локи и т. д.¹ С тем же успехом она может принять вид брата-близнеца или близкого друга — подобно Вергилию из «Божественной комедии», в качестве верного друга сопровождающего Данте в его путешествии по аду. Дуализм «Я» и «тени» — это широко известный архетипический мотив; в качестве примеров можно упомянуть хотя бы Гильгамеша и Энкиду, Кастора и Поллукса, Каина и Авеля и т. д.

Каким бы парадоксальным это ни казалось на первый взгляд, тень как *alter ego* может быть представлена также и позитивной

1 Сказанное выше об архетипе «женского начала» полностью применимо для данного случая.

фигурой. Подобная инверсия имеет место, когда человек живет, так сказать, «ниже своего уровня», не выявляя своих возможностей в полной мере; в таких случаях темное, «тенивое» существование влачат именно его позитивные качества. Личностная «тень», будучи персонификацией того (иногда позитивного) содержимого психической субстанции, которое в течение сознательной жизни отвергалось, подавлялось или, во всяком случае, отодвигалось на вторые роли, символизирует «темные глубины личности». Коллективная же тень символизирует «темные глубины общечеловеческого»: врожденное любому человеку стремление к темному и низшему. В ходе анализа мы поначалу сталкиваемся с тенью, представленной фигурами личностного бессознательного; именно поэтому мы должны всегда начинать интерпретацию с чисто личностных свойств и лишь затем обращаться к коллективному аспекту.

Можно сказать, что тень стоит на пороге «Царства Матерей», то есть бессознательного. Это двойник нашего сознательного «Я», растущий и формирующийся параллельно ему. Эта темная масса опыта, никогда или почти никогда не допускаемого в сознательную жизнь, преграждает путь к творческим глубинам бессознательного. Именно поэтому люди, лихорадочно, с крайним, запредельным напряжением всех сил стремящиеся всегда оставаться «на вершине», и неспособные признаться в собственной слабости не только другим, но даже и себе самим, столь часто впадают в бесплодие. Они живут в своего рода духовной и моральной крепости — искусственной конструкции, которая отнюдь не способствует нормальному развитию и легко рушится даже под самым легким нажимом. Таким людям очень трудно или даже невозможно встретиться лицом к лицу с собственной внутренней правдой, вступить в истинную связь с другим человеком, совершить какую-либо жизненно важную работу; чем больше подавленных качеств накапливается в их тени, тем сильнее их стягивают сети невроза. В юности «тенивой» слой относительно тонок и переносится безболезненно; но с течением лет, по мере накопления все нового и нового материала, он делается тяжелой, часто невыносимой ношей.

«Каждый несет в себе свою тень, и чем менее она воплощена в сознательной жизни человека, тем она чернее и мрачнее... Если бы подавленные тенденции, которые я называю тенью, были всего лишь очевидным злом, они не представляли бы самостоятельного интереса. Но тень сама по себе не абсолютно плоха; она лишь недоразвита, примитивна, плохо адаптирована и неуклюжа. Она даже содержит детские или первобытные качества, которые по-своему оживляют и украшают человеческое бытие». Личность поднимается против предрассудков, укоренившихся обычаев и соображений респектабельности и престижа,

которые, будучи тесно связаны с проблемой «маски», часто играют разрушительную роль и блокируют психическое развитие. «Простое подавление тени — лекарство не более эффективное, чем обезглавливание при головной боли... Если ощущение собственной неполноценности осознано и находится в постоянной связи с другими интересами, человек всегда имеет возможность его исправить. В тех же случаях, когда оно подавляется и изолируется от сознания, оно становится некорректируемым»¹.

Итак, встретиться с собственной тенью — значит принять беспощадно критическую установку относительно своей природы. Но как и все остальные не осознаваемые элементы психической жизни, тень переживается в форме проекции на внешний объект. Вот почему «виноват всегда другой» — пока мы наконец не осознаем, что тьма скрывается внутри нас. Выявление тени в процессе анализа обычно наталкивается на серьезное сопротивление; часто пациент выказывает полную неспособность признать всю эту тьму в качестве части самого себя и страшится, что воздвигнутое и поддерживаемое с таким трудом здание его сознательного «Я» обрушится под тяжестью этого открытия². Многие анализы именно на этом этапе терпят неудачу: неспособный перенести встречу с собственным бессознательным, пациент обрывает процесс на середине и забивается обратно в скорлупу иллюзий и невроза. Сторонний наблюдатель должен помнить об этом обстоятельстве и не делать поспешных выводов о «неэффективности» анализа как такового.

Какой бы горькой ни была эта чаша, испить из нее придется каждому. Наша встреча с другими присутствующими в нашей психической субстанции парами противоположностей увенчается успехом только при условии, что мы признаем реальность тени в качестве части нашей природы, научимся отличать себя от нее и будем постоянно поддерживать это видение собственной тени в нашем сознании. Отсюда начинается наше объективное отношение к собственной личности, без которого не может быть продвижения вперед, по пути обретения психической целостности. «Если вы вообразите себе человека, достаточно смелого, чтобы отбросить все эти проекции³, вы получите

1 Psychologie und Religion, S. 137—142; Collected Works, vol. 11, pp. 76—78.

2 Первоочередное значение, которое Юнг придает осознанию собственной тени, служит одной из важных — хотя и чаще всего не осознаваемых — причин того, что столь большое количество людей боится подвергнуться анализу по методу Юнга.

3 Слово «все» в этой цитате не следует понимать буквально, так как все проекции никогда не могут быть осознаны и тем самым отброшены; если бы это было возможно, в сфере бессознательного ничего бы не осталось. Лишь от ситуации, сложившейся в психической субстанции человека, зависит, с какой частью своих проекций он сможет совладать.

индивида, сознающего свою отягощенность тенью. Такой человек взваливает на свои плечи новые осложнения и конфликты. Он становится для самого себя серьезной проблемой, поскольку уже не может сказать, что это *они* делают то-то и то-то, что это *они* не правы, что это с *ними* нужно бороться... Такой человек знает, что если в мире что-то не так, то проблема кроется в нем самом, и стоит ему совладать с собственной тенью, как он совершит нечто реальное для мира в целом. Он сумел взять на себя хотя бы одну, пусть ничтожно малую частичку гигантской и нерешенной социальной проблематики нашего времени»¹.

АНИМУС И АНИМА

А Второй этап процесса индивидуации характеризуется встречей с фигурой «образа души» (*Gestalt des Seelenbildes*); эту фигуру в психической субстанции мужчины Юнг обозначает термином *анима*, а в психической субстанции женщины — термином *анимус*. Архетипическая фигура «образа души» всегда символизирует комплементарную, относящуюся к противоположному полу часть психической субстанции и отражает как наше отношение к этому аспекту нашей души, так и переживание человеком всего того, что связано с противоположным полом. «Образ души» — это образ другого пола, который мы несем в себе как личности и одновременно как представители определенного биологического вида. Как утверждает немецкая поговорка, внутри каждого мужчины есть своя Ева. Уже было сказано, что латентное, недифференцированное, все еще не осознанное содержание психической субстанции всегда проецируется вовне, и это относится как к Еве мужчины, так и к Адаму женщины. При посредстве кого-то иного мы переживаем не только нашу тень, но и содержащиеся в нас фундаментальные контрасексуальные (относящиеся к противоположному полу) элементы. Мы выбираем тех — и привязываемся к тем, — в ком представлены качества нашей собственной психической субстанции.

Здесь, как и в случае тени и всех прочих элементов бессознательного содержимого, мы должны различать внутренние и внешние проявления. С внутренними формами анимуса или анимы мы встречаемся в снах, фантазиях, видениях и других проявлениях бессознательного, когда в них раскрываются контрасексуальные черты нашей психической субстанции²; с внеш-

1 *Psychologie und Religion*, S. 150; *Collected Works*, vol. 11, p. 83.

2 Хотя научного определения того, что такое «мужские» или «женские» признаки, не существует, мы можем опираться на общепризнанные представления, которые, вероятно, укоренены в свойствах половых клеток.

ними же формами мы имеем дело тогда, когда проецируем часть нашего бессознательного или бессознательное в целом на кого-то из нашего окружения и при этом не осознаем, что этот «другой» есть в каком-то смысле наша «Самость».

«Образ души» — это достаточно прочный функциональный комплекс; неспособность отделить себя от него приводит к развитию таких типов, как капризный, по-женски импульсивный, эмоционально неуравновешенный мужчина или «одержимая анимусом», самоуверенная, любящая спорить женщина-всезнайка, которая реагирует на вещи по-мужски, а не в соответствии с естественными инстинктами¹. «Иногда в нас ощущается какая-то чуждая воля, делающая нечто противоположное нашему желанию и нашим наклонностям, но вовсе не обязательно дурное. Эта воля может желать и хорошего — и тогда мы воспринимаем ее как высший источник водительства и вдохновения, как опекающего нас духа, аналогичного сократовскому „даймону“»². В подобных случаях со стороны может показаться, будто человека «захватило» иное, чуждое существо, будто в него «вселился чуждый дух». Мы сплошь и рядом сталкиваемся со случаями, когда высокообразованный интеллектual безнадежно запутывается в сетях, расставленных самой что ни на есть дешевой проституткой — и это происходит только потому, что женская, эмоциональная составляющая его психической субстанции совершенно не дифференцирована; столь же часто вполне достойные женщины без видимых причин связываются с обманщиками и авантюристами. Характер «образа души», анимы или анимуса наших снов служит безошибочным показателем нашей внутренней психологической ситуации. Тот, кто хочет познать себя, должен уделить этому характеру самое пристальное внимание.

Разнообразие форм, которые может принять «образ души», поистине неисчерпаемо. Этот образ почти всегда сложен и неоднозначен; присущие ему качества типичны для соответствующего пола, но в остальном могут изобиловать самыми различными противоречиями. Анима с одинаковым успехом может принять вид нежной юной девы, богини, колдуньи, ангела, демона, нищенки, уличной девки, преданной подруги, амазонки и т. п.

В высшей степени характерными фигурами анимы являются, например, Кундри из легенды о Парсифале или Андромеда из мифа о Персее; в литературе типичные фигуры анимы — это Елена у Гомера, Беатриче у Данте, дон-кихотовская Дульсинея,

1 T. Wolff. Studien, S. 155 ff.

2 Emma Jung. Ein Beitrag zum Problem des Animus, in: Wirklichkeit der Seele, S. 297.

«Она» Райдера Хаггарда и т. д. Разнообразные формы может принимать также и анимус; в качестве типичных фигур назовем Диониса, Синюю Бороду, Крысолова, Летучего Голландца, Зигфрида, а на более низком, примитивном уровне — знаменитых киноактеров (типа Рудольфа Валентино), чемпионов по боксу или — что характерно для противоречивых эпох, подобных нашей, — известных политических или военных вождей. Анима или анимус могут символизироваться животными и даже неодушевленными предметами со специфически женскими или мужскими признаками; подобное имеет место, главным образом, тогда, когда анима или анимус еще не достигли уровня человеческой фигуры и проявляются в чисто инстинктивной форме. Так, анима может принять вид коровы, кошки, тигрицы, корабля, пещеры и т. п., тогда как анимус — вид орла, быка, льва, копыя, башни или какого-либо иного предмета фаллической формы.

«Первый носитель „образа души“ — это всегда мать; в дальнейшем этот образ переносится на других женщин, вызывающих в мужчине положительные или отрицательные чувства». Отделение от матери — это одна из важнейших и самых деликатных проблем в развитии личности, особенно мужчины. Дабы облегчить этот процесс, первобытные народы прибегают к разнообразным церемониям, ритуалам инициации и возрождения и т. д., во время которых иницируемый проходит специальный «курс обучения», предназначенный для того, чтобы отучить его от материнской опеки. Только после этого он может быть признан взрослым представителем своего племени. Что же касается европейца, то он «знакомится» с контрсексуальным элементом собственной психической субстанции через его осознание. В том, что фигура «образа души», то есть контрсексуальная составляющая нашей психической субстанции, загнана столь глубоко в бессознательное (и, соответственно, в том, что она играет столь роковую, часто разрушительную роль в жизни человека Запада), следует во многом винить патриархальную ориентацию нашей культуры. «Мужчина почитает за добродетель подавлять в себе женские черты, а женщина — во всяком случае до последнего времени — рассматривала „мужеподобие“ как нечто неприличное. Подавление женских черт и наклонностей естественным образом приводит к тому, что контрсексуальные потребности аккумулируются в бессознательном. Столь же естественно и то, что вместилищем этих потребностей становится имаго женщины („образ души“); вот почему мужчина, выбирая для себя объект любви, столь активно стремится завоевать женщину, наилучшим образом соответствующую его собственной неосознанной женственности — то есть такую женщину, которая без колебаний могла бы принять на себя про-

екцию его души. Хотя такой выбор часто рассматривается и ощущается как совершенно идеальный, он вполне может обернуться женитьбой мужчины на собственных худших недостатках»¹. То же можно сказать и о женщине.

Патриархальная ориентация развития нашей западной культуры заставляет женщину признать, что мужское начало как таковое более ценно, нежели женское; понятно, что данная установка во многом способствует усилению анимуса. Аналогичную роль играют и такие факторы, как контроль за рождаемостью, обусловленное техническим прогрессом уменьшение удельного веса домашних обязанностей, несомненный рост интеллектуальных возможностей современной женщины. Но если мужчина по самой своей природе чувствует себя неуверенно в сфере Эроса, женщина всегда будет не вполне в своей тарелке в сфере Логоса. «То, что женщина должна преодолеть по отношению к анимусу, представляет собой не гордость, а инерцию и недостаток уверенности в себе»².

Как анимус, так и анима имеют две основные формы: светлую и темную, «высшую» и «низшую», позитивную и негативную. В анимусе, как промежуточном звене между сознанием и бессознательным, «в соответствии с природой Логоса подчеркивается прежде всего познание и, в частности, понимание. Анимус общается главным образом не об образе (Bild), а о смысле (Sinn)»³. Четверица, детерминирующая принцип Логоса (см. в частности «Фауст» Гете), предполагает элемент сознания⁴. «Образ переносится либо на реального мужчину, который похож на анимуса и отныне принимает на себя роль последнего, либо появляется в виде фигуры сна или фантазии». Представляя живую действительность психической субстанции, «образ души» может в конечном счете придать определенный оттенок всему поведению человека — ибо бессознательное всегда окрашено в контрасексуальные цвета. Следовательно, «важная функция высшего, то есть сверхличностного анимуса состоит в том, что

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 133, 118; Collected Works, vol. 7, pars. 315, 297.

2 Emma Jung. Ein Beitrag zum Problem des Animus, S. 329.

3 Emma Jung. Ein Beitrag zum Problem des Animus, S. 332.

4 В своем только что процитированном замечательном исследовании Э. Юнг утверждает, что в фаустовской градации «слово-смысл-сила-дело» (Wort-Sinn-Kraft-Tat), считающейся определением греческого Логоса, выражена квинтэссенция мужского характера, а каждая из этих четырех ступеней представлена определенным этапом в жизни мужчины и в развитии фигуры анимуса. Модифицируя изначальный порядок, она относит «сильного» (или «волевого») человека к первой, «человека дела» — ко второй, «человека слова» — к третьей, и, наконец, человека, живущего в соответствии со «смыслом» — к четвертой ступени.

он действует как *psychopompos*¹, направляющий и сопровождающий все движения и трансформации души». Конечно, такие архетипы, как анимус и анима, никогда до конца не совпадают с реальными людьми; и чем сильнее индивидуальность человека, тем меньше он соответствует тому образу, который на него проецируется. Индивидуальное — антоним архетипического. «Индивидуальное — это как раз то, что нетипично; это единственное в своем роде смешение частных черт, каждая из которых сама по себе может быть вполне типической»². Несоответствие между индивидуальным и архетипическим, будучи первоначально «затуманено» трансфером, с течением времени становится все более и более очевидным; по мере того, как носитель проекции выявляет свою истинную природу, конфликты и разочарования становятся неизбежными.

«Образ души» находится в прямой связи с маской. «Если маска интеллектуальна, „образ души“ почти наверняка будет сентиментальным»³: ведь маска соответствует обычной внешней установке человека, тогда как анимус или анима отражает его обычную внутреннюю установку. Маску мы можем обозначить как посредника между «Я» и внешним миром, а «образ души» — как посредника между «Я» и миром внутренним. Диаграмма 5 представляет собой попытку прояснения сказанного. *А* — маска, соединяющая «Я» с внешним миром; *Б* — анима (или анимус), то есть звено, которое соединяет «Я» с внутренним миром бессознательного; *В* — совокупность «Я» и маски, характеризующая нас с фенотипической, внешней, видимой стороны; *Г* — генотипическая составляющая, то есть наша невидимая, латентная, бессознательная внутренняя природа. Маска и «образ души» взаимно дополняют друг друга: чем безоговорочнее маска «отрезает» индивида от его естественной, инстинктивной жизни, тем более архаичным, недифференцированным и могущественным становится «образ души». Освободиться от маски или «образа души» невероятно сложно. Но если человек утратил способность отличать себя от первой или от второго, такое освобождение становится насущной необходимостью.

Пока различные аспекты или черты бессознательного пребывают в недифференцированном состоянии и не интегрированы в сознание (скажем, пока индивид не успел распознать собственную тень), все бессознательное мужчины остается преимущественно женским, а бессознательное женщины — преимущественно

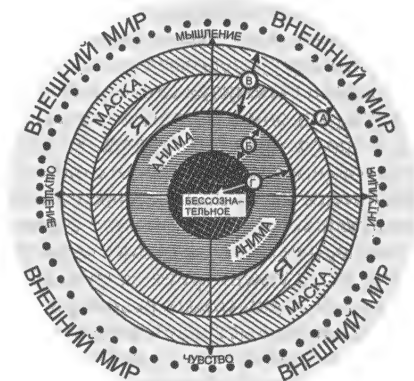
1 «Проводник душ» (греч.) — эпитет, прилагавшийся в греческих мифах к Гермесу (проводжавшему души умерших в подземное царство), Харону (перевозившему их через Лету) и Аполлону (богу искусств — водителю человеческих душ). (Прим. ред.)

2 Emma Jung. Ein Beitrag zum Problem des Animus, S. 302, 312, 342.

3 Psychologische Typen, S. 635; Collected Works, vol. 6, par. 804.

но мужским; в сфере бессознательного господствуют контрсексуальные качества. Когда Юнг хочет акцентировать эту особенность, он называет соответствующую область бессознательного просто «анимой» или «анимусом». Когда маска становится

Диаграмма 5



слишком жесткой и малоподвижной — то есть когда в качестве единственной дифференцированной психической функции выступает главная функция, — анима, естественно, аккумулирует в себе те три функции, которые дифференцированы в меньшей степени. Но стоит двум вспомогательным функциям достичь определенного развития (например, в результате анализа), как анима становится воплощением четвертой, самой темной, низшей функции. Недифференцированная, то есть еще не вышедшая из глубин бессознательного тень часто бывает контаминирована свойствами анимы. В подобных случаях человеку могут поначалу сниться целые триады фигур, представляющих тень и принадлежащих трем все еще не осознанным функциям. Аналогично, в сновидениях могут встречаться триады фигур, представляющих аниму или анимуса. Контаминация в снах может распознаваться как род «брачного союза» между фигурой тени и фигурой анимы или анимуса. Чем сильнее в мужчине ощущается господство маски, тем глубже «в тени» оказывается анима. При первой же возможности эта анима проецируется вовне, и в результате мужчина «оказывается под каблуком собственной супруги» — ведь «отсутствие внешнего противодействия соблазну маски означает отсутствие внутреннего противодействия влияниям со стороны бессознательного»¹. Одержимому анимой мужчине грозит утрата «хорошо подогнанной» мужс-

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 128—129; Collected Works, vol. 7, pars. 308—309.

кой маски и феминизация — точно так же, как обычная женственная маска женщины, одержимой анимусом, может оказаться бессильной против «аргументов» анимуса. Одно из наиболее типичных порождений обеих фигур — то, что издавна известно как *Animosität* («ожесточение», «нетерпимость»).

Анимус редко проявляет себя как одиночная фигура. Как нам уже известно, содержание бессознательного компенсирует нашу осознанную установку; следовательно, поскольку мужчина в своей внешней жизни стремится скорее к полигамии, его анима обычно выступает в одиночестве, сочетая признаки самых разнообразных и противоречивых женских типов в едином образе¹. Именно этим объясняется особого рода обаяние, «волшебство», исходящее от истинной фигуры анимы. С другой стороны, женщина в реальной жизни обычно стремится к моногамии; соответственно, в ее «образе души» выявляются полигамные черты, то есть комплементарная ей мужская фигура персонафицируется в целой серии самых разнообразных фигур. Вот почему анимус так часто выступает во множественном числе. Он похож скорее на «сборище отцов или каких-то важных персон, ex cathedra изрекающих бесспорные, безапелляционные, „рациональные“ суждения»². Последние часто выступают в форме не критически принимаемых мнений, предрассудков, принципов, что сплошь и рядом побуждает женщин спорить и браниться. Подобное обычно для женщин, чья главная функция — чувство, а функция мышления пребывает в недифференцированном состоянии. Судя по всему, такие женщины составляют весьма высокий процент — даже несмотря на изменения, происшедшие с начала века и обусловленные эмансипацией женщины.

Поскольку «образ души» совпадает со все еще не проявившейся и не осознанной функцией, он антитетичен главной функции, и эта противоположность воплощена в символизирующей его фигуре. Поэтому анима ученого, вообще говоря, проста, эмоциональна и романтична, тогда как анима живущего интуицией и чувством художника приземлена и одержима

1 Впрочем, это верно только для весьма «мужественного» типа мужчины. Чем более явно выражены в мужчине женские черты — то есть чем сильнее развит в нем материнский комплекс (а это в наши дни встречается весьма часто), — тем многочисленнее женские фигуры, представляющие признаки его анимы в снах и видениях. Часто это бывают целые серии женских фигур одного и того же типа (как, например, группа балерин или одетых в униформу сиделок и т. п.), и только в условиях прогрессирующего развития личности они сливаются в единый образ, воплощающий все разнообразие признаков анимы.

2 *Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten*, S. 141; *Collected Works*, vol. 7, par. 332.

плотью. Феминизированные, эмоциональные мужчины обычно несут в своем сердце образ амазонки, в наше время замаскированный под феминистку или «синего чулка». Аналогично, анимус женщины, согласно основной функции ее психики, принимает форму опасного донжуана, бородатого профессора или бравого героя, олицетворенного в виде солдата, рыцаря, футболиста, шофера, пилота, кинозвезды и т. п.

Но анима воплощает не только инстинктивные соблазны, затаившиеся во тьме бессознательного, но и руководящее мужской мудрое, светлое начало — иначе говоря, другой аспект бессознательного, который ведет мужчину не вниз, а вперед. Точно так же и анимус — это не только самоуверенный, враждебный всяческой логике «дьявол», но и творящее, производящее существо, причем его творческая функция выражается не в форме мужских свершений, а в форме «оплодотворяющего Слова» (*logos spermatikos*). И как полноценный мужчина дает жизнь своим творениям благодаря своей внутренней «женственности» — аниме, которая становится вдохновляющей его Музой, «внутренний мужской аспект женщины порождает семена творения, способные оплодотворить женский аспект мужчины»¹. Так между полами возникают естественные отношения комплементарности не только на физическом уровне — что делает возможным рождение «телесного дитяти», — но и на уровне таинственного потока образов, протекающего сквозь глубины их душ и объединяющего их для рождения «духовного дитяти». Стоит женщине осознать это, стоит ей научиться владеть своим бессознательным и руководствоваться собственным внутренним голосом — и она сама будет решать, строить ли ей свои отношения с мужчиной по примеру «вдохновительницы» Беатриче или «старой ведьмы» Ксантиппы.

Когда в зрелом возрасте мужчины становятся женоподобными, а женщины — воинственными, это всегда указывает на то, что часть их психической субстанции, которая должна была бы оставаться обращенной внутрь, в действительности обращается в сторону внешнего мира; иными словами, это указывает на недостаточное внимание людей к собственной внутренней жизни. Не зная истинной природы нашего контрсексуального партнера, мы всецело зависим от его милостей и не готовы к тем неожиданностям, которые он в любой момент может нам преподнести. Но эту природу мы способны воспринять только *в нас самих* — ибо, как правило, мы избираем того партнера, который символизирует для нас бессознательную часть нашей психической субстанции. Осознав эту составляющую нашей лич-

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 154; Collected Works, vol. 7. par. 336.

ности, мы перестаем сваливать наши ошибки на партнера; иными словами, проекция «снимается». Мы возвращаем себе ту психическую энергию, которая из-за проекции находилась в связанном состоянии, и можем направить ее на пользу нашему сознательному «Я». Такое устранение проекции не должно смешиваться с нарциссизмом. В обоих случаях индивид «приходит к самому себе», но существует огромная разница между самопознанием и самолюбованием.

Восприняв и осознав контрсексуальный элемент в себе, мы достаточно уверенно овладеваем собственными эмоциями и аффектами. Прежде всего мы достигаем настоящей независимости, а вместе с ней, конечно, и известной изоляции. В каком-то смысле мы оказываемся одинокими, ибо «внутренняя свобода» означает, что любовные отношения больше не могут нас связывать; противоположный пол утрачивает для нас свое магическое значение, поскольку мы приходим к познанию его существенных признаков в глубинах нашей собственной души. Теперь нам становится сложно «влюбиться» — ведь мы больше не можем «исчезнуть», «раствориться» в другом; но зато мы обретаем способность к более глубокой любви, к тому, чтобы осознанно посвятить свою жизнь другому человеку. Наше одиночество не отчуждает нас от мира; оно просто устанавливает между нами и миром соответствующую дистанцию. Более прочно закрепляя нас в нашей же природе, оно даже обеспечивает нам возможность отнестись к другому человеку с большей, чем прежде, самоотверженностью: ведь теперь наша личность оказывается вне опасности. Путь к достижению всего этого обычно занимает добрую половину жизни и, по-видимому, никому не дается без борьбы. К тому же он предполагает наличие богатейшего опыта — не говоря уже о разочарованиях.

Итак, непосредственная встреча с «образом души» — это задача не юношеского, но зрелого возраста. Обычно в молодые годы и не возникает потребности в том, чтобы заняться этой проблемой вплотную. В первую половину жизни контакт с противоположным полом бывает нацелен прежде всего на достижение физического единения, плодом которого должно стать «телесное дитя»; во вторую же половину жизни главная роль переходит к психическому coniunctio — единению с противоположным полом как в пределах собственного внутреннего мира, так и в аспекте отношений с носителем «образа души» во внешнем мире. Таким образом, встреча с «образом души» означает, что первая половина нашей жизни с ее необходимой адаптацией к внешнему миру и вытекающей отсюда экстравертной ориентацией сознания пришла к завершению, и теперь мы должны предпринять самый важный шаг для адаптации к миру внутреннему — взглянуть в лицо контрсексуальному аспекту внутри

нас самих. «Активация архетипа „образа души“ — это событие судьбоносного значения, безошибочный признак того, что вторая половина жизни действительно началась»¹.

Великолепный образец такого развития мы находим в «Фаусте» Гете. В первой части фаустовская анима проецируется на Гретхен. Трагический конец этой связи, однако, побуждает героя отказаться от проекции анимы на внешний мир и предпринять поиски этой части психической субстанции внутри себя самого. Он находит ее в другом мире — в «подземном мире» собственного бессознательного, который символизируется Еленой Троянской. Вторая часть «Фауста» изображает процесс индивидуации со всеми его архетипическими фигурами; Елена — это типичная фигура анимы, «образа души» Фауста. Герой вступает в борьбу с различными ее трансформациями, вплоть до ее высшего проявления, *Mater Gloriosa*. Только после этого ему отпускаются грехи и позволено вступить в мир вечности, где «снять» все противоположности.

Осознавая собственную тень, мы познаем другую, темную сторону нашей природы в той ее части, которая принадлежит нашему полу; осознавая же «образ души», мы познаем контрсексуальный аспект нашей психической субстанции. После того, как этот образ распознан и выявлен, он перестает воздействовать на нас извне, то есть из бессознательного. Дифференцировав эту контрсексуальную составляющую нашей психической субстанции, мы затем интегрируем ее в единое целое с нашей сознательной установкой. Итогом этого процесса становится обогащение содержания нашего сознания и расширение масштабов нашей личности.

АРХЕТИПЫ «ДУХА» И «МАТЕРИИ»

АПережив встречу с «образом души», мы обретаем выход к новым духовным горизонтам. Нам предстоит встретиться и прийти к сосуществованию с новыми архетипическими фигурами; для этого мы должны еще раз скорректировать свою ориентацию. Насколько можно видеть, весь этот процесс носит целенаправленный характер. Хотя бессознательное, как чистая природа, не имеет однозначно определенной цели, в нем есть своего рода «потенциальная направленность»: собственная внутренняя упорядоченность и имманентная целеустремленность. Поэтому «когда сознание активно участвует на всех этапах процесса и переживает его или, по меньшей мере, выражает ту или иную степень его интуитивного понимания, следующий образ возникает на более высоком

1 T. Wolff. Studien, S. 159.

уровне, нежели тот, который был достигнут на предыдущей стадии; в итоге целенаправленность обретает новый смысл»¹. Суть этого процесса — не в последовательной демонстрации все новых и новых символов; он периодически возобновляется всякий раз, когда очередная задача вводится в определенные рамки и становится неотъемлемой частью сознания.

Поэтому следующий после встречи с «образом души» шаг должен характеризоваться появлением архетипа *мудрого старца* — персонификации *духовного начала*. У женщин аналогией этому архетипу служит *великая мать* — мать-Земля, представляющая холодную, внеличностную правду природы. Пришло время осветить самые интимные тайники человеческого бытия: «духовное» в мужчине и «материальное» в женщине. В отличие от ситуации с анимусом и анимой, мы уже не исследуем контр-сексуальную составляющую, а стремимся достичь самого глубинного, последнего источника психической субстанции мужчины и женщины — того первичного образа, из которого она сформировалась. Прибегая к несколько рискованной формулировке, можно было бы сказать, что мужчина — это материализованный дух, тогда как женщина — одухотворенная материя; сущность мужчины определяется духовным, тогда как сущность женщины — материальным началом. На этой стадии нам нужно выявить в нашем бессознательном как можно больше латентных фигур и сделать их достоянием нашего сознания; при этом речь должна идти как о самых грубых первообразах, так и о высокоорганизованных, дифференцированных и доведенных до совершенства символах.

Обе названные выше фигуры, «мудрый старец» и «великая мать», могут принимать бесконечно разнообразные формы. С их добрыми и злыми, светлыми и темными сторонами мы сталкиваемся в представлениях первобытных народов и во всех без исключения мифологиях; мы встречаем их в образах колдунов и колдуний, пророков и пророчиц, магов, проводников — в том числе и в царство умерших, — богинь плодородия, сивилл, Матери Церкви, Софии и т. д. Обе фигуры излучают настолько непреодолимое обаяние, что каждый человек, сталкивающийся с ними лицом к лицу, подвергается соблазну впасть в самовосхваление и манию величия; избежать этого можно только при условии, что этот человек сумел различить и осознать их и, таким образом, избавился от опасности самоотождествления с их обманчивым образом. В качестве примера воздействия этих архетипов приведем Ницше, безоговорочно отождествившего себя с фигурой Заратустры.

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 192; Collected Works, vol. 7, par. 386.

Юнг именует эти архетипические фигуры бессознательного «мана-личностями» (*Mana-Persönlichkeiten*)¹. Мана означает надприродную силу. Обладать маной — значит иметь власть над другими; но это обладание чревато опасностью впасть в самонадеянность и тщеславие. Полноценное осознание того содержания, которое составляет архетип «мана-личности», означает для мужчины «второе и реальное освобождение от отца, тогда как для женщины — освобождение от матери; после того, как это произошло, к индивиду впервые приходит настоящее, полное ощущение собственной истинной личности»². Лишь по достижении этой стадии развития человек вступает на путь, который ему предстоит пройти как «духовному сыну Бога» — но только при условии, что он воздержится от соблазна раздуть свое и без того расширившееся сознание и тем самым впасть в психическую инфляцию (см. Глоссарий в конце книги. — *Ред.*), которая, «как это ни парадоксально, представляет собой обратное движение от сознания к бессознательному»³. Впрочем, на фоне тех глубочайших прозрений, к которым он в итоге приходит, подобная гордыня не кажется чем-то удивительным; никому из тех, кто решился углубиться в процесс индивидуации, не удалось совершенно избежать ее. Но если человек хочет по-настоящему овладеть силами, которые активизируются благодаря этим прозрениям, он должен научиться смирению и понять, где кроется истинный источник этих сил.

САМОСТЬ
Теперь мы уже совсем недалеко от цели. Темная сторона нашего существа осознана, контрсексуальный элемент в нас дифференцирован, наше отношение к духу и природе прояснено. Мы поняли, что глубинам психической субстанции присуща двойственность, и благодаря этому избавились от духовной гордыни. Мы проникли в сферу бессоз-

-
- 1 Очевидно, значение таких выразительных и захватывающих фигур, как «мана-личности» соответствующего пола, в снах мужчин и женщин должно быть различным. В сновидении мужчины женский образ данного рода, вероятно, следует толковать как разновидность анимы, тогда как в сновидении женщины аналогичный образ символизирует, очевидно, «великую мать» — один из «объединяющих символов», наиболее тесно связанных с Самостью. То же — *mutatis mutandis* — относится и к фигуре мудрого старца или «вечного дитяти» в сновидении мужчины (см.: *Das göttliche Mädchen*, in: C. G. Jung, K. Kerényi. *Einführung in das Wesen der Mythologie*. — Amsterdam, 1942; *Collected Works*, vol. 9, I).
 - 2 *Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten*, S. 98; *Collected Works*, vol. 7, par. 393.
 - 3 *Psychologie und Alchemie*, S. 645; *Collected Works*, vol. 12, par. 563.

нательного; мы выявили значительную часть ее содержания; мы научились ориентироваться в мире первообразов. Наше сознание, как носитель нашей личностной неповторимости, встретилось с бессознательным как носителем всего того, что в нас есть коллективного и общечеловеческого. Этот путь не был свободен от кризисов. Проникновение бессознательного содержания в сознание, распад маски, ослабление способности сознания управлять нами — все это приводит к психической неуравновешенности, которая вызывается искусственно, специально ради того, чтобы удалить препятствие, мешающее дальнейшему развитию личности: ведь такая утрата равновесия, будучи дополнена автономной, инстинктивной деятельностью бессознательного, ведет к установлению нового равновесия — конечно, при условии, что сознание сохраняет способность к ассимиляции и развитию тех элементов, которые происходят из бессознательного. «Только победа над коллективной психической субстанцией приносит с собой истинные ценности; только благодаря ней мы приручаем дикое стадо, только в ней мы обретаем непобедимое оружие, волшебный талисман и все, что в мифах считается самым желанным»¹.

Архетипический образ, ведущий от первичной полярности к единению сознания и бессознательного через общий для них центр, называется *Самостью* (das Selbst). Самость — это последняя остановка на пути к индивидуации или, как ее еще называет Юнг — *самореализации* (самоосуществления, Selbstwerdung). Только если этот центр достигнут и интегрирован, можно говорить о полноценной, всесторонне развитой человеческой личности: ведь только тогда человек приходит к гармонизации своих отношений с двумя сферами, составляющими всю его жизнь, то есть с внешней и внутренней реальностями. Эта задача, невероятно сложная как этически, так и интеллектуально, доступна только немногим счастливым, осененным благодатью избранникам.

Для сознательной личности рождение Самости означает смещение психического центра и, следовательно, возникновение новой жизненной установки, развитие нового мирозерцания. Иначе говоря, такая личность претерпевает *трансформацию*, преобразуется в самом полном смысле этого слова. «Для того, чтобы по-настоящему преобразовать собственную жизнь, необходима исключительная концентрация на *центре*, на том месте, где происходит созидательное изменение. В течение этого процесса человека, так сказать, кусают животные: мы вынуждены испытывать на себе воздействие животных импульсов бес-

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 85; Collected Works, vol. 7, par. 274.

сознательного, не идентифицируя себя с последним, но и не „убегая“ от него, так как бегство от бессознательного означало бы полный провал. Мы должны твердо держаться на ногах — а это в данном случае означает, что процесс, инициированный самонаблюдением сновидца, должен быть пережит во всех своих ответвлениях, а затем по возможности внятно артикулирован сознанием. Это часто порождает почти невыносимую напряженность, обусловленную несоизмеримостью сознательной жизни и бессознательного процесса; но эта несоизмеримость переживается только в самых потаенных глубинах души и ни в коей мере не затрагивает видимой поверхности жизни»¹. Поэтому Юнг настаивает, чтобы пациент, невзирая на самые жестокие бури в душе, ни на день не переставал жить нормальной жизнью и не отвлекался от обычных трудов. Именно умение перенести эту напряженность, умение сохранить выдержку даже в самый разгар психического расстройства обеспечивает возможность установления нового психического порядка. }

Распространенное мнение, будто итогом психического развития может стать избавление от страданий, совершенно ложно. Страдания и конфликты составляют неотъемлемую часть жизни; их следует рассматривать не как «нездоровье», а как естественные атрибуты человеческого бытия, как нормальный противовес счастью. Нездоровье и комплексы возникают только тогда, когда человек пытается избежать их под воздействием усталости, страха или недопонимания. Поэтому мы должны различать *сдерживание* и *вытеснение*. «Сдерживание означает осознанный этический выбор, тогда как вытеснение — это скорее аморальная склонность увиливать от неприятных решений. Сдерживание может привести к неудобствам, конфликту, страданиям, но оно никогда не бывает причиной невроза. Невроз — это всегда подмена естественного, „законного“ страдания»². По существу это «ненастоящее» страдание, которое мы ощущаем как враждебную жизни бессмыслицу — тогда как в страдании, обусловленном «настоящей» причиной, всегда содержится на-

1 Psychologie und Alchemie, S. 205; Collected Works, vol. 12, par. 186.

2 Psychologie und Religion, S. 136; Collected Works, vol. 11, p. 75. Данное высказывание Юнга должно быть понято правильно. Говоря об «аморальной склонности», он, конечно же, не имеет в виду, что эта «аморальность» проистекает из осознанного решения. Мы знаем, что вытеснение начинается в раннем детстве и отчасти представляет собой необходимый защитный механизм. Юнг хочет сказать, что из-за собственной слабости и неспособности противодействовать осложнениям некоторые люди даже в позднюю пору жизни склонны предпочитать этот защитный механизм всем остальным. Причина кроется либо в конституции этих людей, либо в тех событиях, которые помешали нормальному ходу их психического развития.

мек на будущий подъем и приумножение духовного богатства. Значит, осознание — это трансформация «ненастоящего» страдания в «настоящее».

«Но чем дальше мы продвигаемся по пути самопознания, тем тоньше становится в нас слой личностного бессознательного, наложенный на коллективное бессознательное. В итоге возникает сознание, уже не ограниченное рамками мелкого, сверхчувствительного, индивидуалистичного мирка „Я“, а свободно принимающее участие в тех процессах, которые происходят в более обширном мире объективных интересов. Это уже не легковоспламеняющееся скопление чисто эгоистических желаний, страхов, надежд и амбиций, которые непременно должны компенсироваться или корректироваться противоположно направленными тенденциями бессознательного; теперь это функция установления связи с миром объектов, обеспечивающая индивиду абсолютное, тесное, неразрывное единство с миром в самом широком смысле слова»¹. Такое «обновление личности... — субъективное состояние, реальность которого не может быть оценена на основании внешних критериев; любая попытка описать его или дать ему объяснение обречена на неудачу, поскольку понять и удостоверить его реальность могут только те, *кто его пережил*»². Объективный критерий для этого состояния так же невозможен, как и, скажем, для счастья, которое, однако же, абсолютно реально. «Все в этой психологии сводится, в самом глубинном смысле, к переживанию; теория в целом, даже в те моменты, когда она напускает на себя вид самой строгой абстракции, является прямым следствием чего-то непосредственно пережитого»³.

«Самость... превосходит сознательное „Я“. Она охватывает как сознательную, так и бессознательную психическую субстанцию и по сему представляет собой личность, которой *также являемся и мы сами*»⁴. Мы знаем, что бессознательный процесс обычно находится в компенсаторной связи с сознанием; но связываемые таким образом реалии не обязательно контрастны, поскольку бессознательное и сознание не обязательно противопоставляются друг другу. Они дополняют друг друга и в итоге образуют Самость. Мы можем составить представление об отдельных частичных психических субстанциях; но мы не можем

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 99; Collected Works, vol. 7, par. 275.

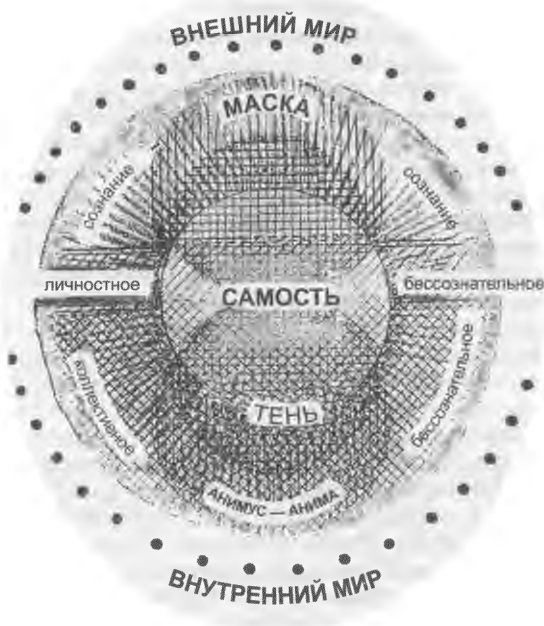
2 Psychologie und Alchemie, S. 209; Collected Works, vol. 12, par. 188 (курсив мой. — И. Я.).

3 Über die Psychologie des Unbewussten, S. 209; Collected Works, vol. 7, par. 199.

4 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 98; Collected Works, vol. 7, par. 274.

столь же отчетливо представить себе, что же такое есть в действительности Самость, ибо часть в принципе не способна познать целое. Диаграмма 6 — это попытка по возможности наглядно показать психическую субстанцию во всей ее целостно-

Диаграмма 6



сти. Самость локализуется посредине между сознанием и бессознательным; она черпает из обеих сфер, принадлежит обеим сферам, охватывает и включает в поле своего излучения обе сферы, ибо «Самость — это не только центр, но еще и окружность, охватывающая как сознание, так и бессознательное; Самость — центр этой целостности, подобно тому, как „Я“ — это центр сознательного разума»¹. Различные части целостной психической субстанции, о которых мы говорили выше, вошли в нашу диаграмму в качестве составных частей, причем без какого бы то ни было иерархического порядка. Феномен, о котором идет речь, настолько сложен, что диаграмма может быть лишь самой

¹ Psychologie und Alchemie, S. 69; Collected Works, vol. 12, par. 44.

огрубленной иллюстрацией общего представления о нем. Наша цель — очертить контекст, который может быть адекватно понят человеком только на основании собственного переживания.

Единственная известная *нам* составная часть Самости — это «Я». «Достигшее индивидуации „Я“ ощущает себя как *объект* какого-то неизвестного и высшего субъекта». Мы ничего больше не можем сказать по поводу его содержания. Любая попытка продвинуться в этом направлении выводит нас за рамки наших реальных знаний. Самость дана нам только в *переживании*. Пытаясь охарактеризовать переживание Самости, мы можем только повторить вслед за Юнгом: это «своего рода компенсация конфликта между внутренним и внешним... Значит, Самость — это также и цель нашей жизни, ибо она представляет собой самое полное выражение того неповторимого сочетания, которое мы называем личностью; Самость — это полный расцвет не только отдельно взятого индивида, но и целой группы, каждый член которой вносит свою долю в складывающееся целое»¹. И здесь также мы соприкасаемся с чем-то таким, что недоступно определению и может быть лишь пережито.

Эта наша Самость, наш «центр» — точка концентрации напряженности между двумя мирами, точка приложения сил, о существовании которых мы *знаем* только в самых общих чертах, но которые мы *чувствуем* все сильнее и сильнее. Она «чужда нам и одновременно близка, тождественна нам и одновременно непознаваема; это центр некоего таинственного устройства... Кажется, что основы всей нашей психической жизни укоренены именно в этой точке, что именно к ней направлены все наши высшие устремления. Этот парадокс неизбежен: ведь мы сталкиваемся с парадоксами всякий раз, когда пытаемся определить нечто, выходящее за пределы нашего понимания»²... «Но если бессознательное явно выступает в качестве детерминирующего фактора, равноценного сознанию, и если в ходе решения жизненных задач максимально возможное внимание уделяется как сознательным, так и бессознательным (то есть инстинктивным) потребностям, центр тяжести личности смещается... Этот новый центр может быть назван Самостью... Если подобное смещение проходит успешно... оно приводит к развитию личности, страдающей, так сказать, на низших этажах своего существа — тогда как на высшем этаже... она примечательным образом отстранена как от мучительных, так и от радостных событий»³.

1 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 206—207; Collected Works, vol. 7, par. 404.

2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 202—203; Collected Works, vol. 7, pars. 398—399.

3 Das Geheimnis der goldenen Blüte, S. 50; Collected Works, vol. 13, par. 67.

Таким образом, идея Самости, представляющей собой всего лишь граничное понятие, сопоставимое с кантовской «вещью в себе», есть по существу трансцендентный постулат, «который, будучи оправдан психологически, тем не менее не поддается научному обоснованию»¹. Смысл этого постулата в том, чтобы с его помощью прийти к формулировке сущности некоторых эмпирически выявленных процессов и к установлению связей между ними². Категория Самости — лишь указание на первичную, непостижимую основу психической субстанции. Но взятая в аспекте целеполагания, данная категория есть к тому же еще и этический постулат, то есть задача, которую необходимо решить; юнговская система отличается от всех прочих как раз тем, что она включает в себя апелляцию к этике и стимулирует этические решения. Далее, Самость — это категория из области психического и, как таковая, может быть только пережита; пользуясь далеким от психологии языком, мы могли бы назвать ее «центральной пламенем» (*zentrale Feuer*), долей нашего участия в Боге или же «искоркой» (*Fünkchen*) Мастера Экхарта. Самость — это раннехристианский идеал Царства Божия, которое «внутри нас». Это высшая точка, которой может достичь человек в своем переживании и познании психической субстанции.

РЕАЛИЗАЦИЯ САМОСТИ

РМы смогли дать лишь краткий набросок процесса индивидуации в той форме, в которой он был разработан Юнгом. Как нам удалось убедиться, этот путь к расширению масштабов личности состоит в постепенном проникновении в глубь содержания и функций целостной психической субстанции и исследовании их воздействия на «Я». Продвигаясь по этому пути, индивид познает себя таким, каков он есть по своей имманентной природе, а не таким, каким он хотел бы быть, — и нужно сказать, что для любого человека это одна из самых трудновыполнимых задач. Данный процесс может быть осознан только при наличии специальных психологических *знаний* и методического умения, равно как и особой психологической установки. Здесь следует подчеркнуть, что Юнг был первым, кто с научных позиций наблюдал и описал явления и переживания коллективной психической субстанции. По его собственным словам, «такие научные термины, как „индивидуация“... всего лишь указывают на все еще малоисследованные об-

1 *Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten*, S. 207; *Collected Works*, vol. 7, par. 405.

2 Именно такую функцию выполняют логически недоказуемые постулаты или эвристические максимы во всех науках.

ласти науки; в данном случае речь идет о процессах централизации, происходящих в бессознательном и направленных на формирование личности»¹.

(Метод лечения по Юнгу основан на исследовании и приведении во взаимное соответствие всех потенциальных возможностей психической субстанции; при этом в качестве исходного пункта принимается ситуация, сложившаяся на данный момент времени. Это позволяет Юнгу называть свой метод *перспективным*, то есть предвосхищающим будущее — в противоположность ретроспективному методу, при котором основной момент лечения заключается в обнаружении кроющихся в прошлом причин болезни. Юнговский метод — это путь к самопознанию и саморегуляции, средство активизации этической функции; он ни в коей мере не ограничен задачей лечения душевной болезни или невроза. Конечно, импульс, побуждающий человека пройти курс анализа, очень часто имеет своим источником болезнь; но не менее часто он исходит от желания найти смысл жизни, вернуть утраченную веру в Бога и самого себя. Как говорил сам Юнг, «примерно треть моих пациентов страдали не столько от неврозов, сколько от бессмысленности и бесцельности жизни»². Именно последнее ощущение кажется наиболее распространенной формой невроза нашего времени — времени, когда все фундаментальные ценности угрожающе расшатаны, и человечество оказалось во власти тотальной духовной и психической дезориентации.

В этих условиях постулированный Юнгом путь индивидуации — то есть путь активизации творческих сил бессознательного и их осознанной интеграции в целостную психическую субстанцию — может рассматриваться как серьезная попытка разработать противовес силам, которые оказывают столь сильное дезориентирующее воздействие на современного человека. Эта попытка означает освобождение от пут инстинктивной природы, некое «действие вопреки природе» (*opus contra naturam*), предназначенное, впрочем, прежде всего для второй половины нашей жизни.

Углубление и расширение сознания через обогащение его содержанием сферы бессознательного есть «просветление» (*Aufhellung*), то есть духовный акт. «Именно поэтому большинство героев характеризуется солярными атрибутами, а момент рождения их высшей личности называют „озарением“ (*Erleuchtung*)»³. Значение этого момента чудесным образом символизируется христианским таинством крещения. «В первобытном

1 *Psychologie und Alchemie*, S. 647; *Collected Works*, vol. 12, par. 564.

2 *Seelenprobleme der Gegenwart*, S. 84; *Collected Works*, vol. 16, p. 41.

3 *Wirklichkeit der Seele*, S. 208; *Collected Works*, vol. 17, p. 184.

мире все было наделено душевными качествами. Всему приписывались элементы души человека или, лучше сказать, человеческой души, коллективного бессознательного — ибо индивидуальной психической жизни тогда еще не было. В данной связи не следует забывать, что цель, которую ставит перед собой христианское таинство крещения, необычайно значима с точки зрения психического развития человечества. Крещение наделяет человека единой душой. Я, конечно, не хочу этим сказать, что обряд крещения сам по себе, как некий магический акт, способен сразу же оказать непосредственное воздействие. Я просто утверждаю, что идея крещения поднимает человека над его архаическим самоотождествлением с миром и трансформирует его в нечто более высокое, чем мир. То, что человечеству удалось подняться до этой идеи, есть крещение в глубочайшем смысле этого слова — в смысле рождения духовного человека, который превыше природы»¹.

К сознанию, все еще находящемуся под опекой веры и догматической символики, Юнгу добавить нечего; но он делает все, что в его силах, дабы поощрить людей, ищущих свой путь обратно к Храму. Он верит в то, что «душа по природе своей христианка», равно как и в то, что именно на пути к самоосуществлению человек, «знающий смысл того, что он делает... может стать человеком высшего типа... символом подлинного Христа»².

Итак, самоосуществление — это к тому же (и прежде всего) путь, ведущий к обретению смысла жизни, к формированию характера и, значит, мировоззрения. «Мировоззрение предопределяется сознанием. Всякое осознанное представление о мотивах и намерениях есть зародыш мировоззрения; всякое приумножение опыта и знания ведет по пути развития мировоззрения. Формируя свой образ мира, мыслящий человек меняется сам. Человек, чье солнце все еще вращается вокруг Земли, принципиально отличается от человека, чья земля — лишь спутник Солнца»³.

Человек, страдающий душевной болезнью, или человек, чья жизнь почему-либо утратила смысл, подавлен проблемами, с которыми он безуспешно борется — ведь «самые значительные, самые главные жизненные проблемы, по существу, неразрешимы, и от этого никуда не уйти, ибо проблемы эти выражают полярность, имманентную любым саморегулирующимся системам. Решить их невозможно — но их можно *перерасти*... Это проявляется в виде повышения уровня сознания. Интересы человека становятся обширнее и возвышеннее, и благодаря этому

1 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 211 ff.; Collected Works, vol. 10, par. 136.

2 Das Geheimnis der goldenen Blüte, S. 62; Collected Works, vol. 13, par. 81.

3 Seelenprobleme der Gegenwart, S. 268; Collected Works, vol. 8, p. 361.

расширению его духовного горизонта неразрешимая проблема утрачивает для него свою жгучесть. Она не решается в терминах своей собственной логики, а просто угасает перед лицом более могущественных тенденций жизни. Она не вытесняется, не изгоняется в бессознательное; она просто предстает в ином свете и поэтому меняет свой смысл. То, что на низшем уровне приводило к жесточайшим конфликтам и паническим эмоциям, в условиях более высокого развития личности выглядит примерно так же, как буря в долине, когда на нее глядят с вершины горы. Это не значит, что гроза утратила свою реальность; просто человек находится уже не „внутри“ нее, а над ней»¹.



ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СИМВОЛ

Архетипический образ этого *совмещения* противоположностей (*coincidentia oppositorum*), этого единения противопоставленных друг другу начал, их высшего синтеза, выражается через посредство так называемого *объединяющего* символа (*das vereinigende Symbol*)², который представляет подсистемы психической субстанции как *объединенные* и упорядоченные в некоей *высшей* плоскости. Все символы и архетипические фигуры, воплощающие те или иные этапы процесса индивидуации, служат носителями *трансцендентной* функции³ — функции объединения психических противоположностей в синтетическое единство, трансцендентное по отношению к каждой из них. Объединяющий символ появляется только тогда, когда в процессе психического развития внутриспсихическое «начинает переживаться как нечто абсолютно реальное, не менее действенное и психологически достоверное, нежели мир внешней действительности»⁴. Любое появление объединяюще-

1 Das Geheimnis der goldenen Blüte, S. 12—13; Collected Works, vol. 13, par. 17.

2 Любые символы, по существу, представляют собой именно *coincidentia oppositorum*; но «объединяющий символ» обладает особой выразительностью. Различные стороны этого символа описаны Юнгом в работах: «Aion», «Mysterium Coniunctionis», а также в главе 5 «Психологических типов».

3 «В данном случае я имею в виду не какую-то единую, фундаментальную функцию, а комплексную, составную функцию. Что же касается термина „трансцендентный“, то под ним я не подразумеваю ничего метафизического; я использую его ради того, чтобы показать, что данная функция делает возможным переход от одной установки к другой». Ср.: Psychologische Typen, S. 651; Collected Works, vol. 6, par. 828. Подробное определение и описание данного понятия дано в: Die transzendente Funktion, in: Geist und Werk. Festschrift zu Dr. D. Brody's 75 Geburtstag. — Zürich, 1958, S. 3; Collected Works, vol. 8.

4 T. Wolff. Studien, S. 134.

го символа — который может принимать самые разнообразные обличья — означает восстановление равновесия между «Я» и бессознательным. Символы этого типа, будучи отражениями истонного образа психической целостности, всегда выступают в более или менее абстрактной форме, ибо лежащий в их основе и отражающий их глубинную суть формообразующий закон предполагает симметричное взаимное расположение частей вокруг центра. Изображения таких символических фигур известны на Востоке с незапамятных времен; наиболее значительные образцы — это так называемые *мандалы* или «магические круги». Мы не утверждаем, что символ Самости всегда имеет форму мандалы. В зависимости от состояния, в котором находится сознание индивида, и степени его психического развития, любая вещь — независимо от того, велика она или мала, непритязательна или возвышенна, абстрактна или конкретна — может сделаться символом Самости, этого «действенного центра». Но именно мандалы служат особенно красноречивыми и емкими выражениями объединяющего, синтетического взгляда на психическую субстанцию.

ЯВЛЕНИЯ, АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОЦЕССУ ИНДИВИДУАЦИИ

Структура, отражающая процесс индивидуации и единая для всех культур, выявляется не только в мандалах и аналогичных им символах. Известно множество исторических аналогий процессу индивидуации. Психическая трансформация, открытая человеку Запада благодаря юнговской аналитической психологии, по существу представляет собой «естественную параллель религиозным обрядам инициации»¹ всех времен; единственное различие заключается в том, что в обрядах инициации используются традиционные предписания и символы, тогда как в рамках процесса индивидуации по Юнгу цель достигается через естественное продуцирование символов, то есть спонтанное движение психической субстанции. Существующие аналогии могут быть проиллюстрированы на таких примерах, как инициационные обряды первобытных народов, буддистские и тантрические формы йоги, духовные упражнения Игнатия Лойолы и т. п. Конечно, все такие попытки несут на себе печать своего времени и этнического происхождения. У каждой из них есть свои культурные предпосылки; если они и соотносятся с настоящим, то только на уровне исторических и струк-

1 Das Tibetanische Totenbuch, herausgegeben von Evans-Wentz, Kommentar von Jung. — Zürich, 1935, 5 Aufl. 1953, S. LXX; Collected Works, vol. 11, par. 854.

турных параллелей. Все эти инициационные процедуры не могут быть применены к современному человеку Запада непосредственно; с юнговской концепцией индивидуации они сопоставимы лишь в своих самых фундаментальных принципах. Главное отличие большинства из них от юнговского метода состоит в следующем: они либо представляют собой религиозные акты, либо предназначены для того, чтобы развивать в человеке вполне определенное, породившее их и отраженное в них мировоззрение — тогда как в процессе индивидуации по Юнгу психическая субстанция прокладывает путь к духовно-этически-религиозному порядку, который является *следствием*, а не *содержанием* подготовительной стадии, и который должен стать итогом осознанного и свободного личностного выбора.)

Юнг нашел особенно выразительную аналогию процессу индивидуации в средневековой герметической философии или алхимии¹. Алхимия и процесс индивидуации, будучи порождениями различных эпох и культур, различны во многих отношениях, но в равной мере нацелены на то, чтобы привести человека к самоосуществлению. «Трансцендентная функция», о которой говорит Юнг в связи с формированием символов, «является основным предметом позднесредневековой алхимической философии». Было бы большой ошибкой сводить всю алхимическую мысль к одним только перегонным кубам и тиглям. Юнг называет алхимию не чем иным, как «отдаленным и интуитивным предвосхищением самоновейшей философии». Конечно, алхимическая философия, «стесненная неизбежным стремлением все еще неразвитого, слабо дифференцированного интеллекта к конкретизации, так и не достигла уровня сколько-нибудь внятных психологических формулировок». Но «на самом деле тайна алхимии заключалась в трансцендентной функции, в трансформации личности, достигаемой благодаря смешению и слиянию ее благородных и низменных составляющих, ее дифференцированных и низших функций, ее сознания и бессознательного»²: ведь, по всей вероятности, алхимиков занимали вовсе не химические элементы, а скорее «нечто аналогичное психическим процессам, но выраженное на псевдохимическом языке». Золото, которое искали алхимики — это не обычное золото (*aurum vulgi*), а философское золото или даже чудесный камень, «камень невидимости» (*lapis invisibilitatis*)³, «спасительное снадобье» (*alexipharmakon*), «красная настойка», «эликсир жизни».

- 1 Подробный анализ, сопровождающийся многочисленными иллюстрациями из старых алхимических трактатов, содержится в: *Psychologie und Alchemie*; *Collected Works*, vol. 12.
- 2 *Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten*, S. 172—173; *Collected Works*, vol. 7, par. 360.
- 3 *Psychologie und Alchemie*, S. 336; *Collected Works*, vol. 12, par. 342—343.

Количество терминов, использовавшихся для обозначения этого «золота», поистине бесконечно. Часто его представляли как таинственную сущность, состоящую из тела, души и духа и выступающую в форме крылатого существа или гермафродита. Другой символический образ получил на Востоке наименование «алмазного тела» или «золотого цветка». «Как аналог коллективной духовной жизни того времени, он прежде всего был образом духа, заключенного во тьму окружающего мира. Иначе говоря, состояние относительно слабого развития сознания, которое уже тогда воспринималось человеком как нечто болезненное и вызывающее к искуплению, нашло в этом символе свое материальное отражение и, следовательно, стало доступно материальному воздействию»¹. Так из хаоса бессознательного, представленного той самой «беспорядочной массой» (*massa confusa*), которая служила основным сырьем алхимии, благодаря разделению, дистилляции и другим аналогичным процессам, а также путем все новых и новых комбинаций возникло «тонкое» или «неосязаемое» тело (*corpus subtile*), «тело воскресения», «золото».

Но это золото, согласно воззрениям алхимиков, не могло быть сотворено без вмешательства Божественной благодати, ибо в нем проявляется Бог. В учении гностиков «человек света» — это искра того Вечного Света, который пал во тьму материи и должен быть спасен от нее. Таким образом, итог процесса может быть обозначен как объединяющий символ, который почти всегда бывает наделен свойством *нуминозности* (см. Глоссарий. — *Ред.*).

Согласно Юнгу, «христианское *opus* (делание) — это *operari* (работа) во имя Бога-Искупителя, предпринятая человеком, нуждающимся в искуплении; алхимическое же *opus* — это труд Человека-Искупителя во имя божественного мира — души, дремлющей и ждущей искупления в материи»². Лишь в свете этих соображений становится понятно, какими путями алхимики пришли к переживанию трансформации собственной психической субстанции в ее проекции на химические вещества. И лишь после обнаружения соответствующего ключа мы понимаем глубинный смысл этих таинственных, в высшей степени «туманных» (или, скорее, преднамеренно «затуманенных») текстов и процессов³.

Подобно алхимии, различные формы *йоги* также стремятся к

1 *Psychologie und Alchemie*, S. 639; *Collected Works*, vol. 12, par. 557.

2 *Psychologie und Alchemie*, S. 639; *Collected Works*, vol. 12, par. 557.

3 Много лет назад Герберт Зильберер (H. Silberer) в своей книге «Проблемы мистики и ее символики» (*Probleme der Mystik und ihrer Symbolik*. — Wien, 1914) указал на аналогии между алхимией и современной психологией глубин — в частности, аналитической психологией Юнга.

освобождению души, к состоянию «отрешенности от предметного мира», которое индусы называют *нирваной* — «свободой от противоположностей». Но если в алхимии трансформация психической субстанции представляется и переживается в символическом облике химических веществ, то йога стремится к трансформации через посредство физических и духовных упражнений, которые мыслятся как средства непосредственного воздействия на душу. Все шаги и этапы этого процесса предписываются с максимальной тщательностью и требуют от человека исключительной психической выносливости и сосредоточенности. Для йоги «цель духовного бытия состоит в сотворении и увековечении психического „неосязаемого тела“, обеспечивающего непрерывность внетелесного сознания. Это рождение духовного человека»¹, Будды, символа духа, трансцендентного по отношению к преходящему телу. Здесь также «видение» внутренней «реальности» — то есть интуитивное постижение того мира, в котором царят пары противоположностей, — служит предпосылкой искомого единства и целостности. Сама последовательность образов и стадий йоги живо напоминает об алхимии и процессе индивидуации, лишний раз свидетельствуя о единстве психической основы всех этих феноменов.

Как *opus alchimica*, так и *imaginatio* восточных мистических учений — этот «продуцирующий» Будду психический инструмент — основываются на том самом *активном* воображении, которое у юнговских пациентов ведет к аналогичному переживанию символов, а через него — к познанию человеком своего «центра», Самости. «Активное воображение», о котором здесь идет речь, не имеет ничего общего с воображением («фантазированием») в повседневном смысле. «Воображение (*imaginatio*) должно пониматься буквально: как реальная способность создавать образы. Именно таково классическое употребление данного слова — в противоположность „фантазии“, означающей лишь выдумку, внезапно промелькнувшую идею, причуду, то есть некую несущественную мысль²... *Imaginatio* — это активное воспроизведение (внутренних) образов... это настоящий подвиг мысли и мышления; это не плетение бесцельных и беспочвенных фантазий, подобное строительству воздушных замков, а попытка постичь факты внутренней жизни и обрисовать их в таких образах, которые соответствовали бы их истинной природе». Это активизация последних глубин души, способствующая возникновению благотворных для нее символов. Алхимик пытается достичь этого в химических веществах, йоги и Лойола —

1 Das Geheimnis der goldenen Blüte, S. 52; Collected Works, vol. 13, par. 69.

2 Следовательно, активное воображение необходимо строго отличать от пассивного воображения, действующего в грезах и т. п.

посредством строго кодифицированных и упорядоченных упражнений; что же касается юнговской психологии, то ее путь — помочь индивиду углубиться в собственную душу, познать ее содержимое и интегрировать его в свое сознание. Но «процессы эти в глубинах своих содержат некую тайну; они задают человеку такие задачи, над решением которых человеческий разум будет биться еще очень долго и, скорее всего, напрасно. Вообще говоря, разум едва ли можно считать подходящим инструментом для этой цели. Не зря алхимия полагала себя „искусством“ — ведь ей было свойственно совершенно точное ощущение того, что она имеет дело с творческими процессами, которые могут быть по-настоящему постигнуты только через переживание. Интеллект в лучшем случае способен дать им имя»¹.

Итак, мы, в пределах нашего культурного горизонта, обнаруживаем случаи великих прозрений и предвосхищения важных открытий современной психологии. Они слишком часто отождествляются с суевериями; но в них отражены некие психологические основы, по существу не подверженные изменениям. То, что было верно две тысячи лет назад, все еще остается живой, действенной правдой². Подробное рассмотрение всех процессов, устремленных к той же цели, значительно превысило бы рамки настоящей работы. Читателю следует обратиться к исчерпывающим исследованиям самого Юнга³; здесь мы лишь повторим его более чем обоснованное предостережение, что все попытки имитации алхимии или попытки людей Запада применить к себе упражнения йоги кроют в себе огромную опасность. Ни одна из них не способна выйти за пределы сознательной воли; соответственно, их итогом может стать лишь усиление невроза. Современный европеец исходит из совершенно иных

-
- 1 *Psychologie und Alchemie*, S. 234, 647; *Collected Works*, vol. 12, pars. 219, 564.
 - 2 См. также: C. A. Meier. *Antike Inkubation und moderne Psychotherapie*, in: *Studien aus dem C. G. Jung-Institut*, Bd. 1. — Zürich, 1948.
 - 3 Наиболее важны следующие работы Юнга: *Das Tibetanische Totenbuch*, op. cit. (*Collected Works*, vol. 11); *Das Geheimnis der goldenen Blüte*, op. cit. (*Collected Works*, vol. 13); *Yoga and the West*, in: *Prabuddha Bharata*, II, 1936 (*Collected Works*, vol. 11); *Einige Bemerkungen zu den Visionen des Zosimos*, in: *Von den Wurzeln des Bewusstseins*, op. cit., IV, S. 137 ff. (*Collected Works*, vol. 8); предисловие к: Suzuki. *Die grosse Befreiung. Einführung zum Zen-Buddhismus*. — Leipzig, 1939 (*Collected Works*, vol. 11); *Zur Psychologie östlicher Meditation*, in: *Symbolik des Geistes*. — Zürich, 1948 (*Collected Works*, vol. 11); *Psychologie und Alchemie*, op. cit. (*Collected Works*, vol. 12); *Die Psychologie der Übertragung*. — Zürich, 1946 (*Collected Works*, vol. 16); *Gestaltungen des Unbewussten*. — Zürich, 1950 (*Collected Works*, vol. 9, I); *Aion*. — Zürich, 1951 (*Collected Works*, vol. 9, II); *Mysterium Coniunctionis*, Bd. I und II. — Zürich, 1956 (*Collected Works*, vol. 14); *Ein moderner Mythos*. — Zürich, 1958 (*Collected Works*, vol. 10).

«стартовых позиций»; он не может просто-напросто забыть весь комплекс своих европейских знаний, всю свою европейскую культуру, и принять восточные формы жизни и мышления. «Расширение нашего сознания должно достигаться не за счет простого присвоения иных форм сознания, а за счет развития тех элементов нашей души, которые имеют свои параллели среди элементов чуждой нам психической субстанции; точно так же и Восток обходится с нашей техникой, нашей наукой, нашей промышленностью... Восток пришел к своему знанию о вещах, относящихся к внутреннему миру, будучи по-детски безграмотным в том, что касается мира внешнего». Европейец избрал иную дорогу. «Мы же, со своей стороны, предпринимаем исследование психической субстанции и ее глубин, будучи вооружены обширными историческими и научными познаниями. В настоящее время наше знание о внешнем мире и вправду служит величайшей помехой нашему познанию самих себя; но нет сомнения, что в силу существующей психологической потребности все препятствия в конечном счете будут преодолены»¹.

Итак, чтобы прийти к признанию реальности души, нужно не просто понять ее рассудком, а пережить ее — причем способы этого переживания остаются неизменными, можно сказать, с сотворения мира. Каждая эпоха ищет и находит собственные пути к тому, чтобы осветить потаенные глубины внутреннего космоса; но все эти пути в основе своей похожи друг на друга. Иногда начинает казаться, что человечество устало от трудного путешествия и больше никогда не найдет дорогу, которая могла бы вывести его из тьмы. Но присмотревшись, мы убеждаемся, что этот процесс никогда не прерывался, что все, происходившее доньше, было осмысленной цепочкой «эпизодов в драме, которая началась в серой дымке древности, растянулась на все века и устремлена в отдаленное будущее. Эта драма называется *Auroga consurgens* („Восходящая заря“) — заря сознания, пробуждающегося в человечестве»².

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ
Юнговское психологическое учение и его попытка раскрыть тайны вечного процесса психической трансформации человеку Запада — это лишь «шаг в процессе развития высшего человеческого сознания, которое обнаруживает себя на пути к неведомой цели; но это не метафизика в обычном смысле. В первую очередь это всего лишь „психоло-

1 *Das Geheimnis der goldenen Blüte*, S. 66, 47 f.; *Collected Works*, vol. 13, par. 63.

2 *Psychologie und Alchemie*, S. 638; *Collected Works*, vol. 12, par. 556.

гия“; но она может быть пережита, она постижима разумом и... обладает реальностью — такой реальностью, с которой можно что-то сделать, которая содержит в себе определенные возможности и поэтому полна жизни». Если в своем учении Юнг сосредоточивается на явлениях психической жизни и отвергает всякую метафизику, это вовсе не значит, что он скептически относится к религии или высшим силам. «Любых утверждений о трансцендентном следует избегать, ибо все они непременно суть смехотворные презумпции человеческого разума, не признающего собственной ограниченности. Поэтому, говоря о Боге или Дао как о „движении“ или „состоянии“ души, мы утверждаем нечто о познаваемом, но умалчиваем о непознаваемом. Последнее в принципе не поддается определению»¹.

Соответственно, когда Юнг, как психолог, утверждает, что Бог — это архетип, он имеет в виду «тот „тип“, который содержится в психической субстанции. Как известно, слово „тип“ — производное от греческого *typos*: „удар“ или „отпечаток“; это значит, что архетип предполагает существование чего-то такого, что оставляет этот „отпечаток“... Психология как эмпирическая наука может, основываясь на данных сравнительного исследования, установить, насколько тот или иной обнаруженный в психической субстанции отпечаток заслуживает наименования „образа Бога“ (*Gottesbild*); но тем самым она не утверждает ничего положительного или отрицательного о действительном существовании Бога. Аналогично, архетип „героя“ не означает действительного существования героя... Душа соотносится с Богом так же, как глаз — с Солнцем... При любых обстоятельствах душа должна сохранять в себе способность к установлению связи с Богом, то есть должна соотноситься с Богом — иначе никакой связи не будет. С психологической точки зрения эта соотношенность с Богом есть не что иное, как архетип „образа Бога“»².

Здесь кончается то, что может быть сказано с позиций психологии. «С религиозной точки зрения „отпечаток“ понимается как результат деятельности „отпечатающего“; с научной же точки зрения он понимается как символ чего-то неизвестного и непостижимого»³. В зеркале психической субстанции мы можем увидеть абсолют разве что мельком — таким, каким его отражает наша ограниченная человеческая природа; но его истинная сущность так и останется вне поля нашего зрения. Психическая субстанция способна в лучшем случае облечь мимолетные видения абсолюта в доступные восприятию образы. По-

1 *Das Geheimnis der goldenen Blüte*, S. 62 ff.; *Collected Works*, vol. 13, par. 82.

2 *Psychologie und Alchemie*, S. 23 ff.; *Collected Works*, vol. 12, pars. 15, 11.

3 *Psychologie und Alchemie*, S. 33; *Collected Works*, vol. 12, par. 20.

следние со всей убедительностью свидетельствуют только о человеческом, но не о трансцендентном аспекте, которого психическая субстанция не может выразить в полной мере.

Религиозная вера — это дар благодати; никто, даже психотерапевт, не способен вам ее навязать. «Религия — это „данный в откровении“ путь к спасению. Религиозные идеи — это плоды предсознательного знания, которое всегда и везде выражает себя через посредство символов. Они „работают“, даже оставаясь непостижимыми для нашего интеллекта, ибо наше бессознательное признает их в качестве частных случаев неких психических универсалий. Именно поэтому одной веры достаточно — при условии, что она есть. Любое расширение, любая интенсификация рационального сознания уводит нас от первоисточника символов и тем самым мешает нам понять их. Именно это и происходит ныне. Невозможно повернуть часы назад и заставить себя верить „в то, что заведомо ложно“. Но можно поразмыслить над тем, каково же именно значение символов. В итоге мы не только сохраним несравненные сокровища нашей цивилизации, но и вернемся к старым истинам, исчезнувшим из нашего „рационального“ поля зрения из-за чуждости и странности их символики... Современному человеку не хватает того самого понимания, которое могло бы помочь ему обрести веру»¹.

Юнг слишком хорошо знает о вредоносности доктрин, которые навязываются людям насильно и принимаются без размышлений. Он слишком хорошо знает, что только то, что возникло органически, то есть не было навязано извне, может быть по-настоящему живо и действенно; поэтому он не стремится избавить тех, кто доверился его водительству, от необходимости принимать решения и отвечать за себя. Он отказывается облегчить их задачу, объясняя, какую именно установку им следует принять: ведь переживая глубинное символическое содержание собственной психической субстанции, верующий человек непременно встретится с вечными принципами, которые подтвердят деятельность Бога в нем самом и укрепят его веру в то, что Бог создал человека по Своему образу и подобию. Неверующий же — то есть тот, кто не хочет верить или жаждет веры, но не может достичь ее никакими волевыми или интеллектуальными усилиями — придет по крайней мере к *переживанию* вечных основ своего бытия и в итоге долгой борьбы, возможно, все-таки достигнет благодати.

Люди, прошедшие этот путь, знают, что он ведет сквозь переживания, которые не поддаются словесному описанию и сопоставимы только с великими внутренними потрясениями, известными мистикам и посвященным всех времен. Процесс индиви-

1 Symbolik des Geistes. — Zürich, 1953, S. 443; Collected Works, vol. 11, p. 199.

дуации ведет не к чуждому вере интеллектуальному знанию, а к пережитому знанию, сила и реальность которого подтверждены самой жизнью. Фундаментально новым и многообещающим кажется то обстоятельство, что все это ныне становится возможно в рамках научной доктрины, построенной на строго эмпирических, феноменологических основаниях.

ТРАНСФОРМАЦИЯ И СОЗРЕВАНИЕ

Идти по «срединному пути» — задача, осуществление которой требует зрелости: ведь психологическая ситуация человека меняется в зависимости от его возраста. В начале жизни человек должен вести борьбу за преодоление детства, за дифференциацию и формирование своего «Я». Он должен обрести твердую почву под ногами в реальной жизни и научиться решать вопросы, связанные с половой, профессиональной, семейной жизнью и всем многообразием человеческих отношений. Средства, необходимые для адаптации к среде, человек обретает в процессе дифференциации своей конституционно доминирующей психической функции. Только после выполнения этой задачи возникает необходимость в адаптации к собственному внутреннему миру. Когда установка по отношению к внешнему миру сформирована и укреплена, личность может обратить свою энергию к внутриспсихическим реалиям, которые прежде находились в относительном небрежении, и тем самым приблизиться к истинной целостности. Ведь, как утверждает Юнг, «у человека есть две задачи. Первая — это природная задача воспроизводства самого себя в детях и добывания хлеба насущного; сюда же относится зарабатывание денег и завоевание положения в обществе. После того, как данная задача выполнена, начинается новая фаза — фаза выполнения духовной задачи»¹. «Наличие духовной цели, ведущей за пределы естественного человека и его мирского существования, абсолютно необходимо для душевного здоровья; это та самая, единственная архимедова точка опоры, которая позволяет освободить мир от оков и преобразовать природное состояние в культурное»².

Построение целостной личности — это задача всей жизни. Представляется, что эта задача есть не что иное, как подготовка к смерти в самом глубинном смысле слова. Смерть не менее важна, чем рождение; подобно рождению, она неотъемлема от жизни. Сама природа принимает нас в свои материнские объятия; но чтобы объятия эти были для нас благотворны, необходимо, чтобы мы к концу своих дней пришли к правильному понима-

1 Über die Psychologie des Unbewussten, S. 135; Collected Works, vol. 7, p. 73.

2 Psychologie und Erziehung, S. 40 f.; Collected Works, vol. 17, p. 86.

нию жизни. Чем старше мы становимся, тем гуще та пелена, которая отделяет нас от внешнего мира и делает его все более и более бесцветным, монотонным и неинтересным; и тем отчетливее слышен призывающий нас голос внутреннего мира. Старея, человек постепенно растворяется в той самой коллективной психической субстанции, из которой он с большими усилиями вырвался в детском возрасте. Цикл человеческой жизни завершается осмысленно и гармонично; его начало и конец совпадают, что в незапамятные времена нашло символическое отражение в облике Уробороса — змея, кусающего свой хвост.

Если жизненная задача выполнена правильно, смерть утрачивает свой устрашающий аспект и становится осмысленной частью жизненного процесса. Но следует отметить — и об этом свидетельствует огромная распространенность инфантилизма среди взрослых людей, — что для многих даже задачи первой половины жизни оказываются непосильны. Лишь немногим избранныкам удастся к концу жизни осуществиться в полной мере. Но именно такие люди всегда были создателями культуры — в противоположность тем, кто участвовал в создании и развитии «всего лишь» цивилизации. Ибо цивилизация — это всегда дитя *рационального* аспекта нашего существа, то есть интеллекта. Культура же вырастает из духа, который никогда не ограничивается сознанием; в отличие от интеллекта, он охватывает природные, исконные глубины бессознательного, овладевает ими и придает им форму.

Поскольку исторические условия, истоки и дух времени всегда оказывают решающее влияние на формирование психологической ситуации человека, можно сказать, что уникальная в своем роде судьба человека Запада заключается в многовековой атрофии инстинктивной стороны его существа за счет сверхдифференциации интеллекта. В последнее время безудержное развитие техники настолько превзошло нашу способность к психической ассимиляции, что мы почти утратили естественную связь со сферой бессознательного. Современный человек до такой степени не уверен в своих инстинктах, что похож на жалкий поплавок, беспорядочно мечущийся по поверхности бурных вод своего бессознательного или даже — как показали события последнего времени — утопающий в его волнах. «Пока человеческие сообщества представляют собой скопления отдельных личностей, их проблемы сводятся к суммированию частных проблем этих личностей. Одна часть людей отождествляет себя с архетипом „большого человека“ и не способна сойти вниз, тогда как другая часть — „маленькие люди“ — все время хочет подняться вверх. Проблемы такого рода никогда не решаются законодательным путем или какими бы то ни было уловками. Для их решения необходимо общая, кардинальная

смена установок. Но ее невозможно достичь с помощью пропаганды или митингов, не говоря уже о насилии. Она начинается с изменений в самой личности, в системе ее предпочтений, воззрений на жизнь, на принятые ценности. И лишь накопление таких изменений, происшедших в отдельных личностях, даст решение проблемы в масштабах всего сообщества»¹.

Итак, самоосуществление — это не модный эксперимент, а высшая из встающих перед личностью задач. Для *личности* эта задача означает найти свой оплот в том, что неразруσιμο и неуничтожимо — в исконной природе объективной психической субстанции. Благодаря самоосуществлению человек возвращается к тому вечному потоку, где рождение и смерть — лишь временные остановки, а смысл жизни уже не заключается в «Я». По отношению к *другим* людям в нем вырабатываются терпимость и доброта — качества, возможные только в людях, исследовавших и осознанно переживших собственные темные глубины. Что же касается *сообщества* людей, то оно получает ответственную личность, осознавшую свои обязанности как в малом, так и в большом на основании глубоко индивидуально-го опыта — опыта переживания собственной психической целостности.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА ЛИЧНОСТИ

Несмотря на свою тесную связь с фундаментальными вопросами бытия, юнговская психология строится не как религиозная или философская система.

Это систематически разработанная научная дисциплина, занимающаяся проблемами психического переживания. Если биология — это наука о живом физическом организме, то юнговская психология стремится стать наукой о живом организме психической субстанции — о том орудии, с помощью которого человек формирует и переживает на собственном опыте любые религиозные и философские системы. И только такая наука может обеспечить основу для мировоззрения, которое не просто некритически заимствуется из существующей традиции, но разрабатывается и формируется самим индивидом. Неудивительно, что в наше время, когда коллективная психическая субстанция грозит свести отдельную человеческую душу к нулю, эта доктрина способна дать человеку спокойствие и внутреннюю безопасность. Задача, которую она ставит перед нами, будучи одной из сложнейших во все времена, несет с собой настоящий вызов: преодолеть взаимную противоположность индивида и коллектива через достижение личностью той *полноты*, ко-

1 Psychologie und Religion, S. 142 f.; Collected Works, vol. 11, p. 79. .

торая укоренена с одной стороны в отдельном человеке, с другой же стороны — в сообществе людей.

В западном мире разум человека, его односторонне дифференцированное сознание обогнали его инстинктивную природу; в итоге цивилизация достигла высочайшего уровня развития, а триумфальный технический прогресс, как кажется, утратил всякий контакт с душой. Восстановление утраченного равновесия станет возможно только при условии, что мы призовем на помощь творческие способности, скрытые в глубинах нашей психической субстанции, восстановим их в правах, сделаем их достоянием нашего интеллекта. Но «начать процесс этих изменений могут только личности»¹: ведь будучи совокупностью отдельных представителей, сообщество людей несет на себе печать частных установок этих представителей. Распознав себя как образ и подобие Божье в самом глубоком из всех возможных смыслов, то есть в смысле этического обязательства, преображенный индивид становится, «с одной стороны, носителем высшей мудрости, а с другой — носителем высшей воли»².

Ответственность за будущее нашей культуры ныне, больше чем когда-либо, лежит на личности.

1 Psychologie und Alchemie, S. 645; Collected Works, vol. 12, par. 563.

2 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, S. 201; Collected Works, vol. 7, par. 396.

Приложения

Глоссарий

(составлен А. Яффе)

Алхимия. Ранняя разновидность химии, объединяющая в себе элементы экспериментальной химии в современном смысле с образно-интуитивными, отчасти религиозными спекуляциями о природе и человеке. На неизвестные свойства вещества проецировались символы, порожденные сферой бессознательного. Алхимик искал в неизвестном веществе «тайны Божьей», действуя в том направлении и теми методами, которые предвосхищают современную психологию бессознательного.

С точки зрения истории человеческого духа философская алхимия средневековья должна рассматриваться как бессознательная компенсация канонического христианского вероучения: ведь объект алхимической медитации и техники — царство природы и вещества — расценивался христианством как нечто несущественное и подлежащее преодолению, и поэтому не мог получить в его рамках адекватной оценки. Алхимия представляет собой своего рода замутненное, примитивное зеркальное отображение мира христианских образов и идей; в работе «Психология и религия» Юнг выдвинул аналогию между центральным понятием алхимии — камнем (*lapis*) и Христом. Для языка алхимиков характерны символические образы и парадоксы. И то, и другое соответствует непознаваемой натуре жизни и бессознательной психической субстанции. Так, «камень» — это не просто камень (как духовно-религиозное понятие), но и алхимический Меркурий, дух вещества, ускользающий, летучий и неуловимый. «У него тысяча имен». Сущность невыразима однозначно и до конца; это в полной мере относится и к понятиям из области психического.

Амплификация. Развитие и углубление образа, явившегося во сне, с помощью направленных ассоциаций (см. ниже) и па-

раллелей из области гуманитарного знания (учение о символах, мифология, фольклор, история религии, этнология).

Анима и Анимус. Персонификация женской природы в бессознательном мужчины и мужской природы в бессознательном женщины. Эта психологическая «бисексуальность» служит отражением того биологического факта, что в организме существует определенное количество наследственных факторов (генов), принадлежащих противоположному полу и оказывающих на организм соответствующее воздействие, которое обычно остается неосознанным. Анима и анимус проявляются главным образом в персонифицированных формах как фигуры сновидений и фантазий или в иррациональностях мужского чувства и женского мышления. В качестве регуляторов поведения анима и анимус принадлежат к числу наиболее влиятельных архетипов (см. ниже).

К. Г. Юнг: «Каждый мужчина носит в себе вечный образ женщины: не образ той или иной конкретной женщины, но все-таки определенный женский образ. Этот по существу бессознательный образ является исконным наследственным фактором, впечатанным в живую органическую систему человека «архетипом» всего того опыта женственности, который был пережит его предками; его можно было бы назвать своего рода отстойником всех впечатлений, когда-либо произведенных женщиной... Поскольку этот образ бессознателен, он всегда неосознанно проецируется на личность любимого существа и служит одним из главных поводов страстной увлеченности или отторжения» (СС, т. 17, с. 224¹).

«В своей первичной „бессознательной“ форме анимус — это сочетание спонтанных, не продуманных заранее мнений, которые оказывают могущественное воздействие на эмоциональную жизнь женщины; аналогичным образом анима состоит из спонтанных чувств, которые впоследствии воздействуют на мужское понимание или искажают его („она вскружила ему голову“). Анимус любит проецироваться на „интеллектуалов“ и разного рода „героев“, включая теноров, актеров, спортивных знаменитостей и т. д. Анима оказывает предпочтение всему бессознательному, темному, двусмысленному и непоследовательному в женщине, а также ее суетности, холодности, беспомощности и т. д.» (СС, т. 16, с. 323).

«Естественная функция анимуса (так же, как и анимы) заключается в том, чтобы быть на своем месте между индивидуальным сознанием и коллективным бессознательным (см. ниже) —

1 Здесь и далее ссылки даются на каноническое двадцатитомное Собрание сочинений (сокращенно СС): C. G. Jung. Gesammelte Werke. — Walter-Verlag, Olten.

точно так же, как персона (см. ниже) есть своего рода промежуточный слой между „Я“-сознанием и предметами окружающего мира. Анимус и анима должны функционировать как мост или как дверь, ведущая к образам коллективного бессознательно — подобно тому, как персона должна быть своего рода мостом, ведущим в мир» (Неопубликованные материалы семинара, 1925).

Архетип. К. Г. Юнг: «Понятие архетипа... исходит из того факта, что, к примеру, мифы и сказки во всем мире содержат определенные мотивы, характеризующиеся широкой, повсеместной повторяемостью. Те же мотивы мы встречаем в фантазиях, снах, бреде и галлюцинациях современных людей. Именно эти типические образы и ассоциации я называю архетипическими идеями. Чем они живее, тем ярче их специфическая эмоциональная окраска... Они зачаровывают нас, и оказывают на нас сильнейшее воздействие. Архетипические идеи имеют свой источник в архетипе, который сам по себе есть непредставимая, бессознательная, предсуществующая форма, являющаяся, по видимому, частью унаследованной структуры психической субстанции и поэтому способная к спонтанному самопроявлению где угодно и когда угодно» (*Das Gewissen. Studien aus dem C. G. Jung-Institut, Zürich, 1958, S. 199 f.*).

«Вновь и вновь я сталкиваюсь с ложным представлением, будто архетип определяется согласно его содержанию, иными словами, будто он представляет собой своего рода бессознательную мысль (если такое выражение вообще возможно). Важно подчеркнуть еще раз, что архетипы могут быть определены не по своему содержанию, а по своей форме, да и то в очень ограниченной мере. „Первичный образ“ (термин, введенный Якобом Буркхардтом и первоначально использованный Юнгом в том же значении, что и термин „архетип“ — *Red.*) определяется относительно своего содержания только в том случае, когда он становится осознанным, то есть наполняется материалом сознательного опыта. Но его форма... может быть сопоставлена, пожалуй, с осевой структурой кристалла, которая, так сказать, преформирует кристаллическую структуру в первичной жидкости, хотя и не обладает собственным материальным бытием... Архетип сам по себе пуст и чисто формален; это всего лишь „преформирующая способность“, данная а priori. Наследуются не конкретные проявления архетипа, а лишь формы, которые в данном отношении ничем не отличаются от инстинктов, также детерминированных только формально. Существование инстинктов, так же, как и существование архетипов, не может быть доказано до тех пор, пока они не проявят себя конкретно» (СС, т. 9, ч. 1, с. 95).

«Мне кажется вероятным, что истинная природа архетипа не

может быть осознана, что она трансцендентна; поэтому я называю ее „психоидной“ (см. ниже)» (СС, т. 8, с. 213).

Ассоциация. Связывание между собой идей, восприятий и т. д. по признакам сходства, сосуществования, противопоставления и причинной связи. *Свободными ассоциациями* во фрейдовской интерпретации снов называются спонтанные идеи, являющиеся рассказчику сна и не обязательно связанные с ситуацией данного сна. *Направленными или контролируруемыми ассоциациями* в юнговской интерпретации снов называются спонтанные идеи, имеющие своим истоком ситуацию данного сна и постоянно связываемые с нею.

Ассоциативный тест. Метод обнаружения комплексов (см. ниже) путем измерения времени реакции и интерпретации ответов на слова-стимулы. Показателями наличия комплексов являются: задержка реакции, ошибки, субъективно окрашенная реакция на слова, которые затрагивают комплексы, не осознаваемые тестируемым лицом или умышленно скрываемые им от окружающих.

Бессознательное. К. Г. Юнг: «Теоретически у сознания нет границ, поскольку оно способно к бесконечному расширению. Эмпирически, однако, оно доходит до своего предела в тот момент, когда сталкивается с *неизвестным*. Последнее состоит из всего того, чего мы не знаем и что, соответственно, не связано с „Я“ как центром сферы сознания. Неизвестное включает две группы объектов; одни из них пребывают снаружи и могут быть восприняты чувствами, а другие пребывают внутри и воспринимаются непосредственно. Первая группа включает неизвестное во внешнем мире, тогда как вторая — неизвестное во внутреннем мире. Эту последнюю область мы называем *бессознательным*» (СС, т. 9, ч. 2, с. 12).

«...все, что я знаю, но о чем в данный момент не думаю; все, что я некогда сознавал, но теперь забыл; все, что воспринимается моими чувствами, но не отмечается моим сознательным разумом; все, что я невольно чувствую, думаю, вспоминаю, хочу и делаю, не обращая на это внимания; все, что только начинает формироваться во мне и когда-нибудь будет мною осознано: все это составляет содержимое бессознательного» (СС, т. 8, с. 214).

«К этому мы должны добавить все случаи более или менее преднамеренно подавленных болезненных мыслей и чувств. Все это вместе я называю *личным бессознательным*. Но помимо и сверх этого в бессознательном мы находим качества, не приобретенные в течение жизни данной личности, но перешедшие к ней по наследству — например, инстинкты как импульсы, побуждающие к действиям без осознанной мотивации, то есть по некоей недоступной сознанию необходимости. В этом „глубинном“ слое мы находим также... архетипы... Инстинкты и архе-

типы, взятые в совокупности, образуют *коллективное бессознательное*. Я называю его „коллективным“, поскольку, в отличие от личного бессознательного, оно состоит не из индивидуального и более или менее неповторимого содержимого, а из такого содержимого, которое носит универсальный характер и встречается регулярно и повсеместно» (Там же, с. 153 и след.).

«Первая группа включает содержимое, являющееся интегральной частью индивидуальности и поэтому вполне доступное сознательному восприятию; вторую группу составляет всеприсутствующее, неизменное и повсеместно идентичное самому себе *качество, или субстрат психической субстанции как таковой*» (СС, т. 9, ч. 2, с. 16).

«Глубинные „слои“ психической субстанции утрачивают свою индивидуальную неповторимость по мере продвижения все дальше и дальше во тьму. „В самом низу“, то есть ближе к автономным функциональным системам, они обретают все более и более явственно выраженное свойство коллективности, пока не становятся вполне универсальными и не угасают в телесной материальности, то есть в химических веществах. Углерод тела есть „просто“ углерод. Значит, „в самом низу“ психическая субстанция — это просто „мир“» (СС, т. 9, ч. 1, с. 187).

• Душа. К. Г. Юнг: «Человеческая душа как эмпирическая реальность должна обладать поистине невообразимой степенью сложности и разнообразия, совершенно недоступной постижению средствами одной только психологии инстинктов. Я могу только восторженно и благоговейно созерцать глубины и вершины нашей душевной природы. Ее внепространственная вселенная скрывает в себе несказанное обилие образов, накопленных и закрепившихся в организме в течение миллионов лет эволюции. Мое сознание подобно взгляду, проникающему в самые отдаленные пространства; но лишь психическое „не-Я“ наполняет его внепространственными образами. И эти образы — не бледные тени, но исключительно могущественные психические факторы... С этим зрелищем я могу сравнить только вид ночного звездного неба, ибо единственным эквивалентом внутренней вселенной является внешняя вселенная; одну из них я постигаю своим телом, а другую — своей душой» (СС, т. 4, с. 331 и след.).

«Утверждение, будто Бог способен проявить себя во всем, кроме человеческой души, звучит как богохульство. Действительно, глубоко интимная связь между Богом и душой автоматически исключает любую недооценку последней. Пожалуй, было бы некоторым преувеличением говорить об их родственности; но, во всяком случае, душа должна содержать в себе способность к установлению связи с Богом, то есть должна как-то соответствовать Богу — иначе ни о какой связи не могло бы

быть и речи. В терминах психологии это соответствие есть архетип образа Божьего (см. ниже — *Ред.*)» (СС, т. 12, с. 24—25).

Иерогамия (греч. hierosgamos). Святой или духовный брак; соединение архетипических фигур в древних таинствах возрождения, а также в алхимии. Среди типичных образцов — представление Христа и Церкви как жениха и невесты (*sponsus et sponsa*) и алхимическое соединение солнца и луны.

Индивидуация. К. Г. Юнг: «Я использую термин „индивидуация“ для обозначения процесса, в результате которого личность становится психологически „неделимой“ (*in-dividuum*), то есть отдельной, единой *целостностью*» (СС, т. 9, ч. 1, с. 293).

«Индивидуация означает становление единого, гомогенного существа; в той мере, в какой наша индивидуальность включает в себя нашу глубочайшую, последнюю и ни с чем не сравнимую „единственность“, она означает становление нашей Самости. Посему термин „индивидуация“ может быть передан как „обречение самого себя“ или „самоосуществление“ (СС, т. 7, с. 191).

«Я вновь и вновь отмечаю, что процесс индивидуации неправомерно идентифицируется с процессом осознания собственно „Я“, в результате чего „Я“ отождествляется с Самостью. Отсюда, естественно, возникает безнадежная концептуальная путаница, в результате которой индивидуация сводится к простому эгоцентризму и аутоэротизму. Но Самость содержит в себе бесконечно больше, чем просто „Я“... Индивидуация не отсекает, а включает мир в человека» (СС, т. 8, с. 258).

Интроверсия. Тип психологического отношения к миру, при котором интересы личности сосредоточены на субъективном душевном содержимом. Антоним — «экстраверсия» (см. ниже).

Инфляция. Выход личности за свои собственные пределы вследствие самоотождествления с «персоной» (см. ниже), «архетипом» (см. выше) или, в патологических случаях, с той или иной исторической или священной фигурой. Инфляция порождает преувеличенное ощущение собственной значимости и обычно компенсируется чувством неполноценности.

Комплекс. К. Г. Юнг: «Комплексы — это психические фрагменты, отколовшиеся от целостности психической субстанции вследствие травмирующих воздействий или неких несовместимых тенденций. Как показывают ассоциативные эксперименты, комплексы препятствуют осуществлению преднамеренных, волевых действий и нарушают деятельность сознания; они порождают нарушения памяти и блокируют поток ассоциаций (см. выше); они появляются и исчезают по собственным законам; они могут временно овладевать сознанием человека или воздействовать на его речь и действия без участия сознания. Короче говоря, они ведут себя как независимые существа, что особенно хорошо видно на примере ненормальных психических

состояний. В виде голосов, которые слышит психически больной, они даже приобретают характер личностных „Я“, наподобие „духов“, проявляющих себя посредством автоматического письма и т. п.» (СС, т. 8, с. 140).

Мана. Меланезийское слово, обозначающее могущественную силу, исходящую от человеческого существа, предмета, действия или события, либо от сверхъестественных существ и духов. Под словом «мана» подразумеваются также здоровье, престиж, власть, способность совершать волшебства и исцелять. Термин отражает первобытное понимание психической энергии.

Манда́ла (санскрит). Магический круг. У Юнга — символ центра, цели и Самости (см. ниже) как психической целостности; самопроизвольная репрезентация психического процесса достижения цели; формирование нового центра личности. Все это принимает символический облик круга, квадрата или симметричной «четверицы» (см. ниже). В ламаизме и тантрической йоге мандала служит инструментом созерцания (янтра), сидалищем и местом рождения богов. «Нарушенной» или деформированной мандалой называется любая форма, отклоняющаяся от круга, квадрата или равноплечего креста, или форма, чье основное число не равно и не кратно четырем.

К. Г. Юнг: «Мандала означает круг, в более узком смысле — магический круг. Эта символическая форма встречается не только по всему Востоку, но и в наших краях. Мандалы получили широкое распространение в средние века. Специфически христианская форма мандалы возникла в раннем средневековье. В большинстве христианских „мандал“ Христос изображен в центре, а четверо евангелистов или их символы — в кардинальных точках. Эта конфигурация, по-видимому, имеет очень древние корни, так как аналогичным образом египтяне изображали Гора с его четырьмя сыновьями... В большинстве случаев форма мандалы идентифицируется с цветком, крестом или колесом и выказывает явную тенденцию к числу четыре как структурной основе» (СС, т. 13).

Маска — см. Персона.

Ну́минозность. Термин, введенный Рудольфом Отто для обозначения невыразимого, таинственного, пугающего, непосредственно переживаемого и принадлежащего только божеству; происходит от латинского *numen* — «бог» (языческий).

Образ Божий. Термин, введенный Отцами Церкви, согласно которым *imago Dei* запечатлен в человеческой душе. Спонтанно возникая в снах, фантазиях, видениях и т. п., этот образ, с психологической точки зрения, представляет собой символ Самости (см. ниже), психической целостности.

Персона. В исходном значении — актерская маска.

К. Г. Юнг: «Персона... — это система адаптации личности к миру или способ, при помощи которого он сосуществует с миром. Например, любой профессии соответствует своя характерная „персона“... Но существует опасность идентификации человека с собственной персоной: то есть самоотождествления педагога со своим учебником, тенора со своим голосом... Не будет большим преувеличением сказать, что персона есть то, чем человек в действительности не является, но за что он сам и его окружение его принимают» (СС, т. 9, ч. 1, с. 122—123).

Психоидный. Подобный душе, «как бы душевный».

К. Г. Юнг: «...Коллективное бессознательное представляет психическую субстанцию, которая... в отличие от доступных восприятию психических явлений не может быть воспринята или „представлена“ прямо; именно ввиду ее „непредставимой“ природы я назвал ее „психоидной“» (СС, т. 8, с. 436).

Самость (калька с нем. *das Selbst*). Центральный архетип (см. выше); архетип порядка; целостность личности. Символизируется кругом, квадратом, четверицей (см. ниже), образом ребенка, мандалой (см. выше) и т. п.

К. Г. Юнг: «...Самость превышает сознательного „Я“. Она объемлет как сознательный, так и бессознательный компоненты психической субстанции и поэтому является, условно говоря, той личностью, которой мы *также* являемся... Трудно надеяться на то, что мы вообще способны хотя бы приблизительно осознать собственную Самость: какая бы часть ее ни была освоена нашим сознанием, всегда останется неопределенное и не поддающееся определению количество бессознательного материала, также принадлежащего Самости как целому» (СС, т. 7, с. 195).

«Самость — это не только центр, но и вся окружность, в которую вписаны как сознание, так и бессознательное; это центр целого, точно так же, как и „Я“ — центр сознания» (СС, т. 12, с. 59).

«...Самость — это цель нашей жизни, ибо она является наиболее полным выражением того судьбоносного сочетания, которое мы называем индивидуальностью...» (СС, т. 7, с. 263).

Синхроничность. Термин, изобретенный Юнгом для обозначения осмысленных совпадений или соответствий между:

а) психическими или физическими состояниями или событиями, не связанными между собой причинной связью. Такие синхроничные явления возникают, например, когда некое чисто внутреннее восприятие (сон, видение, предчувствие и т. д.) обнаруживает соответствие внешней действительности: скажем, внутренний образ или предчувствие оказывается «истинным»;

б) сходными или идентичными мыслями, снами и т. д., возникающими одновременно в разных местах.

Совпадения как первого, так и второго рода не могут быть объяснены с точки зрения причинности; представляется, что они связаны прежде всего с активизированными архетипическими процессами в сфере бессознательного.

К. Г. Юнг: «Благодаря интересу к психологии бессознательных процессов я уже давно осознал необходимость поиска другого объяснительного принципа, поскольку принцип причинности стал казаться мне неадекватным в качестве средства для объяснения некоторых примечательных явлений психологии бессознательного. Я обнаружил существование психических параллелизмов, между которыми невозможно обнаружить причинной связи, но которые связаны друг с другом на основании какого-то иного принципа, а именно — принципа совпадения событий. Главным в этой связи мне представляется относительная одновременность событий; отсюда — термин „синхроничность“. Вероятно, время, ни в коей мере не будучи абстракцией, представляет собой конкретный, вещественный континуум, наделенный некими фундаментальными качествами, которые одновременно проявляются в различных местах в виде параллелизмов, не поддающихся объяснению через принцип причинности — например, в виде одновременно возникающих мыслей, символов или психических состояний» (СС, т. 15, с. 66).

«Я выбрал этот термин, ибо одновременность двух событий, выказывающих между собой осмысленную, но не причинную связь, представлялась мне существенным критерием. Итак, я использую общее понятие синхроничности в специальном смысле, указывающем на совпадение во времени двух или более событий, не имеющих между собой причинной связи, но наделенных одним и тем же или сходным смыслом — в противовес термину „синхронность“, означающему всего лишь одновременность двух событий» (СС, т. 8, с. 560).

«Синхроничность не более загадочна или таинственна, нежели проявления дисконтинуальности в физике. Определенные интеллектуальные трудности создает лишь застарелая вера в абсолютное господство причинности, в силу которой беспричинные события кажутся несуществующими и невозможными... Осмысленные совпадения представляются простой случайностью. Но по мере того, как их число растет, а соответствия становятся более точными, их... становится все труднее и труднее рассматривать как простую случайность; ввиду невозможности причинного объяснения их приходится признать результатом некоей осмысленной преднамеренности... „Необъяснимость“ совпадений обуславливается не тем, что их причина неизвестна, а тем, что она непредставима в интеллектуальных терминах» (Там же, с. 576 и след.).

Сознание. К. Г. Юнг: «Размышляя о том, что же такое есть

на самом деле сознание, мы не можем не испытать глубокого изумления перед лицом следующего поистине чудесного обстоятельства: событие, происходящее вне нас, в космосе, одновременно порождает внутренний образ, то есть происходит, так сказать, также и внутри нас, тем самым становясь достоянием сознания» (Неопубликованные материалы семинара, Базель, 1934).

«Наше сознание не создает само себя; оно, подобно роднику, бьет из каких-то неведомых глубин. Сознание постепенно пробуждается в детстве; в течение всей последующей жизни оно ежеутренне пробуждается из глубин сна, из бессознательного состояния. Оно — словно дитя, рождающееся каждый день заново из первичного материнского лона бессознательного» (СС, т. 11, с. 616).

Сон. К. Г. Юнг: «Сон — это дверца, ведущая в самые потаенные глубины психической субстанции, в сферу космической ночи, каковой психическая субстанция была задолго до появления первых признаков „Я“-сознания и каковой она останется навсегда, независимо от масштабов, которых может достичь „Я“-сознание... Любое сознание служит различению; в сновидениях же мы обретаем сходство с тем более универсальным, более истинным, более вечным человеком, который скрывается во тьме исконной, первобытной ночи. Там он все еще есть некое целое, и целостность сохраняется в нем, неотличимая от природы и свободная от какого бы то ни было „Я“-элемента. Именно из этих всеобъединяющих глубин и возникает сон во всей своей инфантильности, нелепости и аморальности» (СС, т. 10, с. 168).

Тень. Низшая часть личности; совокупность всех принадлежащих данной личности и коллективному бессознательному психических элементов, которым, в силу их несовместимости с сознательно избранной жизненной позицией, отказано в возможности внешнего выражения, и которые в результате объединяются в сфере бессознательного в виде некоей относительно автономной «осколочной» личности, выражающей противоположные тенденции. Поведение тени служит компенсацией сознанию; посему ее воздействие может быть не только отрицательным, но и положительным. В сновидениях фигура тени всегда принадлежит к тому же полу, что и лицо, видящее сон.

К. Г. Юнг: «Тень персонифицирует все то, что субъект отказывается признать относительно самого себя, но что всегда прямо или косвенно навязывает себя ему — например, низшие черты характера и иные несовместимые тенденции» (СС, т. 9, ч. 1, с. 302).

«...тень — это та скрытая, подавляемая, по большей части низшая и отягченная виной личность, своими корнями уходя-

шая в конечном счете в мир наших животных предков, то есть включающая в себя весь исторический аспект бессознательно-го... Доныне считалось, что человеческая тень — это источник всего существующего зла; теперь же, на основании тщательно проведенных исследований, можно с уверенностью утверждать, что бессознательный человек (то есть „тень“) состоит не только из нравственно предосудительных тенденций, но и из позитивных качеств — таких, как нормальные инстинкты, уместные реакции, способность к реалистичному восприятию действительности, творческие порывы и т. д.» (СС, т. 9, ч. 2, с. 281 и след.).

Четверица. К. Г. Юнг: «Четверица — это архетип, встречающийся почти повсеместно. Она составляет логическую основу для любого целостного суждения... Например, желая описать горизонт как целое, человек не может не назвать четырех сторон света... Всегда существовали и существуют четыре стихии, четыре первичных качества, четыре цвета, четыре касты, четыре пути духовного развития и т. д. Число аспектов психологической ориентации также равно четырем... Чтобы иметь возможность ориентироваться, мы должны быть способны: а) убедиться в том, что что-то присутствует в пределах досягаемости наших чувств (функция ощущения); б) установить, что это такое (функция мысли); в) установить, насколько оно нас устраивает, насколько мы готовы его принять или отвергнуть (функция чувства); г) определить, откуда оно приходит и куда идет (функция интуиции). После того, как все эти четыре функции сработали, к ним уже нечего добавить... Идеалом полноты служит круг или сфера, а их наименьшим естественным делителем — число четыре» (СС, т. 11, с. 182).

Четверица часто имеет структуру «три плюс один»: один из составляющих ее элементов занимает обособленную позицию или наделен качествами, принципиально отличающими его от остальных элементов. Пример: у трех Евангелистов символами служат животные, тогда как у одного (св. Луки) — ангел. «Четвертый», добавленный к трем, превращает их в нечто единое, символизирующее целостность. Часто в аналитической психологии «низшая» функция (то есть функция, которой сознание субъекта не распоряжается) представляет как раз этот «четвертый» элемент, чья интеграция в сознание является одной из важнейших задач процесса индивидуации (см. выше).

Экстраверсия. Тип психологического отношения к миру, при котором интересы личности сосредоточены на предметах внешнего мира. Антоним — «интроверсия» (см. выше).

Хронограф жизни Карла Густава Юнга

(составлен А. Яффе)

1875. 26 июля: в семье Иоганна Пауля Ахиллеса Юнга (в то время служившего пастором в Кессвиле, кантон Тургау) (1842—1896) и Эмилии Юнг, урожденной Прайсверк (1848—1923) родился первенец Карл Густав.

1879. Семья переезжает в Кляйн-Хюнинген близ Базеля.

1884. Рождение сестры Гертруды (ум. в 1935).

1896. Смерть отца.

1895—1900. Учеба в Базельском университете, по окончании которого Юнг получает квалификацию врача.

1900. Поступление на работу в качестве штатного врача в Бурггельцли — приют для душевнобольных кантона Цюрих и психиатрическую клинику Цюрихского университета (руководитель — Ойген Блейлер).

1902. В Цюрихском университете — защита диссертации на тему: «О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов».

1902—1903. Зимний семестр посвящен изучению теоретической психопатологии под руководством Пьера Жане в парижской больнице Сальпетриер.

1903. Женитьба на Эмме Раушенбах (Rauschenbach) из Шафхаузена (1882—1955); один сын и четыре дочери.

1903—1905. Эксперименты в области словесных ассоциаций, опубликованные в «Диагностических исследованиях по ассоциациям» (1906, 1909).

1905—1909. Старший штатный врач в Бурггельцли. Ведет поликлинический курс по гипнотерапии. Исследования по dementia praecox (шизофрении).

1905—1913. Преподаватель (приват-доцент) медицинского факультета Цюрихского университета; читает лекции по психоневрозам и общей психологии.

1906. Начало переписки с Фрейдом.

1907. Работа «О психологии dementia praecox» (опубл. в 1909 г.). Март: первая встреча с Фрейдом в Вене.

1908. Участие в Первом международном психоаналитическом конгрессе (Зальцбург).

1909. Переезд в собственный дом в Кюснахте близ Цюриха; Юнг отказывается от работы в клинике, чтобы полностью посвятить себя частной практике. Сентябрь: первое посещение США (вместе с Фрейдом и Ференци) в связи с двадцатилетним юбилеем Университета Кларка в Вустере, штат Массачусетс, где Юнг читает лекции по ассоциативным экспериментам и получает степень почетного доктора.

1909—1913. Юнг редактирует Ежегодник психоаналитических и психопатологических исследований (*Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen*).

1910. Участие во Втором международном психоаналитическом конгрессе (Нюрнберг).

1910—1914. Избран первым президентом Международной психоаналитической ассоциации.

1911. Участие в Третьем международном психоаналитическом конгрессе (Веймар).

1912. Цикл лекций по теории психоанализа в Университете Фордхэма (Нью-Йорк). Работы: «Новые пути в психологии» (впоследствии, в расширенном и пересмотренном виде, переиздана под заголовком «О психологии бессознательного»); «Метаморфозы и символы либидо».

1913. Публикация последней работы приводит к разрыву с Фрейдом. Участие в Четвертом международном психоаналитическом конгрессе (Мюнхен). Для обозначения своей научной доктрины Юнг вводит термин «аналитическая психология». Отказ от чтения лекций в Цюрихском университете.

1914. Уход с поста президента Международной Психоаналитической Ассоциации.

1913—1919. Период интенсивного исследования глубин собственной психической субстанции («лицом к лицу с бессознательным»).

1916. Сочинение «Семи проповедей мертвецам». Первый рисунок мандалы. Публикация «Избранных работ по аналитической психологии». Первое описание процесса «активного воображения» в работе «Трансцендентная функция» (опубл. в 1957 г.). В работе «Структура бессознательного» (опубликованной первоначально на французском языке) впервые используются термины «личностное бессознательное», «коллективное

(сверхличностное) бессознательное», «индивидуация», «анимус — анима», «персона». Начало работы над исследованием гностических текстов.

1918. Работа «О бессознательном».

1918—1919. Руководитель лагеря для интернированных британских солдат в Шато д'Э (кантон Во). В работе «Инстинкт и бессознательное» впервые использован термин «архетип».

1920. Путешествие в Алжир и Тунис.

1921. В работе «Психологические типы» впервые использован термин «Самость».

1922. Приобретение земельного участка в деревне Боллинген.

1923. В Боллингене построена первая башня. Смерть матери. Лекция Рихарда Вильгельма о китайской «Книге перемен» («И Цзин») в цюрихском Психологическом клубе.

1924—1925. Декабрь: путешествие в США. Январь: посещение индейцев пуэбло в штате Нью Мексико; поездки в Новый Орлеан и Нью Йорк.

1925. Первый английский семинар в цюрихском Психологическом клубе. Посещение выставки в Уэмбли (Лондон).

1925—1926. Экспедиция в Кению, Уганду и долину Нила; восхождение на гору Элгон.

1928. Работа «Диалектика „Я“ и бессознательного». Сборник статей «Об энергетике души».

1928—1930. Английские семинары по анализу сновидений в цюрихском Психологическом клубе.

1929. Публикация работы «Тайна золотого цветка», написанной в соавторстве с Рихардом Вильгельмом.

1930. Избрание вице-президентом Общества врачей-психотерапевтов (президент — Эрнст Кречмер).

1930—1934. Английские семинары по интерпретации видений в цюрихском Психологическом клубе.

1931. Сборник статей «Проблемы души нашего времени».

1932. Присуждение Литературной премии города Цюриха.

1933. Первые лекции о современной психологии в Цюрихской высшей политехнической школе. Публикация на английском языке сборника «Современный человек в поисках души». Первая Эраносовская¹ лекция на тему: «Исследование процесса индивидуации». Путешествие в Египет и Палестину.

1 В древней Греции словом «эранос» называли пир, на котором каждый гость представлял какой-либо интеллектуальный дар: песню, стихотворение, импровизированную речь и т. п. Имя «Эранос» было присвоено вилле Ольги Фребе-Каптейн (Froebe-Kapteyn), построенной в 1928 году близ Асконы (кантон Тичино) и предназначенной для регулярных встреч исследователей в различных областях знаний. С 1933 года Эраносовские конференции проводились ежегодно в конце августа. (Прим. А. Яффе.)

1934. По инициативе Юнга учреждается Международное Общество врачей-психотерапевтов; Юнг становится его первым президентом. Эраносовская лекция на тему: «Архетипы коллективного бессознательного». Публикация сборника «Действительность души».

1934—1939. Английские семинары по психологическим аспектам «Заратустры» Ницше в цюрихском Психологическом клубе.

1934—1939. Юнг редактирует «Центральный журнал психотерапии и смежных наук» («Zentralblatt für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete»), издающийся в Лейпциге.

1935. Юнг становится профессором Цюрихской высшей политехнической школы; учреждает Швейцарское общество практической психологии. Эраносовская лекция на тему: «Символика процесса индивидуации в сновидениях». Лекции по теории и практике аналитической психологии в лондонском Институте медицинской психологии (опубл. в 1968 г.).

1936. Присуждение Юнгу степени почетного доктора Гарвардского университета, США. Эраносовская лекция на тему: «Идеи искупления в алхимии». Статья «Вотан», посвященная анализу немецкого нацизма.

1937. Цикл лекций «Психология и религия» в Йельском университете, США. Эраносовская лекция на тему: «Видения Зосима Панополитанского» (алхимика III в. н. э.).

1938. Приглашение в Индию на празднование 25-летия Индийского научного конгресса (Калькутта). Юнг удостоивается степеней почетного доктора университетов Калькутты, Бенареса и Аллахабада; руководит работой Международного психотерапевтического конгресса в Оксфорде и становится почетным доктором Оксфордского университета и почетным членом Королевского медицинского общества в Лондоне. Эраносовская лекция на тему: «Психологические аспекты архетипа матери».

1939. Эраносовская лекция на тему: «О повторном рождении». Юнг становится «нежелательной персоной» в Германии и прекращает деятельность в качестве редактора лейпцигского «Центрального журнала психотерапии и смежных наук».

1940. Эраносовская лекция на тему: «Психологический подход к догмату о Троичности».

1941. Работа «Введение в мифологическую науку» (совместно с Карлом Кереньи). Эраносовская лекция на тему: «Символика трансформации в литургии».

1942. Юнг уходит в отставку с поста профессора Цюрихской высшей политехнической школы. Эраносовская лекция на тему: «Дух Меркурия». Сборник статей «Paracelsica».

1943. Юнг становится почетным членом Швейцарской ака-

демии наук и заведующим кафедрой медицинской психологии Базельского университета.

1944. Уходит в отставку с последней должности в связи с тяжелой болезнью (инфаркт миокарда). Книга «Психология и алхимия».

1945. Присуждение Юнгу в связи с 70-летием степени почетного доктора Женевского университета. Эраносовская лекция на тему: «О психологии духа» (впоследствии опубликована под заглавием «Феноменология духа в волшебных сказках»).

1946. Эраносовская лекция на тему: «Дух психологии» (опубликована под заглавием «О природе психической субстанции»). Работы: «Психология трансфера», «Очерки современных событий», «Психология и воспитание».

1947. Сборник статей «Символика духа». Эраносовская лекция на тему: «О Самости». Открытие Юнговского института в Цюрихе.

1950. Сборник статей «Состояния бессознательного».

1951. Работа «Эон». Эраносовская лекция на тему: «О синхронических явлениях».

1952. Публикация работы «Истолкование природы и психическая субстанция» (совместно с В. Паули; Юнгом написана глава «Синхроничность: акаузальный связующий принцип»). Работы: «Символы трансформации», «Ответ Иову». Второй инфаркт.

1953. Начало публикации «Избранного» Юнга на английском языке в переводе Р. Ф. К. Халла.

1954. Сборник статей «Корни сознания». Присуждение Юнгу в связи с 80-летием степени почетного доктора Цюрихской высшей политехнической школы. 27 ноября: смерть жены.

1955—1956. Работа «Mysterium Coniunctionis» — последняя в ряду работ, посвященных психологическим аспектам алхимии.

1957. Статья «Современность и будущее». Начало работы над книгой «Воспоминания, сны, размышления» (в содружестве с Аниелой Яффе). Интервью Джону Фримэну для телекомпании Би-Би-Си.

1958. Работа «Современный миф». Начало публикации Собрания сочинений Юнга (издательство Walter-Verlag AG, Olten).

1960. В связи с 85-летним юбилеем Юнгу присуждается звание почетного гражданина Кюснахта.

1961. За 10 дней до смерти завершает свою последнюю работу: «Подходы к бессознательному». После кратковременной болезни умирает 6 июня в своем кюснахтском доме.

1964. Открытие клиники и исследовательского центра по юнговской психологии в Цюрихе.

Оглавление

К. Г. Юнг

Воспоминания, сны, размышления	7
Пролог	9
Детство.....	13
Школьные годы	31
Студенческие годы.....	87
Работа в области психиатрии	119
Зигмунд Фрейд.....	151
Лицом к лицу с бессознательным	175
Об истоках моих трудов	205
Башня.....	229
Путешествия	245
Видения	295
О жизни после смерти.....	305
Поздние мысли.....	333
Взгляд, обращенный вспять.....	363

К. Г. Юнг

Семь проповедей мертвецам.....	371
---------------------------------------	------------

И. Якоби

Психологическое учение К. Г. Юнга.....	385
Введение.....	387
Природа и структура психической субстанции	391
Законы, управляющие психическими процессами и силами.....	437
Практическое применение юнговской теории	447

Приложения

 Глоссарий

(составлен А. Яффе)	535
---------------------------	-----

 Хронограф жизни Карла Густава Юнга

(составлен А. Яффе)	547
---------------------------	-----

Карл Густав Юнг. Дух и жизнь
Сборник

Технический редактор Д. В. Самойлов
Корректор С. А. Войнова

ИБ № 011

Лицензия ЛР № 090070 от 29.12.1993

Оригинал-макет изготовлен в издательстве «Практика»

Подписано в печать 26.07.96

Формат 84×108/32

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс

Объем 17,25 бум. л. Тираж 8000. Изд. № 011. Зак. 611

Отпечатано с диапозитивов на Можайском
полиграфкомбинате Комитета РФ по печати

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

Издательство «Практика». 119048, Москва, а/я 421